



ПАН  
СМЕРТЬ ГЛАНА  
ВИКТОРИЯ  
МИСТЕРИИ



КНУТ ГАМСУН

КНУТ  
ГАМСУН

КНУТ  
ГАМСУН

KNUT  
HAMSUN



# КНУТ ГАМСУН

---

**ПАН  
СМЕРТЬ ГЛАНА  
ВИКТОРИЯ  
МИСТЕРИИ**

Романы

Москва  
«Эй-Ди-Лтд»  
1994



**ББК 84.4.Нр  
Г18**

**Художественное оформление  
Б. М. Кравченко**

**При подготовке оригинал-макета использовались  
программные продукты АО «Параграф-Интерфейс»**

**Тел. (095) 299-75-69, 299-79-23**

**Факс (095) 923-52-53**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

*Крепка, как смерть, любовь.  
Жестока, как ад, ревность.*

«Песнь Песней», VIII, 6.

I

Те из читателей, которым случай дал сначала в руки книги Кнута Гамсуна и только потом ознакомил их с судьбой этого писателя-самоучки с огромным самоцветным талантом,— имеют полное право с удивлением и почти недоверием отнестись к его биографии.

Когда вы узнаете, что на высоту своей — теперь уже можно сказать мировой — известности он поднялся с самого неприглядного «дна» жизни, что он родился в скудной и темной семье, был сначала подмастерьем у сапожника в Бодде, бежал от него, поступил юнгой на корабль, в течение многих лет вел полную приключений жизнь пролетария, являясь почти тем, что у нас принято называть именем босняка, был потом подмастерьем по разным цехам, служил в Америке приказчиком в лавке, кучером на конке, был кочегаром, долгое время зарабатывал на жизнь газетными пустяками, перебиваясь с хлеба на квас, и самым высшим постом, какой он занимал, была для него должность писца у деревенского констебля,— вы положительно преклонитесь перед творческой силой природы: она создает законы и только она же властна нарушить их, закладывая в грубую породу великолепные камни-самородки.

Гамсун продолжает ту галерею удивительных людей, вышедших из народа, в которую входят в Германии поэт-сапожник Ганс Сакс, во Франции — Руссо, в России — Ломоносов, Кольцов, Горький.

В самом деле, какая же внешняя разница между норвежским художником и, например, нижегородским мещанином Пешковым, рожденным в семье красильщика, служившим «мальчиком» в магазине обуви, подмастерьем у чертежника, учеником у повара, пекарем в крендельном заведении на трех рублях жалованья в месяц, железнодо-

рожным сторожем, певчим в оперном хоре, пильщиком дров, носильщиком грузов,— прошедшим «огонь, воду и медные трубы», прежде чем какая-то провинциальная газетка дала место его рассказам на своих столбцах!..

Первое, бросающееся в глаза внешнее сходство, не только не разрушается, но поразительно усиливается после того, как вы начинаете знакомиться с тем, что написал Гамсун. Правда, здесь уже сходство не внешнее,— почти нет внешнего сходства.

То, что прославило Горького — философствующий боссяк,— совсем не тема Кнута Гамсуна. На своем веку он вдоволь насмотрелся подобных типов в норвежской окраске. Опустившегося пролетария он мог потом близко изучать, в особенности, бедствуя в Америке. Но, видимо, в натуре его не было особенного интереса к этой разновидности человеческой породы. Он даже не очень любит фактически использовать эпоху своего уничтожения и далеко не часто берет ее фоном для своих рассказов.

Гамсун — в душе и в своих сочинениях — вдохновенный певец призыва утончившегося, изолгавшегося, вставшего в неврастение общества, к обновляющей и божественно-прекрасной природе, к протесту против износившихся и обесплодившихся условностей господствующего строя. Может быть, до известной степени, секрет небывалого успеха Гамсуна у современного читателя объясняется этим необычайным здоровьем, которым пышет от его таланта, этой сочностью его молодого, звонкого голоса, так необычайно звучащего среди унылых, во всем разуверившихся, усталых голосов современных романистов и поэтов.

Если так, то и в этой биографической частности Гамсун сближается с нашим Горьким, успех которого, без всякого сомнения, был подчеркнут уныло-пессимистическим и безнадежным фоном всей нашей художественной литературы последних десятилетий.

## II

---

Романом, создавшим Гамсуну имя, был «Голод», — почти единственная большая его вещь, где элемент романтики занимает только скромное эпизодическое место.

Гамсун никогда не писал о том, чего не пережил, но если какая из его книг и автобиографична, то это, конечно, «Голод». Однажды он сказал, что «голодание» определяет целый период в его жизни. Не приходится сомневаться, что огромная часть страшных впечатлений голодовки,

описанных в романе, есть отражение переживаний будущей знаменитости.

В «Голоде» перед вами день за днем рассказанная с изумительной точностью и пунктуальностью история голодовки интеллигента-пролетария. Место действия — северный город, но психология, обусловленная этим физическим состоянием, настолько общечеловечна, что вполне можно сказать, что это — история голодающего человека вообще. При этом Гамсун так мало маскирует себя, что делает этого человека непризнанным газетным сотрудником. Таким именно был некогда он сам, и так же он сам считал счастьем получить из какого-нибудь «Листка» пять крон за целый фельетон.

Картины человеческого обнищания в «Голоде» ужасающи. Перед вами та последняя грань лишения, за которой, — не приди на выручку обстоятельства, — должны уже следовать болезнь, самоубийство или смерть. Несчастливого пролетария, впроголодь живущего от статейки до статейки, хозяйка гонит с квартиры. У него нет сального огарка, и он вынужден заниматься «творчеством» на каком-нибудь кладбищенском столике или у уличного фонаря, прячась от любопытства городского. У него нет даже гребня, а потеря осколка карандаша — уже огромное несчастье. Он должен брызгать водой на свои порыжевшие до неприличия брюки, чтобы они казались «черными и новыми». Уже давно он спит под одеялом, взаимобразно взятым у знакомого. Он должен пускать в оборот последнюю свою собственность — очки в убогой стальной оправе!..

Только некоторые частности мешают признать художественную монографию Гамсуна о голоде классическим сочинением в этой области.

Редкою силою изображения страшного физического состояния, глубиной анализа, богатством впечатлений, не придуманных, а действительно пережитых, «Голод» превосходит все, имеющееся в литературе в этом роде.

### III

Сказать, что Гамсун художник и певец любви, — значит почти ничего не сказать.

Вся мировая художественная литература сосредоточена около этого чувства и без него решительно немыслима. Но для Гамсуна это чувство — та атмосфера, вне которой он не может дышать, невозможен, непредставим. Не будет преувлечением сказать, что за последнюю четверть века



никто не возвышался до такой «вдохновенной песни любви», какую дал он в «Виктории». Ни одна статья о Гамсуне не обходится без этой цитаты. Этот гимн великолепному и безумному чувству стал почти хрестоматийным. Но без него в самом деле никак не обойтись тому, кто хочет дать полное представление о норвежском поэте. Так не имел бы полного представления о солнце человек, который бы не видел его заката в море, и о лесе, кто не побывал бы в нем в летний день.

Проза Гамсуна возвышается здесь до самой тонкой и благоуханной поэзии, и в этой его песне нельзя ни выкинуть, ни переставить хотя бы одно слово.

«Что такое любовь? Ветерок, проносящийся над розами,— нет, электрическая искра в крови! Любовь — это пламенная адская музыка, заставляющая танцевать даже сердца стариков. Это — маргаритка, широко распускающая свои лепестки с наступлением ночи, это анемона, закрывающаяся от дуновения и умирающая от прикосновения».

«Такова любовь!

Она может погубить человека, поднять его и снова заклеить позором. Сегодня она любит меня, завтра — тебя, а в следующую ночь — его — так она непостоянна. Но она так же тверда, как несокрушимая сталь, и горит неугасаемым пламенем до самой смерти, потому что любовь вечна. Так что же такое любовь?»

«О, любовь — это летняя ночь с небесами, усеянными звездами, и с благоухающей землей. Почему же она заставляет юношу идти окольными тропинками и старика одиноко страдать в своей комнате? Ах, любовь превращает человеческое сердце в роскошный бесстыдный сад, где растут таинственные наглые грибы».

«Разве не она заставляет монаха пробираться в чужие сады и заглядывать ночью в окна спящих? Разве не она приводит в безумие монахиню и помрачает разум царевны? Она заставляет склоняться голову короля до самой земли, и его волосы метут дорожную пыль, а уста бормочут бесстыдные слова, и он смеется и высовывает язык.

Такова любовь!

Нет, нет, она совсем другая, и она не похожа ни на что на свете! Она сошла в весеннюю ночь, когда юноша увидел два глаза — два глаза. Он смотрел и не мог оторваться. Он целовал губы, и ему казалось, что в его сердце встретились два луча: солнце и звезда светили друг другу навстречу. Он упал в объятия и не слышал, и не видел больше ничего на свете».

«Любовь — это первое слово, произнесенное Богом, первая мысль, осенившая Его. Когда он произнес: «Да будет свет» — родилась любовь. И все, что Он сотворил, было так прекрасно, что Он ничего не хотел переделывать. И любовь была первоисточником мира и его властелином. Но все пути ее покрыты цветами и кровью — цветами и кровью!..»

Что специально выбрал себе Гамсун из необъятной и разнообразной психологии любви — это психологию «мучительства любви». Как Достоевского по справедливости называли «жестоким талантом», так в полном смысле это определение шло бы и Кнуту Гамсуну. «Любовь — это жестокая вещь». Эта фраза, как прилив, много раз прорезает последний роман его — «Розу». И это как бы девиз ко всему собранию его сочинений. Достоевский только шире Гамсуна. Он мучительствует над читателем во всей широте душевных переживаний — религиозных, нравственных, романтических.

Гамсун, по свойствам своего писательского темперамента, берет себе в удел только область «любовной муки». Его любимое дело — наблюдать, как два уже крепко полюбивших друг друга человека терзают один другого в увлекательной, но и мучительной, как пытка, любовной игре. Ни один художник не даст более яркого представления о том, какая огромная роль в любви отведена человеческому самолюбию.

Перед вами обнажаются мужская и женская души в их бесконечных переливах ласковости и враждебности, притяжения и отталкивания, безумного влечения и противоречивого каприза самолюбий, не желающих поступиться мелочью. Для Гамсуна точно не существует тихой, спокойной, уравновешенной любви. Ему это просто неинтересно. На пространстве нескольких сотен написанных им печатных листов почти вовсе нет картин этой идиллической любви.

Роман кончается для Гамсуна, умирает, перестает быть поэтичным там, где кончилась буря и наступила тишина. Только противоречия любви, только сложные изгибы ее, только страдание и пытка страсти занимают его.

Спокойная, уравновешенная любовь ему непонятна. Он ее не знает. Для него назвать слово «любовь» совершенно то же, что произнести слово «страдание». Любовь — это очаровательная пытка, ослепительно-прекрасная мука, безумное влечение и безумное сопротивление. Тихий разгар чувства, нежное объяснение в прекрасную ночь, озаренную северным сиянием, успокаивающие клятвы «его» «ей» или «ее» «ему» — все это он может бросить случайным

эпизодическим лицам своего романа, которым потом раз два или три придется вынырнуть в дальнейшем ходе повествования. Но чтобы сделать это специальным предметом своей романтической монографии? Нет, Гамсун не рожден для этого! И здесь он непосредственно примыкает к тем художникам, известным в истории литературы, которые брали себе в исключительный удел психологию ревности, мести, изменничества и т. д.

#### IV

---

Но не могло бы быть ошибки горшей, чем обвинение Гамсуна в психологическом извращении. Может быть, во всем мире не было художника более здорового и более любящего здоровье, естественность, нормальное природное влечение, саму, наконец, природу в ее здоровой и животворящей красоте, чем он. Малейшей тени ненормальности, душевного вывиха не найти в гамсуновской психологии двух влюбленных мучителей.

В самом деле, разве самым здоровым, сильным и бодрым натурам не свойственно это увлечение любовным поддразниванием? Не это ли от времен фараонов до дней Ромео и Джульеты и от их эпохи до сегодняшнего дня делало для человечества любовь очаровательной игрой, затмевающей своей прелестью всякую иную игру? Не рисковала бы любовь засахариться, стать пресной, безвкусной и вялой, если бы человечество отказалось от всего калейдоскопического разнообразия этой игры, от милых сцен намеренно возбужденной ревности, от маленьких ссор, после которых так пленительно примирение!

Вот область, где Гамсун — истинный волшебник, мастер, очаровательный фантазер, неутомимый и изумительный выдумщик. С таким искусством он вовлекает вас с этот переплет замысловатой игры, в эту прелестную «войну» двух любящих, в эти вечные поддразнивания их, что вы положительно переживаете это очарование точно на себе самом. Он захватывает вас этой борьбой двух самолюбий, из которых то одно, то другое побеждает, но ни то ни другое никогда не сдается.

Микроскопические мелочи, какой-нибудь взгляд, какое-нибудь пожатие руки, все то, что так ничтожно при взгляде со стороны и так бесконечно огромно для участников романтической «схватки», Гамсун умеет возвести и для постороннего читателя в степень чего-то значительного, во всяком случае, страшно интересного.

Вот писатель, на котором, как на оселке, можно пробовать поэтичность и непоэтичность души. Кому скучно над книгами Гамсуна, с тем напрасно было бы говорить о поэзии, романтике, власти сердца и т. п. Это — душа, рожденная для арифметики и канцелярий...

Чтобы быть на высоте такого анализа, нужна была типичная северная душа, не отвлекаемая от глубокой душевной работы ни великолепным южным небом, ни чудесным лазоревым морем, ни шумом широкой европейской улицы, по которой сломя голову несутся трамваи и автомобили. Сосредоточенная северная природа, торжественная ночная тьма, только изредка вспугиваемая северным сиянием, бесконечные снежные равнины, красавец северный лес в угрюмых фиордах, маленькие чистенькие улицы норвежских городков — только эти условия могли создать такую пылливо-сосредоточенную и глубокую душу, способную проследить все оттенки капризного и противоречивого чувства. Французские «эксперты» человеческого романа иногда прямо бледнеют перед Гамсуном, этим истинным сыном природы, учителем которого в искусстве слова был только один Господь Бог.

«Мучительство любви» составляет исчерпывающее содержание таких великолепных вещей Гамсуна, как «Пан», «Виктория», «Мистерии», «Сумасброд», оно же яркой струей окрашивает почти все без исключения остальные его романы и значительную часть рассказов.

Только огромная душевная содержательность дает возможность Гамсуну выходить победителем-триумфатором из такой задачи. Можно представить, в какие несносные перепевы самих себя, в какое скудное однообразие впали бы десятки беллетристов небольшого дарования, если бы очертили себя таким кругом писательских задач! Гамсун умеет быть неистощимо разнообразным. Он ни разу не повторил себя. Он дает великое множество мелодий, никогда не схожих, милых и прелестных в своей нежности, или страшных и трагических в тех случаях, когда, по пословице, коса попадает на камень, то есть одна непреклонно-самолюбивая воля сталкивается с другой стальной волей.

Секрет писательского обаяния, конечно, один — зажигает только тот, кто сам горит. Гамсун всегда горяч, моментами пламенем. Переживания его героев настолько жизненны и ярки, что, как это ни маловероятно, просто трудно отогнать от себя мысль, что все это пережито им лично. Порой кажется беспспорным, что он просто-напросто записал, без прикрас и виньеток, собственный роман.



Может быть, это иллюзия, и ее трудно проверить. Почти намеренно Гамсун прятал свою личную жизнь, не открывал ее с интервьюерами, не дал никому никогда своей автобиографии, сколько-нибудь пространной. При таких обстоятельствах критику остается только догадываться, что во всяком случае какие-то настоящие лица являлись «натурой» для Гамсуна, по крайней мере, пока речь идет о его шедеврах,— этому косвенным, но, кажется, бесспорным доказательством может служить то, что он, как очень немногие из писателей, любит возвращаться к своим прежним героям.

Как бы воочию видишь, насколько ему трудно оторвать от своего сердца образ, с которым он сроднился за несколько лет, месяцев или недель художественной работы.

Гамсун окончил «Пана», но снова возвращается к своему герою, лейтенанту Глану, и делает эпилогом рассказ «Смерть Глана». Он расстался с богачом Макком, его дочерью Эдвардой, и вдруг, много лет спустя, и Макк, и Эдварда вдруг снова воскресли в прелестном романе «Роза», говорящем о том, что, даже переступая грань 50-го года жизни, Гамсун не утратил своего восхитительного таланта, стоящего иногда почти за рубежом гениальности.

Дагни Килланд, трагическая героиня «Мистерий», снова перед вами в «Редакторе Люнге», и вы немножко разочаровываетесь, видя ее здесь в прозаической обстановке. Некогда Гамсун расстался со своим героем Мункен Вендтом,— и в той же «Розе» старый знакомый снова перед вами в прежнем живописном костюме оборванца-охотника и в прежнем великолепии бодрой, не склоняющейся и хищной воли.

Неутомимый искатель Карено — главный герой трех лучших драм Гамсуна. Бондезен, которого читатель встречает плохоньким и, по-видимому, мало обещающим газетчиком в драме «У врат царства», вырастает в довольно эффектную фигуру влиятельного журналиста, до некоторой степени ворочающего общественным мнением, хотя и остающегося при той же маленькой, предательской и фатоватой душонке, в «Редакторе Люнге».

Мало того, перед внимательным читателем нет-нет да и выскользнет и повторится какой-нибудь даже из третьестепенных персонажей — какой-нибудь честный студент Хойбро или капитан Рейерсен, случайно встреченный вами в каком-нибудь рассказе и мимоходом задевший ваше внимание.

Такие частности поверхностный читатель и не уловит, и не оценит. Для Гамсуна они полны смысла. Он никогда не ошибется, не станет в противоречие с собой, не перепутает времен. Не менее ценно это и для внимательного критика. Все это как будто очень определенно говорит за то, что здесь приходится иметь дело не с простой прихотью беллетриста, которому вздумалось вернуться к знакомому образу, и он вернулся. Не дает ли это права думать, что и за Гланом, и за Эдвардой, и за Дагни, и за Карено, и за Бондезеном, и даже за этими мимоходными Хойбро или Рейерсенами для Гамсуна стоит кто-то живой и яркий, во плоти и крови, взятый из действительной жизни хотя бы и так, как берет художник, то есть путем комбинирования в одно черт многих, и он ясно видит цвет их глаз, волос и игру личных мускулов?

Повторяем, не будь Гамсун так царственно одарен природой, в этой черте мог бы почувствоваться трагический оттенок. Писателю словно не уйти от тех образов, которые связались с его молодостью. Роман «Бенони» повлек за собою вторую часть — «Розу», и когда вы кончаете читать этот роман, вы ясно видите, что красивая драма любви молодого художника-студента, окрашенная такими унылыми тонами на последних страницах романа,— еще не имеет своего конца, что за «Розой» должна следовать последняя часть трилогии, где, может быть, великое солнце любви осветит и путь отвергнутого рассказчика.

## VI

---

Типичным для творчества Гамсуна созданием являются последовавшие за «Голодом» «Мистерии».

Сложный, загадочный, глубокий, так напоминающий своей самобытностью и странностями героя «Голода» герой «Мистерий» Нагель — воплощение мученичества любви. Никому незнакомый, прибывший откуда-то издалека в чужой город, с туманным прошлым и загадочным настоящим, Нагель с первой встречи с Дагни Килланд смертельно ранен любовью.

Она — невеста другого. Она говорит Нагелю, что любит того, другого. Но настойчиво, безумно, безрассудно Нагель домогается любви этой трагической девушки, из-за которой уже один человек без зова сверху ушел с земли. Порою Нагель сам видит бесплодность своих исканий и опускается в бездны отчаяния, потому что на земле ему нужен только один человек.

Вся душа Нагеля, все переливы его тревог, надежд, поражений и отчаяния вскрыты Гамсуном с потрясающей силой. И когда Нагель кончает с собой и бросается с пристани в море — такой конец ударяет вам в сердце, но не удивляет. Так должно быть, и не может быть иначе там, где «сильна любовь, как смерть, и ревность жестока, как ад».

Если где музыкальный термин с удобством может быть перенесен на литературное произведение, так это здесь. «Мистерии» — это истинная симфония неразделенной любви, бурная, захватывающая, уносящая вас от обыкновенных, маленьких, «комнатных» чувств в царство какого-то сплошного экстаза, «комнатных» чувств в царство какого-то сплошного экстаза. Здесь «в поразительном, пламенном, отрывистом стиле, в молниеносном описании, с неслышанным психическим импрессионизмом Гамсун дал нам картину травли души, дал душевный кинематограф» (Брандес).

Сама форма романа, своеобразная до полной исключительности, в своем роде единственная, напоминающая порой разве что нашего Достоевского с его надрывами, устремлениями в сторону, с его почти эпилептической порывистостью, как нельзя более соответствует задаче.

Теоретик словесности осудил бы эту вещь как «роман» в строгом смысле. Гамсун точно намеренно ломает стройность рассказа. Перед вами в самом деле какой-то кинематограф души, где открывается одна, и за ней — другая бездна, одно переживание, отличное от другого, и читателю почти самому приходится догадываться о внешней обстановке происходящего.

Рассказ вдруг прервался, и перед вами на нескольких страницах, как у Достоевского, внутренняя дума героя, «копанье» в своей душе, анализ мысли, прихотливо и капризно скачущей от дум о Боге к размышлениям о нервности и беспричинных страхах, от смерти к смеху, от Толстого к Гюго и т. д.

Страницы публицистики, страницы литературной критики вдруг врезаются в роман. Это стройка безо всякого архитектора, без плана, без симметрии, без ватерпаса и отвеса. И однако Гамсун умеет всюду быть настолько оригинальным, что, даже попав на его критические размышления об Ибсене или Стортинге, вы прочтете их, не пропуская. Можно сказать без преувеличений: во всей молодой современной литературе не указать ничего иного, что более приближалось бы к вещаниям о человеке Достоевского. Эта книга действительно «крепка и сильна, как вино», — как выразился один русский критик о других книгах Гамсуна.

Кстати, сам Гамсун высоко ценил нашего писателя. Это мнение ясно высказано им на страницах его путешествия по России.

«Достоевский, — писал он, — умер фантазером, безумцем, гением. Никто не разобрал глубже, чем он, сложных явлений человеческой души. Его психологическое чутье неотразимо, оно близко к ясновидению. Чтобы определить его высоту, нам не хватит меры. Он стоит особняком. Он воображал, что он гений, работал над собой и ушел так далеко, что до сих пор еще никто не мог сравниться с ним. Вот перед нами двенадцать томов его произведений, и никакие другие двенадцать не могут померяться с ним!..»

В частности, Гамсун восторгается повестью Достоевского «Кроткая». Для него эта крошечная вещь недостижимо велика. Это высокоценное суждение: в психологии, какую здесь затронул Достоевский, Гамсун — единственный эксперт и мастер, не имеющий соперников.

## VII

Гамсун ненавидит культурную жизнь, огромные каменные Вавилоны, переполненные клетками для живых людей, оглушающие шумом трамваев и отравленные испарением человеческой толпы. Такой город может родить только жалких людей-полурабов «с фантазией, вскормленной овсянкой».

Гамсун мечтает совсем о другом человеке — свободном, прекрасном, дышащем одними жизнью и природой, превращающем мир в очаровательную сказку.

Центральной в этом смысле вещью Гамсуна, истинным гимном свободному человеку является его большая повесть «Пан».

Это — чудесная эпопея здоровой, прекрасной, хищной любви. Лейтенант Глан убежал от культурной пошлости и лжи, от больших городов, от постылых светских условностей в чудесную северную глушь. В великолепном лесу он построил себе хижину и живет в ней, как дикарь, или лучше, как праотец Адам. Никто не ходит к нему «в гости», никто не напоминает ему о лживых городах. Он счастлив, весел и беззаботен, отдавшись здесь «лесам и одиночеству». Ему всего 30 лет: «30 лет ведь не старость!»

Сильный, здоровый, «со взглядом зверя», как первобытный Немрод, он бродит по лесу с ружьем. Его счастье «в один прекрасный день застрелить орла» в безмолвных высотах неба.



Только крик морских птиц и выстрелы его ружья нарушают великолепное молчание северного леса. Его единственный друг, которого он захватил оттуда, из мира условностей, это собака Эзоп, с которой вместе он прислушивается к молчанию или к глухому шуму леса.

В образ «Пана» Гамсун вложил всю свою психологию очарования природой. У Глана — чисто-звериное, волчье чутье мировой жизни. Ему не нужно часов, потому что ему подскажут время морской прилив и отлив, трава, которая ложится спать в определенное время, или постоянно меняющееся пение птиц.

«Я вижу время по цветам, которые после полудня закрываются, по листве, то светло-зеленой, то темной. Кроме того, я просто это чувствую... Я стреляю не для того, чтобы убивать, — я стреляю, чтобы жить. Мне сегодня нужен один тетерев, и я бью не двух, а одного. И к чему мне убивать больше? Я живу в лесу. Я сын лесов... Я обедаю, сидя на земле, а не вытянувшись на стуле. Я могу лечь на спину и закрывать глаза, если мне этого захочется. И говорить я могу там все, что мне угодно, и речь звучит в лесу, как из глубины сердца...»

Это говорит Глан девушке, которую полюбил, и его слова звучат для нее как музыка.

«Если бы вы только знали, чего я не посмотрю в полях! Зимой идешь по полю и видишь на снегу следы тетерева. Вдруг следы исчезают. Птица улетела. Но по отпечатку крыльев я вижу, в каком направлении она полетела, и скоро нахожу ее. И каждый раз что-нибудь новое! А осенью я наблюдаю за падающими звездами... На опушке леса растет папоротник и борец, цветет вереск — я люблю его маленькие цветочки. Хвала Тебе, Господи, за каждый виденный мною кусточек! Они были маленькими розами на моем пути, и я плачу от любви к ним!...»

Здесь, в глуши, звери подходят к Глану и осматривают его. «Приветствую всех вас», — обращается он к жукам на листьях деревьев и букашкам, ползущим по дороге.

«Мой милый лес, мое убежище, Божья благодать!» — скажу я тебе от полноты моего сердца. Я останавливаюсь, глядя по сторонам, и со слезами на глазах называю по имени птиц, деревья, камни, траву, пчел, — оборачиваюсь и называю их всех по порядку. Я смотрю на горы и думаю: Да, я сейчас приду, — как будто отвечаю на чей-то зов. Благословенны будьте вы, — говорю я ветеркам, — за

то, что веете мне в лицо, благословенны будьте вы: мое существо полно благодарности к вам! И Эзоп кладет мне на колени свою лапу...»

## VIII

Почти библейской красотой веет от этих восторженных строк Гамсуна. Перед вами точно Адам, нарекающий имена зверям и птицам в первозданном рае. Только тот, кто в высокой степени поэтичен и всецело проникся природой, кто действительно «одною с ней жизнью дышал», мог создать гимны Божьему миру такой красоты, как, например, следующая песнь «железным», то есть августовским северным ночам с первыми морозами.

«Люди, птицы и звери, да здравствует эта одинокая ночь в лесу, в лесу! Да здравствуют мрак и шепот Бога среди деревьев, нежное, простое благозвучие тишины, зеленая листва и желтая листва! Да здравствуют звуки жизни и собака, с фырканием нюхающая землю!...

Да здравствует дикая кошка, которая вытянулась всем телом и прицеливается, готовая прыгнуть на воробья, в темноте.

Да здравствует кроткая тишина земли, да здравствуют звезды и серп луны! Да, я пью за них и за него...

Я встаю и прислушиваюсь. Никто меня не слышит. Я снова сажусь.

Благодарение тебе, уединенная ночь! И вам, горы, мрак и шум моря — оно шумит в моем сердце. Благодарение за жизнь, за дыхание, за милость жить сегодня ночью — благодарение из глубины моего сердца!

Послушай на восток и послушай на запад — нет, послушай только, — это вечный Бог! Это тишина, что шепчет мне на ухо — кипучая кровь всей природы, Бог, пронизывающий весь мир и меня. Я вижу блестящую паутину при свете моего костра, я слышу плывущую по морю лодку. Там, на севере, северное сияние ползет по небу. О, клянусь моей бессмертной душой, я благодарен от всей души, что это я здесь сижу!...

Героиня «Пана» — Эварда, снова представшая перед нами в романе «Роза», дает совершенно соответствующую образу Глана характеристику:

«Он был такой чуткий, впечатлительный. Все на него действовало: и погода, и солнце, и луна, и трава. И ветер словно говорил с ним. И гуденье на вершинах скал будило в нем отзвук!...»

Трудно передать обаятельность мужского образа Глана для современного читателя, так отвыкшего от сильных и бодрящих образов в литературе, так сроднившегося с обликом современного печального «героя времени», неврастенического, хныкающего, нервного и бессильного. И вы совершенно понимаете героиню «Пана» Эдварду, дочь богатого купца Макка, 16-летнюю девушку, на которую образ сильного, дерзновенного, прекрасного как сама природа Глана производит неотразимое впечатление.

Вчерашняя девочка, Эдварда уже достаточно насмотрелась на шаблонных, светских людей с заученными, дежурными любезностями на устах, с банальной учтивостью, с избитыми приемами ухаживания, затрепанными любым романом, чтобы сразу оценить в лейтенанте его яркое своеобразие.

Молодой, здоровый, трезвый Глан сам тяготеет к девушке властным влечением плоти. Рано развившаяся и для своих лет может быть повышено страстная Эдварда, больна Гланом, как Глан болен ею. Его лирические речи о прелести одинокой прекрасной жизни, его «звериный взгляд», запах моха и оленя, какой исходит от его одежды, чаруют ее. Благовоспитанная барышня делает целый ряд капризов и эксцентричностей, которые привели бы в ужас чопорное светское общество. Однажды, в присутствии других, ее губы крепко впиваются в губы Глана. Ночью, сквозь сон, Глан чувствует близость около себя в диком лесу смелой девушки.

— Может быть, это были вы? — спрашивает он ее на утро. — Сегодня утром я видел следы на траве...

Ее ответ-признание звучит изумительно красиво и просто:

— Да, — говорит она, прижимаясь к нему. — Это была я. Но ведь я вас не разбудила? Я шла так тихо, как только могла. Да, это была я. Я еще раз была недалеко от вас. Я люблю вас...

И Эдварда, и Глан принадлежат к тем излюбленным Гамсуном натурам, для которых высшая прелесть любви не в идиллии счастья, а в переливах любовной игры и борьбы. С той самой минуты, когда читателю совершенно ясно, что и он, и она любят друг друга, когда он стал уже свидетелем объяснения, для Глана и Эдварды наступает пора мучений. Кажется, с этого мгновения все их усилия направлены на то, чтобы взаимно скрыть свое чувство.

Весь дальнейший роман — история войны между двумя любящими. Ни тот, ни другая не поступятся самолюбием, хотя бы им грозили разрыв, отчуждение, несчастье или смерть.

Глан появляется в доме богатого Макка. Его принимают с любопытством, смешанным с уважением. Но для Эдварды он — вечный предмет вызывающих шуток, насмешек, испытаний ревности. Отвыкший от светского общества, Глан проливает стакан чая на стол, и она изводит его из-за этой неловкости.

Не владея собой, в приливе первобытного чувства ревности сам он готов на какие угодно чудачества, одно воспоминание о которых позднее отравляет ему жизнь. Катаясь с нею в лодке, на глазах у всех он срывает с ее ноги башмачок и далеко швыряет его в воду. На балу она мучает его своим вниманием к другим и отходит от него, когда он только начинает фразу. «У меня пустой стакан», — отвечает она ему, когда тот хочет с нею чокнуться. Глан смеется над физическим недостатком человека, в котором может видеть своего соперника и притязателя на руку Эдварды. В ответ Эдварда готова возвести его хромому в достоинство. — Вы не хромаете, нет, но если бы вы сверх всего еще хромали, то вы перед ним не устояли бы!

И этой пары мимолетных слов явного вызова Глану уже достаточно для того, чтобы прострелить свою ногу и поставить себя таким образом на одну доску с соперником.

Высшая прелесть игры любви — в переливах таких ссор и примирений. Гамсун — огромный мастер и на такие нежные сцены. Эти ласковые соприкосновения душ после недавней ссоры в его книгах прелестны, как летний дождь при смеющемся солнце. Почти нельзя читать без волнения, например, ту сцену в «Пане», где любящая девушка, исстрадавшаяся в этих постоянных мучениях ревности, совершенно отказывается от самолюбия и, покоренная, захваченная и смятая страстью, говорит ему слова откровенного признания:

— Не вырывай у меня сердца из груди! Я пришла к тебе сегодня, караулила тебя здесь и улыбалась, когда ты шел. Я чуть не сошла с ума, потому что ни о чем другом не могла думать. Все пошло колесом вокруг меня, — я все время думала о тебе. Я сидела у себя в комнате, кто-то вошел, и я подняла глаза, хотя все равно знала, что пришел ты... Вот уж час, как я жду тебя здесь. Я стояла



под деревом и видела, как ты шел. Ты был точно бог. Как я люблю твою осанку, твою бороду, твои плечи — все в тебе люблю!..

Тысячи на месте Глана задыхались бы в безумном счастье. Глан слушает ее и готов обезуметь от отчаяния. Вы недоумеваете, почему. Значит, вы мало знаете Гамсуна.

Глан не может отказать себе в величайшем наслаждении отомстить девушке за все свои недавние страдания из-за нее. Перед этим наслаждением бледнеет даже высшее наслаждение разделенной любви. Как бы искусственно он ожесточает свое сердце и, точно человек, не слышавший ничего из того, что она сказала, или пропустивший все это мимо ушей, равнодушно спрашивает ее:

— Вы что-то хотели мне сказать?

## IX

---

И, разумеется, вы можете не удивляться, когда со следующей страницы начинаете следить в мельчайших подробностях историю злого издевательства Эдварды над Гланом. Такие оскорбления женщина забывает еще труднее, чем мужчина.

Теперь Глан уже отомщен, сердце его смягчено, он простил, и с его стороны, казалось бы, ничто уже не препятствует слиянию душ. Он почти готов сделать первый шаг к признанию. Теперь ему кажется, что от этого его самолюбие не пострадало бы нисколько. Но уже девятый вал ходит в душе Эдварды. Она любит его так же мучительно, как он ее, однако самой себе она боится в этом признаться. Сравнение вульгарно, но, право, эта трагическая история двух любящих по схеме своей напоминает ту комическую побасенку о сватовстве журавля к цапле, где одна сторона оказалась согласной на брак в ту минуту, когда была не согласна другая, и наоборот.

Между двумя любящими с этой минуты начинается борьба на ножах. Эдварда колет и ранит Глана при всяком удобном и неудобном случае. Глан делает злую вылазку по адресу возможного жениха девушки.

— Нет, он лучше вас, — отражает удар Эдварды. — Он умеет держаться, не разбивая чашек и стаканов, и оставляет в покое мои башмаки.

Глан продолжает свою атаку и доводит любимую девушку почти до бешенства и отчаяния.

— Он полнейшее ничтожество, — смеется Глан.

— Нет, он нечто, нечто! — кричит она голосом, прерываемым от гнева.— Он нечто гораздо большее, чем думаешь ты, лесной житель! Ты не веришь, что я его люблю, но ты увидишь, что ошибаешься! Я выйду за него замуж! Я буду думать о нем днем и ночью! Запомни, что я говорю: я люблю его.

Есть природы, готовые разбить свое счастье, если им кажется, что этим они кому-то мстят. Эдварда из них. Она дает согласие на брак с нелюбимым бароном. Эдварда обеспечивает себе в виде единственного реванша присутствие Глана на вечере сговора. Для нее в этот вечер не существует никого, кроме этого, безумно любимого и как бы бешено ненавидимого человека. Но она до конца играет комедию. Она придумывает для него одно за другим самые невыгодные и нелепые положения. То она обличает его в устройстве свидания с прислугой на лестнице, то обвиняет в пролитии вина на платье дам, когда Глан не виноват в этом ни душой, ни телом. Лейтенант кончает вечер грубым скандалом в чужом доме, с оскорблением жениха любимой девушки.

«Пан» разрешается чистой случайностью. Совершенно против своей воли Глан устраивает катастрофу, жертвою которой является ни в чем не повинная женщина, простолюдинка Ева, любившая его простой и немудреной, но крепкой любовью.

Сын лесов потрясен этой катастрофой. Эдварда, невеста чужого, им навсегда потеряна. Ему остается бежать от себя, и он решает уйти куда-нибудь далеко, «в Африку или Индию».

— Я хотела попросить у вас кое-что на память,— говорит ему при последнем свидании Эдварда, кроткая и растроганная прощанием.— Но, боюсь, это чересчур много. Дадите вы мне Эзопа?

Глан отвечает: «Да». Придя домой, он подзывает собаку, гладит ее, кладет свою голову рядом с ее головой и берется за ружье.

«Эзоп,— записывает Глан в свой рассказ,— начал визжать от радости, думая, что мы идем на охоту. Я опять положил наши головы рядом, приставил дуло ружья и нажал курок. Потом я нанял человека отнести труп Эзопа Эдварде».

Глан тоже пожертвовал для своей мести самым дорогим, что у него было. Правда, принесение в жертву себя не то же, что добровольный отказ от собаки, хотя бы и бывшей единственным другом, но поистине художественно-симво-

лично этот труп животного является ответным упреком Глана Эдварде.

Поистине очаровательна та же «битва» мужчины и женщины, рассказанная Гамсуном в пленительной по красоте повести «Виктория», равной которой давно уже не выдвигала литература последних лет. Она вся овеяна молодым, прекрасным вдохновением. Она пленяет и потрясает.

Молодой поэт, вышедший из скромной и скудной семьи мельника, любит с дней ранней юности прелестную дочку местного магната. Он возвращается на родину юношей, уже увенчанным славой, с прежним пламенем любви к ней. Она тоже не любит никого, кроме него, но вся повесть — история ее «сопротивления» ему.

Иоганнес страдает. Иоганнес всеми силами души ненавидит ее жениха. Происходят постоянные соприкосновения их душ. Казалось бы, так ясно, что для Виктории нет никого, кроме Иоганнеса, как для него нет никого, кроме нее. Но Виктория мучает поэта до изнеможения, до отчаяния, до безумного желания мести.

Случайность устраняет ее жениха — он умер. Что случилось с Викторией, что она, покорная и ласковая, вся идет навстречу давно желанному человеку!

— Вы знаете, что я только вас, Иоганнес, люблю, — потрясенная, лепечет она. — Вы, конечно, заметили это? Все эти годы я так тосковала по вас! Этого никто, никто не хотел понять! Я ходила по этой дороге и думала: лучше я сверну в лес на тропинку, там он любит гулять. И я шла туда... Я вас не видала три года. Вы держали ветку в руке, сидели и махали ею, когда я прошла. Когда вы ушли, я подняла ветку, спрятала ее и отнесла домой...

Она — сама нежность, сама любовь. Но... но Иоганнес, мстя за свое непринятое ранее чувство, уже сделал страшный шаг: он отдал себя чужой ему, безразличной, ненужной ему Камилле.

— Теперь вы не должны говорить мне об этом, Виктория! — глухо звучит его голос.

— В чем же дело?

— Я помолвлен, — отвечает он. Это почти ответ Глана: «Вы что-то хотели мне сказать?»

«Виктория», наряду с «Паном» и «Мистериями», — шедевр Гамсуна. Брандес пишет о ней:

«Озлобленная страсть рыдает здесь. Перед вами образ женщины, злобного, упрямого, нервного существа, которое оскорбляет и безжалостно мучит любящего ее человека и

презирает его при людях. Эти страницы написаны с глухой сердечной болью, и трагедия, разыгравшаяся здесь, говорит о судьбе человека, чувства которого скрыты и опутаны тернием, и этим тернием она, и те, кто ее любит, раздирает его сердце».

Х

Роман Глана и Эдварды — центральное в «Пане», если, конечно, не иметь ввиду общего веяния над этой повестью идеи преклонения перед природой. В своей статье о Гамсуне<sup>1</sup> Куприн, в таланте которого удивительно много родственного таланту норвежского художника, хорошо отмечает это. «Главное лицо «Пана» остается почти неназванным,— говорит он,— это могучая сила природы, великий Пан, дыхание которого слышится в морской буре, и в белых ночах с северным сиянием, ползущим вверх по небу, и в «железных» ночах осени, и в шепоте листьев, и в их молчании, и в зове птиц и насекомых, и в тайне любви, неудержимо соединяющей людей, животных и цветы. Нет возможности передать подробно содержание этой книги с ее удивительным, самобытным, волнующим тембром, с ее прихотливыми отступлениями, с ее страстными легендами и горячим весенним бредом, где сон и сон во сне тонко мешаются с действительностью, что и не различишь их. Читаешь роман во второй, в пятый, в десятый раз, и все находишь в нем новые сокровища поэзии — точно он неисчерпаем».

Психолог в понимании капризов любви, аналитик сложных и путанных чувств, Гамсун и в «Пане» не ограничивается историей любви Глана и Эдварды. В их роман клином врезаются отношения Глана к простой женщине — жене кузнеца, Еве.

Немудреное дитя природы, молодая Ева, как и Эдварда, любит в Глане воплощение вечно мужественного начала. Сама дитя деревни, она тянется к нему не контрастом его всем обыкновенным, «одомашненным», комнатным людям, но просто потому, что он — такое же здоровое, нормальное и красивое порождение природы, как и она.

Вся духовная сторона чувства отдана Гланом Эдварде, только ею занят его мозг. Ею страдает его сердце. Но и Ева дорога ему своей простой любовью, без малейшего зигзага коварства, без психологических тонкостей интел-

---

<sup>1</sup> Сочинения Куприна, т. VI, стр. 45—54.

лигентной барышни, без мучительства и игры. Отношения Глана к ней далеко не платонические, но, право, здесь слишком много братского чувства к сестре или отеческого к дочери. Ее простые «бабьи» слова обладают свойством умиротворять его душу, измучившуюся в пытке утонченной и капризной любви. Уж эта-то говорит от простоты сердца, и ей можно верить. И слова ее такие первобытные и нехитрые:

— Ты зовешь меня своей возлюбленной. Я — совсем необразованная женщина, но я буду тебе верна. Я буду тебе верна даже и тогда, если бы мне пришлось из-за этого умереть».

Вы недоумеваете. Вы, может быть, несколько огорчены и разочарованы в Глане, когда перед вами медленно и довольно туго выплывают и обозначаются его отношения к Еве. Большая и почти подавляющая страсть к Эдварде как будто принижена, разбавлена этою близостью к Глану другой женщины. И какой? Неинтеллигентной, примитивной, принесшей слишком земное чувство.

Но Гамсун не клеветает на мужскую натуру. Внешним бытом приблизившийся к дикарю, Глан приближается и духовно к тому первобытному человеку, который, по уверению всех историков культуры, был самым несомненным полигамистом. А с другой стороны, житейский опыт и творчество первоклассных мастеров разве не уверяют нас, что раздвоение души, может быть, не менее обычная вещь, чем и пламенная безраздельная страсть, исключаящая всякую тень мысли о другой? Разве князь Мышкин в «Идиоте» не колеблется между двумя женщинами? И не той же теме посвящены многие страницы «Карамазовых»? Человеческая душа — слишком сложный инструмент, чтобы по психике одного судить о других.

Некоторыми страницами Гамсун дает понять всю разницу между чувством, охватившем Глана к Эдварде и простым влечением к Еве. Глан и в объятиях ее не забывает Эдварды. Будь Ева интеллигентнее, ее общение со своим возлюбленным было бы для нее сплошным страданием. Своеобразное наслаждение доставляет Глану говорить с Евой об Эдварде.

— Я люблю твою молодость и твои хорошие глаза, — говорит он ей. — Накажи меня сегодня за то, что о другой думал больше, чем о тебе. Послушай, я пришел к тебе только затем, чтобы посмотреть на тебя. Мне хорошо с тобой. Я влюблен в тебя. Ты слышала, как я тебя звал сегодня ночью! Я звал Эдварду, фрекен Эдварду, но

подразумевал тебя. Я оговорился, когда сказал «Эдварда». Но не будем больше говорить о ней... Знаешь ли, она совсем не умеет говорить! Она говорит как ребенок. У нее нахмуренный лоб. Она даже не моет руки...

— Но мы ведь не хотели больше о ней говорить! — резонно замечает Ева.

— Да, правда, я забыл,— спохватывается Глан. Но проходит минута, и он снова думает и говорит только о той, недостижимой: — Нет, у нее и красивый лоб, и руки у нее всегда чистые. Это как-то раз случайно были грязные...»

В этом раздвоении перед вами, по словам известного критика Брандеса, «тот вариант любовной истории, основной мотив которого дал нам Мопассан в своем «Notre soeur». Там Андре Мариоль так же глубоко любит одну светскую даму, но получает от нее за это богатство чувства только крошки, падающие с ее стола. Он находит утешение в своем сокрушенном состоянии — утешение в любви к простой девушке, нежно любящей его, ничего другого не видящей, кроме него, и живущей им одним. Так двойная любовь совмещается в человеческом сердце, которое гораздо многостороннее, чем это полагают психологи обыденщины, не переживавшие ее: мучительная любовь к светской даме с одной стороны, и с другой — тихая, счастливая любовь к дитяте природы, глубокая, цельная, которая нежно ласкает и лелеет его больную душу».

«Пан» — чудесная книга, которая одна могла бы составить писателю огромную известность. Чехов называл этот роман «чудесным и изумительным». «Роман,— замечает о нем же Куприн,— написан так, как пишет гений, не справляясь о родах и видах литературы, не думая о границах дозволенного и приличного, принятого и привычного, без малейшей мысли об авторитетах предшественников и требованиях критиков. Оттого-то этот роман так и напоминает аромат дикого, невиданного цветка, распустившегося в саду, неожиданно, влажным весенним утром».

Любовь всегда нечто фатальное у Гамсуна. Она спускается как рок, повисает над человеком и как бы «поражает» его. Все его романы, все его рассказы — это скорбная повесть о людях, которых «Бог поразил» этим смертельным чувством.

«В описании любви как у Гамсуна, так и Пшибышевского вы не найдете ни комически-пикантной эротики Ги де Мопассана, ни слащавой поэзии юбок Петера Нансена.

Они не смотрят на женщину как на кошечку или прерафаэлитскую Кунигунду. Нет, для него женщина — та страшная космическая сила, которая, раз возбудив в мужчине любовь, или убивает, или воскрешает, или бросает его в бездны преступлений. «Знаете, — говорит Иоганнес Викторни, — есть такая пальма, которая цветет раз в жизни, хотя и достигает иногда восьмидесяти лет. Талипотовая пальма. Она цветет только один раз. Теперь я цвету»<sup>1</sup>.

Гамсун часто скользит по случайным увлечениям своих героев и героинь, но для него всегда центрально то чувство, которое только раз приходит к человеку с такой силой, что совершенно сотрясает его, ломает жизнь, оставляет навеки о себе «алое воспоминание».

Стихийный захват человека, великая тайна пола интересуют его больше всего на земле. Если в таких его вещах, как романы «Бенони» или «Роза», перед вами здоровое, нормальное чувство, тихая, неизгладимая любовь удачника Бенони к девушке и женщине, сначала ускользнувшей от него, но потом ставшей его женой, то в многочисленных рассказах Гамсун с гораздо большим интересом следит каприз, изгиб или вывих любви, безумие ее и ее противоречия.

Великолепно показывает он страшную тиранию этого чувства в «Рабах любви», «Завоевателе», «Голосе жизни», «Царице Савской», «На Мавританском острове» и др.

В «Рабах любви» перед вами молодой интеллигент и простая служанка ресторана с двух различных сторон, в разном поле и в разном общественном положении, иллюстрируют непобедимую и непреодолимую власть чувства. «Он» безумно любит какую-то «желтую даму», но эта дама уже отвернулась и уходит от него. Служанка всем пламенем молодого первого чувства любит этого случайного посетителя заведения, дышит им, замирает от одной до другой встречи с ним.

В финале он кончает с собой, она теряет все — и свои сбережения, и свое место, и свой душевный мир. Перед вами два подлинно несчастных человека, два «раба» в самом истинном и трагическом смысле этого слова.

В «Завоевателе» Гамсун рассказывает старую историю, которая — увы! — остается вечно новой. «Он» любит одну, домогается ее. Вся его жизнь окрашена ее прелестью. Но вот встретилась другая, и гаснет чувство. Но «Раз вечером

---

<sup>1</sup> А. Мانتель. «О Кн. Гамсун», стр. 21.



он оставил нераспечатанным до утра письмо красавицы». И вошла в жизнь другая. Прошло опять немного времени, и погас образ и этой — второй. Полная страсти, она пишет ему: «Приезжай на юг, теперь здесь все в цвету». А он, как безумный, бросается на север, потому что там уже мелькает для него третий, новый обольстительный образ.

Жуткую, чисто мопоссановскую тему Гамсун разрабатывает в «Голосе жизни».

На безлюдном бульваре, в гавани Копенгагена молодой писатель встречает вечером незнакомку, по первому впечатлению похожую на «обыкновенное дитя ночи». Он идет за нею. Она не уклоняется от разговора, не препятствует ему зайти к ней, говорит ему свое имя — Эллен. Она рвется к нему и ведет себя с ним как истинная жрица любви. Но все остальное говорит против этого.

И вот светает после ночи таинственной и опьяняющей близости. Уходя, он случайно заглядывает в соседнюю комнату. Какой ужас! Там на длинном столе — покойник в гробу. Это старик, муж 22-летней, так жаждущей жизни женщины! И Гамсун сидит и философствует:

— У мужа есть жена — на тридцать лет моложе его. Он много лет болен, и вот умирает. Свободно вздыхает молодая вдова. Очаровательными безумствами зовет ее жизнь. И она повинуется голосу жизни и отвечает: «иду». И в тот же вечер бродит она по Деставольтскому бульвару»

Молодой лодочник, молодец и красавец Марцелиус («На Мавританском острове») — такая же жертва хищного чувства, как герои «Рабов любви» или Эллен в «Голосе жизни»

Он любит девушку, которая обещает свою руку другому. Терпеливо и долго выжидает Марцелиус, когда его Фредерика пойдет стричь овец на северные горы острова. Здесь он подымает ее на вершину скалы и сбрасывает в пропасть, а сам, «сложив руки и поручив свою душу Богу», спрыгивает в море.

## XI

Чрезвычайно характерно, что Гамсун никогда не подчеркивает не только в своих героях, но даже и в героинях их исключительной красоты, чудесно избегая банального и опошленного приема плохих романистов, у которых красота женщин всегда ослепительна, а мужчины неотразимы. Гамсун слишком высоко чтит саму по себе человеческую личность, человеческое сердце, способное

любить, что для него внешняя красивость почти не имеет значения.

Конечно, большей частью он не отказывает своим женщинам и девушкам во внешней прелести, но в то же время он нисколько не боится проиграть у читателя оттого, если откровенно внесет черточку, понижающую красоту. При первом взгляде на Эдварду Глан находит, что «у нее малокрасивое и ничего не говорящее лицо». Когда через много лет Эдварда снова, уже вдовой, появляется в романе «Роза», романист не стесняется повторить, что «лицо ее не было красиво, было маленькое и смуглое», но «прекрасна была голова». Не смущаясь, он говорит о веснушках, которые портят некоторые из его женских фигур.

Совершенно равномерно Гамсун не идеализирует и мужчин. Аренцена, сумевшего пленить молодую Розу настолько властно, что четырнадцать лет она не может его забыть, он рисует человеком, у которого нет «ни единого волоска на маковке». Череп его совершенно гол. «Сразу видно было,— подтрунивает он,— что человек много учился». Много раз он подчеркивает желтоватые зубы Бенони или угреватое лицо художника из «Розы».

Глубокий и трагический, Гамсун отлично знает, что прелесть женщины не в правильности черт восковой куклы, и обаяние мужчины не в лихо закрученных кверху усах. Умный, находчивый, орел среди кур, Аренцен с своим голым черепом естественно оставляет позади себя всех поклонников Розы. И вы не удивляетесь этому, потому что насмотрелись этого в жизни.

Художнику, который задумал бы написать галерею женских фигур Гамсуна, пришлось бы заполнить целый альбом. Норвежский романист здесь, пожалуй, еще разнообразнее и шире. Тут вы найдете и чистую тургеневскую девушку, готовую отказаться от счастья с любимым человеком только потому, что ее тяготит сознание, что она уже не чиста, уже знала другого (Шарлотта из «Редактора Люнге»). Здесь и глубокие, затаенные натуры, способные любить человека четырнадцать лет до свадьбы и помнить его даже во втором браке настолько, что и самый брак этот кажется им уже каким-то «ненастоящим» («Роза»). Тут и неистощимые капризницы, делающие любовь сплошной прекрасной мукой, как героини «Пана», «Виктории», «Мистерий», «Фантазера», и женщины с каким-то душевным вывихом, граничащим с извращением, как Эдварда (второй фазы), находящая удовольствие купаться вместе с безобразным лопарем Гильбертом, и,

наконец, вольные дети северной деревни, напоминающие своим здоровым, почти звериным чувством образ толстовской Марьянки.

Писатель-психолог, писатель-трагик, Гамсун почти совершенно избегает анекдота. Он готов опуститься до него исключительно в том случае, когда и анекдот дает ему возможность провести любимую идею о подвластности человека року. Таков, например, рассказ «Женская победа», где женщина подговаривает трамвайного кондуктора создать катастрофу, которая бы убрала с земли нелюбимого ею мужа.

В огромном большинстве случаев сюжет Гамсуна прост, сторонится анекдота, чуждается приключений. Захватывает читателя он единственно густотою своего письма, глубиной своей вдумчивости. В высокой степени показателен в этом отношении эпилог к его «Пану» — «Смерть Глана». Как тема толстовской «Смерти Ивана Ильича» алгебраически проста — «умирал и умер человек», — так же проста и тема этой вещи Гамсуна.

Это рассказ о том, как «человек искал смерти и ее нашел». Товарищ Глана по охоте, давно ненавидящий его, давно завидующий ему, пускает ему пулю в лоб. В газету попадает рассказ о «печальной случайности» на охоте. Так просто, так незамысловато, но чувства тоски, жалости, восхищения, умиления перед удивительным образом мужчины, смертельно раненого любовью и не имеющего сил жить и вечно мучиться, волнуют вас, пока вы читаете рассказ, и вызывают вздох, когда вы его закрываете.

Большой писатель, Гамсун властно захватил огромную полосу современной ему жизни и как простой бытописатель. Своеобразная, чуть-чуть суровая, значительно замкнутая жизнь Норвегии становится, благодаря ему, знакомой и понятной русскому читателю.

Как колоритны фигуры старых норвежских помещиков-промышленников в роде Макка, так и напрашивающиеся на параллель нашим старинным крепостникам! Сколько жестокости и вместе с тем наивной простоты, например, в обычае неженки Макка брать для прислуживанья себе при ванне, с истинной бесцеремонностью героев аксаковской «Семейной хроники» или щедринских и мельниковских персонажей, тех из жен своих рабочих, которые ему больше по вкусу!

Короли журналистики, писатели-знаменитости вроде Паульсберга, продувные газетчики, талантливая, но беспутная литературная богема, сельский учитель, рабочая

норвежская девушка, интеллигенция, от провинциальной тоски спивающаяся, — все это зарисовано художественным карандашом Гамсуна. Чаше набрасывающий все эти образы широким и спешным штрихом жанриста, порой и карикатуриста, Гамсун иногда возвышается здесь до трагических образов. Трудно, например, в современной северной беллетристике найти образ, приближающийся по яркости к образу алкоголика Аренцена, делающего даже из своего самоубийства паяснический трюк.

— Не хотите ли поучиться самоубийству, ребята?» — спрашивает он у детей на берегу, и в одно мгновение, пробив тонкую корочку льда, скрывается под водой залива. Через какие-нибудь две минуты его относит туда, где глубина доходит до двадцати сажень.

## ХII

---

Свой идеал «жизни по природе», свой гимн жизни Гамсун обосновывает и отрицательным путем — показанием плоскости и ничтожности жизни города, ушедшего в мелкую погоню за карьерой, молящегося одному золотому тельцу, играющего в жалкую игру: в ордена, выборы, повышения, чины и титулы. Целый отдел в сочинениях его может быть отнесен к категории как бы полемических или сатирических. Эти струны резко звучат в «Нови», в «Редакторе Люнге», в драмах «У царских врат» и в «Вечерней заре».

В «Редакторе Люнге» перед вами весь базар житейской суеты, со скачкою самолюбий, бегами на приз — за деньги или карьеру, со всею водевильной чепухой повышений и крахов, с бурями в стакане воды и войнами из-за выведенного яйца.

Люнге — царь и бог своего маленького газетного царства. Редакция «Новостей» — точка кипения жизни в городе. Здесь постоянная смена лиц днем и ночью, вечные звонки, здесь двери никогда не стоят спокойно на петлях, Люнге рвется прямо к небу, сидя в этом земном сооружении.

Хищно и талантливо он ловит малейший пустяк и ограждает ничтожную искру, если ее можно раздуть в пожар, около которого можно погреть руки. Он возвеличивает людей и шельмует их. Он говорит только о высокой честности, но в нужную минуту не остановится перед подкупом, предательством школьного товарища или пресмыканием перед министром.

Хищная хватка жизни со всеми ее впечатлениями — слабость Гамсуна. По-видимому, иногда сам загораясь, он следит за скачкой Люнге, в которой немудрено сломать голову. Но он не на стороне ни этих Люнге, ни тем более Бондezenов, плотоядных пошляков и робких пенкоснимателей. Гамсун покарал Люнге финальной неудачей. У него «сорвалось», и он пал. Гамсун покарал его и в его любовных историях: он остался отвергнутым и неудачником. Здесь есть высший смысл: высочайшее счастье земли, любовь, согласно учению Гамсуна, предназначены таким, как Глан, Иоганнес, Роландсен, а не таким, каковы Люнге.

Попутно в «Люнге» Гамсун зло клеймит то духовное мещанство городов, которое для него так отвратительно.

Он ненавидит этот человеческий улей, где «всюду смазанные сапоги, паразиты, дешевый сыр и лютеров катехизис». Эти люди «едят и пьют по необходимости, ублажают себя спиртными напитками и политикой и изо дня в день торгуют зеленым мылом, медными гребнями и рыбой. Однако ночью, когда сверкает молния и гремит гром, они лежат плашмя и громко читают в страхе молитвенник. Да, поищите-ка хоть одно настоящее исключение и посмотрите, возможно ли его найти. Дайте нам, например, выдающееся преступление, из ряда вон выходящий грех! Но не смешной, мещанский, азбучный проступок, нет,— какое-нибудь необыкновенное злодеяние, от которого волосы стали бы дыбом; какой-нибудь изысканный, царственный грех, исполненный странного адского величия. Нет, все так ничтожно, Боже мой, как жалко-ничтожно!»

Полемиическая литература Гамсуна является, как и все у него, плодом настроения, проявлением темперамента, она вытекает из его отвращения, недовольства раздражающим тупоумием и сытым довольством среды. Он «хочет пустить стрелу в сторону филистеров — лисиц с пылающими хвостами, он хочет озадачить своих милых современников и нагрубить им. Его скептической музе, охотно ограничивающейся глупостью, чуждо желание усовершенствоваться и обращать на путь истинный. Он сам называет свою озлобленность веселой» (Брандес). Только когда он касается слишком близкой ему области и наболевших впечатлений писательской жизни, он ударяется (в «Нови») «в негодующие разоблачения литературной клики, против мании величия рифмоплетов, против журнального разврата, против фанатиков убеждения и истины, которые в конечном счете являются для него комедиантами, вступающими в гавань счастливых» (Брандес).

Капризы любви исчерпывают содержание романа Гамсуна «Новь» («Новая земля»). Здесь писателя занимает момент разгара чувства, которое по существу уже не свободно, уже отдано другому и скреплено обещаниями и кольцами.

Перед вами проходят две женские фигуры — Ханка Ланге и Агата Линум. И та и другая встретили людей, предложивших им руку и сердце. И та и другая горячо любимы — одна скромным и славным мужем, купцом Тидеманом, другая — таким же честным, сердечным и по-своему довольно глубоким собратом его, Оле Генрихсеном.

И Ханка и Агата до известной степени успели уже оценить — одна своего настоящего, другая — будущего мужа и привязаться к ним. Неяркий, все менее гениальный, но в своем деле способный, толковый и предприимчивый Тидеман проявляет в отношении своей жены такую высокую интеллигентность, такое благородное сознание свободы женщины, что в обычном буржуазном обществе, немецком или русском, он был бы даже исключением из ряда.

Он крепко любит свою жену, однако не только не отравляет ей жизни своей ревностью, но предоставляет ей ту свободу, которая может создать для женщины опасность. Он предоставляет ей быть с тем, с кем ей нравится, выходить из дома одной, обедать в ресторанах, открыто и при нем преклоняться пред талантливостью молодых поэтов и художников, которые случайно оказались ее знакомыми.

Та же сердечность, та же душевная чуткость и уважение к женщине отличают и Оле. Однако намеренно на примере той и другой женщин, находящихся в таких благоприятных условиях, Гамсун показывает вам, как тихая привязанность жены и невесты рискует разлететься дымом в ту минуту, когда к ним подкрадывается страсть.

### ХIII

---

Роковую роль в отношении и первой, и второй женщины суждено сыграть молодому поэту Иргенсу. Что неотъемлемо у Иргенса — это его талант. Его книжка стихов ударила по сердцам. Он вдруг стал громко известен в своей стране. В той маленькой стране, в которой живет и пишет Гамсун, известность сопровождается плодами и терниями более явными, чем где-нибудь в иных, огромных государствах.

Иргенса знают все — от высшего интеллигента до случайного извозчика. Когда он появляется на гуляньи, он

слышит сзади с уважением произносимое свое имя. Он — богема. Очень часто он не бедствует только потому, что ему удается перехватить кое-что у кого-нибудь из приятелей. За целый сезон ему иногда не приходится переменить одежды.

Но у него страстный, хищный и самоуверенный темперамент, он быстро загорается, он весь полон образами и может говорить — в особенности с женщиной, которая его заинтересовала, — красиво и почти вдохновенно.

И вот Ханка, а позднее и Агата, неудержимо летят на этот огонек и обжигают себе крылья. Тидеман уже давно видит подкрадывающуюся опасность. Что-то слишком часто Ханку видно с молодым писателем. Слишком часто она говорит о нем, и слишком откровенно звучит ее сожаление по отношению к мужу — «как жаль, что ты не поэт!». Но в этом теле купца — гордая и самолюбивая душа. Тидеман не хочет вынужденной любви и предоставляет Ханке плыть по течению.

Ханка уходит от него и приходит к Иргенсу, но — увы! — в ту минуту, когда уже *не она* царит в его душе. Увлечение Иргенса ею уже миновало. Уже весь он во власти своеобразной прелести юной, свежей, девственной Агаты. Он давно привык шагать по самолюбиям и по чужому счастью, и он прямо говорит горькую правду недавно любимой женщине.

Ханка потрясена, Ханка плачет. Она оскорблена за женщину и за женское чувство. Ее счастье, что Тидеман не перестает любить ее меньше ни на одну йоту после разрыва. И она возвращается к нему, и они оба переживают прелестную поэму примирения и возвращения к любви, которая на этот раз, кажется, уже застрахована от всяких трагических случайностей. Ханка поумнела, и теперь ей кажется, что, в сущности, и захваченная бурей, она не переставала любить только одного мужа.

Драма разрыва не минует и Генрихсена. Агата возвращает ему кольцо и уходит к Иргенсу. Надолго ли? Гамсун на это не отвечает, торопясь опустить занавес. Но если девушка верит в прочность своего счастья, то вы этому верите мало. Тень Генрихсена, не сумевшего перенести горя и застрелившегося, точно требует себе возмездия.

В противоположность «Пану», «Новь» — поэма города, правда северного города, чуждого той горячки, какая отличает юг. Но во всяком случае это беспокойный город с суетливой толпой, с жизнью, вынесенной из тихого, уютного дома в оживленный ресторан, где всегда накурено,

пахнет вином и пивом, где шумят, чокаются, говорят умные и глупо-пьяные речи, смеются, отбивают чужих жен, хвастаются успехами, играют популярностью.

Гамсун, несомненно, имел всю возможность изучить эти нравы, в особенности нравы литературной богемы, и он умеет мастерски воссоздать это городское настроение, немощко, а иногда и очень нездоровое, нервное, повышенное. Оно — полная противоположность трезвому спокойствию и суровой красоте того фона, какой взят для «Пана» или «Виктории». Гамсуну слишком известны эти бессонные ночи, проводимые за столами с бутылками, — ночи, после которых человек хвастливо сообщает попадающим на улице приятелям: «А я сегодня не ложился», — эти споры об искусстве и поэзии, чтение вслух стихотворений по едва высохшему черновику, тщеславные мечты вслух о денежной премии за удачное произведение и эта цепь довольно первобытных интриг в борьбе за лавры.

Сатирическая нота, всегда свойственная Гамсуну, когда он берется живописать город с его культурной ложью и пошлой условностью, звучит и в «Нови» сильно и уверенно. Но душевная работа его героев и здесь, как везде, была для него главным. С тонкой внимательностью он следит за первыми искрами зарождающегося чувства к Иргенсу и в Ханке, и в Агате. Он не боится утомить вас подробностями первых приближений хищника-мужчины и к доброй семьянинке Ханке, и к застенчивой девушке, почти девочке Агате.

И вы действительно не утомляетесь этими подробностями и не имеете повода соскучиться. Аромат робкого, пугающего и тщетно подавляемого влечения захватывает вас. Вы жадно следите за этими встречами, стараясь уловить, какой новый шаг в сторону победы делает на ваших глазах молодой и интересный хищник.

И стоит отметить, что Гамсун достигает этого захвата внимания отнюдь не прибегая к исключительной идеализации Иргенса. Он постоянно подчеркивает, что он талантлив, но не заслоняет ни одного из крупных его недостатков.

Волчья жизнь привила ему и все волчьи повадки. Его гордая уверенность в себе сплошь выливается в неприятное и отталкивающее самохвальство. Он эгоист до мозга костей. Он ничуть не хочет скрывать, хотя бы из простой учтивости, что его «я» для него важнее всего на свете. Ему нисколько не претит брать деньги от женщины, становящейся ему близкой, хотя он не может не знать, как это называется. Когда его надменная уверенность, что



премия выпадет его книге стихов, а не кому другому, разлетается, или когда, встреченный молчанием, он хочет добиться через женщину отзывов критики,— его положение сколько трагично, столько же и забавно.

И однако именно благодаря этой объективности рисовки Иргенс перед вами — человек с плотью и кровью, и его романтические и житейские приключения интересуют вас до конца.

#### XIV

---

Из мужских типов Гамсун очень любит тип умного и талантливого выходца, своею грудью и умом прокладывающего себе дорогу к видному положению. Больше, чем у какого-либо другого романиста, у него повторяется так напрашивающаяся на автобиографическое истолкование история расцвета таланта, вышедшего из самых низов жизни.

Таков Иоганнес в «Виктории», уходящий из родного сельского уголка никем неизвестным сыном скудного мельника и возвращающийся туда известным поэтом. Таков в значительной мере Иргенс в «Нови». Сам кузнец своего счастья — студент из крестьян редактор Люнге в одноименном романе.

Талантливым самоучкам, каков он сам, Гамсун уделяет место и во многих других романах и повестях. Разве не таков фантазер Роландсен («Фантазер» или «Сумасброд»), вбивший себе в голову мечту придумать такой способ вываривания клея из рыбьих костей, который опередил бы выгодностью все существующие способы?

Роландсен настойчиво сидит над своей идеей. Ради нее он готов пойти почти на преступление. Чтобы раздобыть необходимые для начала деньги, он берет на себя отвратительное обвинение в воровстве. Но фантазер не напрасно фантазировал. Секрет, который он искал, действительно оказывается в его руках. Вчера еще пустой человек, Роландсен сегодня уже богатч, которого телеграф засыпает соблазнительными предложениями. Роландсен не упускает момента. Еще день, и он — компаньон богатейшего фабриканта, а затем — жених его дочери, девушки, которой он трепетно помогался.

Не такова ли судьба и Бенони Гартвигсена («Бенони»? Гартвигсен, которого все называют как простолюдина по имени, в первых главах романа скромно рыбачит, «как

все», на морском берегу. Он уже на высоте счастья, когда добивается должности незаметного почтаря.

Но вот к Бенони ласково поворачивается судьба. Почти чудом на его долю выпадает великолепный улов шальной сельди. Вчерашний почтарь вдруг становится зажиточным человеком. Он умен, предприимчив, умеет в нужную минуту рискнуть и все поднимается выше со ступеньки на ступеньку.

Еще новый счастливый поворот, и за гроши купленную землю ему удастся сбыть за сорок тысяч долларов увлекшемуся англичанину: в земле оказываются великолепные залежи серебра. Бенони превращается в настоящего богача. Жизнь его становится содержательной, полной, — значительной настолько, что Гамсун посвящает ему еще новый роман («Роза»).

Можно уловить чувство захвата в самом Гамсуне, когда он рисует такие фигуры удачников. Может быть, здесь есть какой-то отзвук его личной биографии и психологии. Точно видишь радость на его лице при каждом новом счастливом шаге его героев. «Все удача, удача, но надо же что-нибудь отнести и на долю ума!» Это суворовское положение Гамсун глубоко разделяет. Никогда у него блага не сыплются как из рога изобилия на дураков или бездарностей. Это люди, которые при своем низком происхождении всегда талантливые и разносторонние. Им повезло в их деле, но они не потерялись бы и ни на каком другом поприще, как не потерялся и сам Гамсун, когда судьба играла им, как мячиком, перебрасывая из сапожников в угольщики и из рабочих американской прерии в газетные сотрудники.

В повести «Под осенними звездами» лично знающие Гамсуна готовы видеть в рассказчике почти не замаскированную фигуру самого поэта.

## XV

---

В трех драмах Гамсуна, связанных одним общим героем, дерзновенным ученым Карено, — «У врат царства», «Игра жизни» и «Вечерняя заря», — автор ведет свою излюбленную тему человеческого дерзания, борьбы за высокое в жизни против моря пошлости, и, с другой стороны, трагедию чувства, превращающего жизнь в сказку или пытку.

Судя по первым страницам этой трилогии, можно было бы думать, что перед нами выступит великолепный образ нового доктора Стокмана, борющегося против людской



принца-регента, на долю которого выпадает нелестная роль всегдашнего первого раба у любимой жены. Он не останавливается перед изменой и отречением, лишь бы подойти к ней властелином. Холодная к нему поначалу, царица наконец убеждается в силе его души и покорно становится его рабой.

Гамсун всегда тяготел и к стихотворному жанру. Итогом этого влечения являются его сборник стихотворений «Дикий хор», свод лирических элегий и песен, отмеченных обычной для него страстностью и импрессионизмом, и драматическая поэма «Мункен Вендт» (1902), написанная под видимым влиянием «Пера Гюнта» Ибсена.

## XVI

---

Особое место в сочинениях Гамсуна занимают его путешествия. Не считая мелких этнографических рассказов, три большие книги его посвящены впечатлениям поездок. Это — «Духовная жизнь Америки», «В сказочной стране» (Путешествие на Кавказ) и «В стране полумесяца» — впечатления от поездки в Турцию.

«Тоску по путешествиям» Брандес объясняет в Гамсуне страхом перед банальностью. Вот строки в биографию поэта, написанные знаменитым датским критиком: «Не только одна нужда, хотя она, быть может, и была внешним толчком, не только голод тела, но также и жаждущая фантазия двинула Гамсуна в путь. В нем проявляется что-то «горьковское», что-то «босаяцкое»: голодание и одиночество, исполнение низких работ, предание себя в руки случая и всяких превратностей судьбы кажутся ему такими же заманчивыми, как если бы он витал в атмосфере чудной дали, и если бы его окружало что-то дикое и жгучее».

Собственные заключения Гамсуна об американской культуре убийственны. «Американцы — люди предприятий, а не искусства. Они ждут платы за искусство. Они не понимают его, как не понимают и литературы». «Их литература безнадежно бедна талантами и игнорирует настоящую жизнь. Американское искусство — это плод, выросший на почве торговой страны, овсянной клерикальным духом и патриотизмом сверх всякой меры». Гамсун зло издевается над стихами Уитмена и над содержанием газеты, какое интересуется янки. Он протестует всей силой своих выражений против ходячего восхваления американской «свободы». «Если свободные американцы замечают в

ком-либо какие-нибудь идеи, они тотчас же вешают таких людей!» Вот их свобода.

И почти как проклятие далекой и чуждой стране звучат строки, какими норвежский романист заканчивал свою книгу:

«Во всей громадной стране не найдешь ни одного сомневающегося, ни одного ищущего света и возмущенного духа, который бы сбился с такта, внес бы сознательную дисгармонию в плачевную музыку, исполняемую оловянными трубами. Все живут в согласии... под громкие крики «ура». Это страна крика, пара и огромных стонущих чеканных машин; мировое государство, в котором сошлись люди всех поясов земного шара, начиная с белых жителей севера до обезьян тропиков и духовных мулатов включительно. Страна с мягкой плодородной почвой и нетронутыми первобытными лугами... Страна с черным небом...»

Если горьковская непосредливость закинула Гамсуна в Америку, то в Турцию, несомненно, потянула его так свойственная ему жажда, живя за земле, увидеть все волшебные земные сказки.

В той же манере, которая отличает его книгу об Америке, Гамсун описывает в «Стране полумесяца» свое передвижение по Босфору, Константинополь с его мечетями и кофейнями, базарами и кладбищами, греками-проводниками и священниками, муллами на минаретах и султаном в своем гареме, правоверными турками, евреями и т. д. и т. п.

Гораздо менее сказалась здесь личность норвежского писателя. Это та его книга, которую изучающий Гамсуна мог бы справедливо отложить на дальнюю полочку.

Зато с особенным интересом русский прочтет «В сказочной стране» — «пережитое и передуманное» Гамсуном во время поездки его через Петербург и Москву на Кавказ.

Вот книга, где, может быть, всего откровеннее сказался превосходный юмор Гамсуна. Здесь нет и тени той враждебности, с какою он отнесся к Америке. Предобродушно он описывает даже историю своего ареста, без которой так-таки не могла обойтись в России даже поездка иностранца!

Гамсун почти пленен своеобразием славянской страны и расы, оригинальностью наших красок, самобытностью культуры и искусства.

«Я могу сказать, — пишет он, — что побывал в четырех из пяти частей света. Правда, я не проникал в них довольно далеко, а в Австралии не был и вовсе, однако ноги мои изрядно постранствовали по свету, и я всего

повидал, но никогда не видывал ничего хоть несколько похожего на московский Кремль! Я видел прекрасные города. Прага и Будапешт красивы, но Москва сказочно хороша... В Москве 450 церквей, и когда звонят колокола на всех колокольнях, воздух сотрясается над городом с миллионным населением. С высоты Кремля взор погружается вниз в целое море великолепия. Я никогда не думал, чтобы на свете существовал такой город! Позолота и лазурь куполов затмевают все, о чем я когда-либо мечтал...»

В книге, посвященной Кавказу, «какая-то чахоточная наблюдательность, нежно-сердечная терпимость наполняет Гамсуна, и сама ирония здесь — уже не бичующая фурия, но забавный, любезный придворный шут. В таком настроении Гамсун дает счастье всем: лезгину в фантастическом уборе с саблями, кинжалом и пистолетами у пояса, продающему в своей курной лавочке папиросы; людям, сидящим под акациями, разговаривающим или мечтающим про себя; балалаечнику, сидящему перед лавкой и наигрывающему на своем инструменте, просто и невнятно, мелодию об устарелой жизни, отражающей в себе любовь, волнующуюся степь и шелестящую листву акации...» (Брандес).

Гамсун преклоняется пред русской литературой. Мы видели, как восторженно он говорил о Достоевском. Приблизительно так же нравится ему и все иное в русской жизни — русские щи, которые он ради проявления своего каприза ест... с икрой, русская балалайка, эта «музыка из каменного века». Без всякого раздражения он «подкупает» кондуктора, чтобы ему дали поспокойнее купе, благодушно наблюдает русские железнодорожные порядки. На минуту он хочет напустить на себя «русачество» и принять все, что видит на нашей родине.

Надо думать, известная родственность души северянина примирила Гамсуна со всей Россией в целом. Могло играть известную роль и то, что жизнь в Америке была для Гамсуна эпохой уничтожения и голодания, Россию же он пересекал уже признанным писателем на правительственную стипендию.

## XVII

---

На всем писательском труде Гамсуна блистательно сказалась его творческая *личность*. Это — один из самых самобытных и оригинальных писателей. Знающий человек отгадает Гамсуна по одной странице его письма — так он

своеобразен. На всех его героях лежит печать его психической особенности, и если о каком писателе справедливо сказать — как о наших Достоевском и Толстом, — что они творят своих героев по образу своему и подобию, то для иноземного севера после Ибсена это всего справедливее о Гамсуне.

Своеобразнейший талант, извивающийся как бы в судорогах самоизмышленных мучений любви, Гамсун — яркий представитель писательского импрессионизма. Весь мир он пропускает через свой глаз, все в мире окрашено его настроением. Он все одухотворяет и все в природе облакает в образы. Кажется, он поистине верит в душу дуба или сосны, в душу воды или земли, как их воплотил Метерлинк в «Синей птице». Он ловит в серой скале «выражение дружеского расположения» и, когда настроен мрачно, чувствует угрозу темных деревьев в лесу. Здесь Гамсун совсем близко подошел к модернизму, даже к капризу и излому декадентства, но от книжного, теоретического модернизма и декадентства он не взял ничего. В противоположность болезненному вычуру модернизма, он принес в литературу удивительное здоровье, трезвость мысли, пленительную наивность глаза и уха человека земли.

Писательская манера Гамсуна — гибкая, разнообразная, всегда удивительно соответствующая предмету.

«Гамсун, — закончим словами Куприна, — не создаст школы: Он слишком оригинален, а подражатели его всегда будут смешны. Он пишет так же, как говорит, как думает, как мечтает, как поет птица, как растет дерево. Все его отступления, сказки, сны, восторги, бред, которые были бы нелепы и тяжелы у другого, составляют его тонкую и пышную прелесть. И самый язык его неподражаем — этот небрежный, интимный, с грубоватым юмором, непринужденный и несколько растрепанный разговорный язык, которым он как будто бы рассказывает свои повести, один на один, самому близкому человеку, и за которым так и чувствуется живой жест, презрительный блеск глаз и нежная улыбка».

## XVIII

Родина Кнута Гамсуна — м. Лозн, в Гудбрандстале, в северном департаменте Норвегии, дикая местность, лесистая и горная. Он родился здесь 4 августа 1860 г.

Это бедное местечко, где крона — большие деньги, где жители едят мясо только по праздникам. Во времена

детства Гамсуна здесь, случалось, голодала вся община. Ей приходилось плохо, если промышленник не соглашался дать муки и соли в счет охоты и улова.

Подлинное имя Гамсуна — Кнут Педерсен. Свой псевдоним «Гамсун» писатель взял от своей норвежской деревни (собственно «Гамсунд») вместо «мужицкого» Педерсен.

Маленький Кнут, проживший детские годы на Лофотенских островах, был мальчиком у сапожника в Боде, ходил одновременно учиться в школу и обучаться ремеслу к сапожнику. «Пожалуй, и теперь я был бы недурным мастером», — сказал он однажды интервьюеру.

Это было еще ничто в сравнении с тем, что пришлось ему пережить позже. Сбежав от сапожника, он много мытарствовал и, как высший пост в жизни, занимал должность писца у деревенского констебля.

Здесь-то, «будучи на государственной службе в качестве ближайшего помощника сельской власти», он начал писать.

Произведения свои Гамсун долго прятал от нескромных глаз и от заслуженных насмешек.

В этой выдержке была своя хорошая сторона. Всякое тайное занятие разжигает творца. Если бы Гамсун тогда же получил поощрение, быть может, оно погубило бы его. Но тайное писание, дрожание ночью над бумагой, рой мыслей, робкие начинания — все это, по его словам, заставляло думать и... любить тот «порок», которому он предавался.

Рассказ Р.-Б. Андерсона из Мадисона (в Америке), помещенный в газете «Eidsvoid», издающейся в Америке на норвежском языке, будто бы Кнут Педерсен, написав целую кипу стихов, отправился в Христианию и там, добившись аудиенции, представился королю Оскару, который «вынул 20 крон и дал их Педерсену в виде как бы поощрения», — есть чистый вымысел, впоследствии опровергнутый самим автором «Пана»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Нелишне предупредить читателя о крайне осторожном отношении его к всему тому, что сообщает Андерсон в своей чрезвычайно интересной, но, к сожалению, наполовину вымышленной статье, тем более, что статья эта появилась и в русском переводе. Сам Гамсун написал на нее довольно длинное возражение в тоне, не скрывающем крайнего раздражения. Как Андерсон не постеснялся говорить о каких-то засаленных листках гамсуновских рукописей, о почти босяческом положении будущего писателя, об его лености и нерадивости по службе, так Гамсун совершенно не церемонится с своим непрошенным «биографом» и даже не останавливается перед титулами «старого шута» или «старого дурака» в его адрес. В самом деле, после поправок и опровержений поэта от показаний профессора (впоследствии посланника) остается немного.



Лишившись службы в волости, Гамсун сделался каменщиком. «Таскать булыжники и мостить улицы,— подлинные слова писателя,— совсем уже неплохое занятие... По крайней мере, честное. Но руки грубеют от работы, невозможно держать перо в руках».

А бросить это перо он не хотел ни за что, видя в этом свое назначение.

Не без препятствий Педерсен разыскал Бьерстьерне Бьернсона. Знаменитый писатель, узнав, что молодой человек собирается в Америку, дал ему рекомендательное письмо к капитану Мозсуэ.

Гамсун отправился в Новый Свет на океанском пароходе в качестве кочегара. В Эльрое жил брат Гамсуна, и будущий писатель пробыл здесь два с половиной года, пока не выучился более ли менее языку янки. Отсюда он направился на запад, в Маделию, а оттуда — в Миннеаполис.

Как ранее в Христиании, так здесь, в Америке, молодому мечтателю пришлось пережить периоды острого голодания. Здесь он пережил лично многое из того, что написано в «Голоде».

«Безумие овладевало моим мозгом от недостатка пищи в течение нескольких месяцев подряд».

«Прошло уже немного времени, а еще до сих пор я помню это, и меня тошнит, физически тошнит от этого ощущения. Есть незабываемые вещи»,— эти слова сказаны им позднее одному из норвежских журналистов.

В Чикаго будущий писатель девять месяцев исполнял обязанности кондуктора конки.

В Америке же, на лугах Техаса, Гамсун, по рассказу Брандеса, был работником на огромной паровой молотилке, от которой по лугу неслись облака мякины, пыли и шелухи. На мелях Ньюфаундленда он, стоя с русским кораблем, ловил треску.

«Лето и зима чередовались, а они все находились на том же месте среди моря, на рубеже двух частей света, Европы и Америки, и ловили треску. Ничего, кроме тумана и моря, ничего, кроме ветра и бурь или тупо-тихой жизни. Только изредка показывался исчезающий далеко в тумане корабль эмигрантов, могучий колосс, бросивший далекую тень и гнавший полны до стоявших на якоре рыбацких лодок. В этих краях царила необъятная печаль тоскливого одиночества, напоминающего ту *grande monotonie de la mer*, то великое однообразие моря, какое запечатлел Лоти.

Отсюда у Гамсуна прекрасное знание быта рабочих прерий и «морских волков», сказывающееся в таких, например, рассказах, как «Закхей» или «Шкипер Рейерсен».

В Миннеаполисе в те дни проживал Христофор Янсон, унитарский священник и известный писатель. Гамсун вскоре стал его другом.

В 1885 г. Гамсун перенес тяжелую болезнь. Сам он мечтал только об одном — уехать в Норвегию. С трудом достав денег на билет, Гамсун уехал и скоро совсем поправился.

Некоторое время по возвращении на родину он кормился мелкими художественными статейками и фельетонами в газетах, перебиваясь, что называется, с хлеба на квас.

В 1886 г. он снова поехал в Америку в качестве фельетониста от газеты «Verdensgaang».

За этим последовали очерки «Духовной жизни Америки» (1889) — злое сатирическое изображение американских нравов.

Конечно, поначалу путь Гамсуна к успеху был сплошь покрыт терниями. Даже в людях, более или менее знавших его, он не нашел никакой веры в себя.

В Копенгагене Гамсун долго искал издателя для своей книги. Он обходил их несколько, но никто не заинтересовался его манускриптом.

В американское посольство доступа Гамсуну не было, да и самая книга, как известно, была сплошным поруганием всего американского. Продать свою рукопись ему долго не удавалось, и в конце концов он оказался без денег, крова и куска хлеба.

Теперь ставший посланником, тот же самый Андерсон, переслав ему несколько раз письма, приходившие на его имя в посольство, под конец через служанку объявил, что такое получение писем должно быть прекращено.

Забравшись в рынок св. Ионы, он голодал. Но художник в нем не умер от голодовки: голодая, он описывал свои настроения.

Вскоре у Гамсуна написались целая глава книги, которую он назвал «Голод». С этой главой он пошел к редактору газеты «Ny Jord». Редактор взял рукопись и заплатил Гамсуну небольшой гонорар.

Когда отрывок был напечатан в газете, он вызвал редкую сенсацию. Весь литературный Копенгаген спрашивал: «Кто этот Гамсун? Где он живет?»

Когда узнали, что он живет на рынке св. Ионы, туда начались паломничества. Приходившие к нему люди

заставали «огромного верзилу, но бескровного и тощего, как скелет».

С этой минуты судьба, бывшая до сего времени для Гамсуна мачехой, повернулась к нему, как к своему баловню.

«Гамсун,— признает даже проф. Андерсон,— сделался знаменитостью во всей Дании, можно сказать, в один день. Его начали приглашать в лучшие дома. Сразу нашелся издатель и для его грязной рукописи «Духовная жизнь современной Америки».

Затем писатель уехал в Норвегию. Его уже ждал здесь большой успех. Он стал зарабатывать хорошие деньги. Горькие дни для него навсегда миновали.

В 1890 г. вышел отдельной книгой переработанный «Голод», и с того времени ежегодно издавалось по одному-два романа Гамсуна.

В Норвегии литературный заработок даже признанных писателей далеко не грандиозен. Гамсуну приходилось считаться с внешней необеспеченностью очень долго. В последние годы его заработок значительно увеличился за счет переводов.

Переведены произведения Гамсуна на четырнадцать языков. Известность его была признана мировой. В России восторженная статья (по поводу «Пана») сразу же появилась в «Сев. Вестнике» и принадлежала поэту К. Льдову.

Популярность Гамсуна огромна у себя и за границей. Многие едут в Норвегию только для того, чтобы побывать на родине Гамсуна. Особенно любят его русские.

Сам Гамсун рассказывал, что к нему ездили из России, чтобы побеседовать с ним. Артистки, журналистки бомбардировали его письмами на розовой бумаге, портретами и высушенными цветами. И при этом он выдвигал ящик письменного стола и действительно показывал целую кипу писем: он ведь и прочесть-то их не успевал!

И очень мало счастливых, которым лично удавалось добраться до Гамсуна.

Любопытную характеристику ему как человеку дает одна русская переводчица.

«Существует,— пишет она,— собственно два Гамсуна. Один — всецело поглощенный тем своим произведением, которое он в данное время задумывает и пишет, крайне нелюдимый, живущий где-нибудь на чердаке, так, чтобы его невозможно было отыскать, и строго-настрога запре-

щающий своему издателю сообщать кому бы то ни было его адрес.

Другой Гамсун — по окончании работы — таков, каким он изобразил себя в повести «Под осенними звездами», пьющий вино, виски,— много виски.

В то время Гамсуна можно было встретить во всех ресторанах в компании местной художественной и литературной богемы.

Ни тот, ни другой Гамсун не может быть доступным и общительным собеседником, тем более для иностранной публики, так как он говорит почти исключительно на норвежском языке».

Своеобразная черта его — боязнь до болезненности всего, что походит на рекламу. Его биографический очерк пришлось с большим трудом составлять по там и сям разбросанным мелким заметкам. Неоднократно он категорически отказывался дать составителям историй о литературе хоть какие-либо сведения о себе.

Характерны в этом отношении шесть строк, посланные им в ответ на просьбу Альберта Лангена написать свою краткую автобиографию для его каталога изданий.

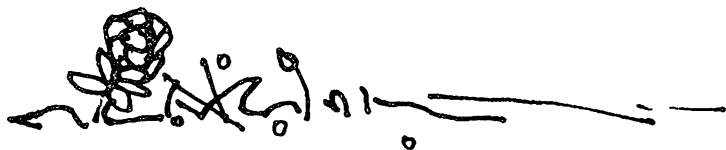
Гамсун написал:

«Прошу Вас, напишите биографию сами. Начните ее 4-м августа 1860 г., когда я родился, и продолжайте ее многими прекрасными словами далее до настоящего года. Ибо что я должен собственно сказать? Я думаю, что люди смертельно устали от всяких биографий авторов всего мира. А нас так много!»

Другому лицу Гамсун сказал:

«Теперь все горят желанием читать мою биографию. Я со всех сторон из России получаю просьбы написать ее, особенно когда узнали, что в будущем году мне стукнет 50 лет. Но... *рассказать о себе всю правду я решил бы разве на смертном одре*».

ПАН





В последние дни я все думал и думал о вечном дне северного лета. Я сижу здесь и думаю о нем и о домике, в котором я жил, и о лесе за домиком, и хочется мне записать кое-что, чтобы скоротать время и доставить себе маленькое развлечение. Время тянется очень медленно. Я никак не могу заставить его идти так быстро, как мне хочется, хотя у меня нет никаких забот и веду я самую веселую жизнь. Я всем доволен, а мои тридцать лет — не Бог знает какой возраст. Несколько дней назад я получил издалека два птичьих пера от человека, который вовсе не должен был посылать их мне, — два зеленых пера в листе почтовой бумаги с короной, запечатанном облаткой. Я был рад увидеть два таких дьявольски-зеленых пера. И вообще я совершенно здоров, если не считать изредка легкой ломоты в левой ноге после старой, давно зажившей огнестрельной раны.

Я вспоминаю, что два года назад время шло очень быстро, несравненно быстрее, чем теперь. Лето прошло так, что я не успел и оглянуться. Два года назад, в 1855 году — я хочу написать об этом ради собственного удовольствия — со мною случилось кое-что, или мне это пригрезилось. Теперь я уже забыл многое из того, что я переживал тогда, потому что почти не думал об этом с тех пор, но я помню, что ночи были очень светлы. Многие вещи представлялись мне также совсем в превратном виде. В году было двенадцать месяцев, но ночь превратилась в день, и на небе никогда не было видно ни одной звезды. И люди, которых я встречал, были особенные, не такие, как те, каких я знал раньше, и иногда довольно было одной ночи, чтобы они вдруг созрели, выросли и

развернулись во всем своем великолепии. Колдовства никакого тут не было, но я никогда не переживал этого раньше. О, нет, никогда!

В большом белом доме у моря я встретил человека, на короткое время занявшего мои мысли. Я уже не вспоминаю о нем постоянно — нет, я совсем забыл его теперь. Зато я думаю обо всем другом — о крике морских птиц, об охоте в лесу, о моих ночах, о жарких летних часах. К тому же и свел-то меня с этим человеком случай, и не будь этого случая, он не занимал бы моих мыслей ни одного дня.

Из моей избушки я видел множество разбросанных островов, островков и шхер, кусочек моря, несколько синееющих горных зубцов. За избушкой тянулся лес, огромный лес. Я преисполнялся радостью и благодарностью от запаха корней и листы, жирного, чуть-чуть мозглого запаха сосны. Только в лесу все во мне затихало, душа моя становилась спокойна и могуча. Каждый день я уходил в горы с Эзопом и ничего больше не желал, как только бы ходить так всегда изо дня в день, хотя земля еще была наполовину покрыта снегом и мягкой грязью. Единственным моим товарищем был Эзоп. Теперь у меня Кора, но в то время был Эзоп, моя собака, которую я потом застрелил.

Часто по вечерам, когда я возвращался после охоты в свою хибарку, теплое чувство домашнего уюта обнимало все мое тело, приводило мою душу в сладкий трепет, и я шел и говорил с Эзопом о том, как нам хорошо. «Ну вот, теперь мы разведем огонь и изжарим себе птицу,— говорил я,— что ты на это скажешь?» А когда все это было сделано, и ужин наш кончен, Эзоп заползал на свое место за очагом, а я зажигал трубку и ложился на часок на нары послушать глухой шелест леса. В воздухе чуть-чуть потягивало, ветер дул в сторону избушки, и я ясно мог слышать, как далеко в горах токует тетерев. А то все было тихо.

И много раз засыпал я так, совсем одетый, как был днем, и просыпался только тогда, когда начинали кричать морские птицы. И когда, бывало, я выглядывал в окошко, я мог различить большие белые строения торгового местечка, пристани Сирилунда и мелочную лавочку, где я покупал себе хлеб. И я лежал некоторое время, дивясь тому, что я вот здесь, в хижине, в Норвегии, на опушке леса.

Эзоп потягивался своим длинным тонким туловищем за очагом. Ошейник его звенел, он зевал, вилял хвостом, а



я вскакивал после этих трех-четырех часов сна, отдохнувший и готовый радоваться — всему, всему.

Много было таких ночей.

## ГЛАВА II

---

Пускай идет дождь, воеет буря — это неважно. Часто бывает, что такая вот маленькая радость овладевает тобой в дождливый день, и ходишь ты один со своим счастьем. Стоишь тогда и смотришь прямо перед собой, изредка тихонько посмеиваешься и оглядываешься по сторонам. О чем тогда думаешь? О блестящем стекле в окне, о солнечном луче на стекле, о виде на ручеек, а может, и о просвете синего неба. Только и всего. Но большего и не нужно.

А в другое время даже самые необыкновенные события не могут вывести из безучастного и унылого настроения. В бальной зале можно сидеть равнодушно, скучая и замкнуто. Это оттого, что источник радости или печали — в самой душе человека.

Я вспоминаю один день. Я сошел на берег. Меня захватил дождь. Я вошел в открытый лодочный сарай и присел там. Я напевал про себя вполголоса, но без радости, без всякого удовольствия, просто так, чтобы провести время. Со мной был Эзоп, он сел и насторожил уши. Я перестал напевать и тоже прислушался: снаружи слышались голоса, подходили люди. Случай, самый обыкновенный случай. Двое мужчин и девушка шумно вбежали ко мне. Они кричали, смеясь, друг другу:

— Скорее. Здесь мы можем спрятаться от дождя.

Я встал.

На одном из мужчин была белая ненакрахмаленная манишка, которая теперь вдобавок намочла от дождя и обвисла. В этой мокрой манишке торчала бриллиантовая булавка. На ногах у него были длинные остроносые башмаки довольно франтовского вида. Я поклонился ему — это был господин Макк, торговец, я знал его по мелочной лавке, где покупал себе хлеб. Он даже как-то раз приглашал меня к себе в дом, только я до сих пор еще не побывал у него.

— А, знакомый народ! — сказал он, увидев меня. — Мы собрались на мельницу, но должны были вернуться. Ну, и погодка, а? А когда же вы пожалуете в Сирилунд, господин лейтенант?

Он представил мне маленького чернобородого господина, бывшего с ними, доктора, жившего у соседней церкви.

Девушка подняла вуаль на нос и вполголоса разговаривала с Эзопом. Я обратил внимание на ее кофточку: по петлям и подкладке было видно, что она крашеная. Господин Макк представил и ее. Она была его дочерью, и звали ее Эдвардой.

Эдварда бросила на меня взгляд сквозь вуаль, потом опять пошептала с собакой и прочла надпись на ошейнике.

— Вот как, тебя зовут Эзоп!.. Доктор, кто был Эзоп? Я помню только, что он сочинял басни. Он не фригиец? Нет, не знаю...

Ребенок, школьница! Я смотрел на нее. Она была высока, но еще без форм, лет пятнадцати-шестнадцати, с длинными смуглыми руками, без перчаток.

Может быть, в этот самый день она справлялась в лексиконе об Эзопе, чтобы знать при случае.

Господин Макк спросил меня о моей охоте. Что я больше всего стрелял? Я могу когда угодно воспользоваться любой из его лодок, мне стоит только сказать. Доктор не говорил ни слова. Когда компания уходила, я заметил, что доктор слегка прихрамывает и опирается на палку.

Я поплелся домой в том же пустом настроении, что и раньше, и так же мурлыкая от скуки. Эта встреча в лодочном сарае никак не подействовала на мою душу, не произвела на меня никакого впечатления ни в ту, ни в другую сторону. Лучшее всего я запомнил промокшую манишку господина Макка, в которой торчала бриллиантовая булавка, тоже мокрая и почти без блеска.

### ГЛАВА III

---

Перед моим домиком стоял камень — высокий, серый камень. В нем было выражение какого-то дружеского отношения ко мне, точно он смотрел на меня, когда я подходил, и узнавал меня. Я охотно выбирал путь мимо этого камня, когда выходил по утрам из дому, и мне казалось, будто я оставляю за собою доброго друга, который будет ждать меня, пока я не вернусь.

А наверху, в лесу, начиналась охота. Иногда я убивал что-нибудь, иногда и нет...

За островками в тяжелом покое лежало море. Много раз я стоял и смотрел на него с горного кряжа, взобравшись

на высоту. В тихие дни суда почти не двигались. Нередко я видел один и тот же парус дня три подряд — маленький, белый, словно чайка на воде. Но когда налетал ветер, горы вдаль почти исчезали, поднималась буря, юго-западный шторм — зрелище, зрителем которого был я. Все превращалось в сплошной дым. Небо и земля сливались, море извивалось в причудливых воздушных плясках, образуя людей, лошадей и рваные знамена. Я стоял, прижавшись под выступом скалы, и думал о многом. Душа моя волновалась. Бог знает, думал я, чему сегодня я являюсь свидетелем, и почему море так раскрывается перед моими глазами? Может быть, я вижу в эту минуту самый мозг земли — какая в нем идет работа, как все кипит. Эзоп тревожился, изредка поднимал морду и нюхал воздух, ежась от дождя, жалобно подрагивая на коротких ногах. Так как я не заговаривал с ним, он ложился между моими ногами и так же, как и я, смотрел на море. И ни одного возгласа, ни слова человеческого не слышалось ниоткуда, только тяжело гудело над моей головой. Далеко-далеко виднелся маленький островок, одинокий, оторванный от других. Когда море набрасывалось на этот островок, он выскакивал каким-то сумасшедшим винтом, — нет, вздымался, как морской бог, который приподнимался, мокрый, и смотрел вдаль на мир, фыркая, так что волосы и борода колесом становились вокруг его головы. Потом он снова погружался в пучину.

И в самый разгар бури с моря показался маленький, черный, как уголь, пароход...

Когда я под вечер пришел на пристань, маленький черный пароход уже был в гавани. Это был почтовый пароход. Множество людей стояло на набережной, все пришли посмотреть на редкого гостя. Я заметил, что у всех без исключения были голубые глаза, как ни мало они были похожи друг на друга. Молодая девушка в белом шерстяном платке на голове стояла несколько поодаль. У нее были очень темные волосы, и белый платок странно выделялся на волосах. Она с любопытством посмотрела на меня, на мою кожаную куртку, на мое ружье; когда я заговорил с ней, она смутилась и отвернулась. Я сказал: «Тебе надо всегда носить белый платок, он идет тебе». В эту минуту к ней подошел коренастый мужчина в исландской куртке и назвал ее Евой. Очевидно, это была его дочь. Я знал коренастого человека — он был кузнец, местный кузнец. Несколько дней назад он приделал новый курок к одному из моих ружей...

А дождь и ветер делали свое дело и согнали весь снег. Несколько дней над землей носилось холодное и неприветливое настроение, гнилые ветки трещали, и вороны собирались стаями и кричали. Это продолжалось недолго. Солнце было близко. Раз утром оно поднялось из-за леса. Полоса какого-то необыкновенного, нежного света пронизывает меня с головы до ног, когда я вижу, как восходит солнце. И я вскидываю ружье на плечо в молчаливой радости.

#### ГЛАВА IV

---

В то время я не испытывал недостатка в дичи. Я стрелял что хотел — зайцев, тетеревов, белых куропаток, а когда мне случалось быть на берегу и удавалось подойти на выстрел к какой-нибудь морской птице, я убивал и ее. Хорошие были времена — дни становились длиннее, и воздух — прозрачнее. Я снаряжался дня на два и отправлялся в горы, на зубчатые вершины, встречал лопарей и брал у них сыр — маленькие жирные сырки с привкусом горных трав. Я бывал там не раз. По дороге домой я всегда убивал какую-нибудь птицу и совал ее в ягдташ. Я садился и брал Эзопа на свору. В версте под собою я видел море; стены утесов были мокры и черны от воды. Она струилась по ним, капая и стекая, с одной коротенькой мелодией. Эти тихие, слабые напевы в горах сокращали мне много часов, когда, бывало, я сидел так, смотря вокруг. Вот, думал я, эта слабая бесконечная музыка журчит здесь целую вечность, и никто не слышит ее и не думает о ней, но все равно, она журчит себе здесь все время, все время. И когда я слышал это журчание, мне казалось, что горы уже не так пустынные. Изредка случалось что-нибудь: гром потрясал землю, кусок скалы отрывался и скатывался в море, оставляя за собою дорожку каменной пыли. В ту же минуту Эзоп вытягивал морду по ветру и удивленно внюхивался в запах гари, которого он не понимал. Когда вода от талого снега прорыла трещины в скалах, достаточно было выстрела, даже громкого крика, чтобы большие глыбы отрывались и скатывались вниз...

Проходил час, может быть, больше. Время шло так быстро! Я спускал Эзопа со своры, перекидывал ягдташ через другое плечо и отправлялся домой. День был на исходе. Внизу, в лесу, я неизменно попадал на свою старую знакомую тропинку — узенькую тропинку, извивавшуюся

самым причудливым образом. Я следовал за каждым зигзагом и не торопился — спешить было некуда, дома никто не ждал меня. Свободный, как властелин, я шел по мирному лесу так тихо, как хотелось. Все птицы молчали, только вдалеке токовал тетерев, токовал без перерыва.

Я вышел из леса и увидел впереди себя двоих идущих людей. Я нагнал их; то была иомфру Эдварда, я узнал ее и поклонился. С ней был доктор. Я должен был показать им свое ружье, они осмотрели мой компас, мой ягдташ. Я пригласил их в свою избушку, и они обещали прийти как-нибудь на днях.

Вот уже и вечер. Я пришел домой, развел огонь, изжарил птицу и поел. Завтра тоже будет день...

Всюду тишина и безмолвие. Я лежал под вечер и смотрел в окно. Волшебный блеск лежал в тот вечер на земле и на лесе. Солнце зашло и окрасило горизонт жирным, красным светом, который стоял неподвижно, как масло. Небо везде было открыто и чисто, я смотрел в это ясное море, и мне чудилось, что я лежу лицом к лицу со дном мира, и что сердце мое трепещет, приветствуя это обнаженное дно, будто там его родина. Бог знает, думал я, отчего горизонт разоделся сегодня в пурпур и золото. Нет ли там наверху, во вселенной, какого-нибудь праздника, торжества со звездной музыкой и катаньем на лодках по рекам? Похоже на то. Я закрыл глаза, воображая себя на этом катаньи на лодках, и мысли одна за другой проплывали в моем мозгу...

Так прошло много дней.

Я бродил кругом и наблюдал, как снег превращался в воду, и как таял лед. Несколько дней я даже ни разу не выстрелил из ружья, когда у меня бывало достаточно еды в хижине, а просто бродил, наслаждаясь своей свободой, предоставляя времени идти своим чередом. Куда бы я ни обращался, всюду одинаково было что посмотреть и что послушать. Все понемножку изменялось с каждым днем, даже можжевельник и ивняк готовились встречать весну. Я шел, например, на мельницу, она еще была вся обледенелая, но земля вокруг нее была истоптана за много-много лет и свидетельствовала о том, что люди приходили сюда с мешками зерна на спине, и здесь им его мололи. Я ходил тут словно среди людей. На стенах к тому же было вырезано много букв и годов.

Писать ли мне дальше? Нет, нет. Разве только немножко, ради собственного удовольствия, и потому, что

мне приятно рассказывать о том, как два года тому назад наступила весна, и какой вид имела земля. От почвы и моря начало слегка попахивать. От прошлогодней пере-превшей в лесу листвы тянуло сладковатым запахом сероводорода. Сороки летали, набрав в клюв веток, и строили гнезда. Еще два дня, и ручьи вздулись и запенились, появились бабочки-крапивницы — одна, другая. Рыбаки возвращались домой с мест промыслов. Две купеческие яхты пришли битком набитые рыбой и причалили против своих сушилок; на самом большом из островков, где на горе должна была сушиться рыба, внезапно началось движение и оживление. Я видел все из своего окна.

Но до избушки шум не долетал, я по-прежнему оставался один. Изредка проходил какой-нибудь человек. Я видел Еву, дочь кузнеца, — на переносице у нее появились веснушки.

— Куда ты собралась? — спросил я.

— В лес, за дровами, — тихо отвечала она.

В руках у нее была веревка для переноски дров, а на голове — белый платок. Я смотрел ей вслед, но она не оглянулась.

Так проходило много дней, и я больше не видел никого.

Весна надвигалась, и лес посветлел. Весело было наблюдать за дроздами, как они сидели на верхушках деревьев, смотрели на солнце и кричали. Иногда я вставал в два часа утра, чтобы приобщиться к тому радостному настроению, которое исходило от птиц и животных при восходе солнца.

Весна пришла, должно быть, и ко мне. Кровь моя временами стучала так громко, точно я слышал шаги. Я сидел в избушке и думал, что надо бы осмотреть удочки и блесны, но не шевелил даже пальцем, чтобы сделать что-нибудь. Радостная и смутная тревога то приливалась, то отливала от моего сердца. Вдруг Эзоп вскочил, уперся на ногах и издал короткий лай. Кто-то шел к избушке. Я быстро сдернул шапку с головы и в ту же минуту услышал у дверей голос иомфру Эдварды. Дружески и просто она и доктор пришли навестить меня, как обещали.

— Ну да, он дома, — услышал я ее слова. Она вошла и протянула мне руку совершенно как девочка. — Мы заходили и вчера, да вас не было дома, — пояснила она.

Она села на нары поверх одеяла и стала осматриваться в избе; доктор сел рядом со мною на длинную скамью.

Завязался разговор, даже довольно оживленный. Я рассказал им, между прочим, какие здесь в лесу водятся звери, и какую дичь мне больше нельзя стрелять, потому что она находится под охраной закона. Сейчас запрет наложен на тетеревов.

Доктор и теперь говорил немного, но, увидев на моей пороховнице фигуру Пана, он стал рассказывать мне о Пане.

— А чем же вы питаетесь, когда вся дичь бывает под запретом? — вдруг спросила Эдварда.

— Рыбой, — ответил я. — Большой частью рыбой. Всегда можно найти что-нибудь для еды.

— Но вы можете же приходиться обедать к нам, — сказала она. — В прошлом году в вашей избушке жил англичанин, так он часто бывал у нас и обедал.

Эдварда смотрела на меня, я смотрел на нее. Я почувствовал в эти минуты, как что-то коснулось моего сердца, точно легкий, мимолетный дружеский привет. «Это от весны и светлого дня», — подумал я потом, вспоминая об этом. Кроме того, я еще любовался ее изогнутыми бровями.

Она сказала несколько слов о моем жилье. Я увешал стены разными шкурами и птичьими крыльями, избушка внутри походила на косматую берлогу. Это ей понравилось.

— Да, это настоящая берлога, — сказала она.

Мне нечем было угостить гостей, и я придумал изжарить птицу, смеха ради: они съедят ее по-охотничьи, руками. Все-таки это маленькая забава.

Я изжарил птицу.

Эдварда рассказывала об англичанине. Это был старый и чудаковатый господин, он разговаривал сам с собою. Он был католик и повсюду таскал с собою в кармане маленький молитвенник с красными и черными буквами.

— Так он, вероятно, был ирландец? — спросил доктор.

— Разве он был ирландец?

— Надо полагать, если он был католик.

Эдварда покраснела, замялась и отвернулась.

— Ну да, может и ирландец.

С этой минуты она утратила свое оживление. Мне стало жаль ее, я хотел поправить дело и сказал:

— Нет, конечно, вы правы, он был англичанин. Ирландцы не ездят в Норвегию.

Мы сговорились как-нибудь поехать на лодке, осмотреть места, где сушилась рыба.

Проводив немного гостей, я вернулся и сел чинить свои рыболовные снасти. Сеть моя висела у двери на гвозде, и некоторые петли испортились от ржавчины. Я заострил несколько крючков, загнул их, осмотрел невод. Как плохо работалось сегодня! Неподходящие мысли бродили в моей голове. Мне казалось, что я сделал ошибку, позволив иомфру Эдварде сидеть все время на нарах вместо того, чтобы предложить ей место на скамье. Я вдруг увидел перед собою ее смуглое лицо и смуглую шею. Передник она подвязала низко на животе, чтобы талия казалась длиннее, по тогдашней моде. Целомудренное девичье выражение ее большого пальца вызывало во мне нежность, положительно нежность, а две морщинки над скулами были полны приветливости. У нее был большой, пламенеющий рот.

Я встал, отворил дверь и прислушался. Не слышно было ничего, да и не к чему мне было прислушиваться. Я снова затворил дверь. Эзоп, видя мое беспокойство, встал со своего логова. Мне пришло в голову, что я мог бы побежать за иомфру Эдвардой и попросить у нее немного шелку, чтобы починить невод. Это был не предлог, я мог разостлать невод и показать ей проржавевшие петли. Я уже вышел за дверь, как вдруг вспомнил, что у меня самого в коробке с коллекцией мух есть шелк, даже больше, чем нужно. Обескураженный, я тихонько вернулся. Шелк был у меня самого.

Чьим-то посторонним дыханием пахнуло на меня, когда я вошел в избушку, словно я был там уже не один.

## ГЛАВА V

---

Один человек спросил меня, не бросил ли я охоту: он не слышал ни одного моего выстрела в горах, хотя целых два дня пробыл в бухте, ловя рыбу. Нет, я не охотился в это время. Я сидел дома, в своей избушке, пока было что есть.

На третий день я отправился на охоту. Лес слегка позеленел. От земли и деревьев шел запах. Полевой чеснок начал уже высовываться зелеными стрелками из пропитанного водою мха. Я был полон разных мыслей и несколько раз присаживался по пути. За три дня я видел только одного человека, того рыбака, которого встретил вчера. Я думал: может быть, я натолкнусь на кого-нибудь сегодня, по пути домой, на опушке, там, где я встретил



доктора и иомфру Эдварду. Возможно, что они опять гуляют там, может быть да, а может быть и нет. Но почему я думал именно о них двоих? Я убил пару белых куропаток и сейчас же приготовил одну из них, потом взял Эзопа на свору.

Я ел, лежа на обсохшей проталинке. Над землей стояла тишина, только мягкий шелест ветра в воздухе, да изредка — свист какой-нибудь птицы. Я лежал и смотрел на ветки, тихонько качавшиеся от движения воздуха. Ветерок занимался своим делом и переносил цветочную пыльцу с куста на куст, заполняя каждый невинный венчик. Весь лес замер от восторга. Зеленая гусеница-пяденица ползет по ветке, ползет без остановки, как будто не может отдохнуть ни на минуту. Она почти ничего не видит, хотя у нее есть глаза, часто она становится вертикально и как бы ощупывает воздух, ища, за что ухватиться. Она похожа на конец зеленой нитки, которая медленно, стежками прокладывает шов вдоль ветки. К вечеру, может, она и доберется до цели своего путешествия.

По-прежнему тихо. Я встаю и иду, сажусь и опять встаю. Время подходит к четырем. В шесть часов я поверну домой и посмотрю, не встречу ли кого-нибудь. Мне остается два часа, а я уже сейчас испытываю некоторое беспокойство и стряхиваю вереск и мох со своего платья. Я узнаю места, по которым прохожу. Деревья и камни стоят по-прежнему в одиночестве, листья шуршат под моими ногами. Однотонный шелест и знакомые деревья и камни много говорят моему сердцу. Я преисполняюсь какой-то особой благодарностью, все кажется мне близким, родным, сливается со мною, я все люблю. Я поднимаю сухую веточку, держу ее в руке и смотрю на нее, думая о своих делах; веточка почти истлела, ее жалкая кожица производит на меня впечатление, сострадание закрадывается в мое сердце и, вставая чтобы идти, я не бросаю эту веточку, а тихонько кладу ее на землю и некоторое время смотрю на нее. Наконец, прежде чем оставить ее там навсегда, я в последний раз взглядываю на нее влажными глазами.

Вот уже и пять часов. Солнце неверно показывает мне время, я шел целый день на запад и опередил, пожалуй, на полчаса свои солнечные отметки перед избушкой. Все это я принимаю в соображение, но все равно до шести остается еще час. Поэтому я снова встаю и прохожу еще некоторое расстояние. И листья шуршат под моими ногами. Так проходит час времени.

Я вижу внизу под собою речку и маленькую мельницу, что стояла зимой вся заледенелая, и останавливаюсь. Мельница работает, гул ее пробуждает меня, я останавливаюсь на месте сразу, как вкопанный. «Я опоздал»,— говорю я вслух. Мгновенная боль пронизывает меня, я сейчас же поворачиваюсь и направляюсь к дому, но сам уже знаю, что опоздал. Я ускоряю шаги, пускаюсь бежать. Эзоп понимает, что дело важно, рвется на ремне, тащит меня за собой, взвизгивает и суетится. Сухая листва взлетает из-под наших ног. Но, когда мы прибежали на опушку леса, там никого не оказалось. Нет, все тихо, никого.

«Здесь никого нет»,— говорю я. В сущности, случилось только то, чего я ожидал.

Я простоял недолго и пошел, влекомый своими мыслями, прошел свою хибарку, спустился в Сирилунд, с Эзопом, с ягдташем и ружьем, со всеми своими принадлежностями.

Господин Макк принял меня с величайшей любезностью и пригласил провести у них вечер.

## ГЛАВА VI

---

Мне кажется, что я могу немножко читать в душах окружающих меня людей. Может быть, это и не так. А когда я в духе, то мне кажется, что я заглядываю глубоко в чужие души, хотя я вовсе не какой-нибудь мудрец. Нас сидит в комнате несколько мужчин, несколько женщин и я, и мне кажется, что я вижу, что происходит в душе этих людей и что они думают обо мне. Я отмечаю каждую искру, мелькнувшую в их глазах. Иногда кровь приливает к их щекам и заставляет их краснеть, иногда они притворяются, будто смотрят в другую сторону, а сами исподтишка косятся на меня. А я сижу и вижу все это, и никто из них не подозревает, что я вижу насквозь все сердца. Несколько лет я думал, что могу читать во всех человеческих сердцах. Может быть, это и не так...

Я провел весь вечер в доме господина Макка. Я мог бы уйти сейчас же, как только пришел,— меня нисколько не интересовало сидеть там. Но разве я пришел сюда не потому, что все мои мысли влекли меня туда? И разве я мог уйти сразу? Мы играли в вист и пили тогда после ужина. Я сидел спиной к комнате, опустив голову. Позади меня взад и вперед ходила Эдварда. Доктор уехал домой.

Господин Макк показал мне устройство своих новых ламп, первых керосиновых ламп, попавших на север, чудесные штуки на тяжелых свинцовых ножках. Он сам зажигал их каждый вечер во избежание несчастья. Раза два он заговаривал о своем дедушке, консуле: «Мой дедушка, консул Макк, получил эту булавку из собственных рук Карла-Иоганна», — сказал он и показал пальцем на свою бриллиантовую булавку. Жена его умерла, он показал мне ее портрет в одной из боковых комнат: чопорного вида женщина, в блондах, с любезной улыбкой. В той же комнате стоял и книжный шкаф, в котором были даже старые французские книги, надо думать, переходившие по наследству. Переплеты были красивые, с золотом, и порядочное количество владельцев начертали на них свои имена. В числе книг было много сочинений энциклопедистов — господин Макк был мыслящий человек.

Для виста пришлось позвать двоих его приказчиков; они играли медленно и неуверенно, тщательно рассчитывали и все-таки делали промахи. Одному из них помогала Эдварда.

Я опрокинул свой стакан, почувствовал себя несчастным и встал.

— Боже мой, я опрокинул свой стакан! — сказал я.

Эдварда расхохоталась и ответила:

— Да, мы это видим.

Все, смеясь, уверяли меня, что это ничего. Мне дали полотенце вытереться, и мы продолжали играть. Пробыло одиннадцать часов.

Смутное чувство неудовольствия закралось в меня при смехе Эдварды. Я смотрел на нее и нашел, что лицо ее стало невыразительным и почти некрасивым. Господин Макк прекратил наконец игру под предлогом, что приказчикам пора ложиться спать, затем откинулся на спинку дивана и начал говорить о вывеске, которую он хочет прибить к лавке со стороны пристани, и спрашивал моего совета. Какой краской ее выкрасить? Мне было скучно, я ответил — черной, — совершенно не думая об этом, и господин Макк сейчас же поддакнул:

— Черной краской, как раз то, что я сам думал. «Склад соли и бочонков» крупными черными буквами, это благороднее всего... Эдварда, не пора ли тебе спать?

Эдварда встала, протянула нам обоим на прощанье руки и пошла. Мы остались сидеть. Поговорили о железной дороге, проведенной в прошлом году, о первой телеграфной

линии. Бог весть, когда телеграф попадет сюда на север. Пауза.

— Видите ли,— сказал господин Макк,— незаметным образом мне стукнуло сорок шесть лет, волосы и борода у меня поседели. Я чувствую, что состарился. Вы видите меня днем и думаете, что я молод; но когда наступает вечер, и я остаюсь один, меня охватывает уныние. Тогда я сижу здесь, в комнате, и раскладываю пасьянсы. Они почти всегда выходят, если немножко сплутовать. Ха-ха.

— Неужели пасьянсы выходят, если сплутовать немножко? — спросил я.

— Да.

Мне показалось, что я читаю в его глазах...

Он встал, подошел к окну и посмотрел на улицу. Он стоял, сильно сторбившись, шея и затылок у него совсем заросли волосами. Я тоже встал. Он обернулся и пошел мне навстречу, в своих длинных остроносых башмаках. Оба больших пальца были засунуты в карманы жилета, он слегка шевелил руками, словно крыльями, и в то же время улыбался. Потом еще раз предложил мне пользоваться его лодкой и протянул мне руку.

— Впрочем, пожалуй, я провожу вас,— сказал он и задул лампы.— Мне хочется пройтись немного, сейчас еще не поздно.

Мы вышли.

Он указал на дорогу мимо дома кузнеца и сказал:

— Пойдемте здесь. Здесь ближе.

— Нет,— ответил я,— мимо пристаней ближе.

Мы поспорили еще некоторое время, не приходя к согласию. Я был совершенно убежден в своей правоте и не понимал его настойчивости. В конце концов он предложил, чтобы каждый из нас шел своей дорогой; кто придет первым, пусть подождет у избушки.

Мы разошлись. Он быстро исчез в лесу.

Я шел обычным шагом и рассчитывал прийти по крайней мере минут на пять раньше. Но когда я подошел к избушке, он уже стоял там. Он крикнул мне:

— Вот видите?! Нет, я всегда хожу этой дорогой. Здесь гораздо ближе.

Я смотрел на него в крайнем изумлении. Он не был разгорячен, и непохоже было, чтобы он бежал. Он сейчас же простился, поблагодарил за проведенный вечер и пошел обратно по той же дороге, по какой пришел.

Я стоял на том же месте и думал: что за странность? Имею же я какое-нибудь представление о расстоянии, и

я ведь много раз проходил по обеим этим дорогам. Милый человек, ты и тут плутуешь. Может, все это только предлог?

Я видел, как его спина снова исчезла в лесу.

В следующую же секунду я шел за ним, осторожно и торопливо; я видел, как всю дорогу он вытирал лицо, и уже не думал, что он не бежал. Он шел теперь крайне медленно, и я не выпускал его из виду. Он остановился у дома кузнеца.

Я притаился невдалеке и увидел, как дверь отворилась, и господин Макк вошел в нее.

Был час ночи. Я видел это по морю и по траве.

## ГЛАВА VII

---

Кое-как прошло несколько дней. Моими единственными друзьями были лес и полное одиночество. Великий Боже, никогда я не ощущал до такой степени своего одиночества, как в первый из этих дней. Весна была в полном разгаре, я находил в поле ромашку и тысячелетник, и уже прилетели зяблики и коноплянки. Я знал всех птиц. Изредка я вынимал из кармана две медных монеты и позвякивал ими, чтобы нарушить уединение. Я думал: что, если бы сейчас пришли Дидерих и Изелинда!

Ночей как будто совсем и не бывало, солнце только окунало свой диск в море на минутку и сейчас же снова поднималось, красное, помолодевшее, будто оно хотело напиться. Какие странные вещи творились со мной по ночам! Ни один человек не поверит этому. Уж не Пан ли это взобрался на дерево, чтобы посмотреть, что я буду делать? И не был ли его живот раскрыт, и он так скорчился, что казалось, будто он сидит и пьет из своего живота? Но все это он делал только для того, чтобы лучше присматривать за мною, исподтишка, и все дерево качалось от его затаенного смеха, когда он видел, что все мои мысли разбегаются. По всему лесу шел какой-то шепот, звери фыркали, птицы перекликались, призывы их наполнили воздух. Был год прилета майских жуков, жужжание их сливалось с шелестом крыльев ночных бабочек. Во всем лесу разносился точно шепот вопросов и ответов. Как много тут можно было услышать!

Я не спал три ночи, я все думал о Дидерихе и Изелинде.

Вот, думал я, они придут. И Изелинда подзовет Дидериха к дереву и скажет:

— Стань здесь, Дидерих, смотри, стереги Изелинду, я дам этому охотнику завязать мне шнурки от башмаков.

А охотник — это я, и она делает мне знак глазами, чтобы я понял это. И когда она подходит, сердце мое все понимает, и оно уже не бьется, а звонит в колокола. И она — вся нагая под покрывалом, от головы до ног, и я кладу свою руку на нее.

— Завяжи мне шнурки на башмаке,— говорит она с пылающими щеками.

И минуту спустя она шепчет, близко-близко от моего рта, от моих губ:

— Ах, ты не завязываешь мне башмак, милый, что же ты не завязываешь мне... ты не завязываешь...

А солнце окунается лицом в море и снова поднимается, красное, обновленное, точно ходило напиться. И воздух полон шепота.

Через час она говорит, касаясь почти моих уст:

— Ну, теперь мне пора уходить от тебя.

И, уходя, она машет мне рукой, и лицо ее еще пылает. На лице ее нежность и восторг. И опять она оборачивается ко мне и машет мне рукой.

А из-за дерева выходит Дидерих и говорит:

— Изелинда, что ты делала? Я видел.

Она отвечает:

— Дидерих, что ты видел? Я ничего не делала.

— Изелинда, я видел, что ты делала,— говорит он.—

Я видел.

Тогда громкий и веселый смех ее разносится по всему лесу, и она уходит с ним, ликующая и греховная с головы до ног. Куда она идет? К следующему молодцу, какому-нибудь охотнику в лесу.

Была ночь. Эзоп отвязался и охотился сам по себе, я слышал его лай наверху, на горном кряже, и когда я наконец воротил его, был уже час.

Показалась пастушка, она вязала чулок, напевала про себя и оглядывалась по сторонам. Но где же ее стадо? И чего она бродит по лесу в полночь? Так, просто так. От беспокойства, а может быть, от радости — почему знать?

Я подумал:

«Она слышала лай Эзопа и знала, что я в лесу».

Когда она подошла ближе, я встал и посмотрел на нее, какая она тоненькая и юная. Эзоп тоже стоял и глядел на нее.

— Откуда ты идешь? — спросил я ее.

— С мельницы,— ответила она.

Но что ей было делать на мельнице такой поздней ночью?

— Как же ты не боишься ходить ночью одна по лесу, ты, такая тоненькая и молоденькая?

Она улыбнулась и ответила:

— Я не так уж молода — мне девятнадцать лет.

Но ей не могло быть девятнадцати лет. Я убежден, что она прибавила два года, и что ей было всего семнадцать. Но зачем же она нарочно делала себя старше?

— Присядь,— сказал я,— и скажи мне, как тебя зовут. Краснея, она села рядом со мной и сказала, что ее зовут Генриеттой.

Я спросил:

— Есть у тебя возлюбленный, Генриетта, и обнимал ли он тебя когда-нибудь?

— Да,— ответила она, смущенно улыбаясь.

— Сколько раз?

Она молчит.

— Сколько раз? — повторяю я.

— Два раза,— тихонько говорит она.

Я притянул ее к себе и спросил:

— Как же он это делал? Может быть, он делал это вот так?

— Да,— ответила она, дрожа.

Вот уже и четыре часа.

## ГЛАВА VIII

---

У меня был разговор с Эдвардой.

— Скоро будет дождь,— сказал я.

— Который час? — спросила она.

Я посмотрел на солнце и ответил:

— Около пяти.

Она спросила:

— Вы можете видеть это так точно по солнцу?

— Да,— ответил я,— я могу это видеть.

Пауза.

— Но когда вы не видите солнца, как же вы узнаете время тогда?

— Я справляюсь тогда по другим приметам. По приливу и отливу на море, по траве, которая ложится в известное время, по пению птиц, которое меняется: одни птицы начинают петь, когда другие замолкают. Потом я узнаю

время по цветам, которые закрываются под вечер, по листьям, зелень которых то светлее, то темнее. Кроме того, я просто чувствую это.

— Вот как,— сказала она.

Я ожидал дождя и не хотел задерживать Эдварду посреди дороги, чтобы она не промокла; я взялся за фуражку.

Тогда она вдруг остановила меня новым вопросом, и я остался. Она покраснела и спросила, зачем я, собственно, сюда приехал, почему я хожу на охоту, почему то, почему другое. Я стрелял ведь только то, что мне было необходимо для пропитания? Эзопу мало было работы?

Она покраснела и сконфузилась. Я понял, что кто-нибудь говорил обо мне, и что она слышала это; она повторяла чужие слова. И вдруг мне стало жаль ее. Вид у нее был сиротливый, я вспомнил, что у нее нет матери. Тоненькие руки придавали ей какой-то брошенный вид. Что-то нахлынуло на меня.

Ну да, я охочусь не для того, чтобы убивать, я охочусь для того, чтобы жить. Мне нужен сегодня один глухарь, поэтому я убиваю одного, а не двух, а второго убиваю завтра. Зачем мне убивать больше? Я живу в лесу, я — сын леса. С первого июня налагался запрет на куропаток и на зайцев, мне почти нечего становилось стрелять, ну так что же, я ловлю тогда рыбу и питаюсь рыбой. Я хотел взять у ее отца лодку, чтобы выезжать в море. Нет, разумеется, я охотник вовсе не для того, чтобы убивать, но для того, чтобы жить в лесу. Мне хорошо там, я ем, лежа на земле, я не сижу, вытянувшись на стуле; я не опрокидываю стаканов. В лесу я позволю себе все: я могу лечь на спину и закрыть глаза, если мне так хочется, и говорить то, что хочу. Часто хочется сказать что-нибудь, говорить громко, и это звучит как речь самого сердца в лесу...

Когда я спросил ее, понимает ли она это, она ответила: «Да».

Я продолжал говорить, потому что глаза ее были устремлены на меня.

— Если бы вы знали, чего только я ни вижу в природе,— сказал я.— Зимой я хожу и вижу иной раз следы куропаток на снегу. Вдруг следы пропадают — птицы снялись и улетели. Но по отпечатку их крыльев я угадываю, в каком направлении полетела дичь, и в короткое время разыскиваю ее. Это всякий раз представляет для меня некоторую новизну. Осенью иногда можно наблюдать, как падают звезды. Вот, думаю я тогда в своем



одиночестве, может быть, это содрогнулся целый мир? Мир, распавшийся на куски на моих глазах? И мне — мне! — дано было в жизни моей видеть смерть звезды. А когда наступает лето, чуть ли не на каждом листочке сидит маленькое живое существо. Я вижу, что некоторые лишены крыльев и никуда не могут уйти. Они должны жить и умереть на том же маленьком листочке, на котором появились на свет. Подумайте об этом. Иногда я вижу синюю муху. Да, об этом так редко говорят. Я не знаю, понимаете ли вы меня?

— Да, да, я понимаю.

— Ну, вот. А иной раз я смотрю на траву, и трава, может быть, смотрит на меня — почему знать? Я смотрю на простую былинку, может быть, она дрожит немножко, и мне кажется, что в этом что-то есть. Я думаю про себя: вот стоит эта маленькая былинка и дрожит. А если я смотрю на сосну, то бывает так, что какая-нибудь отдельная ветка заставит меня задуматься о ней. Но иногда я встречаю в горах и людей, случается и это...

Я смотрел на нее. Она стояла, склонившись вперед, и слушала. Я не узнавал ее. Она до такой степени вся превратилась во внимание, что совершенно не следила за собой. Лицо ее стало некрасиво и глупо, нижняя губа совсем отвисла.

— Н-да-а,— сказала она и выпрямилась.

Упали первые дождевые капли.

— Дождь идет,— проговорил я.

— Да, подумайте, дождь! — сказала она и сейчас же пошла.

Я не стал провожать ее. Она пошла одна своей дорогой, а я заторопился домой, к своей хибарке. Прошло несколько минут, дождь усилился. Вдруг я слышу, что за мной кто-то бежит. Я останавливаюсь и вижу Эдварду. Она раскраснелась от бега и улыбалась.

— Совсем забыла,— выговорила она, запыхавшись.— Насчет поездки на сушильни, на место, где сушат рыбу. Доктор приезжает завтра, может, и вы свободны?

— Завтра? Конечно. Да, я свободен.

— Совсем забыла про это,— повторила она и улыбнулась.

Когда она пошла, я обратил внимание на ее тонкие, красивые ноги — они были мокры почти до колен. Башмаки у нее были стоптанные.

Вспоминаю еще один хороший день. Это был тот день, когда наступило мое лето. Солнце начало светить еще

ночью и к утру высушило мокрую землю. Воздух стал мягок и нежен после вчерашнего дождя.

После обеда я отправился на пристань. Вода лежала совершенно неподвижно. Мы слышали смех и говор с острова, где мужчины и девушки разбирали рыбу. День был веселый.

И, правда, разве не веселый это был день? У нас были с собой корзины с вином и едой. Большая компания людей, разместившаяся в двух лодках, молодые женщины в светлых платьях. Я был страшно доволен, я напевал вполголоса.

А усевшись в лодке, я стал думать, откуда взялись все эти молодые люди. Тут были дочери ленсмана и окружного врача, две гувернантки, дамы из пасторской усадьбы. Я раньше не встречался с ними, но все равно они смотрели на меня доверчиво, словно мы были уже давно знакомы. Я сделал несколько неловкостей, я отвык обходиться с людьми и часто говорил молодым девушкам «ты». Но они не обиделись на меня. Раз я сказал «милая» или «моя милая», но мне извинили и это — сделали вид, будто я этого не говорил.

Господин Макк, по обыкновению, был в своей рубашке с мягкой манишкой и с бриллиантовой булавкой. По-видимому, он был в великолепном настроении и то и дело кричал другой лодке:

— Поглядывайте за корзинками с бутылками, сумасшедшие! Доктор, вы отвечаете мне за бутылки!

— Ладно, — отвечал доктор.

И уже одни эти переключения из лодки в лодку, на море, звучали для меня празднично и бодро.

Эдварда была во вчерашнем платье, словно у нее не было другого, или она не хотела надеть другое. И башмаки были те же самые. Мне показалось, что руки у нее были не совсем чисты. На голове у нее была совсем новенькая шляпа с перьями. Крашеную жакетку она взяла с собой и положила на сиденье.

По желанию господина Макка я сделал, когда мы высаживались на берег, два выстрела из обоих стволов; потом прокричали «ура». Мы пошли по острову, сушильщики кланялись нам. Господин Макк поговорил со своими рабочими. Мы нашли иван-да-марью и куриную слепоту и воткнули их в петлицы. А кое-кто нашел и колокольчик.

И пропасть морских птиц гоготало и кричало в воздухе и на обнаженном отливом берегу.

Мы расположились на лужайке, где стояло несколько искривленных берез с белой корой, развязали корзины, и господин Макк откупорил бутылки. Светлые платья, голубые глаза, звон стаканов, море, белые паруса. Мы немножко попели.

И щеки покраснелись.

Час спустя мысли мои полны ликованья. Самый пустяк действует на меня. Вуаль развеивается на шляпе, выбивается прядь волос, два глаза закрываются от смеха, и это меня волнует. О, этот день, этот день!

— Я слышала, что у вас маленькая, интересная избушка, господин лейтенант?

— Да, гнездо. Боже мой, как оно мне по душе! Приходите ко мне когда-нибудь в гости, фрекен. Другой такой избушки нет. А за избушкой — большой лес.

Другая подходит и говорит приветливо:

— Вы не бывали раньше у нас на севере?

— Нет, — отвечаю я. — Но я уже все знаю, сударыни. По ночам я стою лицом к лицу с горами, лесом и солнцем. Впрочем, не хочу ударяться в высокопарность. Но и лето же у вас здесь! Оно появляется внезапно, ночью, когда все спят, а наутро смотришь — оно уже тут. Я смотрел из своего окна и видел его. У меня два маленьких окошечка.

Третья подходит. Она прелестна. Милый голосок, маленькие ручки. Как они все были прелестны! Третья говорит:

— Давайте поменяемся цветами. Это приносит счастье.

Меняться цветами — это у них игра.

— Хорошо, — сказал я и протянул руку, — давайте поменяемся цветами, и спасибо вам за это. Как вы хороши, у вас очаровательный голос, я слушал бы его все время.

Но она прижимает к себе свои колокольчики и говорит сухо:

— Что с вами? Это относилось совсем не к вам.

Это относилось не ко мне! Мне стало больно, что я ошибся. Я пожелал быть дома, далеко, в своей хибарке, где только ветер говорит со мной.

— Извините, — говорю я, — простите меня.

Остальные дамы переглядываются и удаляются, чтобы не конфузить меня.

В эту минуту к нам быстро подходит человек. Все видят его. Это Эдварда. Она подходит прямо ко мне, говорит что-то, бросается мне на шею, крепко обвивает

руками мою шею и целует меня несколько раз в губы. При каждом поцелуе она что-то приговаривает, но я не слышу, что. Я не понял сразу. Сердце мое остановилось. У меня было только впечатление от ее горящего взгляда. Когда она отпустила меня, плоская грудь ее тяжело вздымалась и опускалась. Вот она стоит еще: смуглое лицо и смуглая шея, высокая и тонкая, с искрящимися глазами и забыв обо всем; все смотрели на нее. Во второй раз меня поразили ее темные брови, высокой дугой изгибающиеся на лбу.

Но, Господи Боже мой, ведь она поцеловала меня на виду у всех!

— Что это значит, иомфру Эдварда? — спросил я.

Я слышу, как стучит моя кровь, слышу этот стук точно где-то в горле, он мешает мне говорить явственно.

— Ничего, — отвечает она. — Просто так захотелось. Это ничего не значит.

Я снимаю шапку и машинально провожу рукой по волосам. Я стою и смотрю на нее. «Это ничего не значит?» — думаю я.

Но тут раздается голос господина Макка с другого конца острова. Он говорит что-то, чего мы не слышим, но я с радостью соображаю, что господин Макк ничего не видел, ничего не узнал. Как хорошо, что он именно в эту минуту находился на другом конце острова! Я вздыхаю с облегчением, подхожу к компании и говорю, улыбаясь, притворяясь равнодушным:

— Позвольте мне попросить у вас всех извинения за мое неприличное поведение, которое я только что позволил себе. Я сам в отчаянии от того, что случилось. Я воспользовался минутой, когда иомфру Эдварда хотела обменяться со мной цветами, и оскорбил ее. Я прошу за это прощения у нее и у вас. Поставьте себя на мое место: я живу один, я не привык обращаться с дамами. К тому же я пил сегодня вино, к чему тоже не привык. Будьте снисходительны ко мне.

Я смеялся и притворялся равнодушным к этому пустяку, чтобы о нем забыли, но в глубине души мне было не до смеха. Речь моя, впрочем, не произвела никакого действия на Эдварду. Она не старалась скрыть что-либо или сгладить впечатление от своей опрометчивости, наоборот, она села рядом со мной и все время не спускала с меня глаз. Изредка она заговаривала со мной. Когда потом мы стали играть в своих соседей, она сказала во всеуслышание:

— Я хочу лейтенанта Глана. И не желаю бегать ни за кем другим.

— Черт возьми, да молчите же, сумасшедшая,— прошептал я и топнул ногой.

Удивление промелькнуло на ее лице. Она страдальчески сморщила нос и растерянно улыбнулась. Я был глубоко взволнован и тронут; я не мог противостоять этому сиротливому выражению в ее взгляде и во всей ее тоненькой фигурке. Я почувствовал, что влюблен в нее, и взял ее длинную, тонкую руку в свою.

— Потом,— сказал я.— Сейчас больше не нужно. Мы можем ведь увидеться завтра.

Ночь я слышал, как Эзоп поднялся из своего угла и заворчал. Я слышал это сквозь сон; но так как именно в эту минуту мне снилось, что я на охоте, то это ворчанье подходило к моему сну, и я не проснулся.

Когда в два часа утра я вышел из избы, на траве были следы двух человеческих ног. Кто-то был здесь, подходил сначала к одному моему окну, потом — к другому. Следы терялись внизу на дороге.

Она шла мне навстречу с разгоревшимися щеками, лицо ее сияло.

— Вы ждали? — сказала она.— Я боялась, что вам придется ждать.

Я не ждал, она показалась на дороге раньше меня.

— Хорошо ли вы спали? — спросил я.

Я почти ничего не мог сказать.

— Нет, я не спала, совсем не спала,— ответила она.

И рассказала, что она не ложилась всю ночь, а просидела на стуле с закрытыми глазами. И еще рассказала, что выходила прогуляться.

— Кто-то приходил нынче ночью к моей избушке,— сказал я.— Я видел утром следы на траве.

И лицо ее загорается, она берет меня за руку, посреди дороги, и не отвечает. Я смотрю на нее и спрашиваю:

— Может быть, это были вы?

— Да,— ответила она и прижалась ко мне,— это была я. Ведь я не разбудила вас. Я старалась ступать тихонько-тихонько, как можно тише. Да, это была я. Я еще раз была вблизи вас. Я люблю вас.

Всякий день, всякий день я виделся с нею.

Должен сказать правду, я виделся с нею охотно,— да, сердце мое летело к ней. В нынешнем году этому минуло два года. Теперь я думаю об этом только тогда, когда хочу, и все это приключение просто забавляет и развлекает меня. А что касается до двух зеленых перьев, то я расскажу об этом немного погодя.

У нас было много мест для свиданий: у мельницы, на дороге, даже в моей избушке. Она приходила, куда я хотел.

— Здравствуй! — кричала она всегда первая.

И я отвечал:

— Здравствуй!

— Ты весел сегодня, ты поёшь,— говорит она, и глаза ее искрятся.

— Да, я весел,— отвечаю я.— У тебя здесь пятно на плече, это пыль, может быть, грязь с дороги. Я хочу поцеловать это пятно, да, дай я поцелую его. Все в тебе вызывает мою нежность, я так стосковался по тебе. Я не спал нынче ночью.

И это была правда — не одну ночь пролежал я без сна.

Мы шли рядом по дороге.

— Скажи мне, так ли я себя веду, как тебе нравится? — говорит она.— Может быть, я слишком много говорю? Нет, но ты скажи, как тебе кажется? Иногда я думаю сама с собой, что это ни за что не кончится добром...

— Что не кончится добром? — спрашиваю я.

— Да вот, с нами. Что это не может кончиться добром. Веришь ты или нет, а я вот иду сейчас и мерзну. Спина у меня словно леденеет, как только я подхожу к тебе. Это от счастья.

— Да и со мною тоже,— отвечаю я,— я тоже холодею как только увижу тебя. Нет, все обойдется благополучно. Дай-ка я похлопаю тебя по спине, чтобы ты согрелась.

Сопrotивляясь, она позволяет мне похлопать ее по спине. Я хлопаю немножко сильнее, просто шутки ради, я смеюсь и спрашиваю, помогло ли.

— О, нет, будь такой добренький, не колоти меня больше по спине!

Эти три слова! Как беспомощно они прозвучали: «будь такой добренький».

Потом мы пошли дальше по дороге. «Может быть, она недовольна мною за эту шутку?» — спросил я себя и подумал: посмотрим. Я сказал:

— Я вспомнил одну вещь. Раз я катался на санях с одной молодой дамой. Она сняла с шеи белый шелковый платок и повязала его мне. Вечером я сказал этой даме: «Вы получите свой платок завтра, я отдам его вымыть». — «Нет, — отвечает она, — отдайте мне его сейчас, я спрячу его так, как он есть, каким вы надевали его». Я отдал ей платок. Через три года я снова встретился с этой молодой дамой. «А платок?» — сказал я. Она принесла платок. Он лежал в бумаге, как и был, не вымытый, я сам видел.

Эдварда покосилась на меня исподлюба.

— Ну, а потом что было?

— Нет, больше ничего не было, — сказал я. — Но я нахожу, что это прекрасная черта.

Пауза.

— А где эта дама теперь?

— За границей.

Мы больше не говорили об этом. Но, собираясь идти домой, она сказала:

— Ну, покойной ночи. Ты не думай больше об этой даме, хорошо? Я не думаю ни о ком, кроме тебя.

Я верил ей, я видел, что она думала то, что говорила, и этого мне было совершенно достаточно: лишь бы она думала только обо мне. Я пошел за ней.

— Благодарю тебя, Эдварда, — сказал я.

А потом прибавил от всего сердца:

— Ты слишком добра ко мне, но я благодарен тебе за то, что ты полюбила меня; Бог наградит тебя за это. Конечно, я не так хорош, как многие из тех, которых ты могла бы полюбить, но я так всецело твой, так безраздельно, всей моей бессмертной душой я твой! О чем ты думаешь? У тебя слезы на глазах.

— Это ничего, — ответила она. — Так странно ты сказал, что Бог наградит меня за это. Ты говоришь это словно... Я так люблю тебя.

Она вдруг бросилась ко мне на шею посреди дороги и страстно поцеловала меня.

Когда она ушла, я свернул в сторону и пошел в лес, чтобы скрыться от всех и побыть одному со своей радостью. И, взволнованный, опять выбежал на дорогу, посмотреть, не заметил ли кто-нибудь, куда я пошел... Но я никого не увидел.

Летние ночи, и тихая вода, и бесконечно тихий лес! Ни крика, ни звука шагов с дороги. Сердце мое было словно налито темным вином.

Моль и ночные бабочки беззвучно влетают в мое окно, привлеченные светом огня и запахом жареной птицы. Они с глухим звуком ударяются о потолок, жужжат у моих ушей, так что меня пронизывает озноб, и садятся на мою белую пороховницу на стене. Я смотрю на них, они сидят, трепыхая крылышками, и тоже смотрят на меня, это шелкопряды, древоточцы и моли. Мне кажется, что некоторые из них похожи на летающие аютины глазки.

Я выхожу из своей хижины и прислушиваюсь. Ничего, ни малейшего шума, все спит. Воздух светится от летающих насекомых, от мириад шелестящих крыльев. Там, на опушке леса, стоят папоротник и борец, цветут кусты боярышника, и я люблю его мелкие цветки. Боже, благодарю Тебя за каждый цветочек вереска, который я видел: они были как крошечные розы на моем пути, и я плачу от любви к ним. Где-то поблизости цветет дикая гвоздика. Я не вижу ее, но чувствую ее запах.

Но теперь, за ночь, в лесу вдруг распустились большие белые цветы. Венчики их открыты, они дышат. И мохнатые сумеречницы опускаются на их лепестки, сотрясая все растение. Я перехожу от одного цветка к другому, они пьяны, эти чувственно опьяненные цветы, и я вижу, как они хмелеют.

Легкие шаги, человеческое дыхание, веселый привет: «Добрый вечер!»

Я отвечаю, бросаюсь на дорогу и обнимаю оба ее колена и простенькое платье.

— Добрый вечер, Эдварда,— говорю я еще раз, обесилев от счастья.

— Как ты любишь меня! — шепчет она.

— Как я благодарен тебе,— отвечаю я.— Ты моя, и сердце мое целый день тихо лежит во мне и думает о тебе. Ты — прекраснейшая девушка на земле, и я целовал тебя. Часто я краснею от радости при одном только воспоминании о том, что я целовал тебя.

— Почему ты так любишь меня именно сегодня? — спрашивает она.

Этому было бесчисленное множество причин, мне довольно было просто подумать о ней, чтобы прийти в



такое состояние. Этот взгляд из-под высоко изогнутых на лбу бровей, и эта смуглая, нежная кожа.

— Как же мне не любить тебя,— говорю я.— Я хожу и благодарю всякое дерево за то, что ты бодр и здорова. Раз на балу я видел молодую девушку, которая просидела все танцы, никто не приглашал ее. Я не был знаком с ней, но лицо ее произвело на меня впечатление, и я подошел пригласить ее. Но она покачала головой. «Фрекен не танцует?» — сказал я. «Можете вы себе представить,— ответила она,— мой отец очень красив, а мать совершенная красавица, и отец сразу покорила мою мать. А я вот родилась хромая».

Эдварда взглянула на меня.

— Давай сядем,— сказала она.

Мы сели на вереске.

— Знаешь, что моя подруга говорит про тебя? — начала она, — у тебя звериный взгляд, говорит она, и когда ты смотришь на нее, она сходит с ума. Ей кажется, точно ты прикасаешься к ней, говорит она.

Какая-то особенная радость всколыхнулась во мне, когда я услышал это, — не за себя, но за Эдварду, и я подумал: меня интересует только одна и то, что говорит эта одна о моем взгляде. Я спросил:

— Что же это за подруга?

— Этого я тебе не скажу,— ответила она,— но одна из тех, что ездили с нами на сушильни.

— Ага,— сказал я.

И мы заговорили о других вещах.

— Мой отец уезжает на днях в Россию,— сказала она,— и тогда мы устроим пир. Ты не бывал на Курхольмене? Мы захватим с собою две корзины вина. Дамы из пасторской усадьбы тоже поедут, отец уже дал мне вино. Скажи, ты не будешь больше смотреть на мою подругу? Не будешь? А то я не приглашу ее с нами.

И, не говоря более ни слова, она порывисто бросилась мне на шею и стала смотреть мне в лицо остановившимися глазами, тяжело дыша. Глаза ее совсем почернели.

Я быстро встал и в смущении своем проговорил только:

— Вот как, твой отец уезжает в Россию?

— Почему ты встал так быстро? — спросила она.

— Потому что уже очень поздно, Эдварда,— сказал я.— Белые цветы уже закрываются, солнце встает, наступает день.

Я проводил ее через лес, остановился и долго-долго смотрел ей вслед. Дойдя до поворота, она обернулась и негромко крикнула:

— Покойной ночи!

Потом она исчезла.

В ту же минуту дверь в доме кузнеца растворилась. Вышел мужчина в белой манишке, оглянулся по сторонам, надвинул шляпу ниже на лоб и пошел по направлению к Сирилунду.

В ушах моих еще звучал голос Эдварды: «Покойной ночи!»

## ГЛАВА XI

---

Радость опьяняет. Я разряжаю ружье, и неизменное эхо отвечает, передавая выстрел с горы на гору, плывет над морем и гремит в ушах бессонного рулевого.

Чему я радуюсь? Мелькнувшей мысли, воспоминанию, звуку в лесу, человеку? Я думаю о ней. Я закрываю глаза, стою неподвижно на дороге и думаю о ней, я считаю минуты.

Мне хочется пить, и я пью из ручья. Вот я отсчитываю сто шагов вперед и сто шагов назад; теперь уже поздно, думаю я.

Произошло что-нибудь? Прошел месяц, а один месяц — срок небольшой. Нет, ничего не произошло. Богу известно, что этот месяц был короток. Но ночи — они порой бывают длинны, и я окунаю свою шапку в ручей и потом сушу ее, чтобы скоротать время ожидания.

Я считал время по ночам. Иногда наступала ночь, а Эдварда не приходила. Раз она не пришла две ночи подряд. Две ночи! Ничего не произошло, но мне казалось тогда, что счастье мое достигнуто, может быть, высшей точки.

И разве это было не так?

— Слышишь, Эдварда, как все беспокойно сегодня в лесу? Что-то возится безостановочно на кочках, и крупные листья дрожат. Что-то, может быть, затевается, но я не то хотел сказать. Я слышу, как наверху, в горах, поет птица, это простая синица. Но она две ночи сидит на том же месте и манит свою подругу: Слышишь ты однообразный-однообразный звук?

— Да, я слышу. Почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Так. Она сидит там две ночи. Я хотел только сказать тебе... Благодарю тебя, благодарю за то, что ты пришла сегодня, дорогая. Я сидел здесь и ждал тебя сегодня или завтра вечером, я радовался этому, когда ты подошла.

— И я тоже ждала. Я думаю о тебе. Я собрала и спрятала осколки от стакана, который ты когда-то разбил, помнишь? Отец мой уехал сегодня вечером. Я не могла прийти, нужно было уложить его вещи и о стольком ему напомнить. Я знала, что ты ходишь здесь по лесу и ждешь меня, я плакала и укладывалась.

«Но прошло ведь две ночи,— подумал я,— что же она делала в первую ночь? И почему в глазах ее уже не столько радости, как раньше?»

Прошел час. Синица в горах замолкла. Лес стоял словно мертвый. Нет, нет, ничего не произошло, все было по-прежнему, она протянула мне руку на прощанье и смотрела на меня с любовью.

— Завтра? — спросил я.

— Нет, не завтра,— ответила она.

Я не спросил, почему.

— Завтра у нас ведь будет пир,— сказала она, смеясь.— Я хотела сделать тебе сюрприз, но у тебя стало такое несчастное лицо, что пришлось сказать это сейчас. Я хотела послать тебе письменное приглашение.

У меня сразу отлегло от сердца.

Она пошла, кивнув на прощанье.

— Еще одно,— сказал я, стоя на том же месте.— Сколько времени тому назад ты собрала осколки от стакана и спрятала?

— Сколько времени назад?

— Да. Неделю? Может быть, две недели назад?

— Да, может быть, две недели. Но почему ты спрашиваешь об этом? Нет, уж я скажу тебе правду, я сделала это вчера.

Она сделала это вчера!

Вчера. Значит, не далее как вчера она думала обо мне! Ну, тогда все хорошо!

## ГЛАВА XII

Две лодки были спущены на воду, и мы разместились в них. Мы пели и разговаривали. Курхольмен находился за островами. Чтобы доехать туда, нужно было порядочно времени, и мы переговаривались с лодок. Доктор тоже

оделся в светлое, как дамы. Я никогда еще не видел его таким довольным. Он принимал участие в разговоре, он уже не был безмолвным слушателем. У меня составилось впечатление, что он слегка подвыпил и потому так весел. Когда мы высадились на берег, он попросил у общества минуту внимания и приветствовал нас с прибытием. Я подумал:

«Эге, Эдварда выбрала его хозяйном».

С величайшей любезностью он беседовал с дамами. По отношению к Эдварде он был вежлив и ласков, часто принимал отеческий и, как много раз раньше, поучительный тон. Она говорила о каком-то числе и сказала:

— Я родилась в тридцать восьмом году.

А он спросил:

— Вы, наверно, хотите сказать: в восемьсот тридцать восьмом?

И если бы она ответила: «Нет, в девятьсот тридцать восьмом», — он не выразил бы никакого замешательства, а просто поправил бы ее, сказав:

— Это, разумеется, неверно.

Когда я говорил что-нибудь, он слушал вежливо и внимательно и не проявлял ко мне пренебрежения.

Ко мне подошла молодая девушка и поздоровалась. Я ее не узнал, я не мог припомнить ее, и сказал несколько удивленных слов, на которые она засмеялась. Это была одна из дочерей пастора. Я был вместе с нею тогда на сушильнях, приглашал ее в свою избушку. Мы поговорили немножко.

Проходит час или два. Я скучаю, пью вино, которое мне наливают, вмешиваюсь в компанию, болтаю со всеми. Опять я совершаю несколько неловкостей. Я попал на зыбкую почву и не всегда знаю, как мне ответить на любезность, то вдруг начинаю говорить бессвязно, то молчу, как немой, и терзаюсь этим. Там, у большого камня, который служит нам столом, сидит доктор и жестикулирует.

— Душа, что такое душа? — говорил он.

Дочь пастора обвинила его в вольнодумстве.

— Хорошо, а почему же не думать свободно? Обычно представляют себе ад как дом в преисподней а дьявола — каким-то столоначальником. Нет, он — монарх.

Он заговорил о запрестольном образе в приходской церкви.

— Фигура Христа, несколько иудеев и иудеек, превращение воды в вино — великолепно. Но у Христа на голове

сияние. Что такое сияние? Желтый обруч с бочки, который держится на трех волосках.

Две дамы в ужасе всплеснули руками. Доктор же выпрямился и сказал насмешливо:

— Не правда ли, это звучит страшно? Я признаю это. Но если это повторить, и повторить этак раз семь или восемь про себя, да немножечко подумать, то оно звучит уже гораздо лучше... Осмелюсь просить о чести выпить с дамами.

Он опустился на колени на траве перед обеими дамами и не положил перед собою снятую шляпу, а высоко замахал ею в воздухе левой рукой, и опорожнил стакан, закинув далеко назад голову. Я сам воодушевился его самоуверенностью и охотно выпил бы с ним, если бы он уже не осушил своего стакана.

Эдварда следила за ним глазами. Я стал поблизости от нее и сказал:

— А мы поиграем сегодня в своих соседей?

Она слегка вздрогнула и поднялась.

— Смотри, как бы нам не проговориться и не сказать друг другу «ты», — шепнула она.

Но я и не обратился к ней на «ты». Я опять отошел.

Проходит еще час. День кажется мне длинным. Я давно уехал бы один домой, будь у меня третья лодка. Эзоп лежит на привязи в избушке, пожалуй, думает обо мне. Мысли Эдварды были, очевидно, далеко от меня. Она говорила о том, какое счастье уехать в другие места. Щеки ее разгорелись, и увлекшись, она употребляла даже неверные обороты речи.

— Не будет человека более счастливого меня в тот день...

— Более счастливого? — говорит доктор.

— Что? — спросила она.

— Более счастливого.

— Я не понимаю.

— Вы сказали: более счастливого, больше ничего.

— Неужели? Извините. Не будет человека счастливого меня в тот день, когда я буду стоять на палубе корабля. Иногда меня тянет уехать, сама даже на знаю, куда.

Она стремилась уехать — она не думала обо мне. Я стоял тут и видел по ее лицу, что она забыла обо мне. Ну, об этом нечего было говорить, но я сам видел это по ее лицу. И минуты тянулись томительно медленно. Я спросил некоторых, не пора ли домой.

— Уже поздно,— говорил я,— и Эзоп лежит, привязанный, в избушке.

Но никто не хотел домой.

Я подошел в третий раз к пасторской дочке. Я думал: это она говорила о моем зверином взгляде. Мы выпили вместе. У нее были бегающие глаза, ни одной минуты они не были неподвижны. Она постоянно бросала на меня взгляд и сейчас же отворачивалась.

— Скажите мне, фрекен,— начал я,— не находите ли вы, что люди в этих местах похожи на свое короткое лето? Так же непостоянны и полны очарования, как оно?

Я говорил громко, очень громко, и делал это нарочно. Я продолжал говорить громко и снова попросил фрекен навестить меня и полюбоваться моей хибаркой.

— Бог благословит вас за это,— сказал я, весь измученный, и сам подумал тут же, что, вероятно, придется подарить ей что-нибудь, если она придет. «Пожалуй, у меня не найдется ничего другого, кроме моей пороховницы»,— подумал я.

Фрекен обещала прийти.

Эдварда сидела, отвернувшись, и позволяла мне говорить сколько угодно. Она прислушивалась, впрочем, к разговору и изредка вставляла одно-другое слово. Доктор гадал дамам по рукам и работал языком. У него у самого были тонкие, маленькие руки, и на одном пальце — кольцо. Я почувствовал себя лишним и некоторое время сидел один, в отдалении, на камне. Совсем уже за вечерело.

«Вот я сижу совсем один на камне,— говорил я себе,— и единственный человек, который мог бы вызвать меня отсюда, не обращает на меня внимания. Впрочем, мне это тоже совершенно безразлично».

Чувство полной отброшенности овладело мною. Разговор позади меня звучал в моих ушах. Я слышал, как Эдварда смеется. При этом смехе я вдруг вскочил и подошел к компании. Возбуждение мое должно было всем броситься в глаза.

— Одну минуту,— сказал я.— Мне пришло в голову, пока я сидел там один, что вы, может быть, пожелали бы осмотреть мою коллекцию мух.— И я вытащил свою коробку с мухами.— Простите, что я не вспомнил об этом раньше. Не будете ли вы так добры просмотреть ее, вы доставите мне удовольствие. Вы можете смотреть все — тут есть красные и желтые мухи.

Говоря, я держал в руках свою фуражку. Я сам заметил, что снял фуражку, и что это было глупо, поэтому я сейчас же опять надел ее.

Несколько секунд длилось глубокое молчание, и никто не брал коробки. Наконец доктор протянул руку и сказал вежливым тоном:

— Благодарствуйте. Позвольте нам взглянуть на эти любопытные штуки. Для меня всегда было загадкой, как это делают таких мух.

— Я делаю это сам,— ответил я, преисполняясь благодарности к нему. И сейчас же пустился объяснять, как я это делаю.— Это очень просто, я покупаю перья и крючки. Они не особенно хорошо сделаны, но ведь это для собственного употребления. Можно получать и готовых мух. Они очень красивы.

Эдварда бросила безразличный взгляд на меня и на коллекцию и продолжала разговаривать со своими приятельницами.

— А вот и материалы,— сказал доктор.— Посмотрите, какие красивые перья.

Эдварда повернула голову.

— Зеленые красивые,— сказала она,— покажите-ка их мне, доктор.

— Возьмите их себе,— воскликнул я.— Возьмите, я прошу вас об этом сегодня. Эти два зеленых птичьих пера. Доставьте мне удовольствие, пусть это будет на память.

Она взглянула на них и проговорила:

— Они зеленые и золотые, смотря по тому, как их держать на солнце. Ну, если вы хотите дать их мне — спасибо.

— Да, я хочу дать их вам,— сказал я.

Она заткнула перья за пояс.

Немного погодя доктор протянул мне коробку и поблагодарил. Он встал и спросил, не пора ли нам подумать об обратном пути.

Я сказал:

— Да, ради Бога. У меня осталась дома собака. Видите ли, у меня есть собака. Она мой друг. Она лежит и думает обо мне, и, когда я вернусь домой, она уже будет поджидать меня, стоя передними лапами на подоконнике. День был так прекрасен, он скоро кончится — поедемте домой. Я благодарю всех вас.

На берегу я дожидался в отдалении, чтобы видеть, какую Эдварда выберет лодку, и решил сам сесть в другую. Вдруг она подозвала меня. Я смотрел на нее с изумлением.

Лицо ее пылало. Она подошла ко мне, протянула руку и сказала с нежностью:

— Спасибо за перья... Послушайте, мы поедem ведь в одной лодке?

— Если вы хотите,— ответил я.

Мы сели в лодку. Она заняла место рядом со мной, на моей скамеечке, и касалась меня одним коленом. Я смотрел на нее, и она тоже на минутку взглянула на меня. Она делала меня счастливым одним прикосновением своего колена, я начинал чувствовать себя вознагражденным за весь этот горестный день. Радость уже возвращалась ко мне, как вдруг она неожиданно изменила позу, повернулась ко мне спиной и начала разговаривать с доктором, сидевшим на руле. Целую четверть часа я не существовал для нее.

Тогда я сделал то, в чем раскаиваюсь и чего не забыл до сих пор. Она уронила башмак с ноги, я схватил его и бросил далеко в воду — от радости ли, что она возле меня, или из потребности обратить на себя внимание и напомнить ей, что я здесь,— не знаю. Все произошло так быстро! Я не думал — у меня просто явилось такое побуждение.

Дамы подняли крик. Я сам точно окаменел от ужаса перед своим поступком, но что в этом толку? Дело было сделано.

Доктор пришел мне на помощь. Он крикнул: «Гребите сильнее!» — и стал править к башмаку. В следующую минуту гребцу удалось схватить его как раз в тот момент, как он, наполнившись водой, стал было погружаться. У гребца рукав намок до плеча. Тут с обеих лодок раздалось многоголосое «ура» по поводу спасения башмака.

Я был совершенно пристыжен, чувствовал, что лицо у меня совершенно изменилось, и в смущении стал вытирать башмак носовым платком. Эдварда взяла его молча. Только несколько минут спустя она проговорила:

— Никогда не видала ничего подобного

— Нет, в самом деле? — сказал я.

Я бодрился и хорохорился. Я делал вид, будто выкинул свою штуку с каким-то скрытым намерением. Но какое же тут могло скрываться намерение? Доктор в первый раз посмотрел на меня пренебрежительно.

Прошло некоторое время. Лодки скользили по направлению к дому. Дурное настроение общества рассеялось. Мы пели, мы подплывали к пристани. Эдварда сказала:

— Послушайте, мы не допили вино. Осталась еще пропасть вина. Давайте устроим еще праздник, второй



праздник немного погодя. Потанцуем, устроим бал в нашей большой зале.

Когда мы высадились на берег, я извинился перед Эдвардой.

— Как я жажду вернуться в свою избушку,— сказал я.— Это был мучительный день для меня.

— Неужели это был для вас мучительный день, господин лейтенант?

— Я хочу сказать,— сказал я и отвернулся,— я хочу сказать, что испортил настроение и себе, и другим. Я бросил ваш башмак в воду.

— Да, это была необыкновенная фантазия.

— Простите меня,— проговорил я.

### ГЛАВА XIII

---

Могло ли быть еще хуже? Я решил сохранять спокойствие. Что бы ни случилось — Бог мне свидетель. Разве я первый навязался ей? Нет, нет, никогда: я просто стоял в один прекрасный день на дороге, когда она проходила мимо.

Что за лето здесь на севере! Майские жуки уже перестали летать, а люди становились все более и более непонятными для меня, хотя солнце освещало их днем и ночью. Куда смотрели их голубые глаза, и какие мысли таились за их странными лбами? Впрочем, все они были мне глубоко безразличны. Я брал свои рыболовные снасти и ловил рыбу два дня, четыре дня, а по ночам лежал, не смыкая глаз, в своей избушке...

Я не видел вас четыре дня, Эдварда!

— Четыре дня, совершенно верно. Мне было некогда. Пойдемте, я вам покажу.

Она ввела меня в залу. Столы из нее были вынесены, стулья расставлены по стенам, все вещи убраны. Люстра, печка и стены были фантастически декорированы вереском и черной материей из лавки. Рояль стоял в углу.

Это она приготовилась к «балу».

— Нравится вам? — спросила она.

— Изумительно,— отвечал я.

Мы вышли из залы.

Я сказал:

— Послушайте Эдварда, вы совсем забыли меня?

— Я вас не понимаю,— изумленно ответила она.— Разве вы не видели, сколько у меня было дел? Могла ли я при всем этом прийти к вам?

— Нет,— согласился я,— пожалуй, при таких условиях вы не могли прийти ко мне.

Я был измучен бессоницей и истомлен. Речь моя стала бессвязна и несдержанна. Я чувствовал себя несчастным весь день.

— Нет, при таких условиях вы, пожалуй, действительно не могли прийти ко мне. Что я хотел сказать? Одним словом, произошла перемена, что-то стало между нами. Да. Но я не могу прочесть по вашему лицу, в чем дело. Какой у вас странный лоб, Эдварда! Я только сейчас вижу это.

— Но я вовсе не забыла вас! — воскликнула она, краснея, и вдруг продела свою руку под мою.

— Ну, да, да, может быть, вы и не совсем забыли меня. Но тогда я не знаю сам, что я говорю. Одно из двух.

— Завтра вы получите приглашение! Вы должны танцевать со мной. Как славно мы потанцуем!

— Вы не хотите проводить меня немножко? — спросил я.

— Сейчас? Нет, не могу,— ответила она.— Сейчас должен приехать доктор. Он хотел помочь мне, осталось еще кое-что сделать. Так вы находите, что комната ничего себе? А вам не кажется...

У крыльца останавливается экипаж.

— Что это доктор нынче разъезжает? — спрашиваю я.

— Я послала за ним лошадь, я хотела...

— Побережь его больную ногу. Нет, позвольте мне обратиться восвояси... Здравствуйте, здравствуйте, доктор. Рад вас видеть. Все так же здоровы и бодры? Надеюсь, вы извините, что я исчезаю.

Сойдя с лестницы, я обернулся еще раз. Эдварда стояла у окна и смотрела мне вслед, раздвинув гардину обеими руками, чтобы она не мешала ей смотреть. Выражение ее лица было задумчиво. Нелепая радость охватывает меня, я быстро удаляюсь от дома, я не слышу под собою ног. В глазах туман, ружье в моих руках кажется легче тросточки.

Если бы она стала моею, я сделался бы хорошим человеком, думал я. Я дошел до лесу и продолжал думать. Если бы она стала моею, я служил бы ей неутомимее всякого другого. И если бы даже она оказалась недостойной

меня, если б вздумала требовать от меня невозможного, я сделал бы все, что в моих силах, даже больше, чем мог бы, и радовался бы тому, что она моя... Я остановился, упал на колени и в порыве смирения и надежды поцеловал несколько былиннок придорожной травы, потом встал и пошел дальше.

Мало-помалу спокойствие и уверенность снова вернулись ко мне. Перемена в ее поведении за последнее время — просто ее манера. Она стояла и смотрела мне вслед, когда я уходил, стояла у окна и следила за мной глазами, пока я не скрылся из виду, что же еще она могла бы сделать? Восторг совсем сбил меня с толку. Я был голоден, но уже не чувствовал этого.

Эзоп бежал впереди и вдруг залаял. Я поднял голову — женщина в белом платке на голове стояла у угла моего домика. Это была Ева, дочь кузнеца.

— Здравствуй, Ева! — крикнул я.

Она стояла возле высокого серого камня, раскрасневшаяся, и сосала палец.

— Это ты, Ева? Что с тобой? — спросил я.

— Эзоп укусил меня,— ответила она и смущенно опустила глаза.

Я осмотрел ее палец. Она сама укусила его. Догадка мелькает у меня в голове, и я спрашиваю:

— Ты давно стоишь здесь и ждешь меня?

— Нет, недавно,— ответила она.

И, не обменявшись с нею больше ни словом, я взял ее за руку и ввел в избушку.

#### ГЛАВА XIV

---

Вернувшись, по обыкновению, с рыбной ловли, я явился на «бал» с ружьем и ягдташем. Я только надел свою лучшую кожаную куртку. Было уже поздно, когда я пришел в Сирилунд. Слышно было, что в доме идут танцы, немного спустя раздались возгласы:

— Вот и охотник, лейтенант!

Несколько молодых людей окружили меня, чтобы видеть мою добычу. Я застрелил двух морских птиц и поймал несколько штук пикши. Эдварда поздоровалась со мной, улыбаясь, вся раскрасневшаяся от танцев.

— Первый танец со мной! — сказала она.

И мы стали танцевать. Все сошло благополучно. У меня закружилась голова, но я не упал. Мои высокие сапоги

порядочно стучали, я сам слышал их стук и решил не танцевать больше. К тому же я исцарапал крашенный пол. Слава Богу, что я не наделал еще больших бед!

Оба приказчика господина Макка были налицо и танцевали основательно и серьезно. Доктор принимал ревностное участие в кадрилиях. Кроме этих кавалеров было еще четверо совсем молодых людей, сыновья местного пастора и окружного врача. Проезжий коммивояжер тоже попал в компанию. Он отличался красивым голосом и подпевал в такт музыке; время от времени он сменял дам за роялем.

Я уже не помню, как прошли первые часы, но помню все, что касается последней части ночи. Солнце всю ночь заливало окна багровым светом, и морские птицы спали. Подавали вино и печенье, мы пели и громко говорили. Смех Эдварды, звонкий и беззаботный, разносился по комнате. Но почему со мной она не сказала больше ни слова? Я подошел к тому месту, где она сидела, и хотел сказать ей какую-нибудь любезность, как умел. На ней было черное платье, может быть, сшитое для конфирмации. Оно стало ей слишком коротко, но это шло ей, когда она танцевала, и я хотел сказать ей это.

— Как это черное платье...— начал я.

Но она поднялась, обняла одну из подруг за талию и отошла с нею прочь. Это повторилось еще раза два.

«Хорошо,— подумал я,— что же с этим делать! Но зачем же в таком случае она стоит и печально смотрит на меня из окон, когда я ухожу от нее? Кто ее знает?!»

Одна дама пригласила меня танцевать, Эдварда сидела неподалеку, и я ответил громко:

— Нет, я сейчас ухожу.

Эдварда бросила на меня вопросительный взгляд и сказала:

— Уходите? О, нет, вы не уйдете.

Я опешил и почувствовал, что зубы мои вонзились в губу. Я встал.

— То, что вы только что сказали, кажется мне весьма многозначительным, иомфру Эдварда,— выговорил я мрачно и сделал несколько шагов по направлению к двери.

Доктор перерезал мне дорогу, и Эдварда сама поспешно нагнала меня.

— Не перетолковывайте моих слов,— горячо сказала она.— Я хотела сказать, что вы уйдете, я надеюсь, последним, самым последним. Кроме того, еще нет и часа... Послушайте,— прибавила она с сияющими глазами,— вы

дали нашему гребцу пять таллеров за то, что он спас мой башмак от потопления. Это слишком высокая цена.— И, смеясь от всего сердца, она обернулась к остальным.

Я стоял, разинув рот, обезоруженный и сбитый с толку.

— Вы изволите шутить,— сказал я.— Я вовсе не давал вашему гребцу пяти таллеров.

— Вот как, вы не давали? — Она отворила дверь в кухню и позвала рабочего.— Ты помнишь, как мы ездили в Курхольмен, Якоб? Ты спас мой башмак, который упал в воду?

— Да,— ответил Якоб.

— Ты получил пять таллеров за то, что спас башмак?

— Да, вы дали мне...

— Хорошо, можешь идти.

«Что такое она затевает, к чему эта выдумка? — думал я. Хочет она осрамить меня? Это ей не удастся, я не покраснею от этого».

Я сказал громко и отчетливо:

— Я должен довести до всеобщего сведения, что это или недоразумение, или ложь. Мне даже и не приходило в голову давать гребцу пять таллеров за ваш башмак. Может быть, мне следовало бы это сделать, но до сих пор этого не случилось.

— Ну, будем продолжать танцы,— проговорила она, нахмутив лоб.— Почему же мы не танцуем?

«Это она должна мне объяснить»,— сказал я себе и настойчиво стал искать случая, чтобы переговорить с ней.

— Ваше здоровье! — сказал я и хотел чокнуться с ней.

— У меня пустой стакан,— коротко ответила она.

Однако перед ней стоял полный стакан.

— Я думал, что это ваш стакан?

— Нет, это не мой,— ответила она и обернулась с занятым видом к своему соседу.

— В таком случае, извините,— проговорил я.

Многие из гостей заметили эту маленькую сцену.

Сердце мое кипело, я сказал, оскорбленный:

— Но все же вы должны дать мне объяснение...

Она встала, взяла меня за руки и сказала проникновенным голосом:

— Только не сегодня, не сейчас. Мне так грустно. Боже мой, как вы смотрите на меня! Мы были ведь когда-то друзьями...

Побежденный, я сделал поворот направо и вернулся к танцующим.

Немного погодя вошла и Эдварда. Она стала возле рояля, на котором коммивояжер играл какой-то танец. Лицо ее в эту минуту было преисполнено тайной печали.

— Я никогда не училась играть,— говорит она и смотрит на меня потемневшими глазами.— О, если бы я умела играть!

На это я ничего не мог ответить. Но сердце мое снова рванулось к ней, и я спросил:

— Почему вы стали вдруг так печальны, Эдварда? Если бы вы знали, как я страдаю от этого!

— Я не знаю, почему,— ответила она.— Может быть, от всего. Ах, если бы все эти люди ушли сейчас, все до одного. Нет, не вы: помните, вы должны уйти последним.

И снова я ожил при этих словах, и глаза мои увидели свет в залитой солнцем комнате. Дочь пастора подошла ко мне и пустилась в разговор со мной. Я желал, чтобы она была где-нибудь далеко-далеко от меня, и давал ей краткие, односложные ответы.

Я умышленно не смотрел на нее, так как это она говорила о моем зверином взгляде. Она обернулась к Эдварде и стала рассказывать ей, как однажды за границей, кажется, в Риге, на улице ее преследовал какой-то господин.

— Он шел за мной из улицы в улицу и улыбался мне,— сказала она.

— Так может, это был слепой,— воскликнул я, чтобы сделать приятное Эдварде. И пожал плечами.

Молодая девушка вдруг поняла мои грубые слова и ответила:

— Да, должно быть, раз он мог преследовать такую старую и безобразную женщину, как я.

Но я не добился благодарности Эдварды. Она увлекла свою подругу за собой. Они шептались, качая головой. С этой минуты я был предоставлен исключительно самому себе.

Проходит еще час. Морские птицы начинают просыпаться в шхерах. Крики их врываются в наши открытые окна. Порыв радости охватывает меня при этих первых птичьих криках. Меня страстно тянет туда, в шхеры...

Доктор снова пришел в хорошее настроение и привлек к себе общее внимание. Дамы не отходили от него.

«Не это ли мой соперник?» — думал я, и я думал также о его хромой ноге и жалкой фигуре. Он придумал новую остроумную клятву. Он говорил: «Клянусь смертью и вечной мукой»,— и всякий раз, когда он произносил эту

забавную клятву, я громко смеялся. Я был совершенно измучен, и мне пришло в голову наделить этого человека всеми преимуществами, раз уж он был мой соперник. Я старался выдвинуть его всячески на передний план, кричал: «Да послушайте же, что говорит доктор!» — и заставлял себя громко хохотать над его изречениями.

— Я люблю этот мир,— говорил доктор,— я цепляюсь за жизнь руками и ногами. А когда я умру, то надеюсь получить местечко в вечности где-нибудь над Лондоном или Парижем, чтобы я мог все время — все время слышать шум человеческого канкана!

— Изумительно! — крикнул я и закашлялся от смеха, хотя нисколько не был пьян.

Эдварда, по-видимому, тоже была в полном восторге.

Когда гости разошлись, я забрался в соседнюю комнату и уселся ждать. Я слышал, как гости один за другим прошались на лестнице. Доктор тоже простился и ушел. Скоро все голоса замерли вдали. Сердце мое сильно билось от ожидания.

Наконец вошла Эдварда. Увидев меня, она на минуту остановилась в изумлении, потом сказала, улыбаясь:

— Ага, вы здесь! Это мило с вашей стороны, что вы захотели дождаться, пока все разойдутся. Ох, я до смерти устала!

Она продолжала стоять и не садилась.

Я сказал, тоже вставая:

— Да, конечно, вам нужно отдохнуть хорошенько. Надеюсь, что ваше дурное настроение прошло, Эдварда? Вы были так печальны недавно, и это мучило меня.

— Пройдет, когда я выплещусь.

Мне нечего было больше прибавить, я пошел к двери.

— Да, спасибо за сегодняшний вечер,— сказала она и протянула мне руку.

И так как она хотела проводить и меня на лестницу, я воспротивился этому.

— Не нужно,— сказал я,— не беспокойтесь, я и сам...

Но она все-таки вышла за мной на лестницу. Она стояла в сенях и терпеливо ждала, пока я нашел свою фуражку, ружье и ягдташ. В углу стояла трость, я сразу заметил ее. Всмотревшись, я узнал ее, это была палка доктора. Проследив, куда смотрят мои глаза, она вся покраснела от смущения. Ясно было по ее лицу, что она была невинна и ничего не знала о палке. Прошла целая минута. Наконец бешеное нетерпение вспыхнуло в ней, и она сказала, дрожа:

— Ваша палка. Не забудьте вашу палку.

И протянула мне палку доктора.

Я смотрел на нее, она еще держала перед собой палку, рука ее дрожала. Чтобы положить этому конец, я взял палку и поставил ее обратно в угол. Я сказал:

— Это палка доктора. Не понимаю, как это хромой человек мог позабыть свою палку.

— Что вы мне все тычете, что он хромой! — озлобленно воскликнула она и подошла еще на шаг ко мне.— Вы не хромаете — о, нет! Но если бы вы и хромали, все равно вам не сравниться с ним — не сравниться, не сравниться. Вот!

Я поискал ответа, все вылетело у меня из головы. Я молчал.

С глубоким поклоном я вышел, пятясь, из двери и спустился с лестницы. Здесь я постоял минуту, смотря прямо перед собой, потом побрел домой.

«Ага, он забыл палку,— думал я,— и он, наверное, вернется за нею. Он пойдет по этой дорожке. Он не желает допустить, чтобы я вышел последним из этого дома».

Я тихонько плелся по дороге, всматриваясь направо и налево. На опушке леса я остановился. Наконец, после получасового ожидания, навстречу мне появился доктор. Он увидел меня и ускорил шаг. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, я снял шляпу, чтобы испытать его. Он тоже снял шляпу. Я подошел прямо к нему и сказал:

— Я не кланялся.

Он отступил на шаг и вытаращил на меня глаза.

— Вы не поклонились?

— Нет,— ответил я.

Пауза.

— Ну, да мне, впрочем, совершенно безразлично, что вы сделали,— произнес он, бледнея.— Я шел за своей палкой, которую я позабыл.

На это мне нечего было сказать, но я отплатил ему по-другому. Я протянул перед ним ружье, словно он был собака, и сказал:

— Гоп!

Я свистел и побуждал его перепрыгнуть, как делают с дрессированной собакой.

Несколько секунд он боролся с самим собой. Лицо его принимало самые необыкновенные выражения, губы были сжаты, а глаза упорно смотрели в землю. Вдруг он пронизательно посмотрел на меня. Слабая усмешка озарила его лицо, и он сказал:



— Зачем, собственно, вы все это делаете?

Я не отвечал, но слова его подействовали на меня.

Он протянул мне вдруг руку и проговорил глухим голосом:

— С вами что-то неладно. Если вы мне скажете, в чем дело, может быть...

Тут стыд и отчаяние овладели мною. Эти спокойные слова вывели меня из равновесия. Я хотел загладить свой поступок, схватил его за талию и воскликнул:

— Простите меня за это, слышите? Нет, что же может быть со мною неладного? Ничего нет неладного, мне не нужна ваша помощь. Вы ищете, может быть, Эдварду? Она дома. Но поторопитесь, а то она ляжет, прежде чем вы придете; она очень устала, она сама сказала мне. Я говорю вам все, что знаю. Это правда, вы найдете ее дома, только ступайте скорее.

И я повернулся и поспешил прочь от него, шагая крупными шагами по лесу, пока не добрался до своей избушки.

Некоторое время я просидел на нарах совершенно в том же виде, как вошел, с ягдташем за плечами и с ружьем в руке. Удивительные мысли рождались в моей голове. К чему это я так разоткровенничался с доктором? Меня сердило то, что я держал его за талию и смотрел на него мокрыми глазами. Наверное, он радуется этому, думал я. Может быть, в эту самую минуту он сидит и потешается надо мной вместе с Эдвардой. Он оставил свою палку в прихожей. Не правда ли, если бы даже я и хромал, все равно я не мог бы сравниться с доктором, я совершенно не мог бы сравниться с ним, это ее собственные слова...

Я становлюсь посреди комнаты, поднимаю курок на ружье, приставляю дуло к подъему левой ноги и нажимаю собачку. Пуля проходит сквозь ступню и застревает в полу. Эзоп издает отрывистый, испуганный лай.

Немного погодя в дверь раздается стук.

Это пришел доктор.

— Извините, если я побеспокоил вас,— начал он.— Вы ушли так поспешно, мне казалось, что не вредно бы нам с вами потолковать немножко. Что это, тут, кажется, пахнет порохом?

Он был совершенно трезв.

— Застали ли вы Эдварду? Получили ли вы свою палку? — спросил я.

— Я получил свою палку. А Эдварда уже легла... Что это? Господи Боже мой, да у вас кровь?

— Нет, это пустяки. Я хотел отставить ружье, а оно нечаянно выстрелило, это вздор. Черт бы вас побрал, обязан я, что ли, объяснять вам, как это случилось?.. Ага, так вы получили свою палку? Он смотрел, не отрываясь, на мой простреленный сапог и на струившуюся кровь. Быстрым движением он положил на пол палку и снял перчатки.

— Сидите смирно, сапог надо снять. То-то мне показалось, будто я слышал выстрел.

## **ГЛАВА XV**

---

Как я раскаивался после в этом безумном выстреле! Все это был совершенный вздор, да и не привело это ни к чему, а только привязало меня на несколько недель к дому. Все неприятности и огорчения этого времени до сих пор еще живы передо мною. Прачка моя должна была приходиться ко мне каждый день и почти все время находилась при мне, закупала провизию, занималась моим хозяйством. Прошло несколько недель. Ну что же было делать!

Однажды доктор заговорил об Эдварде. Я слышал ее имя, слышал, что она говорила и делала, и это не имело для меня уже особого значения, словно он говорил о каком-то далеком, не относящемся ко мне предмете. «Как быстро можно забывать», — думал я с изумлением.

— Ну, а что вы сами думаете об Эдварде, раз вы спрашиваете? По правде сказать, я не думал о ней несколько недель. Постойте-ка, мне кажется, между вами было что-то, вы так часто были вместе, и во время одной экскурсии на острова вы были хозяином, а она хозяйкой. Не отрицайте, доктор, было что-то, какое-то взаимное понимание. Нет, ради Бога, не отвечайте мне. Я не вправе просить у вас никакого объяснения, я спрашиваю не для того, чтобы узнать что-нибудь. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, если хотите. Когда мне можно будет начать ходить?

Я сидел и думал о том, что сказал. Почему в глубине души я боялся дать доктору высказаться? Что мне за дело до Эдварды? Я забыл ее.

Еще раз речь зашла об Эдварде, и опять я прервал доктора. Бог знает, чего я боялся услышать.

— Почему вы прерываете меня? — спросил он. — Вы совершенно не можете выносить, чтобы я произносил ее имя?

— Скажите мне, — попросил я, — какого вы, собственно, мнения об иомфру Эдварде? Мне интересно знать это.

Он подозрительно взглянул на меня.

— Какого я, собственно, мнения о ней?

— Может быть, вы можете сообщить мне что-нибудь новенькое сегодня? Может быть, вы таки посватались к ней и получили согласие? Можно вас поздравить? Нет? Ну да, пусть черт верит вам, ха-ха-ха.

— Ага, так вот чего вы боялись?

— Боялся? Милейший доктор!

Пауза.

— Нет, я не сватался и не получал согласия, — заговорил он. — Может, это вас можно поздравить? К Эдварде не сватаются, она берет сама кого вздумает. Вы думаете, это простая деревенская девушка? Вы встретились с ней здесь, на самом севере Норвегии, и сами видели, что это такое. Она дитя, которое слишком мало секли, и женщина со множеством капризов. Холодна она? Не бойтесь этого. Страстна? Лед, говорю вам. Что же она такое? Девочка пятнадцати-шестнадцати лет, не правда ли? Но попробуйте только повлиять на эту девочку, и она насмеется над всеми вашими стараниями. Сам отец не может с ней справиться: внешне она как будто подчиняется ему, но на самом деле делает все по-своему. Она говорит, что у вас звериный взгляд...

— Вы ошибаетесь. Это кто-то другой говорил, что у меня звериный взгляд.

— Другой? Кто же другой?

— Этого я не знаю. Одна из ее подруг. Нет, это не Эдварда сказала. Постойте-ка, а может быть, это действительно сама Эдварда...

— Когда вы смотрите на нее, это производит на нее такое-то и такое-то впечатление, говорит она. Но вы думаете, это хоть на волос приближает вас к ней? Ничуть не бывало. Смотрите на нее хорошенько, не жалеите своих глаз; но как только она заметит, что вы приобретаете над ней некоторую власть, она сейчас же скажет себе: берегись, вон стоит мужчина, смотрит на тебя и думает, что взял свое и выиграл игру. И одним взглядом или холодным словом она отдалит вас на целых десять миль. Вы думаете, я не знаю ее? Сколько, по-вашему, ей лет?

— Она родилась ведь в тридцать восьмом году?

— Ложь. Она шутила — я навел справки об этом. Ей двадцать лет. Хотя, впрочем, она могла бы сойти за пятнадцатилетнюю. Я бы не сказал, что она счастлива, в маленькой голове ее постоянная борьба. Когда она стоит и смотрит на горы и на море, у рта ее образуется особая складочка, какое-то выражение страдания. Она несчастлива, но она слишком горда и слишком упряма, чтобы заплакать. Она порядочная любительница приключений, фантазия у нее пылкая, она ждет принца. Что это такое за история с пятью таллерами, которые вы будто бы дали кому-то?

— Шутка. Нет, это просто так, пустяки...

— И это было неспроста. Она и со мной проделала раз нечто подобное. Это было год назад. Мы были на палубе почтового парохода, когда он стоял здесь в гавани. Шел дождь и было холодно. Женщина с маленьким ребенком сидит на палубе и трясется от холода. Эдварда спрашивает ее: «Вам не холодно?» Конечно, женщине было холодно. «А маленькому не холодно?» И маленькому тоже холодно. «Почему же вы не пойдете в каюту?» — спрашивает Эдварда. «У меня палубный билет», — отвечает женщина. Эдварда смотрит на меня. «У женщины палубный билет», — говорит она. «Что же с этим поделаешь?» — отвечаю я про себя. Но я понимаю взгляд Эдварды. Я не родился богачом, я сам выбился из ничтожества и считаю деньги, которые трачу. Поэтому я отхожу от женщины и думаю: «Если за нее надо заплатить, то пусть Эдварда заплатит сама, у нее и у ее отца средств побольше, чем у меня». И Эдварда, разумеется, платит сама. В этом отношении она действительно великодушна, в сердечности ей никак нельзя отказать. Впрочем, по совести сказать, я об этом ничего не знаю. Но так же верно, как то, что я сижу здесь, она ожидала, что я заплачу за классный билет для женщины и ее ребенка, я видел это по ее глазам. Что же дальше? Женщина встала и стала благодарить за щедрую помощь. «Благодарите не меня, а вот этого господина», — отвечает Эдварда и с безмятежным видом указывает на меня. Как вам это покажется? Я слышу, что женщина благодарит и меня, и не могу ничего ответить на это, представляю делу идти свои чередом. Ну, вот, это одна черта, а я мог бы рассказать вам еще многое. Что же касается этих пяти таллеров гребцу, так это она сама дала эти деньги. Если бы это сделали вы, она кинулась бы вам на шею, она произвела бы вас тут же в принцы за способность к таким плоским выходкам ради стоптанного

башмака. Это подходит к ее представлениям о барстве, таким рисуется ей ее герой в мечтах. Так как вы не догадались этого сделать, она проделала это от вашего имени сама. Она именно такова — безрассудна и расчетлива в одно и то же время.

— Неужели же никто не может победить ее? — спросил я.

— Ее следовало бы хорошенько проучить, — ответил доктор уклончиво. — Плохо то, что ей предоставляется полная свобода. Она слишком избалована, может делать что захочется и побеждать кого ни вздумается. Ею занимаются, она ни в ком не встречает равнодушного отношения. Всегда есть кто-нибудь под рукой, над кем можно проявлять свою силу. Заметили ли вы, как я обращаюсь с ней? Как со школьницей, с маленькой девочкой. Я пробираю ее, смеюсь над нее речью, слежу за ней и ничего ей не спускаю. Вы думаете, она этого не понимает? О, она горда и упряма, это постоянно оскорбляет ее. Но она слишком горда и для того, чтобы показать, что это ее оскорбляет. Так ей и следует. Когда вы приехали, я муштровал ее уже целый год, и это начало действовать. Она плакала от огорчения и от досады и стала более сносным человеком. Но тут появились вы и все испортили. Так оно и идет: один бросает ее, другой берет; после вас явится, вероятно, третий — почему знать.

«Ага, доктору есть за что отомстить», — подумал я и сказал:

— Скажите мне вот что, доктор, почему вы взяли на себя такой труд и сообщили мне все это? Уж не должен ли я помочь вам муштровать Эдварду?

— Вдобавок, она горяча, как вулкан, — продолжал он, не обратив внимания на мой вопрос. — Вы спросили, может ли кто-нибудь овладеть ею. Конечно, почему же не так? Она ждет своего принца, он еще не пришел, она все ошибается и ошибается, она думала и о вас, что вы принц, особенно потому, что у вас звериный взгляд, ха-ха. Послушайте, господин лейтенант, вам бы следовало захватить с собой на всякий случай мундир. Он бы мог сыграть некоторую роль. Почему же кому-нибудь и не овладеть ею? Я видел, как она ломала руки, призывая человека, который мог бы прийти и взять ее, увезти, овладеть ее телом и душой. Да. Но он должен появиться извне, вынырнуть в один прекрасный день и предстать как совершенно особое существо. Я предполагаю, что господин Макк снова отправился в экспедицию. Неспроста затеял

он это путешествие. Господин Макк уже отправлялся один раз путешествовать и вернулся тогда в сопровождении одного господина.

— В сопровождении господина?

— Увы, он не годился,— продолжал доктор со страдальческой усмешкой.— Это был человек моих лет, и вдобавок немножко хромой, как и я. То был не принц.

— Куда же он уехал? — спросил я, пристально глядя на доктора.

— Куда он уехал? Отсюда? Этого я не знаю,— ответил он в замешательстве.— Ну, мы слишком много уделили этому внимания. Через неделю вы сможете ступить на больную ногу. До свидания!

## ГЛАВА XVI

---

Я слышу женский голос у моего домика. Кровь бросается мне в голову. Это голос Эдварды.

— Глан, Глан болен, говорят?

Прачка моя отвечает за дверь:

— Он уже почти выздоровел.

Это «Глан, Глан» пронизало меня до мозга костей. Она два раза повторила мое имя. Это подействовало на меня. Голос ее был звонок и слегка дрожал.

Она отворила мою дверь, не постучав, вошла поспешно и глянула на меня. И предо мною сразу воскресли былые дни. Она была в своей крашеной жакетке и низко подвязала фартук на животе, чтобы талия казалась длиннее. Я увидел все сразу — и взгляд, и смуглое лицо с высоко изогнутыми на лбу бровями, и странно-нежное выражение ее рук,— все это с такой силой хлынуло на меня, что я пришел в полное смущение. «Я целовал ее!» — думал я. Я встал и остался стоять.

— Вы встаете, вы стоите,— заговорила она.— Сядьте же скорее. У вас болит нога, вы прострелили ее. Боже мой, как это произошло? Я узнала об это только теперь. Я все время думала: куда девался Глан? Он совсем перестал к нам ходить. Я ничего не знала. Вы ранили себя, говорят, уже несколько недель назад, а я ничего об этом не знала. Как вы теперь чувствуете себя? Вы стали поразительно бледны, я не узнаю вас. А нога? Вы будете хромать? Доктор говорит, что вы не будете хромать. Я от всего сердца рада, что вы не будете хромать, я благодарю Бога

за это. Надеюсь, вы извините, что я так просто пришла сюда. Я прямо бежала, а не шла...

Она наклонилась ко мне, она была близко от меня. Я чувствовал на лице ее дыхание, я потянулся к ней руками. Тогда она отодвинулась подальше. Глаза ее еще были влажны.

— Это произошло так,— пробормотал я,— я хотел поставить ружье вот сюда, в угол. Я неправильно держал его, вот так, дулом вниз. И вдруг услышал выстрел. Да, это несчастный случай.

— Несчастный случай,— задумчиво повторила она и кивнула головой.— Покажите-ка, это левая нога. Но почему же именно левая? Так это случайность...

— Да, случайность,— прервал я.— Как я могу знать, почему пострадала именно левая нога? Вы видите сами, я держал ружье так,— значит, в правую ногу выстрел никак не мог попасть. Да, не могу сказать, чтоб это было особенно приятно.

Она смотрела на меня, как бы соображая что-то.

— Ну, значит вы поправляетесь,— сказала она и обвела взглядом комнату.— Почему вы не присылали к нам вашу прислугу за обедом? Чем же вы питались?

Мы поговорили еще несколько минут. Я спросил:

— Когда вы пришли, лицо ваше было взволновано и глаза ваши сияли, вы протянули мне руку. Теперь ваши глаза снова стали равнодушны. Я не ошибся?

Пауза.

— Нельзя всегда быть одинаковой...

— Скажите мне только на этот один раз,— проговорил я,— что, например, в данном случае я сказал или сделал такого, что возбудило ваше неудовольствие? Я мог бы принять это к сведению на будущее время.

Она смотрела в окно, на далекий горизонт, стояла и задумчиво смотрела прямо перед собой, потом ответила, не оборачиваясь:

— Ничто, Глан. У всякого могут быть свои мысли. Вот теперь вы недовольны мною? Помните: одни дают мало, но для них это много, другие дают все, и это им ничего не стоит, им не приходится делать никаких усилий. Кто же дал больше? Вы стали мрачны после болезни. Как это вышло, что мы заговорили об этом?

И вдруг она смотрит на меня, радость озаряет румянцем ее лицо, она говорит:

— Но только выздоравливайте скорее. Мы еще увидимся.

С этими словами она протянула мне руку.

И вот тут-то мне пришло в голову не взять ее руки. Я встал, заложил руки за спину и низко поклонился. Этим я хотел поблагодарить ее за любезное посещение.

— Извините, что не могу проводить вас,— сказал я.

Когда она ушла, я сел, чтобы еще раз хорошенько обдумать все. Я написал письмо с просьбой выслать мне мундир.

## ГЛАВА XVII

---

Первый день в лесу.

Я был весел, но чувствовал некоторую истому. Все звери приближались ко мне и осматривали меня. На листьях сидели жуки, по дорогам ползали жужелицы. «Счастливая встреча»,— думал я. Настроение леса, то приливая, то отливая, передавалось моим чувствам. Я плакал от любви и безумно радовался этому. Я весь растворился в благодарности. Милый, добрый лес, мой дом, мирная обитель Божья! Я скажу тебе от полноты души... Я останавливаюсь, оглядываюсь во всех направлениях и, плача, называю по именам птиц, деревья, камни, траву и муравьев, смотрю во все стороны и называю всех по очереди. Я смотрю вверх, на горы, и думаю: «Да, да, сейчас я приду»,— будто отвечаю на зов. Высоко-высоко, там высиживали птенцов сокола, я знал их гнезда. Но мысль о соколах, гнездящихся высоко в горах, далеко завела мою фантазию.

Около полудня я выехал в море и пристал к маленькому островку за гаванью. Там росли лиловые цветы на длинных стеблях, достигавших мне до колен. Я путался среди необыкновенных растений, кустов малины и морошки, колючего чертоплоха. Там не было никаких животных, да и людей, должно быть, тоже не было. Море мягко пенилось вокруг острова и окутывало меня какой-то шуршащей пеленой. Дальше, вокруг других островов кричали и летали береговые птицы. А море заключало меня со всех сторон точно в объятия. Благословенна жизнь, и море, и небо! Благословенны мои враги! В эту минуту я хочу быть милостив к самому злейшему моему врагу и готов развязать ремень его обуви...

Громкая матросская песня доносится ко мне с одной из яхт господина Макка, и душа моя заливается солнечным светом при знакомых звуках. Я гребу к пристани, прохожу мимо рабочих хижин и отправляюсь домой. День склоня-



ется к вечеру. Я обедаю, делю свою пищу с Эзопом и снова отправляюсь в лес. Мягкий ветер беззвучно плывет касаясь моего лица. «Будь благословен,— говорю я ветру за то, что он касается моего лица,— будь благословен! кровь моя смиренно склоняется в жилах от благодарности к тебе». Эзоп кладет одну лапу на мое колено.

Усталость охватывает меня, и я засыпаю.

Люль-люль!.. Что это, звонят колокольчики? За несколько миль, в море, стоит гора. Я читаю две молитвы одну за мою собаку, другую — за себя самого, и мы входим внутрь, в гору. Ворота захлопываются за нами. Я вздрагиваю и просыпаюсь.

Пылающее красное небо... Солнце стоит неподвижно перед моими глазами, попирая землю. Ночь, горизонт дрожат от света. Мы с Эзопом переходим в тень. Кругом тишина. «Нет, я больше не хочу спать,— говорю я Эзопу,— завтра мы пойдем на охоту. Красное солнце светит на нас, мы не внутри горы...» И странные настроения рождаются во мне, кровь бросается мне в голову. Я чувствую, разгоряченный и еще слабый, как кто-то целует меня, и поцелуй еще лежит на моих губах. Я оглядываюсь — никого не видно. «Изелинда», — говорю я. В траве шуршит. «Может быть, это упал лист с дерева, а, может быть, это чьи-то шаги». Дуновение проносится по лесу. «Может быть, это дыхание Изелинды», — думаю я. В этих лесах гуляла Изелинда, здесь слушала она мольбы охотников в желтых сапогах и зеленых плащах. Она жила в своей усадьбе, в полумиле отсюда. Она сидела у своего окошка — четыре поколения сменились с тех пор! — сидела и слушала, как охотничьи рога гремели по всему лесу. Здесь водились олени, волки и медведи, а охотников было много. Она росла у них на глазах, и все они дожидались ее. Один видел ее глаза, другой слышал ее голос. Но раз один молодец бессонной ночью встал, просверлил дырочку в комнату Изелинды и увидел ее белый бархатный живот. Когда ей пошел двенадцатый год, приехал Дундас. Он был шотландец, торговал рыбой и имел много судов. У него был сын. Когда Изелинде минуло шестнадцать лет, она впервые увидела молодого Дундаса. Он был ее первой любовью...

И странные-странные настроения сменяются в моей душе, голова моя становится такой тяжелой, пока я сижу там. Я закрываю глаза и снова чувствую поцелуй Изелинды.

— Изелинда, это ты здесь, вечная любовница жизни?— говорю я,— а Дидериха ты опять оставила за деревом?..

Все тяжелее и тяжелее становится моя голова, и я погружаюсь в волны сна.

Люль-люль, чей-то голос говорит, словно Большая Медведица поет в моей крови,— это голос Изелинды!

— Спи, спи! Я расскажу тебе о моей любви, пока ты спишь, и расскажу тебе о моей первой ночи. Я помню, я забыла запереть свою дверь. Мне было шестнадцать лет. Стояла весна и теплая погода. Пришел Дундас. Словно орел прилетел он, шелестя крыльями. Я встретила его раз утром, перед охотой. Ему было двадцать пять лет, он приехал из далеких краев. Он гулял рядом со мной по саду, и когда он коснулся меня своей рукой, я почувствовала, что люблю его. У него были два ярко-красных пятна на лбу, и мне хотелось поцеловать эти пятна.

Вечером после охоты я пошла посмотреть, нет ли его в саду, и так боялась, что найду его. Я потихоньку шептала его имя и боялась, как бы он не услышал. И вдруг он выходит из-за кустов и шепчет: «Сегодня ночью, в час». И исчезает.

«Сегодня ночью, в час,— повторяю я про себя.— Что он хотел сказать этим? Я ничего не понимаю. Вероятно, он хотел сказать, что уезжает нынче в час ночи. Но что мне за дело до того, что он уезжает?»

И случилось так, что я забыла замкнуть свою дверь... В час он входит.

— Разве дверь моя была не заперта? — спрашиваю я.

— Я запрю ее,— отвечает он.

И запирает дверь, запирает нас вдвоем в моей комнате. Я так боялась стука его больших сапог.

— Не разбуди мою служанку,— сказала я.

Я боялась также треска стула и сказала:

— Нет, нет, не садись на этот стул — он трещит.

— Можно мне сесть рядом с тобой на диване? — спросил он.

— Да,— сказала я.

Но я сказала это потому, что стул трещал.

Мы сидели на моем диване. Я отодвинулась, он придвинулся ближе. Я опустила глаза.

— Ты озябла,— сказал он и взял мою руку.

Немного погодя он сказал:

— Как ты озябла,— и обнял меня одной рукой.

Я согрелась в его объятии. Так мы посидели немножко. Прокричал петух.

— Слышишь,— сказал он,— петух кричит, скоро утро.

И коснулся меня, и смутил меня.

— Вполне ли ты уверен, что прокричал петух? — пробормотала я.

Я опять увидела два красных пятна на его лбу и хотела встать. Но он удержал меня, я поцеловала два милых пятна и закрыла глаза перед его взглядом...

И настал день, стало совсем светло. Я проснулась и не узнавала стен в моей комнате, встала и не узнала своих маленьких башмачков. Что-то переливалось и струилось во мне. «Что это такое переливается во мне? — подумала я, улыбаясь.— И который это пробило час?» Ничего я не знала, помнила только, что забыла запереть свою дверь.

Приходит моя служанка.

— Твои цветы стоят без воды,— говорит она.

Я позабыла о своих цветах.

— Ты измяла свое платье,— продолжает она.

«Где же я могла измять свое платье? — думаю я, а сердце мое смеется,— должно быть, я измяла его сегодня ночью».

К садовой ограде подъезжает тележка.

— И кошка твоя не накормлена,— говорит мне служанка.

Но я забываю цветы, платье, кошку и спрашиваю:

— Это не Дундас подъехал? Попроси его сейчас же прийти ко мне, я жду его, мне нужно что-то... что-то...— А сама думаю: «Может быть, он опять запрет дверь на ключ, когда придет?»

Он стучит в дверь. Я отворяю ему и сама запираю дверь на замок, чтобы не затруднять его.

— Изелинда! — восклицает он и целую минуту целует меня в губы.

— Я не посылала за тобой,— шепчу я.

— Ты не посылала за мной? — спрашивает он.

Я опять сильно смущаюсь и отвечаю:

— Нет, я послала за тобой, я так страшно стосковалась по тебе. Побудь со мной немножко.

И я закрыла глаза руками от любви. Он не выпускал меня, я опустила голову и спряталась у него на груди.

— Кажется, опять кричит петух? — сказал он и прислушался.

Но когда я услышала, что он сказал, я быстро прервала его и сказала:

— Нет, как ты можешь думать, что петух кричит. Никто не кричал.

Он поцеловал мою грудь.

— Это курица закудаhtала,— сказала я в последнее мгновение.

— Подожди минутку, я запру дверь,— сказал он и хотел встать.

Я удержала его и прошептала:

— Она заперта...

Наступил снова вечер, и Дундас уехал. Что-то золотое струилось и переливалось во мне. Я стала перед зеркалом. Два влюбленных глаза глянули прямо на меня. Что-то шевельнулось во мне при этом взгляде, и все что-то струилось вокруг моего сердца. Боже мой, никогда я не смотрела на себя раньше такими глазами, и я поцеловала от любви собственный рот в зеркале...

Ну вот, я рассказала тебе свою первую ночь, и утро, и вечер после нее. Потом когда-нибудь я расскажу тебе об охотнике Герлуфсене. Его я тоже любила, он жил в миле отсюда, на острове, видишь, вон там, и я ездила к нему одна, в лодке, тихими летними ночами, потому что любила его. Я расскажу тебе и о Стамере. Он был священник, я любила его. Я люблю всех...

Сквозь сон я слышу, как внизу в Сирилунде кричит петух.

— Слышишь, Изелинда, петух прокричал и для нас,— радостно восклицаю я и стираю руки. Я просыпаюсь. Эзоп уже на ногах.

— Ушла,— говорю я в жгучей скорби и оглядываюсь по сторонам.— Никого, никого нет.

Весь в жару, взволнованный, я иду домой. Утро, петух в Сирилунде продолжает кричать.

У избушки стоит женщина, стоит Ева. У нее в руках веревка, она идет в лес за дровами. Она стоит, как утро самой жизни, грудь ее тяжело вздымается и опускается, солнце золотит ее.

— Не думайте...— лепечет она.

— Чего мне не думать, Ева?

— Я пришла сюда не для того, чтобы встретить вас, я просто проходила мимо...

И лицо ее темнеет от заливающего его румянца.

Нога моя по-прежнему причиняла мне хлопоты и боль. Часто по ночам она ныла и не давала мне спать, то вдруг ее начинало колоть, а при перемене погоды поднималась сильная ломота. Так продолжалось несколько дней. Но я не охромел.

Дни шли.

Господин Макк вернулся, и я сейчас же узнал о его возвращении. Он отобрал у меня лодку и поставил меня этим в затруднение. Охотничий сезон еще не начался, я не мог охотиться. Но почему он так, ни слова не говоря, отобрал у меня лодку? Двое рабочих с пристани господина Макка утром привезли на лодке какого-то приезжего.

Я встретил доктора.

— У меня отобрали лодку,— сказал я.

— Приехал гость,— ответил он.— Его возят в море каждое утро, а по вечерам привозят обратно. Он исследует морское дно.

Приезжий был финляндец. Господин Макк познакомился с ним случайно на пароходе. Он ехал со Шпицбергена с коллекциями раковин и мелких морских животных. Его величали бароном. Ему отвели большую залу и еще одну комнату в доме господина Макка. Он возбуждал большое внимание.

«У меня нет мяса, я мог бы попросить у Эдварды чего-нибудь на ужин»,— подумал я и отправился в Сирилунд. Я сейчас же заметил, что Эдварда в новом платье,— она как будто выросла, платье ей очень длинно.

— Простие, что я не встаю,— кратко сказала она и протянула мне руку.

— Да, к сожалению, дочь моя нездорова,— сказал господин Макк.— Простудилась. Она совсем не бережется... Вы пришли, по всей вероятности, узнать о вашей лодке? Я вынужден предложить вам другую, ялик. Он не нов, но если вы хорошенько будете вычерпывать его... Дело в том, что у нас гостит ученый, и вы сами понимаете, что для такого человека... У него совершенно нет свободного времени, работает целый день и возвращается домой только вечером. Не уходите, пока он не вернется, тогда вы увидите его. Вам будет интересно познакомиться. Вот его карточка, корона — он барон. Очень любезный человек. Я встретился с ним совершенно случайно.

«Ага,— подумал я,— тебя не приглашают остаться на вечер». Слава Богу, ведь и я тоже пришел сюда только

для пробы, посмотреть, что из этого выйдет. Я могу опять уйти домой, у меня еще есть немножко рыбы в хижине. Как-нибудь да раздобуду еды. Баста!

Вошел барон — маленький человечек лет около сорока. Длинное, узкое лицо с выдающимися скулами и реденькой черной бородкой. Взгляд у него был острый и пронзительный, но он носил сильные очки. На запонках у него тоже была пятиконечная корона, как и на визитной карточке. Он был слегка сутуловат, и на худых руках его выступали синие жилы; ногти же были словно из желтого металла.

— Очень рад, господин лейтенант. Господин лейтенант уже давно здесь?

— Несколько месяцев.

Приятный человек. Господин Макк вызвал его на разговор о его раковинах и морских животных, и он охотно стал рассказывать, объясняя, какие сорта глины вокруг Курхольмена, пошел в залу и принес образцы водорослей из Белого моря. Он постоянно поднимал правый указательный палец и передвигал толстые золотые очки на носу. Господин Макк был заинтересован в высшей степени. Прошел час.

Барон заговорил о моем несчастье, о моем неудачном выстреле. Совсем ли я поправился? В самом деле? Это весьма его радует.

«Кто ему рассказал о моем приключении?» — подумал я и спросил:

— От кого господин барон слышал о моем несчастье?

— От кого... да, от кого же? От фрёкен Макк, кажется. Не правда ли, фрёкен Макк?

Эдварда вспыхнула, как огонь.

Я пришел такой удрученный, вот уже несколько дней мрачное отчаяние подавляло меня. Но при последних словах приезжего радость мгновенно скользнула в мое сердце. Я не смотрел на Эдварду, но думал:

«Благодарю тебя за то, что ты хоть говорила обо мне, произнесла мое имя своим языком, хотя оно навеки лишено значения для тебя. Покойной ночи».

Я простился. Эдварда продолжала сидеть по-прежнему, она извинилась из вежливости нездоровьем. Равнодушно она подала мне руку.

А господин Макк стоял, поглощенный оживленной беседой с бароном. Он говорил о своем дедушке, консуле:

— Не знаю, рассказывал ли я уже господину барону, что эту булавку король Карл-Йоганн собственноручно приколот к груди моего дедушки.

Я вышел на лестницу. Никто не провожал меня. Проходя, я бросил взгляд на окна в большой комнате. Там стояла Эдварда, высокая, прямая, держа обеими руками край гардины, и смотрела на улицу. Я позабыл поклониться, я забыл все. Какой-то смутный поток подхватил меня и быстро понес прочь.

«Постой, остановись на минуту,— сказал я себе, подойдя к лесу.— Клянусь Богом, этому должен быть положен конец!»

Меня вдруг кинуло в жар от злости, и я застонал. О, у меня нет в груди чести! Самое большее я пользовался благосклонностью Эдварды одну неделю, теперь все давно уже кончилось, а я не считаюсь с этим. Отныне пусть сердце мое будет взывать к ней: пыль, воздух, прах на моем пути. Клянусь всемогущим Богом!..

Я добрался до избушки, достал свою рыбу и поужинал.

— Вот, ты ходишь здесь и сжигаешь жизнь свою из-за ничтожной школьницы, и ночи твои полны бесплодных снов. А знойный ветер неподвижно стоит над твоей головой, ароматный, предвечный ветер! А небо зыбится чудеснейшей синевою, и горы зовут и манят!

— Эй, Эзоп, идем, живее!

## ГЛАВА XIX

---

Прошла неделя. Я взял лодку у кузнеца и ловил себе на обед рыбу. Эдварда и приезжий барон были всегда вместе по вечерам, когда он возвращался с моря. Я видел их раз возле мельницы. Раз вечером они прошли мимо моей хижины, я отошел от окна и тихонько затворил дверь на всякий случай. То, что я видел их вместе, не произвело на меня решительно никакого впечатления; я пожал плечами. В другой вечер я встретил их на дороге, и мы обменялись поклонами. Я нарочно заставил барона поклониться первым, а сам поднес к фуражке два пальца, чтобы подчеркнуть свою невежливость. Я медленно прошел мимо, все время равнодушно поглядывая на них.

Прошел еще день.

Сколько уже прошло таких длинных дней! Подавленное настроение овладело мной, сердце мое бесцельно размышляло о разных предметах. Даже приветливый серый камень возле моей избушки смотрел на меня точно с выражением муки и отчаяния, когда я проходил мимо него. Собирался дождь, жара стояла нестерпимая и дышала на меня огнем,

куда бы я ни обращался. Левую ногу ломило. Утром я видел, как одна из лошадей господина Макка брыкалась в оглоблях: все это имело для меня значение как указания на перемену погоды. «Надо запастись едой, пока стоит хорошая погода»,— подумал я.

Я привязал Эзопа, забрал свои рыболовные снасти и ружье и пошел на пристань. Я был в необыкновенно угнетенном настроении.

— Когда придет почтовый пароход? — спросил я одного рыбака.

— Почтовый пароход? Придет через три недели,— ответил он.

— Мне должны прислать мундир,— сказал я.

Потом я встретил одного из приказчиков господина Макка. Я взял его за руку и сказал:

— Скажите мне, Христа ради, разве вы уже больше не играете в вист в Сирилунде?

— Как же, часто,— ответил он.

Пауза.

— Последнее время я не мог побывать там,— сказал я.

Я поплыл к месту моей рыбной ловли. Погода стала удушливой. Комары собирались тучами, и, чтобы спастись от них, мне приходилось все время курить. Треска клевала, я ловил на две удочки и взял хороший улов. На обратном пути я застрелил двух гагар.

Когда я причалил к пристани, там стоял кузнец. Он работал. У меня мелькнула мысль, я сказал ему:

— Пойдем вместе домой?

— Нет,— отвечал он,— господин Макк задал мне работу до самой полуночи.

Я кивнул и подумал про себя, что это хорошо.

Я забрал свой улов и пошел, путь я выбрал мимо дома кузнеца. Ева была дома одна.

— Я так страшно стосковался по тебе,— сказал я ей. И я действительно взволновался при виде ее, она же едва могла взглянуть на меня от изумления.— Я люблю твою юность и твои добрые глаза,— сказал я.— Накажи меня сегодня за то, что я больше думал о другой, чем о тебе. Послушай, я пришел к тебе только для того, чтобы взглянуть на тебя. Мне хорошо с тобой, я люблю тебя. Слышала ты, как я звал тебя сегодня ночью?

— Нет,— ответила она в ужасе.

— Я звал Эдварду, иомфру Эдварду, но я думал о тебе. Я проснулся от этого. Да, я подразумевал тебя. Это нечаянно, я обмолвился, когда звал Эдварду. Но не будем



больше говорить о ней. Боже, что ты за милая у меня девушка, Ева. У тебя такие красные губы сегодня. У тебя ноги красивее, чем у Эдварды, посмотри сама.

Я приподнял ее юбку и показал ей ее же ноги.

Радость, которой я никогда не видел в ней, озарила ее лицо. Она хочет отвернуться, но раздумывает и обвиняет одной рукой мою шею.

Проходит некоторое время. Мы говорим, сидим все время на длинной скамейке и говорим друг с другом обо всем. Я сказал:

— Поверишь ли, иомфру Эдварда до сих пор не научилась говорить как следует. Она говорит как ребенок, например, «более счастливее», я сам слышал. Ты находишь, что у нее красивый лоб? По-моему, нет. Она даже не моет себе руки.

— Мы не хотели ведь больше говорить о ней?

— Правда. Я просто позабыл.

Опять проходит некоторое время. Я думаю о чем-то, я молчу.

— Почему у тебя слезы на глазах? — спрашивает Ева.

— У нее, впрочем, красивый лоб, — говорю я, — и руки всегда чисты. Это простая случайность, что они были у нее один раз грязны. Я ничего больше и не хотел сказать.

Но я опять продолжаю горячо и стиснув зубы:

— Я сижу и все время думаю о тебе, Ева; но мне приходит сейчас в голову, что ты не слышала того, что я расскажу тебе сейчас. В первый раз, когда Эдварда увидела Эзопа, она сказала: «Эзоп, это ведь был мудрец, он был фригиец?» Разве это не глупо? Она вычитала это в книге в тот самый день — я уверен в этом.

— Да, — говорит Ева, — ну, так что же?

— Насколько я помню, она сказала, кажется, что учителем Эзопа был Ксанф? Ха-ха-ха!

— Вот как!

— За каким чертом нужно было рассказывать в обществе, что у Эзопа был учителем Ксанф? Я спрашиваю просто. Ах, ты не расположена смеяться сегодня, Ева, а то ты заболела бы от смеха.

— Нет, я тоже нахожу, что это забавно, — говорит Ева и начинает натянуто и удивленно смеяться. — Только я это не так хорошо понимаю, как ты.

Я молчу и думаю, молчу и думаю.

— Хочешь, мы лучше посидим молча и ничего не будем говорить? — тихонько спрашивает Ева.

Доброта сияла в ее глазах, она погладила меня рукой по волосам.

— Добрая, добрая душа! — восклицаю я и порывисто прижимаю ее к себе. — Я уверен, что погибаю от любви к тебе, я люблю тебя все больше и больше, я возьму тебя с собой, когда буду уезжать. Ты увидишь! Поехала бы ты со мной?

— Да, — отвечает она.

Я почти не слышу этого «да», но я чувствую его по ее дыханию, замечаю по всему ее виду; мы страстно обнимаем друг друга, и она отдается мне беззаветно.

Через час я целую Еву на прощанье и ухожу. В дверях я сталкиваюсь с господином Макком.

С самим господином Макком!

Он вздрагивает и смотрит в комнату, останавливается на пороге и смотрит неподвижно.

— Ну-ну, — говорит он и не может выговорить ничего больше. Он точно громом поражен.

— Вы не ожидали найти меня здесь? — говорю я с поклоном.

Ева не двигается.

Господин Макк приходит в себя. Необыкновенная уверенность проникает все его существо, он отвечает:

— Вы ошибаетесь, я искал именно вас. Я должен обратить ваше внимание на то, что с первого апреля по пятнадцатое августа запрещено стрелять на расстоянии восьмой части мили от места, где гнездятся гагары. Сегодня вы застрелили двух птиц на самом острове — вас видели.

— Я застрелил двух гагарок, — сказал я, сбитый с толку.

Мне вдруг стало ясно, что человек этот в своем праве.

— Двух гагарок или двух гагар, это совершенно все равно. Вы были в области, находящейся под запретом.

— Я признаю это, — сказал я. — Но мне это раньше не приходило в голову.

— Однако это должно было бы прийти вам в голову раньше.

— Но я и в мае месяце выстрелил из обоих стволов на том же самом месте. Это было во время поездки на острова. И сделал я это по вашей собственной просьбе.

— Это другое дело, — коротко сказал господин Макк.

— Ну так, черт возьми, тогда вы, наверное, знаете, что вам делать?

— Очень хорошо знаю, — ответил он.

Ева была наготове. Когда я вышел, она последовала за мной, на голову она накинула платок и вышла из дома. Я видел, что она пошла по направлению к пристаням. Господин Макк побрел домой.

Я обдумывал это происшествие. Сколько самообладания и какая находчивость. Какой пронзительный у него был взгляд! Выстрел, два выстрела, пара гагарок, штраф, платеж. И вот все, все кончено с господином Макком и его домом. Все сошло, в сущности, так прекрасно и быстро...

Уже начинался дождь, упали первые крупные, теплые капли. Сороки летали низко над землей, и когда я, придя домой, выпустил Эзопа, он стал есть траву. Зашумел ветер.

## ГЛАВА XX

---

В миле под собою я вижу море. Идет дождь. Я наверху, в горах. Выступ скалы защищает меня от дождя. Я курю свою носогрейку, курю одну трубку за другой, и всякий раз, когда разжигаю ее, табак извивается, как маленькие тлеющие червячки в золе. Так же точно копошатся и мысли в моей голове. Передо мною на земле лежит комок сухих веток от разоренного птичьего гнезда. И так же, как это гнездо, смята, разорена и растоптана моя душа.

Я припоминаю малейший пустяк из того, что я пережил в этот день и в следующий. Ух, как плохо мне приходилось!..

Я сижу здесь, в горах, а море и воздух гудят. В ушах моих жутко завывают и жалуются ветер и непогода. Яхты и шхуны виднеются вдаль с зарифленными парусами. На них люди, они куда-то направляются. «Бог весть куда занесет все эти жизни»,— думаю я. Море, пенясь, вздымается и ворочается, ворочается. Оно словно населено огромными, бешеными призраками, которые размахивают руками и ногами и ревут друг на друга. Нет, это праздник десяти тысяч воющих дьяволов, которые, вжав голову в плечи, кружатся, хлещут море концами своих крыльев, взбивая его в белую пену. Совсем вдаль лежит подводный камень. На этот подводный камень поднимается белый морской король и, качая головой, смотрит вслед утлону суденышку, которое, убрав паруса от ветра, выходит в море — в море, в пустынное море!..

Я радуюсь тому, что я один, что никто не может видеть моих глаз. Я доверчиво прислоняюсь к стене утеса и знаю,

что никто не может подойти и наблюдать меня сзади. С резким криком над горой пролетает птица. В ту же минуту неподалеку отрывается кусок скалы и скатывается в море. А я сижу некоторое время тихо, погруженный в покой. Теплое чувство уюта наполняет меня оттого, что я могу сидеть под таким верным прикрытием, в то время как там, снаружи, все льет дождь. Я застегнул куртку и поблагодарил Бога за то, что она такая у меня теплая. Прошло еще некоторое время. Я заснул.

Под вечер я иду домой, дождь все еще не перестал. Тут происходит нечто необыкновенное: Эдварда стоит передо мной на тропинке. Она промокла насквозь, словно долго пробыла на дожде, но она улыбается.

«Ну да», — думаю я сейчас же, и злость охватывает меня, я бешено впиваюсь пальцами в ружье и иду ей так навстречу, хотя она и улыбается.

— Здравствуй! — кричит она первая.

Я выжидаю, пока не подхожу к ней еще на несколько шагов ближе, и говорю тогда:

— Приветствую вас, прекрасная дева!

Она вздрагивает от моей шутки. Ах, я сам не знал, что говорил! Она робко улыбается и смотрит на меня.

— Вы были сегодня в горах? — спрашивает она. — Так вы промокли? У меня есть платок, если хотите, возьмите, он мне не нужен... Нет, вы меня не узнаете...

И она опускает глаза и качает головой, когда я не беру платка.

— Платок? — отвечаю я, кривя рот от злобы и удивления. — Но у меня самого есть куртка, не угодно ли вам взять ее? Она у меня лишняя, я все равно отдам ее первому встречному, так что вы совершенно спокойно можете взять ее. Какая-нибудь рыбачка с удовольствием возьмет ее.

Я видел, что она напряженно старается вникнуть в то, что я хотел сказать. Она наклонилась вперед и слушала с таким волнением и ожиданием, что стала безобразна и даже забыла закрыть рот. Она стояла с платком в руке, это был белый шелковый платок, она сняла его с шеи. Я тоже сдираю с себя куртку.

— Ради Бога, наденьте ее скорее! — восклицает она. — Не делайте этого. Неужели вы так сердиты на меня? Нет, Господи, да наденьте же куртку — вы совсем промокнете!

Я надел куртку.

— Куда вы шли? — глухо спросил я.

— Никуда... Я не понимаю, как вы могли снять куртку...

— Куда вы девали сегодня барона? — продолжал я спрашивать.— По такой погоде граф едва ли на море...

— Глан, я хотела сказать вам только кое-что...

Я прерываю ее:

— Осмелюсь ли просить вас передать мое почтение герцогу?

Мы смотрим друг на друга. Я стою, готовый сейчас же прервать ее, если она раскроет рот. Наконец страдальческое выражение мелькает на ее лице, я отворачиваюсь и говорю:

— Откровенно говоря, натяните вы этому принцу нос, иомфру Эдварда. Это не муж для вас. Уверяю вас, он все эти дни ходит и размышляет, взять ему вас себе в жены или нет, а это вам вовсе не большая честь.

— Нет, не будем говорить об этом, хорошо? Глан, я думала о вас, вы могли снять с себя куртку и промокнуть ради другого. Я пришла к вам...

Я пожимаю плечами и продолжаю:

— Я предлагаю вам взамен доктора. Что вы можете возразить против него? Мужчина в цвете сил и умница, замечательная голова. Подумайте об этом.

— Выслушайте меня одну минуту...

— Эзоп, моя собака, ждет меня дома.

Я снял шляпу, поклонился и снова сказал:

— Приветствую вас, прекрасная дева.

С этими словами я двинулся вперед.

Она вдруг вскрикнула:

— О, нет, не разрывай мне сердце. Я пришла к тебе сегодня, я поджидала тебя здесь и улыбалась, когда ты показался на дороге. Вчера я чуть с ума не сошла, потому что все время думала об одном. Все предметы кружились перед моими глазами, и я все думала о тебе. А сегодня я сидела в комнате, входит человек, я не подняла головы, но знала, кто это. «Я греб вчера целую четверть мили»,— сказал он. «Вы не устали?» — спросила я. «Ах, ужасно устал и натер мозоли на руках»,— сказал он и с огорчением посмотрел на свои руки. Я подумала: «Вот нашел чем огорчаться!» Через минуту он сказал: «Я слышал нынче ночью шепот под моими окнами, это ваша горничная и один из ваших приказчиков вели между собой интимную беседу».— «Да, они собираются жениться»,— сказала я. «Но ведь дело было два часа ночи».— «Так что ж? — спросила я и потом прибавила,—

ночь принадлежит им». Тогда он сдвинул свои золотые очки на лоб и заметил: «Но разве вы не находите, что так поздно ночью это все-таки неприлично, не правда ли?» Я все не поднимала головы, и мы просидели так десять минут. «Не принести ли вам шаль на плечи?» — спросил он. «Нет, благодарю вас», — ответила я. «Кому-то достанется вапа маленькая ручка?» — сказал он. Я не ответила, мои мысли были заняты другим. Он положил мне на колени маленькую коробочку, я открыла коробочку и увидела брошку. Брошка была с короной, я насчитала в ней десять камней... Глан, брошка здесь, со мной, хочешь посмотреть ее? Я растоптала ее; подойди, посмотри, и ты увидишь, что она совсем раздавлена... «Что это, зачем вы даете мне эту брошку?» — спросила я. «Это вам для украшения», — ответил он. Но я протянула ему брошку обратно и сказала: «Оставьте меня в покое, я думаю о другом». — «О ком другом?» — спросил он. «Об одном охотнике», — ответила я, — он подарил мне только два чудесных пера на память. Возьмите же вашу брошку обратно». Я в первый раз взглянула на него, глаза у него были какие-то пронизывающие. «Я не возьму назад брошку, делайте с ней что хотите, сломайте ее», — сказал он. Я встала, положила брошку под каблук и наступила на нее... Это было сегодня утром... Целых четыре часа я ждала, а после обеда отправилась сюда. Он встретил меня на дороге. «Куда вы идете?» — спросил он. «К Глану», — ответила я, — я хочу попросить, чтобы он не забывал меня...» С часу я ждала тебя здесь. Я стояла под деревом и видела, как ты шел. Ты был точно бог. Я любила твою фигуру, твою бороду, твои плечи, все в тебе я любила... А теперь вот ты стоишь и слушаешь меня с нетерпением. Ты хочешь уйти, поскорее уйти. Я тебе совершенно безразлична — ты не смотришь на меня...

Я стоял. Когда она замолчала, я опять пошел. Я был обессилен отчаянием и улыбался. Сердце мое ожесточилось.

— Ах, да, — сказал я и снова остановился, — вы ведь, кажется, что-то хотели сказать мне?

Эта насмешка обескуражила ее и оттолкнула ее от меня.

— Разве я хотела что-то сказать? Ах, да! Но я уже сказала; разве вы не слышали? Нет, больше мне нечего, нечего сказать вам...

Голос ее странно вздрагивает, но это меня не трогает.

На следующее утро, когда я выхожу, Эдварда стоит перед моей избушкой.

За ночь я все взвесил и принял решение. Нет, зачем мне по-прежнему слепо подчиняться этому капризному существу, какой-то рыбачке, невежественной девчонке! Разве имя ее не довольно уже сидело в моем сердце и высасывало из него кровь? Будет! Мне пришло даже в голову, что, может быть, я стал ей ближе именно потому, что выказывал к ней равнодушие и издевался над ней. Ах, но как же чудесно я посмеялся над нею! После того, как она говорила несколько минут, я спокойно спрашиваю: «Ах, да, вы, кажется, что-то хотели сказать мне»...

Она стояла возле камня. Она была в высшей степени взволнована и хотела побежать мне навстречу. Она уже готова была обнять меня, но осталась на месте и заломила руки. Я приподнял фуражку и молча поклонился.

— Сегодня я хочу узнать от вас только одну-единственную вещь, Глан,— сказала она горячо.

Но я не двинулся даже, чтобы услышать, что она скажет.

— Я слышала, что вы были в доме у кузнеца. Раз вечером. Ева одна была дома.

Я опешил и спросил:

— От кого это вы получили такие сведения?

— Я не шпионю,— воскликнула она,— я слышала это вчера вечером. Отец рассказал мне. Когда я вернулась вчера, вся промокшая, домой, отец сказал мне: «Ты сегодня оскорбила барона». — «Нет»,— отвечала я. «Где ты была сейчас?»— спросил он. Я отвечала: «У Глана». Тогда отец рассказал мне.

Я стараюсь побороть свое отчаяние и говорю:

— Ева была и здесь.

— Она бывала и здесь? У вас?

— Много раз. Я заставлял ее приходить. Мы с ней разговаривали.

— И здесь!

Молчание.

«Держись!» — думаю я и говорю:

— Поскольку вы так любезны, что входите в мои дела, то и я не хочу отставать от вас. Я предложил вам вчера доктора; вы не подумали об этом? Принц, в сущности, совершенно никуда не годится.

Гнев вспыхивает в ее глазах.

— А знаете, он вовсе не так плох,— резко говорит она.— Нет, он лучше вас! Он может бывать в гостях, не разбивая чашек и стаканов, моим башмакам не грозит от него никакой опасности. Да, он умеет обходиться с людьми. Вы же — вы смешны, я стыжусь за вас, вы невыносимы, понимаете, невыносимы!..

Слова ее глубоко задели меня, я опустил голову и ответил:

— Вы правы в том, что я разучился обходиться с людьми. Будьте сострадательны, вы не понимаете меня. Я люблю жить в лесу, это моя радость. Здесь в одиночестве никому не мешает, что я таков, каков есть; но когда я попадаю в общество других людей, мне приходится употреблять страшные усилия, чтобы быть таким, каким полагается. За два года я так мало бывал в обществе людей...

— Каждую минуту от вас можно ожидать какой-нибудь ужасной выходки,— продолжала она.— В конце концов становится утомительным следить за вами.

С какой жестокостью она говорила это! Острая боль впивается мне в сердце, я еле держусь на ногах и отступаю перед порывом ее раздражения. Эдварда все не замолкает, она прибавляет:

— Вот, может быть Ева последит за вами. Жаль только, что она замужем.

— Ева? Вы говорите, Ева замужем? — спросил я.

— Да, замужем.

— За кем же она замужем?

— Вы и сами знаете. Ева замужем за кузнецом.

— Разве она не дочь кузнеца?

— Нет, она его жена. Уж не думаете ли вы, что я лгу?

Я не думал этого, просто изумление мое было очень велико. Я стоял и думал: «Неужели Ева замужем?»

— Так что вы сделали весьма удачный выбор,— произнесла Эдварда.

Ну, этому конца не будет! Дрожа от ожесточения, я сказал:

— А вы возьмите все-таки доктора, как я советую. Послушайтесь совета друга: ваш принц — просто старый дуралей.

И вне себя я стал издеваться над ним, преувеличил его возраст, сказал, что он плешив, что он почти слеп; я утверждал, что он носит корону на запонках единственно для того, чтобы кичиться своим баронством.



— Впрочем, я не желал с ним знакомиться,— сказал я.— В нем нет ничего, что выдвигало бы его над другими. Ему недостает характерных черт — он просто ничтожество.

— Нет, он не ничтожество, не ничтожество! — закричала она, и голос ее срывался и звенел от гнева.— Он гораздо больше, чем ты воображаешь, ты, лесной житель! Но подожди, он поговорит с тобой, я попрошу его! Ты думаешь, что я не люблю его, но ты ошибаешься. Я выйду за него замуж, я буду думать о нем днем и ночью. Помни, что я говорю: я люблю его! Пусть Ева приходит, ха-ха-ха, Господи Боже мой, пусть ее приходит! Мне это до того безразлично, что я даже не могу сказать! Ну, мне надо уходить отсюда.

Она пошла к тропинке от избушки быстрыми, мелкими шагами, потом обернулась, с мертвенно-бледным лицом, и простионала:

— И никогда больше не попадайся мне на глаза!

## ГЛАВА XXII

---

Листва желтела. Картофельная ботва разрослась вышиною и стояла в цвету. Наступила пора охоты. Я стрелял куропаток, тетеревов и зайцев. Раз застрелил орла. Тихое, высокое небо, прохладные ночи, множество звонких шумов и милых звуков в лесу и в поле. Величественный и благодатный мир отдыхал...

— Господин Макк ничего больше не говорил мне относительно той пары гагарок, которых я застрелил,— сказал я доктору.

— Можете за это поблагодарить Эдварду,— ответил он.— Я знаю, я слышал, как она воспротивилась этому.

— Я вовсе не благодарен ей,— сказал я.

*Бабье лето, бабье лето!* Тропинки лежали, словно пояса, среди пожелтевшего леса. С каждым днем прибавлялось по новой звезде. Месяц мерцал, как тень, золотая тень, погруженная в серебро...

— Бог с тобой, ты, оказывается, замужем, Ева?

— Разве ты не знал?

— Нет, я не знал этого.

Она молча пожимала мою руку.

— Бог с тобой, дитя,— что же нам теперь делать?

— Что ты хочешь. Может быть, ты еще не сейчас уедешь,— я буду счастлива, пока ты здесь.

— Нет, Ева.

— Да, да, хоть пока ты здесь!

Она смотрит сиротливо и все время жмет мою руку.

— Нет, Ева, иди. Никогда больше.

И проходят ночи, и наступают дни. Уже третий день со времени этого разговора. Ева идет по дороге с ношей. Сколько дров переносило это дитя из лесу за лето!

— Положи свою вязанку, Ева, и покажи мне твои глаза, все такие же ли они синие?

Глаза ее были красны.

— Нет, улыбнись опять, Ева. Я больше не противлюсь тебе — я твой, я твой...

Вечер. Ева поет. Я слышу ее пение, и горячая струя приливает к моему сердцу.

— Ты поешь сегодня, Ева?

— Да, я рада.

И так как она ниже меня ростом, она слегка подпрыгивает, чтобы достать до моей шеи.

— Но, Ева, ты расцарапала себе руки? Боже мой, как это ты так исцарапала их?

— Это ничего.

И лицо ее странно сияет.

— Ева, ты говорила с господином Макком?

— Один раз.

— Что же сказал он, и что ты сказала?

— Он стал очень суров к нам. Заставляет мужа работать день и ночь на пристани, мне тоже дает всякую работу. Он заставляет меня делать мужскую работу.

— Зачем же он это делает?

Ева опускает глаза.

— Почему он делает так, Ева?

— Потому что я люблю тебя.

— Но откуда же он знает это?

— Я сама сказала ему.

Молчание.

— Дай Бог, чтобы он не был так суров к тебе, Ева!

— Это ничего. Теперь все ничего!

И голос ее прозвучал, словно робкая, переливчатая песенка.

А листва все больше желтеет, близится осень. На небе выступило еще несколько новых звезд, и луна уже похожа на серебряную тень, купающуюся в золоте. Еще не было холода, нисколько, просто прохладная тишина и кипучая

жизнь в лесу. Каждое дерево стояло и думало. Ягоды поспели.

И вот наступило двадцать второе августа, а с ним и три железные ночи, предвестницы зимних оков.

## ГЛАВА XXIII

---

Первая железная ночь.

В девять часов солнце заходит. На землю ложится белесоватая мгла. Мерцают несколько звезд. Через два часа показывается серп луны. Я бреду в лес с ружьем и собакой, я развожу огонь, и свет моего костра поблескивает среди сосновых стволов. Мороза нет.

«Первая железная ночь!» — говорю я. И безумная страстная радость пронизывает меня странным трепетом при мысли о месте и времени.

Вы, люди, звери и птицы! Я поднимаю стакан за одинокую ночь в лесу — в лесу! За тьму и шепот Бога среди деревьев, за простые, нежные созвучия безмолвия, звенящие в моих ушах! За зеленую листву и за желтую листву! Я пью за звук жизни, который слышу, за морду, фыркающую в траве, за собаку, обнюхивающую землю! Бурный тост — за дикую кошку, припавшую грудью к земле и готовую ринуться на воробья во мраке — во мраке! За кроткую тишину в земном царстве, за звезды и за полумесяц, да — за них и за него!

Я встаю и прислушиваюсь. Никто не слышал меня. Я снова сажусь.

Благодарение за одинокую ночь, за горы, мрак и шорох моря — он звучит в моем сердце! Благодарение за мою жизнь, за мое дыхание, за счастье, что я живу этой ночью, я благодарю за это от всего сердца! Послушай на восток и послушай на запад — нет, послушай! Это вечный Бог. Эта тишина, что шепчет мне на ухо, — это кипучая кровь самой великой природы, Бог, дыханьем Своим обвевающий мир и меня! При свете своего костра я вижу блестящую паутинку, слышу плывущую по морю лодку, отблеск северного сияния вверх по небу на севере. О, клянусь бессмертной душой моей, я благодарен и за то, что это я сижу здесь!..

Тихо. Сосновая шишка глухо ударяется о землю. «Упала сосновая шишка!» — думаю я. Луна высоко, огонь вспыхивает на полубогоревших головешках и собирается погаснуть. Поздно ночью я отправляюсь домой.

Вторая железная ночь. Та же тишина и мягкая погода. Душа моя мыслит и созерцает. Я машинально подхожу к дереву, надвигаю фуражку низко на лоб, прислоняюсь спиной к этому дереву, заложив руки за голову. Я смотрю и думаю. Пламя от костра слепит мои глаза, но я этого не чувствую. Я стою в этом бесчувственном состоянии довольно долго и смотрю на огонь; ноги мои сдаются первыми и устают. Совершенно оцепенелый, я сажусь на землю. Только теперь я думаю о том, что делал. К чему было однако так долго смотреть на огонь?

Эзоп поднимает голову и прислушивается, он слышит шаги. Ева показывается между деревьями.

— Я сегодня почему-то очень задумчив и печален,— говорю я.

Она ничего не отвечает из сочувствия.

— Я люблю три вещи,— говорю я опять.— Я люблю грезу любви, которая приснилась мне однажды, люблю тебя и люблю этот клочок земли.

— Что же ты любишь больше всего?

— Грезу.

Снова все стихло. Эзоп знает Еву, он кладет голову набок и смотрит на нее. Я бормочу:

— Я видел сегодня на дороге девушку, она шла под руку со своим возлюбленным. Девушка указала на меня глазами и с трудом удержалась от смеха, проходя мимо.

— Чего же она смеялась?

— Этого я не знаю. Смеялась, наверное, надо мною. Почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Ты знал ее?

— Да. Я поклонился.

— А она знала тебя?

— Нет, она сделала вид, будто не знает меня... Но зачем ты выпрашиваешь меня? Это нехорошо с твоей стороны. Ты не заставишь меня сказать ее имя.

Пауза.

Я бормочу опять:

— Чего она смеялась? Она кокетка, но над чем она смеялась? Господи Иисусе Христе, что я сделал ей?

Ева отвечает:

— Нехорошо с ее стороны смеяться над тобой.

— Нет, это нехорошо,— кричу я.— Не смей осуждать ее. Она не делает ничего дурного. Она права, что смеялась надо мной. Молчи, черт возьми, и оставь меня в покое, слышишь?

И Ева, испуганная, оставляет меня в покое. Я смотрю на нее и в ту же минуту раскаиваюсь в своих грубых словах. Я падаю перед ней на колени и ломаю руки.

— Иди домой, Ева. Больше всего я люблю тебя. Как мог бы я любить сон? Я просто пошутил, я люблю тебя. Но иди теперь домой, я приду к тебе завтра; помни, я твой, смотри, не забывай, что я твой! Покойной ночи.

И Ева уходит домой.

Третья железная ночь, проведенная в величайшем волнении. Хоть бы какой-нибудь мороз! Вместо мороза — неподвижное тепло после дневного солнца. Ночь была словно парное болото. Я развел костер...

— Ева, иногда есть наслаждение в том, что тебя тянут за волосы. До какого извращения могут дойти человеческие чувства. Тебя будут тащить за волосы вверх и вниз, по горам и долинам, и если спросит кто-нибудь, что же это, собственно, происходит, то ответишь в полном восторге: «Меня тащат за волосы». И если спросят: «Не помочь ли, не освободить ли тебя?» — отвечаешь: «Нет». И если спросят: «Но выдержишь ли ты?» — отвечаешь: «Да, я выдержу, потому что люблю руку, которая тащит меня...» Знаешь ли ты, Ева, что значит надеяться?

— Да, мне кажется.

— Видишь ли, Ева, надежда — это нечто весьма удивительное, да, да, нечто весьма странное. Выходишь утром на дорогу и надеешься встретить человека, который тебе дорог. Что же, встречаешь ты этого человека? Нет. Почему же нет? Потому что человек этот занят в то утро и находится совсем в другом месте... В горах я встретил раз старого слепого лопаря. Пятьдесят восемь лет он был слеп, а теперь ему за семьдесят. Ему казалось, что он видит все лучше и лучше с течением времени. Зрение его постоянно улучшалось, говорил он. Если ничего не случится, так он будет различать солнце через несколько лет. Волосы у него были еще черные, но глаза совершенно белы. Пока мы сидели в его землянке и курили, он рассказывал мне обо всем, что он видел до того, как ослеп. Он был крепок и здоров, ничего у него не болело, он был непоколебим и сохранял свою надежду. Когда я собрался идти, он проводил меня и стал указывать пальцем в разных направлениях. «Вон там — юг, — сказал он, — а тут — север. Теперь ты пойдешь сначала в эту сторону, и когда спустишься несколько с горы, то свернешь вон туда», — сказал он. «Совершенно верно», — ответил я. И лопарь

засмеялся, довольный, и сказал: «Вот видишь, я не знал этого сорок пять лет назад, стало быть, теперь я вижу лучше, чем тогда, глаза мои поправляются». Потом он согнулся и пополз обратно в свою нору, в вечную землянку, его обитель на земле. И сел перед огнем, опять полный надежды, что через несколько лет, наверное, увидит солнце... Ева, ужасно странная вещь — надежда. Вот я, например, хожу теперь и все надеюсь забыть человека, которого не встретил на дороге сегодня утром.

— Ты так странно говоришь.

— Это третья железная ночь. Я обещаю тебе стать завтра другим человеком, Ева. Только оставь меня теперь одного. Ты не узнаешь меня завтра, когда я приду к тебе, я буду смеяться и целовать тебя, милая моя, моя красавица! Подумай, у меня остается одна только эта ночь, а потом я стану другим человеком, еще несколько часов — и я буду другим. Покойной ночи, Ева.

— Покойной ночи.

Я ложусь ближе к костру и рассматриваю пламя. Еловая шишка падает на меня с ели, за нею падает одна-другая сухая ветка. Ночь — словно бездонная пучина. Я закрываю глаза.

Через час чувства мои начинают колебаться в определенном ритме, я звучу в унисон с безграничной тишиной, звучу в унисон. Я смотрю на месяц, он стоит на небе, как белая скорлупка, и мне кажется, что я люблю его, чувствую, как я краснею. «Это месяц, — говорю я тихо и страстно, — это месяц!» И сердце мое рвется к нему слабыми толчками. Так продолжается несколько минут. Легкое дуновение, незнакомый ветер доносится до меня, какое-то странное движение воздуха. Что это? Я оглядываюсь и никого не вижу. Ветер зовет меня, и душа моя с готовностью склоняется на призыв. Я чувствую, как меня поднимает, словно я отделяюсь от себя самого, прижимает к чьей-то невидимой груди. Глаза мои влажны, я трепещу. Бог стоит невдалеке и смотрит на меня. Это длится тоже несколько минут. Я поворачиваю голову. Неведомое дуновение исчезает, и я вижу нечто вроде спины духа, беззвучно удаляющегося в глубь леса...

Несколько минут я борюсь с желтым оцепенением. Я изнемог от душевного потрясения, испытываю смертельную усталость и засыпаю.

Когда я проснулся, ночь уже миновала. Ах, я давно уже находился в плачевном состоянии, в вечной лихорадке, ожидая, что слягу от какой-нибудь болезни. Предметы

кружились передо мной. Я смотрел на все воспаленными глазами. Глубокое уныние овладело мною.

Теперь все прошло.

## ГЛАВА XXIV

---

Осень. Лето кончилось. Оно исчезло так же быстро, как наступило. Ах, как быстро оно прошло! Теперь стоят холодные дни, я охочусь, ловлю рыбу и пою песни в лесу. Бывают дни с густым туманом, который плывет с моря и заволакивает все мраком. В один такой день случилось вот что. Я забрел в своих скитаньях в лес, соседний церковный лес, и вышел прямо к дому доктора. У него были гости, молодые дамы, с которыми я раньше встречался, танцующая молодежь — настоящие сорванцы.

Подъезжает экипаж и останавливается у садовой ограды; в экипаже сидела Эдварда. Она вздрогнула, увидев меня.

— Прощайте,— сказал я тихонько.

Но доктор удержал меня. Эдварда вначале была угнетена моим присутствием и опускала глаза, когда я что-нибудь говорил. Потом она как будто несколько примирилась со мной и даже задала мне два незначительных вопроса. Она была страшно бледна. Туман ложился, холодный и серый, на ее лицо. Она не вышла из экипажа.

— Я приехала по делу,— сказала она, смеясь.— Я еду из церковной усадьбы, где вас никого не оказалось; мне сказали, что вы здесь. Я проехала целые часы, ища вас... У нас собирается маленькое общество завтра вечером — по случаю того, что барон на будущей неделе уезжает,— и мне поручили пригласить всех вас. Будут и танцы. Завтра вечером.

Все поклонились и поблагодарили.

Мне она сказала:

— Смотрите же, приходите, будьте добры. Не вздумайте в последнюю минуту прислать записку с извинением.

Этого она не говорила никому другому. Вскоре после этого она уехала.

Я был так взволнован этой необычной любезностью, что на минуту отошел ото всех, чтобы скрыть свою радость. Потом я простился с доктором и его гостями и отправился домой. Как она была ласкова со мной! Чем бы мне отблагодарить ее? Руки мои ослабели, сладкий холодок пробегал по моим пальцам. «Господи Боже мой, вот я иду и чуть не шатаюсь от радости,— думал я,— и не могу

сжать руки в кулак, и глаза у меня наполняются слезами от беспомощности. Что мне делать?..»

Я вернулся домой только поздно вечером. Я пошел мимо пристани и спросил рыбака, не придет ли почтовый пароход завтра вечером. О, нет, почтовый пароход придет только на будущей неделе. Я поторопился к себе и занялся осмотром своего лучшего костюма. Я вычистил его. В нескольких местах оказались дыры, и я плакал и чинил дыры.

Когда все было готово, я лег на нары. С минуту продолжается этот покой, потом вдруг у меня мелькает мысль, я вскакиваю и, пораженный, стою посреди комнаты.

— Все это опять какая-нибудь ловушка,— шепчу я.— Разве я был бы приглашен, если б случайно не оказался при том, как приглашали других? А мне она ясно намекнула, чтобы я не приходил, чтобы я прислал записку с извинением...

Я не спал всю ночь, а когда наступило утро, ушел в лес, иззябший, измученный бессонницей, в лихорадке. Ага, в Сирилунде теперь готовятся к приему гостей! Так что же? Я не пойду туда и не пошлю никакого извинения. Господин Макк глубокомысленный человек. Вот теперь он устраивает пир для барона, но я не пойду туда, понимаете вы?..

Туман густой пеленой лежал над долиной и горами, сырая изморозь оседала на мое платье, и оно стало тяжелым, лицо мое коченело и было мокро. Только изредка налетал ветер и колыхал этот спящий туман, и он поднимался и опускался, поднимался и опускался.

Было уже близко к вечеру. Темнело. Туман скрывал все от моих глаз, и я не мог угадывать направление по солнцу. Я плутал несколько часов на обратном пути, но мне некуда было торопиться. С величайшим спокойствием я брал неверные направления и приходил на незнакомые места в лесу. Наконец я снимаю ружье, прислоняю его к стволу дерева и справляюсь со своим компасом. Я тщательно определяю направление и снова пускаюсь в путь. Времени могло быть часов восемь или девять.

Тут произошло вот что.

Через полчаса я слышу музыку сквозь туман, еще через несколько минут я узнаю место. Я стою прямо у главного здания Сирилунда. Неужели компас неверно показывает направление и привел меня как раз к тому месту, которого я хотел избежать? Знакомый голос окликает меня. И вскоре меня вводят в дом.



Ах, ружейный ствол, должно быть, действовал на компас, отклоняя стрелку, и сбил меня с толку. Это случилось со мной еще один раз впоследствии, теперь, в этом году. Я не знаю, что мне думать. А может быть, то была и судьба.

## ГЛАВА XXV

---

Весь вечер у меня было горькое чувство, что мне не следовало приходиться на эту вечеринку. Прибытие мое прошло почти незамеченным, все были так заняты друг другом. Эдварда едва поздоровалась со мной. Я стал много пить, потому что понимал, что я нежеланный гость, и все-таки не уходил.

Господин Макк усиленно улыбался и делал самое любезное лицо. Он нарядился во фрак и был очень представителен. Он был то здесь, то там в комнатах, сновал среди этой полсотни гостей, изредка танцевал какой-нибудь танец, шутил и смеялся. В глазах его насторожилась тайна.

Шум музыки и голосов разносился по всему дому. Пять комнат было занято гостями, и кроме того танцевали в большой зале. Когда я пришел, уже поужинали. Служанки торопливо бегали взад и вперед со стаканами и вином, с блестящими медными кофейниками, сигарами, трубками, печеньем и фруктами. Пир был на славу. В люстры вставили необычайно толстые свечи, специально отлитые для этого случая; кроме того, горели новые керосиновые лампы.

Ева помогала на кухне, я видел ее мельком. Подумать только, и Ева тоже здесь!

Барон был предметом большого внимания, хотя держал себя тихо и скромно и не совался вперед. Он тоже был во фраке, фалды его были страшно измяты от укладки. Он постоянно разговаривал с Эдвардой, следил за ней глазами, чокался с ней и называл ее «фрёкен», как дочерей пастора и окружного врача. Я испытывал к нему упорную вражду и не мог взглянуть на него, чтобы не отвернуться сейчас же с огорченной и глупой гримасой. Когда он заговаривал со мной, я отвечал кратко и потом поджимал губы.

Припоминаю кое-что из этого вечера. Я стоял и разговаривал с молодой девушкой, блондинкой, и что-то сказал, или рассказал ей какую-то историю, которая

рассмешила ее. Едва ли это была какая-нибудь замечательная история, может быть, в том состоянии некоторого опьянения, в котором я находился, я только рассказал ее несколько забавнее, чем мне теперь представляется. Во всяком случае, она ускользнула из моей памяти. Но только когда я обернулся, за мною стояла Эдварда. Она бросила на меня признательный взгляд.

Потом я заметил, что она отвела блондинку в сторону, чтобы узнать, что я ей говорил. Не могу сказать, до чего взгляд Эдварды подействовал на меня благотворно после того, как целый вечер я ходил, подобно отщепенцу, из комнаты в комнату. Я сразу повеселел, стал разговаривать со многими и был довольно интересен. Насколько я знаю, я не совершил никакой бестактности или неловкости...

Я стоял снаружи, на лестнице. Ева прошла, неся что-то из комнаты. Она увидела меня, вышла на лестницу и быстро провела рукой по моим рукам, потом улыбнулась и опять ушла в комнаты. Никто из нас не произнес ни слова. Когда я повернулся, чтобы тоже пойти в комнаты, Эдварда стояла в дверях и смотрела на меня. Она смотрела прямо на меня. Она тоже не сказала ни слова. Я вошел в залу.

— Представьте себе, лейтенант Глан для развлечения устраивает себе свидания с прислугой на лестницах,— вдруг громко сказала Эдварда.

Она стояла в дверях. Многие слышали, что она сказала. Она смеялась, словно шутила, но лицо ее было очень бледно.

Я ничего не ответил на это, только пробормотал:

— Это совершенно случайно, она просто вышла, мы встретились в передней...

Прошло некоторое время, может быть, час. Одна дама опрокинула себе стакан на платье. В ту же минуту Эдварда воскликнула:

— Что такое случилось? Разумеется, это опять Глан.

Это сделал вовсе не я. Я стоял на другом конце залы, когда произошло это несчастье. С этого момента я опять принялся пить и все время держался около двери, чтобы не мешать танцующим.

Около барона собралось несколько дам. Он сожалел, что его коллекции уже запакованы, так что он не мог показать им ничего — ни образцов водорослей из Белого моря, ни глины с Курхольмена, ни чрезвычайно интересных окаменелостей с морского дна. Дамы с любопытством смотрели на его заправки, на эти пятиконечные короны, которые обозначали баронское достоинство. А доктору не

везло, даже его остроумная клятва «клянусь смертью и вечной мукой» — не производила больше впечатления. Но когда Эдварда говорила, он все время был начеку, поправлял ее речь, осаживал мелкими придирадками, унижал своим спокойным превосходством.

Она сказала:

— До тех пор, пока я не спущусь в долину смерти.

И доктор сейчас же спросил:

— Куда вы спуститесь?

— В долину смерти. Разве это называется не «долиной смерти»?

— Мне приходилось слышать о реке смерти. Я полагаю, вы именно это имели в виду.

Несколько позже она заговорила о какой-то вещи, которую она велела стеречь, как стережет...

— Дракон,— вмешался доктор.

— Ну да, как дракон,— ответила она.

Но доктор сказал:

— Ну, благодарите же меня за то, что я вас спас. Я уверен, что вы хотели сказать — Аргус.

Барон поднял брови и бросил на него изумленный взгляд сквозь толстые стекла своих очков. Таких дерзостей он, пожалуй, никогда не слышал. Но доктор был совершенно спокоен — какое ему было дело до барона!

Я продолжал стоять возле двери. В зале танцевали так, что пыль стояла столбом. Мне удалось разговориться с приходской учительницей. Мы говорили о войне, о делах в Крыму, о событиях во Франции, о Наполеоне как императоре, о его покровительстве туркам. Молодая девушка читала летом газеты и могла сообщить мне кое-какие новости. Мы садимся в конце концов на диван и продолжаем разговаривать.

Приходит Эдварда, останавливается перед нами. Вдруг она говорит:

— Вы извините, господин лейтенант, что я помешала вам на лестнице,— я больше никогда не буду этого делать.

Она смеялась и теперь, и не смотрела на меня.

— Иомфру Эдварда, перестаньте! — сказал я.

Она говорила со мной подчеркнуто вежливым тоном. Это было не к добру, и лицо у нее было злое. Я подумал о докторе и с видом превосходства пожал плечами, как сделал бы он. Она продолжала:

— Но почему же вы не идете на кухню? Ева там. Мне кажется, вам следовало бы находиться тоже там.

При этих словах она с ненавистью взглянула на меня. Я мало бывал в обществе, но никогда не слышал такого тона в тех домах, где мне приходилось бывать. Я сказал:

— Вы рискуете быть превратно понятой, иомфру Эдварда.

— Неужели? Как так? Впрочем, может быть, но каким образом?

— Вы иногда говорите очень необдуманно. Сейчас, например, мне показалось, что вы форменно выслали меня на кухню, и, разумеется, это недоразумение. Я ведь прекрасно знаю, что вы не желали быть грубой.

Она отходит от нас на несколько шагов. Я видел по ней, что она все время думала о моих словах. Она оборачивается, снова подходит к нам и говорит, задыхаясь:

— Тут вовсе не было никакого недоразумения, господин лейтенант. Вы слышали совершенно правильно, я действительно послала вас на кухню.

— Эдварда, да что с тобой? — воскликнула перепуганная учительница.

Я снова заговорил о войне и о крымских делах. Но мысль моя была далеко. Я уже не был пьян, только совсем сбит с толку. Почва ускользала из-под моих ног. Я опять, как, к несчастью, столько раз раньше, потерял равновесие. Я поднялся с дивана и хотел уйти. Доктор остановил меня.

— Я только что слышал хвалебную речь по вашему адресу,— сказал он.

— Хвалебную речь? От кого?

— От Эдварды. Вон она еще стоит в дверях и смотрит на вас. Я никогда не забуду этого, глаза у нее были совершенно влюбленные, и она всеуслышание сказала, что в восхищении от вас.

— Это хорошо,— ответил я со смехом.

В голове моей не было ни одной ясной мысли.

Я подошел к барону, нагнулся к нему, словно желая сказать ему что-то по секрету, и, когда очутился совсем близко от него, плюнул ему в ухо. Он вскочил и с идиотским видом уставился на меня. Потом я видел, как он рассказывал Эдварде об этом происшествии, и как она опечалилась. Она вспомнила, наверное, о своем башмаке, который я бросил в воду, о чашках и стаканах, которые я на несчастье свое перебил, о всех преступлениях, совершенных мною против хорошего тона,— все это, конечно, снова ожило в ее воспоминании. Мне стало

стыдно, я чувствовал себя совершенно уничтоженным. Куда я ни обращался, всюду встречал я боязливые и изумленные взгляды. И я потихоньку улизнул из Сирилунда, не простившись, не поблагодарив.

## ГЛАВА XXVI

---

Барон уезжает. Великолепно! Я заряджу ружье, заберусь в горы и дам хороший залп в честь его и Эдварды. Я просверлю глубокую дыру в скале и взорву гору в честь его и Эдварды. И огромная глыба оторвется от скалы и тяжело рухнет в море, когда будет проходить его судно. Я знаю одно место, промоину в скале, по которой камни скатывались и раньше и проделали открытый путь к морю. Глубоко под нею устроен сарай для лодок.

— Два бура! — говорю я кузнецу.

И кузнец оттачивает мне два бура.

Еву заставили разъезжать от мельницы к пристани на лошади господина Макка. Она должна исполнять мужскую работу и перевозить мешки с зерном и мукой. Я встречаю ее. Она прелестна, лицо такое свежее. Боже милостивый, какой нежностью дышит ее улыбка! Я виделся с ней каждый вечер.

— У тебя такой вид, Ева, словно у тебя нет никаких забот. Ева, дорогая, возлюбленная моя!

— Ты называешь меня своей возлюбленной. Я необразованная женщина, но я останусь тебе верна. Я останусь тебе верна, хотя бы мне пришлось умереть из-за этого. Господин Макк становится все строже и строже с каждым днем, но я об этом не думаю. Он злится, но я не отвечаю ему. Он схватил меня за руку и почернел от злости. У меня только одна забота.

— Что же это за забота?

— Господин Макк грозит тебе. Он говорит мне: «Ага, это лейтенант засел у тебя в голове!» Я отвечаю: «Да, я принадлежу ему». Тогда он говорит: «Ну, подожди же, я уж спроважу его!» Он сказал это вчера.

— Это пустяки, пусть его грозитесь... Ева, можно мне посмотреть, все такие же ли у тебя крошечные ножки? Закрой глаза, дай мне посмотреть.

И она бросается с закрытыми глазами мне на шею. Дрожь охватывает ее. Я несу ее в лес. Лошадь стоит и ждет.

Я сижу в горах и работаю буром. Надо мною — кристально-чистый осенний воздух. Удары моего бура раздаются равномерно и твердо. Эзоп смотрит на меня изумленными глазами. Чувство удовлетворения временами струей вливается в мою грудь. Никто не знает, что я здесь, в этих пустынных горах.

Перелетные птицы уже улетели. Счастливого пути и добро пожаловать к нам обратно! Обыкновенные и черные синицы да несколько славков одни еще живут в кустах шиповника над обрывом: пи-и, пи-и!

Все так странно изменилось, карликовая береза рдеет, как кровь, на серых камнях. Здесь синий колокольчик, там ландыш поднимаются из вереска, и качаются, и шепчут тихонько свою песенку. Слышишь? А надо всем парит, вытянув шею, орлан — он держит путь в горы.

Подходит вечер, я кладу свои буры и топор под камень и отдыхаю. Все дремлет. Месяц скользит по небу на севере, горы отбрасывают гигантские тени. Полнолуние. Луна похожа на пылающий остров, на круглую загадку из красной меди, а я иду под нею и дивуюсь. Эзоп встает и проявляет беспокойство.

— Чего ты, Эзоп? Что касается меня, то я устал от своего горя, я хочу забыть его, утопить! Я приказываю тебе лежать спокойно, Эзоп, я не хочу, чтобы меня беспокоили. Ева спрашивает: «Думаешь ли ты иногда обо мне?» Я отвечаю: «Все время о тебе». Она опять спрашивает: «И тебе доставляет радость думать обо мне?» Я отвечаю: «Только радость, ничего, кроме радости». Тогда Ева говорит: «Твои волосы седеют». И я отвечаю: «Да, я начинаю седеть». Но она говорит: «Они седеют от того, о чем ты думаешь». На это я отвечаю: «Может быть». Тогда Ева говорит: «Значит, ты думаешь не обо мне одной...» Эзоп, лежи смирно, я расскажу тебе лучше что-нибудь другое.

Но Эзоп встает и напряженно внюхивается в воздух, в сторону долины. Он взвизгивает и тащит меня за платье. Когда я наконец встаю и иду за ним, он бросается со всех ног.

За лесом на небе показывается зарево. Я иду быстрее, перед моими глазами огонь, огромный костер. Я останавливаюсь и смотрю, делаю несколько шагов и смотрю — моя хижина в огне!

Пожар был делом господина Макка — я понял это в ту же минуту. Я лишился своих звериных шкур и птичьих крыльев, сгорело и чучело рола. Все сгорело. Что же дальше? Я спал две ночи под открытым небом, но не пошел в Сирилунд просить пристанища. В конце концов, я нанял заброшенную рыбацью хижину возле пристаней и законопатил ее сухим мхом. Я спал на охапке красного вереска с гор. У меня снова был кров.

Эдварда прислала мне сказать, что она слышала о моем несчастье и предлагает мне от имени отца комнату в Сирилунде. Эдварда растрогана? Эдварда великодушна? Я ничего не ответил. Слава Богу, у меня снова было пристанище, и я испытывал гордую радость оттого, что ответил молчанием на приглашение Эдварды. Я встретил ее на дороге вместе с бароном. Они шли под руку. Я посмотрел им обоим в лицо и, проходя, поклонился. Она остановилась и спросила:

— Вы не хотите поселиться у нас, господин лейтенант?

— У меня уже есть новое жилище,— ответил я, тоже останавливаясь.

Она смотрела на меня, грудь ее тяжело дышала.

— Вас никто не беспокоил бы и у нас,— сказала она.

В сердце моем шевельнулась благодарность; но я был не в состоянии сказать что-либо.

Барон потихоньку отошел.

— Может быть, вы больше не хотите меня совсем видеть?

— Я благодарен вам, иомфру Эдварда, за то, что вы предложили мне ваше гостеприимство, когда сгорела моя хижина,— сказал я.— Это было тем благороднее, что едва ли было сделано с согласия вашего отца.

И я благодарил ее, обнажив голову, за приглашение.

— Боже мой, неужели вы совсем не хотите меня видеть, Глан? — вдруг сказала она.

Барон позвал ее.

— Барон зовет,— сказал я с низким поклоном и снова снял шапку.

И я побрел в горы, к своей mine. Ничто, ничто не выведет меня больше из равновесия. Я встретил Еву.

— Вот видишь! — крикнул я.— Господин Макк не может выгнать меня. Он сжег мою избушку, а у меня уже другая избушка...

Она несла кисть и ведро с дегтем.

— Это еще что такое, Ева?

Господин Макк вытащил лодку из сарая под горой и приказал ей осмолить ее. Он следил за каждым ее шагом, она должна была повиноваться.

— Но почему же именно там? Почему не у пристани?

— Господин Макк так приказал...

— Ева, Ева, дорогая, тебя превратили в рабу, а ты не жалуешься. Ну вот, ты опять улыбаешься, и жизнь брызжет в твоей улыбке, хотя ты и раба.

Когда я пришел к своей mine, меня ожидал сюрприз. Кто-то приходил на это место. Я исследовал следы на гравии и узнал отпечаток длинных, острых башмаков господина Макка.

«Чего он тут ходит и вынюхивает?» — подумал я и осмотрел все кругом.

Ничего не было видно. У меня не зародилось никакого подозрения.

Я сел и начал колотить по своему буру, не предчувствуя, какое безумство я совершал.

## ГЛАВА XXIX

---

Пришел почтовый пароход, он привез мне мундир и должен был увезти барона и все его ящики с ракушками и разными видами водорослей. Теперь он грузился бочонками с селедкой и ворванью у пристани. Под вечер он уйдет.

Я беру ружье и набиваю порохом оба его ствола. Сделав это, я киваю самому себе головой. Я иду в горы и набиваю порохом и свою мину, и опять киваю. Теперь все готово. Я ложусь и жду.

Я ждал несколько часов. Я слышал все время, как пароход, качаясь, гремел цепями у пристани. Начинало уже смеркаться. Наконец раздается свисток, груз взят, пароход отходит. Мне остается ждать несколько минут. Луна еще не взошла, и я смотрю, как безумный, в вечернюю мглу.

Когда нос парохода показался из-за острова, я поджег фитиль и быстро отскочил. Проходит минута. Вдруг раздается треск, взрыв. Столб каменных осколков взлетает вверх, гора содрогается, и каменная глыба, оторвавшись, с грохотом катится в бездну. Горы кругом грохочут. Я хватаю ружье и стреляю из одного ствола. Эхо отвечает



мне сотней выстрелов. Через минуту я разряжаю и второй ствол. Воздух дрожал от моего салюта, и эхо разнесло гром его по всему миру. Точно все горы соединились, чтобы громким криком проводить уходящее судно. Проходит несколько мгновений, воздух утихает, эхо умолкает всюду в горах, и земля снова лежит безмолвная. Судно исчезает во мгле.

Я еще весь дрожу от страшного волнения. Я беру свои буры и ружье под мышку и спускаюсь с горы; коленки у меня подгибаются. Я выбираю кратчайшую дорогу и все время не спускаю глаз с дымящихся следов, которые оставил после себя мой взрыв. Эзоп идет, мотая головой, и чихает от запаха гари.

Когда я спустился к лодочному сараю, передо мною предстало зрелище, которое привело меня в сильнейшее волнение. Валялась лодка, раздавленная обрушившейся глыбой скалы, и Ева — Ева! — лежала возле нее, разбитая и изуродованная, вся сплюснутая, с истерзанными до неузнаваемости боком и животом. Ева умерла на месте.

### ГЛАВА XXX

---

Что же еще остается мне написать? Я не сделал ни одного выстрела в течение многих дней. У меня не было пищи, да я и не ел, я сидел в своей берлоге. Еву повезли в церковь на собственной белой лодке господина Макка. Я переправился на ту сторону и был у могилы...

Ева умерла. Помнишь ты ее маленькую девичью головку с волосами как у монахини? Она приходила такая тихая, клала на землю свою вязанку и улыбалась. А видел ты, как эта улыбка кипела жизнью? Молчи, Эзоп, я припоминаю странное предание, из времен Изелинды, за четыре поколения назад, когда Стамер был священником.

Сидела девушка в плену, в замурованной башне. Она любила одного господина. За что? Спроси ветер и звезды, спроси бога жизни, потому что никто другой не сумеет тебе ответить. И господин был ее другом и возлюбленным. Но время шло, и в один прекрасный день он увидел другую, и чувства его изменились.

Как юноша, любил он девушку. Он часто называл ее своим благословением, своей голубкой. У нее была горячая и пышная волнующая грудь. Он сказал: «Дай мне твое сердце». И она отдала ему. Он сказал: «Могу я попросить

тебя о чем-то, дорогая?» И она в восторге ответила: «Да!» Она отдала ему все, но он все же не благодарил ее.

Другую он любил, как раб, как безумец и как нищий. За что? Спроси пыль на дороге и падающий лист, спроси загадочного бога жизни, потому что никто иной этого не знает. Она ничего не давала ему, о, нет, ничего! И он все же благодарил ее. Она сказала: «Отдай мне твой разум и твое спокойствие». И он пожалел только о том, что она не потребовала у него жизни.

А его девушку посадили в башню...

— Что ты делаешь, девушка, ты сидишь и улыбаешься?

— Я думаю о чем-то, что было десять лет назад. Тогда я встретила с ним.

— Ты еще помнишь его?

— Я еще помню его.

А время идет...

— Что ты делаешь, девушка? И почему ты сидишь и улыбаешься?

— Я вышиваю его имя на платке.

— Чье имя? Того, кто запер тебя здесь?

— Да, того, кого я встретила двадцать лет назад.

— Ты еще помнишь его?

— Я помню его, как и раньше.

А время идет...

— Что ты делаешь, узница?

— Я старею, я плохо вижу и уже не могу шить, я выскребываю известь со стены. Из извести я сделаю ему кружку, в подарок от меня.

— О ком ты говоришь?

— О моем возлюбленном, о том, кто запер меня в башне.

— Ты улыбаешься тому, что он запер тебя в башне?

— Я думаю о том, что он теперь скажет. Смотрите-ка, скажет он, моя милая прислала мне кружечку, она не забыла меня за тридцать лет.

А время идет...

— Как, пленница, ты все еще сидишь и ничего не делаешь, и ты улыбаешься?

— Я старею, я старею, глаза мои слепы, я только думаю.

— О нем, которого ты встретила сорок лет назад?

— О том, кого я встретила, когда была молода. Может быть, это было сорок лет назад.

— Да разве ты не знаешь, что он умер? Ты бледнеешь, старая, ты не отвечаешь, губы твои белы, ты не дышишь...

Вот оно, это странное предание о девушке в башне. Постой-ка, Эзоп, я забыл одну вещь: раз она услышала голос своего возлюбленного в саду, она упала на колени и покраснела. Ей было тогда сорок лет...

Я погребаю тебя, Ева, и униженно целую песок на твоей могиле. Буйное, ярко-алое воспоминание охватывает мою душу, когда я думаю о тебе, на меня точно изливается благодать, когда я вспоминаю твою улыбку. Ты давала все, все отдала ты, и это не стоило тебе никакого усилия, потому что ты сама была опьяненное дитя жизни. И все же другие, которые скупно высчитывают всякий взгляд, владеют всеми моими мыслями. Почему это так? Спроси у двенадцати месяцев и у кораблей в море, спроси таинственного, загадочного бога сердца...

### ГЛАВА XXXI

---

Один человек сказал:

— Вы больше не стреляете. Эзоп бегаёт по лесу, он гонит зайца.

Я отвечал:

— Пойдите и застрелите его за меня.

Прошло несколько дней. Господин Макк пришел ко мне, глаза у него ввалились, лицо посерело. Я подумал: «Могу я читать в людских сердцах или не могу?» Я сам не знаю.

Господин Макк заговорил об обвале, о катастрофе. Это было несчастье, печальная случайность, я не виноват в ней.

Я сказал:

— Если кому-нибудь во что бы то ни стало нужно было разлучить Еву и меня, так он достиг своего. Пусть Бог проклянет его!

Господин Макк подозрительно покосился на меня. Он пробормотал что-то о пышных похоронах, он ничего не пожалел.

Я сидел и удивлялся его страшной изворотливости.

Он не хотел никакого вознаграждения за лодку, которую раздавило моим обвалом.

— Вот как,— сказал я,— так вы действительно не желаете получить за лодку, за ведро с дегтем, за кисть...

— Нет, милейший лейтенант,— ответил он,— как вы можете думать такое?

И он посмотрел на меня полными ненависти глазами.

Три недели я не видел Эдварды. Впрочем, один раз я встретил ее в лавке, куда пришел купить хлеба. Она стояла за прилавком и рылась в разных материях. Кроме нее были только два приказчика.

Я громко поздоровался, она подняла голову, но не ответила. Мне вдруг показалось, что я не могу спросить при ней хлеба. Я обратился к приказчикам и попросил порошу и дрови. Пока мне отвешивали, я смотрел на нее.

Серое и слишком узкое платье с отрепанными петлями, плоская грудь тяжело дышала. Как она выросла за лето! Лоб ее думал. Эти странно изогнутые брови чернели на лице ее, как две загадки. Все движения ее стали более зрелы. Я смотрел на ее руки, выражение длинных тонких пальцев властно действовало на меня и привело в трепет. Она по-прежнему разбиралась с материями.

Я стоял и желал, чтобы Эзоп забежал за прилавок, к ней, и узнал ее. Тогда я сейчас же кликнул бы его и попросил извинения; что бы она тогда ответила?

— Извольте! — говорит приказчик.

Я заплатил, забрал свои пакеты и опять поклонился. Она подняла глаза, но не ответила и на этот раз.

«Это хорошо, — подумал я, — может быть, она уже невеста барона».

И я ушел без хлеба.

Выйдя на улицу, я бросил взгляд в ее окно. Никто не смотрел мне вслед.

## ГЛАВА XXXII

---

И вот однажды ночью выпал снег. В хижине моей становилось холодно. В ней был очаг, на котором я готовил себе пищу, но дрова плохо горели, и в стены сильно дуло, хотя я законопатил их, насколько было возможно. Осень прошла, и дни стали короче. Первый снег все же растаял от солнца, и земля снова обнажилась; но ночи были очень холодны, и вода замерзала. Вся трава и все насекомые умерли.

И люди как-то таинственно притихли, они думали и молчали, глаза их ожидали зимы. Ни одного возгласа не доносилось уже с рыбных сушилен, и гавань лежала спокойная. Все готовилось к вечной ночи северного сияния, когда солнце спит в море. Глухо-глухо раздавались удары весел одинокой лодки.

В лодке плывет девушка.

— Где ты была, красавица?

— Нигде.

— Нигде? Послушай, я узнаю тебя, я видел тебя летом.

Она пристала к берегу, вышла из лодки и привязала ее.

— Ты была пастушкой и вязала чулок, я встретился с тобой раз ночью.

Легкий румянец окрашивает ее щеки, и она смущенно улыбается.

— Милая моя горная красавица, войди ко мне в хижину, дай мне посмотреть на тебя. Тебя зовут Генриетта.

Но она молча проходит мимо. Осень, зима охватили ее, уже спали ее чувства.

Солнце уже ушло в море.

### ГЛАВА XXXIII

---

Я надел в первый раз мундир и пошел в Сирилунд. Сердце мое сильно билось.

Я вспомнил все с первого дня, когда Эдварда подбежала ко мне и поцеловала меня у всех на виду. С тех пор, в течение нескольких месяцев, она бросала меня то туда, то сюда и довела меня до того, что я начал сесть. Я сам виноват? Да, звезда моя завела меня на неверный путь. Я думал: как она обрадуется, если я брошусь перед ней сегодня на колени и выскажу тайну своего сердца. Она предложит мне стул и прикажет принести вина, поднесет стакан к губам и скажет: «Господин лейтенант, я благодарю вас за то время, что мы провели вместе, я никогда не забуду его». Но как только я обрадуюсь, и надежда снова проснется во мне, она сделает вид, что выпила, и оставит стакан нетронутым. И она не скроет от меня, что только притворилась, будто пьет. Она именно нарочно покажет мне это. Такова она.

Хорошо, теперь уж скоро пробьет последний час!

И, идя вниз по дороге, я продолжал думать:

«Мундир произведет на нее впечатление. Галуны на нем новые и красивые, а сабля будет звенеть по полу». Нервная радость струится во мне, и я шепчу про себя:

— Почему знать, что еще может случиться?

Я поднял голову и взмахнул рукой. Довольно унижения, побольше достоинства и самоуважения! Все равно, что бы ни произошло, я не стану делать больше попыток к

сближению. Извините, что я не прошу вашей руки, красавица!

Господин Макк встретил меня во дворе, еще более поседевший, с еще более ввалившимися глазами.

— Уезжаете? Вот как. Да, в последнее время вам, правда, не так уж было приятно; что? Ваш домик сгорел.

И господин Макк улыбнулся.

Мне вдруг представилось, что я вижу пред собой умнейшего человека в мире.

— Войдите, господин лейтенант, Эдварда дома. Да, так прощайте, прощайте. Мы еще увидимся на пристани, когда пароход будет отходить.

Он удалился, повесив голову, насвистывая в задумчивости.

Эдварда сидела в комнате, она читала. Когда я вошел, она на минуту удивилась моему мундиру, глянула на меня сбоку, как птица, и покраснела. Она раскрыла рот.

— Я пришел проститься,— наконец выговорил я.

Она вдруг встала, и я увидел, что мои слова произвели на нее некоторое действие.

— Глан, вы уезжаете? Сейчас?

— Как только придет пароход.

Я беру ее за руку, за обе руки. Безотчетный восторг охватывает меня, я восклицаю: «Эдварда!» — и впиваюсь в нее глазами.

И в ту же минуту она снова холодна, холодна и упряма. Все в ней восставало против меня, она выпрямилась. Я стоял перед ней, словно нищий, я выпустил ее руки и дал ей отойти. Я помню, что после этой минуты я стоял и машинально повторял: «Эдварда! Эдварда!» — несколько раз, не думая об этом, и когда она спросила: «Да? Что вы хотели сказать?» — я не мог произнести ни слова в объяснение.

— Подумать только, вы уже уезжаете,— повторила она.— Кто-то придет на будущий год?

— Другой,— ответил я.— Домик, верно, отстроят заново.

Пауза. Она уже взялась за свою книгу.

— Жаль, что отца нет дома,— сказала она.— Но я передам ему привет от вас.

Я не ответил на это. Я подошел, взял еще раз ее руку и сказал:

— Так прощайте, Эдварда!

— Прощайте,— ответила она.

Я отворил дверь и сделал вид, что ухожу. Она уже сидела с книгой в руке и читала, действительно читала и

переворачивала страницы. Никакого впечатления не произвело на нее мое прощание — никакого!

Я кашлянул.

Она обернулась и сказала с изумлением:

— Разве вы не ушли? Мне казалось, вы ушли?

Одному Богу известно, но ее удивление было слишком велико. Она не следила за собой, она преувеличила свое изумление, и у меня явилась мысль, что, может быть, она все время знала, что я стою за ее спиной.

— Ну, я пойду,— сказал я.

Тогда она встала и подошла ко мне.

— Мне бы очень хотелось иметь что-нибудь на память о вас, когда вы уедете,— сказала она.— Я хотела у вас попросить кое-что, но это, конечно, слишком смело. Не подарите ли вы мне Эзопа?

Я не раздумывал и ответил:

— Хорошо.

— Так, может, вы придете с ним завтра? — сказала она.

Я пошел.

Я взглянул в окно. В нем никого не было.

Ну, вот — все кончено...

Последняя ночь в рыбацкой хижине. Я думал, я считал часы. Когда настало утро, я приготовил свою последнюю трапезу. Был холодный день.

«Почему она просила, чтобы я сам привел ей собаку? Хотела она поговорить со мной, сказать мне что-нибудь напоследок? Мне нечего было больше ждать. И как она будет прощаться с Эзопом? Эзоп, Эзоп, она станет мучить тебя! Из-за меня она будет бить тебя, может быть, станет и ласкать, но бить будет непременно, за дело и не за дело, и вконец испортит тебя...»

Я подозвал Эзопа, погладил его, положил его голову рядом со своей и взял ружье. Он уже начал визжать от радости, думая, что мы пойдем на охоту. Я опять положил его голову рядом со своей, приложил дуло к затылку Эзопа и спустил курок.

Я нанял человека отнести Эдварде труп Эзопа.

#### ГЛАВА XXXIV

---

Пароход уходил вечером.

Я отправился на пристань, вещи мои уже были на палубе. Господин Макк пожал мне руку, поздравил меня с хорошей ногодой — приятная погода, он сам с удоволь-

ствием прокатился бы по такой погоде. Подошел доктор, за ним Эдварда. Я почувствовал, как колени мои задрожали.

— Нам хотелось видеть, благополучно ли вы уехали,— сказал доктор.

Я поблагодарил.

— Эдварда посмотрела мне прямо в лицо и сказала:

— Я должна поблагодарить господина лейтенанта за подарок.

Она сжала рот, губы ее были совершенно белы. Опять она говорила со мной подчеркнуто вежливым тоном.

— Когда отходит пароход? — спросил доктор какого-то человека.

— Через полчаса.

Я ничего не говорил.

Эдварда возбужденно вертелась во все стороны.

— Доктор, не пора ли нам домой? — спросила она.— Я сделала то, что мне было нужно.

— Вы исполнили свою обязанность,— сказал доктор.

Она покорно улыбнулась его вечным поправкам и спросила:

— Да разве я сказала не то же самое?

— Нет,— ответил он коротко.

Я взглянул на него. Маленький человечек стоял холодный и решительный. Он начертил себе план и следовал ему до мельчайшей подробности. А если он все равно проиграет? Так он все-таки не покажет этого, его лицо никогда не выдавало его.

Темнело.

— Ну, прощайте,— сказал я.— И благодарю вас за каждый день, проведенный здесь.

Эдварда молча смотрела на меня. Потом отвернулась и стала смотреть на пароход.

Я вошел в лодку. Эдварда еще стояла на набережной. Когда я поднялся на палубу парохода, доктор кивнул: «Прощайте!» Я посмотрел на берег. Эдварда как раз в ту минуту повернулась и быстро пошла от набережной к дому. Доктор далеко отстал от нее. Так я видел ее в последний раз...

Волна печали хлынула в мое сердце...

Пароход тронулся. Я еще видел вывеску господина Макка: «Склад соли и пустых бочонков». Но вскоре она стерлась. Показались луна и звезды, вокруг вздымались горы, и я видел бесконечный лес. Там стояла мельница,



а там — там мой сгоревший домик; высокий серый камень один остался на пожарище. Изелинда, Ева...

Полярная ночь распростерлась над горами и долинами.

## ГЛАВА XXXV

---

Я написал все это, чтобы скоротать время. Мне доставляло удовольствие вспоминать то лето в Норвегии, когда я много раз считал часы, но время все же летело. Теперь все изменилось, дни уже не хотят больше проходить.

У меня еще бывают веселые минуты, но время стоит на месте, и я не понимаю, как оно может стоять так неподвижно. Я бросил военную службу и свободен, как монарх. Все хорошо. Я встречаюсь с людьми, езжу в экипажах. И изредка я закрываю один глаз, пишу указательным пальцем в небе, щекочу луну под подбородком, и мне кажется, что она смеется, хохочет от глупой радости, что ее щекочат под подбородком. Все улыбается. Я с треском откупориваю бутылку и созываю веселых гостей.

Что касается Эдварды, то я о ней не думаю. Почему мне не забыть ее за такой долгий срок? У меня есть самолюбие. И если кто-нибудь меня спросит, есть у меня какие-нибудь заботы или горе, я отвечу сразу, без колебания: нет, у меня нет ни горя, ни забот...

Кора лежит и смотрит на меня. Раньше был Эзоп, а теперь Кора лежит и смотрит на меня. Часы тикают на камине, за моими открытыми окнами шумит город. Стучат в дверь, и почтальон подает мне письмо. Письмо с короной. Я знаю, от кого оно, я понимаю это мгновенно, а может быть, это и снилось мне в какую-нибудь бессонную ночь. Но в письме ничего не написано — в нем лежат только два зеленых птичьих пера.

Леденящий ужас пронизывает меня, я весь холодею.

«Два зеленых пера,— говорю я себе.— Ну, что же с этим делать! Но почему я так похолодел? Ну, да тут и дует же дьявольски от окон!»

И я закрываю окна.

«Вот лежат тут два зеленых птичьих пера,— продолжаю я думать,— мне кажется, я узнаю их. Они напоминают мне маленькую шутку на севере Норвегии, так, пустяк, маленькое событие среди многих других, пережитых мною. Приятно снова увидеть эти два пера».

И мне представляется вдруг, что я вижу лицо и слышу голос, и голос говорит:

— Будьте любезны, господин лейтенант, вот ваши птичьи перья!

Ваши птичьи перья...

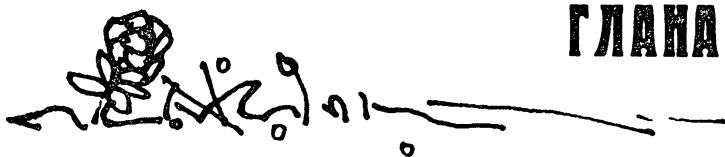
— Кора, лежи смирно, слышишь, я застрелю тебя, если ты шевельнешься!

Погода теплая, невыносимая жара. С чего я вздумал закрыть окна? Скорее открыть окна, двери, сюда, веселые люди, входите! Эй, посыльный, сходите, позовите ко мне побольше гостей...

И дни идут, но время стоит неподвижно.

Ну вот, я написал это ради собственного удовольствия и позабавился, насколько мог. Никакое горе не гнетет меня. Мне просто хочется уехать. Куда — не знаю, но только прочь отсюда, подальше, может быть, в Африку, в Индию, потому что я принадлежу лесам и одиночеству.

**СМЕРТЬ  
ГЛАНА**





Семейство Глан может еще долго публиковать в газетах о пропавшем лейтенанте Томасе Глане. Но он уже никогда больше не вернется. Он умер, и я даже знаю, как он умер.

Раз уж я заговорил об этом, то должен признаться, что меня не удивляет, что его семья так настойчива в своих розысках. Томас Глан во многих отношениях был необыкновенным человеком, и его вообще любили. Я отмечаю это ради справедливости, несмотря на то, что Глан до сих пор противен моей душе, и воспоминание о нем пробуждает во мне ненависть. Он был очень красив, в расцвете молодости, и был очарователен в обращении. Когда он смотрел на кого-нибудь своим горячим звериным взглядом, человек этот невольно чувствовал его силу. Даже я чувствовал это. Одна дама будто бы сказала о нем: «Когда он смотрит на меня, я пропала. Я испытываю при этом такое волнение, будто он прикасается ко мне».

Но у Томаса Глана были и недостатки, и я вовсе не намерен скрывать их, так как я ненавижу его. Он бывал временами наивен, как дитя, до того он был добродушен, и, может быть, этим-то он так и очаровывал женщин — Бог знает. Он мог болтать с женщинами и смеяться их бессмысленному лепету, поэтому он производил на них впечатление. Он сказал однажды об одном очень толстом человеке в городе, что у него такой вид, будто брюки у него набиты салом, и сам хохотал над этой остротой, хотя я на его месте устыдился бы ее. Впоследствии, когда нам случилось жить вместе в одном доме, он еще раз обнаружил свою ребячливость самым наглядным образом: моя хозяйка пришла ко мне раз спросить, что мне дать на завтрак и,

в поспешности, я ответил: «Один яйцо и кусок хлеба». Томас Глан как раз сидел в моей комнате — он жил наверху, на чердаке, совсем под крышей, — он начал хохотать, как ребенок, над моей обмолвкой и ужасно потешался над ней. «Один яйцо и кусок хлеба!» — повторял он безостановочно, пока наконец я не посмотрел на него с изумлением и этим не заставил его замолчать.

Может быть, я припомню и еще какие-нибудь смешные его черты, в таком случае я запишу и их, и не пощажу его, так как он и до сих пор мой враг. С какой стати мне великодушничать? Но я должен отметить, что он дурачился так только когда бывал пьян, а в обоих упомянутых случаях он был здорово-таки пьян. Но разве самое пьянство не порок?

Когда я встретился с ним осенью 1859 года, ему было тридцать два года — столько же, сколько и мне. Он носил в то время бороду и одевался в шерстяные охотничьи куртки с чрезмерно вынутым воротом, да иногда еще забывал застегнуть верхнюю пуговицу. Шея его вначале показалась мне необычайно красивой, но вскоре он приобрел во мне смертельного врага, и я уже не находил, что шея его красивее моей, хотя я и не выставлял свою так напоказ. Я встретился с ним впервые на речном судне. Я ехал на охоту в то же место, куда и он, и мы тотчас же решили отправиться вместе в глубь страны на волах, если нельзя будет проехать по железной дороге. Я умышленно избегаю называть место, куда мы ехали, чтобы не навести кого-нибудь на след. Но семейство Глан спокойно может перестать печатать объявления о своем родственнике. Он умер в том месте, куда мы ехали и которое я не желаю назвать.

Впрочем, я слышал о Глане раньше, чем встретился с ним. Его имя не было для меня незнакомым. Я слышал, что он был в связи с одной молодой норвеженкой из высокопоставленной семьи, и что он каким-то образом компрометировал ее, после чего она порвала с ним. Тогда, в глупом своем упрямстве, он поклялся выместить это на самом себе, а дама спокойно предоставила ему возможность безумствовать, это ее не касалось. С этого времени Томас Глан собственно и прославился. Он стал совершенно невменяем, пил, устраивал скандал за скандалом и вышел в отставку из военной службы. Тоже странный способ мстить за отвергнутую любовь!

Но ходыл и другой рассказ о его отношениях к этой молодой даме: будто бы он вовсе не компрометировал ее,

но семья ее отказала ему от дома, и она сама содействовала этому, так как к ней посватался шведский граф, имени которого я тоже не хочу называть. Но этому рассказу я меньше придаю веры и считаю более соответствующим истине первый, потому что я ненавижу Томаса Глана и считаю его способным на все дурное. Однако, так оно было или иначе, сам он никогда не говорил об этой связи с высокопоставленной дамой. Я тоже, разумеется, не спрашивал. Мне-то что было за дело!

Пока мы плыли на речном пароходе, я не помню, чтобы мы говорили о чем-нибудь, кроме маленькой деревушки, куда мы направлялись и где ни один из нас до того не был.

— Говорят, там есть нечто вроде отеля, — сказал Глан, рассматривая карту. — Если нам повезет, мы можем поселиться там. Хозяйка — старая англичанка, «полукровка», как мне рассказывали. А вождь живет в соседнем селении. У него много жен, некоторым не больше десяти лет.

Ну, я не знал, что у вождя много жен, и есть ли в деревушке отель, поэтому я ничего не сказал; но Глан улыбался, и улыбка его показалась мне прекрасной.

Я забыл, впрочем, что его никак нельзя было назвать идеалом мужчины, хотя он и был очень красив. Он сам рассказывал, что на левой ноге у него была старая огнестрельная рана, и что эта рана сильно ныла при всякой перемене погоды.

## ГЛАВА II

---

Неделю спустя мы уже расположились в большой хижине, слывшей под названием «отеля», у старой «англичанки». Боже мой, что это был за отель! Стены из глины, вперемежку с редкими бревнами, и эти бревна были насквозь изъедены термитами, которые всюду ползали под ногами. Я жил в комнате рядом с залой, в ней было одно окно, выходившее на улицу, с зеленым, довольно мутным стеклом. Глан выбрал маленькую каморку наверху, на чердаке, откуда у него был тоже вид на улицу, но только там было еще хуже и темнее. Солнце пекло сквозь соломенную крышу, и в комнате его днем и ночью стояла почти невыносимая жара; к тому же вела в нее не обыкновенная лестница, а почти отвесная приставная лесенка в четыре ступеньки. Но что же я мог поделать? Я предоставил выбор Глану, я сказал:

— Здесь две комнаты, одна наверху, другая — внизу, выбирайте!

И Глан осмотрел обе комнаты и выбрал верхнюю, может быть, для того, чтобы уступить мне лучшую. Но ведь я же и был ему благодарен за это. Я ничем ему не обязан.

Пока стояла самая сильная жара, мы не ходили на охоту, а мирно проводили время в своей хижине. Жара действительно была невероятная. Мы завешивали на ночь постели кисеей от насекомых. Но все же случалось, что слепые летучие мыши, бесшумно влетая, с размаху натыкались на наши сетки и прорывали их. У Глана это случалось чрезвычайно часто, потому что ему постоянно приходилось держать открытым окошечко на крышу от жары; со мной же этого не бывало. Днем мы лежали на циновках перед хижинкой, курили и наблюдали жазнь в других хижинах. Туземцы были темнокожий народ, с толстыми губами, все с кольцами в ушах и мертвенными карими глазами; они ходили почти голые, разве с полоской бумажной материи или плетением из листьев вокруг пояса, а женщины, кроме того, носили короткие бумажные юбки. Дети и днем и ночью были совершенно голые; огромные, выпяченные животы их блестели от масла.

— Женщины слишком жирны, — сказал Глан.

Я тоже находил, что женщины слишком жирны, и, может быть, вовсе не Глан, а я первый подумал это; но я не стану с ним соперничать и охотно предоставляю ему пальму первенства в этом. Впрочем, женщины не все были некрасивы, хотя лица у них были жирные и обрюзглые. Я встретил в деревне молодую девушку, метиску, тамулийку, с длинными волосами и белоснежными зубами — она была очень красива. Я натолкнулся на нее раз вечером, на краю рисового поля, она лежала на животе в высокой траве и болтала ногами. Она могла говорить со мной, и мы проболтали столько, сколько мне хотелось. Было уже почти утро, когда мы расстались, и она пошла не сразу домой, будто ночевала в соседнем селении. Глан сидел в тот вечер в деревушке, перед хижинкой, с двумя совсем молоденькими девочками, вряд ли им было больше десяти лет. Он болтал и пил с ними рисовую водку. Это было в его вкусе!

Дня через два мы отправились на охоту. Мы прошли чайные плантации, рисовые поля, луга и миновали деревушку, повернули вдоль реки и вошли в лес из удивительных незнакомых деревьев, бамбуков, тамариндов, манговых, камедных — да Бог весть, каких только там ни



было деревьев, мы оба мало в них смыслили. В реке было мало воды, и никогда не бывало больше, вплоть до поры дождей. Мы застрелили двух диких голубей и под вечер видели двух пантер; а над нашими головами летали попугаи. Глан стрелял ужасно метко; он никогда не делал промаха. Положим, ружье его было гораздо лучше моего, я тоже иной раз стрелял ужасно метко. Но я никогда этим не хвастался, Глан же часто говорил: «Этой я целю в хвост, а этой всыплю в голову». Он говорил это прежде, чем спустить курок, и когда птица падала, то оказывалось, что действительно пуля попала ей в хвост или в голову. Когда мы наткнулись на этих двух пантер, Глан обязательно хотел выпалить по ним из своего дробовика, но я отговорил его, потому что уже темнело, а у нас оставалось всего два патрона. И тут он тоже хотел порисоваться, что он такой храбрец и не боится стрелять по пантерам дробью.

— Досадно, что я все-таки не выстрелил,— сказал он мне.— Почему вы так чертовски осторожны? Хотите жить подольше?

— Меня радует, что вы находите, что я благоразумнее вас,— ответил я.

— Ну, не будем ссориться из-за таких пустяков,— сказал он.

Это были его слова, а не мои. Если б он захотел поссориться со мной — на здоровье! Я начал испытывать к нему недоброжелательство за его легкомысленное поведение и за донжуанские манеры. Вчера вечером я шел совершенно спокойно с Магги, тамулийкой, моей подругой, и оба мы были в прекрасном настроении. Глан сидит перед хижинкой, кланяется и улыбается нам, когда мы проходим. Магги увидела его тут в первый раз и с любопытством стала о нем спрашивать. Он произвел на нее такое сильное впечатление, что, когда надо было расставаться, мы разошлись каждый в свою сторону, и она не проводила меня до дому.

Когда я заговорил об этом с Гланом, он постарался замазать разговор, как будто это не имело никакого значения. Но я не забыл этого. Не мне же он кланялся и улыбался, когда мы проходили мимо хижины, а Магги.

— Что это она все жует? — спросил он меня.

— Не знаю,— ответил я,— на то ей и даны зубы, чтобы жевать.

Для меня вовсе не было новостью, что Магги постоянно жует что-то, я давно заметил это. Но она жевала не

бетель, потому что зубы ее были совершенно белы, просто у нее была привычка жевать что-нибудь, она совала в рот и жевала, словно что-нибудь вкусное, все равно что: деньги, лоскутки бумаги, перья — все что попало. Это ничуть не унижало ее, она все-таки была первой красавицей в деревне; а Глан завидовал мне — в этом вся и штука.

На следующий вечер, впрочем, мы опять помирились с Магги и позабыли о Глане.

### ГЛАВА III

---

Прошла неделя. Мы ходили каждый день на охоту и истребляли пропасть всякой дичи. Раз утром, едва мы вступили в лес, Глан схватил меня за руку и шепнул: «Стойте!» В ту же минуту он вскидывает винтовку к щеке и стреляет. Он застрелил молодого леопарда. Я тоже мог бы застрелить его, но Глан забрал честь себе и выстрелил первый. «Вот пойдет теперь хвастаться!» — подумал я. Мы подошли к мертвому зверю — он был убит на месте. Пуля разорвала левый бок и застряла в спине.

Я не люблю, чтобы меня хватали за руки, поэтому я сказал:

— Этот выстрел и я мог бы сделать.

Глан посмотрел на меня.

Я говорю опять:

— Вы, может быть, думаете, что не мог бы?

Глан и тут ничего не отвечает. Вместо этого он снова проявляет свою ребячливость и стреляет вторично в мертвого леопарда, на этот раз в голову. Я смотрю на него, ошеломленный.

— Я не могу допустить, — говорит он в пояснение, — чтобы узнали, что я выстрелил леопарду в бок.

Слишком велико было его тщеславие, чтобы примириться с таким простым выстрелом, во всем он желал быть первым! До чего он был глуп! Но это меня не касалось, я не собирался выдавать его.

Вечером, когда мы пришли в деревню с мертвым леопардом, туземцы сбегались посмотреть на него. Глан сказал просто, что мы застрелили его утром, и не вдавался ни в какие подробности. Пришла и Магги.

— Кто его застрелил? — спросила она.

Глан ответил:

— Сама видишь, две раны. Мы застрелили его утром, только что вышли из дому.— Он повернул зверя и показал ей обе раны, на боку и на голове.— Вот сюда попала моя пуля,— сказал он и показал на рану в боку, потому что в глупости своей хотел предоставить выстрел в голову мне.

Мне не хотелось поправлять его, да я и не стал. Потом Глан начал угощать туземцев рисовой водкой и поил всех без разбору.

— Так вы застрелили его оба вместе,— сказала Магги как бы про себя, но все время смотрела на Глана.

Я отвел ее в сторону и сказал:

— Зачем ты все время смотришь на него? Я ведь тоже стою совсем близко.

— Да, да,— ответила она.— Послушай: я приду сегодня вечером.

Как раз на следующий день Глан получил письмо. Письмо пришло с нарочным, с речной станции, и сделало крюк в сто восемьдесят миль. Письмо было написано женским почерком, и я подумал про себя, что, может, оно от его бывшей приятельницы, высокопоставленной дамы. Глан нервно расхохотался, прочитав его, и дал посыльному кредитку на чай за то, что тот принес его. Но веселость его продолжалась недолго, и вскоре он стал мрачен, молчалив и только то и делал, что сидел, уставившись неподвижным взглядом в пространство. Вечером он напился с одним туземцем-карликом и его сыном, обнимался и со мной и во что бы то ни стало хотел заставить пить и меня.

— Что это вы так любезны сегодня вечером? — сказал я.

Тогда он громко захохотал и сказал:

— Вот мы сидим тут в глубине Индии и стреляем дичь. Разве это не ужасно забавно? А? Да здравствуют все страны и царства мира, да здравствуют все красивые женщины, замужние и незамужние, близкие и далекие! Хо-хо! Представьте себе: мужчина, и вдруг женщина делает ему предложение — замужняя женщина!

— Графиня! — сказал я насмешливо.

Я сказал это очень язвительно, и это задело его за живое. Он завыл, как собака, потому что это причинило ему боль. Потом он вдруг наморщил лоб и стал сверкать глазами и раздумывать, не сказал ли он чего лишнего, так он носился со своей незначительной тайной. Но в это время прибежало несколько детей к нашей хижине с

криком: «Тигры, ой-ой, тигры!» Тигр утащил ребенка почти у самой деревни, в заросли между рекой и деревней.

Этого было достаточно для Глана, пьяного и расстроенного. Он схватил винтовку и мигом кинулся в рощу к зарослям, даже шляпу не надел. Но почему же он теперь взял винтовку вместо дробовика, если уж он такой храбрец? Ему надо было перейти реку вброд, что представляло некоторую опасность, но река, впрочем, была почти суха вплоть до дождей. Немного погодя я услышал два выстрела и вслед затем еще третий выстрел. «Три выстрела по одному зверю! — подумал я. — Лев и тот свалился бы от двух выстрелов, а это ведь только тигр!» Но даже и эти три выстрела были совершенно бесполезны, ребенок все равно был растерзан и наполовину съеден, когда Глан прибежал. Не будь он так пьян, он, разумеется, не стал бы и пытаться спасти его.

Ночь он провел в пьянстве и разгуле в соседней хижине с одной вдовой и ее двумя дочерьми — Бог весть, с которой из них.

В течение двух дней Глан не был трезв ни на один час и приобрел зато многих товарищей для выпивки. Он тщетно уговаривал меня принять участие в попойке. Он не следил уже за своими словами и упрекал меня в том, что я ревную к нему.

— Ревность ослепляет вас, — сказал он.

Ревность! Я ревную к нему!

— Ну, знаете что, — сказал я, — ревновать к вам! С чего бы это я стал ревновать к вам!

— Ну, да, конечно, — ответил он, — так вы не ревнуете ко мне? А я видел сегодня вечером Магги, она, по обыкновению жевала.

Я закусил губу и отошел.

#### ГЛАВА IV

---

Мы снова стали ходить на охоту. Глан чувствовал, что оскорбил меня, и просил у меня извинения.

— А впрочем, мне это чертовски надоело, — сказал он, — я хотел бы, чтобы вы как-нибудь промахнулись и всадили мне пулю в шею.

Вот с какими мыслями он носился — чтобы я всадил ему пулю в шею! Может быть, письмо графини опять помутило ему рассудок, и я ответил:

— Что посеешь, то и пожнешь.

Он становился с каждым днем все мрачнее и молчаливее. Он перестал пить и не говорил ни с кем ни слова. Щеки его ввалились.

Однажды я вдруг услышал разговор и смех под моим окном. Я выглянул. Глан снова, с самым веселым лицом, стоял и громко разговаривал с Магги. Он пускал в ход все свои соблазнительные приемы. Магги, наверное, пришла прямо из дому, и Глан поджидал ее. Они даже не постеснялись остановиться и любезничать прямо под моим окном.

Я почувствовал дрожь во всем теле и взвел курок на своей винтовке, но потом опять спустил его. Я вышел из комнаты и взял Магги за руку. Мы молча пошли по деревне. Глан сейчас же исчез в хижине.

— Зачем ты опять с ним разговариваешь? — спросил я Магги.

Она не отвечала.

Я был в смертельном отчаянии. Сердце мое колотилось так сильно, что я едва переводил дух. Никогда Магги не казалась мне такой красавицей, как в ту минуту, я никогда не видал белой девушки, которая была бы так хороша, как она, и я забыл, что она тамулийка, забыл все ради нее.

— Отвечай мне, — сказал я, — зачем ты разговариваешь с ним?

— Он мне больше нравится, — ответила она.

— Он тебе больше нравится, чем я?

— Да.

Ага, он нравится ей больше, чем я, хотя я отлично мог бы потягаться с ним! Разве я не давал ей всегда деньги и подарки? А он, что он делал?

— Он насмехается над тобой, он говорит, что ты все время жуешь, — сказал я.

Она не поняла, и я объяснил ей, что у нее была привычка совать все, что ни попало, в рот и жевать, и что Глан поэтому смеялся над ней. Это произвело на нее больше впечатления, чем все остальные мои слова.

— Послушай, Магги, — продолжал я, — ты будешь моей навсегда. Хочешь? Я думал об этом, ты поедешь со мной, когда я буду уезжать отсюда, я женюсь на тебе, слышишь? Мы поедем на мою родину и станем там жить. Хочешь?

Это тоже произвело впечатление. Магги оживилась и много разговаривала со мной во время прогулки. Только раз она назвала Глана. Она спросила:

— А Глан тоже поедет с нами, когда мы будем уезжать?

— Нет, — ответил я, — он не поедет. Ты огорчена этим?

— Нет, нет,— быстро ответила она,— я рада этому.

Больше она о нем не заговаривала, я почувствовал себя спокойнее. Магги пошла со мной ко мне, когда я попросил ее.

Когда через два часа она ушла от меня, я вскарабкался наверх к каморке Глана и постучал в тонкую тростниковую дверь. Он был дома.

Я сказал:

— Я пришел сказать вам, что, пожалуй, лучше не ходить нам завтра на охоту.

— Почему? — спросил Глан.

— Потому что я не ручаюсь, что не промахнусь и не всажу вам пулю в шею.

Глан не ответил, и я сошел вниз. После этого предупреждения ему следовало бы, конечно, не ходить завтра на охоту. Но зачем же он заманил Магги под мое окно и громко болтал с ней? Зачем он не уезжал домой, если в письме его действительно звали? Вместо этого он ходил, часто стискивал зубы и восклицал в пространство:

— Никогда, никогда! Скорее я дам четвертовать себя!

Но на следующее утро после моего предупреждения Глан все-таки стоял у моей постели и кричал:

— Вставайте, товарищ! Чудеснейшая погода, мы, наверное, что-нибудь подстрелим. А то, что вы сказали вчера,— вздор.

Было не больше четырех часов, но я сейчас же встал и собрался идти, раз он пренебрегал моим предостережением. Я зарядил ружье перед уходом и сделал это при нем, чтобы он видел, что я делаю. Вдобавок погода вовсе не была такая чудесная, как он говорил. Шел дождь, и этим он еще подчеркнул свое издевательство надо мной, но я сделал вид, будто ничего не замечаю, и молча пошел с ним.

Весь день мы бродили по лесу, каждый со своими мыслями. Мы ничего не застрелили. Мы то и дело пропускали дичь, потому что думали о других вещах, а не об охоте. Около полудня Глан стал заходить вперед меня, словно желая дать мне случай сделать то, что я хотел. Он шел как раз перед дулом моего ружья, но и эту насмешку я стерпел. Мы вернулись вечером, и ничего не случилось. Я думал: «Может, теперь он побережется и оставит Магги в покое!»

— Это был самый длинный день в моей жизни,— сказал Глан вечером, когда мы стояли у хижины.

Больше между нами не было никакого разговора.

Следующие дни он был в мрачнейшем настроении, наверное, все из-за того же письма. «Я этого не вынесу,

нет, я совершенно не могу этого вынести!» — говорил он иногда по ночам; это слышно было по всему дому. Его раздражительность дошла до того, что он не отвечал на самые любезные вопросы нашей хозяйки и стонал даже во сне. «Много, должно быть, лежит на его совести!» — думал я. Но чего ради, черт возьми, он не едет домой? Наверное, гордость мешала ему, он не хотел возвращаться, раз ему отказали.

Я виделся с Магги каждый вечер, и Глан больше с ней не разговаривал. Я обратил внимание, что она уже не жевала. Она совсем перестала жевать, и я радовался этому и думал: «Она больше не жует, одним недостатком меньше, и я люблю ее вдвое больше!» Один раз она спросила про Глана. Здоров ли он? Уж не уехал ли он?

— Если он не умер или не уехал, — отвечал я, — так наверное, он лежит у себя. Мне это совершенно безразлично. Он положительно невыносим.

Но, подходя к хижине, мы увидели Глана. Он лежал на циновке на земле, заложив руки под голову, и смотрел в небо.

— Да, впрочем, вон он лежит, — сказал я.

Магги сейчас же подошла к нему, так что я не успел остановить ее, и сказала радостным голосом:

— Я больше не жую, посмотри сам! Ни перьев, ни денег, ни бумажек — ничего больше не жую!

Глан едва взглянул на нее и продолжал неподвижно лежать; а мы с Магги ушли. Когда я стал упрекать ее за то, что она нарушила свое обещание и опять заговорила с Гланом, она сказала, что хотела осадить его.

— Да, это отлично, — сказал я, — осадил его хорошенько. Но разве ты ради него перестала жевать?

Она не отвечала. Что? Она не хочет ответить?

— Отвечай, слышишь, ради него или нет?

— Нет, нет, — ответила она тогда, — ради тебя.

И я не мог ей не поверить. С какой стати стала бы она делать что-нибудь ради Глана?

Вечером Магги обещала прийти ко мне и пришла.

## ГЛАВА V

---

Она пришла в десять часов, я слышал ее голос на улице. Она громко говорила с ребенком, которого вела за руку. Почему же она не входила, и зачем с ней был ребенок? Я наблюдал за ней, у меня является предчувствие,

что, говоря громко с ребенком, она как бы дает сигнал. Я вижу также, что взгляд ее направлен вверх на крышу, к окну Глана. Может быть, он кивнул ей или поманил из окна, когда услышал ее голос? Во всяком случае, я отлично понимал, что незачем смотреть так высоко вверх, когда разговариваешь с ребенком, стоящим на земле.

Я намеревался выйти к ней и взять ее за руку; но в эту самую минуту она выпустила руку ребенка, оставила его на улице и сама вошла в дверь хижины, вошла в сени. Ну, наконец-то она идет, проберу же я ее, когда она придет!

И вот я стою и слышу, как Магги входит в сени. Я не ошибаюсь, она уже у самой моей двери. Но вместо того, чтобы ей войти ко мне, я слышу, она идет по лестнице, на чердак Глана; я слышу это совершенно ясно. Я распахиваю настежь свою дверь, так что она ударяется об стену, но Магги уже наверху. Дверь за ней затворяется, и я больше ничего не слышу. Это произошло в десять часов.

Я возвращаюсь в свою комнату и сажусь. Беру ружье и заряжаю его, хотя на дворе уже ночь. В двенадцать часов я взбираюсь по лестнице и слышу, что Магги еще там. Я слышу, как она ласкает Глана, и опять ухожу вниз. В час я опять иду наверх. Там все тихо. Я жду у двери, пока они проснутся. Три часа, четыре, и только в пять часов они проснулись. «Это хорошо!» — подумал я, и думал только о том, что они проснулись, и это очень хорошо. Но немного спустя я услышал шум и движение внизу, в комнате хозяйки, и должен был поспешно удалиться, чтобы она не застала меня. Глан и Магги, очевидно, проснулись, и я мог бы послушать еще дольше, но пришлось уйти.

В сенях я сказал себе:

«Вот тут она прошла, она задела рукой мою дверь, но не отворила двери. Она пошла наверх по лесенке. А вот и лесенка. Вот четыре ступеньки. Она прошла по ним».

Постель моя стояла нетронутой, я и теперь не лег на нее, а сел у окна и стал вертеть ружье. Сердце мое не билось, оно дрожало.

Через полчаса я снова слышу шаги Магги по лестнице. Приникаю к стеклу и вижу, как она выходит из хижины. Она была в коротенькой бумажной юбочке, которая не достигала ей даже до колен, а на плечи накинула шерстяной платок, который взяла у Глана. За исключением этого, она была совершенно голая, и коротенькая юбка



была сильно измята. Она шла медленно, по своему всегдашнему обыкновению, и даже не взглянула на мое окно. Вскоре она исчезла за хижинами.

Немного спустя сошел вниз Глан, с винтовкой под мышкой, совсем готовый на охоту. Он был мрачен и не поздоровался. Впрочем, он принарядился и вообще отнесся с необыкновенным тщанием к своему туалету. «Нарядился, словно жених!» — подумал я.

Я сейчас же собрался и пошел с ним, никто из нас не сказал ни слова. Первых двух крочек, которых мы застрелили, мы совершенно разорвали, потому что стреляли из винтовок. Но мы все-таки изжарили их под деревьями и съели в полном молчании. Так прошло время до двенадцати часов.

Глан крикнул мне:

— Уверены вы в том, что зарядили ружье? Может, мы наткнемся на что-нибудь необыкновенное. Зарядите на всякий случай.

— Я зарядил, — ответил я.

Он исчез на минуту за кустом. С какой радостью я убью его, застрелю, как собаку! Торопиться некуда, пусть его наслаждается этой мыслью, а он очень хорошо понимал, что у меня на уме, поэтому и спросил, зарядил ли я. Даже сегодня он не мог отбросить своей гордости, нарядился и надел новую рубашку! Выражение его лица было в высшей степени высокомерно.

В час он останавливается передо мной, бледный и злой, и говорит:

— Нет, я этого не выдержу! Посмотрите же, черт вас возьми, заряжено ли у вас ружье, положен ли у вас заряд?

— Будьте любезны, смотрите лучше за вашим собственным ружьем, — отвечал я.

Но я очень хорошо знал, почему он все спрашивает меня о моем ружье.

Он опять отошел от меня. Ответ мой ловко осадил его. Он притих и отошел, повесив голову.

Немного погодя я застрелил голубя и опять вложил заряд. Пока я заряжал, Глан стоял за деревом и смотрел на меня. Он видел, что я действительно вложил заряд. Вслед за тем он начал громко и торжественно петь псалом, да еще свадебный псалом. «Он поет свадебные псалмы и надел свое лучшее платье, — подумал я, — этим он думает быть особенно обольстительным сегодня». Еще не допев до конца, он тихонько пошел передо мной, с опущенной головой, и пока я шел, он все пел. Он опять шел под

самым дулом моего ружья, словно думал: «Ну вот, сейчас это случится, поэтому я и пою этот свадебный псалом!» Но ничего не случилось и на этот раз, и, замолчав, он обернулся ко мне.

— Этак мы не много убьем сегодня,— сказал он и улыбнулся, извиняясь за то, что пел на охоте.

Но даже и в эту минуту улыбка его была прекрасна, словно в душе он плакал, и губы его действительно дрожали, хотя он и рисовался тем, что может улыбаться в такой серьезный час.

Я не женщина, и он ясно видел, что не производит впечатления на меня. Он стал нетерпелив, побледнел, кружил вокруг меня быстрыми шагами, заходил то справа, то слева, изредка останавливался и поджидал меня. В пять часов я вдруг услышал выстрел, и пуля просвистела прямо над моим левым ухом. Я поднял голову, Глан стоял неподвижно в нескольких шагах от меня и смотрел на меня. Дымящееся ружье лежало на его руке. Уж не хотел ли он застрелить меня?

Я сказал:

— Вы промахнулись, вы стали плохо стрелять в последнее время.

Но он стрелял не плохо, он никогда не давал промаха, он просто хотел подразнить меня.

— Так что же вы не мстите, дьявол вас возьми! — крикнул он.

— В свое время,— сказал я и стиснул зубы.

Мы стоим и смотрим друг на друга, и вдруг Глан пожимает плечами и кричит мне:

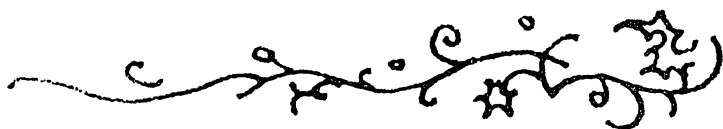
— Трус!

Ну, и лучше бы ему не называть меня трусом! Я вскинул ружье, приложился, прицелился ему прямо в лицо и спустил курок.

Что посеешь, то и пожнешь...

Теперь семейству Глан незачем уже искать этого человека. Меня раздражает, что я постоянно натываюсь на это дурацкое объявление о таком-то и таком-то вознаграждении за какое-нибудь сообщение о мертвце. Томас Глан умер от несчастного случая, от случайного выстрела на охоте в Индии. Суд занес его имя и обстоятельство его смерти в протокол с прошнурованными листами, и в протоколе этом сказано, что он умер,— говорю я вам, да! — и даже, что он умер от случайного выстрела.

**ВИКТОРИЯ**





Сын мельника шел и думал. Это был здоровый подросток лет четырнадцати, с загорелой, обветренной головой, полной всевозможных фантазий.

Когда он вырастет, он станет пиротехником. Это так красиво и опасно. На пальцах у него будет сера, так что никто не станет пожимать ему руку. Зато товарищи будут очень уважать его страшное ремесло.

Он посматривал на своих птиц в лесу. Ведь он знал их всех, знал, где находятся их гнезда, понимал их крики и перекликался с ними на разные голоса. Не раз кормил он их мучными шариками с отцовской мельницы.

Все эти деревья вдоль тропинки были его добрыми знакомыми. Весной он выцеживал из них сок, а зимой был для них настоящим маленьким отцом, отряхивал с них снег, расправлял мимоходом их сучья. Да и там, наверху, в заброшенной гранитной каменоломне, ни один камень не был ему чужой. Он выбил на них разные буквы и знаки, втащил их наверх и расставил их, словно прихожан вокруг пастора. В этой старой каменоломне происходили настоящие чудеса.

Он свернул в сторону и спустился к плотине. Мельница работала. Его обдало тяжелым, невообразимым шумом. Он привык бродить тут и вслух разговаривать сам с собой. Здесь каждая жемчужинка пены словно хотела рассказать маленькую историйку своей жизни, а вода, падавшая у шлюза, похожа была на белый холст, развешенный для просушки. У плотины, ниже водопада, водилась рыба. Много раз стоял он там со своей удочкой.

Когда он вырастет, он сделается водолазом. Это уж непременно. Тогда он будет спускаться в море с палубы

корабля и очутится в неведомых странах и царствах, где стоят и качаются большие дивные леса, и со дна поднимаются коралловые замки. А из окна кивнет ему принцесса и скажет: «Войди!»

Тут он услышал за собой свое имя. За ним стоял отец и звал его:

— Иоганнес! За тобой прислали из замка. Тебе придется перевезти молодых господ на остров.

Он быстро повернулся и пошел обратно. Новая и большая честь оказана была сыну мельника.

Господская усадьба, вся в зелени, имела вид маленького замка, да, вид фантастического уединенного дворца. Дом был деревянный, окрашенный в белую краску, со многими круглыми окнами в стенах и на крыше, а над круглой башней развевался флаг, когда в замке бывали гости. Народ называл его замком. С одной стороны усадьбы лежал залив, с другой тянулись обширные леса. Вдали виднелось несколько маленьких поселков.

Иоганнес встретил молодежь на пристани и посадил всех в лодку. Он знал их и раньше: это были дети владельца замка и их товарищи из города. Все они были в высоких сапогах, чтобы переходить вброд, но Викторию, которая была только в маленьких туфельках, и которой при том же было не более десяти лет, пришлось нести на руках, когда подъехали к острову.

— Снести тебя? — спросил Иоганнес.

— Я снесу! — сказал городской щеголь Отто, юноша в конфирмационном возрасте, и взял ее на руки.

Иоганнес стоял и смотрел, как ее внесли на высокий берег, и слышал, как она поблагодарила. Отто сказал, оглянувшись:

— Да, так ты ведь присмотришь за лодкой?.. Как его звать-то?

— Иоганнес, — отвечала Виктория. — Да, он присмотрит за лодкой.

Он остался. Другие пошли бродить по острову с корзиночками в руках для сбора птичьих яиц. Он стоял некоторое время в раздумье. Ему очень хотелось идти вместе с ними, а лодку они свободно могли бы вытащить на берег. Слишком тяжело? Нет, она не слишком тяжела. Он схватился руками за лодку и подтащил ее на берег.

Он слышал смех и болтовню маленькой удалявшейся компании. Хорошо же, так до свиданья! Однако они отлично могли бы взять его с собою. Он знал гнезда, к

которым мог бы сводить их, таинственные неведомые ущелья в горах, в которых живут хищные птицы с мохнатыми хохолками над клювами. Он даже раз увидел там горностаю.

Он столкнул лодку в воду и решил подъехать к острову с другой стороны. Он проплыл уже порядочный кусок, как вдруг ему крикнули:

— Возвращайся обратно! Ты пугаешь птиц.

— Я только хотел показать вам, где живут горностаи,— отвечал он. Он подождал немножко.— А потом мы могли бы выкуривать змей из нор. У меня есть и лучинки с собой.

Ответа не последовало. Тогда он повернул лодку и причалил опять к прежнему месту. Он вытащил лодку на берег.

Когда он вырастет, он купит остров у султана и всем запретит причаливать к нему. Военное судно будет охранять его берега. «Ваше величество,— доложат ему рабы,— вот мчится лодка, она несется на риф, она разбилась, и молодые люди на ней гибнут». — «Пусть гибнут!» — отвечает он. «Ваше величество, они зовут на помощь, мы еще можем спасти их, а среди них есть женщина в белом платье». — «Спаси их!» — приказывает он громовым голосом. Тут он видит опять детей из замка после долгих лет разлуки, и Виктория падает к его ногам и благодарит за спасение. «Не за что благодарить меня: я исполнил только свой долг,— отвечает он,— вся страна моя к вашим услугам». И он велит отворить для них ворота своего замка и будет угощать их кушаньями на золотых блюдах, и триста темнокожих рабынь будут петь и плясать им всю ночь. Но, когда дети из замка соберутся уезжать, Виктория не в состоянии будет следовать за ними. Она разразится рыданиями и признается, что любит его. «Позвольте мне остаться здесь, не гоните меня, ваше величество, сделайте меня одной из рабынь ваших...»

Он стал быстро взбираться на остров, весь охваченный волнением. Разумеется, он спасет детей из замка. Как знать, может быть, они заблудились на острове, может быть, Виктория повисла где-нибудь между двух скал и не может высвободиться? Ему стоит только протянуть руку, чтобы спасти ее.

Но, когда он пришел, дети посмотрели на него с удивлением. А лодку он оставил?

— Я на твою ответственность сдал лодку,— сказал Отто.

— Я мог бы показать вам, где здесь есть малина,— говорит Иоганнес.

В обществе молчание. Только Виктория ухватилась за это.

— Неужели? Где же это?

Но городской щеголь тотчас спохватился и сказал:

— Теперь нам некогда этим заняться.

Иоганнес сказал:

— Я знаю также, где найти раковинок.

Новое молчание.

— А жемчужины есть в них? — спросил Отто.

— Ах, вот кабы были! — воскликнула Виктория.

Иоганнес отвечал, что — нет, этого он не знает; но что раковины лежат далеко в море на белом песке; туда надо доехать на лодке и нырнуть за ними.

Тогда эта идея была совершенно отвергнута, и Отто сказал:

— Ты что, за водолаза меня принимаешь, что ли?

Иоганнес начал тяжело дышать.

— Если хотите, я могу подняться на ту скалу и сброшу оттуда тяжелый камень в море,— сказал он.

— Зачем?

— Низачем. Так, вы бы посмотрели.

Однако и это предложение не было принято, и Иоганнес замолк, устыженный. Тогда он пошел за яйцами, вдали от других, по другому краю острова.

Когда все общество снова собралось внизу у лодки, у Иоганнеса было гораздо больше яиц, чем у других; он осторожно нес их в шапке.

— Как это ты нашел так много? — спросил горожанин.

— Я знаю, где гнезда,— отвечал ошастливленный Иоганнес.— Теперь я сложу их вместе с твоими, Виктория.

— Постой,— воскликнул Отто,— это зачем?

Все оглянулись на него. Отто указал на шапку пальцем и спросил:

— Кто мне поручится, что твоя шапка чиста?

Иоганнес ничего не ответил. Его счастье совершенно рассеялось. Он повернулся и пошел обратно в глубь острова.

— Куда это он? Куда он пошел? — сказал с нетерпением Отто.

— Куда ты идешь, Иоганнес? — закричала Виктория и бросилась за ним.

Он остановился и отвечал с трудом:

— Я положу их обратно в гнезда.

Они некоторое время стояли и смотрели друг на друга.



— А потом я пойду в каменоломню после обеда,— сказал он.

Она не ответила.

— Я тогда мог бы показать тебе пещеру.

— Да, только я так боюсь! — отвечала она.— Ты говорил, что там так темно.

Тут Иоганнес улыбнулся, несмотря на все свое огорчение, и сказал мужественно:

— Да, но ведь я же буду с тобой.

Он проводил все свои дни наверху в старой каменоломне. Люди слышали, что он там работает и говорит, хотя он был там один; иногда он изображал священника и служил обедню.

Место это давно уже было заброшено. Теперь камни заросли мохом, и всякие следы рук человеческих заглохли. Но внутри, в таинственной пещере сын мельника убрал и украсил все с большим вкусом и жил здесь атаманом самой храброй в мире разбойничьей шайки.

Он звонит в серебряный колокольчик. Выскакивает маленький человек, карлик с брильянтовой пружкой на шапочке, и повергается ниц. «Когда придет принцесса Виктория, введи ее сюда»,— говорит громким голосом Иоганнес. Карлик снова повергается в прах и исчезает. Иоганнес с наслаждением вытягивается на мягком диване и думает. Вот тут он предложит ей сесть и станет подносить ей тончайшие яства на золотых и серебряных блюдах. Пылающий костер осветит пещеру; за тяжелой, вышитой золотом занавесью в глубине пещеры воздвигнут ей ложе, и двенадцать рыцарей станут на страже...

Иоганнес вскочил, выполз из пещеры и прислушался. Внизу на тропинке послышался шелест ветвей и листьев.

— Виктория? — окликнул он.

— Да! — отвечала она.

Он пошел ей навстречу.

— Я не решаюсь,— говорит она.

Он пожимает плечами и отвечает:

— Я только что там был. Я прямо оттуда.

Они входят в пещеру. Он предлагает ей место на камне и говорит:

— На этом камне сидел великан.

— Ах, молчи, молчи, не рассказывай больше. Ты не боялся?

— Нет.

— Да, но ты говорил, что у него был только один глаз, а ведь это бывает у трольдов.

Иоганнес задумался.

— У него было два глаза, но один из них слепой. Он сам сказал.

— А что он еще сказал? Нет, нет, не рассказывай!

— Он спросил, не желаю ли я поступить к нему на службу.

— Да, но ты, конечно, не согласился? Боже тебя сохрани!

— Ну вот еще! Я не отказался.

— Да ты с ума сошел! Или ты хочешь, чтобы тебя замуровали в скале?

— Да не знаю, право. Ведь и на земле тоже скверно.

Пауза.

— С тех пор, как эти горожане приехали, ты постоянно с ними,— говорит он.

Новая пауза.

Иоганнес продолжает:

— А ведь я сильнее любого из них, чтобы поднять тебя и вынести из лодки. Я убежден, что могу продержаться тебя на руках целый час. Вот посмотри.

Он взял ее на руки и поднял. Она охватила его шею руками.

— Хорошо, ну, теперь больше не надо.

Он спустил ее на землю. Она сказала:

— Да, но и Отто тоже сильный. Он боролся и со взрослыми.

Иоганнес переспросил с сомнением:

— Со взрослыми?

— Да, боролся. В городе.

Пауза. Иоганнес в раздумье.

— Так-то. Ну, значит, нечего больше и толковать,— говорит он.— Теперь я знаю, что мне делать.

— Что ты сделаешь?

— Я наймусь к великану.

— Нет, слушай, ведь ты сумасшедший! — восклицает Виктория.

— Ну вот еще! Совсе нет. Я даже почти рад этому. Я непременно это сделаю.

Виктория задумывается, ища выхода.

— Да, но ведь он, может быть, больше и не придет сюда?

Иоганнес отвечает:

— Придет.

— Сюда? — спрашивает Виктория с тревогой.

— Да.

Виктория встает и направляется к выходу.

— Пойдем, будем лучше на воле.

— Это не к спеху, — говорит Иоганнес, который и сам побледнел. — Потому что ведь он не придет раньше ночи. В полночь.

Виктория успокаивается и хочет снова занять свое место. Но Иоганнесу и самому становится трудно победить страх, его тоже пробирает дрожь, оставаться в пещере слишком опасно, и он говорит:

— Если ты непременно хочешь выйти, то у меня есть там камень с твоим именем. Хочешь, я покажу тебе?

Они вылезли из пещеры и нашли камень. Виктория горда и довольна им. Иоганнес тронут, он чуть не плачет и говорит:

— Когда ты будешь смотреть на него, то иногда вспомнишь обо мне, когда меня уже не будет здесь. Ты тогда подумай обо мне что-нибудь хорошее.

— Да, да, — отвечает Виктория, — но ведь ты вернешься?

— Ну, это Бог знает. Нет, я, пожалуй, не вернусь.

Они направились к дому. Иоганнес близок к тому, чтобы расплакаться.

— Ну, до свиданья, — говорит Виктория.

— Нет, я могу проводить тебя еще немножко.

То, что она так бессердечно может сказать ему «до свиданья», чем скорее, тем лучше, подымает горечь и обиду в его уязвленной душе. Он вдруг останавливается и говорит с праведным гневом:

— Только вот что я скажу тебе, Виктория: ты не найдешь больше никого, кто был бы так добр к тебе, как я. Одно только это я и скажу тебе.

— Да, но и Отто тоже очень добр, — возражает она.

— Ну что ж, и бери его.

Они делают несколько шагов молча.

— А я еще отлично могу устроиться. Об этом ты не беспокойся. Потому что ты даже представить себе не можешь, что получу я за службу.

— Нет. А что ты получишь?

— Полцарства. Это во-первых.

— Неужели полцарства?

— А еще я получу принцессу.

Виктория останавливается.

— Это, наверно, неправда?

— Отчего же, он так сказал.

Пауза. Виктория замечает как бы про себя:

— А интересно: какая-то она?

— О, Господи помилуй! Да она красивее всех людей на земле. Ведь это же давно всем известно.

Виктория смущена.

— А тебе хочется, чтобы тебе ее отдали? — спрашивает она.

— Да, — отвечает он, — оно так и будет наверно. — Но видя, что Виктория действительно взволнована, он прибавляет: — Однако, может случиться, что я еще вернусь когда-нибудь, что я выговорю себе право прогуляться когда-нибудь по земле.

— Да, только не бери ее с собой, — просит она. — Зачем она тебе здесь?

— Нет, я могу прийти один.

— Обещай мне это.

— Ну что ж, я могу это обещать. Только что тебе за дело до меня! Я никак не ожидал, что ты заботишься обо мне.

— Нет, послушай, этого ты не должен говорить, — отвечает Виктория, — я уверена, что она не так любит тебя, как я.

Теплая радость заливает его юное сердце. Из-за этих слов он готов упасть на землю от радости и смущения. Он не смеет взглянуть на нее и смотрит в сторону. Потом он подымает веточку с земли, обгрызает ее кору и хлещет себя ею по руке. Наконец в замешательстве своем он начинает свистеть.

— Ну, теперь мне надо идти домой, — произносит он решительно.

— Прощай, — отвечает она и протягивает ему руку.

## ГЛАВА II

---

Сын мельника уехал. Он долго оставался вдали. Он ходил в школу, вырос, стал большим и сильным, и верхняя губа его покрылась пушком. До города было далеко; путешествие туда и обратно стоило дорого; многие годы расчетливый мельник держал сына в городе и лето и зиму. Тот все время читал.

Но теперь он стал взрослым человеком: ему было лет восемнадцать-двадцать.

Таким-то причалил он однажды к родному берегу весной, после полудня. Над замком поднят был флаг по случаю приезда сына. Тот также вернулся домой с тем же пароходом; за ним послан был к пристани экипаж. Иоганнес поклонился владельцу замка, его жене и Виктории. Какая большая, высокая стала Виктория! Она не ответила на его поклон. Он вторично снял шляпу и слышал, как она спросила у брата:

— Дитлеф, кто это кланяется?

Брат ответил:

— Это Иоганнес, Иоганнес Мёллер.

Она снова посмотрела на него; однако он не считал нужным кланяться несколько раз. Так и уехала коляска.

Иоганнес отправился домой.

О, Боже мой, каким смешным и маленьким стал его домик! Он не мог войти в двери, не нагибаясь. Родители встретили его подарком. Его охватило сильное волнение. Всякая вещь здесь была так дорога и трогательна. Родители стали такие седые и ласковые; они поочередно протянули ему руку и сказали:

— Добро пожаловать!

В тот же вечер он обошел и осмотрел все. Побывал у мельницы, в каменоломне, на местах, где когда-то удил рыбу. С грустью прислушался к знакомым голосам птиц, которые уже свили себе гнезда в ветвях, и наведаясь к огромному муравейнику в лесу. Муравьев не было, муравейник вымер. Он раскопал его; жизнь в нем уже прекратилась. Бродя всюду, он заметил, что господский лес сильно повыврублен.

— Узнаешь ты тут все? — спросил отец в шутку. — Встретил ты своих старых приятелей?

— Я не все узнаю. Лес вырублен.

— Это господский лес, — отвечал отец. — Не нам считать его деревья. Деньги каждому нужны, а господам и подавно.

Дни наступали и отходили — кроткие, милые дни, чудные часы покоя и одиночества, полные чистых воспоминаний детских лет, возврат к земле и к небу, к горам и к воздуху...

Он шел вдоль дороги к замку. Утром его ужалила оса, и верхняя губа его подпухла. Если он кого-нибудь встретит, он поклонится и поспешно пройдет мимо. Он никого не встретил. В замке увидал он одну даму; подойдя ближе, он сделал глубокий поклон и прошел. Это была сама хозяйка. У него и теперь так же забилося сердце, как

прежде, когда он проходил мимо замка. И теперь все еще сидело в крови его уважение к большому дому, к многочисленным окнам, к строгой, изящной особе владельца.

Он пошел к пристани.

Тут он неожиданно встретил Дитлефа и Викторию. Иоганнеса бросило в краску. Они, пожалуй, подумают, что он гоняется за ними. К тому же у него губа распухла. Он убавил шаг в нерешимости, идти ли ему дальше. Однако пошел. Еще издали он поклонился и, проходя, нес свою шляпу в руках. Оба молча ответили на его поклон и медленно прошли мимо. Виктория прямо посмотрела на него; она слегка изменилась в лице.

Иоганнес продолжал спускаться к пристани. Беспокойство овладело им, походка его стала нервной. Нет, до чего выросла Виктория, она совсем взрослая и прелестнее, чем когда-либо. Брови ее почти сошлись над переносицей, они словно две полоски бархата. Глаза потемнели, стали темно-синими.

Идя домой, он выбрал тропинку, пролегающую лесом, далеко от усадьбы замка. По крайней мере, никто не посмеет сказать, что он по пятам ходит за господами. Он вошел на холм, выбрал себе камень и сел. Птицы наполняли воздух безыскусственной и оживленной музыкой, они манили друг друга, гонялись друг за другом, летали с веточками в клювах. В воздухе стоял сладостный запах земли, распускаящейся зелени и гниющего дерева.

И что же? Он как раз попал на дорогу Виктории: она шла прямо к нему, с противоположного конца леса.

Бессильная досада овладела им. Ему хотелось очутиться как можно дальше отсюда. Разумеется, на этот раз она решит, что он шел по ее следам. Нужно ли ему опять поклониться ей? Может быть, ему лучше смотреть в другую сторону? К тому же и этот укус на губе!

Но когда она подошла к нему ближе, он встал и снял шляпу. Она улыбнулась и кивнула ему.

— Здравствуйте. Поздравляю с приездом,— сказала она.

Губы ее как будто опять дрогнули, но она тотчас же овладела собой.

Он сказал:

— Это может показаться странным, но я не знал, что ты тут.

— Нет, вы, конечно, не знали. Это мне пришла фантазия пройти здесь.

Ай-ай-ай! Он сказал «ты».

— А надолго ли вы теперь приехали домой? — спросила она.

— На все вакации.

Он отвечал ей с усилием: она была так далека ему. Но зачем она тогда с ним заговорила?

— Дитлеф говорит, что вы такой способный, Иоганнес. Вы так хорошо сдали экзамены. А еще он говорил, что вы пишете стихи. Это правда?

Он отвечал отрывисто и вспльщиво:

— Само собой разумеется. Кто этого не делает?

Теперь она, верно, сейчас уйдет, потому что она уже ничего больше не говорит.

— Можете себе представить, меня сегодня укусила оса, — сказал он и указал на свой рот. — Вот отчего у меня такой вид.

— Вас тут слишком долго не было — вот здешние осы и не узнают вас больше.

Ей было, видимо, все равно, укусила ли его оса или нет. Конечно. Она стояла и вертела на плече своем красный зонтик с ручкой, отделанной золотом, и ни до чего больше ей дела не было. А ведь он не раз носил на руках эту высокородную барышню!

— Да и я не узнаю больше здешних ос, — отвечал он, — они были моими друзьями когда-то.

Но она не поняла глубокого значения этого замечания, она ничего не ответила. Тогда он продолжал:

— Я ничего больше не узнаю здесь. Даже лес вырублен.

Легкая судорога пробежала по ее лицу.

— Так вы, пожалуй, не станете писать стихов здесь, — сказала она. — А что, если бы вы когда-нибудь написали стихи мне? Нет, что я говорю! Ну, вот вы теперь сами видите, как мало я в этом смыслю.

Он смотрел в землю, взволнованный и молчаливый. Она очень любезно его дурачит, обдумывает свои слова и следит за тем впечатлением, которое они производят. Извините, он вовсе не все время писал, он и читал больше других...

— Ну, мы, наверное, еще увидимся. А пока до свиданья.

Он снял шляпу и ушел, ничего не отвечая.

Если б она только знала, что именно ей, а не кому другому, писал он свои стихи, говорилось ли в них о ночи или о русалках! Ей этого никогда не узнать!

В воскресенье пришел Дитлеф и попросил перевезти его на остров. «Опять бду я перевозчиком»,— подумал он. Он пошел. У пристани гуляло несколько человек по случаю воскресного дня, но в общем все было тихо, и солнце ярко сияло на небе. Вдруг вдали послышались звуки музыки, они доносились с моря, из-за островов. Почтовый пароход, описывая широкую дугу, подходил к пристани, на палубе его играла музыка.

Иоганнес отвязал лодку и сел на весла. Он был в странном, возбужденном настроении. Этот сияющий день и музыка на пароходе выткали занавес из цветов и золотых колосьев перед его глазами.

Отчего это Дитлеф не идет? Он стоит на берегу и смотрит на людей и на пароход, словно никуда и не собирался. Иоганнес подумал: «Сидеть здесь целые часы я не намерен, я сойду на берег». Он начал уже поворачивать лодку.

Тут внезапно что-то белое мелькнуло в его глазах, и он услышал всплески воды. Отчаянный многоголосый крик поднялся на пароходе и с берега, и множество рук и глаз устремилось к тому месту, где исчезло это белое. В то же время музыка сразу умолкла.

В мгновение ока Иоганнес был уже на месте. Он действовал совершенно инстинктивно, без размышлений, без расчета. Он не слышал криков матери с парохода: «Дочь моя! Дочь моя!» Он не видал и людей. Не теряя ни секунды, выпрыгнул он из лодки и нырнул.

Одно мгновение его не было. С минуту видно было только, как вода кипит на том месте, куда он спрыгнул, и все понимали, что он там работает. Вопли на пароходе продолжались.

Потом он вынырнул немножко дальше, за несколько саженей от места катастрофы. Ему кричали и яростно указывали пальцами: «Нет, вот где, вот где!»

Он снова погрузился.

Еще одна мучительная минута, непрерывный крик отчаяния на палубе женщины и мужчины, ломавшего руки. Еще один человек спрыгнул с парохода: штурман, без блузы и башмаков. Он стал тщательно исследовать место падения девочки. И все возлагали надежды на него.

Тут снова показалась на поверхности голова Иоганнеса, только на этот раз еще дальше, за много саженей. Он потерял шляпу. Голова его блестела на солнце, словно голова тюленя. Видно было, что он с чем-то боролся. Он плыл с трудом, одна рука его была занята. Мгновение



спустя ему удалось перехватить что-то зубами, нечто вроде большого узла. Это была утопающая. Восторженные крики раздались с парохода и с берега, даже штурман, должно быть, услышал этот новый шум, потому что он поднял голову из воды и оглянулся.

Наконец Иоганнес нагнал лодку, которую успело отнести течением. Он положил в нее девочку и вскочил в нее сам. Все это сделал он бессознательно. Все видели, как он наклонился над девочкой и буквально разорвал ее платье на спине, потом сел на весла и изо всех сил стал грести к пароходу. Когда спасенную втащили на пароход, раздалось всеобщее, ликующее «ура» в честь спасителя.

— Отчего вы стали искать ее так далеко? — спрашивали его.

Он отвечал:

— Я знаю здесь дно. И потом тут течение. Я это знал.

Какой-то господин протиснулся к борту. Он был смертельно бледен, он улыбался растеряно, и на ресницах его повисли слезы.

— Войдите сюда на минуточку! — крикнул он вниз. — Мне хочется поблагодарить вас. Мы вам так страшно обязаны. Только на минутку!

И человек снова отошел от перил, бледный, и плачущий, и улыбающийся.

Спустили трап, Иоганнес поднялся на палубу.

Он оставался здесь недолго. Он только назвал себя и дал свой адрес. Какая-то женщина обняла его, мокрого с головы до пят. Растерянный господин сунул ему в руку свои часы. Потом Иоганнес побывал в каюте, где два человека хлопотали над утопленницей. Они говорили: «Теперь-то она оживет! Пульс бьется!» Иоганнес взглянул на нее: маленькая белокурая девочка в коротеньком платьице; платье было совершенно разорвано. Тут какой-то человек надел ему на голову шапку, и он ушел.

Он не сознавал хорошенько, как сошел на берег и привязал лодку. Он слышал, как еще раз прокричали «ура», и как музыка снова торжественно заиграла, когда пароход отошел. С головы до ног обдавали его волны блаженства, прохладные и сладкие. Он улыбался, он шевелил губами, но ничего не говорил.

— Итак, наша прогулка сегодня не состоится, — сказал Дитлеф.

Он казался разочарованным.

Виктория направилась к ним. Подойдя ближе, она горячо воскликнула:

— Нет, да ты с ума сошел! Ему же нужно домой, переодеться.

Иоганнес пошел домой пешком. В ушах его все еще стояла музыка и громкое «ура». Сильное волнение вызывало жажду движения. Он прошел мимо дома, свернул на дорогу в лес и наверх, в каменоломню. Здесь он выбрал славный камень на самом солнцепеке. Пар так и валил от его платья. Он сел. Порыв безумной радости заставил его снова вскочить и пройтись. Как переполнен был он счастьем! Он упал на колени и с горячими слезами благодарил Бога за этот день. Она была там, она слышала это «ура». «Идти домой и переодеться»,— сказала она.

Он сел и несколько раз принимался смеяться от восторга. Да, она видела, как он все это сделал, она с гордостью следила за ним, когда он вернулся с утопающей, которую нес в зубах. Виктория, Виктория! Если б она знала, как всецело принадлежит он ей каждую минуту своей жизни! Он хотел бы быть ее слугой, ее рабом и своей грудью прокладывать ей путь. И целовать ее маленькие башмачки, и тащить ее коляску, и в холодные дни топить ее печку! И топил бы он эту печь золочеными дровами, Виктория!

Он огляделся. Никто его не слышал, он был один, сам с собой. Драгоценные часы он все еще держал в руках — они тикали, они шли.

Благодарение, благодарение Богу за этот день! Он погладил мох на камне и обвалившиеся веточки. Виктория не улыбнулась ему. Нет, это было ей несвойственно. Она только стояла на пристани, легкий румянец залил ее щеки. Может быть, она захотела бы принять от него эти часы, если бы он отдал их ей.

Солнце садилось, стало свежее. Он почувствовал сырость. Тогда он вскочил, легкий, как перышко, и помчался домой.

В замке собрались праздничные гости. Приехали знакомые из города. Была музыка, танцы. Целую неделю, день и ночь, развевался флаг над круглой башней.

А нужно было убирать сено. Но лошади были заняты ради увеселения гостей, и сено стояло. Обширные покосы еще не были скошены. Но рабочие были заняты — то в качестве кучеров, то в качестве гребцов, и луга стояли и увядали.

А музыка все играла в желтой зале...

Старый мельник останавливал свою мельницу и запирали дом в такие дни. Он стал умнее: часто, бывало, случалось, что развеселившиеся горожане толпой врываются на мельницу и устраивали разные шалости с его мешками. По ночам было так тепло и светло, а выдумок являлось так много. Богатый камергер в молодые свои годы своими собственными благородными руками притащил целый муравейник в мешке и высыпал его в зерно. Теперь камергер тоже приехал в замок и забавлялся престранными вещами. Много чего рассказывали о нем...

В лесу слышались топот копыт и голоса. Это молодые господа едут верхом, а лошади в замке выхоленные и горячие. Всадники подъехали к дому мельника, хлопали бичами и хотели въехать в дом. Дверь была совсем низенькая, а они все-таки хотели въехать.

— Здравствуйте, здравствуйте! — кричали они. — Мы хотим поздороваться с вами.

Мельник снисходительно улыбался этой выходке.

Потом они спешили, привязали лошадей и пустили мельницу в ход.

— Мельница пустая, — закричал мельник, — вы ее испортите.

Но никто не слышал его в поднявшемся шуме.

— Иоганнес! — крикнул изо всех сил мельник вверх, к каменоломне.

Пришел Иоганнес.

— Они изломают мне всю мельницу! — воскликнул отец, указывая на то, что там происходит.

Иоганнес медленно направился к обществу. Он был страшно бледен, и жилы на висках у него вздулись. Он узнал Отто, сына камергера, в кадетской форме. Кроме него было еще двое. Один из них смеялся и кланялся, чтобы загладить эту выходку.

Иоганнес не кричал, не подавал никакого знака, но шел своей дорогой. Шел он прямо на Отто. В эту минуту увидел он двух всадниц, выезжавших из леса, одна из них — Виктория. На ней была зеленая амазонка, а лошадь ее была белая кобыла из замка. Она не сошла с нее, а сидела и смотрела на все испытующим взглядом.

Тогда Иоганнес изменил свой путь, повернулся, прошел к плотине и открыл шлюз. Шум мало-помалу утих, мельница стала.

Отто крикнул:

— Нет, оставь. Зачем ты это делаешь? Пусти мельницу, говорят тебе!

— Это ты пустил мельницу? — спросила Виктория.

— Да,— отвечал он, смеясь.— Зачем она стоит? Отчего ей нельзя работать?

— Потому что она пустая,— отвечал Иоганнес, задыхаясь, и посмотрел на него.— Понимаете? Мельница пуста.

— Она пустая, слышишь ты?— повторила Виктория.

— Почему я знал? — спросил Отто и засмеялся.— А зачем она пустая, позвольте спросить? Разве в ней не было зерна?

— Ну, садись на лошадь! — прервал его один из товарищей, чтобы положить этому конец.

Они сели на лошадей. Один из них извинился, уезжая.

Виктория оставалась последней. Отъехав немного, она повернула лошадь и снова подъехала.

— Будьте так добры, извинитесь перед вашим отцом,— сказала она.

— Было бы справедливее, если бы кадет сам это сделал,— отвечал Иоганнес.

— Ну, конечно, разумеется, но... У него вечно фантазии... Когда это я вас видела в последний раз, Иоганнес?

Он посмотрел на нее, не веря своим ушам. Неужели она забыла воскресенье, его великий день!.. Он ответил:

— Я видел вас на пристани в воскресенье.

— Ах, да,— сказала она быстро.— Подумайте, как это славно, что вам удалось помочь штурману спасти девочку! Ведь вы вытащили девочку?

Он ответил коротко и сухо:

— Да. Мы вытащили девочку.

— Или вот что,— продолжала она, словно припоминая о чем-то.— Вот что: вы одни... Ну, да это все равно. Итак, я надеюсь, вы передадите поклон вашему батюшке. Спокойной ночи.

Она поклонилась с улыбкой, собрала поводья и уехала.

Когда Виктория исчезла из вида, Иоганнес углубился в лес, огорченный и взволнованный. Он наткнулся на Викторю, которая, совершенно одна, стояла у дерева. Она припала к стволу и рыдала.

Не упала ли она, не расшиблась ли?

Он прямо подошел к ней и спросил:

— С вами что-нибудь случилось?

Она сделала к нему один шаг. Она протянула к нему руки и посмотрела на него сияющими глазами. Потом она остановилась, опустила руки и ответила:

— Нет, со мной ничего не случилось. Я сошла с лошади и пустила ее вперед... Иоганнес, вы не должны так смотреть на меня. Вы стояли там на плотине и смотрели на меня. Чего вы хотите?

— Чего я хочу? Я не понимаю...

— Как у вас тут широко,— сказала она и вдруг положила свою руку на него.— Как широко тут в суставе. И потом как вы загорели от солнца... Совсем оливкового цвета.

Он сделал движение, он хотел взять ее за руку. Тогда она собрала шлейф своей амазонки и сказала:

— Нет, ничего, со мной ничего не случилось. Я просто хотела вернуться домой пешком. Прощайте.

### ГЛАВА III

---

Иоганнес опять уехал в город. И вот потекли часы и дни, долгое, суровое время в труде и мечтах, в ученьи и сочетании рифмованных строк. Он вышел на хорошую дорогу, ему удалось написать стихи об Эсфири, «еврейской девушке, ставшей царицей в Персии»,— работа, которую напечатали и за которую заплатили. Другое произведение: «Лабиринт любви», вложенное в уста Мункена Вендта, сделало имя его известным.

Да, что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах; нет, золотое свечение крови. Любовь — это адская музыка, заставляющая плясать даже сердца стариков. Она словно маргаритка, распускающаяся у дороги с наступлением ночи, и она словно анемон, закрывающийся от дыхания и умирающий от прикосновения.

Вот какова любовь.

Она может погубить человека, вознести и снова заклеить его. Она может сегодня обратиться ко мне, завтра к тебе, а ночью к нему — так она непостоянна. Но она может также держать крепко, словно несокрушимая печать, и пылать неугасимо до самого смертного часа, так вечна она. Так что же такое любовь?

О, любовь — это летняя ночь со звездами в небе и благоуханием на земле. Но отчего же юноша из-за нее идет, крадучись, и отчего старик из-за нее горько плачет в своем одиноком углу? Ах, любовь превращает сердце человеческое в запущенный и унавоженный парник, тучное и позорное место, усеянное ядовитыми и наглыми грибами.

Не она ли заставляет монаха подглядывать через заборы по дворам и по ночам закидывать глаза в окна спален? И не она ли сводит с ума монахинь и затмевает разум царевен. Она клонит голову короля к самой земле, так что волосы его метут прах на дороге, между тем как про себя шепчет он бесстыжие речи и смеется, и кажется язык.

Вот какова любовь.

Нет, нет, она нечто совершенно иное, она непохожа ни на одну вещь во всем мире. Была весенняя ночь на земле, когда юноша встретил два глаза — два глаза! Он широко открыл глаза и смотрел. Он поцеловал один рот, и вот словно два света встретились в его сердце: солнце сверкнуло навстречу звезде. Он падает в объятия и тогда уже не видит и не слышит ничего в целом мире.

Любовь — первое слово Бога, первая мысль, пронизавшая Его сердце. Когда он сказал: «Да будет свет!» — явилась любовь. И все, что Он сотворил, было слишком прекрасно, и Он ничего не пожелал переделывать. И любовь стала первоисточником и владчицей мира; во все пути ее полны цветов и крови — цветов и крови!

Сентябрьский день.

Эта пустынная улица служила ему местом прогулки. Он шагал по ней, словно по своей комнате, потому что никогда никого не встречал здесь. По обе стороны ее тянулись заборы, за которыми стояли деревья в красных и желтых листьях.

Как это Виктория попала на эту улицу? Куда могла она идти этой дорогой? Он не ошибся — это была она, и, может быть, это она же проходила вчера вечером, когда он смотрел в свое окно.

Сердце его сильно забилося. Он знал, что Виктория в городе, он слышал об этом. Но она вращалась в таких кругах, где не бывал сын мельника. С Дитлефом он также не был знаком.

Он овладел собой и пошел ей навстречу. Узнает ли она его? Она шла, серьезная и задумчивая, гордо неся голову на своей длинной шейке.

Он поклонился.

— Здравствуйте, — отвечала она совсем тихо.

Она не сделала даже движения, чтобы остановиться, и он молча прошел мимо. Ноги его дрожали. В конце маленькой улицы он повернул назад, как делал это обыкновенно. «Я устремлю взгляд на забор и не стану

смотреть вверх», — подумал он. Не пройдя и десяти шагов, он поднял глаза.

Она остановилась у витрины.

Не лучше ли ему свернуть в сторону ближайшей улицы? Зачем она стоит здесь? Это было жалкое окно, витрина маленькой лавчонки, в которой виднелось несколько крестообразно сложенных брусков красного мыла, банка с крупой и старые почтовые марки.

Пожалуй, ему лучше пройти еще шагов десять и потом повернуть обратно.

Тут она взглянула на него и вдруг снова пошла ему навстречу. Она шла быстро, словно решившись на что-то, а когда заговорила, ей трудно было сдерживать дыхание. Она нервно улыбалась.

— Здравствуйте. Как это забавно, что я вас встретила.

Боже, как взбунтовалось его сердце! Оно не билось, оно колотилось. Он хотел что-то сказать, но это ему не удавалось, только губы шевелились. От одежды ее доносился аромат — от ее желтого платья, а, может быть, и из ее уст. В это мгновение лицо ее не произвело на него впечатления, но он заметил ее изящные плечи и длинную тонкую руку на ручке зонтика: это была правая рука. На руке было кольцо.

В первую секунду он не задумался над этим, и у него не явилось предчувствия горя. Но рука ее была изумительно прекрасна.

— Я целую неделю провела в городе, — продолжала она, — но я не видала вас. Впрочем, я раз видела вас на улице. Кто-то сказал мне, что это вы. Ведь вы стали таким знаменитым!

Он пробормотал:

— Я знал, что вы в городе. Долго ли вы здесь останетесь?

— Несколько дней. Нет, не долго. Пора ехать домой.

— Благодарю вас, что вы дали мне возможность побеседовать с вами, — сказал он.

Пауза.

— Да при том же я еще заблудилась, — снова заговорила она. — Я остановилась у камергера. Как туда пройти?

— Я провожу вас, если позволите.

Они пошли.

— Отто дома? — спросил он, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, дома, — отвечала она кратко.

Несколько человек выносили из дверей рояль и загородили тротуар. Виктория отступила влево. Боком она прислонилась к своему спутнику.

Иоганнес взглянул на нее.

— Извините,— сказала она.

Его пронизало блаженство от этого прикосновения, на мгновение ее дыхание скользнуло по его щеке.

— Я вижу, у вас кольцо,— сказал он. Он улыбался и казался равнодушным.— Вас, может быть, можно поздравить?

Что она ответит? Он не смотрел на нее, но сдерживал дыхание.

— А вы? — отвечала она.— Разве у вас нет кольца? Нет, нету... А между тем кто-то говорил... О вас так много говорят с некоторых пор, пишут в газетах.

— Я написал кое-какие стихи,— отвечал он.— Но вы, наверно, их не читали?

— А разве не целую книгу? Мне казалось...

— Ну да, маленькую книжку.

Они дошли до площади. Она не торопилась, хотя ей нужно было идти к камергеру. Она села на скамейку. Он стоял перед ней.

Вдруг она взяла его руку и сказала:

— Сядьте и вы.

И только тогда, когда он сел, она оставила его руку.

«Теперь или никогда!» — думал он. Он опять попробовал принять шутливый и равнодушный тон, он улыбался, улыбался просто так, на воздух. «Отлично!»

— Так вот как: вы обручены и даже не хотите сказать мне об этом. Мне, вашему соседу!

Она задумалась.

— Сегодня я не об этом хотела бы поболтать с вами,— отвечала она.

Тогда он стал серьезен и сказал тихо:

— Ну, конечно, я это отлично понимаю.

Пауза.

Он опять начал:

— Я, разумеется, все время знал, что это не про меня... да, что мне же... Конечно, это так. Ведь я был только сыном мельника, а вы... И я даже не понимаю, как это я теперь осмеливаюсь сидеть рядом с вами. Потому что мне бы следовало стоять перед вами или упасть на колени. Это бы так и следовало. Но теперь как будто... И все эти годы, которые я провел вдали от вас, сделали свое. Теперь я чувствую себя смелее. Потому что я понимаю, что я



уже не ребенок, а также знаю, что вы уже не можете засадить меня в тюрьму, если бы и захотели. Вот почему я осмеливаюсь говорить. Только вы не должны на меня сердиться за это, не то я уж лучше не скажу.

— Нет, пожалуйста. Скажите то, что вы хотели сказать.

— Можно? То, что я хотел сказать? Но тогда ведь и кольцо ваше не должно на меня наложить какого-нибудь запрета.

— Нет,— отвечала она тихо,— оно не налагает на вас никакого запрета. Нет.

— Что? Да, но что же это значит? Да благословит вас Бог, Виктория, ведь я не ошибся? — Он вскочил и наклонился над ней, чтобы заглянуть ей в лицо.— Я хочу сказать, это кольцо ничего не означает?

— Сядьте.

Он сел.

— Ах, нет, вы должны знать, как я думал о вас все это время. Боже мой, да была ли еще какая-нибудь другая, хоть маленькая мысль в моем сердце! Из всех, кого я видел, из всех, кого я знал, не было для меня на свете никого, кроме вас. Я не в состоянии был думать иначе: Виктория красивее и прекраснее всех, и я ее знаю! Я всегда думал «фрёкен» Виктория. Конечно, я при этом всегда понимал, что я от вас дальше кого бы то ни было. Но я знал вас — да, это было для меня вовсе не мало,— знал, что вы живете и, может быть, иногда вспоминаете обо мне. Разумеется, вы обо мне не вспоминали, но я долгие часы проводил, сидя на своем стуле и думая, что, может быть, вы иногда меня вспоминаете. Знаете, фрёкен Виктория, словно небо тогда разверзлось надо мною, и я писал тогда стихи вам и покупал вам цветы на все, что у меня было, и приносил их домой и ставил в стакан с водой. Все мои стихи написаны для вас. Есть всего только несколько, писанных не для вас, да и те не напечатаны. Впрочем, вы, наверно, не читали и напечатанных. Теперь я начал писать большую книгу. О, Господи, как я вам благодарен за то, что я полон вами. В этом вся моя радость. Постоянно слушал я и смотрел на все, что мне напоминает о вас,— целые дни и целые ночи. Я написал ваше имя на потолке и, лежа, смотрел на него. Служанка, бившая мою комнату, не видала его,— я написал маленькими буквами, чтобы оно видно было мне одному. И это доставляет мне некоторую отраду.

Она отвернувшись, расстегнула свой лиф на груди и вынула оттуда бумажку.

— Посмотрите! — сказала она, тяжело дыша.— Я вырезала это и спрятала. Знайте, что я читаю их каждый вечер. В первый раз папа показал мне, я подошла к окну и прочла. «Где же это? Я не нахожу»,— сказала я и протянула ему газету. А сама уже все прочла и была так рада.

От бумаги, лежавшей на ее груди, шло благоухание. Она сама развернула ее и показала ему. Это было одно из его первых стихотворений — четыре коротеньких куплета, посвященных амазонке на белой лошади. Это было бесхитростное и горячее признание, взрыв чувства, которого сердце уже не в силах сдерживать, которое било из каждой строки, словно горящие звезды.

— Да,— сказал он,— это я написал. Это было так давно, ночью. Тополя так и шумели за моим окном, когда я писал это. Неужели вы снова их прячете? Благодарю вас! Вы их спрятали. О! — воскликнул он в восторге, и голос его звучал совсем тихо.— Подумать только, что вы сидите вот тут, так близко, от вас исходит тепло! Много раз, когда я бывал один и думал о вас, я дрожал от волнения, но теперь мне тепло. В последний раз, когда я ездил домой, вы тоже были прекрасны. Но теперь вы еще прекраснее. Эти глаза, эти брови, ваша улыбка — нет, я сам не знаю, что говорю. Все это вместе, все в вас дивно!..

Она улыбнулась и посмотрела на него полузакрытыми глазами, темневшими синевою из-под длинных ресниц. У нее выступил горячий румянец. По-видимому, ею овладела сильнейшая радость. Бессознательным движением ухватила она за него руками.

— Благодарю вас! — сказала она.

— Нет, Виктория, не благодарите меня! — отвечал он. Вся душа его устремилась к ней, и ему хотелось говорить, говорить. Это был безудержный порыв, он был как в бреду.— Да, Виктория, если вы немножко меня любите... я не знаю, но скажите, что это так, даже если бы это и не было так. Пожалуйста! О, я обещал бы вам тогда сделаться чем-нибудь, сделаться чем-нибудь больше, гораздо больше теперешнего! Вы не знаете, чем я мог бы быть тогда. Я иногда думаю об этом и знаю, что весь полон еще не совершенных деяний. Часто это так и брызжет из меня; ночью я спую взад и вперед по своей комнате, потому что я переполнен грезами. В соседней комнате лежит человек. Он не может заснуть, он стучит в мою стену. Когда занимается утро, он врывается ко мне, разъяренный. Это ничего, я не обращаю на него внимания,

потому что когда я так долго думаю о вас, мне представляется, что вы тут, со мною. Я подхожу к окну и пою, начинает светать, тополя шумят за окном. «Спокойной ночи»,— говорю я восходящему дню. Это я вам говорю. «Теперь она спит,— думаю я,— спокойной ночи, благослови ее Господь!» Потом я ложусь. Так проходит вечер за вечером. Но я никогда не воображал вас такой прекрасной, как вы есть на самом деле, Виктория. Теперь я буду представлять себе вас такой, когда вы уедете,— такой, какой вижу вас теперь. Я буду представлять себе вас так ясно...

— А вы не поедете домой?

— Нет, я еще не собираюсь. Да, да, я поеду. Я теперь же поеду. Я еще не готов, но я сделаю все на свете. Вы иногда катаетесь? Гуляете иногда по вечерам, Виктория? Я могу видеть вас. Я, может быть, иногда обмениваюсь с вами приветом, я поеду только ради этого. Но если вы немножко меня любите, если вы меня терпите, выносите меня, то скажите... доставьте мне эту радость... Знаете, есть такая пальма, которая цветет только раз во всю свою жизнь, хотя ей бывает и семьдесят лет. Галипотовая пальма. Она цветет только раз. Теперь я цвету. Да, я достану денег и поеду домой. Я продам то, что я записал. Я пишу большую книгу, а теперь я ее продам, завтра же продам все, что уже написано. Я получу за это порядочно. Так вы хотите, чтобы я ехал домой?

— Да.

— Благодарю, благодарю вас! Простите, если я слишком многого хочу, слишком много надеюсь. Так чудно верить невозможному. Это самый чудный день, когда-либо пережитый мною!..

Он снял шляпу и положил ее рядом с собою.

Виктория оглянулась. По улице шла какая-то дама, а дальше — женщина с корзинкой. Виктория с беспокойством взглянула на часы.

— Вам уже нужно идти? — спросил он.— Скажите мне что-нибудь прежде, чем уходить, дайте мне услышать вас... Я люблю вас и вот говорю вам это. От вашего ответа будет зависеть, чтобы я... Я весь в вашей власти. Что вы мне скажете?

Пауза.

Он опустил голову.

— Нет, лучше не говорите! — попросил он.

— Не здесь,— отвечала она.— Я скажу это там.

Они пошли.

— Говорят, будто вы женитесь на той девочке, на барышне, на той, которую вы спасли. Как ее зовут?

— На Камилле, вы хотите сказать?

— На Камилле Сейер. Говорят, вы на ней женитесь?

— Так. Зачем вы об этом спрашиваете? Ведь она еще маленькая. Я бывал у нее в доме. Он такой же большой и богатый, настоящий замок, как и у вас. Я был там несколько раз. Нет, она еще совсем девочка.

— Ей пятнадцать лет. Я встречала ее у общих знакомых. Она мне очень понравилась. Она такая миленькая!

— Я не женюсь на ней,— сказал он.

— Вот как?

Он взглянул на нее. По лицу ее пробежала судорога.

— Но зачем вы говорите мне об этом теперь? Вы хотите направить мое внимание на другую?

Она шла вперед быстрыми шагами и ничего не ответила. Они уже подошли к дому камергера. Она взяла его за руку и увлекла за собой на входную лестницу.

— Я не пойду к ним,— сказал он, удивленный.

Она нажала звонок и повернулась к нему, грудь ее волновалась.

— Я люблю вас,— сказала она.— Понимаете? Я вас люблю — вас.

Вдруг она быстро потащила его обратно с лестницы три-четыре ступеньки, обвила его шею руками и поцеловала его. Она прижалась к нему.

— Я вас, вас люблю,— повторила она, задыхаясь. Взор ее выражал опьянение.

Входная дверь отворилась. Она оторвалась от него и побежала вверх по лестнице.

## ГЛАВА IV

---

Светает. Занимается день — голубоватый, тусклый сентябрьский день.

Тополя тихо шепчутся во дворе. Одно из окон отворяется, из него высовывается человек и начинает петь. Он без сюртука, он глядит на свет, словно полуодетый безумец, который ночью упился, опьянел от счастья.

Вдруг он оглядывается на свою дверь, кто-то постучался к нему. Он кричит:

— Войдите!

Входит человек.

— С добрым утром! — говорит он вошедшему.

Это пожилой господин, он бледен и разгневан и несет лампу в руках, потому что еще не совсем рассвело.

— Я еще раз принужден сделать вам замечание, господин Мёллер, господин Иоганнес Мёллер, неужто вы думаете, что это прилично? — замечает вошедший с горечью.

— Нет, — отвечает Иоганнес. — Вы правы. Я кое-что написал, это шло у меня так свободно. Смотрите, все это я исписал, у меня была счастливейшая ночь. Но теперь я готов. Я только открыл окно и пел немножко.

— Вы орали, — говорит господин. — Это самое неистовое пение, какое я когда-либо слышал, понимаете ли. И это посреди ночи!

Иоганнес хватает со своего стола бумагу, набирает целую охапку крупных и мелких листков.

— Посмотрите! — восклицает он. — Уверю вас, мне еще никогда не было так хорошо. Это была словно продолжительная молния. Я раз видел молнию, ударившую в телеграфную проволоку. Господи помилуй, это было словно царство огня! Вот так и во мне было эту ночь. Что же мне делать? Я не думаю, чтобы вы что-нибудь имели против меня, если вы узнаете, как все это произошло. Я сидел тут и писал, понимаете ли, я не шевелился. Я помнил о вас и сидел смирно. Но вот пришла минута, когда я уже не мог об этом помнить. Грудь моя готова была разорваться. Может быть, я тогда вскочил, а может быть, я и несколько раз вскакивал в продолжение ночи и ходил несколько раз вокруг комнаты. Я был так счастлив.

— Я вас меньше обыкновенного слышал эту ночь. Но это с вашей стороны непростительно — открывать окно теперь, в такое время, и орать во все горло.

— Разумеется. Да, это непростительно. Но ведь я объяснил вам теперь. Я провел прямо бесподобную ночь, доложу я вам. Вчера со мною нечто случилось. Я шел по улице и вдруг встретил свое счастье, ах, послушайте, я встретил свою звезду и свое счастье! Знаете, она поцеловала меня! Губы у нее были алые, и я люблю ее, она поцеловала и опьянила меня. Случалось ли вам, чтобы рот у вас был словно так сильно стянут, что вы не в состоянии говорить? Я не мог говорить, мое сердце колотилось так, что встряхивало все мое тело. Я пошел домой и заснул; я сидел вот тут на стуле и спал. Когда наступил вечер, я проснулся. Душа моя от счастья точно

качалась на качелях, вверх и вниз, вверх и вниз, и я начал писать. Что я писал? Вот оно! Мною овладели избранные и чудные мысли, небо разверзлось, для души моей настал как бы теплый летний день. Ангел дал мне вина, я его выпил; это было упоительное вино, я пил его из гранатового кубка. Слышал ли я, как били часы? Видел ли я, как лампа погасла? Дай Бог вам понять это! Я еще раз снова все это пережил: я опять шел со своей возлюбленной по улице, и все оглядывался на нее. Мы шли вдоль парка, мы встретили короля. От счастья я снял шляпу и опустил ее до самой земли, а король оглянулся на нее, на мою возлюбленную, потому что она так стройна и прекрасна. Мы опять пошли в город, и все дети, шедшие из школы, оглядывались на нее, потому что она так молода, и на ней светлое платье. Подойдя к красному каменному дому, мы вошли. Я шел за ней по лестнице и хотел упасть на колени. И вдруг она обняла меня и поцеловала. Это случилось со мною вчера вечером, не далее. Если вы спросите меня, что я написал, так это только неудержимый гимн радости, счастью, вот что я написал. Словно само счастье, обнаженное, смеющееся, лежало передо мною со своей длинной шейкой и манило меня.

— Однако я, право, больше не желаю слушать вашу болтовню, — сказал сосед, раздраженный и усталый. — Я в последний раз разговариваю с вами.

— Подождите немножко. Нет, видели бы вы, как ваше лицо сейчас осветилось точно солнышком. Я увидел это, когда вы оглянулись, это лампа бросила как бы отблеск солнца на ваш лоб. Вы уже были не так сердиты, как раньше, я это видел. Я отворил окно, это правда, я пел слишком громко. Я был братом всех счастливых. И вот из-за этого случилось то, что рассудок у меня испарился. Конечно, мне бы следовало помнить, что вы теперь спите...

— Теперь весь город спит.

— Да, теперь еще рано. Мне хочется подарить вам что-нибудь. Не хотите ли принять от меня вот это? Это серебряное. Одна девочка, которую я спас, подарила мне это. Пожалуйста! Здесь помещается двадцать папирос. Вы не хотите принять? Ах, вы не курите. А можно мне зайти завтра к вам извиниться? Мне бы очень хотелось сделать что-нибудь, выпросить у вас прощение...

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Теперь я лягу. Обещаю вам. Вы больше не услышите отсюда ни звука. А на будущее время я буду строже следить за собой.

Сосед ушел.

Вдруг Иоганнес открыл дверь и закричал ему вслед:

— Ах, да, ведь я теперь уезжаю. Я уже не буду беспокоить вас больше, я завтра уеду. Я и забыл сказать вам об этом.

Он не уехал. Разные причины задержали его: ему пришлось устроить кое-какие дела, кое-что купить, кое-что уплатить, так прошли и еще утро, и вечер. Он сустился в каком-то бессознательном состоянии.

Наконец он позвонил у дверей камергера.

— Виктория дома?

— Виктория ушла по делам.

Он объяснил, что фрекен Виктория и он — соседи в деревне, что он хотел только повидать ее, если бы застал ее, позволил себе навестить ее. Ему хотелось послать через нее поклоны домой. Вот и все.

Потом он пошел бродить по городу. Может быть, он встретит ее, увидит ее где-нибудь, она, может быть, проедет в коляске. Он бродил до самого вечера. Он увидел ее у театра и поклонился. Улыбнулся и поклонился, и она ответила на его поклон. Он хотел подойти к ней, между ними было всего несколько шагов, — тут он заметил, что она не одна: Отто был с ней, сын камергера. Он был в форме лейтенанта.

Иоганнес подумал:

«Может быть, она подаст мне какой-нибудь знак, чуть заметно, хоть глазами?»

Она поспешно прошла в театр, вся красная, с опущенной головой, словно хотела спрятаться.

Нельзя ли ему будет видеть ее в театре? Он купил билет и вошел.

Он знал, что у камергера есть ложа, — конечно, у всех этих богатых господ бывают ложи. И действительно: вот сидит она во всей своей лучезарной красоте и оглядывается. Взглянет ли она на него? Никогда!

По окончании акта он прошел в коридор и дождался ее. Он поклонился; она посмотрела на него с некоторым удивлением и кивнула.

— Вот тут можно достать воды, — сказал Отто, указывая вперед.

Они прошли мимо.

Иоганнес посмотрел им вслед. Какой-то туман растянулся перед его глазами. Все эти люди как будто сердились

на него и толкали его. Он машинально извинялся и продолжал стоять. Тут она исчезла.

Когда она проходила обратно, он низко поклонился и сказал:

— Извините, фрекен...

— Это Иоганнес,— сказала она, представляя его.— Ты узнаешь его?

Отто ответил и усмехнулся.

— Вы, наверное, хотите узнать, что делается у вас дома? — продолжала она, и лицо ее было прекрасно и спокойно.— Я, право, не знаю, но, верно, все благополучно. Наверно. Я буду кланяться вашим родителям.

— Благодарю вас. Вы скоро уезжаете?

— На днях. Я непременно передам ваш поклон.

Она кивнула головой и ушла.

Иоганнес смотрел ей вслед, пока она не исчезла, потом вышел на улицу. Он убил время в тяжелом, грустном настроении, непрерывно бродя по улицам то туда, то сюда. В десять часов он остановился перед домом камергера и стал ждать. Теперь представление окончилось; она сейчас придет. Может быть, ему удастся открыть дверцу кареты, снять шляпу, отпереть дверь и поклониться до земли.

Не раньше, как через полчаса, она подъехала. Хорошо ли ему стоять здесь у двери и снова напоминать о себе? Он поспешно пошел вдоль по улице, не оглядываясь. Он слышал, как отворились ворота в дом камергера, как карета въехала во двор, и ворота снова закрылись. Тогда он вернулся обратно.

Тут он снова стал бродить взад и вперед перед домом. Он ничего не ждал и не имел ничего ввиду. Вдруг дверь отворилась, и Виктория вышла на улицу. На ней не было шляпы, она только накинула на плечи шаль. Она улыбалась полужастенчиво, полусмущенно и спросила для начала:

— Вы здесь ходите и размышляете?

— Нет,— отвечал он.— Размышляю? Нет, я только ходил.

— Я видела, что вы ходите тут взад и вперед, и хотела... Я видела вас из моего окна. Мне сейчас же надо будет вернуться.

— Благодарю вас, что вы пришли, Виктория. Я был только что в таком отчаянии, а теперь это прошло. Простите, что я подошел к вам в театре. Я еще, к сожалению, заходил и сюда, к камергеру, и спрашивал



вас, я хотел застать вас и узнать, что вы подразумевали, что вы хотели сказать?

— Да ведь вы же знаете,— сказала она.— Я так много сказала третьего дня, что вы не могли не понять меня.

— А все-таки я ни в чем не уверен.

— Не будем больше говорить об этом. Я сказала достаточно, я слишком много высказала, а теперь я вам делаю больно. Я вас люблю. Я не лгала вам третьего дня и теперь не лгу. Но нас разделяет очень многое! Я высоко вас ставлю, я с удовольствием говорю с вами, с большим удовольствием, чем с кем бы то ни было, но... Да, я не решаюсь дольше стоять здесь, нас могут увидеть из окна. Иоганнес, есть так много причин, которых вы не знаете, что вы не должны больше расспрашивать меня, что именно я подразумеваю. Я об этом думала день и ночь: я чувствую то же самое, что я вам говорила. Но это стало невозможным.

— Что стало невозможным?

— Все. Все вообще. Послушайте, Иоганнес, позвольте мне быть гордой за нас обоих.

— Хорошо. Разумеется. Это вы можете, конечно. Но, значит, вы дурачили меня третьего дня? Значит, вы случайно встретили меня на улице, были в хорошем настроении, и вам...

Она повернулась и хотела уйти.

— Я, может быть, сделал что-нибудь дурное? — спросил он. Лицо его было бледно и неузнаваемо.— Я хочу сказать, из-за чего-нибудь да лишился же я вашего?.. Может быть, за эти два дня и две ночи я в чем-нибудь провинился?

— Нет, не то. Я только обсудила это все; а вы разве не обсуждали? Это и всегда было невозможным, знаете ли. Я высоко вас ставлю, я очень ценю вас...

— И уважаю.

Она посмотрела на него. Его улыбка оскорбила ее, она продолжала с возбуждением:

— Господи Боже, неужто вы сами не понимаете, что папа откажет вам? Зачем вы заставляете меня говорить вам это? Ведь вы сами понимаете. Ну, что из этого вышло бы? Разве я не права?

Пауза.

— Да,— отвечал он.

— Да и помимо этого,— продолжала она, — есть много причин... Нет, право, не ходите больше за мной в театр. Вы даже прямо испугали меня. Не делайте этого больше никогда.

— Никогда,— повторил он.

Она взяла его за руку.

— А вы не можете съездить домой на побывку? Я была бы так рада этому. Какая у вас теплая рука. Мне холодно. Ну, теперь мне надо идти. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— отвечал он.

Улица, холодная и серая, тянулась через весь город; она казалась песчаным поясом, бесконечной дорогой куда-то. Он наткнулся на мальчика, продававшего старые, поблекшие розы. Он окликнул его, выбрал розу, дал ему золотую монету в пять крон и пошел дальше. Немного пройдя, увидел он группу детей, игравших у ворот. Мальчик лет десяти сидел смирно и смотрел на них. У него были стариковские голубые глаза, следившие за игрой, ввалившиеся щеки и четырехугольный подбородок, а на голове — холщевая фуражка. Это была просто подкладка от фуражки. Этот ребенок носил парик, какая-то болезнь волос навсегда обезобразила его голову. Может-быть, и душа его окончательно увяла.

Все это заметил он, хотя у него не было ясного представления, на каком краю города он находится, или куда он идет. Пошел дождь, а он не открывал своего зонтика, хотя носил его с собою весь день.

Дойдя наконец до какой-то площади, где стояли скамьи, он сел. Дождь шел все сильнее и сильнее, он бессознательно открыл зонтик и продолжал сидеть. Вскоре его стала одолевать непреодолимая апатия. Туман застлал его мозг, он сомкнул глаза, опустил голову и заснул.

Немного спустя его разбудил громкий говор прохожих. Он встал и побрел дальше. Ум его прояснился, он отдавал себе отчет во всем, что произошло, вспомнил каждую мелочь, даже мальчика, которому дал пять крон за одну розу. Он представил себе восторг этого маленького человечка, когда он увидит чудную монету посреди своих шиллингов и поймет, что это не двадцать пять эре, а золотой в пять крон. Христос с ним!

А те, другие дети, вероятно, спрятались от дождя и играют в подворотне, прыгают на одной ноге, бросают мячик. А убогий десятилетний старичок сидит и смотрит. Как знать, может быть, он сидит и радуется на что-нибудь, может быть, у него в комнате на заднем дворе есть кукла, или волчок, или паяц. Он, может быть, еще не все потерял в жизни, надежда еще живет в его увядшей душе.

Перед ним мелькнула изящная стройная дама. Он вздрогнул и остановился. Нет, он ее не знает. Она появилась из-за угла и спешила куда-то. Зонтика у нее не было, а дождь так и лил. Он нагнал ее, посмотрел и прошел мимо. Какая она тоненькая и молодая! Она промокла, она простудится, а ему нельзя подойти к ней. Он сложил свой зонт, чтобы она, по крайней мере, мокла не одна. Когда он вернулся домой, было уже за полночь.

На столе его лежало письмо, пригласительная карточка. Сейеры будут очень рады, если он придет к ним завтра вечером. Между прочим, он встретит и старых знакомых — как бы он думал, кого? — Викторию, его соседку. Сердечный привет.

Он заснул в своем кресле. Часа два спустя он проснулся, ему было холодно. Полусонный, содрогаясь от озноба, изможденный от всех волнений этого дня, сел он к столу, желая ответить на приглашение, которого не хотел принять.

Он написал ответ и собрался отнести его в почтовый ящик. Вдруг он вспомнил, что и Виктория будет там. Да, а между тем она ничего не сказала ему об этом. Она боялась, как бы он не пришел, она хотела быть ему чужой при посторонних людях.

Он разорвал свое письмо, написал другое: он очень благодарен, он придет. Его руки дрожали от внутреннего волнения, злорадное чувство охватило его. Почему бы ему не прийти? Зачем ему прятаться? Довольно!

Сильнейшее возбуждение так и подталкивало его. Одним движением сорвал он целую горсть листков со своего стенного календаря и перенесся на целую неделю вперед. Он представил себе, что у него какая-то радость, что он в сильнейшем восторге, ему хочется воспользоваться данным моментом, он хочет выкурить трубочку, сесть в кресло и наслаждаться. Трубка оказалась в беспорядке. Он тщетно поискал перочинного ножа, какого-нибудь скребочка, и вдруг бросился к стенным часам и выломал одну из стрелок на циферблате, чтобы ею вычистить трубку. Ему было приятно смотреть на это разрушение, он смеялся про себя и поглядывал, что бы ему еще разрушить.

Время шло. Наконец, он бросился на кровать, как был, в мокром платье, и заснул.

Когда он проснулся, был давно уже день. Дождь все еще шел, и улицы были мокры. В голове была какая-то путаница: остатки виденных снов перемешивались со всем пережитым накануне. Лихорадки он не чувствовал. Нао-

борот: жар спал, его охватила прохлада, словно он всю ночь блуждал в душном лесу, а теперь подошел к воде.

Постучали. Почтальон принес ему письмо. Он распечатал, посмотрел на него, прочел, но ему трудно было понять его. Это от Виктории; записочка, исписанный клочок бумажки: она забыла сообщить ему, что будет у Сейеров вечером; она хотела бы встретиться с ним, хотела бы лучше объясниться с ним, попросить его забыть ее, сделать это, как подобает мужчине. Она просит извинения за скверную бумагу. Сердечный привет.

Он отправился в город, пообедал, вернулся домой и наконец написал отказ Сейерам; он не может прийти, он просит позволения сделать это в другой раз — например, завтра вечером.

## ГЛАВА V

---

Настала осень. Виктория уехала домой, а маленькая, отдаленная улица стояла по-прежнему со своими домиками и со своей тишиной. В комнате Иоганнеса по ночам виднелся свет. Он загорался вечером вместе со звездами и гас, когда занимался день. Он трудился усердно, он писал. Он работал над своей большой книгой.

Шли недели и месяцы. Он был один и не посещал никого. К Сейерам он не ходил больше. Часто его воображение играло с ним плохие шутки и порождало в его книге ни к чему не относящиеся выдумки, которые он принужден был после вычеркивать и выбрасывать. Это очень затягивало работу. Внезапный шум среди ночной тишины, стук экипажа на улице тотчас давали толчок его мыслям и направляли их по другому пути.

Прочь с дороги, берегись этой кареты!

Зачем? Зачем, собственно говоря, следует беречься этой кареты? Она прокатила мимо, она сейчас, может-быть, уже разможжит кому-нибудь голову. Может быть, где-нибудь стоит человек без пальто и без шляпы; он стоит, нагнувшись, и подставляет голову навстречу экипажу. Ему хочется, чтобы его переехали, беспощадно искалечили, раздавили. Человек хочет умереть, вот в чем дело. Он уже не застегивает пуговиц на своей рубашке и по утрам перестал завязывать шнурки на своих башмаках. Он идет себе нараспашку, грудь у него обнаженная и худая: ведь он умрет... Один человек лежит при последнем издыхании; он написал письмо своему другу, записочку, маленькую

просьбу. Человек умер и оставил после себя это письмо, на нем была даже и надпись. Оно было написано большими и маленькими буквами, несмотря на то, что писавший его должен был умереть не далее как через час. Это так странно. Он даже сделал обычный росчерк под своим именем. А через час его уже не было в живых... А вот еще человек. Он лежит один в маленькой комнатке с деревянной панелью и голубыми обоями. Ну, и что же? Ничего. Во всем обширном мире именно он должен теперь умереть. Это поглощает его, он думает об этом до изнеможения. Он видит, что теперь вечер, что часы на стене показывают восемь, и не понимает, отчего они не бьют. Часы не бьют. Прошло уже несколько минут девятого, а они продолжают тикать, но не бьют. Несчастный, его мозг уже цепенеет навсегда, часы *били*, а он этого не заметил. Потом он протыкает дыру на портрете своей матери на стене — что ему теперь до этого портрета, и зачем тому оставаться целым, раз его не будет? Его слабый взор падет на вазу с цветами на столе. Он протягивает руку и медленно и обдуманно сдергивает большую вазу с цветами на пол, так что она разбивается вдребезги. Потом он швыряет свой янтарный мундштук за окно. На что он ему теперь? Ему кажется так ясно, что после него все это не должно оставаться. А через неделю человек этот умрет...

Иоганнес вскакивает и мечется взад и вперед по комнате. Да, его сосед по ту сторону стены! Его храп прекратился, и оттуда послышался вздох, жалобный стон. Иоганнес на цыпочках возвращается к столу и садится снова. Ветер шелестит в тополях за окном и заставляет его содрогнуться. Старые тополя опали. У них вид каких-то грустных уродов. Их угловатые ветви трутся о стену дома и производят скрип, напоминающий звук пилы или рассохшегося машинного станка. Этот звук не смолкает и не смолкает.

Он бросил взгляд на свои рукописи и перечел их. Конечно, воображение опять унесло его, куда не следовало. К чему тут эти умирающие и проезжающая карета? Он писал об усадьбе, об одной зеленой и роскошной усадьбе, какая есть там, по соседству от его домика. Вот что он описывал. Теперь она замерла под снежным покровом, но описывал он именно ее. Только там вовсе не зима, и снега там нет, а наоборот, весна, благоухания и нежные ветерки. Теперь вечер. Внизу расстилается водное пространство, безмятежное и глубокое, как свинцовое море. Сирень

благоухает, одна живая изгородь тянется за другой в бутонах и зеленых листьях, а воздух так ясен, что слышно бормотание тетерева на той стороне, за заливом. В одной из аллей сада стоит Виктория. Она одна, вся в белом, ей двадцать лет. Вот она стоит. Весь образ ее стройнее самого высокого куста штамповой розы. Она смотрит вдаль, на воду, на лес, на спящие горы. Она кажется белым бесплотным духом среди этого зеленого сада. Снизу, с дороги слышатся шаги; она делает несколько шагов вперед, к укромной беседке у дороги, облокачивается на ограду и смотрит вниз. Человек на дороге снимает шляпу и, кланяясь, опускает ее почти до земли. В ответ она кивает головою. Человек оглядывается; на дороге нет никого, кто бы мог следить за ним, и он делает несколько шагов вверх, к ограде. Тогда она отступает назад и кричит: «Нет, нет!» При этом она машет на него руками. «Виктория,— говорит он,— вы сказали тогда святую истину, говоря, что я не должен воображать себе этого, потому что это невозможно». — «Да,— отвечает она, — но чего же вы тогда хотите?» Он подошел к ней совсем близко, только ограда разделяет их, и вот раздается его ответ: «Чего я хочу? Видите ли, я хочу только постоять здесь минутку. Это в последний раз. Я хочу подойти к вам как можно ближе; теперь я стою недалеко от вас!» Она молчит. Так проходит минута. «Спокойной ночи»,— говорит он и снова опускает шляпу почти до земли. «Спокойной ночи»,— отвечает она. И он уходит, не оглядываясь...

Что ему за дело до умирающих? Он мнет исписанную бумагу и бросает ее в печку. Там лежат и другие рукописи, которые следует сжечь,— пустая игра крылатой фантазии, перешедшей всякие пределы! И он снова пишет о человеке на дороге, о страннике, поклонившемся и простившемся, как только истекла его минута. А за ним в саду стояла юная девушка, одетая в белое и пережившая двадцать весен. Он ей не нужен, пусть. Он все же постоял у ограды, за которой живет она. Вот как близок был он от нее хоть однажды!

Протекли еще недели и месяцы, и пришла весна. Снег совершенно исчез. Воздух насыщен был шумом, словно от водопада, который протянулся от солнца до самого месяца. Прилетели ласточки, а в лесу, за городом разыгрывалась кипучая жизнь снующих повсюду всевозможных зверьков и птиц с их чуждыми друг другу наречиями. С земли подымался свежий, пряный аромат.

Работа всю зиму поглощала его. словно припев рабочей песни, день и ночь скрипели сухие сучья тополей, царапаясь о стену дома. Теперь настала весна, бури миновали, и скрип машинного станка прекратился.

Он открыл окно и выглянул. На улице совершенно тихо, хотя нет еще и полуночи, звезды мерцают на безоблачном небе, все предвещает на завтра теплый и ясный день. До него доносится гул города, перемешанный с вечным шумом далей. Вдруг раздается железнодорожный свисток, это сигнал ночного поезда: он звучит, как одинокий крик петуха в ночной тиши. Ну, пора приниматься за работу — этот свисток всю зиму служил ему призывом к работе.

Вот он закрывает окно и снова садится к столу. Он откладывает в сторону книги, которые мельком читал, придвигает к себе бумагу. Он берет в руку перо.

Его большой труд теперь почти закончен, не хватает только заключительной главы, как последнего привета с удаляющегося корабля, да и та совершенно готова в его голове.

На станции у большой дороги сидит господин; он здесь проездом, и путь его лежит далеко-далеко. Волосы и борода у него полуседые, и много лет жизни уже насчитывает он за своей спиной. Однако он все же высок и силен, и на самом деле он моложе, чем кажется. На дворе стоит его экипаж, лошади отдыхают, кучер весел и доволен, потому что этот чужой господин угостил его и вином, и обедом. Когда проезжий написал свое имя в книге, хозяин низко поклонился ему и оказал ему всевозможную честь. «Кто теперь живет в замке?» — спросил господин. Хозяин ответил: «Капитан; он очень богат; его жена очень добра ко всем». — «Ко всем? — спрашивает господин, обращаясь к самому себе, и странно улыбается. — И ко мне также?» И господин садится и пишет что-то на бумаге, а написав до конца, перечитывает написанное. Это стихи, грустные и спокойные, но в них кроется много горечи. Однако в конце концов он рвет бумагу в куски и, продолжая сидеть, разрывает ее все мельче и мельче. Вдруг раздается стук в его дверь, и входит женщина в желтом платье. Она откидывает вуаль — это хозяйка замка, фру Виктория. Она прекрасна, как королева. Господин вскакивает с места, в то же мгновенье мрачную душу его словно пронизывает луч света. «Вы так добры во всем, — говорит он с горечью, — вот и ко мне пришли». Она ничего не отвечает, она только глядит на него, и лицо ее густо краснеет. «Что

вам угодно? — спрашивает он с той же горечью. — Не затем ли вы пришли, чтобы напомнить мне о прошедшем? В таком случае ведь это в последний раз, милостивая государыня, потому что я теперь уезжаю навеки». Но молодая владелица замка и тут ничего не отвечает, только губы ее дрожат. Он говорит: «Неужто вам мало того, что я однажды уже признался вам в своем безумии? Так слушайте же, я это сделаю вторично: я всей душой любил вас, я был вас недостоин — довольно ли с вас теперь?» Он продолжал с возрастающим жаром: «Вы сказали мне «нет»; я был мужик, медведь, варвар, затесавшийся в юности случайно в королевский поезд; вы выбрали другого». Но с этими словами господин падает в кресло, рыдает и просит: «Ах, уйдите! Пощадите меня! Идите своей дорогой!» Теперь в лице хозяйки замка не остается ни кровинки. Она говорит, медленно и ясно произнося каждое слово: «Я люблю вас; не заблуждайтесь же больше, я только вас и люблю, прощайте!» И вот молодая женщина исчезает, она закрывает лицо руками и поспешно уходит...

Он кладет перо и откидывается на спинку стула. Так-то, точка, конец. Вот она — его книга, все эти исписанные листы, девять месяцев работы. Теплое чувство удовлетворения проникает в его душу, потому что работа его доведена до конца. А пока он сидит и смотрит в окно, за которым занимается день, в голове его опять что-то гудит и бьется, и душевная работа подымается снова. Его охватывает странное настроение. Его сердце словно запущенный дикий лес, насыщенный земным испарением.

Каким-то таинственным путем попал он в глубокую, мертвенную долину, где нет ничего живого. Вдали стоит одинокий, забытый орган и играет. Он подходит ближе, он осматривает его; из органа течет кровь, течет эта кровь с одной стороны, а между тем он играет. Он идет дальше и приходит на площадь. Здесь все вымерло; не видно ни дерева, не слышно ни звука. Просто пустая площадь. Однако на песке видны следы человеческих ног, а в воздухе словно стоят еще последние слова, произнесенные здесь, так недавно покинули это место люди. Особое, жуткое чувство охватывает его; эти слова, еще висящие в воздухе над площадью, наводят на него ужас, преследуют, хватают его. Он отмахивается от них, а они приближаются снова. Это уже не слова, это старики, толпа стариков, которые пляшут; теперь он их видит. Зачем они пляшут, и отчего нет в них ни малейшей радости, когда они пляшут?



Холодное веяние исходит от этой группы стариков. Они не видят его, они слепы, а когда он окликает их, они не слышат, потому что мертвы. Он обращается на восток, идет к солнцу и подходит к горе. Слышится голос: «Ты подошел к горе?» — «Да, — отвечает он, — я стою у горы». Тогда голос говорит: «Гора, у которой стоишь ты, это моя нога; я лежу прикованный на том свете, приходи и освободи меня». Тогда он идет на тот свет. У моста на пути его стоит человек и подкарауливает его. Он собирает тени; человек этот из мускуса. Ледянящий ужас обнимает его при виде этого человека, стремящегося схватить его тень. Он плюет на него и грозит ему сжатыми кулаками, но человек стоит неподвижно и выжидает его. «Вернись!» — кричит за ним чей-то голос. Он оглядывается и видит голову, которая катится вдоль дороги, указывая ему путь. Голова человеческая, и изредка она улыбается тихо и молча. Он следует за нею. У берега моря она проваливается сквозь землю и исчезает. Он погружается в воду и ныряет. Он стоит у громадных ворот и встречает большую, ходячую рыбу. На шее у нее грива, и идет она к нему, как собака. За рыбой стоит Виктория. Он тянет к ней руки. На ней нет никакой одежды, она ему улыбается, буря треплет ее волосы. Тогда он громко зовет ее, он сам слышит свой крик — и просыпается.

Иоганнес вскакивает и подходит к окну. Уже почти совсем светло, а в маленьком зеркале на подоконнике он видит, что виски его красны. Он гасит лампу и еще раз, при сером свете дня, перечитывает последние страницы своей книги. Потом ложится.

После полудня в тот же день Иоганнес уплатил за свою комнату, сдал свою рукопись и оставил город. Он уехал за границу, но никто не знал, куда именно.

## ГЛАВА VI

---

Большая книга Иоганнеса появилась в печати — целое царство, маленький трепетный мирок настроений, душевных движений и грез. Ее покупали, читали и откладывали. Прошло несколько месяцев. С наступлением осени Иоганнес выпустил еще одну книгу. И что же? Имя его теперь было у всех на устах, успех был полный; эта книга написана была вдали от родины, далеко от событий и

людей отчизны, а потому была ароматична и крепка, как выдержанное вино.

Дорогой читатель, вот рассказ о Дидерихе и Изелинде. Он написан в доброе время, в дни малых скорбей, когда все переносится легко, написан с искреннейшим сочувствием к Дидериху, которого Бог поразил любовью...

Иоганнес был в чужих краях, никто не знал, где именно. И прошло больше года, прежде чем кто-либо узнал об этом.

— Мне кажется, кто-то постучался,— сказал однажды старый мельник.

И он, и жена его притихли, прислушиваясь.

— Нет, это только так показалось,— сказала она наконец.— Теперь уже десять часов, время слишком позднее.

Прошло несколько минут.

Вдруг в дверь постучали громко и отчетливо, словно кто-то заставил себя решиться на это. Мельник отворил дверь. На крыльце стояла фрекен из замка.

— Не бойтесь, это только я,— сказала она, робко улыбаясь.

Она вошла. Ей придвинули стул, но она не села. На голове ее была только накинута шаль, а на ногах были маленькие, тонкие туфельки, хотя весна еще не наступала, и на дороге не было сухо.

— Я только хотела предупредить вас, что этой весной приедет лейтенант,— сказала она,— лейтенант, мой жених... Может быть, ему вздумается погонять здесь дичь в лесу, так я только хотела предупредить вас, чтобы вы не испугались.

Мельник и жена его с удивлением глядели на фрекен из замка. Раньше их никогда не предупреждали, когда гости, приезжавшие в замок, охотились по лесам и лугам в окрестностях. Они смиренно поблагодарили ее.

Виктория снова направилась к двери.

— Я только это и хотела сказать. Я подумала: они люди старые, недурно будет предупредить их.

Мельник отвечал:

— Вот как! И из-за этого вы промочили ваши маленькие туфельки, фрекен.

— Нет, дорога сухая,— сказала она отрывисто.— Я все равно хотела сюда прогуляться. Покойной ночи.

— Покойной ночи.

Она взялась за ручку двери и вышла. Потом оглянулась на пороге и спросила:

— Ах, да, скажите: имели ли вы известия об Иоганнесе?

— Нет, никаких. Спасибо за память. Никаких известий.

— Он, верно, скоро придет. Я думала, он писал вам.

— Нет, он не писал с прошлой весны. Иоганнес должен быть теперь за границей.

— Да, за границей. Ему там хорошо. Он сам пишет, что переживает дни малых скорбей. Значит, ему хорошо.

— Да, да, конечно, дай Бог. Мы его поджидаем; но он не пишет нам, да и никому другому. Мы просто ждем его.

— Ему, видимо, лучше там, где он теперь, раз скорби его так малы. Да, так он написал. Я только хотела узнать, придет ли он домой этой весною. Еще раз: спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Мельник и жена его вышли вслед за нею. Они видели, как она возвращалась в замок, высоко подняв голову, шагая своими маленькими туфельками прямо по оттаявшим лужам на грязной дороге.

Дня два спустя пришло от Иоганнеса письмо. Он вернется домой не далее как через месяц, как только окончит еще одну новую книгу. За все это долгое время ему жилось хорошо. Новая его работа будет скоро закончена. Кипучая жизнь вокруг захватила и его...

Мельник отправился в замок. На дороге нашел он носовой платок, помеченный инициалами Виктория, она, очевидно, выронила его тогда.

Фрекен оказалась наверху, но горничная предложила ему передать ей о деле — что именно ему нужно?

Мельник отклонил это предложение. Он предпочитает ждать.

Наконец фрекен пришла.

— Я слышала, что вы желаете говорить со мной? — спросила она и открыла дверь в соседнюю комнату.

Мельник вошел, подал ей платок и сказал:

— А мы теперь получили письмо от Иоганнеса.

Радостное волнение отразилось на ее лице на мгновенье — на одно краткое мгновенье. Она ответила:

— Благодарю вас. Да, это мой платок.

— Теперь он опять скоро придет, — продолжал мельник почти шепотом.

Лицо ее приняло холодное выражение.

— Скажите громче, Меллер,— кто именно приедет?

— Иоганнес.

— Иоганнес? Ну, и что же?

— Ничего, так только... Мы думали, что мне следует сообщить вам об этом. Мы об этом поговорили с женой, и она тоже так думала. Вы на днях спрашивали, не приедет ли он весной. Так вот, он приедет.

— Так вы, наверно, теперь очень рады? — сказала фрекен.— Когда он приедет?

— Через месяц.

— Вот как. Да, так вам больше ничего не нужно?

— Нет. Мы только думали, что раз вы спрашиваете... Нет, больше мне ничего не надо. Это все.

Мельник опять понизил голос.

Она проводила его. В коридоре они встретили ее отца, и она мимоходом сказала ему громко и равнодушно:

— Мельник говорит, что скоро Иоганнес приедет домой. Ты помнишь Иоганнеса?

И мельник, выходя из ворот замка, обещал себе никогда, никогда больше не играть дурака и не слушать своей жены, которая воображает, будто понимает все эти тонкости. Так он ей и скажет.

## ГЛАВА VII

---

Ту стройную рябину у мельничной плотины хотел он когда-то срезать себе на удочку. Теперь прошло много лет, и дерево стало толще его руки. Он посмотрел на него с удивлением и пошел дальше.

По берегу реки теперь тянулись непроходимые заросли тростников, целый лес, с протоптанными в нем скотом твердыми тропинками, над которыми снова сомкнулись тростниковые листья. Он стал прокладывать себе дорогу в этих зарослях, как бывало в детстве, разводя руками и помогая себе ногами, как бы плавая. Насекомые и гады разбегались при виде такого большого человека.

Наверху, в каменоломне разрослись шиповники, подснежники, фиалки. Он нарвал их немного. Родное благоухание опять говорило ему о прошлых днях. Вдали синели соседние холмы, а по другую сторону залива куковала кукушка.

Он встал. Через несколько минут он стал напевать какую-то песенку. Вдруг вблизи на тропинке послышались шаги.

Был вечер, солнце стояло уже низко, тепло еще оставалось и струилось в воздухе. Над лесом, холмами и заливом лежал несказанный покой. Какая-то женщина подымалась вверх, к каменоломне. Это была Виктория. Она несла корзину.

Иоганнес вскочил, поклонился и хотел уйти.

— Я не хотела мешать вам,— сказала она.— Мне только хотелось собрать здесь кое-какие цветы.

Он не ответил. Он даже не подумал о том, что у нее есть всевозможные цветы в саду.

— Я захватила с собою корзину, чтобы собирать в нее цветы,— продолжала она.— Да может быть, здесь и нет цветов. Мне они нужны для гостей. У нас будут гости.

— Здесь есть подснежники и фиалки,— сказал он.— Там, выше, бывало, рос хмель. Но теперь для него еще, пожалуй, слишком рано.

— Вы стали бледнее, чем прежде,— заметила она.— Это было два года назад. Вы уезжали, я слышала. Я читала ваши книги.

Он опять ничего не ответил. Ему подумалось, что, быть может, ему следует сказать ей: «Да, до свидания, фрекен!» — и уйти. От места, на котором он стоял, был всего один шаг книзу, до первого камня, от этого камня один шаг до нее, а потом он мог бы отступить так, как будто это случилось само собою. Она стояла прямо посередине дороги. На ней было желтое платье и красная шляпа, она была своеобразна и очаровательна; шея у нее была открыта.

— Я загораживаю вам путь,— пробормотала она и отступила. Он старался владеть собой, чтобы не выказать никакого волнения.

Теперь между ними был всего один шаг. Она остановилась и не давала ему пройти. Они посмотрели друг другу в лицо. Вдруг она сильно покраснела, опустила глаза и отошла в сторону. Лицо ее приняло беспомощное выражение, но она улыбалась.

Он прошел мимо нее и остановился. Ее печальная улыбка поразила его. Его сердце опять рванулось к ней, и он сказал как-то бессознательно:

— Да, вы, наверное, не раз побывали в городе с тех пор? С того раза?.. Теперь я знаю, где всегда бывали цветы прежде: на лугу, у вашего флагштока.

Она обернулась к нему, и он с удивлением заметил, что лицо ее стало бледно и выражало волнение.

— Не придете ли вы к нам на вечер? — сказала она.— Если вы не прочь побывать в обществе? У нас скоро будут

гости,— продолжала она, и лицо ее начало снова покрываться румянцем.— Приедет кое-кто из города. Это будет скоро, но я все же дам вам знать точнее. Что вы скажете?

Он не ответил. Это общество было не для него, он не принадлежал к числу посетителей замка.

— Вы не должны отказываться. Вам не будет скучно, я уже позаботилась об этом и приготовила вам неожиданный сюрприз, который очень удивит вас.

Пауза.

— Вы уже не можете удивить меня никакой неожиданностью.

Она закусила губы. Растерянная улыбка снова пробежала по ее лицу.

— Что вы против меня имеете? — спросила она глухо.

— Я ничего против вас не имею, фрекен Виктория. Я сидел здесь на камне, я собираюсь уйти.

— Ну, да, а я гуляла тут по нашим владениям, бродила целый день и наконец попала сюда. Я могла бы пойти и вдоль реки, по другой дороге, тогда, по крайней мере, я не пришла бы...

— Дорогая фрекен, это место ваше, а не мое.

— Я когда-то сделала вам зло, Иоганнес. Теперь мне хочется это поправить, загладить. Я в самом деле приготовила вам сюрприз, который, я думаю... то есть я хочу сказать, который, я надеюсь, обрадует вас. Больше мне нельзя сказать. Но мне хотелось бы, чтобы вы исполнили мою просьбу на этот раз и пришли к нам.

— Если это может доставить вам хоть какое-нибудь удовольствие, я приду.

— Придете?

— Да, благодарю вас за любезность.

Спустившись в лес, он оглянулся назад. Она села. Корзина лежала возле нее в стороне. Он не ушел домой, а продолжал бродить вдоль дороги то туда, то обратно. Тысячи мыслей пронеслись в его голове. Сюрприз? Она сказала это сейчас, только что. Ее голос дрожал. Горячая, порывистая радость охватила его, заставила сердце его биться усиленно, и он почувствовал, словно его подняло кверху над дорогой, по которой он шел. А была ли это только случайность, что на ней сегодня опять желтое платье? Он посмотрел на ее руку, на которой было когда-то кольцо,— кольца не было.

Прошло около часа. Испарения земли и леса струились вокруг него, проникали в душу, в сердце. Он сел, потом лег на спину, подложив руки под голову, и стал

прислушиваться к крику кукушки за заливом. Страстный птичий щебет так и дрожал в воздухе.

Итак, он опять это пережил! Когда она появилась перед ним в каменоломне в своем желтом платье и кроваво-красной шляпе, она похожа была на бабочку, перепархивающую с камня на камень и остановившуюся перед ним. «Я не хотела мешать вам»,— сказала она и улыбнулась: улыбка у нее была алая, она осветила все лицо, от нее сыпались звезды. На шее ее выступило несколько тонких голубых жилок, а несколько веснушек под глазами придавали теплый колорит ее лицу. Ей шел двадцатый год.

Сюрприз? Что она под этим подразумевала? Может быть, она покажет ему его книги, положит перед ним эти два-три тома и порадует его тем, что она все это купила и разрешила? Вот, извольте, это маленькое внимание и утешение вам! Не взыщите!

Он быстро вскочил и остановился. Виктория опять подходила к нему. Корзина ее была пуста.

— Вы не нашли цветов? — спросил он рассеянно.

— Нет, я это оставила. Я и не искала больше, я только сидела там.

Он сказал:

— Кстати, пока я не забыл: вам вовсе нет надобности думать, что вы причинили мне какое-то зло. Вам нечего поправлять каким бы то ни было утешением.

— Вот как,— отвечала она, пораженная. Она задумалась над этим и посмотрела на него, что-то соображая.— Вот как. А я думала, что тогда... Мне не хотелось, чтобы вы все время держали на меня зло за то, что случилось.

— Я не питаю зла к вам.

Она еще несколько времени стояла, задумавшись. Вдруг она выпрямилась.

— Вот и прекрасно,— сказала она.— Конечно, я и сама должна была знать. Ведь это не может оставить такого сильного впечатления. Да, так не будем же больше говорить об этом.

— Не будем, конечно. Мои впечатления так же безразличны для вас, как и прежде.

— До свидания,— сказала она.— Пока до свидания.

— До свидания,— отвечал он.

Они пошли каждый своей дорогой. Он остановился и обернулся. Вот она там идет. Он протянул руки вперед и прошептал, говоря про себя слова, полные нежности: «Нет,

я не питаю к вам злобы, о, нет, конечно, нет; я все еще люблю вас, люблю вас...»

— Виктория! — крикнул он.

Она услышала. Она вздрогнула и оглянулась, но продолжала идти.

Прошло несколько дней. Иоганнес был в сильнейшем беспокойстве. Он ничего не делал, не спал. Почти весь день проводил он в лесу. Он поднялся в высокую сосновую рощу, где стоял флагшток обитателей замка. Здесь вывешен был флаг. Развивался флаг и над круглой башней замка.

Странное напряжение овладело им. Значит, в замок приехали гости. Там готовится праздник.

День был тихий и теплый. Река струилась вдоль всего ландшафта, словно бьющаяся жила. Пароход направился к берегу, оставляя за собою на воде след из белых бороздок. Теперь со двора замка выехали четыре экипажа и спустились к пристани.

Пароход причалил, мужчины и дамы сошли на землю и заняли места в экипажах. Тогда грянул в замке ряд выстрелов. Два человека стояли наверху на круглой башне, заряжали и стреляли, заряжали и стреляли из охотничьих ружей. Когда они расстреляли двадцать один патрон, экипажи въехали в ворота замка, и выстрелы прекратились.

Итак, в замке будет праздник. Приезжие встречены флагами и салютом. В экипажах сидело несколько военных. Быть может, был там и Отто, лейтенант.

Иоганнес спустился вниз с холма и отправился домой. Его нагнал посланный из замка и остановил его. Человек этот нес в шапке письмо, его послала фрекен Виктория и велела получить ответ.

Иоганнес прочитал письмо с бьющимся сердцем. Виктория все же приглашала его; писала ему в самых сердечных выражениях и просила его прийти. Именно на этот раз она просит его. Ответа ждут с посланным.

Сильная, внезапная радость пронизала его. Кровь бросилась ему в голову, и он ответил посланному, что придет, да, что он очень благодарен и вскоре явится. Пожалуйста!

Он при этом подал ему до смешного крупную монету и поспешил домой переодеться.



В первый раз в жизни вошел он в двери замка и поднялся вверх по лестнице во второй этаж. Из комнат до него доносились голоса. Сердце его усиленно билось. Он постучался и вошел.

Хозяйка замка, еще не старая женщина, пошла к нему навстречу, ласково поздоровалась с ним и протянула ему руку. Она рада его видеть. Она помнит его с давних пор, когда он был еще вот какой. Теперь он стал большим человеком... И, словно желая сказать этим нечто большее, она долго держала его руку, испытующе глядя на него.

Хозяин замка также подошел, протягивая ему руки. Как сказала уже его жена, он стал большим человеком, иначе, нежели это обыкновенно принято понимать, большим человеком. Знаменитым человеком. Он очень рад...

Его представили мужчинам и дамам, камергеру, украшенному орденами, его супруге, соседнему помещику, Отто — лейтенанту. Виктории он не видал среди них.

Прошло несколько времени. Вошла Виктория, бледная, смущенная. Она вела за руку молодую девушку. Они обошли залу, здороваясь и говоря понемногу со всеми. Перед Иоганнесом они остановились.

Виктория улыбнулась и сказала:

— Посмотрите, ведь это Камилла. Разве это не сюрприз? Ведь вы знакомы, не так ли?

Она немножко постояла, глядя на обоих, потом вышла из залы.

В первую минуту Иоганнес стоял ошеломленный и пораженный, не двигаясь с места. Вот он — сюрприз, Виктория весьма любезно подыскала себе заместительницу. Слушайте вы, люди, идите сюда и отдайтесь друг другу! Весна цветет, солнце сияет. Откройте окно, если хотите, потому что на дворе благоухание, и скворцы тоже спариваются в верхушках берез. Отчего вы ничего не говорите друг другу? Улыбнитесь же!

— Да, мы знакомы, — сказала Камилла просто. — Ведь вы именно здесь вытащили меня когда-то из воды.

Она была юна, светла, жизнерадостна, одета в розовом, ей шел семнадцатый год. Иоганнес сжал зубы, засмеялся, стал шутить. Мало-помалу ее веселая болтовня действительно стала освежать его. Они долго говорили друг с другом, его сердцебиение утихло. У нее все еще сохранилась детская привычка наклонять голову набок и выжи-

дательно прислушиваться, когда он что-либо говорил. Он узнал ее, ее появление его не удивило.

Виктория снова вошла, держа лейтенанта под руку, подвела его и сказала Иоганнесу:

— Узнаете вы Отто, моего жениха? Вы, верно, его помните?

Молодые люди помнили друг друга. Они обменялись необходимыми приветствиями, поклонами и разошлись. Виктория и Иоганнес опять очутились рядом одни. Он сказал:

— Не это ли ваш сюрприз?

— Да,— отвечала она с мучительным нетерпением.— Я поступила как могла лучше. Я не знала, что еще сделать, не будьте же несправедливым, лучше поблагодарите меня. Ведь я видела, что вы обрадовались.

— Да, благодарю вас. Да, я очень рад.

Беспредельное отчаяние овладело им. Он побледнел, как мертвец. Если она когда-либо причинила ему зло, то теперь все это так царственно поправлено и заглажено. Он был ей искренне признателен.

— Итак, я замечаю, что вы сегодня опять надели свое колечко,— сказал он глухо,— смотрите же, не снимайте его больше.

Пауза.

— Нет, я больше уж не сниму его,— отвечала она.

Они посмотрели друг другу в глаза. Губы его дрожали, он указал ей головой на лейтенанта и сказал отрывисто и грубо:

— У вас есть вкус, фрекен Виктория. Он красивый мужчина. И какой бравый у него вид с эполетами.

Она отвечала очень спокойно:

— Нет, он некрасив. Но он благороден. Это тоже чего-нибудь да стоит.

— Это вы на мой счет? Спасибо! — Он громко захотел и сказал с беззастенчивой откровенностью: — А главное, карманы у него туго набиты — это стоит еще больше!

Она тотчас отошла от него.

Он стал шагать от стены до стены, как потерянный. Камилла заговаривала с ним, спрашивала о чем-то, он не слышал и не отвечал. Она еще что-то сказала, даже тронула его за руку и снова спросила о чем-то напрасно.

— Нет, он теперь ходит и мечтает,— воскликнула она, смеясь,— он мечтает, он мечтает!

Виктория услышала это и сказала:

— Он хочет остаться один. Он и меня прогнал.

Вдруг она подошла к нему вплотную и сказала громко:

— Вы, верно, ходите и обдумываете, как бы извиниться передо мной? Не заботьтесь об этом. Наоборот, мне следует извиниться перед вами, что я так поздно послала вам приглашение. Это было большим невниманием с моей стороны. Я забыла об этом почти до конца, я чуть было совсем не забыла об этом. Но я надеюсь, вы простите меня, у меня было так много забот.

Он онемел, не сводя с нее глаз. Камилла переводила взгляд с одного на другого и была, видимо, озадачена. Виктория стояла перед ними с холодным и бледным лицом и казалась довольной. Она отомстила.

— Вот они, наши кавалеры,— продолжала она, обращаясь к Камилле,— что нам ждать от них? Там сидит мой нареченный и рассказывает об охоте на лосей, а тут поэт стоит и мечтает... Скажите же что-нибудь, поэт!

Он вздрогнул. Жилы на висках его посинели.

— Хорошо. Вы просите меня сказать что-нибудь? Извольте!

— О, нет, не невольте себя, пожалуйста!

Она хотела уйти.

— Ну, чтобы ближе подойти к делу,— сказал он медленно и улыбаясь, хотя голос его дрожал.— Чтобы начать с самой сути: не были ли вы влюблены за последнее время, фрекен Виктория?

На несколько мгновений наступила тишина. Все трое слышали биение собственных сердец. Камилла робко заметила:

— Разумеется, Виктория влюблена в своего жениха. Ведь она только что помолвлена, разве вы не знали?

Двери в столовую в эту минуту отворились.

Иоганнес нашел свое место и остановился за своим стулом. Стол так и ходил в его глазах. Он видел множество людей и слышал гул их голосов.

— Да, пожалуйста, это ваше место,— любезно сказала хозяйка.— Вот только бы все уселись скорее.

— Извините! — вдруг раздался за ним голос Виктории.

Он отступил в сторону.

Она взяла билетик с его именем и отнесла его на несколько мест дальше, рядом с местом пожилого господина, бывшего когда-то учителем в замке, про которого говорили, что он не прочь выпить. Она принесла взамен того билетика другой и села на свое место.

Он стоял и следил за ней. Хозяйка сделала вид, будто очень занята по другую сторону стола, и избегала смотреть на него.

Он почувствовал себя в еще большем смятении, чем прежде, и рванулся к своему новому месту. Первое место его занял один из товарищей Дитлефа, молодой человек с брильянтовыми запонками на груди. Налево от него сидела Виктория, направо Камилла.

Обед начался.

Старый учитель помнил Иоганнеса с детских лет, и между ними тотчас же завязалась беседа. Он объявил, что и он в юные годы занимался поэзией, рукописи его сохранились, Иоганнес свободно может получить и прочесть их. Теперь его пригласили на это домашнее торжество, чтобы дать ему возможность принять участие в семейной радости — помолвке Виктории. Хозяин и хозяйка замка оказали ему это внимание из старой дружбы.

— Я не читал ничего из ваших сочинений, — сказал он, — я читаю свои собственные, когда мне хочется почитать. Мои стихи и рассказы лежат у меня в столе. После моей смерти они будут напечатаны. Я все-таки желаю, чтобы публика увидела, что я был за человек. Да, да, мы, старые служители искусства, не так торопились все тащить в типографию, как это делается теперь. Ваше здоровье!

Обед продолжался. Хозяин замка постучал о свой бокал и встал. Его благородное, худощавое лицо выражало волнение, и он казался очень радостно настроенным. Иоганнес низко опустил голову. В стакане его нет ничего, и никто не предлагает налить ему вина. Он сам наполнил свой бокал до краев и снова опустил голову. Вот оно, вот оно!

Речь была длинная, красивая, и встречена она была радостным шумом. Помолвка была оглашена. Множество добрых пожеланий посыпались со всех концов стола на дочь хозяев дома и на сына камергера.

Иоганнес выпил свой стакан.

Через несколько минут его смятение стало утихать, покой его возвращался; шампанское успокоительным теплом заструилось в его жилах. Он слышал, как камергер произнес тост, после которого все опять кричали «браво» и «ура» и чокались. Раз он взглянул на Викторию. Она бледна и, по-видимому, измучена, она не подымает глаз. Камилла, наоборот, кивает ему и улыбается, и он кивает ей в ответ.

Учитель рядом с ним продолжает говорить:

— Как это прекрасно, как прекрасно, когда два любящих сердца соединяются. Этого не выпало на мою долю. Я был юным студентом, с большими надеждами, большими дарованиями. Отец мой был странного рода, у него был большой дом, богатство, много судов. Я, со своей стороны, осмелюсь сказать, подавал *очень* большие надежды. Она также была молода и дочь высокопоставленных родителей. Я открыл ей свое сердце. «Нет»,— отвечала она. Понимаете вы ее или нет? Нет, она несогласна, сказала она. Мне ничего не оставалось, как продолжать работать и перенести этот удар как подобает мужчине. Но вот счастье отвернулось от моего отца, пошли неудачи, долги, короче сказать, разорение. Что же я сделал тогда? Я опять перенес и это как подобает мужчине. И что же вы думаете? Тут-то она снова и является на сцену, та девушка, о которой я упоминал. Она приезжает, разыскивает меня в городе. Чего ей от меня нужно? — спросите вы. Я стал бедняком, я получил жалкое место учителя на почте, все мои надежды рухнули, а произведения мои брошены в стол — и вот теперь она является и объявляет, что согласна. Она согласна!

Учитель посмотрел на Иоганнеса и спросил:

— Понимаете вы ее или нет?

— Но теперь уж, наверно, вы не согласились?

— *Мог* ли я согласиться, спрошу я вас? Убитый, всеми оставленный, нищий почтовый учитель, курящий трубку только по праздникам,— как вы хотите? Я не мог причинить ей такое зло. Но я вас только спрашиваю: понимаете вы ее или нет?

— Ну, а что же было с ней после?

— Ах ты Господи, вы все не отвечаете на мой вопрос! Она вышла замуж за капитана. Это было год спустя. За капитана артиллерии. Ваше здоровье!

Иоганнес заметил:

— Говорят, есть женщины, ищущие только предмета сострадания. Если человеку хорошо, они готовы его ненавидеть и не обращают на него никакого внимания. Как только над ним стряется беда, под которой спина его согнется, они сейчас же являются и говорят: «А вот и я».

— Но почему же она не согласилась, когда все улыбалось мне? Ведь я подавал блестящие надежды, как юный бог.

— Бог знает. Она ждала, пока вас не пригнет к земле.

— Но меня не пригнуло к земле. Никогда! Я сохранил свою гордость и отказался от нее. Что вы на это скажите?

Иоганнес молчал.

— Но вы, может быть, и правы,— продолжал старый учитель.— Клянусь Богом и всеми Его ангелами, вы совершенно правы! — воскликнул он вдруг с оживлением и снова выпил.— В конце концов, она вышла за старого капитана. Она ухаживает за ним, кормит его и командует всем домом. Капитан артиллерии!

Иоганнес поднял глаза. Виктория сидела со своим бокалом в руках и пристально смотрела на него. Она приподняла свой бокал высоко над столом. Он почувствовал, словно кто-то толкнул его, и также взялся за бокал. Рука его дрожала.

Вдруг она громко произнесла тост за здоровье его соседа и засмеялась. Она назвала имя учителя, а не его имя.

Иоганнес покорно поставил свой бокал на место, все еще беспомощно улыбаясь кому-то в пространство. Все оглянулись на него.

Старый учитель был до слез тронут этим милым вниманием со стороны своей ученицы. Он поспешил осушить свой бокал.

— И вот теперь я живу стариком,— продолжал он,— живу и обременяю землю, одинокий и безвестный. Такова моя доля. Никто не знает, что таится во мне, но никто не слышал и моего ропота. Как быть? Знаете вы про горлицу? Ведь это, кажется, горлица, эта великая печальница, сначала замутит чистую, прозрачную воду, а уж потом пьет ее?

— Не знаю.

— Не знаете, конечно. Но это именно она. То же самое делаю и я. Я не взял той, с которой мог бы разделить свою жизнь. И все же жизнь моя не так уж бедна радостями. А я мучу ее. Я беспрерывно мучу ее. Таким образом разочарование не может застать меня врасплох. Вот, например, Виктория. Она сейчас выпила за мое здоровье. Я был ее учителем. Теперь она выходит замуж, и это меня радует, я испытываю чисто личную радость от этого, словно бы она была моей родной дочерью. Теперь я, быть может, сделаюсь учителем ее детей. Да, право, в жизни все-таки есть неоспоримые радости. Однако то, что вы сказали о сострадании, и о женщине, и о согнутой спине — да, чем больше я об этом думаю, тем больше вижу, что вы правы. Бог свидетель, вы... Извините, на минуточку.

Он встал, взял свой бокал и направился к Виктории. Он уже немножко пошатывался и шел, сильно согнувшись вперед.

Произнесено было еще несколько речей. Говорил лейтенант. Помещик поднял свой бокал за женщин, за хозяйку замка. Вдруг встал господин с брильянтовыми запонками и назвал имя Иоганнеса. Он получил разрешение на то, что он делает: он желает приветствовать молодого поэта от лица молодежи. Это было чисто дружеское слово, слово искренней благодарности от лица сверстников, полное поклонения и восторга.

Иоганнес в первую минуту не верил своим ушам. Он шепнул учителю:

— Это он обо мне говорит?

Учитель ответил:

— Да. Это он опередил меня. Это мне следовало сделать: Виктория просила меня об этом непременно еще утром.

— Кто просил вас об этом, вы сказали?

Учитель вытаращил на него глаза.

— Никто,— отвечал он.

Во время речи все глаза направились на Иоганнеса. Даже хозяин замка кивал ему, а камергерша подняла лорнет к глазам, чтобы взглянуть на него. По окончании речи все выпили.

— Теперь ответьте ему,— сказал учитель.— Ведь он вставал и говорил в вашу честь. Это должно было бы относиться к старшему собрату по искусству. К тому же я с ним отнюдь не согласен. Отнюдь нет.

Иоганнес посмотрел через стол на Викторию. Это она побудила господина с брильянтовыми запонками сказать речь. Зачем она это сделала? Раньше она обращалась с этим к другому. С самого утра она обдумывала это. Зачем это ей? Теперь она сидит, опустив глаза, и ни одна черточка не выдает ее.

И вдруг глубокое и горячее волнение вызвало слезы на глазах его. Он готов был броситься к ее ногам и благодарить, благодарить ее. Он это и сделает потом, после обеда.

Камилла сидела, болтая направо и налево и улыбаясь всем своим свежим личиком. Она была довольна. Ее семнадцать лет ничего не доносили до нее, кроме чистой радости. Она бесчисленное множество раз кивала Иоганнесу и знаками показывала ему, что он теперь должен встать.

Он встал.

Он говорил кратко, голос его звучал глубоким чувством: на этом торжестве, когда в доме празднуется счастливое событие, присутствует и он, человек совершенно посторонний, удостоенный внимания при все своей незаметности. Он выражает благодарность тому, кому первому пришла в голову эта милая мысль, а также тому, кто сказал ему столько лестного. Но он не может также не оценить той благосклонности, с которой все собравшееся общество выслушало эти похвалы ему — совершенно постороннему человеку. Единственным объяснением всех этих обстоятельств может служить, по его мнению, лишь то, что он — сын соседа замка, там в лесу...

— О! — воскликнула вдруг Виктория с пылающим взором.

Все оглянулись на нее, ее щеки горели, а грудь волновалась, то подымаясь, то опускаясь. Иоганнес остановился. Водворилось мучительное молчание.

— Виктория? — произнес с удивлением хозяин замка.

— Продолжайте! — крикнула она опять. — Это, по-вашему, единственное объяснение; ну, что же дальше?

Тут глаза ее мгновенно погасли, на лице появилась беспомощная улыбка, она покачала головой. Потом она обернулась к отцу и сказала:

— Я только остановила его, чтобы он не преувеличивал. Ведь он же преувеличивает. Нет, я не хотела мешать.

Иоганнес слушал это объяснение и искал выхода. Сердце его билось так, что он его слышал. Он заметил, что хозяйка наблюдает за Викторией со слезами на глазах и с беспредельной жалостью.

Да, он преувеличил, — сказал он, — фрекен Виктория права. Она любезно напомнила ему, что он был не только сыном соседа, но и товарищем детских игр их, детей из замка, и что этому последнему обстоятельству обязан он своим присутствием здесь теперь. Он благодарит ее — она совершенно права. Эти места — его родина; когда-то весь свет заключался для него в лесу замка, за которым синел мир неведомый, полный опасностей. В те годы часто получал он предложение от Дитлефа и Виктории принять участие в какой-нибудь прогулке или в игре — это были самые крупные события его детства. Позже, вспоминая об этом, он должен был признать, что это время имело для всей жизни его значение большее, чем что бы то ни было иное. Если действительно — как это только что было сказано — в произведениях его иногда вспыхивает священный огонь, то происходит это оттого, что его зажигали



воспоминания тех дней. Это отблеск того счастья, которое доставляли ему двое его товарищей в детстве. Вот почему им принадлежит значительная доля всего созданного им. К наилучшим пожеланиям, приносимым им по случаю обручения, присоединяет он и личную благодарность брату и сестре за счастливые годы детства, когда ни время, ни обстоятельства не становились между ними, за те радостные, быстротечные летние дни...

Речь была кончена, все общество выпило, продолжало трапезу, и болтовня возобновилась. Дитлеф сухо заметил матери:

— Я никогда не знал о том, что это, собственно говоря, я писал его книги. А?

Но хозяйка замка не засмеялась. Она чокнулась с сыном и сказала:

— Скажи, скажи ему спасибо. Это так понятно: он так одинок был в детстве... Что это ты делаешь, Виктория?

— Я хотела послать ему с горничной веточку сирени в благодарность. Можно?

— Нет,— отвечал лейтенант.

После обеда общество рассыпалось по комнатам, по обширной террасе и даже по саду. Иоганнес спустился в нижний этаж и пошел на крытую веранду. Здесь уже было несколько человек: двое-трое курящих мужчин, помещик и еще какой-то господин, говоривший вполголоса о финансовом положении хозяина. Все имение его запущено, заросло сорными травами, заборы повалены, леса вырублены; после всего этого, надо думать, ему весьма трудно уплачивать страховые по неслыханно крупной оценке дома.

— А за сколько он застрахован?

Помещик назвал очень значительную сумму.

Впрочем, в замке никогда не считали денег, расходы здесь всегда были крупные. Вот хоть бы сегодняшний обед — чего он должен был стоить! Зато теперь всюду, должно быть, пусто стало, даже в некой шкатулке с драгоценностями самой хозяйки дома. Зато денежки зятя восстановят прежний блеск.

— А сколько же у него-то капитала?

— О! фью-ю!.. У него так много, что и не перечеть.

Иоганнес встал и спустился в сад. Сирень была в цвету. Его обдало волнами аромата белых лилий, ландышей, жасмина и медвежьего ушка. Он выбрал себе уголок у ограды и сел на камень. Здесь кустарник совершенно скрывал его от всех. Он устал от пережитых волнений,

устал, как измученный раб, его сознание помутилось. Он уж подумывал про себя, не уйти ли домой, а сам продолжал сидеть, отупевший и бессильный. Вдруг он слышит неясный говор на дорожке. Кто-то подходит сюда. Он узнает голос Виктории. Он задерживает дыхание и ждет; вот и мундир лейтенанта блестит сквозь листву. Обрученные прогуливаются.

— Я не думаю, чтобы все это так и следовало, — говорит он. — Ты вслушивалась во все, что бы он ни говорил, ты волновалась из-за его речи и даже вскрикнула. Что это, собственно, значит?

Она останавливается перед ним и выпрямляется.

— Ты хочешь знать? — спрашивает она.

— Да.

Она молчит.

— Мне, пожалуй, и все равно, если это ничего не значит, — продолжает он. — В таком случае и не говори мне.

Она сразу как-то вся опускается.

— Нет, это ничего не значит, — отвечает она.

Они двигаются дальше. Лейтенант нервно передергивает эполетами и произносит громко:

— Ему не мешает быть поосторожнее, а то как бы офицерская рука не погладила его по щеке.

Они направились по дорожке к беседке.

Иоганнес еще несколько времени просидел на камне, отяжелевший и измученный. Ему все становилось безразлично. Лейтенант приревновал к нему свою невесту, но та тотчас же рассеяла все его подозрения. Она сказала то самое, что было нужно, успокоила офицерское сердце и пошла с ним дальше. А звезды мерцали сквозь зелень над их головами. Так-то. Пусть же Господь Бог дарует им долгую жизнь... Он за обедом говорил для нее и вырвал ради нее свое сердце. Ему дорого стоило поправить и покрыть ее дерзкую выходку, а она даже не поблагодарила его за это. Она взяла бокал и выпила. Вот, мол, посмотри на меня, посмотри, как я изящно пью... Вообще, посмотри только на нее сбоку. Она делается просто отвратительна. Она складывает рот сердечком и обмакивает в жидкость только самые кончики губ, при этом она смущается, если обращают внимание на ее руку. Вообще лучше не смотреть на руки женщины. Она не в силах этого вынести, она сдаётся. Она тотчас отдергивает руку, она придает ей все более и более красивое положение, в то же время стараясь скрыть какую-нибудь морщинку или некрасивый ноготь.

Наконец она не выдерживает и вне себя спрашивает: «Что вы смотрите?» ...Она однажды поцеловала его. Это было уж давно, Бог весть даже, было ли это в действительности? Как это было? Разве они не сидели вместе на скамейке? Они долго разговаривали, потом пошли вместе, а пока шли, он был от нее так близко, что касался ее руки. Перед входом на лестницу она поцеловала его. «Я вас люблю!» — сказала она... А теперь они только что прошли мимо него, они теперь, верно, сидят в беседке. Лейтенант сказал, что хочет дать ему пощечину. Он это отлично слышал, он не спал, однако же не встал и не выступил вперед. Офицерская рука, сказал он. Ну, да, впрочем, не все ли ему равно...

Он встал с камня и направился к беседке. Она была пуста. Наверху, у террасы дома, стояла Камилла и звала его: «Пожалуйста, кофе подан на крытой веранде». Он пошел за нею. Обрученные сидели на крытой веранде. Здесь было и много других людей. Он взял чашку кофе и нашел себе место.

Камилла заговорила с ним. Лицо ее так и сияло, и смотрела она на него такими ясными глазами, что он не мог устоять перед ней. Он стал говорить с ней, отвечал на ее вопросы и смеялся. Где он был? В саду? Это совсем неправда, она искала его в саду и не нашла; не может быть, в саду его не было.

— Правда ли, что он был в саду, Виктория? — спрашивает она.

Виктория отвечает:

— Нет, я его там не видала.

Лейтенант бросает на нее взгляд, полный укоризны, и, как бы в виде угрозы своей невесте, говорит излишне громко, обращаясь через всю комнату к помещику:

— Ведь вы предлагали мне поехать с вами на лосиную охоту?

— Как же, — отвечает помещик, — прошу покорно.

Лейтенант смотрит на Викторию. Та ничего не отвечает и сидит по-прежнему, вовсе не отговаривая его от лосиной охоты у помещика. Лицо его все сильнее и сильнее передергивается, он нервным движением разглаживает усы.

Камилла опять обращается с вопросом к Виктории.

Тогда лейтенант порывисто встает и говорит помещику:

— Хорошо, так я с вами уезжаю сегодня же, сейчас же.

С этими словами он выходит из комнаты.

Помещик и некоторые другие идут вслед за ним.

Наступает короткая пауза.

Вдруг дверь отворяется, и лейтенант снова входит. Он в сильнейшем возбуждении.

— Ты что-нибудь забыл? — спрашивает Виктория, вставая.

Он делает несколько шагов от двери, как-то подсакивая, словно не будучи в состоянии стоять смирно, потом направляется к Иоганнесу, которого словно мимоходом ударяет рукой. После этого он опять бросается к двери, продолжая подсакивать.

— Эй, вы, божий человек, будьте-ка поосторожнее, вы ударили меня в глаз,— сказал Иоганнес и добродушно засмеялся.

— Ошибаетесь,— отвечает лейтенант,— я дал вам пощечину. Понимаете? Понимаете?

Иоганнес достал носовой платок, вытер себе глаз и сказал:

— Вы шутите. Ведь вы же знаете, что я могу сложить вас пополам и засунуть в карман.

С этими словами он встал.

Тут лейтенант торопливо отворил дверь и переступил через порог.

— Я не шутил! — крикнул он, обернувшись.— Я не шутил, олух!

И он с шумом захлопнул дверь.

Иоганнес опять сел.

Виктория все еще стояла неподвижно посреди комнаты. Она не сводила с него глаз, бледная как смерть.

— Он вас ударил? — спросила Камилла в величайшем изумлении.

— Нечаянно. Он попал мне в глаз. Посмотрите.

— Господи, да глаз совсем красный, из него кровь течет! Нет, не трите его, дайте я промою. Ваш платок слишком груб, посмотрите, возьмите его; я намочу мой. Ведь надо же было ему прямо в глаз!

Виктория тоже подала было свой платок. Она ничего не сказала, только губы ее дрожали. Потом она очень медленно подошла к стеклянной двери веранды и остновилась у этой двери спиной к комнате. Она на мелкие куски разорвала свой носовой платок. Через несколько минут она открыла дверь и спустилась с веранды молча и тихо.

Камилла шла к мельнице веселая и беззаботная. Она была одна. Она вошла прямо в маленькую избушку и сказала, улыбаясь:

— Извините, что я не постучала. Здесь такой шум от воды, что мне думалось, все равно не услышат.— Она оглянулась и перебила себя:

— Нет, до чего здесь уютно! До чего мило! Где Иоганнес? Я знакома с Иоганнесом. Как его глаз?

Ей подали стул, и она села.

Иоганнеса позвали с мельницы. Глаз его гноился, и под ним оставался кровоподтек.

— Я пришла сама по себе,— сказала Камилла, встречая его,— мне очень хотелось сюда прийти. Вам следует продолжать прикладывать к глазу холодные компрессы.

— Это пустяки,— отвечал он.— Нет, скажите мне лучше, зачем вы пришли, Господь благослови вас за это! Хотите видеть мельницу? Спасибо вам, что вы пришли.

Он обнял свою мать, подвел ее к Камилле и сказал:

— А вот моя мать.

Они пришли к мельнице. Старый мельник снял шапку, низко поклонился и что-то сказал. Камилла не расслышала, но улыбнулась и ответила наудачу:

— Спасибо, спасибо. Да, я бы очень хотела видеть ее.

Шум пугал ее, она держала Иоганнеса за руку и широко открытыми глазами искоса следила за обоими мужчинами, прислушиваясь, не говорят ли они чего-нибудь. Она казалась глухою. Множество колес и приспособлений на мельнице приводили ее в изумление, она смеялась, трясла в восторге свою руку Иоганнеса и указывала пальцем в разных направлениях. Мельницу остановили и потом опять пустили в ход, чтобы она посмотрела, как это делается.

С добрый час после того, как они ушли с мельницы, Камилла продолжала говорить до смешного громко, словно мельничный шум все еще продолжался у нее в ушах.

Иоганнес на обратном пути проводил ее до замка.

— Ведь подумать только! Как он посмел ударить вас в глаз? — сказала она.— Зато он сейчас же исчез: он уехал на охоту с помещиком. Это была ужасно неприятная история. Виктория не спала всю ночь, как она говорила.

— Она может выспаться в эту ночь,— отвечал он.— Когда вы уезжаете домой, как вы думаете?

— Завтра. А вы когда приедете в город?

— Осенью. Можно прийти к вам сегодня?

Она воскликнула:

— Да, благодарю вас, пожалуйста! Вы мне рассказывали о какой-то пещере, которую вы устроили, вы должны показать мне ее.

— Я приду за вами,— сказал он.

Возвращаясь домой, он долго сидел на камне, задумавшись.

Теплые, радостные мечты осенили его.

Днем отправился он в замок, остановился внизу и послал доложить о себе Камилле. Пока он стоял в ожидании, Виктория на мгновение показала у окна во втором этаже; она пристально посмотрела на него, потом отвернулась и исчезла в глубине комнаты.

Камилла явилась, и он повел ее в каменоломню к пещере. Он был в непривычном ему, спокойном и счастливом настроении. Молодая девушка развлекала его. Ее ясные, легкие речи обвевали его словно благодатью. Сегодня добрые духи были близко...

— Я помню, что вы раз подарили мне кинжал, Камилла. Он был в серебряных ножнах. Я его положил в ящик вместе с другими вещами, потому что ведь я не употреблял его.

— Конечно, он не был вам нужен. Ну так что же?

— Так вот, я его потерял теперь.

— Вот как. Какая жалость! Но я, может быть, найду для вас другой такой же кинжал. Я постараюсь.

Они шли по дороге к дому.

— А помните тот тяжелый медальон, который вы мне раз подарили? Он был массивный, толстый, из чистого золота и стоял на подставке. В этот медальон вы вписали несколько дружеских слов.

— Да, помню.

— В этом году я его отдал за границей, Камилла.

— Как, неужели? Вы его отдали? Зачем же?

— Я его отдал на память одному юному товарищу. Это был русский. Он на коленях благодарил меня за это.

— Неужели он так обрадовался? Впрочем, я уверена и так, что он обезумел от радости, раз он благодарил вас на коленях. Вместо того медальона вы получите другой — уже для вас одного.

Они дошли до дороги между мельницей и замком.

Иоганнес остановился и сказал:

— На этом месте со мной раз нечто случилось. Я пришел сюда однажды вечером, как я часто в те времена

это делал в своем одиночестве. Было лето, и погода стояла ясная. Я лег под кустами и задумался. Вдруг по дорожке тихо подошло ко мне двое людей. Дама остновилась. Ее спутник спросил: «Отчего вы остановились?» Но так как она не ответила, он опять стал расспрашивать: «Там что-нибудь есть на дороге?» — «Нет,— отвечала она,— только не смотрите на меня такими глазами». — «Я только шел и смотрел на вас»,— сказал он. «Да,— отвечала она,— я отлично знаю, что вы меня любите, но папа никогда не согласится на это, понимаете? Это невозможно». Он пробормотал: «Да, правда, это невозможно». Тогда она сказала: «Какая у вас широкая рука. У вас замечательно широкая рука вот здесь». И она при этом взяла его руку выше кисти.

Пауза.

— А почему же это все было? — спросила Камилла.

— Этого я не знаю,— отвечал Иоганнес.— Зачем она это сказала о его руке?

— Они, может быть, были красивы, его руки? А выше у него виднелась белая сорочка, о, да, я это отлично понимаю. Она, верно, тоже была влюблена в него?

— Камилла! — сказал он,— если бы я был в вас очень влюблен и если бы я подождал несколько лет, я ведь только спрашиваю... Одним словом, я недостоин вас; но как вы думаете, согласитесь ли вы быть моею когда-нибудь, если я буду вас просить об этом через год или через два года?

Пауза.

Камилла вдруг багрово покраснела и смутилась. Она завертелась то туда, то сюда всем своим тонким тельцем и сложила руки. Он обнял ее за талию и спросил:

— Как вы думаете? Согласились ли бы вы?

— Да,— отвечала она, прижимаясь к нему.

День спустя он провожает ее на пристани. Он целует ее маленькие ручки с их детским, невинным выражением и полон чувства благодарности и радости.

Виктории не было.

— Отчего никто не провожает тебя?

Камилла, с ужасом в глазах, рассказывает, что в замке разразилось страшнейшее горе. Утром пришла телеграмма; хозяин замка побледнел, как мертвец, старый камергер и его жена закричали от горя: Отто вчера вечером насмерть убит на охоте выстрелом.

Иоганнес схватил Камиллу за руку.

— Убит? Лейтенант?

— Да. Теперь его труп везут сюда. Это ужасно!

Они пошли дальше, погруженные каждый в свои думы; только люди на пристани, пароход, крики команды заставили их опомниться. Камилла робко протянула ему руку, он поцеловал ее и сказал:

— Да, да, я не достоин тебя, Камилла, нет, ни в коем случае недостойн. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы тебе было хорошо, если ты станешь моею.

— Я буду твоею. Я всегда этого хотела. Всегда!

— Я приеду через несколько дней,— сказал он.— Через неделю я опять тебя увижу.

Она была уже на палубе. Он махал ей платком и продолжал махать, пока она еще видна была ему. Обернувшись назад, чтобы идти домой, он увидел за собою Викторию. Она также держала платок в руке и приветствовала Камиллу.

— Я немножко опоздала,— сказала она.

Он не ответил. Что, собственно, мог он сказать? Утешать ее в ее потере? Поздравить ее? Пожать ее руку? Голос ее был так беззвучен, в лице ее было столько смятения, она, видимо, пережила крупное потрясение.

Пристань опустела.

— Ваш глаз все еще красен,— сказала она и в то же время двинулась вперед.

Он стоял.

Тогда она вдруг обернулась и подошла к нему.

— Отто умер,— сказала она жестко, и глаза ее загорелись.— Вы не говорите ни слова, вы так высокомерны. Он в сто тысяч раз был лучше вас, слышите? Вы знаете, отчего он умер? Его убили выстрелом, вся голова его была разорвана на куски, вся его маленькая, глупая головка. Он был в сто тысяч раз...

Она разразилась рыданиями и пошла по направлению к дому тихими, неверными шагами.

Поздно вечером в дверь мельника постучались; Иоганнес открыл дверь и выглянул. Виктория стояла за порогом и манила его к себе. Он вышел к ней. Она порывисто схватила его за руку и увлекла его за собой на дорогу; руки у нее были холодны, как лед.

— Сядьте лучше,— сказал он.— Сядьте и отдохните: вы так взволнованы.

Они сели.

Она пробормотала:



— Что вы должны обо мне думать: я никогда не даю вам покоя.

— Вы очень несчастны,— отвечал он.— Теперь вы должны меня послушать и успокоиться, Виктория. Чем бы мне помочь вам?

— Ради всего святого, простите мне то, что я сказала вам сегодня! — умоляла она.— Да, я очень несчастна, я была несчастна долгие годы. Я сказала, что он в сто тысяч раз был лучше вас,— это неправда, простите меня! Он умер, а он был моим женихом, вот и все. Неужто вы думаете, что это по моей доброй воле? Иоганнес, посмотрите! Это мое обручальное кольцо, я уже давно получила его, давно, очень давно. Теперь я бросаю его — бросаю.— И она швырнула кольцо в лес; оба слышали, как оно упало.— Этого папа хотел. Папа теперь беден, он совсем нищий, а у Отто когда-нибудь было бы так много денег. «Ты должна это сделать»,— говорил мне папа. «Я не хочу»,— отвечала я. «Подумай о своих родителях,— говорил он,— подумай о замке, о нашем древнем имени, о моей чести».— «Ну, хорошо, я это сделаю,— отвечала я,— подождите три года, я тогда это сделаю». Папа поблагодарил меня и стал ждать. Отто ждал, все они ждали; но кольцо я получила тогда же. Так прошло много времени, и я поняла, что мне ничто не поможет. «Чего нам еще ждать? — сказала я папе,— зови его сюда, зови моего мужа».— «Господь да благословит тебя»,— сказал он и опять благодарил меня за то, что я готова была сделать. И вот Отто приехал. Я не встретила его на пристани, я стояла у своего окна и смотрела, как он подъезжал и правил. Тут я бросилась к маме и упала к ее ногам. «Что с тобою, дитя мое?» — спросила она. «Я не могу,— сказала я,— нет, я не в силах выйти за него замуж, о приехал, он стоит там внизу. Но пусть лучше застрахуют мою жизнь, и я брошусь в море или в водопад, мне это легче». Мама побледнела, как смерть, и заплакала надо мной. Пришел папа. «Послушай, дорогая Виктория, ты должна теперь идти вниз и дать ему свое согласие»,— сказал он. «Я не могу, не могу»,— отвечала я и повторила, чтобы он лучше застраховал мою жизнь. Папа не ответил ни слова. Он только сел на стул, весь дрожа, и задумался. Увидав это, я сказала: «Ну, пойдем к моему мужу, я согласна».

Виктория замолкла. Она трепетала. Иоганнес взял обе ее руки и стал греть их.

— Спасибо,— сказала она.— Иоганнес, пожалуйста, держите мои руки крепче. Будьте так добры, поддержите!

Боже, какой вы теплый! Я вам так благодарна! Только вы должны простить мне то, что я сказала на пристани.

— Да, да, это уже давно забыто. Хотите, я принесу вам шаль?

— Нет, благодарю вас. Только я не могу понять, почему это я дрожу, между тем как голова у меня совсем горячая. Иоганнес, мне нужно просить у вас прощения за многое...

— Нет, нет, не делайте этого. Полно! Теперь будьте только спокойнее. Сидите смирно.

— Вы говорили для меня, вы сказали речь. Я сама себя не помнила с того момента, как вы встали, и до самой той минуты, когда вы опять опустились на стул. Но я только слушала ваш голос. Он звучал, как орган, и меня приводило в отчаяние то, что он меня так очаровывает. Папа спросил меня, отчего я вскрикнула и прервала вас. Он очень пенял на меня за это. Но мама ничего не сказала, она все поняла. Я все рассказала маме, много лет тому назад я сказала ей все, а два года тому назад я опять с ней говорила, вернувшись из города. Это было тогда, когда я встретила вас.

— Не будемте говорить об этом.

— Нет, не будем, только простите меня, слышите? Будьте милосердны! Ну, что мне было делать? Теперь папа ходит там дома взад и вперед, в конторе, это все для него так ужасно. Завтра воскресенье. Он решил дать в этот день свободу всей прислуге. Это единственное его решение сегодня. Лицо у него стало какое-то серое, и он не говорит ни слова. Так подействовало на него то, что зять его умер. Я сообщила маме, что хочу идти к вам. «Нам обеим, и тебе и мне, следует ехать завтра вместе с камергером в город»,— отвечала она и все заговаривала о чем-нибудь другом. Я направилась к двери. Мама посмотрела на меня. «Теперь я иду к нему»,— сказала я в последний раз. Мама тогда тоже подошла к двери, поцеловала меня и сказала: «Да, да, Господь с тобою!»

Иоганнес выпустил ее руки и сказал:

— Ну вот, теперь вы согрелись.

— Очень вам благодарна, да, мне теперь очень тепло... «Господь с тобой»,— она сказала. Я все рассказала маме, она все время знала обо всем. «Кого же именно ты любишь, дорогое дитя мое?»—спросила она. «Ты еще спрашиваешь? — отвечала я,— Иоганнеса люблю я, только его одного любила я всю мою жизнь, любила, любила...»

Он сделал движение.

— Уже поздно. Не беспокоятся ли там за вас, как вы думаете?

— Нет,— отвечала она.— Ведь вы же знаете, что я вас люблю, Иоганнес, наверно, вы это видели? Я так тосковала по вас все эти годы, что никто, никто не может себе представить. Я ходила здесь по дороге и думала: теперь я лучше немножко отклонюсь от дороги в глубь леса; потому что он тоже так делал. Вот как было. В день, когда я услышала, что вы приехали, я оделась в светло-желтое платье, я была больна от тоски и ожидания и ходила от одной двери к другой. «Как ты сияешь сегодня!» — сказала мама. А я ходила и все время говорила сама себе: теперь он вернулся домой! Он великолепен, и он приехал, эти две вещи можно сказать с уверенностью о нем! На другой день я уже не выдержала, я опять оделась в светлое и пошла в каменоломню, чтобы встретить вас там. Помните вы это? Я вас и встретила, только я не собирала цветов, как я вам тогда сказала, и вовсе не за этим я и пришла туда. Вы уже не были рады видеть меня; а все же спасибо вам за то, я тогда встретила вас. А это было больше двух лет назад: у вас в руках был прутик, вы сидели и похлопывали им, когда я пришла. Когда вы ушли, я подняла этот прутик, спрятала его и принесла домой...

— Да, но Виктория,— сказал он дрожащим голосом,— теперь вам больше не следует говорить мне подобных вещей.

— Нет,— отвечала она тревожно и взяла его за руку.— Нет, мне не следует. Нет, вы, конечно, не хотите этого.— Она стала нервно похлопывать его по руке.— Нет, потому что я и ожидать не могу, чтобы вы этого хотели. Притом же я вам причинила столько зла. Но как вы думаете, не будете ли вы в состоянии со временем простить меня?

— Да, да, конечно! Все простил! Это не то.

— Ну, так что же?

Пауза.

— Я помолвлен,— отвечал он.

## ГЛАВА X

---

На другой день, в воскресенье, владелец замка собственной своей особой явился к мельнику и просил его к полудню прийти и отвезти тело лейтенанта Отто на пароход. Мельник не понял его и слушал, уставившись на него глазами. Но владелец замка вкратце объяснил, что

всю прислугу он сегодня отпустил, все ушли в церковь, и никого из служащих нет дома.

Владелец замка, очевидно, не спал эту ночь, он был похож на мертвеца и к тому же не брился. Тем не менее он помахивал тросточкой на свой особый лад и держался прямо.

Мельник надел свое лучшее платье и отправился. Когда он подал лошадей, хозяин сам помог ему вынести тело. Все это совершилось тихо, почти таинственно, никого не было, и никто не видал их.

Мельник отправился к пристани. Вслед за ним явились камергер, его жена, хозяйка замка и Виктория. Все они пришли пешком. Хозяин замка виднелся один на крыльце и много раз кланялся им. Его седые волосы развевались по ветру.

Когда тело внесли на пароход, вошли и провожающие. Хозяйка замка крикнула мельнику с палубы, чтобы он поклонился ее мужу, и Виктория попросила о том же.

Пароход отчалил. Мельник долго стоял и смотрел ему вслед. Дул сильный ветер, и волны вздымались. Не раньше как через четверть часа пароход исчез из виду. Мельник направился к дому.

Он поставил лошадей в конюшню, дал им корму и отправился к замку, передать хозяину поклоны. Дверь в кухню оказалась запертой. Он обошел кругом и хотел войти через переднюю, но и эта дверь была заперта. «Теперь полдень, хозяин, наверно, спит», — подумал он. Однако, будучи человеком исполнительным и дорожа тем, чтобы передать полученное поручение, он пошел к службам, надеясь встретить хозяина. Но и в службах не было ни души.

Он опять вернулся, обошел замок кругом и наконец проник в девичью. Здесь также не было никого. Вся усадьба словно вымерла.

Он уже хотел выйти, как вдруг заметил отблеск света в подвале замка. Он остановился. Сквозь маленькое решетчатое оконце ему ясно виден был человек, вошедший в подвал со свечкой в одной руке и со стулом, обитым красной шелковой материей, в другой. Это был хозяин замка. Он был выбрит и одет в черный сюртук, словно собрался на праздник. «Не постучать ли мне ему в окошечко да и передать поклоны?» — подумал мельник, однако не двинулся с места.

Владелец замка оглянулся, осветил вокруг себя и опять осмотрелся. Он притащил мешок, в котором,

по-видимому, было сено или солома, и положил этот мешок у порога. Потом он облил мешок какой-то жидкостью из кружки. Он принес еще какие-то ящики, солому и поломанную подставку для цветочных горшков к дверям и все это также полил из кружки: мельник заметил, что он при этом был озабочен тем, как бы не запачкать себе рук или платья. Он поставил огарок свечки на мешок, потом обложил его осторожно соломой. Затем сел на стул.

Мельник не отрывал глаз, положительно ошеломленный; глаза его были как будто прикованы к окну в подвале, и мрачное подозрение закрадывалось в его душу. Владелец замка совершенно неподвижно сидел на своем стуле и глядел на свечку, которая постепенно сгорала. Он сидел, сложив руки. Мельник видел, как он стряхнул соринку со своего рукава и снова сложил руки.

Наконец старый, перепуганный мельник издает крик.

Владелец замка поворачивает голову и заглядывает в окно. Вдруг он вскакивает и подбегает к самому окошку, у которого останавливается, и глядит на мельника вытаращенными глазами. Это взгляд, в котором написана несказанная мука. Его рот ужасно искажен, он молча, угрожающе вытянул обе руки, сжатые в кулаки, к окну. Наконец он грозит уже только одной рукой и, пятясь, отступает в глубь подвала. Когда он натывается на стул, свечка падает. В то же мгновение вспыхивает яркое пламя.

Мельник кричит и выбегает. Одну минуту он носится по усадьбе, потеряв голову от ужаса и не зная, что делать. Он бежит к окну в подвал, бьет стекла и зовет; он наклоняется к окну, хватает железную решетку, трясет ее, расшатывает, вырывает ее.

Тут до него доносится из подвала голос, нечленораздельный крик, стон, словно стон мертвеца из-под земли; стон этот раздается два раза, и мельник, пораженный ужасом, бежит от окна, через усадьбу, вниз на дорогу и домой. Он ни разу не посмел оглянуться.

Когда он через несколько минут пришел туда же вместе с Иоганнесом, весь замок, большой, старый деревянный замок, объят пламенем. Пришло еще несколько человек с пристани, но и они тоже уж ничего не могли сделать. Все погибло.

А мельник был безмолвен, как могила.

Если кто-либо спросит, что такое любовь, так это не что иное, как ветерок, шелестящий в розах и потом затихающий. Однако часто она бывает и несокрушимой печатью, налагаемой на всю жизнь, до самой смерти. Бог сотворил любовь разных видов и следил, как она остается или как проходит.

Две матери идут по дороге и разговаривают. Одна одета в светлое голубое платье, потому что ее возлюбленный вернулся домой из путешествия. Другая одета в траур. У нее были три дочери, две темноволосые, а третья белокурая, и белокурая умерла. Это было уже десять лет тому назад, целых десять лет, а мать все еще носит по ней траур.

— Какой сегодня чудный день! — ликует мать, одетая в голубое, и всплескивает руками. — Тепло опьяняет меня, любовь меня опьяняет, я переполнена счастьем. Я готова была бы раздеться донага здесь, на дороге, и протянуть руки к солнцу, и посылать ему поцелуи.

Но мать в трауре безмолвствует, она не улыбается и не отвечает.

— Ты все еще грустишь о своей дочке? — спрашивает голубая в невинности души. — Не десять ли лет прошло с тех пор, как она умерла?

Черная отвечает:

— Да. Теперь ей было бы пятнадцать лет.

Тогда голубая говорит в утешение:

— Но ведь у тебя есть другие дочери, у тебя остались две девочки.

Черная рыдает.

— Да. Но ни одна из них не белокурая. Та, которая умерла, была такая светленькая.

И обе матери расстаются и идут каждая своей дорогой, каждая со своей любовью...

А у тех двух темноволосых дочерей тоже есть своя любовь у каждой, и любят они одного и того же мужчину.

Он приходит к старшей и говорит:

— Я пришел просить у вас помощи, потому что я люблю вашу сестру. Сегодня я изменил ей, она застала меня в коридоре, когда я целовал вашу служанку. Она слегка вскрикнула, жалобно вскрикнула и прошла мимо. Что мне теперь делать? Я люблю вашу сестру, поговорите с ней, ради самого Бога, и помогите мне!

И старшая сестра побледнела и прижала руки к сердцу: но она улыбнулась, словно благословляла его, и ответила: — Я помогу вам.

На другой день он пошел к младшей и упал перед ней на колени, и уверял ее в своей любви.

Зима. На улице холод, туман, и пыль, и ветер. Иоганнес опять в городе, в прежней своей комнатке, в которой он прислушивается к тому, как сучья тополей трутся о деревянную стену, и из окна которой он не раз приветствовал зарождающийся день. Солнца теперь не видно.

Работа все время поглощала его, эти большие листы, которые он исписывал. И по мере того, как проходила зима, накоплялось их все больше и больше. Это была вереница приключений из мира его фантазии, бесконечная светозарная ночь.

Впрочем, дни бывали разные, хорошие сменялись для него дурными, и порою, в самом разгаре работы, какая-нибудь мысль, два глаза, какое-нибудь слово из прошлого настигали его и тотчас поглощали все его вдохновение. Тогда он вставал и начинал ходить взад и вперед по комнате от одной стены до другой. Это бывало часто. На полу его образовался белый след, который с каждым днем становился белее...

«Сегодня, когда я не в состоянии работать, не в состоянии думать и не могу успокоиться от осаждающих меня воспоминаний, я сажусь и буду описывать то, что я пережил в одну ночь. Дорогой читатель, сегодня для меня ужасно грустный день. Идет снег, проезжих на улице почти нет, все кругом печально, и на душе у меня жутко и пусто. Я прошелся по улице и потом в моей комнате прохаживался целые часы, стараясь немножко собраться с мыслями. Но вот теперь уже полдень прошел, а мне все не легче. Мне бы нужно было согреться, а я холоден и бледен, как угасший день. Дорогой читатель, в таком настроении попытаюсь я описать одну светлую, волнующую ночь. Потому что работа успокоительно действует на меня, а когда пройдет несколько часов, я, быть-может, опять почувствую себя счастливым...»

Раздается стук в дверь, и входит Камилла Сейер, его молоденькая невеста, с которой он тайно обручен. Он кладет перо и встает. Оба они улыбаются и здороваются.

— Ты не спрашиваешь меня про бал,— тотчас же говорит она, бросаясь в кресло.— Я танцевала все танцы. Это продолжалось до трех часов. Я танцевала с Ричмондом.

Он отвечал:

— Тысячу раз спасибо тебе за то, что пришла, Камилла. Мне сегодня так грустно, а ты такая веселая; это поможет мне. Спасибо! А как ты была одета на балу?

— Разумеется, в красном... Ах, Боже мой, я не помню хорошенько, но я, должно быть, очень много болтала и много смеялась. Это было так увлекательно! Да, я была в красном, без рукавов, без всякого признака рукавов. Ричмонд состоит при посольстве в Лондоне.

— Та-а-к.

— Его родители англичане, но он здесь родился. Что это случилось с твоими глазами? Он совсем красные. Разве ты плакал?

— Нет,— отвечал он, смеясь, — я только всматривался в свои приключения, а в них так много солнца. Камилла, если ты действительно хочешь быть умной девочкой, то не рви на куски эту бумагу, как ты это делаешь.

— О, Господи, как это я так забылась! Прости, Иоганнес.

— Это ничего; это только несколько замечочек. Слушай лучше: у тебя, наверно, была роза в волосах?

— Конечно. Красная роза; почти черная. Знаешь что, Иоганнес? Мы могли бы нашу свадебную поездку совершить в Лондон. Это совсем не так страшно, как говорят, и это все только выдумки, будто там так туманно.

— Кто это сказал?

— Ричмонд. Он это говорил на балу, а уж он то знает. Да, ты знаком с Ричмондом?

— Нет, я его не знаю. Он раз сказал речь в мою честь; у него на груди были брильянтовые запонки. Вот все, что я о нем помню.

— Он такой славный. Нет, когда он подошел ко мне, поклонился и сказал: «Фрекен, вы, быть может, не узнаете меня больше?...» Знаешь, я дала ему розу.

— Отдала? Какую же розу?

— Ту, которая была у меня в волосах. Я отдала ее ему.

— Значит, ты таки порядочно влюбилась в Ричмонда?

Она покраснела и отвечала с горячностью:

— Вовсе нет, ничего подобного! Кто-нибудь может очень нравиться, можно о нем думать очень хорошо вовсе



без того, чтобы... Фу, Иоганнес! Ты с ума сошел! Я никогда больше не произнесу его имени.

— Господь с тобою, Камилла, я вовсе не думал... право тебе совсем не следует думать... наоборот, я поблагодарю его за то, что он так занимал тебя.

— Да, недостает только, чтобы ты это сделал — осмелился сделать! Я же со своей стороны никогда больше не вымолвлю с ним ни одного слова во всю жизнь.

Пауза.

— Ну-ну, давай помиримся,— говорит он.— Ты уже уходишь?

— Да, я не могу дольше остаться. Много ли ты продвинул свою работу? Мама об этом спрашивала. Подумай: я уже несколько недель не видала Виктории, и вдруг встретила ее.

— Сейчас?

— Когда шла сюда. Она улыбнулась мне. Но, Боже мой, до чего она изменилась! Послушай, скоро ли ты придешь к нам?

— Да, скоро,— отвечает он и вскакивает с места. По лицу его разливается румянец.— Может быть, на этих же днях. Мне только нужно сначала написать еще кое-что, я как раз обдумываю это — окончание моих «Приключений». О, я напишу это, непременно напишу! Вообрази себе землю с высоты в виде великолепной и чудной папской мантии. В складках ее ходят люди, повсюду, попарно. Наступил вечер, стало тихо, настал час любви. Это будет названо «Сродство». Мне кажется, это будет великолепно. Я так часто воображаю себе эту картину, и каждый раз при этом грудь у меня готова разорваться на части, и мне хочется обнять землю. Там ходят и люди, и звери, и птицы, и у всех у них есть свой час любви, Камилла. Волна блаженства приближается, взгляды становятся проникновеннее, перси трепещут. Тут от земли исходит красноватая дымка: это румянец блаженства всех этих обнаженных сердец, и ночь окрашивается розовым цветом. Вдали же, на заднем плане лежат высокие, спящие горы. Они ничего не видали, ничего не слышали. А утром Господь Бог пошлет на все это Свое теплое солнышко. «Сродство» — вот как это будет называться.

— Вот как?

— Да. Так вот, я приеду, когда это у меня будет окончено. Очень благодарен, что ты пришла сюда, Камилла. И забудь, пожалуйста, то, что я говорил тебе. Я ничего особенного не подразумевал под этим.

— Я и забыла, совершенно забыла об этом. Только я больше никогда не стану произносить его имени. Этого я никогда не сделаю.

На следующее утро Камилла снова приходит. Она бледна и, против обыкновения, беспокойна.

— Что с тобой? — спрашивает он.

— Со мной? Ничего, — отвечает она быстро. — Я люблю тебя. Право, ты не должен думать, что со мной что-нибудь есть, или что я не люблю тебя. Нет, теперь ты только послушай, что я придумала: мы не поедem в Лондон. Что нам там делать? Он и сам не знает, что говорит, тот человек. Там гораздо больше туманов, чем он думает. Ты на меня смотришь, зачем ты смотришь? Ведь я не назвала его имени. Такой пустой болтун, он все наврал мне. Мы не поедem в Лондон.

Он смотрит на нее, становится внимательнее.

— Нет, мы не поедem в Лондон, — говорит он задумчиво.

— Не правда ли? Итак, решено! Написал ли ты свою вещичку, «Сродство»? Господи, как это мне интересно! Ты теперь должен поскорее окончить ее и прийти к нам, Иоганнес. Час любви? Ведь так, не правда ли? И великолепная папская мантия вся в складках, ярко-розовая ночь, если я верно помню то, что ты говорил мне. За последнее время я не часто бывала здесь у тебя. Но теперь я буду приходить каждый день и буду спрашивать, не готово ли у тебя.

— У меня скоро будет готово, — говорит он, продолжая смотреть на нее.

— Сегодня я взяла твои книги и перенесла их в мою комнату. Я хочу перечитать их. Это меня ничуть не утомит, я это сделаю с удовольствием. Послушай, Иоганнес, будь так добр, проводи меня сегодня домой; потому что я не знаю, дойду ли я спокойно до дому. Я не уверена в этом. Очень может быть, что кто-нибудь и дожидается меня на улице; кто-нибудь ходит и ждет, может быть. Я почти уверена в этом... — Вдруг она разразилась слезами и залепетала: — Я назвала его болтуном, я бы очень хотела, чтобы этого не было. Мне больно, что я это сделала. Он ничего не врал мне, наоборот, он все время... У нас соберется в четверг кое-кто из знакомых, но он не должен приходить, а ты должен прийти, слышишь? Обещаешь? Но я ни за что не хотела бы сказать о нем ничего дурного. Я не знаю, что ты обо мне думаешь...

Он отвечал:

— Я начинаю понимать тебя.

Она бросилась к нему на шею, спрятала лицо на его груди, дрожащая и взволнованная.

— Да, но я и тебя тоже люблю,— продолжала она.— Ты не должен сомневаться в этом. Я не его одного люблю, так что оно еще не так гадко. Когда ты спросил меня тогда, весной, я так обрадовалась! Но вот явился он. Я этого сама не понимаю. Ведь это ужасно с моей стороны, Иоганнес? Я люблю его, может быть, чуточку больше, чем тебя. Я не могу этому помочь, это пришло помимо меня. О, Господи, я много ночей не спала с тех пор, как увидела его, и я люблю его все больше и больше. Что мне делать? Ты гораздо старше меня, скажи мне! Вот теперь он проводил меня сюда, он стоит на улице и ждет, чтобы проводить меня обратно домой, и, может быть, мерзнет. Ты презираешь меня, Иоганнес? Я не целовалась с ним, нет, не целовалась, поверь мне. Я только отдала ему свою розу. Отчего ты не отвечаешь, Иоганнес? Ты должен сказать, что мне делать, потому что я не могу этого выдержать дольше.

Иоганнес сидел молча и слушал ее. Он сказал:

— Мне нечего отвечать на это.

— Благодарю, благодарю тебя, милый Иоганнес, что ты на меня не сердись,— сказала она и вытерла слезы.— Только ты не думай, что я не люблю и тебя тоже. Господи Боже мой, я буду приходить к тебе гораздо чаще прежнего и буду делать все, что ты пожелаешь. Все дело только в том, что его я люблю побольше. Я ведь этого не хотела. Это не моя вина.

Он молча встал и сказал, надев шляпу:

— Что же, пойдём?

Они спустились с лестницы.

На улице у дверей стоял Ричмонд. Это был молодой человек, темноволосый, с карими глазами, сверкающими жизнью и молодостью. Мороз разгладил его щеки.

— Вам холодно? — сказала Камилла, подбегая к нему.

Голос ее дрожал от волнения. Вдруг она поспешно возвратилась к Иоганнесу, взяла его под руку и сказала:

— Извини, что я не спросила и тебя тоже, не холодно ли тебе. Ты без пальто, не пойти ли мне за ним? Нет? Так, по крайней мере, застегни пиджак на все пуговицы.

Он застегнулся.

Иоганнес пожал руку Ричмонда. Он был в каком-то странном, рассеянном настроении, словно все происходив-

шее вовсе его не касалось. Он чуть-чуть улыбался неопределенной улыбкой и пробормотал:

— Очень рад снова встретиться с вами.

На лице Ричмонда не заметно было ни сознания вины, ни притворства. Когда он, здороваясь с Иоганнесом, узнал его, на лице его мелькнуло выражение довольства, и он низко опустил свою шляпу.

— Я недавно видел в Лондоне одну из ваших книг в витрине книжного магазина. Она переведена на английский язык. Так приятно было видеть ее там, это было мне приветом с родины.

Камилла шла в середине между ними и поочередно смотрела на обоих. Наконец она сказала:

— Итак, Иоганнес, я жду тебя в четверг. Да, прости, что я думаю только о себе,— прибавила она и засмеялась. Но, тотчас раскаявшись, она обернулась к Ричмонду и пригласила также и его.— Будут все знакомые, Виктория и ее мать тоже приглашены, и еще несколько человек.

Вдруг Иоганнес остановился и сказал:

— В сущности, мне лучше вернуться домой.

— До свиданья, в четверг,— отвечала Камилла.

Ричмонд искренно и крепко пожал его руку.

И вот они, оба юные и счастливые, пошли своей дорогой вдвоем.

## ГЛАВА XII

---

Мать, одетая в голубое, была в ужаснейшей тревоге: каждую минуту ждала она из сада условного знака, а путь через сад не будет свободен, пока муж ее не уйдет из дому. Ах, этот муж, этот муж, которому уже сорок лет, и у которого плешь! Под влиянием какой мысли, мучительной и тяжелой, он так бледен сегодня вечером и сидит в кресле, уставившись в свою газету, суровый и неподвижный?

У нее не было ни минуты покоя. Теперь уже одиннадцать часов. Детей она давно уложила спать, а муж все не уходит. Что, если раздастся условный сигнал, дверь откроется с помощью милого маленького ключика, и эти два человека встретятся лицом к лицу и посмотрят прямо в глаза друг другу? Она не осмеливалась довести эту мысль до конца.

Она отошла в самый темный угол комнаты, ломая руки, и наконец прямо спросила:

— Теперь уже одиннадцать часов. Если ты *пойдешь* в клуб, то тебе пора.

Он встал при этих словах, бледнее прежнего, вышел из комнаты и ушел из дому.

За садом он остановился и прислушался к свисту, к тихому сигналу. На дорожке раздались шаги, слышно было, как всовывают ключик в замок двери и как поворачивают его; а затем, немного спустя, в комнате за занавеской обрисовались две тени.

Он уже и раньше знал и сигнал, и шаги, и обе тени за занавеской, все это уже было ему знакомо.

Он направился к клубу. Клуб еще открыт, в окнах светло; но он не вошел туда. Целых полчаса бродил он по улицам и перед своим садом, целых бесконечных полчаса. «Подожду еще четверть часа»,— думает он и продолжает ждать до трех четвертей. Затем он входит в сад, подымается по лестнице и звонит у своей собственной двери.

Приходит горничная, отворяет дверь, высовывает на всякий случай голову из-за двери и говорит:

— Фру уже давно...

— Да, да, не беспокойтесь,— отвечает он.— Доложите, пожалуйста, фру, что ее муж вернулся.

И горничная уходит. Она стучится в дверь фру и передает полученное поручение через запертую дверь.

— Позвольте доложить вам, фру, что ваш муж вернулся.

Фру спрашивает изнутри:

— Что ты говоришь? Муж вернулся? Кто тебе это сказал?

— Он сам. Он стоит у наружных дверей.

Тут из комнаты фру слышится жалобный стон. Потом горячий шепот. Слышно, как отпирается и запирается дверь. Потом все стихает.

Муж входит в спальню. Жена встречает его, и в сердце ее сама смерть.

— Клуб был уже заперт,— тотчас же говорит он из сострадания и жалости.— Я послал к тебе, чтобы ты не испугалась.

Она падает в кресло, освобожденная, успокоенная, спасенная. В этом блаженном состоянии доброта ее сердца переливается через край, и она начинает расспрашивать мужа о том, как он себя чувствует.

— Ты так бледен. Что с тобой, милый?

— Мне не холодно,— отвечает он.

— Но с тобой что-нибудь да случилось? У тебя такой расстроенный вид.

Муж отвечает:

— Нет, я улыбаюсь. Отныне я буду всегда улыбаться именно таким образом. Я хочу, чтобы эта гримаса раз и навсегда осталась на моем лице.

Она прислушивается к этой отрывистой, хриплой речи и не понимает, совсем не может понять ее. Что он хочет сказать?

Но вдруг он охватывает ее руками, словно железом, с ужасающей силой, и шепчет ей прямо в лицо:

— А как ты думаешь, не наставить ли нам рога ему... тому, что ушел... не наставить ли нам ему рога?

Она вскрикивает и зовет горничную. Он выпускает ее с тихим, сухим смехом, причем разевает рот, словно пасть, и бьет себя по обеим ляжкам.

Поутру доброе сердце фру снова берет верх, и она говорит мужу:

— У тебя был престранный припадок вчера вечером. Теперь, кажется, это прошло, но ты и сегодня так же бледен.

— Да,— отвечает он,— увлечение в моем возрасте утомительно. На будущее время этого не будет.

Рассказав о многих видах любви, Мункен Вендт приводит еще один случай и говорит:

— Потому что есть особый род любви — любви упоительной до самозабвения.

Молодая пара новобрачных только что вернулась домой; их долгое свадебное путешествие окончено, и они могут предаться отдыху.

Над крышей их горят и падают звезды.

Летом молодые гуляли вместе, не отходя друг от друга. Они рвали желтые, красные и голубые цветы, которые отдавали друг другу. Они смотрели, как ветер колышет траву, и слушали, как птицы поют в лесу, и каждое слово, сказанное ими, было выражением любви. Зимой они катались в санях, и небо было синим, и далеко в вышине звезды мерцали на его вечной равнине.

Так прошло много-много лет. У молодой пары родилось трое детей, а сердца их любили друг друга так же, как и в первый день, при первом поцелуе.

Но вот муж, крепкий мужчина, заболевает болезнью столь опасной, что эта болезнь надолго приковывает его к постели, а терпение жены его подвергается тяжкому испытанию. Когда

он выздоровел и встал с постели, он сам не узнавал себя: болезнь искалечила его и унесла все его волосы.

Он страдал и все думал об этом. Раз утром он сказал:  
— Ты, наверно, уже не любишь меня больше?

Но жена его, краснея, обвила его шею руками и поцеловала его так же страстно, как и в весну их юношеской любви, и ответила:

— Я люблю, люблю тебя постоянно. Я никогда не забываю того, что ты меня, а не кого-либо другого, выбрал и сделал такой счастливой.

И она пошла в свою комнату и остригла все свои золотистые волосы, чтобы уподобиться своему мужу, которого так любила.

Прошло еще много-много лет, муж и жена состарились, а дети их выросли. Они были так же счастливы, как и прежде. Летом они ходили по лугам и смотрели, как волновалась трава, а зимою закутывались в шубы и катались под звездным небом. И сердца их оставались все так же горячи и полны радости, словно упоенные волшебным напитком.

Но вот жена лишилась ног. Старая фру уже не могла ходить, ее пришлось катать в кресле на колесах, и старый муж сам катал ее. Однако фру невыразимо страдала от этого несчастья, и лицо ее покрылось глубокими морщинами скорби.

Однажды она сказала:

— Я бы теперь хотела лучше умереть. Я разбита параличом и отвратительна, а твое лицо так красиво, ты уже не станешь целовать меня и не можешь так же любить меня, как прежде.

Но муж обнял ее, покраснев от волнения, и отвечал:

— Я люблю тебя больше жизни, моя ненаглядная, люблю тебя, как и в первый день, в первый час любви нашей, когда ты подарила мне розу. Помнишь? Ты протянула мне розу и посмотрела на меня своими чудными глазами. Роза благоухала, как и ты, и ты краснела, как она, и я словно опьянел всем существом своим. Но я еще больше люблю тебя теперь, ты теперь прекраснее, чем была в юности, и сердце мое благодарит и благословляет тебя за каждый день, проведенный с тобою.

Муж ушел в свою комнату, облил лицо свое серной кислотой, чтобы обезобразить его, и сказал жене:

— Я, по несчастной случайности, обжег лицо свое серной кислотой, щеки мои покрыты пятнами, и ты уж не любишь меня больше?

— О, мой жених, мой возлюбленный! — воскликнула жена и стала целовать его руки. — Ты красивее всех людей на земле, твой голос еще и до сего дня согревает мое сердце, и люблю я тебя до смерти.

### ГЛАВА XIII

---

Иоганнес встретил Камиллу на улице; она была с матерью, отцом и Ричмондом. Они остановили свою коляску и ласково поговорили с ним.

Камилла схватила его за руку и сказала:

— Ты не пришел к нам. У нас был большой вечер, представь себе. Мы до конца ждали тебя, а ты не пришел.

— Мне помешали, — отвечал он.

— Извини, что я ни разу не была у тебя с тех пор, — продолжала она. — Теперь я приду на днях, наверно, как только Ричмонд уедет. Ах, какой у нас был вечер! Виктория захворала, ее увезли домой, ты слышал? Теперь я скоро поеду навестить ее. Ей, наверно, гораздо лучше, может быть, она теперь уж совсем поправилась. Я подарила Ричмонду медальон почти такой же, как твой. Послушай, Иоганнес, ты должен обещать мне приглядывать за своей печкой: когда ты пишешь, ты все забываешь, и у тебя становится страшно холодно. Звони горничную.

— Да, я буду звонить горничную, — отвечал он.

Фру Сейер тоже поговорила с ним, спросила о его работе, о рассказе под заглавием «Сродство» — как он у него продвигается? Она с нетерпением ждет его появления в самом скором времени.

Иоганнес дал необходимые ответы, низко поклонился и посмотрел на отъезжающую коляску. Как все это чуждо ему, эта коляска, эти люди, эта болтовня! Ощущение пустоты и холода охватило его и не оставляло до самого дома. У дверей его взад и вперед ходил по улице человек, старый его знакомый, бывший домашний учитель замка.

Иоганнес поклонился ему.

Он одет был в длинное, теплое пальто, тщательно вычищенное, и вид у него был отважный и решительный.

— Вы видите вашего друга и коллегу, — сказал он. — Дайте мне вашу руку, молодой человек. Бог чудесным образом направил меня на новую стезю с тех пор, как мы с вами виделись: я женат, у меня есть дом, маленький садик, жена. В жизни еще встречаются чудеса. Замечаете вы что-нибудь по моему внешнему виду?



Иоганнес с удивлением смотрел на него.

— Итак, дело сделано! Я, видите ли, учитель ее сына. У нее есть сын, отпрыск от первого брака. Она, как видите, уже была замужем, она вдова. Итак, я женился на вдове. Вы можете возразить, что, значит, песенка моя тогда еще не была спета. Но ведь я женился на вдове. У нее был отпрыск от первого брака. Я стал ходить туда и присматриваться к домику и к вдове, и некоторое время жил исключительно этой мыслью. Вдруг меня осенило, и я сказал себе: разумеется, песенка твоя еще не спета, и так далее. Во всяком случае я это сделал, я бросил жребий, потому что поистине это была моя звезда. Видите ли, так оно и пошло.

— Поздравляю! — сказал Иоганнес.

— Тсс! Ни слова более. Я знаю, что вы хотите сказать. А та, первая, хотите вы, конечно, сказать, разве вы забыли вашу юношескую вечную любовь? Вы именно это хотели сказать. Осмелюсь со своей стороны спросить вас, милостивый государь, что случилось с моей единственной вечной любовью? Разве она не вышла замуж за артиллерийского капитана? А кроме того, я предложу вам и еще один маленький вопрос: видали ли вы когда-нибудь, чтобы человек женился на той, на которой ему бы хотелось жениться? Случилось однажды с одним человеком, что он, по милости Божьей, женился на предмете своей первой и единственной любви. И тем не менее это отнюдь не составило его счастья. Почему же? — хотите вы спросить, и вот я отвечу вам: по той простой причине, что она тотчас после этого умерла — *тотчас* после этого, слышите? Ха-ха-ха — мгновенно. Так-то вот бывает всегда. Само собою разумеется, никто не получает в жены той женщины, к которой стремится, но если и случается это по какой-то проклятой случайности один единственный раз, то она умирает тотчас же. Это вечное разочарование. Таким образом человек обречен искать себе другой любви, более доступной, и ему, право, нет нужды умирать из-за подобной перемены. Уверяю вас, так уж премудро устроена природа человека, что он незаметным образом выдерживает это. Вы только посмотрите на меня.

Иоганнес сказал:

— Я вижу, что вам хорошо живется.

— Отменно хорошо. Слушайте, почувствуйте и глядите! Разве целый поток непрерывных забот не изливается на мою особу? Я одет, обут, у меня есть дом, супруга, ребенок — ну, отпрыск, одним словом. Что я хотел сказать?

Да, что касается моей поэзии, то на этот счет я тотчас разрешу вам этот вопрос: о, мой юный коллега, я старше вас и, может быть, немного более одарен от природы. Поэзия моя лежит в столе. Она появится в печати после моей смерти. Какая же вам радость от этого? — хотите вы спросить. Но и тут вы не угадали: пока ею наслаждается моя семья. Вечером, когда зажигается лампа, я открываю стол, вынимаю мои стихи и читаю их вслух моей супруге и мальчику. Одной сорок лет, другому двенадцать, и оба в восторге. Если вы когда-нибудь заглянете к нам, то мы вас угостим ужином и тодди. Итак, вы приглашены. Желаю вам всего наилучшего.

Он протянул Иоганнесу руку. Вдруг он спросил:

— Вы слышали про Викторию?

— Про Викторию? Нет. То есть, я только что слышал о ней сейчас...

— Вы не замечали, что она хворает, что под глазами у нее становится все темнее и темнее?

— Я не видал ее с самой весны. Она все еще больна?

Учитель отвечал с комической твердостью и топнув ногою:

— Да.

— Я только что слышал... Нет, я совсем не видал ее больную, я не встречался с нею. Она очень больна?

— Очень. Возможно, что она и совсем умерла, понимаете ли.

Иоганнес, пораженный, смотрел на него, на свою дверь, не зная, уйти ли ему туда или остаться, потом опять на учителя, на его длинное пальто, на его шляпу. Он улыбался растерянно и страдальчески, как улыбаются нищие.

Старый учитель продолжал грозно:

— Вот еще пример: станете ли вы отрицать это? Она тоже не вышла за того, за кого хотела, кого любила почти с детских лет, за молодого, славного лейтенанта. В один прекрасный вечер он уехал на охоту, выстрел поразил его прямо в лоб и раскроил ему голову пополам. И вот он лежит мертвый, жертвою маленького испытания, которое Господу Богу угодно было послать ради нее. Виктория, его нареченная, начинает хворать. Змея гложет ее, грызет ее сердце, не оставляя живого места. Мы, ее друзья, это видим. И вот на днях она пошла на вечер в одно семейство — к Сейерам. Она, между прочим, говорила мне, что и вы должны были прийти туда, но не пришли. Одним словом, на этом вечере она напрягалась свыше сил. Воспоминания о женихе нахлынули на нее, и она оживилась наперекор всему. Она танцевала, танцевала весь

вечер, словно безумная. Вдруг она упала, и на полу тотчас образовалась целая лужа крови. Ее подняли, вынесли и отвезли домой. Ее быстро скрутило.

Учитель подошел к Иоганнесу вплотную и сказал твердо:  
— Виктория умерла.

Совершенно как слепой, Иоганнес начал водить перед собой руками.

— Умерла? Когда она умерла? Как же это? Умерла Виктория?

— Умерла, — отвечал учитель. — Она умерла сегодня утром, вот теперь, до полудня. — Он опустил руку в карман и достал оттуда толстое письмо. — Это письмо она поручила мне передать вам. Вот оно. «После моей смерти», — сказала она. Она умерла. Я передаю вам письмо. Моя миссия окончена.

И учитель, не кланяясь, ничего не сказав больше, повернулся, медленно пошел вдоль улицы и исчез.

Иоганнес остался с письмом в руках. Виктория умерла. Он раз за разом вслух произнес ее имя, и голос у него был деревянный, бездушный. Он взглянул на письмо и узнал почерк. На нем были и большие, и маленькие буквы, линии были прямы, а она, написавшая все это, умерла!

Затем он вошел в свой подъезд, поднялся на лестницу, достал тот самый ключик, который был нужен, засунул его в замок и вошел. В комнате у него было темно и холодно. Он сел у окна и при последнем свете дня прочел письмо Виктории.

«Дорогой Иоганнес! — писала она. — Когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет в живых. Все кажется мне теперь таким странным, мне уже не стыдно больше перед вами, и я снова пишу вам, словно между нами ничего и не произошло. А между тем, когда я еще была в самом разгаре живой жизни, я лучше готова была страдать день и ночь, чем написать вам, но теперь я уже начинаю отрешаться от жизни и уже не думаю об этом так, как думала раньше. Посторонние люди видели, как я исходила кровью, доктор исследовал меня и увидел, что у меня остается только кусочек одного легкого, на что же мне еще надеяться?»

Я лежала тут на кровати и обдумывала последние слова, которые я сказала вам. Это было вечером, в лесу. Я тогда не думала, что это будут мои последние слова, иначе я бы простилась с вами и поблагодарила бы вас тогда. Теперь я больше вас уже не увижу, а потому жалею, что не бросилась тогда к вашим ногам и не поцеловала ваши

следы, землю, по которой вы ходили, и не показала вам, как я невыразимо люблю вас. Я лежала здесь и все мечтала и день и ночь о том, как было бы хорошо, если б я не была больна, а могла бы ехать домой, пойти в лес и найти то место, где мы сидели, когда вы грели мои руки; потому что тогда я могла бы лечь и осмотреть, не осталось ли там хоть какого-нибудь следа от вас, и исцеловать каждую травку. Но теперь мне уже нельзя будет ехать домой, если мне не станет лучше, как надеется мама.

Дорогой Иоганнес! Как странно подумать, что я появилась на свет единственно только для того, чтобы любить вас, а теперь проститься с жизнью. Вы сами можете представить, как странно лежать здесь и ждать дня и часа. Я шаг за шагом удаляюсь от жизни, и людей на улице, и уличного шума. Придет весна, которой я уже никогда не увижу, а эти дома, и улицы, и деревья в парке останутся после меня. Я немножко посидела сегодня на постели и смотрела в окно. На углу двое встретились, поздоровались за руку и засмеялись тому, что сказали друг другу. А мне было так странно, что я, которая лежу и смотрю на это, должна умереть. Я подумала: они не знают, что я лежу и жду моего часа. Но если бы они и знали, они все равно так же поздоровались бы и поговорили бы между собою, как и теперь. Сегодня ночью, когда было темно, я думала, что уже настал мой последний час: мое сердце начало останавливаться, и мне казалось, что я уже слышу где-то вдали перед собою гул вечности, но в следующее мгновение я опять была далеко от этого и снова начала дышать. Это было совершенно неопишное чувство. Но мама полагает, что я просто вспомнила, может быть, реку и водопад у нас дома.

О, Боже милосердный, если бы вы знали, как я любила вас, Иоганнес! Мне не пришлось показать вам это, слишком многое мешало мне, а прежде всего моя собственная натура. Папа тоже сам приносил себе много вреда, а я его дочь. Но теперь, когда я все равно умру, и когда уже поздно, я еще раз пишу вам и говорю вам это. Я спрашиваю себя, зачем я это делаю, раз вам ведь все равно это будет безразлично, если мне ни в коем случае не суждено больше жить. Но мне так хочется напоследок быть как можно ближе к вам, так я во всяком случае уже не чувствую себя больше такой покинутой, как прежде. Когда я представляю себе, что вы будете это читать, я как будто вижу ваши плечи, и руки, и все ваши движения, как вы держите письмо перед собою и читаете его. Так мы все-таки ближе друг к другу, думаю я. Я не могу послать за вами,

у меня нет права на это. Мама хотела послать за вами уже два дня тому назад, но я решила лучше написать вам. Мне к тому же хотелось, чтобы вы помнили меня такую, как я была прежде, когда еще была здорова. Я помню, что вы... (здесь несколько слов было пропущено)... мои глаза и брови. Но даже и они уже не те, что прежде. Вот и по этой причине мне не хочется, чтобы вы пришли. Я прошу вас также не смотреть на меня, когда я буду лежать в гробу. Я буду, конечно, почти такая же, как была при жизни, только побледнее, и лежать я буду в желтом платье. Но все-таки вы пожалели бы, если бы пришли посмотреть на меня.

Я уже много раз принималась за это письмо сегодня, а между тем не сказала и тысячной доли того, что мне хотелось сказать. Для меня так ужасно умереть, я не хочу умирать, я из самой глубины души молю Бога, чтобы мне пожить еще хоть немножко, не дольше, как до весны. Дни тогда будут светлее, а на деревьях будут листья. Если бы я выздоровела, я никогда не была бы в отношении к вам злой, Йоганнес. Как я думала, как я плакала над этим! О, я пошла бы на улицу и ласкала бы каждый камешек на мостовой, и благодарила бы каждую ступеньку, по которой проходила бы, и была бы добра со всеми. Все равно, как бы мне ни было плохо, только бы жить. Я бы никогда ни на что больше не жаловалась, нет, я улыбалась бы тому, кто бранил и бил бы меня, и благодарила бы и прославляла бы Бога, если бы осталась жива. Моя жизнь еще так не изжита, мне ничего и ни для кого не удалось сделать, и вот эта неудачная жизнь должна теперь кончиться. Если бы вы только знали, как тяжело мне умирать, вы бы сделали что-нибудь, вы бы сделали все, что только есть в вашей власти. Вы, конечно, ничего не можете сделать, но мне думалось, что если бы вы и весь свет просили за меня и не хотели отпускать меня, то, может быть, Бог даровал бы мне жизнь. О, как бы я была благодарна тогда, я никогда больше не сделала бы никому дурного, а улыбалась бы всему, что мне было бы ниспослано, только бы мне позволено было жить.

Мама сидит здесь и плачет. Она сидела здесь всю ночь и плакала обо мне. Это меня облегчает немножко, это смягчает мне горечь разлуки. Сегодня мне пришло в голову: что бы вы подумали, если бы я в один прекрасный день прямо подошла к вам на улице, нарядно одетая, и не сказала бы вам больше ничего обидного, а подала бы вам розу, которую я могла бы купить заранее? Потом я тотчас

же вспомнила, что мне уже никогда не удастся больше сделать то, что мне хочется, потому что уж, наверно, никогда не выздоровлю, потому что я умру. Я так часто плачу, я лежу тихо и плачу непрерывно и безутешно. Это не вредно для моей груди, если я не рыдаю. Иоганнес, дорогой, дорогой мой друг, единственная любовь моя на земле, приди ко мне и побудь со мной хоть немножко теперь, когда начинает смеркаться. Я тогда не буду плакать, я буду улыбаться, как только умею лучше, из-за одной только радости, что вы пришли.

Нет, где моя гордость и мое мужество! Я уже не дочь своего отца. Только это происходит оттого, что силы меня оставляют. Я долго страдала, Иоганнес, задолго до этих последних дней. Я долго страдала, когда вы были за границей, и после, когда я приехала в город весной, я каждый день все только страдала и страдала. Я прежде никогда не знала, до чего бесконечно длинна может быть ночь. Я за это время два раза видела вас на улице. Один раз вы напевали, идя мимо меня, но вы на меня не смотрели. У меня была надежда увидеть вас у Сейеров, но вы не пришли. Я бы не стала говорить с вами и не подошла бы прямо к вам, но я была бы благодарна уж и за то, что мне можно было бы посмотреть на вас издали. Но вы не пришли. Я тогда подумала, что вы, может быть, не пришли из-за меня. В одиннадцать часов я стала танцевать, потому что я больше не в силах была выносить ожидания. Да, Иоганнес, я любила вас, любила только вас всю мою жизнь. Это пишет Виктория, а Господь Бог читает это из-за моего плеча.

А теперь я должна проститься с вами: стало почти темно, и я уж больше ничего не вижу. Прощайте, Иоганнес, благодарю вас за каждый день. Когда я буду отлетать от земли, я все-таки до конца буду всю дорогу повторять ваше имя для себя самой. Будьте счастливы всю жизнь, Иоганнес, и простите мне все, что я сделала вам наперекор, и простите, что я не могла упасть к вашим ногам и просить вашего прощения. Теперь я это делаю в своем сердце. Будьте счастливы, Иоганнес, и прощайте навсегда. И еще раз благодарю за каждый день и час. Не могу больше.

Ваша Виктория.

Теперь у меня зажгли лампу, и стало гораздо светлее. Я опять лежала в забытьи и опять была далеко от земли. Слава Богу, это уже не было так тяжело мне, как прежде, я даже слышала слабую музыку, а главное, уже не было так темно. Я так благодарна. Но теперь у меня уже нет сил писать. Прощай, мой любимый...»

**МИСТЕРИИ**







В прошлом году в середине лета один маленький норвежский приморский городок сделался театром нескольких в высшей степени странных событий. В городе вдруг появился незнакомец, некий Нагель, замечательный и оригинальный шарлатан, который натворил массу самых удивительных поступков и затем исчез так же неожиданно, как и появился. К этому человеку приходила также какая-то таинственная дама. Бог ее знает, по каким делам она к нему приходила, но почему-то она не могла оставаться в этом месте более двух часов, после чего она снова уехала. Но все это не начало...

Начало было вот какое. Однажды вечером, когда пароход пристал к набережной около шести часов, на палубе показалось трое пассажиров, и среди них один человек в бросающемся в глаза гороховом костюме и в широкой бархатной фуражке. Это было вечером двенадцатого июня; в этот день в городке во многих местах были подняты флаги в ознаменование обручения фрекен Кьелланд, которое огласили именно двенадцатого июня. Служащий из гостиницы «Централь» сейчас же вошел на пароход, и человек в гороховом костюме передал ему свои вещи; он отдал также свой билет одному из штурманов. После этого он начал ходить взад и вперед по палубе, как будто бы не намеревался сойти на берег. По-видимому, он находился в сильном волнении. Когда на пароходе раздался третий звонок, то оказалось, что он не успел даже уплатить свой счет в буфете парохода.

И вот как раз в ту минуту, когда он собирался сделать это, он вдруг остановился и заметил, что пароход уже отчаливает. В первое мгновение он был несколько оше-

ломлен, но потом он сделал знак рукой служащему из гостиницы и крикнул ему, подойдя к борту:

— Послушайте, отнесите мои вещи в гостиницу и приготовьте для меня комнату.

И он отправился на пароходе дальше во фьорды.

Этот человек был Иоган-Нильсен Нагель.

Слуга из гостиницы повез его вещи на ручной тележке; багаж состоял только из двух небольших чемоданов и шубы — да, и шубы, несмотря на то, что дело происходило в самый разгар лета, — кроме того, были еще ручной сак-воляж и футляр от скрипки. Инициалов ни на чем не стояло.

На следующий день около полудня Иоган Нагель подъехал к гостинице в коляске, запряженной парой лошадей. Он мог бы с таким же удобством, и даже с большим, приехать морем, но он все-таки приехал на лошадях. С ним были еще кое-какие вещи: на переднем сиденьи стоял чемодан, а рядом с ним лежали дорожная сумка, пальто и перетянутый ремнями плед, в котором были еще какие-то вещи. На чехле, в котором был завернут плед, были вышиты инициалы: И. Н. Н.

Не выходя из коляски, он спросил хозяина о своей комнате; а когда его отвели в комнату во втором этаже, принялся исследовать толщину стен, соображая, доносятся ли через них звуки из соседних комнат. Потом он вдруг спросил служанку:

— Как вас зовут?

— Сара.

— Сара. Да, кстати, нельзя ли мне чего-нибудь поесть? Так вас зовут Сара? Послушайте, не было ли когда-нибудь аптеки в этом доме?

Сара ответила с удивлением:

— Да, но с тех пор прошло уже много лет.

— Вот как, много лет. Это поразило меня сейчас же, как только я вошел в переднюю, я почувствовал это не по запаху, нет, у меня явилось какое-то безотчетное сознание, что это так. Да, да.

К обеду он сошел в столовую. Сидел все время молча и не произнес ни одного слова. Оба его попутчика, приехавшие с ним вместе накануне, сидели у другого конца стола; они перемигнулись, когда он вошел, и чуть ли не открыто смеялись над его рассеянностью, которая сыграла с ним накануне такую шутку. Но он сделал вид, словно ничего не слышит. Он быстро поел, движением головы отказался от десерта и встал, как-то вдруг

повернувшись на стуле. Он сейчас же закурил сигару и вышел на улицу.

Он пропадал далеко за полночь и возвратился только незадолго до того, как пробило три часа. Где он был? Потом оказалось, что он ходил в соседний город, прошел пешком всю длинную дорогу туда и обратно, ту самую дорогу, по которой он приехал в экипаже утром. По-видимому, у него было там какое-то неотложное дело. Когда Сара открыла ему дверь, он обливался потом; но он все-таки несколько раз улыбнулся служанке и был вообще в прекраснейшем расположении духа.

— Боже, что у вас за великолепная шея, милая! — сказал он.— Не пришло ли что-нибудь по почте на мое имя во время моего отсутствия? Вы знаете, Нагелю, Иогану Нагелю? Ух, целых три телеграммы! Ах, послушайте, сделайте мне одолжение и уберите со стены эту картину, пожалуйста. Тогда она по крайней мере не будет мне колоть глаза. Это было бы невыносимым лежать здесь в постели и все время иметь ее перед глазами. Дело, видите ли, в том, что у Наполеона III не было такой зеленой бороды. Благодарю вас.

Когда Сара вышла, Нагель остался стоять посреди комнаты; он стоял совсем неподвижно. Он начал пристально смотреть в одну точку на стене каким-то отсутствующим взглядом, и если не считать, что его голова опускалась все ниже и ниже, склоняясь в то же время на сторону, то он не делал ни малейшего движения. Это продолжалось довольно долго.

Он был ниже среднего роста, у него было смуглое лицо с каким-то странным темным взором и изящным женственным ртом. На одном из пальцев он носил простое кольцо из олова или железа. Плечи у него были очень широкие, и на вид ему было лет двадцать восемь—тридцать, во всяком случае, ему было не более тридцати лет. Волосы его начали седеть на висках.

Он очнулся от своей задумчивости и сильно вздрогнул,— вздрогнул так сильно, что это могло казаться деланным. Можно было подумать, что он стоял и обдумывал, как бы получше вздрогнуть, хотя он был совсем один в комнате. После этого он вынул из карманов брюк несколько ключей, немного мелких денег и какую-то медаль, напоявавшую медаль за спасение погибающих; она была на ленточке, до невозможности потертой и истрепанной; все эти вещи он положил на столик у кровати. После этого он сунул свой бумажник под подушку

и вынул из кармана жилета часы и пузырек, маленький аптекарский пузырек с изображением черепа и костей на этикетке, указывавшим на то, что это яд. На мгновение он подержал часы в руке, прежде чем положить их на стол, но пузырек сунул сейчас же обратно в карман. После этого он снял с пальца кольцо и вымылся; свои волосы он привел в порядок пальцами, зеркала у него вовсе не было.

Он лежал уже в постели, когда вдруг вспомнил про кольцо, которое оставил на умывальнике; и он сейчас же встал и взял его, словно не мог жить без этого жалкого железного кольца. Наконец он распечатал три телеграммы, но едва успел прочесть первую из них, как разразился коротким тихим смехом. Он лежал и смеялся один на один с собой; у него были необыкновенно красивые зубы. Но мало-помалу его лицо снова стало серьезным, и немного спустя он отбросил телеграмму в сторону с величайшим равнодушием. Однако дело, по-видимому, касалось большого и важного предприятия; речь шла о шестидесяти двух тысячах крон, которые предлагали за имение, и предлагали эту сумму наличными деньгами, если только соглашение состоится сейчас же. Это были сухие, короткие, деловые телеграммы, и смешного в них ровно ничего не было; но они были без подписи. Несколько минут спустя Нагель заснул. Две свечи, которые горели на столе и которые он забыл погасить, освещали его чисто выбритое лицо и грудь и бросали ровный свет на телеграммы, лежавшие на столе развернутыми...

На следующее утро Иоган Нагель отправил на почту посыльного, принесшего ему несколько газет, среди которых были также и заграничные, но писем он не получил. Свой футляр со скрипкой он поставил на стул посреди комнаты, как будто бы хотел выставить его напоказ, но он не открывал его и не вынимал инструмента.

Все утро он был занят только писанием двух писем, а потом читал какую-то книгу и ходил взад и вперед по комнате. Кроме того, он ходил в город и купил себе пару перчаток, а немного позже пошел на рыночную площадь и купил маленького рыжего щенка за десять крон, и этого щенка сейчас же подарил хозяину гостиницы. Щенка он на потеху всем окрестил Якобсеном, несмотря на то, что это была сука.

Итак, во весь день он ничего путного не сделал. Дел у него никаких в городе не было, визитов он не делал,

по конторам не ходил, и знакомых у него не было ни души во всем городе. В гостинице немного удивлялись его необыкновенному равнодушию ко всем решительно и даже к своим собственным делам. Так, его три телеграммы валялись в комнате на столе раскрытыми, и каждый мог заглянуть в них; он так и не дотрагивался до них с того вечера, как их получил. У него была также странная привычка оставлять без ответа прямые вопросы. Раза два хозяин пытался выведать у него, кто он такой и зачем приехал в город, но он оба раза переменял разговор. В течение дня в нем открыли еще одну странность: несмотря на то, что он никого не знал в этом месте и ни с кем не говорил, он все-таки остановился у входа на кладбище перед одной молодой девушкой, остановился, посмотрел на нее и поклонился ей очень низко, не говоря ни слова в объяснение своего поступка. Молодая девушка покраснела до корней волос. После этого дерзкий человек отправился по большой дороге по направлению к усадьбе священника и прошел дальше мимо нее. Эту прогулку он повторял также и в следующие дни. Служанке постоянно приходилось отпирать ему дверь поздно вечером уже после того, как гостиница запиралась,— так поздно он возвращался со своих странствований.

На третье утро, в ту минуту, когда Нагель выходил из своей комнаты, с ним заговорил хозяин; он поклонился ему и сказал несколько любезных слов. Они вышли на веранду и сели, и хозяин обратился к нему за советом относительно пересылки одного ящика со свежей рыбой.

— Не можете ли вы мне посоветовать, как отослать этот ящик?

Нагель посмотрел на ящик, улыбнулся и покачал головой.

— Нет, в этом я ничего не смыслю,— ответил он.

— Нет? А я думал, что вы, может быть, много путешествовали, и вам приходилось видеть, как поступают в подобных случаях.

— О, нет, я путешествовал немного.

Пауза.

— Ну, да, вы, конечно, имели дела — вы занимались чем-нибудь другим. Может быть, вы коммерсант?

— Нет, я не коммерсант.

— Так значит, вы приехали сюда не по делам?

Никакого ответа. Нагель закурил сигару и медленно стал выпускать дым, устремив взор в пространство. Хозяин сбоку наблюдал за ним.

— Не поиграете ли вы нам как-нибудь на скрипке? Ведь вы привезли с собой скрипку,— начал хозяин снова.

Нагель ответил равнодушно:

— Ах, нет, я это давно бросил.

Немного погодя он встал и, не сказав больше ни слова, вышел. Но через мгновение он снова возвратился и сказал:

— Послушайте... чтобы не забыть... вы можете подать мне счет, когда вам угодно. Для меня совершенно безразлично, когда платить.

— Благодарю вас,— ответил хозяин,— спешить ни к чему. Если вы намереваетесь остаться здесь на более продолжительное время, то мы возьмем с вас дешевле. Но я ведь не знаю, собираетесь ли вы остаться здесь на более долгий срок.

Нагель вдруг оживился и ответил сейчас же, и при этом без всякой видимой причины у него на лице выступила краска.

— Да, это весьма вероятно, в этом нет ничего невозможного, что я останусь здесь на более продолжительное время,— сказал он.— Все зависит от обстоятельств. Кстати, я, может быть, не говорил вам этого: я агроном, землевладелец, я возвращаюсь из путешествия, и теперь действительно мне не мешало бы пожить здесь некоторое время. Но, может быть, я забыл вам сказать... Мое имя Нагель, Иоган-Нильсен Нагель.

С этими словами он подошел к хозяину и сердечно пожал ему руку, извиняясь, что не представился ему раньше. В выражении его лица не было и следа иронии.

— Мне приходит в голову, что мы могли бы, быть может, предложить вам комнату получше и поспокойнее,— сказал хозяин.— Теперь ваша комната выходит на лестницу, а это не всегда приятно.

— Нет, благодарю вас, это совершенно лишнее; комната у меня прекрасная, я ею вполне доволен. Кроме того, из моих окон открывается вид на весь рынок, а это так развлекает.

Немного погодя хозяин продолжал:

— Так вы, значит, на некоторое время устроили себе отдых? Вы, вероятно, во всяком случае проведете часть лета здесь?

Нагель ответил:

— Да, я останусь здесь месяца два или три, а может быть, и больше. Все зависит от обстоятельств. Будущее покажет.

В эту минуту мимо них прошел какой-то человек, который поклонился хозяину. Это был невзрачный мужчина, маленького роста, крайне бедно одетый; он шел с таким трудом, что это бросалось в глаза; и все-таки он продвигался вперед довольно быстро. Несмотря на то, что он поклонился очень низко, хозяин даже не снял шляпы; но Нагель, напротив, совсем снял с головы свою бархатную фуражку.

Хозяин посмотрел на него и сказал:

— Этого человека мы прозвали Минутой. Он не совсем-то в своем уме, но он такой жалкий, и сердце у этого бедняги очень доброе.

Вот все, что было сказано про Минуту.

— Несколько дней тому назад,— говорит вдруг Нагель,— я прочел в газетах об одном человеке, которого нашли мертвым где-то в лесу в этих местах. Что это был за человек? Его звали, кажется, Карльсеном. Он был здешний?

— Да,— ответил хозяин,— он был сыном одной женщины, которая ставит банки и живет здесь; вы можете видеть ее дом отсюда, вон там, с красной крышей. Он приехал домой только на каникулы и тут же и покончил со своей жизнью. Его очень жалко, это был способный юноша и скоро должен был сделаться священником. Да, трудно сказать что-нибудь про это, но тут дело нечисто — ведь у него были перерезаны обе артерии на руках, а потому это едва ли могло быть несчастным случаем. К тому же был найден также и ножик, маленький перочинный ножичек с белой ручкой. Этот ножичек полиция нашла вчера поздно вечером. По всей вероятности, тут замешана какая-нибудь любовная история.

— Вот как! Но разве вообще можно было сомневаться в том, что он сам наложил на себя руки?

— Да, надо надеяться, что это не так; есть люди, которые думают, что он шел с ножом в руках, споткнулся и упал так несчастливо, что зараз порезал себе обе руки. Ха-ха, мне кажется, что это невероятно, совсем невероятно. Но его, конечно, похоронят в освященной земле. Нет, к сожалению, он не споткнулся.

— Говорят, что ножик нашли только вчера вечером, но разве ножик не лежал рядом с ним?

— Нет, он лежал в нескольких шагах от него. После того, как он порезал себе артерии, он отбросил его в глубь леса, и ножик нашли совершенно случайно.

— Вот как! Но какой смысл был в том, что он отбросил нож, раз он лежал с открытыми ранами? Для всех было все равно ясно, что он пустил в дело нож.

— Да Бог его знает, с какой целью он это сделал; но, как я уже вам сказал, тут замешана какая-нибудь любовная история. Никогда я ничего подобного не слышал! Чем больше я об этом думаю, тем более странным все это мне представляется.

— Но почему вы думаете, что здесь замешана любовная история?

— По разным причинам. А впрочем, очень трудно сказать что-нибудь определенное по этому поводу.

— Но разве не могло случиться, что он упал нечаянно? Ведь он лежал в такой странной позе: не лежал ли он на животе, уткнувшись лицом в лужу?

— Да, и он ужасно выпачкался, но это ровно ничего не доказывает, он и это мог устроить нарочно. Может быть, он желал скрыть на своем лице следы предсмертной борьбы. Кто знает?

— Он не оставил после себя никакой записки?

— Говорят, будто он шел и писал что-то на бумажке: у него вообще было обыкновение ходить и писать. Думают, что он употреблял ножик для того, чтобы очинить карандаш, или для чего-нибудь в этом роде, и при этом он будто бы упал и проткнул себе ножиком сперва артерию на одной руке, а потом и на другой руке как раз в том же самом месте, и все это во время падения. Ха-ха-ха! Но он действительно оставил какую-то записку, он держал в руках клочок бумажки, на котором были написаны следующие слова: «Пусть твоя сталь будет так же остра, как твое последнее «нет».

— Что за вздор! А ножик был тупой?

— Да, он был тупой.

— Неужели же он не мог отточить его предварительно?

— Это был не его нож.

— Чей же он был?

Хозяин задумывается на мгновение и затем говорит:

— Этот нож принадлежал фрекен Кьелланд.

— Он принадлежал фрекен Кьелланд? — спрашивает Нагель. И немного погодя продолжает: — Ну, а кто же эта фрекен Кьелланд?

— Дагни Кьелланд, она дочь священника.

— Вот как! Как это все странно. Слыханное ли это дело! Так молодой человек был влюблен в нее?



— Да, конечно, он был влюблен. А впрочем, надо вам сказать, что все влюблены в нее, так что он был не единственным.

Нагель глубоко задумывается и ничего больше не говорит. Но хозяин прерывает молчание:

— Но все, что я вам сказал,— тайна, и я прошу вас...

— Ах, вот как? — ответил Нагель.— Ну, конечно, вы можете быть совершенно спокойны.

Когда Нагель немного спустя после этого появился к завтраку, то хозяин стоял уже в кухне и рассказывал, что он наконец поговорил как следует с господином в гороховом костюме из номера седьмого.

— Он агроном,— сказал хозяин,— и он только что приехал из-за границы. Он говорит, что пробудет здесь несколько месяцев. Бог его знает, что это за человек.

## ГЛАВА II

---

В тот же день вечером случилось так, что Нагель вдруг встретился с Минутой. Все кончилось скучным и бесконечным разговором между ними, разговором, который продолжался добрых три часа.

Вот как все это произошло с самого начала до конца.

Иоган Нагель сидел в кафе гостиницы с газетой в руках, когда вошел Минута. Там сидело еще несколько человек за столиками, среди них находилась также толстая крестьянка с вязанным из красной и черной шерсти платком на плечах. По-видимому, все знали Минуту: он вежливо поклонился направо и налево, когда вошел. Но ему ответили громкими возгласами и смехом. Даже крестьянка встала с места и предложила потанцевать с ним.

— Только не сегодня, только не сегодня,— уклончиво отвечает он женщине; он идет прямо к хозяину и, стоя перед ним с непокрытой головой, говорит ему:

— Я отнес уголь на кухню. А другого дела сегодня нет?

— Нет,— отвечает хозяин,— какое же может быть еще другое дело?

— Ну, конечно,— говорит Минута и робко отступает назад.

Он был необыкновенно безобразен. У него были кроткие голубые глаза, но отвратительные, торчащие вперед зубы, и при этом какая-то развинченная вследствие физического недостатка походка. На голове у него волосы были почти совсем седые, а борода была темная, но зато такая редкая,

что сквозь нее всюду просвечивала кожа. Минута был когда-то моряком, но теперь он жил у своего родственника, державшего небольшую торговлю углем у пристани. Говоря с кем-нибудь, он почти никогда не поднимал глаз.

Его окликнули с одного столика, один господин в сером летнем костюме выразительно махал ему рукой и показывал бутылку с пивом.

— Подите-ка сюда и выпейте стаканчик грудного молока. Кроме того, я хочу посмотреть, идет ли вам, когда вы без бороды,— говорит он.

Почтительно, все еще держа шляпу в руке, с согнутой спиной, Минута приближается к столу. Проходя мимо Нагеля, он делает ему отдельный поклон и шевелит губами едва заметно. Он останавливается перед господином в сером костюме и шепчет:

— Не так громко, поверенный, прошу вас. Разве вы не видите, что здесь есть посторонние?

— Но Боже мой,— говорит поверенный, — ведь я хотел вам только предложить стакан пива. А вы приходите и бранитесь за то, что я громко говорю.

— Нет, вы не поняли меня, и я прошу извинения. Но когда здесь есть посторонние, то мне не хотелось бы показывать старых шуток. Да и пива я не могу пить — во всяком случае, теперь я не могу.

— Вот как? Вы не можете пить? Вы не можете пить пива?

— Нет, благодарю вас, не теперь.

— Вот как, вы благодарите меня не теперь? Так когда же в таком случае вы благодарите меня? Ха-ха-ха! Разве вы не сын священника? Не мешало бы вам побольше обращать внимания на то, как вы выражаетесь.

— О, вы просто не поняли меня. Ну, пусть так и будет.

— Ну-ну, без глупостей! Что на вас нашло?

Поверенный заставил Минуту насильно сесть на стул, и тот посидел несколько минут, но потом снова поднялся.

— Нет, уж вы лучше оставьте меня,— говорит он,— я вообще не могу пить; а за последнее время я еще хуже переношу это — Бог знает, отчего. Я и опомниться не успею, как уже пьян, и тогда несу всякую чепуху.

Поверенный поднимается, сует Минуте в руку стакан, смотрит пристально ему прямо в глаза и говорит:

— За ваше здоровье!

Пауза. Минута подымает глаза, откидывает волосы со лба и молчит.

— Ну, чтобы доставить вам удовольствие. Но только несколько капель,— говорит он наконец.— Чуть-чуть, чтобы только иметь честь чокнуться с вами.

— Выпейте все,— кричит поверенный и отворачивается, чтобы не расхохотаться.

— Нет, не все, только не все. Зачем я буду пить все, раз мне это противно? Пожалуйста, не обижайтесь на меня за это и не хмурьтесь; уж лучше я на этот раз исполню ваше желание, если вам этого непременно хочется. Надеюсь, что это не бросится мне в голову: это смешно, но я совсем не переношу спиртных напитков. За ваше здоровье!

— Все, все! — кричит поверенный снова,— все до дна! Ну, вот так. А теперь мы сядем и будем строить гримасы. Сперва вы будете скрежетать зубами, потом я отрежу вам бороду и сделаю вас на десять лет моложе. Итак, мы начнем с того, что вы будете скрежетать зубами.

— Нет, я не буду этого делать, ни за что не буду делать в присутствии всех этих чужих людей. Не требуйте этого — уверяю вас, я этого не сделаю,— отвечает Минута и хочет уйти.— Да мне и некогда,— прибавляет он.

— Некогда? Какая досада! Ха-ха, ужасно досадно! Вам даже некогда, а?

— Да, сейчас у меня нет времени.

— Послушайте-ка, что, если я вам скажу, что я уже давно подумываю о другом сюртуке для вас вместо того, который на вас надет?.. А впрочем, дайте-ка взглянуть! Да ведь он истлел, вот посмотрите сами! Он не выдерживает даже прикосновения пальцев.— И поверенный находит в сюртуке Минуты маленькую дырочку, в которую засовывает палец.— Сукно так и разлезается, оно ничего не выдерживает больше, смотрите, да посмотрите же!

— Оставьте меня ради Бога! Что я вам сделал? И оставьте в покое мой сюртук!

— Да говорят же вам, что я обещаю вам другой сюртук завтра же, обещаю вам это в присутствии — дайте-ка посмотреть: раз, два, четыре, семь,— итак, обещаю вам это в присутствии семи свидетелей. Но что с вами сегодня? Вы горячитесь и злитесь и готовы растоптать нас всех. Да, да, это именно так. И все это только из-за того, что я осмелился дотронуться до вашего сюртука.

— Простите, пожалуйста, я вовсе не хотел сердиться — вы знаете, что я готов сделать для вас все, что вы хотите, но...

— Ну, в таком случае я хочу, чтобы вы сели.

Минута отбрасывает со лба свои седые волосы и садится.

— Прекрасно, а теперь доставьте мне удовольствие и поскрежьте зубами.

— Нет, я этого не сделаю.

— Так вы не хотите этого сделать, а? Да или нет?

— Господи Боже ты мой, да что я вам сделал? Неужели вы не можете оставить меня в покое? Почему именно я должен быть шутком для всех! Вон тот посторонний смотрит сюда, я заметил это, он не сводит с нас глаз, и, конечно, тоже смеется. Так всегда бывает: в первый день, как вы приехали сюда, доктор Стенерсен поймал меня и сейчас же научил вас потешаться надо мной, а теперь вы учите этому вон того чужого господина. Так один у другого и учится.

— Ну, ладно. Да или нет?

— Да разве вы не слышали, что я вам сказал! — кричит Минута и вскакивает со стула. Но, как будто испугавшись своей резкости, он снова садится и прибавляет: — Я даже не умею скрежетать зубами, верьте мне.

— Вы не умеете? Ха-ха, дудки, вы умеете. Вы великолепно скрежете зубами.

— Бог свидетель, я не умею.

— Ха-ха-ха! Но вы это делали раньше!

— Да, но тогда я был пьян, я ничего не помню, все у меня тогда перепуталось в голове. После этого я был болен два дня.

— Совершенно верно, — говорит поверенный. — Вы были тогда пьяны, с этим я согласен. Но к чему вы болтаете об этом в присутствии всех этих людей? Этого я никогда бы не сделал.

В эту минуту хозяин вышел из кафе. Минута молчит; поверенный смотрит на него и говорит:

— Ну, на чем же вы порешили? Не забывайте сюртука.

— Я помню его, — отвечает Минута, — но я не хочу и не могу пить больше. Так и знайте.

— Вы хотите и можете! Слышите, что я сказал? Вы хотите и можете, сказал я. И если бы мне даже пришлось насильно влить в вас... — И при этих словах поверенный встает со стаканом Минуты в руках. — Ну, разевайте рот!

— Нет, клянусь вам Господом Богом, я не дотронусь больше до пива! — восклицает Минута, бледный от волнения. — И никакие силы не заставят меня сделать этого! Вы должны извинить меня, но это действует на меня очень скверно, вы не можете себе представить, как я страдаю от этого. Сжальтесь надо мною, прошу вас всем сердцем.

Уж лучше я... лучше я буду скрежетать зубами, только не заставляйте меня пить пива.

— Ну, это другое дело, черт возьми, это совсем другое дело, раз вы хотите сделать это без пива.

— Да, уж лучше я это сделаю без пива.

И Минута начинает скрежетать зубами. Он скрежещет своими ужасными зубами при всеобщем хохоте присутствующих. Нагель, по-видимому, продолжает читать свою газету. Он сидит неподвижно на своем месте у окна.

— Громче! Громче! — кричит поверенный, — скрежещите громче, а то мы ничего не слышим.

Минута сидит прямо и неподвижно, он держится обеими руками за стул, словно боится упасть, и изо всех сил скрежещет зубами, так что голова у него трясется. Все смеются, крестьянка хохочет так, что вытирает слезы; она не знает, куда ей деваться от неукротимого хохота, и в конце концов плюет два раза на пол, вне себя от восторга.

— Господи помилуй, этакий шутник! — орет она, помирая со смеху. — Ах уж этот поверенный!

— Ну, вот! Громче я скрежетать не могу, — говорит Минута, — право, не могу, видит Бог, поверьте мне, больше я не могу.

— Ну, хорошо, хорошо, в таком случае отдохните немного, а потом опять принимайтесь за дело. Но скрежетать вы будете непременно. А потом мы отрежем вам бороду. Да выпейте же пива: да, вы должны выпить, вон оно уже приготовлено для вас.

Минута качает головой и молчит. Поверенный вынимает свой кошелек и кладет на стол монету в двадцать пять эре. При этом он говорит:

— Обыкновенно вы это делаете за десять эре, но я не пожалею для вас двадцати пяти, я повышаю вам плату. Ну!

— Не мучьте меня больше, я этого не сделаю.

— Не сделаете? Вы отказываетесь?

— Боже милосердный, да перестаньте же наконец и оставьте меня в покое! Я не буду больше покоряться вам из-за сюртука, ведь я тоже человек. Что вам надо от меня?

— Ну, теперь слушайте, что я вам скажу: как вы видите, я стряхиваю эту маленькую кучку сигарного пепла в ваш стакан, вы видите? Затем я беру эту крошечную спичку, и еще вот эту небольшую спичку также и бросаю обе спички в стакан, который стоит перед вашими глазами. Гак! И теперь я ручаюсь вам за то, что вы все-таки

выпьете весь ваш стакан до последней капли. Да, вы его выпьете во что бы то ни стало.

Минута вскочил. Видно было, как он весь дрожал, его седые волосы снова упали ему на лоб, и он в упор смотрел прямо в глаза поверенному. Прошло несколько секунд.

— Нет, это слишком, это слишком! — крикнула даже крестьянка.— Не делайте этого! Ха-ха-ха! Помилуй меня Бог!

— Так вы не хотите? Вы отказываетесь? — спрашивает поверенный.

Он тоже встает с места и стоит, не двигаясь.

Минута делает над собой усилие, чтобы сказать что-то, но голос изменяет ему. Все взоры устремлены на него.

Тогда Нагель вдруг поднимается из-за своего стола у окна, кладет газету на стол и идет через комнату. Он не спешит и не производит никакого шума, и, несмотря на это, привлекает к себе всеобщее внимание. Он останавливается возле Минуты, кладет свою руку ему на плечо и говорит громким, ясным голосом:

— Если вы возьмете ваш стакан и швырнете его в голову вон тому щенку, то я вам дам наличными десять крон и избавлю вас от всяких последствий этого поступка.— Он указывает пальцем прямо на лицо поверенного и повторяет: — Я говорю вон про того щенка.

В комнате вдруг наступила полная тишина. Пораженный ужасом, Минута переводил глаза с одного на другого и повторял:

— Да что же это?..

Больше он ничего не мог сказать, но эти слова он повторял дрожащим голосом, как бы ожидая ответа на них. Никто не произносил ни слова. Ошеломленный поверенный отступил назад и ухватился за свой стул, он побледнел и тоже не произносил ни слова. Рот у него был разинут.

— Я повторяю,— продолжал Нагель громко и медленно,— что дам вам десять крон, если вы швырнете ваш стакан этому щенку в голову. Вот у меня в руке деньги. И последствий вам также бояться нечего.

И Нагель действительно протянул Минуте десять крон, чтобы он мог видеть их.

Но Минута удивил всех своим странным поведением. Он вдруг бросился в угол кафе, побежал, семеня своими кривыми ногами, в противоположный угол и уселся там, ничего не отвечая. Он сидел с опущенной головой, со

страхом озираясь исподлобья кругом, и несколько раз поджимал под себя ноги, как бы боясь чего-то.

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел хозяин. Он начал возиться с чем-то у стойки, не обращая внимания на то, что происходит вокруг него. Только после того, как поверенный, испустив бешеный, хриплый крик, бросился на Нагеля со сжатыми кулаками, хозяин сделался внимательным и спросил:

— Да что тут такое происходит?..

Но никто ему не отвечал. Поверенный два раза набрасывался на Нагеля, но оба раза наткнулся на его сжатые кулаки. Он ничего не мог поделаться, неудача окончательно вывела его из себя, и он начал без толку наносить удары в воздух, словно желая уничтожить все вокруг себя. Наконец, все продолжая пятиться, он дошел до стола, наткнулся на табурет и упал на колени. Он громко и тяжело дышал, и его бессильная ярость придавала ему жалкий вид. К тому же, он больно обколотил себе руки об эти костлявые кулаки, которые встречал повсюду, куда ни направлял удар. В кафе поднялся всеобщий переполох, крестьянка и ее спутники обратились в бегство, а остальные кричали, перебивая друг друга и стараясь прекратить ссору. Но вот поверенный снова поднимается с пола и снова подходит к Нагелю; он останавливается перед ним с вытянутыми вперед руками, кричит, задыхается и приходит в отчаяние оттого, что не находит слов:

— Черт проклятый!.. Провал тебя возьми, болван ты этакий!

Нагель посмотрел на него и улыбнулся. Он подошел к столу, взял шляпу поверенного и с поклоном протянул ее ему. Поверенный рванул шляпу к себе и в своем бешенстве хотел было швырнуть ее обратно, но потом одумался и резким движением надел ее себе на голову, так что раздался стук. Потом он повернулся и вышел из двери. Шляпа его была в двух местах продавлена, и это придавало ему комичный вид.

Тут наконец хозяин выступил вперед и потребовал объяснения. Он обратился к Нагелю, схватил его за руку и спросил:

— Что все это означает? Что здесь произошло?

Нагель ответил:

— Пожалуйста, отпустите мою руку, я не убегу. Должен вам сказать, что особенного здесь ничего не случилось; я оскорбил этого человека, который только что

вышел отсюда, а он хотел защищаться, так что рассуждать тут не о чем, все в порядке.

Но хозяин вышел из себя и топнул ногой.

— Чтобы у меня здесь не было скандалов! — крикнул он, — я не потерплю скандалов! Если хотите затеять свару, то отправляйтесь на улицу, но здесь я и слышать не хочу о чем-либо подобном. С ума вы все тут что ли сошли!

— Все это прекрасно, — прерывают его несколько посетителей, — но мы все видели.

И со свойственной людям склонностью поддерживать в данный момент того, на чьей стороне победа, они всецело берут сторону Нагеля. Они подробно рассказывают хозяину, как все случилось.

Сам Нагель пожал только плечами и подошел к Минуте. Без всяких предисловий он спросил маленького седого шута:

— В каких отношениях вы находитесь с поверенным, раз он позволяет себе так обращаться с вами?

— Что за глупости, — отвечает Минута, — я не нахожусь с ним ни в каких отношениях, он мне совершенно чужой. Раз только я танцевал перед ним на базарной площади за десять эре. А кроме того, он всегда смеется надо мной.

— Так, значит, вы танцуете на улицах за деньги?

— Да, время от времени. Но это бывает очень редко, только когда я очень нуждаюсь в этих десяти эре и не имею возможности раздобыть их иным способом.

— А на что вам нужны деньги?

— Мало ли, на что мне нужны деньги? Во-первых, я Богом обиженный человек, я ни на что не способен, и мне приходится иногда очень туго. Когда я был моряком, то мне во всех отношениях жилось лучше; но потом со мной случилось несчастье, я упал с мачты, и у меня сделалась грыжа. И вот с тех пор мне трудно пробиваться. Дядя кормит меня и вообще дает мне все необходимое. Я живу у него и ни в чем не нуждаюсь, можно даже сказать, у меня во всем излишек, потому что мой дядя живет тем, что торгует углем. Но я и сам немного зарабатываю на свое содержание, особенно теперь, в летнюю пору, когда мы совсем почти не продаем угля. Все это истинная правда, как то, что я сижу здесь и говорю вам все это. Бывают такие дни, когда десять эре для меня очень кстати, я покупаю на них чтонибудь необходимое и приношу домой. А что касается поверенного, то ему доставляет большое удовольствие смотреть, как я танцую, и именно потому, что у меня грыжа, и я не могу танцевать как следует.



— Так значит, вы с ведома и согласия вашего дяди танцуете за деньги на площади?

— Нет, нет, уверяю вас, не думайте так. Дядя часто говорит мне: «Не надо этих шутовских денег!» Да, он часто называет эти деньги шутовскими, когда я возвращаюсь домой с десятью эре, он страшно бранит меня за то, что люди потешаются надо мной.

— Ну, это было первое. А теперь второе.

— Что такое?

— А теперь второе.

— Я не понимаю вас.

— Вы сказали, что, *во-первых*, вы Богом обиженный человек; ну, а теперь *во-вторых*?

— В таком случае я должен попросить у вас извинения.

— Так значит, вы только Богом обиженный человек?

— Да, я от всего сердца прошу вас извинить меня.

— Ваш отец был священником?

— Да, мой отец был священником.

Пауза.

— Послушайте, — говорит Нагель, — если вам некуда спешить, то пойдите ко мне в комнату на минутку, хотите? Вы курите? Хорошо! Пожалуйста, я живу наверху. Я буду вам очень благодарен, если вы зайдете ко мне.

К величайшему изумлению всех присутствующих, Нагель с Минутой пошли во второй этаж, где и провели вдвоем весь вечер.

### ГЛАВА III

---

Минута взял стул и закурил сигару.

— Вы ничего не пьете? — спросил Нагель.

— Да, я почти ничего не пью; у меня сейчас же начинается головокружение, и в глазах рябит, — ответил гость.

— А шампанское вы пили когда-нибудь? Ну, конечно, пили.

— Да, много-много лет назад, на серебряной свадьбе моих родителей я пил шампанское.

— Вкусное оно было?

— Да, я помню, что оно мне очень понравилось.

Нагель позвонил и велел подать шампанского.

Они попивают шампанское и курят. Вдруг Нагель устремляет на Минуту пристальный взгляд и говорит:

— Скажите, пожалуйста... я хочу предложить вам один маленький вопрос, который, может быть, покажется вам

смешным: скажите, могли бы вы за известное вознаграждение записаться отцом ребенка, которому вы не приходите отцом? Это пришло мне в голову так, случайно.

Минута посмотрел на него широко раскрытыми глазами, но ничего не сказал.

— За небольшую сумму, за пятьдесят крон, или, скажем, крон за двести? — спросил Нагель. — Сумма не играет особенной роли.

Минута качает головой и долго молчит.

— Нет, — отвечает он наконец.

— Так вы не могли бы это сделать? А то, в случае вашего согласия, я уплатил бы вам сейчас же наличными.

— Это все равно. Нет, этого я не могу сделать. Этим я не могу вам служить.

— Но почему же, собственно?

— Довольно! Не говорите больше ничего и не просите, оставьте меня в покое. Ведь я тоже человек.

— Ну, может быть, это действительно слишком грубо; с какой стати вам оказывать кому-нибудь подобную услугу? Но мне вдруг захотелось задать вам еще один вопрос: не согласитесь ли вы... не можете ли вы за пять крон обойти весь город с газетой или бумажным мешком на спине?.. Начать отсюда с гостиницы и пройти через площадь, и затем пойти вдоль набережной?.. Могли бы вы это сделать? И за это вы получите пять крон.

Минута смущенно опускает голову и повторяет механически: «Пять крон». Больше он ничего не ответил.

— Ну, да, пять или десять крон, если хотите. Так вы могли бы это сделать за десять?

Минута откидывает волосы со лба.

— Не понимаю, каким образом все люди, которые сюда приезжают, уже заранее знают, что я для всех здесь служу шутом? — говорит он.

— Как вы сами видите, я могу отдать вам деньги сейчас же, — продолжает Нагель, — все зависит только от вас самих.

Минута смотрит на ассигнации, несколько мгновений он растерянно смотрит на эти бумажки и даже по-настоящему облизывается на них, и наконец говорит:

— Да, я...

— Извините! — говорит Нагель быстро, — извините, что я вас прерываю, — говорит он, чтобы помешать Минуте продолжать. — Как вас зовут? Я не знаю вашего имени, и, кажется, вы мне его даже не говорили.

— Меня зовут Грегорд.

— Ага, Грегорд. Вы не родственник того Грегорда, который участвовал в Эйдсвольдском съезде?

— Да, я с ним в родстве.

— Да, о чем мы с вами говорили? Так вас зовут Грегорд? Ну, да, вы, конечно, не захотите заработать эти десять крон таким способом?

— Нет,— прошептал Минута.

— Теперь слушайте, что я вам скажу,— говорит Нагель, и он произносит слова очень медленно,— я с радостью дам вам эти десять крон за то, что вы не согласились на мое предложение. А кроме того, я вам дам сверх этого еще десять крон, если вы захотите доставить мне удовольствие и примете их. Да не вскакивайте же с места — это одолжение ничуть меня не стесняет, у меня деньги есть, у меня очень много денег; такие пустяки не имеют ровно никакого значения.— Вынув деньги, Нагель прибавил: — Вы этим доставите мне только удовольствие, пожалуйста!

Но тут Минута онемел от радости, счастье опьянило его, и он борется со слезами. С полминуты он молча моргает глазами и глотает слезы. Наконец Нагель говорит:

— Вам, должно быть, лет сорок, или около того?

— Сорок три, мне пошел сорок четвертый год.

— Да положите же деньги в карман. На здоровье!.. Как зовут того поверенного, с которым мы разговаривали?

— Право, не знаю, мы просто называем его поверенным; он поверенный в канцелярии окружного судьи.

— Да, да, в сущности, это безразлично. Скажите, пожалуйста...

— Извините! — Минута не может больше сдержаться, сердце его преисполнено благодарности, и он хочет во что бы то ни стало высказаться, хотя у него ничего не выходит, и он бессвязно лепечет что-то, как дитя.— Извините и простите меня! — говорит он. И долго он не может произнести ничего другого.

— Что вы хотели сказать?

— Я хотел только поблагодарить вас, поблагодарить от всего... от искреннего...

Пауза.

— Ну, об этом не стоит больше говорить.

— Нет, погодите! — воскликнул Минута.— Извините, но мы вовсе не покончили с этим. Вы подумали, что я не хочу сделать того, о чем вы просили меня, только из-за упорства с моей стороны, и что я наслаждаюсь тем, что имею возможность стать на дыбы; но клянусь вам Богом...

И разве мы можем покончить с этим? Разве мы можем сказать, что покончили с этим? Разве мы можем сказать, что покончили с этим, разве вы, может быть, составили такое впечатление, что я принял в расчет плату и не захотел этого сделать за пять крон? Уверяю вас, что я колебался вовсе не из-за платы; надеюсь, вы этого не думаете? И вот это-то только я и хотел сказать.

— Да, все это хорошо, и мы об этом больше не будем говорить. Ведь человек с вашим именем и вашим воспитанием не может согласиться на такие некрасивые проделки, не правда ли? А мне пришло в голову... вы, конечно, знаете очень хорошо все условия жизни в этом городе? Дело, видите ли, в том, что я хотел поселиться здесь на некоторое время, провести здесь несколько летних месяцев — что вы на это скажете?.. Вы здешний?

— Да, я родился здесь; мой отец был здесь священником, и я уже тринадцать лет живу здесь с тех пор, как со мной случилось несчастье.

— Вы разносите уголь? Мне показалось, будто вы упоминали о том, что приносите уголь сюда в гостиницу?

— Да, я разношу уголь по домам. Если вы думаете, что это мне неприятно, то вы ошибаетесь. Я уже привык к этому, и это мне ничуть не вредит, если только я осторожно поднимаюсь по лестнице. Но в прошлом году зимой я упал с лестницы, и это падение настолько повредило мне, что я долго должен был ходить с палкой.

— Неужели? Как это случилось?

— Я поднимался по лестнице банка, а на ступеньках был лед. Я тащу довольно тяжелый мешок и успел уже подняться до половины лестницы, как вдруг вижу, что навстречу мне спускается консул Андресен. И вот я хочу повернуть и спуститься вниз, чтобы дать консулу дорогу; он не говорил, чтобы я сделал это, но ведь это само собой разумеется, и я, конечно, и не ждал, чтобы он просил меня об этом. Но тут мне не повезло, я поскользнулся и упал. Я упал на правое плечо, это странно, но я упал именно на правое плечо, предварительно перевернувшись несколько раз. «Как вы себя чувствуете? — спрашивает меня консул, — вы не кричите, значит, вы не ушиблись?» — «Нет, — отвечаю я, — кажется, все благополучно». Но не прошло и пяти минут, как я два раза подряд упал в обморок; кроме того, у меня вздулась нижняя часть живота вследствие моей старой болезни. Но надо сказать, что консул щедро вознаграждал меня потом, хотя он ни в чем не был виноват.

— Больше вы себе ничего не повредили? Вы не ударились головой?

— О, да, я ударился немного также и головой. Некоторое время я харкал даже кровью.

— И консул помогал вам, пока вы были больны?

— Да, и очень щедро. Он посылал мне и то и другое, он ни на один день не забывал обо мне. Но лучше всего было то, что, когда я поправился и пошел к консулу поблагодарить его, то он велел поднять флаг. Он самым настоятельным образом отдал приказание поднять флаг в мою честь, несмотря на то, что в этот день было рождение фрекен Фредерики.

— А кто это — фрекен Фредерика?

— Это его дочь.

— Вот как. Да, это было очень мило с его стороны... Ах, да, послушайте, не знаете ли вы, по какому случаю город был разукрашен флагами несколько дней назад?

— Несколько дней назад? Дайте вспомнить... Не было ли это с неделю назад? Ну, да, конечно, это было обручение фрекен Кьелланд, обручение Дагни Кьелланд. Да, да, один за другим обручаются, женятся и уезжают. У меня есть друзья и знакомые чуть ли не во всех странах, и всех их я охотно желал бы видеть снова. Я любовался ими, когда они играли, будучи детьми, я видел, как они ходили в школу, а потом конфирмовались и выросли. А Дагни всего двадцать три года, и она любимица всего города. Она очень красива. Она обручилась с лейтенантом Хансеном, который когда-то подарил мне вот эту самую фуражку. Он тоже здешний.

— У этой фрекен Кьелланд волосы белокурые?

— Да, у нее белокурые волосы. Она необыкновенно красива, и неудивительно, что все в нее здесь влюблены.

— Должно быть, я ее видел возле усадьбы священника. Не ходит ли она с красным зонтиком?

— Вот именно! Да здесь никто больше и не ходит с красным зонтиком, насколько я знаю. Это, наверно, была она, если только у той девушки, которую вы встретили, была толстая белокурая коса; она непохожа ни на кого другого здесь. Не пришлось ли вам также поговорить с ней?

— Да, может быть, я и говорил с ней.— И Нагель задумчиво говорит про себя: — Так это была фрекен Кьелланд.

— Да, но вы не говорили с ней как следует. Навряд ли вам пришлось иметь с ней более продолжительную беседу. Это удовольствие вам еще предстоит. Она смеется

довольно громко, когда находит что-нибудь забавным, и часто она смеется над пустяками, потому что она очень веселая. Если вам придется говорить с ней, то вы увидите, как она внимательно прислушивается к вашим словам, пока вы не кончите говорить, и только тогда она отвечает. А когда она отвечает, то вся вспыхивает, я это не раз замечал, когда она с кем-нибудь разговаривает, и тогда она становится еще красивее. Но со мной совсем другое дело, со мной она болтает безо всякого стеснения, когда придется. Я могу, например, подойти к ней на улице, и она всегда протягивает мне руку, если даже торопится. Если вы этому не верите, то при случае обратите на это внимание.

— Я этому охотно верю. Так значит, в лице фрекен Кьелланд вы имеете хорошего друга?

— В том смысле, конечно, что она всегда добра и снисходительна ко мне; иначе и быть не может, это ясно. Время от времени меня приглашают в дом священника, и, насколько я заметил, я не являюсь нежеланным гостем, если даже мне случится зайти туда без приглашения. Фрекен Дагни давала мне читать книги, когда я был болен, она сама приносила их под мышкой.

— Что это были за книги?

— Вы хотите спросить, что это за книги, которые я могу читать и понимать?

— На этот раз вы меня не поняли: ваш вопрос очень тонок, но вы не поняли меня. А вы очень интересный человек! Нет, я хотел спросить: что за книги имеет у себя эта молодая девушка и что она сама читает? Вот что мне хотелось бы знать.

— Помню, что она мне принесла как-то «Студент-крестьянин» Гарборга, а потом давала мне «Рудина» Тургенева. В другой раз она мне читала вслух «Непримиримого» Гарборга.

— И это были ее собственные книги?

— Да, ее отца, на книгах было имя ее отца.

— Вот как... Да выпейте же еще немного; давайте, выпьемте за что-нибудь здоровье, например, за здоровье семьи Кьелланд, хотите?

Когда они выпили, Нагель сказал:

— Кстати, когда вы пришли к консулу Андресену, чтобы поблагодарить его, как вы рассказывали...

— Да, я хотел поблагодарить его за его помощь.

— Ну, да. Так флаг был вывешен уже до вашего прихода?

— Да, он велел его вывесить в мою честь; он это мне сам сказал.

Пауза.

— Да, подумайте! Но не подняли ли флаг по случаю дня рождения фрекен Фредерики?

— Да, конечно, и по этому случаю также; это весьма возможно, и это очень хорошо. Было бы позорно, если бы в день рождения фрекен Фредерики не был поднят флаг.

— Вы совершенно правы... Однако поговорим о другом: сколько лет вашему дяде?

— Ему около семидесяти лет. Нет, пожалуй, я хватил слишком много, но ему во всяком случае за шестьдесят. Он очень стар, но для своего возраста он может читать без очков.

— Как его зовут?

— Его зовут также Грегорд. Нас обоих зовут Грегорд.

— У вашего дяди есть свой собственный дом, или он нанимает помещение?

— Он нанимает комнату, в которой мы живем, но сарай для угля принадлежит ему. Нам нетрудно платить за квартиру, если вы это подумали, мы платим углем, а иногда я выплачиваю кое-что небольшой работой.

— Ваш дядя, вероятно, не разносит угля?

— Нет, эта обязанность падает на меня. Он распределяет уголь и отмеривает его, и вообще всем распоряжается, а я только разношу уголь. Ведь для меня это легче, я сильнее его.

— Ну, конечно. И у вас, конечно, есть женщина, которая готовит на вас?

Пауза.

— Извините, — ответил наконец Минута, — не рассердитесь на меня; но я готов сейчас же уйти, если вы только этого пожелаете. Пусть будет так, как вы хотите. Может быть, вы удерживаете меня здесь только для того, чтобы сделать мне приятное, хотя вам самим не доставляет никакого удовольствия слушать о том, как я живу. Весьма возможно также, что вы говорите со мной из каких-нибудь побуждений, которых я не знаю, в таком случае, это очень хорошо. Но если я теперь и уйду от вас, то меня никто не обидит, этого вам нечего бояться; я не встречу ни с каким злым человеком. Поверенный не будет стоять у меня и поджидать меня, чтобы отомстить мне, если вы этого боитесь; а если даже он и стоял там, то он, во всяком случае, не сделал бы мне ничего дурного — я в этом уверен.

— Вы, конечно, можете поступать так, как вам приятнее, но если вы останетесь, то вы доставите мне этим большое удовольствие; однако вы вовсе не должны считать себя обязанным рассказывать мне что-нибудь только из-за того, что я ссудил вам пару крон на табак. Вы можете поступать так, как вам угодно.

— Я остаюсь! Я остаюсь! — восклицает Минута. — Да благословит вас Бог! — восклицает он. — Я счастлив, что мое общество хоть сколько-нибудь рассеивает вас, хотя мне стыдно за себя самого и за то, что я сижу здесь в этом скверном платье. Я все-таки мог бы иметь более приличный вид, если бы у меня было время подготовиться: на мне надет один из старых дядиных сюртуков, и он совершенно износился, это правда, до него дотронуться нельзя. А тут еще поверенный продрал мне большую дыру: надеюсь, что вы меня простите... Нет, что касается женщины, которая бы готовила на нас, то мы обходимся без нее. Мы готовим и моем на себя сами. Это не так уж трудно, да к тому же мы упрощаем все это до последней возможности. Если мы утром варим кофе, то вечером пьем остатки, не разогревая его; с обедом то же самое — мы варим его, так сказать, раз и навсегда. Чего же нам желать лучшего в нашем положении? Ну, а стирка выпадает на мою долю; и это даже маленькое развлечение для меня, когда я не занят другим делом.

В эту минуту в гостинице раздается звонок, и слышно было, как живущие в гостинице спускаются вниз к ужину.

— Это звонили к ужину, — говорит Минута.

— Да, — отвечает Нагель.

Но он и не думает вставать и не проявляет ни малейшего нетерпения; напротив, он усаживается поудобнее и спрашивает:

— Вы, может быть, знали этого Карльсена, которого на днях нашли в лесу мертвым? Не правда ли, какой печальный случай?

— Да, очень печальный случай. Ну как мне его не знать? Это был прекрасный человек и благородная натура. Знаете, что он мне сказал как-то? Раз, рано утром в воскресенье, меня позвали к нему, это было около года тому назад, в мае. Он попросил меня снести одно письмо. «Хорошо, — сказал я, — с удовольствием сделаю это; но на мне сегодня такие неприличные башмаки — неловко показываться в них людям. Если хотите, то я пойду домой и достану где-нибудь пару других башмаков». — «Нет, это не надо, — отвечал он, — я думаю, что это ничего, если вы



только не промочите себе ног». Он даже подумал о том, не промочу ли я себе ног! Потом он потихоньку сунул мне в руку крону и дал письмо. Не успел я выйти в сени, как он снова отворил дверь и нагнал меня, лицо его сияло, и я остановился и посмотрел на него: глаза у него были полны слез. Он обнял меня, крепко прижал к себе и сказал: «Ну, отправляйтесь с письмом, старый друг, я не забуду вас. Когда я сделаюсь священником и получу место, вы должны приехать ко мне и навсегда остаться у меня. Ну, ступайте, дай Бог вам счастья». Да, так он и не получил никакого места; но если бы он остался жив, то он сдержал бы свое слово.

— Ну, и что же, вы отнесли письмо?

— Да.

— И фрекен Кьелланд очень обрадовалась этому письму?

— Но откуда вы знаете, что письмо было к фрекен Кьелланд?

— Откуда я знаю? Да ведь вы сами сказали.

— Разве я говорил вам? Это неправда.

— Хе-хе, это неправда? Уж не думаете ли вы, что я сижу здесь и лгу вам?

— Простите пожалуйста, очень может быть, что вы правы; но, во всяком случае, я не должен был говорить этого. Это случилось нечаянно. Но разве я это говорил?

— Но почему бы вам этого и не говорить? Разве он запретил вам это?

— Нет, он не запрещал.

— Так значит, она?

— Да.

— Ну, хорошо, от меня, во всяком случае, никто не узнает этого. Но понимаете ли вы, почему он умер именно теперь?

— Нет, я этого не понимаю. Случилось несчастье.

— Несчастье? Ах, да, правда! Ведь он упал и накололся на нож.

— Да, по всей вероятности, он шел задумавшись, споткнулся и упал так, что ножиком проткнул себе артерию. Ужасное несчастье.

— Не знаете ли, когда его будут хоронить?

— Завтра в полдень.

Больше они об этом не говорили. Некоторое время оба молчали. Сара просунула голову в приотворенную дверь и доложила, что ужин подан; немного погодя Нагель сказал:

— Итак, фрекен Кьелланд обручена. Какой же у нее жених?

— Ее жених, лейтенант Хансен, бравый мужчина и прекрасный человек. С ним она не будет нуждаться ни в чем.

— Что же, он богат?

— Да, его отец очень богат.

— Он купец?

— Нет, он владелец корабля. Он живет дома за два отсюда; но у него большой дом, да большего ему и не нужно; когда его сын уезжает, то дома остаются одни старики. У них есть еще дочь, но она замужем в Англии.

— А как вы думаете, сколько денег у старика Хансена?

— Может быть, миллион. Но никто этого достоверно не знает.

Пауза.

— Да,— говорит Нагель после некоторого молчания, — несправедливо все устроено на этом свете. Что, если бы у вас была хоть маленькая частица этих денег, Грегорд?

— Бог с вами, на что мне это? Ах, нет, мы должны быть довольны тем, что у нас есть.

— Да, так говорят... Но я вспомнил кое-что. У вас, вероятно, остается немного времени для другой работы, если вам приходится всюду разносить уголь, не правда ли? Ну, конечно, это так. Но я слышал, как вы спрашивали хозяина, нет ли у него еще какого-нибудь дела для вас на сегодня; вы это помните?

— Нет.

— Это было внизу, в кафе. Вы сказали хозяину, что снесли уголь на кухню, и тут же спросили, нет ли на сегодня еще какого-нибудь дела; разве вы этого не помните?

— Ах, да, но это совсем не то... А разве вы это заметили? Дело, видите ли, в том, что мне неловко было просить денег, а потому я и спросил, нет ли еще какого-нибудь дела. Вот и все. Мы находимся как раз теперь в затруднительном положении и очень рассчитывали на эту плату.

— Сколько вам могло бы понадобиться, чтобы выйти из этого затруднения? — спросил Нагель.

— Боже вас упаси! — восклицает громко Минута. — И не говорите больше об этом: вы уже помогли нам более чем надо. Все сводилось к каким-нибудь шести кронам, а теперь я сижу тут, и в кармане у меня ваши двадцать крон — да воздаст вам Господь за это! А эти шесть крон

мы должны были лавочнику за картофель и прочее. Он прислал нам счет, и мы оба ломали себе голову, как выйти из затруднения; но теперь все уладилось, и мы можем спокойно проспать эту ночь и завтра встать без забот.

Пауза.

— Ну, а теперь нам лучше всего допить вино и затем расстаться,— говорит Нагель, вставая с места.— За ваше здоровье! Надеюсь, что мы видимся не в последний раз. Вы должны непременно обещать, что опять придете ко мне; я живу в седьмом номере, как видите. Очень, очень вам благодарен за то, что посетили меня!

Нагель сказал это с самым искренним выражением и крепко пожал руку Минуты. Он проводил своего гостя до наружной двери; тут он снял свою бархатную фуражку, как сделал это раньше, и низко поклонился.

Минута ушел. Он кланялся не переставая, пока переходил через улицу, пятась задом. Он не был в состоянии произнести ни слова, несмотря на все усилия сказать хоть что-нибудь.

Войдя в столовую, Нагель вежливо извинился перед Сарой за то, что опоздал к ужину.

#### ГЛАВА IV

---

На следующее утро Иогана Нагеля разбудила Сара, которая постучала в дверь и вошла с газетами. Он наскоро просматривал их и бросал на пол одну за другой; телеграмму относительно того, что Гладстон должен был два дня не покидать постели вследствие простуды, но теперь встал, он прочел два раза и громко расхохотался после этого. Потом он лежал, закинув руки за голову, и отдался следующему течению мыслей, прерывая их время от времени громким разговором с самим собой:

«Как опасно ходить с раскрытым перочинным ножом по лесу. Ничего не стоит споткнуться так неловко, что лезвие ножа перережет зараз артерии на обеих руках. Вот хотя бы взять Карльсена, как это плохо кончилось для него...»

«Впрочем, не менее опасно разгуливать с пузырьком яда в кармане. Может случиться, что упадешь по дороге, пузырек разлетится вдребезги, осколок воткнется в несчастного человека, и яд попадет в кровь. Разве есть такие дороги, по которым было бы безопасно ходить? Так что же? А впрочем, есть безопасная дорога — это дорога, по

которой идет Гладстон. Я так и вижу практическое, умное выражение на лице Гладстона, когда он идет по дороге: как он тщательно избегает возможности оступиться, в каком согласии Провиденье и он сам заботятся о том, чтобы охранять его. А теперь, слава Богу, и последствия его простуды прошли. Гладстон будет жить до тех пор, пока не умрет от здоровья».

«Пастор Карльсен, почему ты уткнулся лицом в лужу? Неужели этот вопрос так навсегда и останется открытым: сделал ли ты это сознательно для того, чтобы скрыть предсмертную судорогу, или ты сделал это невольно, в предсмертной борьбе? Ты выбрал время, как дитя, которое боится мрака, ты выбрал светлый день, полуденный час, и ты лежал с прощальным приветом в руке. Бедняжка Карльсен, бедняжка Карльсен!»

«И почему ты выбрал лес для своего маленького остроумного предприятия? Может быть, ты хорошо знал лес и ты понимал его голос лучше, нежели голос поля, моря или дороги? По темному лесу шел мальчик весь день, тра-ла-ла-ла-ла... Вот хотя бы взять Вардальские леса, которые лежали по дороге в Гевик. Что за блаженство лежать там в полузабытьи, устремив взор вверх, черт возьми, проникая взором в самую глубину небес, хе-хе! Лежа так, в конце концов начинаешь слышать, как там наверху перешептываются и шушукуются о тебе самом. «И этот сюда же! — говорит покойная мама, — нет, если он только осмелится сунуться сюда, то я сейчас же уйду отсюда», — говорит она и делает из этого государственный вопрос. «Хе-хе! — отвечаю я, — ты не мешай мне, не мешай!» И я произношу это настолько громко, что обращаю на себя внимание двух ангелов женского пола, досточтимой дочки Иаира и Саввы Бьернсон. Хе-хе-хе!»

«Но на кой черт я здесь валяюсь и над чем смеюсь? Уж не из чувства ли превосходства? Нет, смеяться должны были бы только дети, да еще совсем молоденькие девушки, и больше никто. Смех — это рудимент, который перешел к нам еще от обезьян, отвратительный, бесстыжий звук, исходящий из гортани. Этот звук исходит из меня, когда меня пощекочут под подбородком. Кстати, что сказал мне однажды мясник Хауге, который сам смеялся очень громко и очень гордился своим смехом? Он говорил, что ни один человек, который еще вполне владеет своими пятью...»

«Нет, что за очаровательная дочка была у него! В тот день, когда я встретил ее на улице, шел дождь; она шла с ведром в руках и плакала: оказалось, что она потеряла

деньги, на которые должна была купить обед в паровой кухне. Покойная мама, ты видела с неба, что у меня не было ни единого шиллинга, которым я мог бы порадовать бедное дитя, что я рвал на себе волосы тут же на улице от отчаяния, так как у меня не было ни единого зре. В это время прошла мимо нас музыка; красивая дьякониса обернулась и сверкнула на меня глазами; потом она медленно пошла домой, понутив голову, скорбя, вероятно, над самой собой и над тем, что она бросила на меня блестящий взгляд. Но в ту минуту какой-то длинноротый человек в мягкой фетровой шляпе дернул меня за рукав — оказалось, что я чуть не попал под экипаж. Да, видит Бог, меня чуть не раздавили...»

«Шш! Раз... два... три; как они медленно бьют! Четыре... пять... шесть... семь... восемь; неужели уже восемь часов? Девять... десять. Уже десять часов! Ну, пора вставать. Но где это бьют часы? Наверяд ли в кафе. Ну, это все равно, все равно. А какой смешной скандал был вчера в кафе. Ведь Минута весь дрожал; я подросел как раз вовремя. Нет никакого сомнения в том, что он в конце концов выпил бы это пиво с пеплом от сигар и обломками спичек. Так что же из этого? Осмелюсь ли я спросить тебя, любопытный болван ты этакий: что же из этого? С какой стати суюсь я в чужие дела? Да и вообще, зачем я приехал сюда, в этот город? Или это случилось вследствие какой-нибудь катастрофы во вселенной, например, вследствие простуды Гладстона? Хе-хе-хе! Скажи-ка лучше истинную правду, дитя мое: скажи, что ты был уже на пути домой, и что тебя до такой степени тронул вид этого города, несмотря на то, что он такой крошечный и жалкий, что ты чуть не расплакался от какого-то радостного и таинственного чувства, увидев все эти флаги. Кстати: это было двенадцатого июня, а город разукрасили флагами по случаю помолвки фрекен Кьелланд. А два дня спустя я встретился с ней самой».

«И надо же было мне встретиться с ней как раз в тот вечер, когда я был в таком растерзанном душевном состоянии и не сознавал того, что делал. Теперь, когда я вспоминаю все это, то не знаю, куда деваться от стыда.

— Добрый вечер, фрекен! Я здесь чужой, извините, пожалуйста, я вышел прогуляться и не знаю, куда попал.

Минута прав, она моментально вспыхивает, а когда отвечает, то краснеет еще больше.

— А куда вам надо? — говорит она, меряя меня взглядом.

Я снимаю фуражку, держу ее в руках и стою перед ней с непокрытой головой. Я сейчас же нахожусь, что ей ответить, в то время как стою перед ней, держа фуражку в руках:

— Не будете ли вы так любезны сказать мне, далеко ли отсюда до города, но совершенно точно.

— Этого я не знаю,— говорит она,— я не знаю, на каком расстоянии отсюда находится город, но первая усадьба, которая вам попадется на этой дороге, это усадьба священника, а оттуда до города четверть мили.— И, сказав это, она хочет продолжать свой путь.

— Очень вам благодарен,— говорю я, — если усадьба священника находится по ту сторону этого леса, то позвольте мне проводить вас, если вы идете туда, или куда-нибудь дальше в этом направлении. Солнце уже село, позвольте, я понесу ваш зонтик. Я не буду вам надоедать, я не буду даже говорить, если вы этого не пожелаете, мне хочется только идти рядом с вами и слушать щебетанье птиц. Нет, не уходите, не уходите сейчас же! Почему же вы убегаете?

Но так как она все-таки убежала, не желая меня больше слушать, то я бросился вслед за ней, чтобы заставить ее выслушать мои извинения:

— Черт меня побери, если ваше ясное лицо не произвело на меня самого глубокого впечатления!

Но тут она бросилась бежать с такой быстротой, что минуты через две исчезла из виду. Свою тяжелую белокурую косу она при этом взяла в руки. Никогда не видал я ничего подобного!

Вот как все произошло. Я вовсе не хотел ее оскорблять, у меня и на уме ничего дурного не было; я готов держать пари, что она влюблена в своего лейтенанта, мне и в голову не приходило навязываться ей в этом смысле. Но это хорошо, все это хорошо. Ее лейтенант вызовет меня, может быть, на дуэль, хе-хе, он сговорится с поверенным, с поверенным из канцелярии окружного судьи, и вызовет меня...»

«А хотелось бы мне знать, даст ли поверенный Минуте новый сюртук? Подождем один день, можно подождать и два дня; но если он этого не сделает в течение двух дней, то придется сделать ему маленькое напоминание. Точка. Нагель».

«Впрочем, не лучше ли держать язык за зубами? Спокойнее всего держать гастрономический магазин, делать колбасы, раскладывать шпик, глотать сало и цитировать

Гюго. Можно иметь также лошадь и коляску, а также контору в городе; одним словом, жить по-человечески, иметь хорошие связи, принимать у себя членов стортинга, вести открытый образ жизни, иметь свой дом, жену и собаку. Точка. Нагель. А кроме того, по мере сил давать милостыню бедным».

«Я знаю одну бедную женщину здесь, когда я проходил мимо нее, то она так смущенно смотрела на меня, словно хотела попросить меня о чем-нибудь, но не осмелилась этого сделать. Ее глаза преследуют меня все время, а между тем она совсем седая; я четыре раза делал крюк, чтобы обойти ее и не встречаться с ней. Она еще не старая, она поседела не от старости, а ресницы у нее совсем черные, страшно черные, так что глаза под ними как будто тлеют. Она почти всегда ходит с корзинкой, которую прикрывает фартуком, и видно, что она стыдится этой корзинки. Когда она прошла мимо меня, то я обернулся и увидел, что она пошла на рынок; там она вынула из корзинки несколько яиц и продала их первому попавшемуся, после чего снова прикрыла корзинку своим фартуком и отправилась домой. Она живет в крошечном домике у набережной. Домик этот в один этаж и даже не выкрашен. Я видел ее раз в окне; на окне нет занавесок, но на нем стоят несколько горшочков с белыми цветами. Когда я проходил мимо, она стояла в глубине комнаты и смотрела на меня. Бог ее знает, что это за женщина, но руки у нее очень маленькие. Я мог бы дать тебе милостыню, седая девушка, но я предпочел бы оказать тебе помощь».

«А впрочем, я знаю, почему твои глаза так преследуют меня. Я догадался об этом с первой же минуты. Как это странно, что молодая любовь так долго сохраняется в сердце и потом вдруг громко заявляет о себе! Но все-таки у тебя не ее милое лицо, и ты гораздо старше ее. Увы, в конце концов она вышла замуж за телеграфиста и уехала в Кабельвог!»

«Ну что же, сколько голов, столько умов. Я и не ожидал, чтобы она полюбила меня, да этого и не случилось. С этим ничего не поделаешь... Вот как, часы пробили половину одиннадцатого... Да, да, на нет и суда нет. Но если бы ты только знала, с какой безграничной любовью я думал о тебе все эти десять лет, я никогда не забывал тебя!.. Хе-хе-хе, но ведь в этом виноват только я один, она тут не при чем. Другие не забывают только один год и потом баста, а я помню целых десять лет».

«Я окажу седой торговке яйцами помощь, да, я дам ей милостыню и окажу помощь, и все это только ради ее глаз. Ведь у меня денег куры не клюют, я только что получил шестьдесят две тысячи чистоганом за имение. Хо-хо, стоит мне только посмотреть на стол, как я вижу на нем три телеграфных документа величайшей ценности... Ай-ай, что за остроумная выдумка! Ты и агроном, и капиталист, притом ты не торопишься сейчас же продавать после первого предложения, а спокойно высыпаешься и обдумываешь все основательно. Да, вот именно, ты обдумываешь. А между тем никто даже и не удивляется этому, хотя все проделано грубо и так, чтобы по возможности бросалось в глаза. Человек, имя тебе осел! Тебя можно провести за нос по-ослиному, куда угодно».

«Вот, например, из кармана моего жилета, который висит там, торчит горлышко пузырька; это яд, это синильная кислота, я держу ее у себя ради курьеза, и у меня не хватает мужества выпить ее. Но зачем же в таком случае я ее ношу с собой, и зачем вообще я ее приобрел? Все это одно только шарлатанство и ничего больше, модное декадентское шарлатанство, реклама, фатовство. Тьфу!.. Она нежна, как майский цвет, зазноба сердца моего...»

«Или возьмем хотя бы такую невинную вещь, как моя медаль за спасение погибающих. Что называется, я заслужил ее честным образом, — чего только ни приходится делать! Случается, что спасаешь даже человеческую жизнь. Но одному Богу известно, была ли в этом действительно какая-нибудь заслуга с моей стороны. Вот судите сами, милостивые государыни и милостивые государи: у борта стоит молодой человек и плачет, его плечи вздрагивают от рыданий; когда я разговариваю с ним, он растерянно смотрит на меня и затем стремглав спускается в салон. Я следую за ним, но он уже скрылся у себя в каюте. Я беру список пассажиров, нахожу его имя и узнаю, что он направляется в Гамбург. Это было в первый вечер. С этой минуты я не спускаю с него глаз. Я наталкиваюсь на него в самых неожиданных местах и смотрю ему прямо в глаза. Зачем я это делаю? Милостивые государыни и милостивые государи, судите сами. Я вижу, как он плачет, что-то мучит его невыразимо, и он часто всматривается безумным взором в темную пучину. А мне-то что за дело до этого? Ну, конечно, мне нет никакого дела до этого, а потому судите сами и, пожалуйста, не стесняйтесь! Проходит дня два, дует противный ветер, и море в волнении. В два часа ночи он выходит на корму, я уже лежу там, притаившись,



и наблюдаю за ним, лунный свет делает его лицо желтым. Ну, дальше? Он в беспокойстве ходит туда и сюда, наконец, вытягивает руки вверх и прыгает через борт ногами вперед. Однако он не в состоянии удержать крика, который вырывается у него. Пожалел он о своем решении? Или его охватил страх в последнюю минуту? Если нет, то почему же он крикнул? Милостивые государи и милостивые государыни, что сделали бы вы на моем месте? Я вполне предоставляю вам самим решать этот вопрос. Очень может быть, что вы отнеслись бы с уважением к благородному, хотя и поколебавшемуся в последний момент мужеству этого несчастного и остались бы спокойно сидеть в своему углу; я же заорал что было мочи капитану, который стоял на своем мостике, и затем я тоже перепрыгнул через борт, да еще впопыхах бросился вниз головой. Я плескаюсь в воде, как сумасшедший, плаваю по всем направлениям и в то же время слышу, как на корабле кричат громовым голосом. Но вдруг я натыкаюсь на его руку с растопыренными пальцами, она вытянута и как бы заоченела. Он еще слегка болтает ногами. Ну, ладно, я хватаю его за шиворот, тащу его и в то же время чувствую, что он становится все тяжелее и тяжелее. Вот он становится неподвижным и перестает болтать ногами; но в конце концов он все-таки делает еще резкое движение, чтобы освободиться из моих рук. Я кружусь с ним, как в водовороте, волны то и дело окатывают нас, и мы сталкиваемся лбами, и в глазах у меня темнеет. Что мне было делать? Я скрежещу зубами и ругаюсь на чем свет стоит, и в то же время я крепко и добросовестно держу парня за шиворот все это бесконечно долгое время, пока наконец не подадут лодку. Что бы вы сделали? Я спас его, как грубый, неразумный медведь, а потом что? Но разве я уже не предоставил вам самим, милостивые государи и милостивые государи, судить? Вам вовсе незачем стесняться: меня это ничуть не касается. Но предположите, говорю я, что для этого человека было бы очень важно не приезжать в Гамбург — вот в этом-то и вся штука. Может быть, он там должен был встретиться с кем-нибудь, а ему этого не хотелось. А медаль эта за похвальный поступок, и я ношу ее в кармане. И я вовсе не думаю бросать ее свиньям. И об этом также вы можете судить, судите себе, не стесняйтесь — черт ли мне в этом? Все это так мало заинтересовало меня, что я не помню даже имени этого несчастного человека, хотя уверен, что он здравствует и по сей день. Зачем он это сделал? Может

быть, от безнадежной любви, вероятно, тут действительно была замешана какая-нибудь женщина, но я этого не знаю. А кроме того, это для меня в высшей степени безразлично. Баста!..»

«Ах уж эти женщины! Вот, например, Камма, маленькая датчанка Камма. Да хранит тебя Бог! Нежна, как горлица, предана душой и телом, и в то же время способна выжать из человека последний шиллинг — да, высосать из него все и чуть ли не пустить по миру; для этого ей стоит только склонить свою хитрую головку набок и прошептать: «Симонсен, миленький Симонсен!» Бог с тобой, Камма! Ты была полна преданности, а теперь можешь убираться к черту, мы с тобой квиты...»

«Но теперь я наконец встаю...»

«Нет, подобных женщин надо остерегаться. «Сын мой, берегись женской любви», — говорил великий писатель, или что он там такое говорил, этот великий писатель? Карльсен был слабый человек, идеалист, который умер из-за своих слабых нервов, что в свою очередь означает недостаток питания и работы на свежем воздухе... Хе-хе, и работы на свежем воздухе. «Пусть твоя сталь будет так же остра, как твое последнее «нет». Он испортил всю свою земную репутацию цитатой из Виктора Гюго. Предположим, что я вовремя встретился бы с Карльсеном хотя бы в последний день, но за полчаса до катастрофы, и он рассказал бы мне, что хочет цитировать Виктора Гюго в свой смертный час, тогда я сказал бы ему так: «Посмотрите на меня, я обладаю всеми моими пятью... — «моими пятью», сказал бы я ему. — Посмотрите на меня, я обладаю всеми моими пятью чувствами, и во имя человечества я немного заинтересован в том, чтобы вы не замарали своей последней минуты жизни цитатой из великого поэта. Знаете ли вы, что такое великий писатель? Великий писатель — это человек, который ничего не стыдится, который совершенно утратил чувство стыда. У других шутов есть мгновения, когда они наедине с самими собой краснеют за себя, но великий поэт — никогда. Берите пример с меня: если уж вы непременно хотите цитировать кого-нибудь, то цитируйте географа и не выдавайте себя. Виктор Гюго... Способны ли вы понимать комизм? Барон Леден разговаривал как-то с Виктором Гюго. Во время беседы хитрый барон Леден спросил: «Кто, по вашему мнению, величайший поэт Франции?» Виктор Гюго скорчил гримасу, стал кусать себе губы и наконец сказал: «Альфред де Мюссе — второй по величине». Хе-хе-хе! Но, может быть, вы не

понимаете комизма? А знаете ли вы, что сделал Виктор Гюго в 1870 году? Он написал воззвание, обращенное ко всем обитателям земли, в этом воззвании он строжайшим образом запрещал немецким войскам осаждать и бомбардировать Париж. «Ведь у меня в Париже живут внуки и другие родственники, и у меня нет никакого желания видеть, как их разорвет гранатой»,— заявил Виктор Гюго. Хе-хе-хе! Ах, да ведь вы неспособны понимать комизм...»

«Ну да, так и есть, башмаков у мене еще нет. Куда же девалась Сара с башмаками? Скоро одиннадцать часов, а она до сих пор не несет мне башмаков».

«Итак, мы будем цитировать географа...»

«А какая чертовски красивая фигура у этой Сары! Бедра у нее так и раскачиваются на ходу, совсем как ляжки у очень жирной кобылы. Это прямо великолепно! Хотелось бы мне знать, была ли она замужем? Во всяком случае, она не очень громко визжит, когда ей ущипнешь бок, и она, конечно, пойдет на что угодно... Ах, да, пришлось мне как-то видеть одну свадьбу, так сказать, присутствовать на ней. Гм! Милостивые государины и милостивые государи, это было однажды вечером в воскресенье на одной железнодорожной станции в Швеции, на станции Кунгсбакка. Но, пожалуйста, запомните хорошенько, что это было в воскресенье вечером. У нее были большие белые руки, а на нем был новешенький кадетский мундир, и он был такой молодой, что у него не было даже усов. Они ехали вместе из Гетеборга. Она также была совсем молоденькая, оба они были совсем дети. Я сидел и посматривал на них из-за своей газеты; мое присутствие очень стесняло их, и они чувствовали себя совсем беспомощными; все время они не сводили глаз друг с друга. Глаза у молодой девушки так и сияли, и она не могла спокойно сидеть на месте. Вдруг локомотив засвистел, и поезд остановился у станции Кунгсбакка; он схватил ее за руку, они поняли друг друга и, как только поезд остановился, поспешно выскочили из вагона. Она быстро бежит к двери, над которой написано два слова, он следует за ней по пятам. Но, Боже мой, он ошибается и входит в ту же дверь, над которой написано два слова! И они быстро запирают за собой дверь. В ту же минуту в городе раздается колокольный звон — ведь это был воскресный вечер. Они сидят в домике под громкий колокольный звон; проходит три минуты, четыре, пять минут. Куда же они девались? Они все еще там, за запертой дверью, а колокола продолжают звонить;

Боже упаси, если они опоздают на поезд! Но вот он приотворяет наконец дверь и выглядывает из-за нее. У него непокрытая голова, она стоит сейчас же позади него и одевает на него фуражку, и он оборачивается к ней и улыбается. Потом он одним прыжком сбегает с крыльца, она следует за ним, продолжая еще приводить в порядок свой туалет; и они вошли в вагон и снова сели на свои места, незамеченные никем, — нет, никто не наблюдал за ними, кроме меня. Когда молодая девушка с улыбкой взглянула на меня, то я заметил, что глаза ее искрились золотом, а ее худенькая грудь высоко поднималась и опускалась, поднималась и опускалась. Несколькими минут спустя оба они заснули; они тут же на месте погрузились в глубокий сон — так дивно они устали».

«Как вам это нравится? Милостивые государыни и милостивые государи, мой рассказ окончен. Я обхожу вон ту почтенную даму с лорнеткой и стоячим мужским воротничком, или, точнее, «синий чулок», я обращаюсь к тем трем из дам, которые не проводят свои дни со стиснутыми зубами за работой на пользу общества. Простите, если я кого-нибудь обидел, особенно я прошу прощения у уважаемой дамы с лорнеткой и с синими чулками. Ну, так и есть, она встает, она встает! Клянусь, она или собирается уходить, или хочет цитировать кого-то. А если она хочет кого-нибудь цитировать, то сделает это для того, чтобы опровергнуть меня. Если же она хочет опровергнуть меня, то она скажет следующее: «Гм! — скажет она, — у этого господина самое грубое мужское представление о жизни. И это жизнь? Вот как, он это называет жизнью! Неужели же этому господину совершенно неизвестно, что сказал об этом один из величайших мыслителей мира? Жизнь — это борьба с трольдами в нашем сердце и мозгу, говорит он...»

«Ди-де-ли, де-ля!»

«Жизнь — это борьба с трольдами, да. В сердце и в мозгу. Правильно. Милостивые государыни и милостивые государи, норвежец Пер, почтовый возница, вез однажды великого поэта. Во время пути наивный возница говорит: «С вашего разрешения, что такое, собственно, означает творить — по вашему мнению?» Великий писатель поджимает губы, выпячивает свою птичью грудь настолько, насколько это возможно, и произносит следующие слова: «Творить — это судить самого себя». И норвежец Пер был потрясен этими словами с головы до ног...»

«Одиннадцать часов. Башмаки... Черт возьми, да куда же девались мои башмаки?.. Но, если принять во внимание злосчастную привычку, присущую бульдогам, щетиниться на все и на всех, да еще в такое время, когда никто не имеет возможности колоть кого-нибудь или что-нибудь, будь он чертополохом или шиповником, дикобразом или Рошфором...»

«Высокая, бледная дама, вся в черном, с самой очаровательной улыбкой на устах подходит ко мне; она хочет мне добра, берет меня за рукав и останавливает. «Если вам удастся вызвать такое умственное движение, какое вызвал Виктор Гюго,— сказала она,— тогда вы еще можете иметь право судить»,— так она сказала.

«Хе-хе,— ответил я.— И это вы говорите мне! Да ведь я не знаю ни одного писателя, и мне не приходилось даже разговаривать ни с одним из них; ведь я агроном и с малых лет только и знал гуано да зерно, и я не был бы даже в состоянии сочинить двух слов про дождевой зонтик, не говоря уже о смерти, жизни и вечном мире!»

«Ну, да, возьмем какого-нибудь другого великого человека,— говорит она, — вы тут важничаете и обливаете грязью всех великих людей. Но великие-то люди так и остаются великими, и вы увидите, что они останутся великими в продолжение всей вашей жизни.

— Сударыня,— ответил я и почтительно склонил голову,— сударыня, великий Боже, какой низкий уровень образования, какое умственное убожество сквозит в ваших словах! Впрочем, извините, что я говорю с вами так откровенно, но если бы вы были мужчиной, а не женщиной, то я готов был бы поклясться чем угодно, что вы придерживаетесь левой партии. Я и не думаю обливать его грязью по большому или меньшему движению, которое он вызвал, я сужу о нем чисто субъективно, при помощи моего бедного мозга и моих критических способностей. Я сужу о нем, так сказать, по привкусу, который остается у меня во рту после его деятельности. И это вовсе не важничанье, это — результат субъективной логики моей крови и плоти. Важно вовсе не то, чтобы вызвать первым делом движение и заменить Кинго в общине Хейвог Лиллесандом. Дело вовсе не в том, чтобы на шуметь в кучке адвокатов, учительниц, журналистов или галилейских рыбаков, или выпустить брошюру о Наполеоне маленьком. Нет, дело в том, чтобы влиять и воспитывать власть, избранных и высоко стоящих людей, властелинов человечества, великих мира сего, Кайаф, Пилатов и кесарей.

К чему привело бы, если бы мне удалось вызвать движение среди черни, если я в конце концов буду распят на кресте? Можно собрать такую многочисленную толпу, что она в состоянии будет оторвать себе ногтями кусочек власти; можно дать ей большой нож и заставить ее колоть, рубить и резать, и ее можно провести настолько, что она делается слепым орудием и возьмет верх при голосовании; но выиграть победу, выиграть духовные ценности, подвинуть мир вперед по пути прогресса хотя бы на одну пядь — нет, это невозможно, этого не сделает толпа. Великие люди — прекрасная тема для разговоров, но люди, стоящие выше толпы, властелины, мировые гении, должны еще очень призадуматься над тем, кто такие те люди, которых называют великими. В конце концов оказывается, что великие люди остаются позади с толпой и с ничего не стоящим большинством, адвокатами, учительницами, журналистами и императором бразильским в качестве почитателей.

— Ну, так что же? — говорит иронически дама... Председатель стучит по столу и просит быть потише, но дама настаивает на своем и говорит: — Ну, раз вы не нападаете на всех великих людей, то назовите хоть кого-нибудь, назовите хоть одного, который заслуживал бы пощадить в ваших глазах. Это было бы интересно услышать.

Я отвечаю:

— С удовольствием сделал бы это. Но дело в том, что в таком случае вы поймали бы меня на слове. Если бы я назвал одного, или двух, или десять человек, то вы сделали бы из этого заключение, что я не знаю больше никого. А кроме того, зачем мне это делать? Если бы я предоставил вам выбирать, например, между Львом Толстым, Иисусом Христом и Иммануилом Кантом, то вы все-таки призадумались бы, прежде чем остановиться на ком-нибудь из них. Вы сказали бы, что все это великие люди, каждый в своем роде, и в этом отношении вся либеральная и передовая пресса согласилась бы с вами...

— Однако кто же из всех них самый великий, по вашему мнению? — перебивает она меня.

— По моему мнению, сударыня, не тот самый великий, кто быстрее всего вызывает движение, хотя надо сказать, что такие люди всегда шумят больше других. Нет, внутренний голос говорит мне, что тот самый великий, кто обогатил жизнь истинными ценностями с наибольшей положительной выгодой для людей. Великий террорист — величайший из всех, это рычаг, сдвигающий миры.

— Но из всех тех, которых вы называли, конечно, Христос...

— Ну да, конечно, Христос,— спешу я ответить.— Вы совершенно правы, сударыня, и я очень рад, что мы в этом отношении сходимся с вами... Нет, вообще я очень мало придаю значения способности вызывать движение и дару проповедничества, этому чисто внешнему дарованию никогда не лезть за словом в карман. Что такое проповедник, профессиональный проповедник? Это человек, который в качестве посредника приносит только отрицательную пользу, это торговый агент, продающий товары. И чем больше он продает товаров, тем большей славой он пользуется. Хе-хе, чем больше он будет выкрикивать свой товар, тем больше он расширит дело. Но какой толк объяснять моему доброму соседу Ола Нордистуэну взгляд Фауста на жизнь?! Уж не изменит ли это образ мысли грядущего поколения?

— Но что же будет с Ола Нордистуэном, если никто...

— Пусть Ола Нордистуэн провалится в преисподнюю! — прерываю я ее.— Ола Нордистуэну нечего больше делать на этом свете, как только ждать смерти, или, вернее, постараться убраться отсюда как можно скорее. Ола Нордистуэну суждено удобрить землю. Он представляет собою одного из тех солдат, которых Наполеон попирал копытами своей лошади, вот что такое Ола Нордистуэн, если хотите знать это. Ола Нордистуэн, пусть черт пляшет на мне, даже не начало и уж никоим образом не результат чего бы то ни было; он даже не запятая в великой книге рока, а просто пятно на бумаге. Вот что такое Ола Нордистуэн!..

— Тише, ради Бога, успокойтесь! — говорит дама, совершенно перепуганная, и в недоумении смотрит на председателя, не укажет ли он мне на дверь.

— Хорошо,— отвечаю я,— хе-хе-хе, хорошо, больше я не скажу ни слова.— Но в эту минуту взгляд мой падает на ее очаровательный рот, и я говорю: — Извините, сударыня, что я задержал вас так долго своей болтовней. Позвольте поблагодарить вас за ваше внимание. У вас необыкновенно очаровательный рот, когда вы улыбаетесь, прощайте!

Но тут все ее лицо заливают яркая краска, и она приглашает меня к себе домой. Так-таки к себе домой, туда, где она живет. Хе-хе! Живет она там-то и там-то, на такой-то улице, в доме номер такой-то; ей очень хотелось бы побеседовать со мной еще относительно всего

этого; она вовсе не согласна со мной и хотела бы многое возразить мне. Если я приду завтра вечером, то застану ее совершенно одну. Так приду ли я завтра вечером? Благодарю. До свидания!

В конце концов оказалось, что ей надо было только показать мне новое одеяло с национальным рисунком, сотканное в Халлингдале».

«Де-ля! А солнце светит на меня...»

Он вскочил с кровати, поднял штору и выглянул в окно. Яркое солнце заливало всю площадь, стояла прекрасная погода. Он решил воспользоваться небрежностью Сары, которую та проявила, не подав ему вовремя башмаков, и быть с ней несколько пофамильярнее. Посмотрим, что она собою представляет, эта деревенская девушка, у которой такие лукавые глаза.

Когда она вошла, он без дальнейших рассуждений обнял ее за талию.

— Отстаньте! — сказала она сердито и оттолкнула его от себя. Тогда он спросил очень холодно:

— Почему вы мне до сих пор не приносили моих башмаков?

— Простите, пожалуйста,— ответила Сара.— Но у нас сегодня стирка, а в такие дни у нас всегда очень много работы.

До двенадцати часов он никуда не выходил, а потом отправился на кладбище, чтобы присутствовать на похоронах Карльсена. По обыкновению, он был в своем гороховом костюме.

## ГЛАВА V

---

Когда Нагель пришел на кладбище, то там еще никого не было. Он подошел к вырытой могиле и заглянул в нее: на самом дне лежали два белых цветка. Кто бросил их туда и с какой целью? «Эти белые цветы я где-то уже раньше видел»,— подумал он. Вдруг он вспомнил, что еще не брился. Он посмотрел на часы, с минуту подумал и затем быстро пошел в город. На площади он увидел поверенного из канцелярии окружного судьи, он шел к нему навстречу. Нагель пошел прямо на него, глядя ему в глаза, но никто из них ничего не сказал и не поклонился. Нагель пошел в парикмахерскую. В эту минуту послышался похоронный звон.



Нагель вовсе не торопился, он ни с кем не заговорил, не произнес ни одного слова, но начал рассматривать картинки, развешанные на стенах, переходя от одной к другой и подробно разглядывая каждую в отдельности. Наконец очередь дошла до него, и он сел в кресло.

Выйдя на улицу, он снова увидел поверенного из канцелярии окружного судьи; поверенный как будто поджидал кого-то. В левой руке у него была палка, но едва он увидел Нагеля, как взял ее в правую руку и начал размахивать ею. Оба медленно шли друг другу навстречу. «А у него не было палки, когда я его только что встретил,— сказал Нагель самому себе.— Она не новая, он не купил ее только что, а, наверное, взял у кого-нибудь. Это испанская тросточка».

Когда они поровнялись друг с другом, поверенный остановился; оба они остановились почти сразу. Нагель сдвинул на лоб свою бархатную фуражку, как бы желая почесать себе затылок, и потом снова поправил ее; а поверенный энергично стукнул палкой о землю и оперся на нее. Так стоял он несколько секунд, продолжая упорно молчать. Потом он вдруг выпрямился, повернулся к Нагелю спиной и пошел своей дорогой. Минуту спустя Нагель увидал, как его спина исчезла за углом парикмахерской.

Эта немая сцена разыгралась в присутствии нескольких свидетелей. Среди них был человек, продававший лотерейные билеты и видевший все это. В некотором отдалении сидел торговец гипсовыми изделиями, и он также наблюдал эту сцену. Нагель узнал в этом продавце одного из посетителей кафе, присутствовавших накануне при его столкновении с поверенным; это он-то и вступился за него во время объяснения с хозяином.

Когда Нагель во второй раз пришел на кладбище, то священник говорил уже надгробное слово. На кладбище собралась масса народу. Нагель не подошел к могиле и уселся на большой новой мраморной плите со следующей надписью: «Вильгельмина Меек. Родилась 20-го мая 1873 года, скончалась 16-го февраля 1891 года». Плита была совершенно новая, и видно было, что земля вокруг нее была недавно насыпана.

Нагель подозвал к себе маленького мальчика.

— Видишь вон того человека в коричневом сюртуке?— спросил он.

— Да, того, в фуражке? Это Минута.

— Поди и попроси его сюда.

Мальчик пошел.

Когда Минута подошел к Нагелю, тот встал, подал ему руку и сказал:

— Здравствуйте, мой друг. Очень рад снова видеть вас. А вы получили сюртук?

— Сюртук? Нет еще. Но я, наверное, его получу,— ответил Минута.— Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за вчерашний вечер. Спасибо вам за все! Да, да, вот мы и хороним Карльсена! Да, Боже мой, надо с этим примириться!

Они оба уселись на мраморной плите и стали разговаривать. Нагель вынул из кармана карандаш и стал им писать что-то на плите.

— Кто здесь похоронен? — спросил он.

— Вильгельмина Меек. А впрочем, мы называли ее просто Мина Меек, для краткости. Она была почти ребенком: я думаю, ей не было еще и двадцати лет.

— Нет, ей не было и восемнадцати лет, судя по надписи. Это была тоже хорошая девушка?

— Как вы странно это спрашиваете, но...

— Я обратил внимание на прекрасную способность, которой вы обладаете. Вы обо всех людях отзываетесь хорошо.

— Если бы вы только знали Мину Меек, то вы были бы вполне согласны со мной, я в этом уверен. Это была необыкновенно добрая душа. Если кого-нибудь Господь и сделал ангелом, то именно ее.

— Она была обручена?

— Обручена? Нет, ничего подобного. По крайней мере, я про это ничего не знаю. Конечно, она не была обручена; она постоянно молилась и часто громко разговаривала с Господом даже на улицах во всеуслышание. И тогда люди останавливались и слушали ее: все любили Мину Меек.

Нагель сунул карандаш в карман. На плите было что-то написано, какое-то стихотворение, и черные строки некрасиво выделялись на белом мраморе.

Минута сказал:

— Вами очень интересуются. Я стоял там и слушал надгробное слово, но я заметил, что большая часть присутствующих на похоронах была больше занята вами.

— Мною?

— Да. Многие перешептывались и спрашивали, кто вы такой. Вон они стоят и смотрят сюда.

— Кто эта дама с большим черным пером на шляпе?

— Та, у которой зонтик с белой ручкой? Это Фредерика Андресен, фрекен Фредерика, о которой я вам говорил.

А вон та, что стоит рядом с ней и как раз сюда смотрит, это дочка полицмейстера; ее зовут фрекен Ольсен, Гудрун Ольсен. Я всех их знаю. Дагни Кьелланд также здесь; на ней сегодня черное платье, оно, пожалуй, идет ей больше всех других, вы видели ее? А впрочем, все сегодня в черном, так это и должно быть; а я сижу тут и болтаю глупости. Вы видите этого господина в синем пальто и черных очках? Это доктор Стенерсен, но он не уездный врач, он занимается частной практикой и только в прошлом году женился. Его жена стоит вон там подальше: не знаю, видите ли вы маленькую смуглую даму с шелковой отделкой на пальто? Да, это его жена. Она немного болезненна и потому всегда должна тепло одеваться. А вот идет и поверенный...

Нагель спросил:

— Не можете ли вы мне показать жениха фрекен Кьелланд?

— Нет, ее жених лейтенант Хансен. Его здесь нет, он в плавании; он уехал несколько дней назад, сейчас же после обручения.

После короткого молчания Нагель спросил:

— На дне могилы лежали два цветка, два белых цветка — не знаете ли вы, откуда они?

— Как вам сказать,— ответил Минута.— То есть... вы спрашиваете? Это вопрос?... Право, мне совестно это рассказывать: может быть, лучше было бы прикрепить их к крышке гроба, я мог бы попросить об этом и не швырять цветов таким образом, но что такое два несчастных цветочка? И куда бы я их не положил, их не стало бы больше от этого. А потому я встал сегодня рано утром, в начале четвертого часа, вернее даже сказать, ночью и положил их на дно могилы. Я сам спустился в могилу и положил их там, и два раза громко попрощался с ним, пока стоял в его могиле. Это произвело на меня такое сильное впечатление, что я потом пошел в лес и ходил там, закрыв лицо руками от горя. Как странно расставаться с кем-нибудь навсегда. И хотя Иенсен Карльсен был гораздо выше меня во всех отношениях, но он был все-таки моим хорошим другом.

— Так значит, цветы были от вас?

— Да, от меня. Но я сделал это вовсе не для того, чтобы потом хвастать этим. Бог свидетель. Да и стоит ли говорить о таких пустяках? Я купил их вчера вечером после того, как возвратился домой от вас. Вышло так, что дядя дал мне полкроны на мои собственные расходы из

тех денег, которые я получил от вас; он так обрадовался этим деньгам, что чуть не сшиб меня с ног. Да он еще придет вас благодарить за них, да, да, придет, я в этом уверен. И вот, когда я получил полкроны, то вдруг вспомнил, что у меня не приготовлено для похорон цветов, и я пошел на набережную...

— Вы пошли на набережную?

— Да, к одной девушке, которая там живет.

— В одноэтажном доме?

— Да.

— У этой девушки седые волосы?

— Да, совсем белые; а вы видели ее? Она дочь капитана корабля, но она очень бедна. Она сперва ни за что не хотела брать полкроны, которые я ей давал, но я положил деньги на стул, несмотря на то, что она протестовала и несколько раз отказывалась. Она такая робкая и, наверное, часто страдает от своей скромности.

— Вы знаете, как ее зовут?

— Марта Гуде.

— Марта Гуде?

Нагель вынул свою записную книжку и, записав ее имя, сказал:

— Ведь она не была замужем?

— Нет. Она долго путешествовала с отцом, пока он был капитаном, но после его смерти она живет здесь.

— А родственников разве у нее нет?

— Право, не знаю. Кажется, что нет.

— Чем же она живет?

— Бог ее знает, чем она живет. Никто этого не знает. Впрочем, она наверное получает некоторую помощь от благотворительного общества.

— Так вы, значит, были у этой девушки, у Марты Гуде; как у нее все устроено в квартире?

— Что же может быть особенного в старой, бедной хижине? Там стоят кровать, стол и два стула; а впрочем, я припоминаю теперь, что там три стула, так как один стоит в углу у кровати: это, собственно, кресло, обтянутое красным плюшем, но оно может стоять только у стены, такое оно поломанное и ветхое, а больше, кажется, там ничего нет.

— Неужели там действительно ничего больше нет? А часов на стене нет, или картинок каких-нибудь, или чего-нибудь подобного?

— Нет, ничего нет. Но почему вы спрашиваете?

— Ну, а это кресло, которое может стоять только у стены, я хочу сказать, кресло, обтянутое красным плюшем, какой вид оно имеет? Оно очень старое? И почему оно стоит именно у кровати? На нем нельзя сидеть? Это кресло с высокой спинкой?

— Да, с высокой спинкой, а впрочем, я не помню.

У могилы раздалось пение. Бросать землю в могилу кончили. А когда прекратилось пение, то на некоторое время наступила полная тишина; потом толпа начала расходиться в разные стороны. Большая часть провожавших направилась к большим воротам кладбища, но многие остановились и разговаривали друг с другом. Группа мужчин и дам пошла в том направлении, где стояли Минута и Нагель; все это были молодые люди и молодые девушки, которые блестящими удивленными глазами оглядывали обоих мужчин. Дагни Кьелланд вся вспыхнула, она смотрела прямо перед собой, не глядя ни направо, ни налево; поверенный также не поднимал глаз и разговаривал с одной из молодых девушек.

В ту минуту, когда это общество проходило мимо Нагеля и Минуты, доктор Стенерсен вдруг остановился. Он сделал знак Минуте, и тот подошел к нему. Нагель остался сидеть на плите.

— Не можете ли вы попросить этого господина... — сказал доктор. Больше ничего не было слышно. Но, немного спустя, доктор громко произнес имя Нагеля, и тот встал. Он снял фуражку и низко поклонился.

Доктор извинился: ему дано неприятное поручение — одна из дам, с которыми он теперь шел, фрекен Меек, просит его быть поосторожнее с надгробной плитой и не сидеть на ней. Эту плиту только что положили, фундамент еще совсем свежий, а земля такая рыхлая, что тяжелый камень может неравномерно осесть. Об этом просит сестра покойной, погребенной под этой плитой.

Нагель несколько раз извинился. С его стороны это была непростительная рассеянность, небрежность, и он вполне понимает беспокойство фрекен относительно надгробной плиты. Он также поблагодарил доктора за предупреждение.

Между тем они пошли вперед. Когда они дошли до ворот, Минута распрощался с ними, и доктор остался с Нагелем вдвоем. Только теперь они представились друг другу.

Доктор спросил:

— А вы собираетесь на некоторое время поселиться здесь?

— Да,— ответил Нагель.— Надо следовать доброму обычаю: проводить лето в деревне, отдыхать и подкрепляться к зиме, чтобы потом с новыми силами приниматься за работу... А какой это славный городок.

— Откуда вы? Я прислушиваюсь к вашему говору и стараюсь определить, из какой вы местности.

— Родом я из Финмаркена, я — квен. Но я жил в разных местах, и тут и там.

— Вы теперь приехали из-за границы?

— Да, не издалека, из Гельсингфорса.

Некоторое время они говорили о разных пустяках, но вскоре перешли на другие вопросы, заговорили о выборах, о неурожае в России, о литературе и о покойном Карльсене.

— Как вы думаете, вы хоронили сегодня самоубийцу?— спросил Нагель.

Доктор не мог этого сказать, или не хотел. Это его не касалось, и он не желал вмешиваться в подобные дела. Мало ли о чем болтают. А впрочем, почему бы этому молодому человеку и не быть самоубийцей? Собственно, все теологи должны были бы наложить на себя руки.

— Но почему же?

— Почему? Потому что роль их окончена, и в наш век они сделались лишними. Люди начали думать самостоятельно, и религиозное чувство все более и более сглаживается в них.

«Левый!» — подумал Нагель. Он не может понять, какая выгода будет людям в том, что будут уничтожены все символы, вся поэзия. Впрочем, это еще вопрос, сделались ли теологи лишними в наш век, тем более, что религиозное чувство вовсе не уменьшается.

— Конечно, я не говорю о низших слоях народа,— сказал доктор,— хотя и там это замечается все больше и больше; но у образованных людей это чувство несомненно ослабеваает... А впрочем, не будем говорить об этом, мы придерживаемся слишком различных точек зрения.

Доктор был свободомыслящий, он так часто слышал эти возражения, что уже забыл и счет им. А разве это изменило его образ мыслей? В продолжение двадцати лет он оставался все тем же. В качестве врача он помогал людям освобождаться от души. Нет, из суеверия он уже давно вырос...

— Что вы думаете о выборах? — спросил он Нагеля

— О выборах? — Нагель засмеялся.— Я жду самых неблагоприятных результатов,— сказал он.

— И я также,— сказал доктор.— Это было бы позором, если бы министерство не получило большинства при такой безусловно демократической программе.

Доктор был левым и радикалом, и он стал им с тех пор, как приобрел способность думать. Все дело в том, уверял он, что у них, левых, слишком мало средств.

— Вы и другие люди со средствами должны были бы поддерживать нас,— прибавил он.— Ведь теперь дело идет о будущем всей страны.

— Я со средствами? — спросил Нагель.— Увы, с моими средствами дело обстоит очень плохо.

— Ну да, если даже вы и не миллионер, то все-таки... Кто-то рассказывал, будто вы настоящий богач, что вы владеете поместьем в шестьдесят две тысячи крон.

— Хе-хе-хе, вот так потеха! Все дело ограничивается тем, что я на этих днях получил маленькое наследство после матери в несколько тысяч крон. Вот и все. Поместья у меня нет никакого, это какая-то мистификация.

Между тем они незаметно дошли до дома доктора, двухэтажного желтого дома с верандой. Краска во многих местах облупилась, крыша была по краям поломана. В верхнем этаже в одном из окон не хватало стекла, занавеси были далеко не первой свежести.

На Нагеля неприятно подействовал внешний беспорядочный вид дома, и он хотел сейчас же идти дальше, но доктор сказал:

— А вы не зайдете к нам? Нет? Но я надеюсь, что мы еще будем иметь удовольствие видеть вас в нашем доме в другой раз. Вы доставите большое удовольствие как моей жене, так и мне. Но, может быть, вы зайдете сейчас познакомиться с моей женой?

— Но ваша жена была на кладбище, она едва ли успела возвратиться домой.

— Вы правы, она возвращалась с кладбища с другими. В таком случае, загляните к нам в другой раз, когда будете проходить мимо.

Нагель пошел в гостиницу: он уже входил в дверь, как вдруг вспомнил что-то. Он щелкнул пальцами, рассмеялся коротким смехом и сказал громко:

— Интересно было бы посмотреть, остались ли там стихи?

И он снова пошел на кладбище и остановился перед надгробным камнем Мины Меек. Нигде не было видно ни одного человека. Но стихи были стерты. Кто это сделал? От стихов не осталось ни единого следа и ни одной буквы.

На следующее утро Нагель встал в благодушном и радостном настроении. После того, как он проснулся, и пока он лежал в постели, в нем мало-помалу произошла перемена: ему казалось, что потолок его комнаты поднимается все выше и выше до бесконечности и наконец превращается в беспредельный голубой небесный свод. И в то же время он почувствовал, будто его обвеивает мягким ласкающим ветерком, как если бы он лежал на зеленой траве. В комнате раздавалось жужжание мухи; было теплое летнее утро.

Он оделся в одну минуту, вышел из гостиницы, не позавтракав, и стал бродить по городу. Было 11 часов.

Из каждого дома уже доносились звуки рояля, в каждом квартале в открытые окна вырывались самые разнообразные мелодии, а где-то на улице нервная собака вторила этим звукам протяжным воем. На душе у Нагеля стало радостно и светло, он невольно стал напевать что-то про себя, а проходя мимо одного старика, который поклонился ему, он воспользовался случаем и сунул ему в руку шиллинг.

Он дошел до большого белого дома. Во втором этаже открывается окно, белая тонкая рука надевает крючок. Занавеска еще колышется, рука еще лежит на крючке, и Нагель догадывается, что кто-то стоит за занавеской и наблюдает за ним. Он остановился и стал пристально смотреть вверх; он стоял, не двигаясь с места, больше минуты; но никто так и не появился. Он посмотрел на дощечку на дверях и прочел: «Ф. М. Андресен, датское консульство».

Нагель хотел уже уходить, но в эту минуту фрекен Фредерика высунула из окна свое продолговатое аристократическое лицо, и ее удивленные глаза устремились на него. Он остановился, взгляды их встретились, и щеки фрекен Фредерики начали медленно покрываться румянцем, но, как бы бравируя, она подтянула слегка вверх свои рукава и облокотилась о подоконник, положив на него свои локти. Она долго лежала так, не меняя позы, и Нагель должен был положить конец этой сцене и пойти дальше. Странный вопрос мелькнул у него в голове: не стояла ли молодая девушка перед окном на коленях? «В таком случае,— подумал он,— комнаты в квартире консула очень низкие, потому что окно было едва ли выше шести футов, а от верхнего края окна до крыши было не более одного фута». Ему самому было смешно, что его занимают такие пустяки;



на кой черт ему было интересоваться квартирой консула? И он пошел дальше.

На пристани работа была в полном разгаре. Грузчики, служащие таможни и рыбаки сустились, смешавшись в общую кучу, и каждый был поглощен своим собственным делом; цепи на кранах гремели, пароходы подавали сигналы, и два парохода засвистели почти одновременно, готовясь отчалить от пристани. Поверхность моря была зеркальная, солнце щедро обливало ее своими лучами и превращало в золотую массу, в которую были как бы впаяны корабли и лодки. С одного громадного трехмачтового судна, стоявшего вдаль, доносились звуки маленькой шарманки, и когда пароходные свистки и лязг цепей умолкали на мгновение, то эта печальная мелодия производила впечатление дрожащего, замирающего голоса молодой девушки. На трехмачтовом судне дурачились и принялись даже отплясывать польку под звуки печальной песенки.

Взгляд Нагеля упал на крошечную девочку, стоявшую у пристани и прижимавшую к себе кошку; кошка терпеливо переносила это и безо всякого сопротивления висела на руках девочки, причем задние ее ноги почти касались земли. Нагель погладил девочку по щеке и заговорила с ней:

— Это твоя кошка?

— Да. Два, четыре, шесть, семь...

— А, да ты умеешь считать!

— Да. Семь, восемь, одиннадцать, два, четыре, шесть, семь...

Он пошел дальше. В той стороне, где находилась усадьба священника, вдруг снизу стрелой взлетел опьяненный солнечными лучами белый голубь, потом понесся в сторону и исчез за верхушками деревьев. Он сверкнул в воздухе, словно серебряная стрела, и исчез бесследно. Где-то в отдалении раздался короткий, почти беззвучный выстрел, и вслед за этим по другую сторону залива поднялось легкое синеватое облачко дыма. Когда он дошел до последней пристани, то прошел еще несколько раз взад и вперед по пустынной набережной, а потом машинально поднялся на гору и пошел в лес. Он шел, все более и более углубляясь в лес, добрых полчаса и наконец остановился на узенькой тропинке. Вокруг него царила мертвая тишина, не видно было даже ни одной птички, а небо было ясное и безоблачное. Он сошел с тропинки и сделал несколько шагов в сторону; там он нашел сухое местечко и лег на спину, вытянувшись во всю длину. Направо от него

находилась усадьба священника, налево — город, а над ним расстился беспредельный океан лазурного неба.

Что, если бы очутиться там, в вышине, бродить между солнцами и чувствовать, как кометы обвивают тебе лицо своими хвостами! Как мала земля и как ничтожны люди: стоит ли вообще быть человеком! Трудисься в поте лица своего, тянешь лямку из года в год, и для чего? Для того, чтобы в конце концов все-таки исчезнуть, да, несмотря ни на что, все-таки исчезнуть! Нагель схватился за голову. О, да, дело кончится тем, что и сам он уберется со света и положит этому конец. Хватит ли у него когда-нибудь духу действительно решиться на это? Да. И, видит Бог, он не отступится от своего решения в последнюю минуту. И его вдруг охватил восторг при мысли о том, что у него есть еще в запасе этот простой выход; на глазах у него выступили слезы, и он громко дышал от волнения. Ему уже казалось, что он сидит в ладье, которая тихо колышется посреди безбрежного небесного океана, что в руках у него серебряная удочка, и что он удит, тихо напевая. А ладья была из благоухающего дерева, и весла сверкали наподобие белых, распростертых крыльев; парус же был из голубого шелка, в виде полумесяца.

Он весь трепетал от радостного чувства, он забылся, охваченный восторгом, и душа его растворилась в жгучих солнечных лучах. Мертвая тишина навела на него состояние опьяняющего блаженства, ничто не нарушало его настроения, лишь высоко в воздухе раздавались глухие звуки, исходившие от гигантской машины, — это Бог вертел Свое колесо. Лес застыл, ни один лист не шелохнулся, не двигалась ни одна игла на хвойных деревьях. Нагель весь съежился от блаженства, подобрал под себя колени и трепетал всем телом — так все было прекрасно вокруг него. Кто-то позвал его, он откликнулся: «Да!» — и стал прислушиваться. Но никто не показывался. Как странно, ведь он ясно слышал, как его позвали; но он и не думал больше об этом. Может быть, ему только почудилось, во всяком случае, это не могло ему помешать. Он находился в каком-то загадочном состоянии, его наполняло душевное блаженство; в нем трепетал каждый нерв, внутри его раздавалась музыка, он чувствовал близкое родство со всей природой, с солнцем, с горами и со всем, что его окружало, его охватывала атмосфера, насыщенная его собственным «я», и ему ясно говорили об этом каждое дерево, каждая кочка и каждая былинка. Душа его выросла и стала полнозвучной, как орган, и он никогда уже больше не

забывал этой сладостной музыки, которая переливалась волной в его крови.

Так он лежал еще некоторое время, наслаждаясь одиночеством. Вдруг он услышал с тропинки шаги, настоящие шаги, он в этом не ошибался. Он вытянул шею и увидел человека, идущего из города. Человек этот нес под мышкой длинный хлеб и вел за собой на веревке корову: он поминутно вытирал пот с лица и, вследствие жары, снял с себя куртку, но шея у него была все-таки дважды обмотана красным шерстяным шарфом. Нагель лежал тихо и наблюдал за крестьянином. Да, вот он каков, этот настоящий поселенец-норвежец, хе-хе, да, вот он, прирожденный крестьянин, с ковригой хлеба под мышкой и с коровой, которая следует за ним по пятам. О, что за зрелище! Хе-хе-хе-хе-хе, да поможет тебе Бог, благонамеренный норвежский викинг! Распустил бы ты хоть немного свой шарф и выпустил бы из него вшей! Но, чего доброго, на тебя пахнуло бы тогда свежим воздухом, и ты умер бы от этого. А печать оплакивала бы твою безвременную кончину, и этот сюжет заполнил бы целый номер газеты; но для того, чтобы предотвратить повторение чего-либо подобного, либеральный член стортинга Ветле Ветлесен внесет предложение о строгой охране национальных паразитов.

В голове Нагеля проносилась одна горькая саркастическая мысль за другой. Он встал, недовольный и возбужденный, и пошел. Нет, в конце концов всегда оказывалось что он прав,— повсюду одни лишь вши, старый сыр и катехизис Лютера. А люди — это мещане средней величины, живущие в трехэтажных хижинах. Они не доедают и не допивают, ублажают себя тодди и выборной политикой и изо дня в день торгуют зеленым мылом, медными гребнями и рыбой. А по ночам, когда гремит гром и сверкает молния, они лежат, трясутся от страха и бормочут молитвы Иогана Арендта. Да, да, укажите хоть на одно единственное исключение, на выдающееся преступление, на грех совершенно необычайный. Но не говорите про эти смешные и жалкие азбучные пригрешения, нет, покажите редкий, ужасающий разврат, от которого становятся волосы дыбом, небывалое злодейство, королевский грех, полный грубой красоты ада. А это все — одна мелочь!.. Каково ваше мнение о выборах, милостивый государь? Исход их внушает мне величайшее опасение...

Но когда он потом снова проходил мимо пристани и увидел сутолоку и оживление, царившие там, то мало-по-

малу у него стало легче на душе, он развеселился и принялся напевать что-то про себя. Против такой погоды невозможно было устоять, она была слишком хороша в этот солнечный июньский день. Весь маленький городок утопал в солнечных лучах и сверкал, словно он находился в сказочном царстве.

Когда он входил в гостиницу, вся его недавняя горечь была уже забыта им; в его сердце не было злобы, и ему снова казалось, что он покачивается в ладье из благоухающего дерева с голубым шелковым парусом в виде полумесяца.

Это настроение не покидало его целый день. Вечером он снова вышел, снова направился к морю и приходил в восторг от всяких пустяков. Солнце садилось. Ослепительные жгучие лучи его уже утратили свою силу и мягко освещали поверхность моря; даже шум, доносившийся с кораблей, утих. Нагель заметил, что на берегу залива тут и там стали подниматься флаги, в городе также появилось несколько флагов, и немного спустя работа на пристани прекратилась.

Он не обратил внимания на это и снова отправился в лес, где бродил некоторое время, потом пошел к усадьбе священника, подошел к службам и заглянул во двор. Затем он опять углубился в лес, зашел в самое темное место, какое только мог найти, и уселся на камне. Он сидел, подперев голову одной рукой, а другой барабанил по колену. Долго не двигался он с места, может быть, целый час, а когда он наконец встал, чтобы уйти, солнце уже успело закатиться. Первая дымка сумерек уже опустилась на город.

Когда он вышел из лесу, то был поражен неожиданностью. Он увидел повсюду кругом на возвышенностях множество костров, он насчитал их не менее двадцати, они пылали во всех направлениях, словно маленькие солнца. Залив был усеян лодками, в которых то и дело вспыхивали красные и зеленые огоньки,— это жгли бенгальские спички. С одной лодки, в которой пел квартет, было пущено даже несколько ракет. По всем направлениям двигались толпы народа, парходная пристань чернела людьми, которые сидели и ходили.

У Нагеля невольно вырвался крик изумления. Он обратился к одному человеку и спросил, что значат эти костры и флаги. Человек посмотрел на него, сплюнул в сторону, снова посмотрел на него и ответил, что сегодня двадцать третье июня, канун Иванова дня. Вот как, канун

Иванова дня! А впрочем, это совершенно верно, в этом нет никакого сомнения, и число соответствует этому. Подумать только, канун Иванова дня! Нагель радостно потер руки и также пошел к пароходной пристани, и все время он повторял про себя, что ему необыкновенно повезло сегодня.

В кучке дам и мужчин он издали увидел кроваво-красный зонтик Дагни Кьелланд, а когда он заметил в этой группе также и доктора Стенерсена, то он, недолго думая, подошел к нему. Он поклонился, пожал доктору руку и продолжал стоять довольно долго с непокрытой головой. Доктор представил его обществу; фру Стенерсен протянула ему руку, и он сел рядом с ней.

У нее было бледное лицо с землистым оттенком, и это придавало ей болезненный вид, но она была очень молода, едва ли ей было больше двадцати лет. Она была очень тепло одета.

Нагель одел свою фуражку и сказал, обращаясь ко всем:

— Прошу извинить меня, что я врываюсь в ваше общество, что я явился незваным.

— Ах, что вы, нам только приятно,— прервала его любезно фру Стенерсен.— Может быть, вы даже споете нам что-нибудь?

— Нет, петь я не могу,— ответил он, — я не одарен никакими музыкальными способностями.

— Напротив, очень хорошо, что вы пришли; мы как раз говорили о вас,— заметил доктор.— Ведь вы играете на скрипке?

— Нет,— ответил Нагель, отрицательно качая головой, и при этом он улыбнулся.— Нет, я не играю.— И вдруг без всякого повода он встает и говорит с блестящими глазами: — А у меня сегодня так радостно на душе. Весь день я чувствовал себя необыкновенно хорошо, с самого утра, с той минуты, как открыл глаза; я ходил в продолжение десяти часов как в каком-то блаженном сновидении. Представьте себе, меня все время преследует такое чувство, будто я сижу в ладье из благоухающего дерева с голубым шелковым парусом в виде полумесяца. Разве это не прекрасно? Благоухания, которое распространяет лодка, я не могу описать, я не мог бы описать его при всей моей способности находить подходящие слова. Но вы представьте себе только: мне кажется, что я сижу в этой ладье посреди океана и ловлю рыбу на серебряную

удочку. Простите, но не находят ли присутствующие дамы, что это... Нет, право, я не знаю, как это выразить.

Ни одна из дам не ответила ему; они в смущении смотрели друг на друга и спрашивали взглядом, как быть. Но в конце концов одна за другой начали улыбаться, они были безжалостны и даже громко расхохотались.

Нагель переводил глаза с одной на другую, глаза его еще блестели, и видно было, что он действительно думал о ладье с голубым парусом. Но обе его руки слегка дрожали, хотя лицо его оставалось спокойным.

Доктор пришел ему на помощь и сказал:

— Да, это в некотором роде галлюцинация, которая...

— Нет, простите,— ответил он.— А впрочем, почему бы и нет? Дело не в том, как вы это назовете. Я весь день находился сегодня во власти каких-то чар — уж не знаю, право, галлюцинация это или что-нибудь другое. Это началось с утра, пока я еще лежал в постели. Я услышал жужжание мухи, и это было мое первое сознательное впечатление после того, как я проснулся; потом я увидел луч солнца, который прорвался сквозь дыру в занавеске, и мною сразу овладело светлое и радостное настроение. В душе у меня появилось ощущение лета... Представьте себе легкий шелест травы и представьте себе, что этот шелест проникает в самую глубь вашего сердца. Галлюцинация — да, пожалуй, это была галлюцинация, а впрочем, не знаю; но обратите внимание на то, что я должен был находиться в состоянии особенной восприимчивости для того, чтобы услышать жужжание мухи именно в тот момент, и что в тот момент мне нужен был именно такого рода свет и в таком количестве, а именно один только луч, ворвавшийся в дыру занавески, и так далее. Позже, когда я встал и вышел на улицу, то я прежде всего увидел хорошенькую даму в окне, — при этих словах Нагель бросил взгляд на фрекен Андресен, которая опустила глаза, — потом я увидел множество судов, а потом маленькую девочку с кошкой на руках, и так далее и так далее, одним словом, все произвело на меня известное впечатление. Вслед за тем я пошел в лес и там, лежа на спине и пристально глядя в небо, я увидел ладью и полумесяц.

Дамы опять засмеялись; по-видимому, и доктор готов был заразиться их смехом, он сказал с улыбкой:

— Так вы удили серебряной удочкой?

— Да, серебряной удочкой.

— Ха-ха-ха!

Но тут Дагни Кьелланд вся вспыхнула и сказала:

— Я так хорошо понимаю, что подобное представление... Что касается меня, то я так и вижу перед собой эту лодку и парус, этот голубой полумесяц... и как это прелестно — сверкающая серебряная удочка, погруженная в воду! Я нахожу, что это необыкновенно красиво...

Больше она ничего не могла сказать, она запнулась и умолкла; она стояла, потупив глаза.

Нагель сейчас же пришел ей на помощь:

— Да, не правда ли? Да, и я тогда же сказал самому себе: запомни это, это лучезарный сон, это предзнаменование. Пусть это будет тебе напоминанием: надо удить только чистыми удочками, чистыми удочками... Вы спросили меня, доктор, играю ли я на скрипке? Я не умею играть, совсем не умею; я вожу с собой футляр для скрипки, но в нем нет скрипки: к сожалению, футляр набит только грязным бельем, мне просто казалось, что это имеет такой внушительный вид, когда среди других чемоданов и сундуков находится также и футляр для скрипки, вот почему я и завел его. Право, не знаю, может быть, после этого вы получите обо мне очень нехорошее впечатление; но тут уж ничего не поделаешь, хотя действительно я искренне сожалею об этом. А впрочем, во всем виновата серебряная удочка.

Изумленные дамы не смеялись больше; даже доктор, поверенный Рейнерт — поверенный в канцелярии окружного судьи — и адъюнкты сидели все трое с разинутыми ртами. Все смотрели на Нагеля, а доктор, очевидно, не знал, что ему думать. «Что нашло на этого удивительного парня, появившегося неизвестно откуда?» — подумал он. Но сам Нагель преспокойно уселся и, по-видимому, решил больше ничего не говорить. Казалось, томительному молчанию не будет конца. Пришла на помощь фру Стенерсен. Это была олицетворенная любезность, она относилась ко всем с материнской лаской и следила за тем, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Она намеренно морщила лоб и старалась казаться старше только для того, чтобы слова ее имели больше весу.

— Вы приехали из-за границы, господин Нагель?

— Да, фру.

— Кажется, из Гельсингфорса? Так мне говорил мой муж.

— Да, из Гельсингфорса. То есть сюда я приехал прямо из Гельсингфорса. Я агроном, и некоторое время я там слушал лекции.

Пауза.

— А как вам нравится город? — спросила опять фру Стенерсен.

— Гельсингфорс?

— Нет, наш город.

— О, это прелестный город, очаровательное местечко. Мне не хочется уезжать отсюда, нет, уверяю вас, я отсюда больше не уеду. Хе-хе, впрочем, вы не очень-то пугайтесь, по всей вероятности, когда-нибудь я все-таки уйду отсюда — это зависит от обстоятельств... Кстати,— сказал он, вставая,— если я стесняю вас, то очень прошу извинить меня. Дело, видите ли, в том, что мне очень хотелось посидеть тут с вами. Ведь у меня нет никого, с кем я мог бы проводить время, да меня мало кто знает, так что я привык слишком много болтать с самим собой. Вы доставите мне удовольствие, если совсем не будете обращать на меня никакого внимания и вообще забудете о моем присутствии здесь и будете разговаривать друг с другом, как до моего прихода.

— Надо признаться, что вы внесли некоторое разнообразие и оживление,— сказал Рейнерт со злобной интонацией.

На это Нагель ответил:

— Да, господин поверенный, перед вами я должен извиниться отдельно, и я готов дать вам какое угодно удовлетворение, но не сейчас. Хорошо? Только не сейчас.

— Да, здесь, конечно, не место,— согласился Рейнерт.

— А кроме того, у меня сегодня так хорошо на душе,— продолжал Нагель, и его лицо озарила светлая улыбка. От этой улыбки лицо его на мгновение преобразилось и стало похожим на лицо ребенка.— Сегодня какой-то удивительный вечер, вот скоро и звезды загорятся на небе. Повсюду на горах пылают костры, а с моря доносится пение. Нет, вы послушайте!.. Это вовсе не так дурно. Я в пении ничего не понимаю, но разве это не хорошо? Это напоминает мне одну ночь на Средиземном море. Я был на корабле, который отошел от берега Туниса, на нем ехало человек сто пассажиров откуда-то из Сардинии — это был певческий хор. Я не принадлежал к этому обществу и не умел петь, я сидел на палубе и прислушивался к пению, раздававшемуся из салона. Это продолжалось почти всю ночь. Никогда не забуду я, какое чарующее впечатление производило это пение во мраке теплой ночи. Незаметно я затворил все двери в салон, так сказать, замкнул пение, и тогда мне казалось, что звуки подни-



маются из недр моря, и что корабль под звуки музыки уносится в вечность. Представьте себе безбрежное море и пение неземного хора, разносящееся далеко кругом.

У фрекен Андресен, которая сидела ближе всех к Нагелю, невольно вырвалось:

— О, Боже, как это, должно быть, было хорошо!

— Раз только я слышал нечто еще более прекрасное, но это было во сне. И это было очень давно, когда я был еще ребенком. Взрослые люди не видят больше таких прекрасных снов.

— В самом деле? — сказала фрекен Андресен.

— Уверяю вас. Это, конечно, некоторое преувеличение, но... Но я помню так ясно свой последний сон: я видел открытое болото... А впрочем, простите, я надоедаю вам своей болтовней, заставляя вас слушать ее. В конце концов, это может наскучить. Но я далеко не всегда такой разговорчивый.

Тут снова заговорила Дагни Кьелланд:

— Здесь, наверное, нет никого, кто не предпочел бы слушать вас вместо того, чтобы говорить.— И, наклоняясь к фру Стенерсен, она прибавила шепотом: — Не можете ли вы заставить его говорить? Дорогая, постарайтесь сделать это! Вы прислушайтесь только к его голосу.

Нагель сказал с улыбкой:

— Я с удовольствием буду болтать. Я сегодня вообще в каком-то особенно болтливом настроении, Бог знает, что на меня нашло... А что касается до сна, то в нем нет ничего особенного. Да, так вот, я видел открытое болото, без деревьев, но с массой древесных корней, они валялись повсюду, словно извивающиеся змеи. Среди всех этих корявых корней бродил сумасшедший. Я так и вижу его перед собой — лицо у него было бледное, с темной бородой, но борода его была такая короткая и редкая, что сквозь нее всюду просвечивала кожа. Он смотрел вокруг себя широко раскрытыми глазами, которые выражали глубокое страдание. Я лежал, притаившись за камнем, и окликнул его. Тогда он посмотрел на камень и, по-видимому, вовсе не удивился, что оттуда раздался окрик: казалось, словно он прекрасно знал, что я там лежу, хотя я был хорошо скрыт. Он остановился и стал пристально смотреть на камень, ни на минуту не отрывая от него взора. Я подумал: «Он все-таки не найдет меня, а в крайнем случае я убегу, если он приблизится». И хотя мне было очень неприятно, что он стоит и смотрит на меня так пристально, я снова крикнул, чтобы подразнить его. Он сделал несколько шагов

по направлению ко мне, рот его был раскрыт, словно он собирался кусаться, но он не мог подойти ближе, корни были нагромождены перед ним и не пропускали его. Я снова крикнул, я стал кричать один раз за другим, чтобы хорошенько позлить его. Он стал разбирать корни и разбрасывать их целыми охапками, он работал изо всех сил, стараясь пробраться ко мне, но все было тщетно. Под конец он начал стонать, и его стоны доносились до меня, и я видел, что в глазах его застыло выражение безграничного страдания. Но когда я убедился в том, что нахожусь в полной безопасности, я встал и стал махать фуражкой; я встал перед ним во весь свой рост и стал дразнить его, беспрестранным крича: «Халло!» — я кричал безостановочно, топал ногами и снова кричал: «Халло!» Я подошел к нему еще ближе, чтобы еще больше разозлить его, я тыкал в него пальцем и кричал «халло!» в оскорбительной близости от его уха, и я делал все это, чтобы, по возможности, еще более вывести его из себя; потом я отступил назад на несколько шагов, чтобы он смотрел на меня и сознавал, что только что был так близко возле меня. Но он все еще не сдавался, он все еще продолжал свою борьбу с корнями, работал изо всех сил, как бы ожесточаясь от боли, он исцарапался до крови, ушиб себе лицо, стал на цыпочки и, стоя так, кричал мне. Да, можете себе представить, он стоял на цыпочках и смотрел на меня и кричал мне. А с его лица градом катился пот, и оно было искажено от невыразимого страдания, потому что он никак не мог добраться до меня. Я хотел взбесить его еще больше, снова подошел к нему ближе, щелкнул пальцами перед самым его носом и зло, с насмешкой сказал ему: «Хи-хи-хи-хи!» Я швырнул в него корнем, и мне удалось попасть ему в рот, и он зашатался, но он отплюнул только кровь, ухватился рукой за рот и снова принялся возиться с корнями. Тогда мне показалось, что я могу быть еще смелее, я вытянул руку и хотел уже дотронуться пальцами до его лба и затем опять отскочить, но в это самое мгновение ему удалось схватить меня. Господи, какое это было неприятное чувство, когда он дотронулся до меня. Он сделал отчаянное движение и вцепился в мою руку. Я испустил крик, но он продолжал держать меня за руку, и мы подошли к тому камню, за которым я вначале скрывался. Дойдя до камня, сумасшедший упал прямо передо мною на колени и поцеловал землю, по которой я только что ступал: окровавленный и истерзанный, он стоял перед мною на

коленях и благодарил за то, что я был добр к нему; он благословлял меня и просил, чтобы Бог благословил меня в награду за мою доброту. Глаза его были широко раскрыты и были полны мольбы к Богу за меня; он не целовал моей руки, нет, он не целовал даже моих башмаков, он целовал только землю, следы моих ног. Я спросил: «Почему целуешь ты следы моих ног на земле?» — «Потому что,— отвечал он,— потому что рот мой в крови, и я не хочу запачкать твоих башмаков». Он не хотел запачкать моих башмаков!.. Потом я опять спросил: «Но почему же ты благодаришь меня, когда я причинил тебе только зло и страдание?» — «Я благодарю тебя,— ответил он,— за то, что ты был добр ко мне и не истязал меня еще больше». — «Хорошо,— сказал я тогда,— но почему же ты кричал мне и раскрывал рот, чтобы укусить меня?» — «Я не хотел кусать тебя,— ответил он,— я раскрыл рот, чтобы попросить тебя о помощи, но я не был в состоянии произнести ни слова, и ты не понял меня. А потом я кричал от нестерпимого страдания». — «Так ты оттого кричал?» — спросил я снова. «Да, оттого!..» Я посмотрел на сумасшедшего, он продолжал еще отплевывать кровь, но в то же время молить Бога за меня; тут только я заметил, что видел его раньше и что я знаю его. Это был пожилой человек с седыми волосами и реденькой бородкой — это был Минута.

Нагель умолк. Все были потрясены. Поверенный Рейнерт опустил глаза и долго не поднимал их от земли.

— Минута? Так это был Минута? — спросила фру Стенерсен.

— Да, это был он,— ответил Нагель.

— Ух, мне стало не по себе.

— Представьте себе,— сказала вдруг Дагни Кьелланд,— я сейчас же догадалась, что это он, как только вы сказали, что сумасшедший бросился на колени и стал целовать землю. Уверяю вас, что я узнала его сейчас же. Вы хорошо с ним знакомы?

— О, нет, я виделся с ним всего раза два... Но послушайте, я, кажется, совершенно испортил настроение общества; фру, ведь вы совсем побледнели. Боже мой!.. Ведь это был только сон!

— Нет, так нельзя! — сказал также доктор. — Какого черта нам до Минуты?.. Пусть его перецелует все древесные корни в Норвегии, никто ему не помешает. Ну, вот, фрекен Андресен даже расплакалась. Ха-ха-ха!

— Я и не думала плакать,— ответила фрекен Андресен,— с какой стати я буду плакать? Но я должна признаться, что этот сон произвел на меня впечатление. Впрочем, я думаю, что этот сон произвел впечатление также и на вас.

— На меня, — воскликнул доктор, — ни малейшего! Ха-ха-ха! Нет, как вам могло прийти в голову что-либо подобное? Ну, а теперь надо прогуляться немного. Поднимайтесь все! Становится прохладно. Не холодно ли тебе, Иетта?

— Нет, мне совсем не холодно, посидим еще немного,— ответила его жена.

Но доктору непременно хотелось гулять. Стало прохладно, повторил он еще раз, и если даже никто не последует его примеру, то он пойдет один. Нагель встал и пошел с ним.

Они прошли несколько раз взад и вперед по набережной, протискиваясь сквозь толпу, они болтали и отвечали на поклоны гуляющих. Так они разгуливали с полчаса, как вдруг фру Стенерсен крикнула им:

— Да идите же сюда! Знаете, что мы придумали, пока вас с нами не было? Мы решили собрать у нас большое общество завтра вечером. Да, господин Нагель, вы непременно должны прийти! Но знайте, что когда у нас собирается большое общество, то это значит, что угощенье подается в самом ограниченном количестве...

— А веселье в самом неограниченном количестве,— прервал ее весело доктор.— А ты хорошо придумала, Иетта, ты не всегда бываешь так догадлива.— Доктор вдруг оживился и добродушно улыбался при мысли о предстоящем вечере.— Только не приходите слишком поздно,— сказал он,— лишь бы меня не позвали куда-нибудь.

— Но разве я могу явиться к вам в этом костюме? — спросил Нагель.— У меня нет ничего другого.

Все засмеялись, а фру Стенерсен ответила:

— Конечно. Вы доставите нам большое удовольствие.

На обратном пути Нагель пошел рядом с Дагни Кьелланд. Он ничего не сделал для этого, это случилось само собою; да и фрекен Кьелланд не старалась воспрепятствовать этому. Она сказала, что уже заранее радуется предстоящему вечеру, потому что в доме доктора всегда чувствуешь себя так свободно и уютно — это прекрасные люди, которые всегда умеют устроить так, чтобы всем было весело. Вдруг Нагель сказал ей, понизив голос:

— Смею ли я надеяться, фрекен, что вы простили мне мою глупую выходку в лесу?

Он говорил возбужденно, почти шепотом, и она принуждена была ответить ему.

— Да,— сказала она,— теперь я лучше поняла ваше поведение в тот вечер. Вы, наверное, не такой, как все остальные люди.

— Спасибо! — прошептал он.— О, да, я чувствую такую глубокую благодарность, какой не чувствовал никогда в жизни. Да, почему я не такой, как все другие люди? Знайте, фрекен, что я весь вечер старался сгладить то впечатление, которое я должен был произвести на вас в первый раз. Каждое произнесенное мною слово произнесено было ради вас. Что вы на это скажете? Не забывайте, что я очень виноват перед вами и что я чем-нибудь должен был искупить свою вину. Я должен сознаться, что весь день находился в каком-то необыкновенном расположении духа, но тем не менее я все-таки выставил себя в гораздо более дурном свете, и я все время старался казаться несколько подозрительным. Дело в том, что я хотел заставить вас поверить, что я действительно несколько невменяем и что я вообще способен на очень странные выходки; таким образом я так невовремя сунулся со своими снами; мало того, я даже добровольно выдал себя, рассказав о футляре для скрипки, я добровольно признался в своем чудачестве, хотя в этом не было никакой необходимости...

— Простите! — прервала она его поспешно,— но почему же вы теперь рассказываете мне все это и снова портите все дело?

— Нет, я ничего не порчу. Ведь если я вам скажу, что я побежал за вами тогда в лесу, поддаваясь мгновенному злому побуждению, то вы поймете меня. Мне просто вдруг захотелось напугать вас за то, что вы бросились бежать от меня. Тогда я, конечно, еще не знал вас. Но если я вам скажу теперь, что я точь в точь такой же человек, как и все другие люди, то вы и это, конечно, поймете. Сегодня вечером я выставял себя на смех перед целым обществом своим эксцентричным поведением и сделал это только для того, чтобы смягчить вас и чтобы вы выслушали мое объяснение. Этого я достиг. Вы выслушали и поняли все.

— Нет, я должна сознаться совершенно откровенно, что не совсем-то понимаю вас. Но пусть это так и останется: я не буду над этим ломать себе голову...

— Ну, конечно, конечно; с какой стати вы будете ломать себе голову над этим вопросом? Но, не правда ли, этот вечер устраивается только потому, что все вы считаете меня не совсем-то вменяемым господином, от которого можно ожидать самых забавных выходов? К сожалению, я не скажу ни да, ни нет во весь вечер, а может быть, я и совсем не приду. Право, не знаю.

— Нет, вы должны непременно прийти.

— Я должен прийти? — спросил он, посмотрев на нее.

Она ничего не сказала больше. Они пошли рядом дальше.

Они дошли до дороги, ведущей в усадьбу священника. Фрекен Кьелланд остановилась. Вдруг она расхохоталась и сказала:

— Нет, никогда за всю свою жизнь не слыхала я ничего подобного! — И она покачала головой.

Она стала поджидать остальное общество, отставшее от них. Ему очень хотелось попросить у нее разрешения проводить ее до дома, и она уже чуть было не решилась на это; но в эту минуту она отвернулась от него и крикнула адьюнкту:

— Идите же, идите скорей! — И она замахала рукой, чтобы заставить его поторопиться.

## ГЛАВА VII

---

На следующий день в шесть часов вечера Нагель вошел в квартиру доктора. Он думал, что пришел слишком рано, однако все общество, с которым он познакомился накануне, было уже в полном сборе. Кроме того, было еще двое других гостей — один адвокат и один белокурый молодой студент. За двумя столиками уже пили сельтерскую воду с коньяком, за третьим столом сидели дамы, поверенный Рейнерт и молодой студент и беседовали. Адьюнкт, очень молчаливый человек, который почти никогда не произносил ни слова, был, говоря попросту, уже совершенно пьян, и в этом повышенном настроении он с пылающим лицом громко говорил о том и о сем. Вот возьмем хотя бы Сербию, где восемь процентов народонаселения не умеет ни читать, ни писать, — а разве там дело обстоит лучше? Да, пусть-ка ему ответят на это? И адьюнкт мрачно посмотрел вокруг себя, хотя ни одна душа не возражала ему.

Хозяйка дома позвала Нагеля и усадила его за дамским столом. Что он хочет выпить?

— А он как раз сидел тут и разговаривал о Христиании,— сказала она.— Что за странная идея с его стороны — поселиться в этом маленьком городке, когда он мог выбирать любое место и жить даже в Христиании.

Однако Нагель нашел, что в его идее нет ничего странного; ведь он хотел пожить в деревне и устроить себе нечто вроде каникул. А в Христиании он не поселился бы ни в коем случае; Христиания — это последнее место, на котором он остановил бы свой выбор.

В самом деле? Но ведь это столица. Это центр, куда стекается все, что только есть в стране великого, известного,— там и искусства, и театры, там все.

— Да, а кроме того, туда стекается масса иностранцев,— заметила фрекен Андресен,— актеры, певцы, музыканты, художники всякого рода.

Дагни Кьелланд сидела молча и слушала разговор.

— Да, пожалуй что и так,— согласился Нагель.

Но он и сам не знал, почему каждый раз, когда при нем упоминали о Христиании, он видел перед собой часть квартала Гредсен и чувствовал запах от вывешенных платьев. Это действительно так, но он сам не понимал, почему. У него является представление о маленьком чванном городке с двумя церквями, парой газет, гостиницей и общей водокачкой, но зато с величайшими людьми всего мира. Нигде он не видал, чтобы люди кичились так, как там. И Боже, как часто, когда ему приходилось жить там, у него являлось неудержимое желание быть как можно подальше оттуда!

Поверенный не мог понять, каким образом можно проникнуться такой глубокой антипатией — не только к отдельной личности, но к целому городу, к столице. Христиания в настоящее время уж вовсе не такой незначительный город, она начинает занимать место среди других значительных городов. А кафе «Гранд» — ведь это не маленькое кафе!

Сперва Нагель ничего не возразил на замечание относительно кафе «Гранд». Но потом он наморщил лоб и сказал настолько громко, что все это слышали:

— «Гранд» — это *единственное* в своем роде кафе.

— Вы, конечно, шутите?

— Нет, я говорю совершенно серьезно. «Гранд» — это такое место в городе, где встречаются все великие люди мира сего. Там можно увидеть самых великих художников,

наиболее талантливую часть молодежи, самых фешенебельных дам, самых выдающихся редакторов и величайших писателей всего мира! Хе-хе-хе, все эти люди сидят в «Гранде», пыжатыся друг перед другом и каждый из них чувствует себя счастливо от того, что другие обратили на него внимание.

Эти слова возбудили всеобщее недовольство. Поверенный наклонился к фрекен Кьелланд и сказал довольно громко:

— Никогда я еще не видывал, чтобы кто-нибудь до такой степени важничал!

Она очнулась от своей задумчивости и бросила быстрый взгляд на Нагеля; он, наверное, слышал слова поверенного, но, по-видимому, не обратил на них внимания. Он даже чокнулся с молодым студентом и с равнодушным видом заговорил совсем о другом. Его высокомерие, с которым он держал себя, стало раздражать и ее также. Бог его знает, что он думает о них всех, раз он преподносит им такие напыщенные речи! Что за самомнение, что за мания величия! Когда поверенный спросил, каково ее мнение, она ответила преднамеренно громко:

— Каково мое мнение? Для меня Христиания достаточно велика.

Но к этому замечанию Нагель отнесся совершенно равнодушно. Когда он услышал ее громкий голос, полуобращенный к нему, то начал сосредоточенно смотреть на нее, словно хотел вспомнить, чем он мог ее рассердить. Он пристально смотрел на нее больше минуты, моргал глазами и старался вспомнить, и при этом у него было грустное выражение лица.

Но тут наконец и адьюнкт услышал, о чем шла речь, и он стал горячо протестовать против того, что Христиания меньше, например, Белграда. Вообще, Христиания ничуть не меньше других столиц средней величины...

Тут все расхохотались: адьюнкт был слишком комичен со своими пылающими щеками и своим непоколебимым убеждением. Адвокат Хансен, маленький толстенький человечек в золотых очках и с блестящей лысиной хохотал над ним до упаду, бил себя по коленям и хохотал без удержу.

— Средней величины, средней величины! — кричал он. — Христиания ничуть не меньше других столиц такой же величины, совершенно такой же величины. Ничуть не меньше. О, Господи Боже мой! За ваше здоровье!



Нагель снова заговорил со студентом Эйеном. Да, в дни своей молодости когда-то и он, Нагель, увлекался музыкой и в особенности Вагнером. Но с годами это прошло. Да и добился он только того, что выучился читать ноты и извлекать несколько звуков.

— На рояле? — спросил студент.

Рояль был его специальностью.

— Ах, нет! На скрипке. Но, как я уже сказал, я ничего не добился и очень скоро бросил музыку.

Его взгляд упал случайно на фрекен Андресен, которая уже с четверть часа сидела в уголке у печки и болтала с поверенным. Она встретила с его взглядом на одно мгновение совершенно неожиданно, беспокойно задвигалась на своем стуле и вдруг оборвала свою речь.

Дагни сидела в отдалении и хлопала себя по руке сложенной газетой. На ее длинных, белых пальцах не было колец. Нагель рассматривал ее украдкой. Боже, до чего она была хороша в этот вечер! В этом освещении на фоне темной стены ее густые, светлые косы казались еще светлее. Когда она сидела, то в очертаниях ее тела можно было подметить некоторую наклонность к полноте, но это впечатление сейчас же пропадало, когда она вставала. У нее была легкая, плавная походка, словно она много каталась на коньках.

Нагель встал и подошел к ней.

На мгновение она вскинула на него свои темно-синие глаза, и у него вдруг вырвалось совершенно неожиданно для него самого:

— Боже мой, до чего вы хороши!

Эта непосредственная откровенность совершенно смутила ее, она сидела с раскрытым ртом, сбита с толку и беспомощная. Наконец она прошептала:

— Будьте же хоть немного благоразумны!

Вскоре после этого она встала и подошла к роялю, где начала перелистывать ноты. Щеки ее пылали.

Доктор, сгоравший от желания поговорить о политике, спросил вдруг, ни к кому лично не обращаясь:

— Читали вы сегодня газеты? «Утренний Листок» за последнее время ни к черту не годится! В нем и помину больше нет о языке образованных людей. Это какая-то сплошная площадная ругань.

На это никто ничего не возразил доктору, а потому и ему оставалось только замолчать. Но адвокат Хансен знал, чего хочется хозяину дома, и заметил с коварным спокойствием:

— Не должны ли мы сознаться, что виноваты обе стороны?

— Что такое? — крикнул доктор, вскакивая с места.— Уж не хочешь ли ты сказать...

Стол был накрыт. Общество направилось в столовую, но доктор продолжал говорить, и, когда все уселись за стол, разговор принял общий характер. Нагель, сидевший между хозяйкой дома и молодой фрекен Ольсен, дочерью полицмейстера, не принимал в нем участия. Когда гости поднялись из-за стола, все они были увлечены европейской политикой. Все наперебой высказывали свои мнения относительно царя, Констана, Парнелля, а когда очередь дошла до балканского вопроса, пьяному адъютанту снова представился удобный случай наброситься на Сербию. Он только что читал «Statistische Monatschrift», положение дел там ужасное, школы в полном пренебрежении.

— Меня несказанно радует и утешает только одно,— заявил доктор с навернувшимися на глаза слезами,— а именно, что Гладстон еще жив. Наполните же ваши рюмки, господа, и выпьем за здоровье Гладстона — да, Гладстона, этого великого демократа чистой воды, человека настоящего и будущего!

— Подожди немного, и мы также хотим принять участие в этом тосте! — воскликнула его жена.

И она стала наполнять рюмки дам, переливая через край от избытка чувств, и дрожащими руками обносила поднос.

Все встали.

— Да, не молодчина ли он! — продолжал доктор, прищелкивая языком.— Бедняга, он недавно простудился, но будем надеяться, что его недомогание скоро пройдет. Никого из политиков мне не было бы так жалко потерять теперь, как Гладстона. Господи Боже ты мой, когда я думаю о нем, то он представляется мне гигантским маяком, который освещает своими яркими лучами весь свет!.. У вас такой равнодушный вид, господин Нагель,— вы не согласны со мной?

— Что такое? Да, конечно, я вполне согласен с вами.

— Ну, еще бы! Должен сознаться, что и в Бисмарке также есть много импонирующего для меня, но Гладстон!..

Так никто и не возражал доктору, всем хорошо была знакома его болтовня. Наконец разговор настолько замер, что доктор предложил сыграть партию в карты, чтобы развлечь гостей. Кто хочет играть? Но тут фру Стенерсен крикнула на всю комнату:

— Нет, об этом я не могу умолчать! Знаете ли вы, что мне только что рассказал господин Эйен? Оказывается, господин Нагель не всегда находил Гладстона таким великим, как сегодня. Студент Эйен слышал вас однажды в Христиании — в Союзе рабочих, кажется, и там вы без всякого сострадания отделали Гладстона. Хороши вы, нечего сказать! Неужели это действительно правда? Нет, вы скажите, скажите!

Фру Стенерсен произнесла это, весело улыбаясь и шутя; она погрозила даже пальцем и еще раз потребовала, чтобы он сказал, правда ли это.

Нагель смутился и ответил:

— Это какое-нибудь недоразумение.

— Я не скажу, что вы его отделали,— заметил Эйен,— но вы сильно оппонировали. Я помню даже, что вы называли Гладстона ханжой.

— Ханжой! Гладстон ханжа! — кричал доктор.— Да уж не были ли вы пьяны, голубчик?

Нагель улыбнулся.

— Нет, могу вас уверить, что я не был пьян. А впрочем, может быть, и был пьян, право, не знаю. Судя по всему, так это и было.

— Ей-Богу, это было именно так! — сказал доктор с некоторым удовлетворением.

Нагель не хотел вдаваться в объяснения и ничего больше не сказал. Тогда Дагни Кьелланд попросила фру Стенерсен вызвать его на разговор.

— Заставь его рассказать, что он говорил, его так весело слушать.

— Да, так что же вы, собственно, этим хотели сказать?— спросила фру Стенерсен.— Раз вы оппонировали, то вы преследовали какую-нибудь определенную цель. Так скажите же нам, в чем дело! Кроме того, вы доставите нам этим большое удовольствие: ведь если вы все начнете играть в карты, то нам будет очень скучно.

— Если я этим могу доставить удовольствие обществу, то это другое дело,— ответил Нагель.

Намекал ли он этими словами на ту роль, которую он играл в обществе? Его губы искривила усмешка.

Он начал с того, что забыл о том случае, про который упоминал господин Эйен.

— Видел ли или слышал ли кто-нибудь из вас Гладстона? Когда видишь его перед собой на кафедре, то безусловно получаешь одно определенное впечатление: сознаешь, что перед тобой стоит человек безупречный,

высоко справедливый. Можно подумать, что весь он до мозга костей проникнут добродетелью. Нельзя себе представить, чтобы такой человек мог хоть в чем-нибудь согрешить перед Господом. И он до такой степени весь проникнут этой идеей, что предполагаешь то же самое и в своих слушателях, он думает, что они также до мозга костей проникнуты добродетелью...

— Но ведь это прекрасная черта в нем! Разве это не свидетельствует о его справедливости и гуманном образе мыслей? — прервал доктор. — Никогда я не слышал ничего более странного.

— Но я и хотел сказать именно это; я привел это только для его характеристики как прекрасную черту его личности, хе-хе-хе! Кстати, я расскажу вам один случай, о котором я как раз вспомнил. А впрочем, может быть, лишнее рассказывать все, а достаточно только упомянуть имя Кэри. Не знаю, помнят ли все присутствующие, как Гладстон, будучи министром, принимал доносы предателя Кэри? Между прочим, он помог ему впоследствии бежать в Америку, чтобы спасти его от мести фениев. А впрочем, дело совсем не в этом, это другая история, в сущности, я не придаю значения таким мелочам, как некоторые поступки, к которым время от времени принуждены прибегать министры. Но вернемся к тому, о чем мы говорили. Факт тот, что Гладстон действительно искренен до мозга костей. Хотел бы я, чтобы вы стояли и смотрели на Гладстона в то время, как он говорит, тогда мне оставалось бы только обратить ваше внимание на выражение его лица во время его речи. Он так непоколебимо убежден в доброкачественности товара, который преподносит публике, что это сквозит в его взгляде, голосе, его манерах и жестах. Речь его проста и удобопонятна, она течет медленно и бесконечно. О, она нескончаема, его фонтан красноречия неистощим! Если бы вы видели, как он рассыпает свои замечания по всей аудитории, — пару слов торговцу железом, пару слов скорняку, — и он до такой степени хорошо знает то, о чем говорит, что кажется, будто он сам оценивает свои слова по кроне за штуку. Да, это необыкновенно забавное зрелище! Гладстон — это рыцарь неоспоримого права, и во имя этого он только и выступает. Ему никогда и в голову не приходит отнестись снисходительно к какому-нибудь заблуждению. Я хочу сказать: если он сознает, что право на его стороне, то он беспощаден и широко пользуется им, он вертит им перед самыми глазами слушателей и пускается на все, чтобы

пристыдить своих противников. Его мораль самая здоровая и самая действительная, он работает на пользу христианства, гуманности и цивилизации. Если бы кто-нибудь предложил ему столько-то и столько тысяч фунтов за то, чтобы он спас невинно осужденную женщину от смертной казни, то он спас бы жеьщину, с презрением отверг бы деньги и в придачу не поставил бы себе это в особую заслугу — вот какой это человек! Это неутомимый борец, который постоянно стремится творить добро на нашей грешной земле, который не жалеет себя самого ради права, истины и Бога. И каких только побед он не одерживает! Дважды-два — четыре, истина победила, слава Господу!.. А впрочем, Гладстон забирает выше, нежели дважды-два — четыре; раз мне пришлось слышать его в дебатах по бюджетному вопросу, и он доказывал тогда, что семнадцать раз двадцать три составляет триста девяносто один, и он одержал блестящую победу, огромную победу, он снова был прав, и правда светила в его глазах, дрожала в его голосе и делала его великим. Но тут я невольно встал и посмотрел на этого человека. Я прекрасно сознавал, что весь он до мозга костей проникнут истиной, и все-таки я встал. Я стою и раздумываю над его произведением в триста девяносто один, и сознаю, что это совершенно верно, но все-таки раздумываю и говорю наконец самому себе: «Нет! Стой! Семнадцать раз двадцать три составляет триста девяносто семь!» И при этом я отлично сознаю, что это «девяносто один», — но я все-таки говорю против всякой очевидности: «Девяносто семь», — только ради того, чтобы противоречить этому человеку, этому профессионалу права. Я не в силах заставить замолчать в себе внутренний голос, который громко зовет: «Восстань, восстань против этой азбучной правоты!» И я восстаю и говорю «девяносто семь» только из-за неудержимой потребности сохранить в своем сознании неприкосновенным понятие о праве, не позволить опозлить его, не позволить этому человеку принизить его до земли — этому человеку, который так неоспоримо стоит на стороне права...

— Клянусь, никогда не слыхивал я ничего более абсурдного! — воскликнул доктор. — Вас возмущает, что Гладстон всегда прав?

Нагель улыбнулся. Являлась ли эта улыбка выражением его добросердия, или она была аффектирована — трудно сказать. Он продолжал:

— Это не возмущает меня и не деморализует также. К тому же я вовсе не рассчитываю на то, что меня поймут

здесь, но это все равно. Гладстон — это странствующий герольд права и справедливости. Голова его битком набита общепризнанными истинами. Что дважды-два — четыре, это для него величайшая истина в мире. И разве мы будем оспаривать, что дважды-два — четыре? Конечно, нет. И все это я говорю только для того, чтобы доказать, что Гладстон действительно всегда прав. В конце концов, все зависит от того, до какой степени мы проникнуты сознанием истины и насколько в нас притуплена способность воспринимать истину, — я хочу сказать, способны ли мы еще поражаться подобным истинам. Вот в чем дело... Ну, настолько-то Гладстон прав, и он настолько искренне усерден, что ему никогда в голову не придет добровольно перестать благодетельствовать роли человеческой. Он вечно хлопочет, он вездесущ. Он поражает свет своей премудростью, которую проповедует в Бирмингеме, Глазгове. Он приводит к одним и тем же политическим взглядам пробочного фабриканта и адвоката, мужественно борется за свои убеждения и до последней степени напрягает свои старые, надежные легкие, чтобы только ни одно из его драгоценных слов не пропало даром для его слушателей. А после того, как представление окончено, народ выразил Гладстону свой восторг, и он раскланялся, он отправляется к себе домой, ложится спать, набожно склывает свои руки, читает молитву и засыпает, не чувствуя ни малейшего сомнения в своей душе и ни малейшего стыда за то, что он наполнил Бирмингем и Глазгов — чем? Он сознает только одно: что он совершил свой долг перед человечеством и чист перед своей совестью, и он засыпает сном праведника. Ни за что не возьмет он на свою душу греха и не скажет самому себе: «Сегодня ты выполнил свое дело не совсем-то хорошо, ты надоел двум ткачам на передней скамье, один из них даже заснул». Нет, этого он не скажет самому себе, потому что он вовсе не уверен в том, что это верно. А лгать он не хочет, ибо это великий грех, а Гладстон грешить не желает. Он скажет себе: «Мне кажется, будто один человек зевнул, — странно, мне показалось, будто он действительно зевнул, но я, конечно, ошибся, не может быть, чтобы этот человек зевал». Хе-хе-хе... Право, не помню, говорил ли я в этом роде в Христиании, но это все равно. Во всяком случае, я должен сознаться, что Гладстон как умственная величина никогда не производил на меня особенно сильного впечатления.

— Ах, бедный Гладстон! — заметил поверенный Рейнерт.

На это Нагель ничего не ответил.

— Нет, в Христиании вы говорили не об этом,— сказал Эйен.— Вы нападали на Гладстона за его отношение к ирландцам и Парнеллю, и вы тогда действительно сказали, между прочим, что он как умственная величина не представляет собою ничего особенного. Помню хорошо, что вы это сказали. Это крупная и полезная сила, сказали вы, но по своему свойству весьма обыкновенная, он ни что иное, как громадный мизинец Биконсфильда.

— Помню, помню, меня тогда лишили слова, хе-хе-хе. Хорошо, я согласен подписаться и под этим — почему бы и нет? Это не хуже всего остального. Но будьте ко мне снисходительны!

Тут доктор Стенерсен спросил:

— Скажите, пожалуйста: вы правый?

Нагель в изумлении вытаращил на него глаза; потом он разразился смехом и ответил:

— Ну, а что вы сами думаете относительно этого?

В эту минуту раздался звонок в конторе доктора. Его жена вскочила с места; ну, конечно, так и есть, теперь доктору придется уйти. Но пусть никто из гостей и не думает покидать их дом; во всяком случае, раньше двенадцати она никого не отпустит. Фрекен Андресен должна сейчас же снова сесть; Анна подаст кипятку, побольше кипятку. Ведь всего только десять часов!

— Господин поверенный, ведь вы ничего не пьете.

Нет, поверенный не отставал от других.

— Итак, пусть никто и не думает уходить, все должны остаться здесь. Дагни, почему ты так притихла?

Нет, Дагни совсем такая же, как и всегда.

Доктор вернулся из своей конторы. Гости должны его извинить: опасный случай, кровотечение. Но это не так далеко, через два-три часа он возвратится и надеется еще застать здесь всех. До свидания! Прощай, Иетта!

И доктор быстро ушел. Минуту спустя он показался на улице вместе с другим человеком, они почти бежали по направлению к пристани — так они торопились.

Жена доктора сказала:

— Ну, а теперь займемся чем-нибудь... Ах, если бы вы знали, как мне бывает иногда неприятно оставаться здесь одной, когда муж уезжает. Особенно тяжело в зимние ночи, когда я теряю уверенность в том, что он вернется.

— А у вас нет детей как я вижу,— заметил Нагель.

— Нет, у нас нет детей... Да, что же делать, теперь я даже начинаю привыкать к этим бесконечным ночам,

но вначале это было невыносимо. Вы себе представить не можете, какой меня охватывал ужас... тьма, страх за мужа... да, к сожалению, я должна признаться, что боюсь также и темноты. И вот иногда я выходила из своей комнаты и ложилась у служанки... Однако, Дагни, теперь твой черед рассказать что-нибудь. О чем ты там мечтаешь? Ну, конечно, о женихе.

Дагни покраснела, засмеялась от смущения и ответила:

— Само собой разумеется, я думаю о нем. Это так понятно. Но ты лучше спросила бы, о чем думает поверенный Рейнерт. Он не обмолвил ни единого слова за весь вечер.

Поверенный стал протестовать: он все время разговаривал с фрекен Ольсен и фрекен Андресен, он, так сказать, проявлял весьма значительную деятельность под шумок, он был само внимание все время, с интересом слушал, как развивали свои политические взгляды другие, одним словом...

— Надо вам сказать, что жених фрекен Кьелланд снова отправился в плавание,— сказала фру Стенерсен, обращаясь к Нагелю.— Он морской офицер и совершает плавание в Мальту — не правда ли, в Мальту?

— Да, в Мальту,— ответила Дагни.

— Как быстро такие люди обручаются! Они приезжают на три недели в отпуск к родителям. И вот в один прекрасный вечер... Да, уж эти господа лейтенанты!

— Да, это бравый народ! — заметил Нагель.— По большей части это красивые, загорелые молодцы с открытыми лицами и веселым нравом. Да и форма у них необыкновенно красивая, и они умеют носить ее. Да, я всегда восхищался морскими офицерами.

Вдруг фрекен Кьелланд поворачивается к Эйену и спрашивает его с улыбкой:

— Да, это господин Нагель говорит теперь. Ну, а что говорил он в Христиании?

Все начали смеяться. Адвокат Хансен, который был навеселе, крикнул:

— Да, да, что говорил он в Христиании, в Христиании? Что господин Нагель говорил там? Ха-ха-ха-ха! Господи Боже ты мой! За ваше здоровье!

Нагель чокнулся с ним и выпил. Нет, он действительно всегда восхищался морскими офицерами. Он скажет даже больше: если бы он был молодой девушкой, то он вышел бы замуж только за морского офицера или остался бы в девицах.



Над этим опять начали смеяться. Адвокат, внс себя от восторга, чокался со всеми стаканами, стоявшими на столе, и пил. Но тут Дагни вдруг сказала:

— Говорят, будто все лейтенанты очень мало развиты. Так вы этому не верите?

Вздор. А кроме того, если бы даже это и было так, то, будь он девушкой, он предпочел бы красивого мужчину умному. Безусловно! И особенно, если бы он был *молодой* девушкой. Ну, на что нам мозг без тела? На это, конечно, можно было бы возразить: на что нам тело без мозга? Да, черт возьми, но это не одно и то же. Родители Шекспира не умели даже читать. Ну, по правде сказать, и сам Шекспир не очень-то хорошо умел читать, и тем не менее это не помешало ему сделаться исторической личностью. Как бы там ни было, а молодой девушке скорее надоест ученый и некрасивый мужчина, нежели красивый и глупый. Нет, будь он молодой девушкой и имея он возможность свободно выбирать, он несомненно остановил бы свой выбор прежде всего на красивом мужчине. А что касается до мнения такого мужчины относительно норвежской политики, философии Ницше и триединства Бога, то это ничуть не интересовало бы его.

— Вот посмотрите, это жених фрекен Кьелланд,— сказала фру Стенерсен, подходя к Нагелю с альбомом.

Дагни вскочила. У нее вырвалось:

— Ах, нет! — Но немного спустя она снова села.— Но это очень неудачная фотография,— прибавила она вслед затем,— он гораздо лучше в действительности.

Нагель увидал фотографию красивого молодого человека с круглой бородкой. Он сидел в непринужденной и красивой позе у стола, держа руку на эфесе сабли. Его несколько редкие волосы были разделены посередине пробором. По внешности он немного походил на англичанина.

— Да, это правда, в действительности он гораздо красивее,— подтвердила фру Стенерсен.— Когда-то, молодой девушкой, я также была влюблена в него некоторое время... Но взгляните на карточку рядом. Это молодой теолог, который недавно умер, Карльсен, его звали Карльсен. Он умер недели две назад. Это так глубоко нас всех огорчило. Что вы говорите? Ну да, его-то мы и хоронили третьего дня.

На фотографии был изображен молодой человек болезненного вида, со впалыми щеками и плотно сжатыми губами, такими узкими, что рот его представлял собой одну лишь черту. Глаза у него были большие, темные, а

лоб был необыкновенно высокий и ясный, но грудь у молодого человека была впалая, и плечи не шире, чем у женщины.

Это был Карльсен. Так вот каков он. Нагель подумал про себя, что к этому лицу подходят теология и прозрачные руки с синими жилами. Он только что хотел заметить, что это лицо носит на себе печать чего-то рокового, но в это мгновение заметил, что поверенный Рейнерт придвинул свой стул к Дагни и начал с ней беседовать. Он стал перелистывать альбом и промолчал, чтобы не мешать им.

— Так как вы обвиняли меня в том, что я молчу весь вечер,— сказал поверенный,— то вы разрешите мне, может быть, рассказать вам одно происшествие из последнего посещения императора, истинное происшествие, о котором я только что вспомнил...

Дагни прервала его и сказала тихо:

— Что вы там дулись весь вечер в углу? Лучше ответьте мне на это. Я просто хотела обратить ваше внимание на ваше поведение, заметив, что вы весь вечер молчите. Я видела, что вы сидели и злились все время. С вашей стороны очень нехорошо передразнивать всех и насмехаться над всем. Это правда, что он страшно важничает со своим железным кольцом на мизинце, он то и дело смотрит на него и чистит его. А впрочем, может быть, он делает это в задумчивости. Во всяком случае, он не так уж ломался, как вы это представляете. Ну, да поделом ему, он этого заслуживает. Но ты, Гудрун, уж слишком открыто смеялась над ним. Я уверена, что он заметил это.

Гудрун подошла к Дагни, стала защищаться и уверяла, что во всем виноват поверенный, который был так уморителен, что не было никакой возможности удержаться от смеха. Чего стоила одна только интонация, с которой он произносил слова «величие Гладстона никогда не импонировало мне — мне!»

— Шш! Ты опять так громко говоришь, Гудрун. Он услышал тебя, да, да, он даже обернулся. Но, послушай, обрати внимание на то, что когда его прерывали, то он вовсе не сердился, не правда ли? Он казался даже несколько печальным. Представь себе, меня даже немного мучит совесть за то, что мы сидим здесь и сплетничаем на его счет. Ах, да, расскажите же ваше происшествие, случившееся во время последнего посещения императора.

Поверенный начал рассказывать. Так как в его рассказе не было ничего такого, чего не могли бы слушать все (это

была совершенно невинная история об одной женщине с букетом цветов), то он говорил все громче и громче, так что под конец все общество стало слушать его. Он опять начал рассказывать очень обстоятельно, со всеми подробностями, и его рассказ продолжался несколько минут. Когда он кончил, то фрекен Андресен сказала:

— Господин Нагель, помните вы ваш рассказ о певческом хоре на Средиземном море?..

Нагель захлопнул альбом, оглянулся кругом, и на лице его появилось какое-то испуганное выражение. Был он искренен, или это была комедия с его стороны? Он ответил тихо, что, может быть, он и ошибся в некоторых мелочах, но во всяком случае это произошло ненамеренно, и свой рассказ он не сочинил, это было действительное происшествие.

— Ах, что вы, я вовсе не хотела сказать, что вы выдумали это,— ответила она с улыбкой.— Но вы помните, что вы ответили, когда я заметила, что ваш рассказ прекрасен? Вы сказали, что только однажды слышали нечто еще более прекрасное, и это было во сне.

— Да, я помню это,— ответил Нагель, кивая головой.

— Так расскажите нам также и этот сон! Пожалуйста! Вы так удивительно рассказываете. Мы все просим вас.

Но он упорно отказался рассказывать. Он очень извинялся, сказал, что это сущие пустяки, сон без начала и конца, мимолетное видение во сне. Нет, этого нельзя даже передать словами, ведь все знают эти скоропреходящие ощущения — они пронизывают, как яркий луч, и затем исчезают почти бесследно. Всякий должен понять, насколько глуп был этот сон, раз он происходил в белом лесу из чистого серебра...

— Ну, ну, в лесу из серебра... А дальше что?

— Нет.— И он покачал головой.

Он с такой радостью готов был бы сделать все для нее, пусть она сама испытает его. Но этого сна он не может рассказать, пусть она верит ему.

— Хорошо. Но в таком случае расскажите что-нибудь другое. Мы все просим вас.

Нет, сегодня он совершенно не расположен к этому. Простите.

После этого они обменялись несколькими незначительными словами, какими-то ребяческими вопросами и ответами, сущим вздором. Дагни спросила:

— Вы сказали, что готовы сделать все что угодно для фрекен Андресен. Но что же вы могли бы, например, сделать для нее?

Эта выдумка вызвала у всех смех, и Дагни также засмеялась. Подумав немного, Нагель ответил:

— Для *вас* я мог бы сделать что-нибудь очень скверное.

— Что-нибудь очень скверное? Ну, посмотрим, что же именно? Например, совершить убийство?

— О, да, я мог бы убить эскимоса и содрать с него кожу, чтобы сделать из нее бювар для вас.

— Вот как! Ну, а для фрекен Андресен, что могли бы вы сделать для нее? Что-нибудь невероятно прекрасное?

— Да, пожалуй, а впрочем, не знаю. Кстати, эту историю с эскимосом я где-то читал. Пожалуйста, не думайте, что это я сам сочинил.

Пауза.

— Вы все удивительно милые люди,— сказал Нагель, прерывая молчание.— Вы хотите, чтобы именно я отличался все время перед другими и болтал. И все это только потому, что я здесь чужой.

Адъюнкт украдкой посмотрел на часы.

— Предупреждаю вас,— сказала хозяйка дома,— что вы не уйдете до тех пор, пока не возвратится мой муж. Это строго воспрещается. Можете делать все, что вам угодно, но уходить нельзя.

Подали кофе, и общество тотчас же оживилось. Адвокат, который все время сидел с молодым студентом и спорил с ним о чем-то, вдруг вскочил с места с легкостью перышка, несмотря на свою тучность, и в восхищении захлопал в ладоши. Студент, потирая руки, подошел к роялю и взял несколько аккордов.

— Ах, да,— воскликнула хозяйка дома,— как это мы могли забыть, что вы играете! Но теперь сидите и играйте! Ну, слава Богу!

Студент не имел ничего против того, чтобы поиграть на рояле. Однако репертуар его был невелик, но если общество ничего не имеет против Шопенà или, может быть, вальса Ланнера...

Нагель усердно аплодировал музыке и сказал Дагни:

— Не правда ли, когда слушаешь такую музыку, то хочется сидеть в некотором отдалении от нее, где-нибудь в соседней комнате, держа в руке руку любимого человека, и сидеть тихо, не произнося ни слова! Право, не знаю, но мне всегда казалось, что это должно быть упоительно.

Она пристально посмотрела на него. Что он — шутил? Но в выражении лица его нельзя было подметить ни малейшей иронии. А потому она впала в тот же банальный тон:

— Да. Но при этом не должно быть яркого света, не правда ли? И кресла должны быть низкие и мягкие. А на дворе должен идти дождь, должно быть темно и ненастно.

Дагни была так необыкновенно хороша в этот вечер. Эти темные глаза на светлом лице производили сильное впечатление. Хотя зубы ее не отличались белизной, но она была очень смешлива и смеялась над всякими пустяками; а так как губы у нее были полные и алые, то ее улыбка тотчас же привлекала взор. Но самое замечательное было, может быть, то, что каждый раз, когда она начинала говорить, к ее щекам приливал нежный румянец, который потом сейчас же исчезал.

— Нет, какво! Ведь адьюнкт все-таки исчез! — воскликнула жена доктора. — Ну, конечно, конечно! На этого человека невозможно положиться, он всегда верен себе. Надеюсь, что по крайней мере вы, господин Рейнерт, попросаетесь со мной, прежде чем уйти?

Адьюнкт ушел через кухню, он улизнул под шумок, по своему обыкновению, сраженный винными парами, бледный и истомленный бессонницей, и больше уж не возвращался. При этом известии выражение лица Нагеля вдруг изменилось. В голове у него сейчас же промелькнула мысль, что он может попытаться предложить Дагни проводить ее домой через лес вместо адьюнкта. И он, не откладывая своего намерения, тотчас же попросил ее об этом, он умолял ее и глазами, и всей своей позой, и склоненной головой, и под конец прибавил:

— И я буду вести себя очень, очень хорошо!

Она засмеялась и ответила:

— Ну, и прекрасно, благодарю вас, раз вы мне обещаете это, я ничего не имею против вашего желания.

Теперь ему оставалось только дожидаться возвращения доктора, и тогда он мог уйти. В ожидании этой прогулки по лесу он стал еще оживленнее, чем раньше, стал болтать обо всем, заставил всех смеяться и вообще был необыкновенно любезен. Он был в таком восторге, так преисполнен счастья, что обещал прийти осмотреть сад фру Стенерсен и, в качестве специалиста в некотором роде, исследовать также и почву в нижней его части, где чахли кусты красной смородины. Она может успокоиться, он

справится с травяными вшами, если бы ему даже пришлось заклинять их и заговаривать!

Умеет ли он колдовать?

Да, он кое-как знает всего понемножку. Вот, например, он носит кольцо, самое невзрачное железное кольцо, но зато это кольцо обладает чудодейственной силой. Ну, кто поверит этому, глядя на него? Но если бы ему случилось потерять это кольцо в десять часов вечера, то он должен был бы во что бы то ни стало снова отыскать его до полуночи, иначе с ним могло бы случиться большое несчастье. Это кольцо он получил от одного очень старого грека, пирейского купца. Дело в том, что он оказал этому человеку услугу и дал ему за кольцо тюк табаку.

Верит ли он в чудодейственную силу кольца?

Да, немного. В самом деле! Оно даже вылечило его однажды.

Со стороны моря послышался лай собаки. Хозяйка дома посмотрела на часы. Да, это доктор, она узнала лай собаки. Ах, как это хорошо! Еще только полночь, а он уже возвратился домой! Она позвонила и приказала подать еще кофе.

— Вот как, так вы обладаете таким замечательным кольцом, господин Нагель? И вы действительно так твердо верите в его чудодейственную силу?

Да, более или менее. Впрочем, надо сказать, что у него есть основания не совсем сомневаться в его силе. В сущности, не все ли равно, во что верить, лишь бы было внутреннее убеждение. Кольцо излечило его от нервозности, сделало его сильным и здоровым.

Фру Стенерсен засмеялась над его словами, но потом она начала горячо возражать ему. Нет, она терпеть не может такой вздорной болтовни, — извините, она называет это именно вздорной болтовней, — и она уверена в том, что господин Нагель сам не верит в свои слова. Когда приходится слышать подобный вздор от образованных людей, то чего же ожидать от простого народа? Таким образом можно дойти Бог знает до чего! Тогда оказалось бы, что доктора не нужны больше, и им пришлось бы убираться на все четыре стороны.

Нагель стал защищаться. В сущности, все сводится к одному у тому же, — к воле, вере и настроению больного. Но докторам вовсе не надо убираться на все четыре стороны, у них всегда останутся свои приверженцы, верящие в них, у них останутся образованные люди, а образованные люди лечатся лекарствами, тогда как люди

суеверные, простые, лечатся железными кольцами, жженными человеческими костями и могильной землей. Разве не было примеров тому, что больные вылечивались, выпив чистой воды, если только им была внушена уверенность, что они принимают самые изысканные целебные средства? А не подтверждают ли этого также и опыты с морфинастами? Перед такими очевидными фактами вполне естественно, что неспециалисты без всякого стеснения объявляют себя независимыми в смысле веры в медицинскую науку. А впрочем, он вовсе не хочет произвести такое впечатление, будто смыслит что-нибудь во всем этом, он не специалист и не имеет ни малейшего понятия о медицине. Но, главное, в настоящую минуту у него так хорошо на душе, что он никоим образом не хочет портить настроение и другим. Хозяйка должна простить его, все должны простить его.

Каждую минуту он смотрел на часы и стал уже застегивать свой сюртук.

Среди этого разговора появился доктор. Он был очень нервен и подавлен, с деланной живостью поздоровался с гостями и поблагодарил их за то, что они еще не ушли. Ну, что касается до адьюнкта, то с него взятки гладки, да и Бог с ним! Но зато, за исключением его, все общество было в полном сборе. Да, да, тяжело жить на этом свете!

И вот он начал, по своему обыкновению, рассказывать о поездке к больному. Его недовольный вид объяснялся тем, что его пациенты превзошли все его ожидания. Они вели себя как идиоты, как ослы, он готов был бы всех их засадить в тюрьму. Нет, но какова семейка, в которой он только-что побывал! Хозяйка больна, отец хозяйки болен, сын хозяйки болен! И при этом вонь, вонь во всем доме! Но остальные члены семьи здоровы, у всех румянец на щеках, а маленькие дети так и пышут здоровьем. Это прямо непонятно, невероятно! Нет, для него это непостижимо. Тут лежит старик, отец хозяйки, вот с такой громадной раной. Когда он получил эту рану, тотчас же послали за ворожеей, которая действительно остановила кровь. Но спрашивается, чем она остановила кровь? Это возмутительно, преступно! Нельзя передать словами, какое зловоние распространялось там — можно было прямо задохнуться! И, конечно, последствием такого варварства при первом удобном случае является гангрена! Да, если бы он не явился сегодня вовремя, то Бог знает, чем бы все это кончилось. Нет, необходимы более строгие законы против знахарства — надо наконец обуздать этот народ!.. Ну, как

бы там ни было, но кровь была остановлена. Но тут является сын, взрослый сын, долговязый верзила с болячками на лице. Я ему уже раньше самым определенным образом сказал: «Вот эту желтую мазь надо употреблять в течение одного — *одного!* — часа в сутки, а белую мазь, цинковую, все остальное время». Но что он делает? Он, конечно, перепутывает мази, употребляет белую в продолжение одного часа в сутки, а желтую, которая жжет и щиплет, как черт знает что, употребляет все остальное время дня и ночи. И этот ад он выдерживает целых две недели. Но удивительнее всего то, что этот дурак все-таки выздоровел, несмотря на свою непроходимую глупость. Он выздоровел! Ведь это бык, вол, который выздоравливает, несмотря ни на что! Он представился мне сегодня со щеками и рожей, на которых не осталось и следа его болезни. Этим людям везет. Ведь этот болван мог изуродовать себе физиономию надолго, а он даже и не моргнул... А тут еще мать этого молодца, хозяйка. Она больна, совершенно истощена, обессилена, у нее головокружение, нервозность, отсутствие аппетита, шум в ушах. «Ванны! — говорю я, — ванны и обмывания, и употреблять как можно больше воды, черт возьми! Сварите телянку и ешьте мясо, растворите окна и впустите в комнату побольше свежего воздуха, гуляйте побольше, а эту книгу, Иогана Арендта, бросьте в печку, и тому подобное. Но прежде всего ванны, растирания и снова ванны, иначе все мое лечение, все мои лекарства будут ни к чему». Ну, оказалось, что на телянку у нее не было средств, и весьма возможно, что это и было на самом деле так; но ванну она берет — она берет ванну и смывает с себя немного грязи, но ее начинает знобить, и она стучит зубами от этой чистоты, и затем прекращает употребление воды. Оказывается, что она уже отвыкла от чистоты и не может ее больше переносить! Что же дальше? Эта женщина раздобывает себе откуда-то цепочку, цепочку от ломоты, с магнитным крестом или чем-то в этом роде, и надевает это на себя! Я прошу показать мне ее: цинковая пластинка, какая-то тряпочка, два крючка, еще несколько крючков поменьше — вот и все. «На кой черт, — говорю я, — вам эта дрянь?» Дело, видите ли, в том, что от этого ей стало легче, боли уменьшились, голова также перестала болеть, и все тело ее согрелось. Да, как вам это нравится? Эти крючки и пластинки помогли ей! Но что тут поделаешь? Я мог бы с таким же успехом поплевать на палочку и дать ей — и, уверяю вас, это принесло бы ей точь в точь



такую же пользу. Но попробуйте только сказать ей это! «Послушайте-ка,— говорю я ей,— выбросьте вон эту дрянь, иначе я ничего больше не буду для вас делать, я не подойду к вам». Нет, как вы думаете, что она сделала? Она оставляет на себе цинковую пластинку, а меня отпускает на все четыре стороны! Господи Боже ты мой! Нет, не стоит быть врачом, надо быть знахарем!..

Доктор в сильном возбуждении садится пить кофе. Его жена обменивается взглядом с Нагелем и говорит, смеясь:

— Господин Нагель поступил бы точь в точь как эта женщина. Мы как раз говорили об этом перед самым твоим приходом. Господин Нагель не верит в твою науку.

— Вот как, в самом деле! — замечает доктор коротко. — Конечно, господину Нагелю предоставляется думать об этом как ему угодно.

Возмущенный, полный гнева и обиженный тем, что его ужасные пациенты не хотят слушаться его приказаний, доктор молча пил свой кофе. Его еще больше раздражало, что все сидели и смотрели на него.

— Займитесь же чем-нибудь, расшевелитесь,— сказал он.

Однако, напившись кофе, он несколько оживился, поболтал с Дагни, посмеялся над лодочником, приехавшим за ним, чтобы отвезти его к больному. Но потом он снова перешел на те неприятности, которые приходится переносить врачам, и опять пришел в раздражение. Он никак не мог забыть недоразумения с мазями: повсюду дикость, суеверие и ослиное тупоумие. Вообще, невежество в народе прямо ужасающее.

— Однако человек этот все-таки выздоровел?

Доктор готов был растерзать Дагни зубами за эти слова. Он выпрямился.

— Да, правда, человек этот выздоровел, так что же из этого? Ведь это ничуть не меняет того, что тупоумие и невежество в народе доходят до ужасающих размеров. Человек выздоровел, это правда, но что если бы этот человек сжег себе всю рожу? Неужели же есть какой-нибудь смысл защищать его непроходимое тупоумие?

Это унижительное столкновение с деревенским оболтусом, который поступал совершенно вразрез с его предписаниями и все-таки выздоровел, возмущало доктора больше всего другого и придавало его обыкновенно таким кротким глазам свирепое выражение. Его одурачил деревенский парень, благодаря какому-то слепому случаю, ему предпочли какую-то цинковую пластину, и он не мог забыть,

пока не выпил вслед за кофе стакан крепкого тодди. Тогда он вдруг сказал:

— Послушай, Иетта, я дал человеку, который пришел за мной, пять крон — имей это ввиду. Ха-ха-ха, никогда в жизни не видал я такого молодца! Вся задняя часть его штанов отсутствовала, но что за силища у него и что за беззаботность! Чистый дьявол! Он распевал всю дорогу. Он был вполне убежден, что достанет своей удочкой до неба, если только станет на вершине Этьефельда. «Но тебе придется для этого встать на цыпочки», — сказал я. Да, об этом он не подумал, но от отнесся к моим словам очень серьезно и стал уверять, что великолепно умеет стоять на цыпочках. Ха-ха-ха, как вам это нравится? Но он очень позабавил меня.

Наконец фрекен Андресен встала, чтобы идти домой, а за нею поднялись и остальные. Нагель, прощаясь, так искренне и горячо поблагодарил хозяев, что совершенно обезоружил доктора, который за последние четверть часа был с ним несколько холоден.

— Не забывайте нас, приходите скорее! Послушайте, есть ли у вас сигара? Да закурите же сигару!

И доктор заставил его снова войти и взять свежую сигару.

Между тем Дагни стояла одетая на крыльце и ждала его.

## ГЛАВА VIII

---

### БЕЛЫЕ НОЧИ

Была прекрасная ночь.

У тех немногих людей, которые еще встречались на улицах, были радостные лица; на кладбище какой-то человек все еще возился со своей тачкой и тихо напевал. Но повсюду кругом стояла полная тишина, и кроме этого пения ничего больше не было слышно. С той горы, на которой стоял дом доктора, город казался каким-то странным гигантским насекомым, каким-то сказочным чудовищем, распластавшимся на брюхе с протянутыми во все стороны лапами, рогами и щупальцами. Лишь изредка оно еще слабо шевелило тем или другим членом: вот только что оно двинуло лапой, протянутой к морю, — это маленький паровой катер беззвучно скользил по воде,

оставляя позади себя сверкающую борозду на черной поверхности залива.

Дым сигары, которую Нагель курил, поднимался в воздух в виде синего облачка. Нагель уже наслаждался благоуханием леса и травы, и его пронизывало чувство блаженства, его сердце расширялось от великой радости, которая охватила его всего, наполняла его глаза слезами и перехватывала его дыхание. Он шел рядом с Дагни, она не промолвила еще ни слова. Когда они проходили мимо кладбища, он произнес несколько слов, хваля доктора и его жену, но она ничего не ответила на это. Между тем красота и тишина ночи опьяняли его все больше и больше, наполняли его страстью, и дыхание его стало прерывистым, а взор затуманился. Ах, как хороши эти белые ночи! Он сказал:

— Посмотрите на цепь гор, как они ясно выделяются на фоне неба! У меня сегодня так радостно на душе, фрёкен, и я прошу вас быть снисходительной ко мне, пожалуйста! Дело в том, что я способен натворить сегодня всяких глупостей только от счастья. Взгляните на эти сосны, на те камни, на кочки и на кусты можжевельника, которые похожи на сидящих людей в этом ночном освещении. И ночь так свежа и ясна, она не гнетет душу странными предчувствиями и не навеивает таинственного страха, не правда ли? У меня такое чувство, словно в душе у меня пение ангелов. Я пугаю вас?

Она остановилась, потому он и спросил, не пугает ли он ее. Она с улыбкой посмотрела на него своим синим взором, потом снова стала серьезна и сказала:

— Я шла и думала — что вы за человек?

Она проговорила это, все еще стоя на месте и глядя на него. Во время всего пути она говорила дрожащим, ясным голосом, как будто немного боялась чего-то, и будто у нее в то же время было радостно на душе.

После этого между ними начался следующий разговор, и он продолжался все время, пока они шли через лес, а шли они очень медленно. Разговор их перескакивал с одного предмета на другой, с одного настроения на другое, и на нем отражалось то трепетное волнение, которое охватило их обоих:

— Вы думали обо мне? Неужели? Но, конечно, я гораздо больше думал о вас. Ведь я знал вас уже прежде, чем приехал сюда, я слышал ваше имя на пароходе, я случайно услышал его, так как до меня донеслись слова

двух разговаривающих. И я приехал сюда двенадцатого июня. Двенадцатого июня!

— В самом деле? Как раз двенадцатого июня!

— Да. И город был разукрашен флагами, и этот маленький городок произвел на меня такое чарующее впечатление, что я сошел здесь на берег. И я сейчас же еще услышал о вас.

Она улыбнулась и спросила:

— Это, конечно, Минута говорил вам про меня?

— Нет. Я слышал, что все любят вас,— все, и что все восхищаются вами...

И Нагель вдруг вспомнил про теолога Карльсена, который даже покончил с собой из-за нее.

— Скажите,— начала она опять,— вы действительно думаете то, что говорили о морских офицерах?

— Ну, да. Но почему вы спрашиваете?

— В таком случае мы с вами одного и того же мнения.

— Но почему бы мне этого не думать? Я всегда восхищаюсь ими, как раньше, так и теперь, я восхищаюсь их свободной жизнью, их формой, их здоровьем и неустранимостью; да и большая часть из них кроме того сами по себе необыкновенно симпатичные люди.

— Но теперь поговорим о вас. Что такое произошло между вами и поверенным Рейнертом?

— Ничего. С поверенным Рейнертом, говорите вы?

— Вчера вечером вы просили у него извинения в чем-то, а сегодня вы весь вечер почти ни слова не сказали ему. Так значит, вы имеете обыкновение сперва оскорблять людей, а потом просить у них прощения?

Он улыбнулся и опустил глаза.

— Дело в том,— ответил он,— что я был неправ, но я уверен, что все это обойдется, если только мне удастся поговорить с ним. Я несколько вспыльчив и резок; все это произошло оттого, что он толкнул меня, проходя в дверь. Как видите, сущие пустяки, простое невнимание с его стороны; но я сейчас же вскакиваю, как безумный, и отпускаю по его адресу несколько тяжеловесных словечек, угрожающе размахивая кулаком его шляпу. И после этого он ушел. Как благовоспитанному человеку, ему ничего другого и не оставалось делать. Но потом я раскаялся в своем поведении и решил как-нибудь загладить свой поступок. Конечно, и за мной также есть некоторые смягчающие вину обстоятельства: я был в очень нервном состоянии в этот день, и у меня было несколько

неприятностей. Но ведь этого никто не знает, о таких вещах не рассказывают, а потому я предпочитаю взять всю вину на себя.

Все это он проговорил не задумываясь, самым искренним тоном, словно желал быть вполне беспристрастным. Да и в выражении его лица также не было ничего, внушающего недоверие. Но Дагни вдруг остановилась, с изумлением посмотрела ему прямо в лицо и сказала:

— Однако, послушайте... ведь дело было вовсе не так? Я слышала совершенно другое.

— Минута лжет! — воскликнул Нагель с пылающими щеками.

— Минута? Я слышала это вовсе не от Минуты. Зачем вы клеветеете на самого себя? Я слышала всю эту историю от одного человека, который торгует гипсовыми статуэтками на базаре. Он видел все с самого начала до конца.

Пауза.

— Зачем вы клеветеете на самого себя? Вот чего я не могу понять,— продолжала она, не сводя с него глаз.— Я услышала это сегодня, и я так обрадовалась, то есть, я хочу сказать, я нашла, что вы поступили так хорошо. Это так идет вам. Если бы я не услышала этой истории сегодня утром, то едва ли я решилась бы идти здесь с вами, говорю вам это совершенно откровенно.

Пауза.

Наконец он сказал:

— А теперь вы восхищаетесь мною вследствие этого?

— Право, не знаю,— ответила она.

— Ну, конечно, конечно, вы восхищаетесь мною... Послушайте,— продолжал он,— все это только одна комедия. Вы так благородны и правдивы, и мне противно обманывать вас, а потому я расскажу вам все начистоту.

И он начал рассказывать, нисколько не смущаясь, нахально глядя ей прямо в глаза, какие у него были расчеты и соображения:

— Если я объясню это столкновение с поверенным на свой *собственный* лад, несколько искажая факты, и даже клевету немного на себя, то делаю я это из-за того... из-за того... из простого расчета. Я стараюсь извлечь из всего этого как можно больше выгоды для себя. Вы видите, я совершенно откровенен с вами. Я предполагаю, что кто-нибудь во всяком случае расскажет вам об этом, и если я заблаговременно черню себя, насколько возможно, то делаю я это из расчета в конце концов остаться в большом выигрыше. На меня падет отблеск величия,

великодушия — не правда ли? И все это является результатом самого грубого, самого низкого обмана; и это глубоко возмутит вас, когда вы узнаете всю правду. Я нашел, что лучше чистосердечно признаться во всем, потому что вы заслуживаете честного отношения. Но, к сожалению, я достигну, конечно, только того, что оттолкну вас на тысячу миль.

Она пристально смотрела на него, она старалась понять этого человека и его слова, раздумывала и взвешивала все, и пыталась составить для себя какое-нибудь определенное мнение. Чему ей верить? Чего он хотел достигнуть своей откровенностью? Вдруг она снова останавливается, всплескивает руками и раздражается громким, серебристым смехом.

— Нет, вы самый дерзкий человек, какого я когда-либо видела! Это ужасно, вы идете и рассказываете о себе самые невероятные и самые нелестные вещи — и только для того, чтобы выставить себя в дурном свете! Ведь вы этим ровно ничего не достигнете. В первый раз мне приходится видеть такого странного человека! Разве вы могли быть уверены в том, что я когда-нибудь узнаю, как все произошло в действительности? Нет, вы скажите, скажите! А впрочем, молчите, лучше ничего не говорите, а то вы опять солжете. Фу, как это нехорошо с вашей стороны, ха-ха-ха! Однако послушайте: если вы рассчитываете на то, что ваш план удастся, и что все произойдет таким-то и таким-то образом, и вы достигнете вашего желания, то зачем же вы портите все признанием в своем — как вы это называете — обман? Вчера вы также поступили подобным образом. Я отказываюсь понимать вас. Но почему же вы, рассчитывая на все, забываете, что сами разоблачаете себя?

Но он не сдавался, он подумал с минуту и ответил:

— Но я этого вовсе не упускаю из виду, ничуть не упускаю. Вот вы сами сейчас убедитесь в этом. Если я и обличаю себя, то я ничуть не рискую, во всяком случае немногим. Во-первых, нельзя быть уверенным в том, что тот, перед кем я обличаю себя, поверит мне. Вот вы, например, в эту минуту не верите мне. А какой же результат всего этого? Результат тот, что я выигрываю вдвое, я остаюсь в громадном выигрыше, моя выгода растет, как лавина, мое величие достигает невероятных пределов. Ну, а во-вторых, я, конечно, остался бы в выигрыше даже в том случае, если бы вы поверили мне. Вы качаете головой? Напрасно. Уверяю вас, что я уже много раз пускал в ход этот прием и всегда оставался в выигрыше.

Если бы вы даже поверили в правдивость моих слов, то вы были бы во всяком случае поражены моей искренностью. Вы сказали бы: «Ну, да, он обманул меня, но потом он сознался в этом и совершенно добровольно; в его дерзости есть что-то таинственное, он ничего решительно не боится, своими признаниями он окончательно обезоруживает меня!» Одним словом, я достигаю того, что вы начинаете присматриваться ко мне, я возбуждаю ваше любопытство, и вы занимаетесь мною, я поражаю вас. Да ведь вы сами только что говорили, что отказываетесь понимать меня. Вот видите ли, вы сказали это, потому что уже пытались изучить меня, а это также очень лгист моему самолюбию, даже более — это доставляет мне истинное наслаждение. Таким образом я выгадываю в любом случае — верите вы мне или нет.

Пауза.

— И вы хотите уверить меня, — сказала она, — что всю эту хитроумную выходку вы подготовили заранее? Заранее предугадали все случайности и приняли все меры? Ха-ха-ха! Но теперь, что бы вы ни сказали, вы уже не удивите меня больше, нет, теперь я ожидаю от вас всего. Однако довольно об этом, вы могли бы солгать еще гораздо хуже, вы очень ловки.

Он упорно настаивал на своем и сказал, что после такого заключения с ее стороны его высокомерие возрастет до невероятных размеров. И он искренне благодарен ей, хе-хе-хе, да, он достиг своего. Но с ее стороны это слишком любезно, слишком великодушно...

— Ну, хорошо, хорошо, — прервала она его, — оставим это.

Но теперь он остановился.

— Повторяю вам еще раз, что я вас обманул! — сказал он, пристально глядя на нее.

С минуту они смотрели друг на друга; ее сердце забилось сильнее, и она даже слегка побледнела. Почему он так добивается того, чтобы она думала о нем как можно хуже? Как ни был он уступчив во всех других отношениях, но в этом случае его нельзя было сдвинуть с места. Какая странная мания, какое безумие!

Она воскликнула с раздражением:

— Не понимаю, для чего вы ломаетесь передо мной! Ведь вы обещали вести себя хорошо!

Ее раздражение было искренно. Ее начало выводить из себя его упорство, которое было так неподдельно, так непоколебимо, что сбивало ее с толку. Сознание, что ее

водят за нос, оскорбляло ее. В своем раздражении она стала бить себя по руке зонтиком.

Он казался очень несчастным и наговорил много высокопарных и жалких слов. В конце концов она рассмеялась и дала ему понять, что не сердится на него больше. Он невозможен, и нет никакой надежды на то, что он когда-нибудь исправится. Он, конечно, находит все это очень забавным. Ну что же! Но ни слова больше об этом, ни слова...

Пауза.

— Помните,— сказал он,— здесь я встретил вас в первый раз. Никогда не забуду я, до чего вы походили на фею, когда бежали от меня. Вы казались мне видением, богиней... Но теперь я расскажу вам об одном приключении, которое случилось со мною. Впрочем, это пустяки, и рассказать это можно в двух словах. Сидел я однажды в своей комнате — это было в одном маленьком городке, но не в Норвегии,— а впрочем, не все ли равно, где это было? Одним словом, в один тихий, прекрасный осенний вечер я сидел в своей комнате. Это было восемь лет тому назад, это было в 1883 году. Я сидел спиной к двери и читал книгу.

— Лампа была зажжена?

— Да. На дворе было так темно, что хоть глаз выколи. Я сидел и читал. Вдруг я слышу шаги за дверью, я ясно расслышал шаги на лестнице; вслед за тем ко мне стучат в дверь. «Войдите!» Никто не входит. Я отворяю дверь — никого нет. Ни души! Я звоню, на звонок является служанка. «Кто-нибудь поднимался по лестнице?» — «Нет, никто не поднимался». «Хорошо, спокойной ночи!» Служанка уходит.

Я снова принимаюсь читать. Вдруг я чувствую легкое дуновение, как будто бы меня коснулось дыхание человека, стоящего рядом со мною, и я слышу шепот: «Иди!» Я никого не вижу: в комнате нет никого. Я снова принимаюсь за книгу, злюсь и говорю: «Черт!» В это мгновение я замечаю рядом с собой маленького, бледного человека с рыжей бородой и с жесткими, торчащими во все стороны волосами. Человек стоит слева от меня. Он подмигивает мне, и я отвечаю ему тем же; мы никогда не видели друг друга, но тем не менее мы перемигиваемся. Я закрываю свою книгу правой рукой, человек направляется к двери и исчезает. Я также встаю и иду к двери, и там я слышу шепот: «Иди!» Ладно, я надеваю пальто, калоши и выхожу. «Закурил бы ты



сигару», — думаю я и возвращаюсь в свою комнату и закуриваю сигару, а кроме того засовываю еще несколько штук в карман. Бог знает, зачем я это сделал, но я это сделал и вышел.

Не видно было ни зги, и я ничего не мог различить. Но я все время чувствовал, что маленький человек идет рядом со мною. Я размахивал руками, чтобы ухватиться за него, и решил даже остановиться и не идти дальше, если он не даст мне никаких объяснений, но я так и не мог нащупать его. Я попытался даже подмигнуть ему в темноте в различных направлениях, но это ни к чему не привело. «Ладно, — сказал я, — я иду вовсе не ради тебя, а просто иду ради себя самого, я прогуливаюсь. Пожалуйста, обрати внимание на то, что я делаю маленькую прогулку». Я говорил громко, чтобы он мог слышать меня. Так шел я несколько часов, вышел за город и наконец вошел в лес, я чувствовал, как по лицу меня хлестали ветви с мокрыми листьями. «Прекрасно, — сказал я наконец, вынимая часы как бы для того, чтобы посмотреть, который час, — прекрасно, теперь я отправляюсь домой!» Но я вовсе не пошел домой, я не был в состоянии повернуть, меня непреодолимо влекло вперед. «А впрочем, — заметил я, — погода такая прекрасная, я могу проходить так одну или две ночи, времени у меня достаточно!» Я это сказал, несмотря на то, что чувствовал себя крайне утомленным и промок до костей от росы. Я закурил новую сигару. Маленький человек продолжал идти рядом со мной, и я чувствовал на себе его дыхание. Я шел безостановочно по всевозможным направлениям, но только не домой, к городу. Ноги у меня начали ныть и промокли до самых колен, а лицо мое горело от мокрых ветвей, которые беспрестанно хлестали меня по лицу. Я сказал: «Это может показаться странным, что я разгуливаю здесь в такое время, но такая уж у меня привычка, я с детских лет отличался тем, что разыскивал самые дремучие леса и гулял в них по ночам». И я шел дальше, стиснув зубы. Но вот я слышу, что башенные часы в городе бьют полночь: раз, два, три, четыре... — двенадцать, я считаю удары. Эти знакомые звуки очень ободрили меня, хотя в то же время я досадовал на то, что мы продолжали оставаться вблизи города, а между тем бродили так долго. Хорошо, как бы то ни было, но часы проббили двенадцать, и при двенадцатом ударе я снова вижу перед собой маленького человека. Он стоит передо мной как ни в чем не бывало и смеется. Никогда

я не забуду этого, я видел его так ясно, я заметил даже, что у него не хватало двух передних зубов, и что он держал руки за спиной...

— Но как вы могли видеть его в темноте?

— Он как-то сам светился. Он светился каким-то странным светом, находившимся позади него и делавшим его почти прозрачным. Даже его платье было освещено, как днем, я заметил даже, что брюки у него имели очень поношенный вид и были слишком коротки. Все это бросилось мне в глаза в одно мгновение. Я был так поражен тем, что увидел, что невольно закрыл глаза и отступил на шаг. Когда я снова открыл глаза, человека этого больше не было...

— Ах!..

— Но слушайте дальше. Оказалось, что я пришел к башне. Передо мной стояла башня, я чуть не наткнулся на нее и видел ее все яснее и яснее: это была черная восьмиугольная башня, напоминавшая «башню ветров» в Аоинах — может быть, вы видели ее на картинках? Никогда не слыхал я до тех пор, что в этом лесу существует такая башня, но, так или иначе, она там была. Я стою у башни и снова слышу: «Иди!» Я захожу в башню. Дверь за мной остается раскрытой, и это меня несколько успокаивает.

Под сводами я снова встречаю маленького человека. У одной стены горит лампа, так что я хорошо могу рассмотреть его. Он идет ко мне навстречу, словно все время находился в башне, он стоит передо мною, молча смеется и в то же время не сводит с меня глаз. Я тоже смотрю ему прямо в глаза, и мне кажется, что я вижу в этих глазах много ужасного, я вижу все то, что пришлось им видеть в этой жизни. Он снова подмигнул мне, но я не ответил ему тем же, я отступал от него по мере того, как он приближался ко мне. Вдруг я слышу позади себя легкие шаги, я поворачиваю голову и вижу молодую женщину.

Я смотрю на нее, и это мне доставляет громадное наслаждение. У нее были рыжие волосы и черные глаза, но она была бедно одета и шла босыми ногами по каменному полу. Руки у нее были обнажены и чисты.

С минуту она осматривает нас обоих, потом низко склоняет голову передо мною и идет к маленькому человеку. Не говоря ни слова, она принимается расстегивать его куртку и шарит руками по его телу, как бы ища чего-то, и немного спустя она вытаскивает из подкладки

его плаща горящий фонарь, маленький светлый фонарь, который она вешает себе на палец. Фонарь горел так ярко, что совершенно затемнял свет стенной лампы. Человек продолжал стоять все так же тихо и все время улыбался, пока его обыскивали. «Спокойной ночи!» — сказала женщина, указывая на дверь, и это странное, наводящее страх полуживотное ушло. Я остался один с моей новой знакомой.

Она подошла ко мне, снова низко склонилась передо мною и сказала без улыбки и не повышая голоса:

— Откуда ты?

— Из города, прекрасная девушка, — ответил я. — Я пришел из самого города.

— Незнакомец, прости моему отцу! — сказала она вдруг. — Не делай нам зла: он болен, он помешан, ведь ты видел его глаза?

— Да, я видел его глаза, — ответил я, — я чувствовал их власть над собой и последовал за ним.

— Где ты его встретил? — спросила она.

И я ответил:

— У себя дома, в своей комнате. Я сидел и читал, когда он пришел ко мне.

Тогда она покачала головой и опустила глаза.

— Но пусть это тебя не огорчает, прекрасное дитя, — сказал я. — Я с удовольствием прогулялся сюда, я ничего не потерял от этого и рад, что увидел тебя. Взгляни на меня, я счастлив и доволен, улыбнись же и ты!

Но она не улыбнулась, она сказала:

— Сними свои башмаки. Не уходи отсюда ночью, я высушу твоё платье.

Я посмотрел на свое платье, оно промокло до нитки, мои башмаки были пропитаны водою. Я сделал, как она сказала, снял башмаки и дал их ей. Едва я это сделал, как она погасила лампу и сказала:

— Иди!

— Подожди немного, — сказал я, останавливая ее. — Если я не буду ночевать здесь, то зачем ты велела снять мне башмаки сейчас?

— Этого тебе нельзя знать, — ответила она.

И я так и не узнал этого.

Она повела меня через дверь в какую-то темную комнату, я услышал такие звуки, словно кто-то обнюхивал нас, и в то же мгновение я почувствовал на своих губах мягкую ручку, и девушка сказала громко:

— Это я, отец. Чужой ушел — ушел.

Но я слышал, что сумасшедший урод продолжал сопеть, как бы обнюхивая нас.

Мы стали подниматься по лестнице, она вела меня за руку, и никто из нас не говорил. Мы вошли в новое помещение, куда не проникал ни единый луч света, повсюду царила черная ночь.

— Тише! — шепнула она, — вот моя постель.

Я стал шарить и нащупал ее постель.

— Теперьними также и остальное платье, — шепнула она снова.

Я снял его и дал ей.

— Спокойной ночи! — сказала она.

Я стал удерживать ее и попросил остаться:

— Не уходи, подожди немного. Теперь я знаю, почему ты велела мне снять башмаки внизу; я буду сидеть тихо, твой отец не слышал, как я прошел сюда, — останься!

Но она не осталась.

— Спокойной ночи, — сказала она и ушла...

Пауза.

Дагни покраснела, ее грудь высоко поднималась, и ее ноздри дрожали. Она спросила быстро:

— Она ушла?

Пауза.

— Но тут моя ночь превращается в какую-то волшебную сказку, которая вызывает во мне воспоминание, подернутое розовой дымкой. Представьте себе светлую-светлую ночь... Я был один, меня окружал мрак, непроницаемый, тяжелый, как черная бархатная завеса. Я чувствовал себя утомленным, колени мои дрожали, к тому же я чувствовал себя одураченным. Этот негодный сумасшедший водил меня вокруг одного и того же места несколько часов, он таскал меня по мокрой траве и заставлял следовать за собой, как какую-то безвольную скотину, только своим взглядом и своим «иди», «иди». Следующий раз я вырву у него из рук фонарь и разобью им его рожу! Я был страшно зол; я закурил сигару и улегся в постель. Некоторое время я лежал и смотрел на вспыхивавший во тьме кончик моей сигары. Немного спустя я услышал, как захлопнулась внизу входная дверь, и потом все затихло.

Прошло минут десять. Заметьте: я лежу в постели, меня совсем не клонит ко сну, я все сознаю и курю сигару. Вдруг комната наполняется каким-то шипением, словно на потолке сразу со всех сторон открылись отверстия. Я приподнимаюсь на локте и не обращаю внимания на то, что сигара моя гаснет, я напряженно

всматриваюсь в темноту, но ничего не могу заметить. Потом я снова ложусь и прислушиваюсь, и мне чудится, будто я слышу отдаленные звуки, удивительную тысячеголосую музыку, раздающуюся где-то высоко в небесах. Эта музыка не умолкает и все приближается и приближается, наконец раздается надо мной, над крышей башни. Я приподнимаюсь на локте. Тут мне пришлось пережить нечто такое, что до сих пор еще опьяняет меня, и я чувствую какое-то сверхъестественное наслаждение при одном воспоминании об этом. На меня вдруг как бы низвергается целый поток крошечных ослепительных существ. Они совсем белые, это ангелы, мириады маленьких ангелочков, которые врываются сверху ослепительными потоками света. Они заполняют все пространство под сводами, их миллионы, они передвигаются волной из стороны в сторону, снизу вверх, и поют, поют!.. Они ослепительно белые и совершенно обнажены. Сердце замирает во мне, я со всех сторон окружен ангелами, я прислушиваюсь и слышу их пение, они касаются моих век и опускаются ко мне на голову, и все пространство наполняется благоуханием, распространяющимся из их маленьких раскрытых ротиков.

Я лежу, опираясь на локоть, и протягиваю к ним руку, и некоторые из них садятся на нее. На моей руке они напоминают собою плядую дрожащих звездочек. Я наклоняюсь вперед и заглядываю им в глазки, и я замечаю, что они слепы. Я выпускаю из рук плядую слепых ангелочков и ловлю семь других, но и эти также слепы. Увы, все они оказались слепыми — вся башня была полна слепыми ангелочками, которые пели!

Я не шевелился, у меня захватило дыхание от этого зрелища, эти слепые глаза вызвали в моей душе тихую грусть.

Прошла минута. Я лежу и прислушиваюсь, и вдруг я слышу тяжелый и резкий удар где-то вдали, я слышу его с жестокой ясностью, и она еще долго гудит в воздухе: это снова пробил час на городской башне. Пробило час.

И вдруг пение ангелов замолкло. Я видел, как они собрались вместе, устремились к крыше и улетели, они столпились и в виде ослепительного потока хлынули из башни. Последний ангел обернулся и еще раз взглянул на меня своими слепыми глазами, прежде чем окончательно исчезнуть.

Да, у меня так ясно остался в памяти этот последний ангелочек, который обернулся и посмотрел на меня,

несмотря на то, что он был слепой. Потом вокруг меня снова все стемнело. Я упал на подушки и заснул...

Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я все еще был один под сводами башни. Мое платье лежало передо мной на полу. Я ощупал его, оно было еще сыровато, но я все-таки надел его. Вдруг отворяется дверь, и девушка которую я видел накануне, снова входит ко мне.

Она подходит вплотную ко мне, и я говорю:

— Откуда ты приходишь? Где ты была ночью?

— Там, наверху,— отвечает она, указывая на крышу башни.

— Разве ты не спала?

— Нет, я не спала. Я не спала всю ночь.

— А слышала ли ты музыку сегодня ночью? — спросил я.— Я слышал райскую музыку.

Она ответила:

— Да, это я играла и пела.

— Это ты играла и пела? Скажи, дитя мое, правда ли это?

— Да, это я играла и пела.

Она протянула мне руку и сказала:

— Но теперь пойдем, я выведу тебя на дорогу.

И мы вышли из башни и пошли рука об руку в лес. Солнце освещало ее золотистые волосы, и у нее были прекраснейшие черные глаза. Я обнял ее и два раза поцеловал в лоб, потом опустился на колени перед ней. Дрожащими руками сняла она с себя черную ленту и обвязала ею мою руку, и, делая это, она плакала и была очень взволнована. Я спросил:

— Почему ты плачешь? Оставь меня, если я в чем-нибудь провинился перед тобою.

Но она ответила только:

— Ты видишь город?

— Нет,— ответил я.— Я не вижу города. А ты?

— Встань, и пойдем дальше,— сказала она.

И вот она повела меня дальше.

Я снова остановился, привлек ее к своей груди и сказал:

— Как я полюбил тебя! Каким блаженством ты наполняешь мое сердце!

И она затрепетала в моих объятиях и все-таки ответила:

— Теперь я должна вернуться. Ты, вероятно, видишь город?

— Да,— ответил я.— И ты, конечно, также видишь его?

— Нет,— ответила она.

— Почему? — спросил я.

Она отошла от меня и взглянула на меня своими прекрасными, большими глазами, и, уходя, низко склонилась передо мною, как бы прощаясь. Отойдя на несколько шагов, она еще раз обернулась и снова посмотрела на меня.

Тут только я заметил, что ее глаза также были слепы...

Вслед за этим наступает промежуток в двенадцать часов, и в этом времени я не могу дать себе отчета, оно совершенно изгладилось из моей памяти. Я не могу понять, куда девались все эти часы, я ударял себе по голове и говорил: эти двенадцать часов должны быть у тебя где-нибудь, они просто затерялись, и ты должен их найти.

Но я так и не нашел их...

Снова вечер, темный, мягкий осенний вечер. Я сижу у себя в комнате с книгой в руке. Я смотрю на свои ноги: мои башмаки все еще не просохли. Я смотрю на свою руку и вижу, что на ней навязана черная лента. Все соответствует действительности.

Я звоню, и когда на мой звонок появляется служанка, то я спрашиваю ее, нет ли здесь где-нибудь поблизости башни, где-нибудь в лесу, черной восьмиугольной башни. Служанка кивает головой и говорит: «Да, в лесу есть одна башня». — «А живут ли в ней люди?» — «Да, там живет один человек, но он болен, он сумасшедший, его называют «человек с фонарем» У этого «человека с фонарем» есть дочь, которая живет с ним вместе в башне, а кроме них никто там больше не живет». — «Хорошо, спокойной ночи!»

Затем я ложусь спать.

На следующий день рано утром я отправляюсь в лес. Я иду по той же тропинке и вижу те же деревья, я нахожу также и башню. Я приближаюсь к двери, и глазам моим представляется зрелище, от которого сердце мое перестает биться: на земле лежит слепая девушка, мертвая, вся разбитая от падения и изуродованная. Она лежит с широко раскрытым ртом, и солнце ярко освещает ее рыжие волосы. А наверху, на краю крыши еще развевается клочок ее платья, которым она зацепилась при падении. На дорожке, усыпанной мелким щебнем, ходит взад и вперед маленький человек, отец несчастной, и смотрит на труп дочери. Плечи его судорожно поднимаются, и он воет громким голосом. Он ничем другим не выражает своего горя, он только ходит вокруг трупа, смотрит на него и воет. Когда его взор упал на меня, то я содрогнулся от

этого страшного взгляда и в ужасе бросился бежать обратно в город. Больше я никогда не видал его...

Вот и все мое приключение.

Наступило долгое молчание. Дагни шла, потупив глаза, и шла она очень медленно. Наконец она сказала:

— Боже мой, что за странное приключение!

Снова наступило молчание, и Нагель раза два пытался нарушить его, обращая ее внимание на глубокую тишину, царившую в лесу.

— Вы чувствуете, какой аромат распространяется именно здесь? Ах, пожалуйста, посидим здесь немного!

Она села, все еще не произнося ни слова, тихая и задумчивая. Он сел против нее.

Он считал своим долгом снова развеселить ее. В сущности, это вовсе не такая печальная история, это скорее забавное приключение. Это сущий вздор! Нет, вот Индия — это другое дело, там случаются такие приключения, что, слушая о них, дух захватывает и кровь стынет в жилах от ужаса. В Индии существует два рода сказок: одни повествуют о неземных, сверхъестественных предметах — об алмазных пещерах, горных принцах, соблазнительных морских красавицах, о духах земных и воздушных, о жемчужных дворцах, крылатых конях, серебряных лесах и золотых россыпях. Другие сказки с особенной любовью касаются предметов таинственных — всего великого, необыкновенного и чудовищного. Вообще, никто не может сравниться с восточными народами в умении рассказывать, в умении придумывать самые невероятные приключения и наводить ужас. Ведь вся их жизнь проходит в сказочной стране, и они с такой же легкостью говорят о диких недоступных местах за горами, где живут феи, как и о немом властелине, обитающем в тучах, о таинственной силе, правящей всем там вверху и повелевающей звездами. И все это происходит только оттого, что люди эти живут под другим солнцем и питаются плодами, а не ростбифом.

Дагни спросила:

— Но разве у нас самих нет прекрасных сказок?

— У нас есть удивительные сказки. Но только в другом роде. У нас нет солнца, которое ослепляет и жжет. Наши сказки о лесных нимфах больше стелются по земле и даже уходят под землю — это плод кургузой, неуклюжей фантазии, работавшей в долгие зимние ночи в бревенчатой хижине с коптящей лампой. Читала ли она когда-нибудь «Тысячу и одну ночь»? Нет, наши сказки из Гудбрандской долины — вот это наше родное, эта крестьянская поэзия с



кургузой фантазией соответствует нашему духу. Мы не содрогаясь от наших сказок, они спокойные и остроумные, они только заставляют нас смеяться. Герой наших сказок не ослепительный принц, а просто хитрый пономарь... Что вы говорите? Нордландские сказки? Но разве они не такие же? Ну что мы извлекли, например, из мистической и дикой красоты моря? Ведь одно только северное судно из времен викингов представлялось бы для восточных народов чем-то сказочным, предназначенным для служения духам. Видела она такое судно? Нет? Оно имеет такой вид, словно это существо определенного пола, словно это громадная самка с детенышами в раздутом чреве. Корма у этого судна плоская, и кажется, будто это сказочное животное может садиться. Нос торчит высоко в воздухе, как громадный рог, готовый вызвать на бой все четыре ветра... Нет, мы живем слишком далеко на севере... А впрочем, это только скромное мнение агронома о географическом явлении.

По-видимому, ей надоела его болтовня, и в ее синих глазах промелькнуло такое выражение, будто она смеется над ним. Она спросила:

— Который теперь час?

— Который час? — ответил он рассеянно. — Я думаю, теперь около часа. Еще не поздно, да и не все ли равно, который час.

Пауза.

— Что вы думаете относительно Толстого? — спросила она.

— Мне он не нравится, — ответил он сейчас же, набрасываясь на новую тему. — Мне нравятся «Анна Каренина» и «Война и мир»...

Она прервала его с улыбкой:

— А каково ваше мнение относительно вечного мира?

Это замечание попало в цель. Выражение его лица изменилось, и он растерялся.

— Что вы хотите сказать?.. Ах, да, я надоел вам до смерти.

— Нет, уверяю вас, я задала этот вопрос совершенно случайно, — быстро сказала она, вся вспыхнув. — Пожалуйста, не обижайтесь. Дело, видите ли, в том, что мы хотим устроить базар в пользу усиления средств для государственной обороны. Вот эта мысль и пришла мне сейчас в голову.

Пауза. Вдруг он поднимает голову и смотрит на нее, и глаза его смеются.

— У меня сегодня так радостно на душе, знайте это, а потому, может быть, я и разболтался. Меня радует все: во-первых, что я гуляю здесь вместе с вами; а кроме того, меня радует и то, что эта ночь самая прекрасная из всех, какие мне когда-либо пришлось переживать. Я сам не понимаю, что со мной. Мне кажется, что я составляю часть этого леса и этой земли, что я — ветка этой сосны или камень, да, пожалуй даже камень, но камень, весь проникнутый этим дивным благоуханием и ненарушимым покоем, который окружает нас. Вот взгляните туда, там уже светает — на небе появилась серебристая полоска.

Оба они стали смотреть на белую полоску, появившуюся на горизонте.

— И у меня также очень хорошо на душе сегодня, — сказала она.

И это она сказала совершенно добровольно, это вырвалось у нее как-то непосредственно, словно для нее было радостью сказать это.

Нагель пытливо посмотрел ей в лицо, и на глазах у него снова выступили слезы. Нервно, импульсивно начал говорить он об Ивановой ночи, о том, как деревья покачивают своими верхушками, и как шумит лес. Он сказал, что занимающийся день там, на горизонте, переродил его, что он чувствует себя во власти новых сил, которые вселились в него. Грундтвиг поет: «Минула ночь, и мрак рассеял день!..» А впрочем, быть может, он утомил ее своей болтовней? В таком случае он может показать ей какие-нибудь фокусы, например, фокус с веткой и соломинкой. Он покажет ей, что соломинка крепче ветки. Он готов все что угодно сделать для нее...

— Нет, вы осмотритесь только кругом, вон, посмотрите на этот одинокий куст можжевельника, который производит на меня какое-то особенное впечатление. Ведь он склоняется перед вами, и в нем столько доброжелательства... А вон, посмотрите на этого паука — он протягивает свою паутину от сосны к сосне, его искусная ткань напоминает прекраснейшие китайские работы, нет, это солнце, затканное каплями воды... Не холодно ли вам? А знаете, я уверен, что вокруг нас пляшут теперь разгоряченные, улыбающиеся эльфы. Но если хотите, я разведу огонь... Кстати, мне пришло в голову, не здесь ли где-то нашли Карльсена?

Не было ли это мстью за то, что она посмеялась над ним? От него можно было ожидать чего угодно.

Она вскочила с выражением недовольства и ответила:

— Оставьте его в покое, прошу вас. На что это похоже!

— Простите! — сказал он сейчас же. И, желая загладить свою неловкость, он прибавил: — Но, говорят, он был так влюблен в вас, и я это так хорошо понимаю...

— Влюблен в меня? Не говорят ли также, что он из-за меня лишил себя жизни при помощи моего перочинного ножика? Ну, а теперь пойдёмте.

Она говорила с некоторой грустью, без смущения и без притворства. Он был поражен. Ведь она сознавала, что довела до самоубийства одного из своих поклонников, и она не придавала этому особенного значения, не старалась использовать это в свою выгоду, а говорила об этом просто как о прискорбном случае, и больше ничего. Ее длинные золотистые волосы волной спускались по спине, а на щеках играл свежий, теплый румянец, смягченный сырым ночным воздухом. При ходьбе ее стан слегка колыхался на высоких бедрах.

Они вышли из лесу, перед ними была открытая поляна, где-то лаяла собака, и Нагель сказал:

— Вот и ваш дом. Какой уютный вид у этих больших усадеб священников с белыми зданиями, с садом, с конурой для собаки и шестом для флага среди густого леса. Не думаете ли вы, фрёкен, что будете тосковать по дому, когда уедете отсюда... Я хочу сказать, когда вы выйдете замуж? А впрочем, все зависит от того, где вы будете жить.

— Об этом я еще не думала, — ответила она. И потом она прибавила: — Кто знает, что нас ожидает впереди!

— Вас ожидает счастье! — сказал он.

Пауза. Она шла и, по-видимому, думала над его словами.

— Послушайте, — сказала она, — вы не должны удивляться тому, что я гуляю так поздно ночью. У нас здесь это принято. Ведь мы здесь крестьяне, дети природы. Я часто гуляю с адьюнктом по этой дороге до самого утра, и мы болтаем с ним.

— С адьюнктом? Мне кажется, он не очень-то разговорчивый человек.

— Да, конечно, главным образом говорю я, то есть я спрашиваю, а он отвечает... Что вы будете делать, когда придете домой?

— Теперь? — ответил Нагель. — Когда я приду домой? Я лягу и засну — и буду спать до полудня, как сурок, без сновидений и не просыпаясь. А вы что будете делать?

— Но разве вы не раздумываете? Вы не лежите долго с открытыми глазами, раздумывая над всякой всячиной? Неужели вы засыпаете сразу?

— Мгновенно. А вы нет?

— Послушайте, вот уж и птичка какая-то запела. Нет, должно быть, теперь гораздо позже, чем вы говорите, дайте-ка мне посмотреть на ваши часы. Господи, уже четвертый час, скоро четыре! Почему же вы сказали только что, что второй час?

— Простите,— ответил он.

Она посмотрела на него безо всякого недовольства и сказала:

— Вам незачем было обманывать меня. Я во всяком случае не торопилась уйти из лесу, говорю вам истинную правду. У меня здесь не много развлечений, и я обеими руками хватаюсь за все, что перепадает на мою долю. Так я привыкла жить с тех пор, как мы приехали сюда, и не думаю, чтобы кто-нибудь находил это дурным. А впрочем, не знаю, да это и все равно. Во всяком случае, папа ничего не имеет против этого, а я считаю только с его мнением. Пойдемте, погуляем еще немного.

Они прошли мимо усадьбы священника и углубились в лес по другую сторону ее. Птички уже распевали, светлая полоса на востоке становилась все шире и шире. Разговор стал вялым и вертелся вокруг безразличных предметов. Немного спустя они повернули и пошли к воротам усадьбы священника.

— Ну, теперь я иду, Бискен! — крикнула она собаке, рвавшейся на своей цепи.— Благодарю вас за то, что проводили меня, господин Нагель,— я провела прекраснейший вечер. Теперь у меня есть о чем рассказать своему жениху, когда я ему буду писать. Я скажу ему, что вы совершенно особенный человек, который никогда ни с кем не согласен ни в чем,— он будет очень удивлен. Я так и вижу его, как он сидит и раздумывает над письмом и не понимает его. Дело, видите ли, в том, что он удивительно добрый. Боже, какой он добрый! Он никому не противоречит. Как жаль, что вы не увидите его здесь. Спокойной ночи!

Нагель ответил ей:

— Спокойной ночи! Спокойной ночи! — И он смотрел ей вслед, пока она не исчезла в доме.

Нагель снял свою фуражку и держал ее в руках все время, пока шел через лес. Несколько раз он останавливался, подымал глаза, смотрел прямо перед собой и затем

шел дальше медленными, короткими шагами. Что за голос, что за голос у нее! Нет, разве это не удивительно,— голос, в котором дрожит и звенит пение!

## ГЛАВА IX

---

Это было на следующий день около полудня.

Нагель только что встал и вышел, не позавтракав. Он зашел уже довольно далеко в город, куда его привлекла прекрасная погода и оживленное движение у пристани. Вдруг он обратился к какому-то человеку и спросил, где находится канцелярия окружного судьи. Получив ответ на свой вопрос, Нагель пошел сейчас же по указанному направлению.

Очутившись у дверей канцелярии, он постучал и вошел. Пройдя мимо двух господ, сидевших и писавших, он подошел к поверенному Рейнерту, которого попросил уделить ему несколько минут на разговор с глазу на глаз,— он не задержит его. Поверенный встал несколько неохотно и попросил его в соседнюю комнату.

Тут Нагель сказал:

— Простите, пожалуйста, что я еще раз возвращаюсь к этому предмету, то есть к этой истории с Минутой, как вы догадываетесь. Я усердно прошу вас извинить меня.

— Я считаю этот инцидент исчерпанным после того, как вы извинились передо мной в присутствии целого общества в Иванов вечер.

— Это, конечно, очень великодушно с вашей стороны,— сказал Нагель.— Но дело в том, что я вполне удовлетворен таким положением вещей, господин поверенный. То есть лично я вполне удовлетворен за себя самого, но не за Минуту. Я очень желал бы, чтобы вы согласились с тем, что и Минута также требует удовлетворения, и это удовлетворение он должен был бы получить именно от вас.

— Вы хотите сказать, что я должен пойти и извиниться перед этим юродивым в том, что позволил себе несколько маленьких шуток с ним,— не это ли вы хотите сказать? Не лучше ли было бы, если бы вы заботились о своих собственных делах, а не...

— Да, да, да, эта старая истина всем известна! Но вернемся к делу: вы разорвали Минуте сюртук и обещали ему взамен другой — вы это помните?

— Теперь я вам должен сказать вот что: вы стоите в общественном учреждении и болтаете о частном деле,

которое не касается даже вас самих. Здесь я хозяин. Вам незачем возвращаться через канцелярию, вы можете выйти на улицу через эту дверь.

С этими словами поверенный открыл маленькую дверь.

— Очень вам благодарен. Но оставим в стороне шутки, вы должны немедленно послать Минуте обещанный вами скюртук. Как вам известно, он в нем нуждается, и он поверил вам на слово.

Поверенный широко распахнул маленькую дверь и сказал:

— Пожалуйста!

— Минута был уверен в том, что вы порядочный человек,— продолжал Нагель,— и вам не следовало бы обманывать его.

Тут поверенный открыл дверь в канцелярию и позвал двух господ, работавших там. Тогда Нагель приподнял фуражку и сейчас же вышел. Он не произнес больше ни слова.

Как неудачно все это вышло! Лучше было бы и не делать этой попытки. Нагель отправился домой, позавтракал, прочел газеты и поиграл со щенком Якобсеном.

Позже, после обеда он увидел из окна своей комнаты Минуту, который поднимался в гору по тяжелой, усыпанной щебнем дороге с мешком угля на голове. Он шел с набережной. Он плелся, скрючившись, и не мог даже смотреть перед собой, так как тяжелая ноша пригибала его чуть не к самой земле. Ноги его плохо служили ему, и он так кривил их, что края его брюк с внутренней стороны превратились в лохмотья. Нагель пошел к нему навстречу и остановил у почты, где Минута снял на мгновение мешок, чтобы передохнуть.

Они оба одинаково низко поклонились друг другу. Когда Минута выпрямился, его левое плечо низко опустилось. Нагель вдруг схватил его за это плечо и без всяких предисловий, не выпуская его, сказал ему в сильном возбуждении:

— Вы разболтали кому-нибудь относительно тех денег, которые я вам давал? Говорили вы об этом хоть одному человеку?

Минута совсем растерялся и ответил.

— Нет, я никому не говорил, ни одной душе.

— Я должен только предупредить вас,— продолжал Нагель, бледный от волнения,— что если вы когда-нибудь скажете хоть одно слово про эти несколько шиллингов, то

я вас убью — убью! Клянусь небом! Поняли вы меня? И пусть ваш дядя тоже держит язык за зубами.

Минута, оканемев, стоял с разинутым ртом и только бормотал бессвязно, что никому не скажет ни слова, не скажет, он обещает это...

Как бы в оправдание своей горячности, Нагель сейчас же прибавил:

— Это настоящая дыра, этот городишко, трущоба какая-то, медвежий угол! На меня все глазают, следят за каждым моим шагом. Но я не хочу, чтобы за мною повсюду шпионили, на кой мне черт все эти люди! Ну, а теперь я вас предупредил. Скажу вам еще только одно: я имею основание предполагать, между прочим, что эта фрёкен Кьелланд из усадьбы священника очень смышленная особа, и вы и не заметите, как она подсмолит за вами и заставит вас проболтаться. Но я вовсе не желаю считаться с ее любопытством, вовсе не желаю! Кстати, я провел с нею вместе вчера вечер. Она страшная кокетка. А впрочем, это к делу не относится. Я попрошу вас только еще раз не проболтаться относительно этих пустяков и вообще обо всем, что произошло между нами. Я очень рад, что встретил вас сегодня,— продолжал Нагель.— Я хотел поговорить с вами также и о другом. Третьего дня мы сидели с вами вместе на одной могильной плите на кладбище.

— Да.

— Я написал на плите стихи и признаюсь, что это были скверные, неприличные стихи, а впрочем, это к делу не относится... Итак, я написал стихи. Когда я встал с плиты, стихи были еще там, а когда я через несколько минут возвратился снова на кладбище, они были уже стерты,— это вы сделали?

Минута потупил глаза и ответил:

— Да.

Пауза. Мучительно смущенный тем, что его поймали на этом дерзком поступке, Минута, запинаясь, стал оправдываться:

— Я хотел предотвратить... Ведь вы не знали Мины Меек, и все дело только в этом, иначе вы не поступили бы так, не написали бы этих стихов. И я сейчас же сказал самому себе: он не виноват, он здесь в городе совсем чужой, а я здесь свой человек и могу легко исправить все дело. Как же мне было не сделать этого? Вот я и стер стихи. И никто не успел прочесть их.

— Откуда вы знаете, что никто не успел прочесть их?

— Ни одна душа не читала их. Проводив вас и доктора Стенерсена до ворот кладбища, я сейчас же возвратился назад и стер их. Я отходил от плиты не более как на две минуты.

Нагель посмотрел на него, взял его руку и пожал ее, не говоря ни слова. Они посмотрели друг на друга; губы Нагеля слегка дрожали.

— До свиданья! — сказал он. — Ах, да, вы получили сюртук?

— Гм... Но я, конечно, получу его к тому дню, когда он мне будет нужен, — через три недели...

В эту минуту мимо них проходит седая девушка, продающая яйца, Марта Гуде. Она несет под фартуком корзинку, глаза у нее опущены. Минута поклонился ей, Нагель также поклонился. Она едва ответила на поклон, быстро прошла мимо них к рынку, где продала свои несколько яиц, и потом пошла назад со своей парой шиллингов в руках. На ней было надето тонкое зеленое платье. Нагель не спускал глаз с этого зеленого платья и следил за ним. Он сказал:

— Так значит, через три недели вам понадобится сюртук, но что должно произойти через три недели?

— Тут будет базар, большой вечер, разве вы не слышали об этом? Я также должен участвовать в живых картинах. Так решила фрёкен Дагни.

— Вот как! — сказал Нагель задумчиво. — Ну, вы, конечно, получите ваш сюртук в самом непродолжительном времени. Новый сюртук взамен старого. Сегодня поверенный говорил мне это. Он, в сущности, уже вовсе не такой дурной человек... Но запомните одно: вы не должны благодарить его за это, никогда! Вы не должны никогда, ни при каких обстоятельствах упоминать в его присутствии о сюртуке, он не желает принимать благодарности за это. Поняли вы? Это было бы для него мучительно, говорит он. Да и вы сами должны согласиться, что с вашей стороны было бы бестактно напоминать ему о том случае, когда он был пьян и вышел из гостиницы с проломленной шляпой.

— Да.

— Да и вашему дяде также лучше не говорите, откуда у вас сюртук. Пусть ни одна душа не узнает об этом, поверенный требует этого самым настоятельным образом. Вы понимаете, конечно, что для него было бы чрезвычайно невыгодно, чтобы случай с ним разнесся по всему городу; ему было бы очень неприятно, если бы все узнали, что



он оскорбляет людей, а потом заглаживает свою вину перед ними при помощи сюртука.

— Ну конечно, это я прекрасно понимаю.

— Послушайте, мне пришло сейчас в голову: почему вы не предпочтете употреблять тележку, чтобы развозить уголь?

— Я не могу употреблять тележки из-за моей болезни, я не могу тащить ее. Я могу переносить довольно большие тяжести, если осторожно взвалю их на себя, но я не способен тащить что-нибудь вперед; это для меня слишком тяжело, я выбиваюсь из сил и падаю на землю с невыносимыми болями. С мешком мне справляться гораздо легче.

— Ну, и прекрасно. Зайдите ко мне как-нибудь. Не забывайте номера седьмого, входите без всяких церемоний.

С этими словами он сунул в руку Минуты ассигнацию и стал поспешно удаляться по направлению к набережной. Он все время следил глазами за зеленым платьем и теперь последовал за ним.

Дойдя до маленького домика Марты Гуде, он остановился и несколько мгновений оглядывался по сторонам. Никого не было видно кругом. Он постучал, но не получил ответа. Два раза он уже подходил раньше к этим дверям и не получал ответа. На этот раз он своими глазами видел, что она вернулась с рынка, и теперь он не хотел повернуть обратно, не повидав ее. Он решительно отворил дверь и вошел в комнату.

Она стояла посреди комнаты и смотрела на него. Она казалась взволнованной и бледной и до того растерялась, что протягивала вперед руки, не зная, что делать.

— Простите мою навязчивость, фрёкен, прошу вас,— сказал Наггль кланяясь необыкновенно почтительно.— Я был бы так благодарен вам, если бы вы разрешили мне поговорить с вами несколько минут. Не беспокойтесь, я не задержу вас. Я уже два раза напрасно приходил к вам, и только сегодня мне посчастливилось застать вас дома. Мое имя Наггель, я приезжий и на некоторое время поселился в гостинице «Централь».

Она продолжала молчать, но предложила ему стул, а сама отошла к кухонной двери. Она была страшно смущена и, глядя на него, перебирала край своего фартука.

Комната оказалась совершенно такой, какой Наггель представлял ее себе: стол, два стула и кровать — вот все, что находилось в ней. На окнах стояло несколько горшочков с белыми цветами, но занавесок на окнах не

было; пол был довольно грязный. Нагель увидел также в углу возле кровати кресло с высокой спинкой. У него оставалось только две передних ножки, и оно было прислонено к стене. Сиденье было обтянуто красным плюшем.

— Если бы мне только удалось успокоить вас, фрёкен!— сказал снова Нагель.— Я не всегда нагоняю такой страх, когда вхожу в дом, хе-хе-хе. Ведь я не в первый раз вхожу в чужой дом в этом городе, я посещал и других кроме вас. Я хожу из дома в дом, пытаюсь проникнуть всюду, но, может быть, вы уже слышали об этом? Нет? Но это именно так. Моя профессия требует этого, я коллекционер и собираю всякие старые вещи, я покупаю старинные вещи и плачу за них столько, сколько они действительно могут стоить. Но вы, пожалуйста, не пугайтесь, фрёкен, я ничего не украду у вас, когда буду уходить, хе-хе-хе, вообще, я не отличаюсь этой привычкой. Вы можете быть совершенно спокойны. Если мне не удастся купить чего-нибудь по добровольному соглашению, то с этим ничего не поделаешь.

— Но у меня нет никаких старых вещей,— сказала она наконец, и на лице у нее было написано полное отчаяние.

— Ну, это всегда так говорят,— ответил он.— Я согласен, что бывают вещи, к которым привязываешься и с которыми ни за что не хочешь расстаться, вещи, к которым привыкаешь с детства, полученные в наследство от родителей или даже от прадедов. Но, с другой стороны, эти старые вещи стоят так себе, безо всякой пользы; зачем же им понапрасну занимать место и представлять собой мертвый капитал? Ведь дело в том, что эти бесполезные фамильные вещи представляют иногда крупные суммы, а между тем, в конце концов, они совершенно разваливаются, и их сваливают на чердак. Почему же лучше не продать их, пока еще не поздно? Некоторые начинают сердиться, когда я прихожу, и отвечают, что у них нет старых вещей,— прекрасно, вольному воля, я раскланиваюсь и ухожу. С этим ничего не поделаешь. Другие же конфузятся и не хотят мне показывать какую-нибудь сквородку без дна или что-нибудь подобное. Они в этом ничего не смыслят. Но этим отличаются именно люди простосердечные, которые не имеют понятия о том, до какой степени в настоящее время развита мания собирать коллекции. Я говорю «мания», я сознаю, что только мания и не что иное заставляет меня составлять коллекцию,— я называю все своими именами. Но все это касается только

меня самого, и это мое дело. Однако что я хотел сказать? Со стороны таких людей и смешно и глупо стесняться показывать свои старинные вещи. На что похожи оружие и кольца, которые откапывают в курганах? Но разве они из-за этого не имеют цены? Да, как вы думаете, фрёкен? Если бы вы только видели мою коллекцию коровьих колокольчиков! У меня есть колокольчик — из простой жести, конечно,— которому молилось, как божеству, одно индейское племя. Подумайте только, этот колокольчик висел бесконечное множество лет в шатре в стране дикарей, и ему молились и приносили жертвы. Да, представьте себе! Однако я удаляюсь от цели своего посещения. Но стоит мне только заговорить о колокольчиках, и меня уже не остановить.

— Да, но у меня правда нет таких старых вещей,— сказала снова Марта.

— Не разрешите ли вы мне,— сказал Нагель медленно и с видом знатока,— не разрешите ли вы мне взглянуть на это кресло? Я только спрашиваю вашего разрешения и, конечно, не сдвинусь с места, пока не получу вашего позволения. В сущности, я обратил на него внимание с первой же минуты, как вошел сюда.

Марта окончательно теряется. Она отвечает:

— Это... Ах, пожалуйста... но ножки его обломаны...

— Ножки обломаны, совершенно верно. Но что же из этого? Какое это имеет значение? Именно потому-то, может быть, именно потому... Позвольте спросить, откуда оно у вас?

Нагель взял кресло в руки. Он переворачивал его и осматривал со всех сторон. Оно было без позолоты, с единственным украшением на спинке — это было нечто вроде короны, вырезанной из красного дерева. Задняя часть спинки была изрезана ножом. На деревянной раме сидения также были видны следы того, что на ней резали табак.

— Оно попало к нам откуда-то из-за границы, не знаю, право. откуда. Мой дед привез с собой когда-то несколько таких кресел, но теперь осталась только это одно. Мой дед был моряк.

— Вот как. А ваш отец также был моряком?

— Да.

— И вы, может быть, также путешествовали? Простите, что я расспрашиваю.

— Да, я путешествовала с отцом много лет.

— В самом деле? Это интересно! В таком случае, вы видели много стран, побывали в заморских краях, как

говорится! Да, вот как! А потом вы поселились здесь? Ну, конечно, на родине лучше всего — в гостях хорошо, а дома лучше... Кстати, вы не имеете ни малейшего понятия о том, где ваш дедушка приобрел это кресло? Должен вам сказать, что для меня чрезвычайно важно знать историю происхождения вещей, так сказать, познакомиться с их биографией.

— Нет, я совсем не знаю, где он его приобрел, это было так давно. Может быть, в Голландии. Нет, право, не знаю.

К своему удовольствию, он заметил, что она оживлялась все более и более. Она отошла от кухонной двери и стояла почти возле него в то время, как он возился с креслом и как будто не мог насмотреться на него. Он говорил безостановочно, делал всевозможные замечания относительно работы, пришел в восторг, когда увидел на задней стороне спинки небольшую, вделанную в дерево дощечку, в которую в свою очередь была вделана другая дощечка — это была самая простая работа, безвкусная и по-детски выполненная. К тому же, кресло было до такой степени ветхое, что он обращался с ним крайне осторожно.

— Да,— сказала она наконец,— если вам действительно... я хочу сказать, если это может вам доставить какое-нибудь удовольствие, то, пожалуйста, возьмите это кресло себе. Если желаете, то я сама отнесу его в вашу гостиницу. Мне оно не нужно.— И она вдруг рассмеялась над теми усилиями, которые он делал, чтобы приобрести это никуда больше негодное, истлевшее кресло.— Ведь у него осталась только единственная ножка,— прибавила она.

Он посмотрел на нее. Волосы у нее были совершенно седые, но улыбка у нее была молодая и задорная, и зубы прекрасные. Когда она улыбалась, глаза ее сверкали влажным блеском. Что за черноглазая старая дева! Но на лице Нагеля ничего не отразилось.

— Я очень рад,— сказал он сухо,— что вы решаетесь уступить мне кресло. А теперь перейдем к цене. Нет, простите, подождите немного, дайте мне кончить, я не хочу, чтобы вы назначали цену, я это всегда сам делаю. Я оцениваю вещь, предлагаю столько-то и столько-то — и basta! Вы могли бы назначить невероятно большую сумму, поставить меня в затруднение, почему бы и нет? Конечно, на это вы могли бы возразить, что, в сущности, вы не производите впечатления жадного человека. Прекрасно, с этим я охотно соглашаюсь, но тем не менее мне приходится иметь дело со всевозможными людьми, и я предпочитаю

назначать всегда цену сам — так для меня удобнее. Это мой принцип. Кто вам может помешать, например, потребовать за это кресло триста крон, если бы вы сами назначали цену? Вы тем легче поступили бы так, зная, что тут идет речь действительно об очень редком и ценном предмете. Но такие бешеные деньги я не могу заплатить, я говорю это прямо и откровенно, чтобы вы не строили на этот счет никаких иллюзий. У меня нет ни малейшего желания разориться, ведь это было бы безумием с моей стороны, если бы я вам заплатил триста крон за одно кресло. Ну, одним словом, я даю вам за него двести крон и ни одним шиллингом больше. Я всегда готов заплатить то, что вещь в действительности стоит, но не больше.

Она не произнесла ни слова, она только стояла и смотрела на него во все глаза. Наконец ей пришла в голову мысль, что он шутит, и она начала смеяться, тихо и растерянно.

Нагель спокойно вынул из кармана две красные бумажки и помахал ими в воздухе. В то же время он не спускал глаз с кресла. Он сказал:

— Я не стану отрицать, что вы могли бы, может быть, получить и больше от кого-нибудь другого; я откровенно признаюсь в том, что *немного* больше вы, пожалуй, могли бы получить. Но уж я так решил: кругленькую сумму в двести крон я даю вам, но больше не могу. Впрочем, вы вольны поступать как желаете; но предварительно обдумайте мое предложение. Ведь двести крон все-таки деньги.

— Нет,— ответила она со смущенной улыбкой,— оставьте ваши деньги у себя.

— Оставить деньги у себя! Что это значит? Хотел бы я знать, чего не хватает этим деньгам? Уж не думаете ли вы, что они моего собственного изделия? Или вы подозреваете, что я их украл, хе-хе-хе,— да?

Она перестала улыбаться. Этот человек, по-видимому, говорил серьезно, и она задумалась над этим. Чего добивается у нее этот сумасшедший? У него такие глаза, что о нем можно подумать все что угодно. Бог знает, не строит ли он какую-нибудь ловушку? Зачем он пришел именно к ней с этими деньгами? Наконец, как бы приняв определенное решение, она сказала:

— Если вы непременно хотите мне дать за это кресло крону или две, то я с благодарностью приму их. Но больше я не возьму.

Он казался крайне изумленным, он подошел к ней ближе и посмотрел на нее. Потом он расхохотался.

— Но... да вы подумали ли?.. Нет, это первый случай со мной с тех пор, как я занимаюсь собиранием коллекции. А впрочем, это, конечно, шутка, я понимаю...

— Нет, это не шутка. Как это все странно! Я не желаю получать больше, да и вообще, я ничего не хочу. Берите кресло даром, если хотите!

Нагель расхохотался во все горло.

— Я понимаю вашу шутку и я оцениваю ее по достоинству,— нет, я в восторге, черт побери, я в восторге от нее! Я всегда хохочу до упаду над хорошей шуткой. Но нам пора, однако, прийти к какому-нибудь соглашению, не правда ли? Как вы думаете, не покончить ли нам с этим, прежде чем мы снова придем в дурное настроение духа? Пожалуй, немного погодя вы, может быть, снова поставите кресло в угол и уже потребуете за него пятьсот крон.

— Берите кресло... Чего вы, собственно, хотите?

Они пристально посмотрели друг на друга.

— Если вы думаете, что я преследую какую-нибудь другую цель, кроме приобретения этого кресла за сносную цену, то вы глубоко ошибаетесь,— сказал он.

Марта воскликнула:

— Но Господи Боже мой! Да берите же его, берите!

— Конечно, я должен был бы быть вам чрезвычайно признательным за ваше великодушие и вашу любезность. Но у нас, коллекционеров, есть также честь, хотя, правда, иногда и в очень ограниченном количестве, и эта-то честь удерживает меня, восстает против меня самого и не позволяет мне даром приобрести дорогой предмет. Вся моя коллекция упала бы в моих собственных глазах — в глазах своего обладателя,— если бы я среди других предметов поставил этот, приобретенный таким незаконным образом, вся моя коллекция приобрела бы от этого какой-то фальшивый тон, который отразился бы на каждой вещице. Хе-хе-хе! В конце концов, мне прямо смешно, что выходит совсем наоборот, что я должен отстаивать ваши интересы, а не свои собственные. Но что же делать, раз вы сами принуждаете меня к этому?

Но она не сдавалась. Нет, он так и не добился от нее ничего. Она настаивала на том, чтобы он взял кресло за какой-нибудь пустяк, за крону или две, или чтобы оставил его совсем. Так как все его попытки побороть ее упорство

остались бесплодными, то он сказал наконец, чтобы как-нибудь выйти из затруднительного положения:

— Хорошо, пусть это пока так остается. Но обещайте мне, что вы никому другому не продадите этого кресла, не предупредив меня,— вы согласны? Я ни за что не выпущу его из рук, так и знайте, если бы даже пришлось заплатить за него немного дороже. Во всяком случае, я согласен заплатить столько же, сколько всякий другой. А кроме того, за мной то преимущество, что я первый выразил желание купить это кресло.

Когда Нагель очутился на улице, он быстро зашагал вперед в сильном возбуждении. «Что за упорство у этой девушки! И как она бедна и недоверчива! Обратил ли ты внимание на ее кровать? — спросил он самого себя.— На ней нет даже охапки соломы, она не покрыта даже простыней, на ней лежат только две нижние юбки, которые она, может быть, надевает также и днем, когда холодно. И в то же время она так боится впутаться во что-нибудь некрасивое и наотрез отказывается от самого выгодного предложения!» Но ему-то какого черта до всего этого? Да, ему действительно нет никакого дела до этого. Но это настоящий дьявол, а не девушка,— разве нет? Если он подошлет к ней кого-нибудь покупать это кресло и набавить цену, то это ей, пожалуй, опять покажется подозрительным. Что за глупое создание! И надо же ему было сунуть туда нос, чтобы получить такой позорный отказ!

В своем возбуждении он дошел до самой гостиницы, даже не заметив этого. Он остановился с некоторой досадой, потом повернул обратно и снова пошел по улице, по направлению к портняжному магазину И.Хансена, куда и вошел. Он вызвал хозяина и, когда остался с ним с глазу на глаз, то заказал ему сюртук, такой-то и такой-то, прося держать этот заказ в тайне. Когда сюртук будет готов, он должен быть немедленно отослан к Минуте, к Грегорду, к этому прихрамывающему разносчику угля, который...

— Так этот сюртук заказывается для Минуты?

— Так что же из этого? Пожалуйста, не любопытничайте. Что это за выпытывание?

— Но это необходимо из-за мерки.

— Вот как! Ну, да, этот сюртук заказывается для Минуты. Хорошо, Минута может сам прийти, чтобы дать снять с себя мерки, почему бы и нет? Но, пожалуйста, не произносите ни одного лишнего слова и виду не подавайте — идет? А когда будет сюртук готов? Дня через два? Прекрасно!

Нагель тут же отсчитал деньги, попрощался и вышел. Досада его прошла, он потирал руки и тихо напевал. Да, да, он все-таки настоят на своем! Подождите! Придя к себе, он сейчас же взбежал вверх по лестнице в свою комнату и позвонил, руки его дрожали от нетерпения, и не успела дверь раствориться, как он крикнул:

— Бланки для телеграмм, Сара!

В ту минуту, как Сара вошла, он стоял перед своим футляром для скрипки, который только-что раскрыл. К своему величайшему изумлению, Сара увидела, что в этом ящике, с которым она всегда обращалась так осторожно, находится только грязное белье, несколько бумажек и письменные принадлежности, но скрипки в нем не было. Она не вышла сейчас же, а остановилась и стала смотреть на футляр.

— Бланки для телеграмм! — повторил он громче, — я просил бланки для телеграмм.

Когда он получил наконец бланки, то написал на одном из них несколько слов своему знакомому в Христианию, чтобы тот анонимно послал двести крон фрёкен Марте Гуде, живущей в этом городе, — двести крон без единого слова. «Необходимо соблюдение глубочайшей тайны. Иоган Нагель».

Но нет, это не годится. Когда он поразмыслил хорошенько, то нашел, что этот план не годится. Не лучше ли объяснить подробнее и сейчас же переслать деньги, чтобы быть уверенным, что его поручение будет исполнено? Он разорвал телеграмму, а потом даже сжег клочки бумаги и сейчас же кое-как второпях написал письмо. Да, так лучше, самое маленькое письмо гораздо действеннее телеграммы, так лучше. Да, он ей покажет, он даст ей понять...

Но, вложив деньги в конверт и запечатав его, он остался сидеть и снова задумался. «Ведь она снова может заподозрить что-нибудь, — сказал он самому себе, — двести крон — это слишком круглая сумма, да к тому же это как раз та сумма, которой он только что помахивал перед самым ее носом. Нет, это тоже не годится!» Он вынул из кармана еще одну бумажку в десять крон, вскрыл конверт и прибавил к двумстам кронам еще десять. После этого он снова запечатал письмо и отослал его.

Целый час спустя после этого он думал о своей выдумке и находил ее прекрасной. На Марту Гуде это письмо свалится точно с неба, откуда-то с вышины, свалится на нее из неизвестных рук. Что-то она скажет, когда получит



эти деньги? Но когда он во второй раз спросил себя, что она скажет на это, как она вообще отнесется ко всему этому, его снова охватило уныние: этот план был опасен, она слишком смела, вся эта выдумка была глупа и никуда не годилась. Вся беда в том, что она, конечно, не скажет ничего разумного, а поступит как идиотка. Когда она получит письмо, она не поймет ничего и предоставит другим разобраться в этом деле. Она разложит его на столе в почтовой конторе напоказ всему городу, тут же выложит все деньги почтальону, будет ломаться и скажет: «Нет, оставьте свои деньги у себя!» А почтовый чиновник приложит палец к носу и скажет: «Подождите немного, стойте, мне кое-что пришло в голову!» И он откроет свои книги, пороется в них и найдет, что дня два тому назад отсюда была выслана как раз такая же сумма,— чтобы не сказать те же самые ассигнации,— двести десять крон по такому-то и такому-то адресу в Христианию. Отправителем окажется некий Нагель, приезжий, который недавно поселился в гостинице «Централь»...

Да, у этих почтовых чиновников предлинные носы, и они все пронюхивают...

Нагель снова позвонил и велел счейчас же посыльному из гостиницы вернуть его письмо.

Это нервное позбуждение, в котором он находился весь день, привело его наконец к тому, что ему все надоело. В сущности, к черту все это! Какое ему дело до того, что Господь Бог устраивает железнодорожную катастрофу с человеческими жертвами где-то в самой глубине Америки! Нет, конечно, ему нет никакого дела до этого! Ну, и ровно столько же дела ему до высокочтимой девицы Марты Гуде!

Два дня он не выходил из гостиницы.

## ГЛАВА X

---

В субботу вечером в комнату Нагеля вошел Минута. На нем был новый скюртук, и он весь сиял от счастья.

— Я встретил поверенного,— сказал он, — он глазом не моргнул, он даже спросил, от кого я получил скюртук. Ишь, хитрый, хотел испытать меня!

— Что же вы ему ответили?

— Я засмеялся и ответил, что этого я не скажу, не скажу ни одному человеку, пусть он извинит меня, прощайте!

Да, как же, так я ему и сказал!... Дело, видите ли, в том, что прошло уже лет тринадцать с тех пор, как у меня был новый сюртук, — я подсчитал... Кстати, позвольте вас поблагодарить за те деньги, которые вы мне дали в последний раз. Вы опять дали слишком много для такого калеки — куда мне их девать? Я совсем одурел от всех ваших благодеяний и ничего не соображаю; все чувства мои пришли в полное смятение, и я не могу оставаться спокойным. Ха-ха-ха-ха! Боже, я превратился в настоящего ребенка! Нет, я хорошо знал, что получу когда-нибудь этот сюртук — разве я вам не говорил этого? Правда, иногда приходится ждать довольно долго, но я никогда не жду напрасно. Лейтенант Хансен обещал мне как-то две шерстяные фуфайки, которые ему больше не нужны. С тех пор прошло два года, но я так уверен в том, что в конце концов получу их, словно они были бы у меня уже в руках. Так всегда бывает, люди вспоминают свои обещания и, когда приходит время, дают мне то, в чем я нуждаюсь. А вы не находите, что в новом платье я как будто совсем другой человек?

— Давно вы не были у меня.

— Дело в том, что я ждал нового сюртука, так как я решил не приходить к вам больше в старом. У меня есть некоторые странности. Мне кажется чем-то унижительным появляться в обществе в разорванном сюртуке; Бог знает, почему это, но я глубоко падаю в своих собственных глазах в таких случаях, — это оскорбляет мое чувство собственного достоинства. Простите, что я при вас говорю о чувстве собственного достоинства, словно это нечто такое, о чем вообще стоит упоминать. Конечно, это сущие пустяки, о которых не стоило бы говорить, но все-таки время от времени у меня является чувство собственного достоинства.

— Не хотите ли вина? Но вы не откажетесь выкурить сигару?

Нагель позвонил и велел подать вина и сигар. Он сейчас же начал пить и пил много, но Минута только курил и смотрел на него. Минута продолжал говорить безостановочно, словно не мог наговориться вдоволь.

— Послушайте-ка, — прервал его вдруг Нагель, — может быть, у вас не совсем-то хорошо обстоит дело с рубашками? Простите, что я спрашиваю вас об этом.

Минута поспешно ответил:

— Не подумайте, что я заговорил о тех двух фуфайках с какой-нибудь целью. Клянусь, что это так же верно, как то, что я здесь сижу.

— Ну конечно нет! Чего вы волнуетесь? Если вы ничего против этого не имеете, то покажите, что у вас надето под сюртуком?

— Ах, пожалуйста, пожалуйста! Вот посмотрите на эту сторону, и другая сторона не хуже...

— Нет, подождите-ка немного, другая сторона как раз хуже, насколько я вижу.

— Но разве можно требовать чего-нибудь лучшего? — воскликнул Минута.— Нет, я вовсе не нуждаюсь в рубашках, уверяю вас. Я даже скажу больше — такая рубашка, как эта, слишком хороша для меня. Знаете, от кого я ее получил? От доктора Стенерсена, от самого доктора Стенерсена. И я думаю, что его жена ничего не знает об этом, хотя она сама — олицетворенная доброта. Я получил эту рубашку к Рождеству.

— К Рождеству?

— Вы думаете, что это уже давно? Но ведь такую рубашку я не рву, как какое-нибудь животное, я не стараюсь нарочно делать на ней дыр, а потому на ночь я снимаю ее и лежу голый, чтобы не изнашивать ее напрасно во время сна. Таким образом я долго сохраню эту рубашку и могу свободно вращаться в обществе, не смущаясь тем, что у меня нет приличной рубашки. И вот, благодаря этому, я буду участвовать в живых картинах, так как у меня есть еще хорошая рубашка. Фрекен Дагни настаивает на том, чтобы я принял участие в живых картинах. Я встретил ее у церкви. Она говорила также о вас...

— Вы получите также и пару брюк. Стоит заплатить деньги за удовольствие посмотреть, как вы будете выступать публично. Раз поверенный подарил вам сюртук, то я подарю вам брюки, — это будет только справедливо. Но я делаю это с обычным условием, что вы будете молчать об этом.

— Конечно, конечно!

— Мне кажется, вам не мешало бы выпить немного. А впрочем, делайте как хотите. А я хочу пить сегодня, я в нервном, грустном настроении. Не позволите ли вы мне предложить вам один нескромный вопрос? Известно ли вам, что у вас есть прозвище? Вас называют Минутой — знаете ли вы это?

— Конечно, я это знаю. Вначале я от этого очень страдал и молил Бога помочь мне. Раз я целое воскресенье пробродил в лесу и три раза падал на колени в различных местах, где было посуше, — это было весной, когда начало таять. Но с тех пор прошло много времени, несколько

лет, и теперь никто меня не называет иначе, все зовут меня Минутой, и я с этим примирился. Почему вы спросили, знаю ли я это? Разве то, что я знаю, может хоть сколько-нибудь изменить дело?

— А вы знаете также, почему вам дали это глупое прозвище?

— Да. Мне его дали задолго до того, как я стал калеккой, но я помню, как все произошло. Это было однажды вечером, или, вернее, ночью, во время холостой пирушки. Может быть, вы заметили желтый дом у таможи, с правой стороны, если направляться к таможне? А впрочем, тогда этот дом был белый, и в нем жил бургомистр. Бургомистр был холостой, и звали его Сёренсеном, — это был прелевый парень. Стояла прекрасная весенняя ночь, я возвращался с набережной, где гулял взад и вперед и рассматривал суда. Дойдя до этого желтого дома, я услышал, что там гости. Так как говор и смех множества голосов слышен был на улице. В ту минуту, как я проходил мимо, меня увидели в окно и постучали мне. Я вхожу в дом и нахожу доктора Кольбу и капитана Вильяма Пранте, таможенного чиновника Фолькедаля и еще многих других; да, теперь никого из них уже нет здесь, — кто умер, кто уехал. Всего их было там человек семь-восемь, и все они были совершенно пьяны. Они переломали все стулья — так себе, ради забавы, — и вдребезги разбили все стаканы и рюмки, так что нам пришлось пить из бутылок. После того, как я присоединился к их обществу и тоже напился до положения риз, поднялся невообразимый шум и гам. Гости разделись донага и стали бегать по комнатам, несмотря на то, что шторы на окнах не были спущены. Так как я отказался принимать в этом участие, то они схватили меня и начали насильно раздевать. Я все время отбивался от них и сопротивлялся всеми силами; я не был виноват в этом, мне ничего другого не оставалось делать, и я просил у них прощения, пожимал им руки и просил простить меня...

— За что же вы просили прощения?

— Я боялся, что, может быть, сказал что-нибудь такое, за что они обиделись и потому набросились на меня. Я пожимал им руки и просил у них прощения, чтобы они только оставили меня в покое. Но это ни к чему не привело, и в конце концов они все-таки раздели меня донага. При этом доктор нашел в моем кармане письмо, которое он и начал читать остальным вслух. Но тут я немного протрезвел, потому что письмо это было от моей

матери, она написала мне его, когда я отправлялся в плавание. Одним свловом, я назвал доктора пивной бочкой, потому что всем было известно, что он очень много пьет. «Вы пивная бочка!» — сказал я ему. Он пришел в ярость и хотел наброситься на меня, но другие удержали его. «Давайте-ка лучше накачаем его!» — сказал бургомистр, словно я и без того уже не был пьян, как стелька, и они стали лить мне в горло из разных бутылок. Потом двое из этой компании, не помню уже, кто именно, внесли в комнату лохань с водой; они поставили лохань посреди комнаты и сказали, что меня надо крестить. Все пришли в восторг от этой выдумки и начали кричать, что меня надо крестить. И они стали делать все, чтобы только как-нибудь загрязнить воду: они плевали в нее, лили в нее водку и даже пошли в спальню и принесли оттуда самое грязное, что только себе можно вообразить, и также влили в воду, а в заключение они высыпали туда же еще две лопатки золы из печки, чтобы и на вид также сделать воду как можно отвратительнее для меня. И вот меня должны были крестить. «Почему вы не можете крестить кого-нибудь другого?» — спросил я бургомистра, обхватив его колени. «Мы все уже крещены, — ответил он, — нас крестили совершенно таким же образом, — прибавил он. И я думаю, что он говорил правду, потому что он действительно требовал от всех, с кем водил компанию, чтобы они крестились таким образом. «Иди же и становись предо мною!» — крикнул мне вслед за этим бургомистр. Но я не пошел добром, я стоял у двери и крепко держался за ручку. «Сейчас же иди сюда! Сию минуту!» — крикнул он опять, и при этом он произнес слово «минута» на особый лад, как говорят в Гудбрандстале. Но нет, я не послушался его. Тогда капитан Пранте зарычал: «Минута, Минута, вот самое подходящее слово! Его надо окрестить Минутой, непременно Минутой!» И все сошлись на том, что меня надо окрестить Минутой, так как это будет хорошо соответствовать моему маленькому росту. Тут меня подхватили двое и потащили к бургомистру, а так как в сравнении с ним я был такой маленький, то он поднял меня один и окунул в лохань. Он пригнул мою голову к самому дну и ткнул меня носом в сажу и осколок стекла, после чего он вытащил меня из лохани и прочел надо мной нечто вроде молитвы. После этого восприимники приступили к исполнению своей обязанности, которая заключалась в том, что каждый из них поднимал меня высоко в воздух и ронял на пол; а когда им это надоело,

они разделились на две партии и стали перебрасывать меня друг другу, как мяч. Это они делали, чтобы высушить меня, и занимались своей игрой, пока она им не надоела. Тогда бургомистр крикнул: «Стой!» Они выпустили меня, и после этого все стали называть меня Минутой, пожимали мне руку и называли Минутой, как бы подтверждая мое крещение. Но потом меня снова бросили в лохань — это доктор Кольбю бросил меня изо всей своей силы, так что я больно ударился боком, — он не мог забыть, что я назвал его пивной бочкой... С этой ночи прозвище осталось за мной навсегда. На другой день весь город знал о том, что я был в гостях у бургомистра, и что меня там крестили.

— Так вы ударились боком? Но головы вы не повредили, вы не ударились головой?

Пауза.

— Вот уже второй раз вы меня спрашиваете, не повреждена ли у меня голова, и, может быть, вы спрашиваете неспроста. Но тогда я не ударился головой и не получил сотрясения мозга, если вы это подразумеваете. Но я так сильно ударился о лохань, что сломал себе ребро. Однако теперь все это давно зажило, доктор Кольбю даром лечил меня, и от этого повреждения у меня не осталось больше и следа.

Во время рассказа Минуты Нагель пил не переставая, теперь он позвонил и велел подать еще вина. Вдруг он говорит:

— Мне сейчас пришло в голову спросить вас, как вы думаете, понимаю ли я до некоторой степени людей? Не смотрите на меня такими удивленными глазами, я спрашиваю вас так, по-товарищески. Не находите ли вы, что я умею проникать в душу того человека, с которым я разговариваю?

Минута робко смотрит на него, смущается и не знает, что ответить.

Нагель снова говорит:

— А впрочем, извините меня. И в прошлый раз также, когда вы мне доставили удовольствие вашим посещением, я приволил вас в смущение некоторыми в высшей степени глупыми вопросами. Если вы помните, я предлагал вам дать такую-то и такую-то сумму денег за то, чтобы вы признали себя отцом чужого ребенка, хе-хе-хе. Тогда я сделал этот промах, потому что не знал вас, и теперь я все-таки снова изумляю вас, несмотря на то, что очень хорошо узнал вас и высоко ценю. Но

надо вам сказать, что сегодня я делаю это только потому, что очень нервно настроен, и к тому же очень пьян. Вот и все объяснение. Вы, конечно, прекрасно видите, что я пьян, как стелька. Ну, конечно, вы это видите — зачем вы притворяетесь? Но что я хотел сказать?.. Ах, да, меня действительно очень интересует, насколько вы считаете меня способным заглядывать в души человеческие. Хе-хе, я хочу сказать, что я, например, очень чуток к интонациям человека, с которым я говорю, я понимаю малейшие оттенки голоса. Когда я разговариваю с кем-нибудь, то мне вовсе не надо смотреть на моего собеседника, я только прислушиваюсь к тому, что он говорит, и сейчас же понимаю, когда он хочет навязать мне свое мнение или когда он не вполне правдив. Голос — опасный аппарат. Но поймите меня: я говорю не о материальном звуке голоса, голос может быть высоким или низким, звучным или глухим,— я подразумеваю не это, нет, я настаиваю на том, что в голосе скрывается тайна, целый неведомый мир, который является как бы отчизной этого голоса... А впрочем, черт с ним, с этим таинственным миром! Повсюду эти таинственные миры! И какого мне дьявола до всего этого!

Нагель опять выпил вина и продолжал:

— Вы так притихли. Но, пожалуйста, не обращайтесь внимания на мою хвастливую болтовню относительно понимания души человеческой. Теперь вы, пожалуй, боитесь и пальцем шевельнуть. Хе-хе-хе, это было бы умно с вашей стороны! Но я забыл, что хотел сказать. Ну, да все равно, в таком случае, я скажу что-нибудь другое, что меня вовсе не интересует, но я буду говорить, пока не вспомню того, что забыл. Боже, какую чепуху я несу!.. Что думаете вы относительно фрекен Кьелланд? Мне хочется слышать ваше мнение о ней. Я нахожу, что фрекен Кьелланд до такой степени кокетка, что ей доставило бы невыразимое удовольствие, если бы еще и другие — чем больше, тем лучше, включая также и меня, — лишили себя жизни из-за нее. Таково мое мнение. Она очаровательна, да, она действительно очаровательна, и человек, которого она попирает своими ногами, должен чувствовать неизъяснимое блаженство. Вот почему, быть может, и я когда-нибудь попрошу ее сделать это; я не ручаюсь за себя. А в прочем, пока еще в этом опасности нет, время терпит... Но, Боже мой, как я, должно быть, напугал вас своей болтовней! Уж не обидел ли я вас, лично вас?

— Если бы вы знали, как фрекен Кьелланд хорошо отзывалась о вас! Я встретился с ней вчера, она должно разговаривала со мной...

— Скажите,— простите, что я вас все перебиваю,— может быть, и вы также до некоторой степени обладаете способностью слышать в голосе фрекен Кьелланд нечто другое, кроме материльных звуков? Однако теперь вы сами убедились в том, что я несу самую невероятную чушь! Не правда ли? Вот видите... Но мне доставило бы громадное удовольствие, если бы вы также немного понимали людей. Тогда я поздравил бы вас с этим и сказал бы следующее: вот нас двое, мы оба стоим на высоте, ибо мы оба понимаем это,— так объединимся же, заключим союз и условимся никогда не злоупотреблять нашим знанием, как оружием друг против друга — *друг против друга*, понимаете? И таким образом я, например, никогда не буду пускать в ход мое знание против вас, *если бы даже видел всю вашу душу насквозь*. Ну, вот, теперь вы опять оробели и смутились! Да не обращайтесь же внимания на мое хвастовство, ведь я пьян... Но теперь я наконец вспомнил, что уже давно собирался сказать, но потом я начал говорить о фрекен Кьелланд, которая меня совсем не интересует; да и с какой стати мне вздумалось выкладывать перед вами свое мнение о ней, когда вы меня вовсе об этом не спрашивали! К тому же я вам окончательно испортил настроение, а вы были такой веселый, когда час назад вошли ко мне, помните? И виновато в этой глупой болтовне одно только вино... Однако как бы мне опять не забыть того, что я хотел сказать! Когда вы рассказывали мне о холостой пирушке у бургомистра, на которой вас крестили, то, как это ни странно, но мне пришла вдруг в голову мысль устроить во что бы то ни стало также и у себя такую холостую пирушку для нескольких гостей. Эта мысль так засела у меня в голове, что я непременно осуществлю ее; вы также должны прийти ко мне, я рассчитываю на вас. Вы можете быть совершенно уверены в том, что вас не окрестят во второй раз; я позабочусь о том, чтобы с вами обращались с величайшей предупредительностью и уважением; вообще даже столов и стульев мы ломать не будем. Но мне очень хотелось бы собрать у себя как-нибудь вечером несколько человек хороших знакомых, и чем скорее, тем лучше,— ну, хотя бы в конце этой недели. Что вы скажете на это?



Нагель снова выпил, осушил два больших стакана. Минута ничего не ответил на его слова.

Видно было, что его первая детская радость прошла, и он прислушивался к болтовне хозяина только из вежливости. Он продолжал упорно отказываться от вина.

— Но как вы вдруг стали молчаливы,— сказал Нагель.— Это смешно, но, знаете, в это мгновение у вас такой вид, будто вас задело что-то, оскорбило какое-нибудь слово, намек. Да, да, не странно ли это, как будто вас задело что-то! Мне даже показалось, что вы слегка вздрогнули только что. Нет? Ну, в таком случае я ошибся! Не задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что должен чувствовать фальшивомонетчик, когда в один прекрасный день сыщик кладет ему на плечо свою руку и заглядывает в глаза, не произнося ни слова? Но что мне с вами делать? Вы становитесь все печальнее и молчаливее. А я сегодня так нервно настроен и замучил вас до смерти, но я должен говорить во что бы то ни стало, так со мной всегда бывает, когда я пьян. И вы не должны уходить от меня, а то я принужден буду болтать целый час с Сарой, со служанкой, а это, пожалуй, не совсем-то прилично, не говоря уже о том, что это скучно. Не позволите ли вы мне рассказать об одном маленьком приключении? Мой рассказ не имеет никакого значения, но он может занять вас, и в то же время он покажет вам, насколько я обладаю способностью читать в человеческой душе. Хе-хе-хе, вы в действительности убедитесь сейчас в том, что если кто не умеет читать в человеческой душе, так это я,— если только это открытие может доставить вам какое-нибудь удовольствие. Итак, жил я как-то в Лондоне — это было года три назад, не больше,— и тогда я познакомился с одной очаровательной молодой девушкой, дочерью человека, с которым у меня были кое-какие дела. Я дружески сошелся с ней, и в продолжение трех недель мы почти ежедневно виделись. В один прекрасный день она вызвалась показать мне Лондон, и мы пробродили весь день по музеям, картинным галереям, осматривали здания и парки, и наступил уже вечер, когда мы наконец подумали о возвращении домой. Между тем у меня природа стала предъявлять свои требования, и я очутился в самом неприятном положении, в котором только можно очутиться, пробродив целый день. Что мне было делать? Улизнуть куда-нибудь в сторону — я не мог, попросить на это разрешения — я не хотел. Одним словом, я уступил требованиям природы тут же,

недолго думая, просто-напросто перестал сдерживаться и, конечно, промок до самых пяток. Но что мне было, черт возьми, делать? Скажите мне! К счастью, на мне было несбыкновенно длинное пальто, и я рассчитывал, что благодаря этому скрою свое отчаянное положение. Но вот случаю было угодно, чтобы мы проходили мимо кондитерской по ярко освещенной улице, и тут на мою беду моя дама просит меня зайти в кондитерскую, чтобы поесть чего-нибудь. В ее просьбе не было ничего странного, ведь мы пробродили чуть не целый день и очень утомились.

Но я принужден был отказаться от ее предложения. Она смотрит на меня и, по-видимому, находит, что с моей стороны очень нехорошо отказывать ей, она просит меня сказать причину. «Причина та,— говорю я,— что у меня нет денег с собой, ни одного пенни!» Ну что же, причина эта уважительная, этого нельзя отрицать, тем более, что и у дамы также не было с собой денег. И вот мы стоим, смотрим друг на друга и смеемся над нашим критическим положением. Но вдруг ей приходит что-то в голову, она бросает взгляд на дом на противоположной стороне и говорит: «Подождите здесь одну минутку, вон в том доме живет моя подруга, во втором этаже, я возьму у нее денег». И с этими словами дама убегает от меня. Она пропадает несколько минут, в течение которых я терплю ужаснейшие мучения. Как мне выйти из моего затруднительного положения, если она возвратится с деньгами? Я никоим образом не мог войти в кондитерскую, которая была так ярко освещена, и где сидело множество дам и мужчин,— меня просто вытолкали бы за дверь, а в этой перспективе также не было ничего утешительного. Я решил собрать все свое мужество и, стиснув зубы, попросить ее о великом одолжении пойти в кондитерскую одной и позволить мне подождать ее на улице. Прошло минуты две, и моя дама вернулась. Она имела очень довольный вид, даже счастливый, и сказала только, что не застала подруги дома, и что, в сущности, это для нее безразлично, так как она может потерпеть еще несколько минут и поужинать у себя дома. Она извинилась также, что заставила меня ждать. Но больше всего этому исходу радовался я, хотя я шел весь мокрый, и эта прогулка была для меня очень мучительна. Но самое интересное впереди,— впрочем, вы, может быть уже догадались, в чем дело? Да, конечно, вы отгадали остальное, но я все-таки расскажу вам окончание. Только в этом году, в 1891 году,

мне пришло в голову, каким идиотом я тогда был. Я стал вспоминать все происшествие заново и в конце концов нашел величайшее значение в каждом пустяках: моя дама и не думала подниматься во второй этаж, она никуда не поднималась. Теперь я догадываюсь, что она проскользнула через калитку на задний двор и возвратилась также через калитку, тихо и незаметно. Вы спросите, имею ли я на это доказательства? Конечно, нет, но разве это не странно, что она не поднималась во второй этаж, а только прошла на задний двор? Хе-хе-хе, вы все это прекрасно понимаете, я это вижу, но у меня раскрылись глаза на все это только в 1891 году, три года спустя. Вы, конечно, не можете заподозрить меня в том, что я преднамеренно и заранее подстроил все это, что я затаил нашу прогулку, чтобы довести мою даму до крайности, что я нарочно ни на шаг не отходил от какой-нибудь гиены в музее, чтобы только ни на минуту не спускать глаз с молодой девушки и не позволить ей уединиться где-нибудь. Конечно, вы не можете подозревать меня в этом. Я допускаю, что может найтись такой коварный человек, который готов был бы страдать сам и согласился бы промокнуть до нитки, лишь бы только доставить себе удовольствие видеть, как очаровательная молодая девушка испытывает подобные мучения. Но, как я уже говорил, у меня открылись на все глаза только в этом году, три года спустя после происшествия. Хе-хе-хе, как вам это нравится?

Пауза. Нагель снова выпил вина и продолжал:

— Но вы можете спросить: какое отношение имеет эта история к вам, ко мне и к холостой пирушке? Нет, дорогой друг, она не имеет ровно никакого отношения ни к чему этому. Но мне пришло в голову рассказать вам это как доказательство моего тупоумия в смысле понимания человеческой души. Ах, да, уж эта человеческая душа! Как вам понравится, если я вам расскажу, например, что я несколько дней назад ловлю себя на том,— ловлю себя, Иогана-Нильсена Нагеля,— на том, что, проходя мимо дома консула Андресена, который стоит там на горе, принимаюсь высчитывать, какой вышины приблизительно должна быть у него гостиная? Нет, как вам это нравится? Но в этом-то и сказывается, если позволите так выразиться, человеческая душа. Ни одна мелочь не ускользает от нее, все имеет для нее свое значение... Что почувствовали бы вы, например, если бы, возвращаясь ночью домой с какого-нибудь собрания или с прогулки, вдруг столкнулись с человеком, стоящим на углу и не спускающим с вас

пристального взгляда? Предположите, что он не только смотрит на вас, но поворачивает голову в том направлении, куда вы пошли, и ничего не говорит, смотрит и молчит. Прибавьте к этому, что человек одет во все черное, и что вы видите только его лицо и глаза,— что тогда? Ах, в человеческой душе происходит много странного... В один прекрасный вечер вы являетесь в общество, скажем, состоящее из двенадцати человек, а тринадцатый — пусть это будет телеграфистка, какой-нибудь несчастный кандидат, конторщик, капитан, одним словом, самая обыкновенная личность,— сидит себе в углу и не принимает участия в разговоре, и вообще сидит тихо и не проявляет себя ничем; и все-таки этот тринадцатый имеет очень большое значение не только сам по себе, но как действующий член этого общества. И это только потому, что на нем то или иное платье, что он молчит, что он смотрит на остальных гостей именно глупыми и ничего не говорящими глазами, и что вообще своей ничтожностью он придает особенный характер всему собравшемуся обществу. Его молчаливость действует отрицательно и вносит в комнату некоторое уныние, что заставляет остальных гостей говорить настолько громко, но не громче. Разве я не прав? И это лицо таким образом может оказаться самым значительным в данном обществе. Как я уже сказал, я ничего не понимаю в людях, но мне доставляет громадное удовольствие наблюдать за тем, какое ужасное значение могут иметь мелочи. Так, мне пришлось быть свидетелем, как один никому неизвестный несчастный инженер, абсолютно не открывавший рта... А впрочем, это совсем другая история, и никакого отношения не имеет к первой, разве настолько, что обе они промелькнули в моем мозгу и оставили след. Кстати: кто знает, не налагает ли сегодня вечером ваше молчание известный оттенок на мои слова,— оставляя в стороне то обстоятельство, что я безмерно пьян,— не действует ли выражение вашего лица, не то робкое, не то невинное, а также выражение ваших глаз подстрекающим образом на меня, заставляя меня говорить так, как я говорю! В этом нет ничего невозможного. Вы слышите, что я говорю, совершенно пьяный человек,— я говорю, что вы чувствуете себя так или иначе задетым,— я употребляю то же слово, которое уже раньше употреблял,— вы чувствуете себя задетым, а это побуждает меня идти дальше, и я бросаю вам в лицо еще десятка два слов. Все это я привожу только как пример того громадного значения, какое имеют мелочи. Не пренебрегайте мелоча-

ми, мой друг! Боже вас сохрани! Мелочи имеют громаднейшее значение... Войдите!

Это была Сара, которая постучала и вошла доложить, что ужин подан. Минута сейчас же встал. Теперь уже не было никакого сомнения в том, что Нагель совершенно пьян, он даже с трудом говорил. Кроме того, он противоречил себе на каждом шагу и нес непроходимую чепуху. Выражение его глаз и вздувшиеся жилы на висках свидетельствовали о том, что в мозгу у него происходила усиленная работа.

— Да,— сказал он, — меня ничуть не удивляет, что вы хотите воспользоваться удобным случаем и уйти после всей этой болтовни, которую вам пришлось выслушать сегодня вечером. А между тем мне очень хотелось узнать ваше мнение относительно многого,— так, вы не ответили на мой вопрос, касавшийся фрекен Кьелланд: я хотел знать, что вы думаете о ней в самой глубине вашей души. Мне она представляется редким и недосягаемым существом, полным прелести и чистоты, и белой, как снег,— представьте себе чистый, глубокий, пушистый снег. Такою она стоит перед моим мысленным взором. Если вы вынесли другое впечатление из того, что я говорил раньше, то это ошибка... А теперь позвольте мне выпить последний стакан в вашем присутствии — за ваше здоровье!.. А знаете, мне только что пришло кое-что в голову... Если бы у вас хватило еще терпения подарить мне две минуты времени, то я был бы крайне обязан вам. Дело в том, — но подойдите поближе, ведь в этом доме стены очень тонкие,— дело вот в чем: я безнадежно влюблен во фрекен Кьелланд. Ну, вот, теперь я сказал это! Я выразил это думая жалкими, сухими словами, но Бог свидетель, как я безумно люблю ее и как я страдаю из-за нее! Ну, это само по себе: я люблю, я страдаю,— прекрасно, но это к делу не относится. Позвольте мне только надеяться, что вы отнесетесь к моей откровенности должным образом и с должным уважением и сохраните в тайне то, что я вам сказал,— обещаете вы мне это? Спасибо, дорогой друг! Но вы возразите мне, как могу я быть влюбленным в нее, когда я только что назвал ее ужасной кокеткой! Во-первых, можно любить, и очень любить кокетку, это свойство не может служить препятствием. На этом не стоит останавливаться. Но тут является еще другое. На чем же мы порешили? Понимаете вы что-нибудь в людях или нет? Если вы понимаете, то вы поймете также и то, что я вам сейчас скажу: что я на самом деле никоим образом не считаю фрекен Кьелланд

кокеткой. Я сказал это только в шутку. Напротив, она необыкновенно ответственна; что вы скажете, например, о ее непринужденной манере смеяться, хотя зубы у нее далеко не совсем белые? И тем не менее, я все-таки был бы способен распространять слух, что фрекен Кьелланд кокетка — мне это ровно ничего не стоит. И я делал бы это вовсе не для того, чтобы повредить ей, или чтобы отомстить, а просто только для того, чтобы поддержать себя самого, из самолюбия, потому что она для меня недосыгаема, потому что она не обращает внимания на все мои усилия понравиться ей, потому что она уже обручена и связана словом, она потеряна для меня, безнадежно потеряна. Вот видите ли, с вашего позволения, это совершенно новая теневая сторона человеческой души. Я способен был бы подойти к ней на улице и сказать ей совершенно серьезно в присутствии нескольких людей во всеуслышание, конечно, только для того, чтобы унижить ее и повредить ей, я способен был бы подойти к ней и сказать: «Здравствуйте, фрекен! Поздравляю вас с чистой рубашкой!» Да, как вам это нравится? Но я способен был бы на это. Что я сделал бы потом — побежал бы домой и принялся бы рыдать, уткнувшись в носовой платок, или принял бы несколько капель из того маленького пузырька, который я всегда ношу с собой в кармане, — этого вопроса я касаться не буду. Я способен был бы также войти как-нибудь в церковь в воскресенье, в то время, как ее отец, пастор Кьелланд, проповедует слово Божье, спокойно пройти через всю церковь, остановиться перед фрекен Кьелланд и сказать громко: «Не позволите ли мне пощупать немного ваши округлые части?» Да, как вам это нравится? И под словом «округлые части» я вовсе не подразумевал бы что-нибудь особенное, я сказал бы это только для того, чтобы заставить ее покраснеть, но я именно так бы и сказал: «Позвольте мне немножко пощупать ваши округлые части». А после этого я способен был бы броситься к ее ногам и умолять ее, чтобы она доставила мне величайшее наслаждение, плюнув мне в лицо... Но теперь вам стало совсем жутко, да я и не отрицаю, что веду постыдную речь, тем более, что я говорю о дочери священника с сыном священника. Простите, мой друг, я это делаю не по злобе, не из злобного чувства, но только потому, что я пьян, как стелька, который украл газовый фонарь, продал его старьевщику, а деньги прокутил и пропил. Клянусь, что это истинная правда. Это также был мой знакомый,

родственник покойного священника Херема. Но какое это отношение имеет к фрекен Кьелланд? Да, вы совершенно правы! Вы ничего не говорите, но я вижу, что этот вопрос вертится у вас на языке, и это совершенно справедливое замечание с вашей стороны. А что касается фрекен Кьелланд, то она безнадежно потеряна для меня, и я ничуть не жалею ее из-за этого но мне жалко самого себя. Вот вы сидите тут теперь совершенно трезвый и обладаете способностью насквозь видеть человека, а потому, конечно, поймете меня, если я в один прекрасный день просто-напросто распространю слух в городе о том, что фрекен Кьелланд сидела у меня на коленях, что она три ночи подряд приходила ко мне на свидание в заранее условленное место в лесу и потом принимала от меня подарки. Не правда ли, вы поняли бы это? Ведь дело в том, что вы чертовски хорошо понимаете людей, мой друг, ей-Богу, понимаете, нечего, нечего скромничать... Не случилось ли вам когда-либо идти по улице... Вы идете по улице, погружаясь в самые невинные мысли, ничего не подозревая, и вдруг вы замечаете, что все люди начинают смотреть на вас, оглядывают вас с ног до головы. Это в высшей степени мучительное положение, в какое только может попасть человек. Вы начинаете чистить свое платье спереди и сзади, вы, как вор, украдкой смотрите вниз — не расстегнуты ли у вас пуговицы, и вас до такой степени одолевают всякие опасения, что вы снимаете даже шляпу, чтобы посмотреть, не осталось ли на ней билетика с ценой, хотя вы прекрасно знаете, что у вас старая шляпа; но все это ни к чему не ведет, вы не находите на себе никакой неисправности, и вам остается только примириться с тем, что всякий подмастерье, всякий офицер разглядывает вас сколько его душе угодно... Но, друг мой, если это такая мука, то что же сказать, когда вас призывают к допросу... Вот вы опять вздрогнули... Нет? А мне так ясно показалось, что вы слегка вздрогнули... Да, так вот, вас начинают допрашивать, вы стоите лицом с дьявольски хитрым и изворотливым полицейским, вас всенародно подвергают перекрестному допросу, беспрестанно возвращаясь к одному и тому же исходному пункту... Что за неизъяснимое наслаждение это может доставить тому, кто только сидит и слушает! Не правда ли, вы также с этим согласны? Посмотрим-ка, не найдется ли здесь еще стаканчика, если выжать хорошенько бутылку...

Нагель вылил остатки вина из бутылки и затем продолжал:

— Вы должны извинить меня, что я так перепрыгиваю с одного предмета на другой, но это, конечно, главным образом происходит от того, что я так неверноятно пьян, а отчасти и вследствие того, что вы ошиблись во мне. Все объясняется очень просто: я ни более ни менее как агроном, ученик навозной академии, я мыслитель, не выучившийся мыслить. А впрочем, не будем вдаваться в такие специальные предметы, вас это не интересует, а для меня это прямо противно. Знайте, что часто, когда я сижу один, раздумывая над всякой всячиной, ощупывая себя со всех сторон, мне вдруг приходит в голову громко назвать себя Рошфором, я бью себя кулаком в грудь и называю себя Рошфором... Что сказали бы вы, если бы я в один прекрасный день заказал себе печать с изображением дикообраза?.. Кстати, это напомнило мне одного человека, с которым я был когда-то знаком; это был очень дельный, уважаемый студент-филолог одного из немецких университетов. Он каким-то образом сбился с пути и по прошествии двух лет превратился в пьяницу и романиста. Если ему приходилось встречаться с незнакомыми людьми, и его спрашивали, кто он такой, то он отвечал, что он факт. «Я факт!» — говорил он высокомерно, поджимая губы... Ну, да это вас не интересует... Вы говорили о каком-то человеке, о мыслителе, который не выучился мыслить... или, может быть, я сам говорил это? Простите, дело в том, что я напился до положения риз; но это ничего, не обращайтесь на это внимания. А мне очень хотелось бы объяснить вам, что значит мыслитель, не выучившийся мыслить. Насколько я вас понял, вы настроены против этого человека, да, уверяю вас, что у меня явилось это впечатление, вы говорили так насмешливо; но человек, о котором вы упоминали, заслуживает более внимательного отношения к себе. Во-первых, он был большой дурак. Да, да, я настаиваю на том, что он был дурак. Он всегда ходил с длинным красным галстуком и вечно улыбался только благодаря своей глупости. Да, он был до того глуп, что часто сидел, уткнувшись в книгу, — так его заставляли, когда к нему приходили, — но читать он и не думал. И он ходил без чулок, в одних башмаках, чтобы только иметь возможность купить себе в петличку розу. Вот какой он был. Но лучше всего было то, что у него было несколько фотографий бедных хорошеньких дочек ремесленников; и на этих портретах он сам надписывал звучные, громкие имена, чтобы заставить людей вообразить себе, что у него такие важные



знакомства. На одной из карточек он сделал отчетливую надпись крупными буквами: «Фрекен Станг», — чтобы люди подумали, что эта особа в родстве с министром, хотя она была не более как какая-нибудь Ли или Хауг. Хе-хе, что вы скажете на такое хвастовство! И при этом он воображал себе, что люди злословили о нем и вообще занимаются им! «Люди злословят обо мне!» — говорил он. Хе-хе-хе, как вам кажется, неужели кому-нибудь приходило в голову заниматься им? Между прочим, в один прекрасный день он вошел в магазин золотых дел мастера с двумя сигарами. И он курил обе сигары! Одна была у него в руке, другая во рту, и обе были закурены. Очень может быть, он и не сознавал даже, что зараз курит две сигары, и, в качестве мыслителя, не выучившегося мыслить, он и не...

— Ну, теперь я уйду, — сказал наконец Минута тихо. Нагель сейчас же встал.

— Вы уходите? — сказал он. — Вы действительно хотите покинуть меня? А впрочем, эта история слишком длинна, особенно если ее рассказывать со всеми подробностями. Ну, отложим ее до следующего раза. Так значит, вы непременно хотите уходить? Послушайте, от всего сердца благодарю вас за сегодняшний вечер! Слышите? Да, и здорово же я напился! Хотел бы я знать, на что я теперь похож? Возьмите лупу и посмотрите через нее на мизинец, и вы увидите интересное зрелище, что?.. Да, я прекрасно понимаю выражение вашего лица — вы чертовски умный человек, господин Грегорд, и я прямо наслаждаюсь, глядя на ваши глаза, такие они невинные. Но закурите же новую сигару, прежде чем уйдете. Когда вы опять придете? Черт возьми, я чуть не забыл, ведь вы должны прийти на мою холостую пирушку, слышите? На вашей голове не тронут ни волоска... Я должен сказать вам, что у меня соберется маленькое общество, чтобы поболтать, выкурить сигару и выпить стакан вина, а кроме того, можно будет трижды девять раз прокричать «ура» в честь отечества, чтобы доставить удовольствие доктору Стенерсену, не правда ли? Так и будет, а брюки, о которых мы только что говорили, вы непременно получите, черт меня побери! Но, конечно, с обычным условием. Благодарю вас за ваше терпение, которое вы проявили сегодня со мною. Позвольте пожать вашу руку! Да закурите же новую сигару, мой милый... Послушайте, еще одно слово: нет ли у вас какой-нибудь просьбы ко мне? Если вам что-нибудь надо, то... Ну, как хотите. Спокойной ночи, спокойной ночи!

Наступило двадцать девятое июня. Это был понедельник. В этот день случилось несколько необычайных происшествий. В городе появилась неизвестная особа, дама под вуалью, которая провела два часа в гостинице и затем снова исчезла. Уже с самого утра Иоган Нагель весело насвистывал и напевал у себя в комнате в то время, как он одевался; он насвистывал веселые мелодии, будто находился в самом прекрасном настроении духа, и чему-то радовался. Весь день накануне он был тих и молчалив. После попойки, которую он сам себе устроил в субботу вечером в присутствии Минуты, он ходил большими шагами взад и вперед по комнате и постоянно пил воду. Но в понедельник утром он вышел из гостиницы, продолжая напевать, и видно было, что он находится в прекраснейшем настроении духа; в своей беспричинной радости он заговорил даже с какой-то женщиной, стоявшей на улице у крыльца, и дал ей несколько шиллингов.

— Не знаете ли вы, где бы я мог достать скрипку напрокат? — спросил он. — Не играет ли здесь в городе кто-нибудь на скипке?

— Нет, не знаю, — ответила изумленная женщина.

Она этого не знала, но он все-таки дал ей несколько шиллингов, потому что у него было так радостно на душе, и быстро пошел дальше. Он издали увидал Дагни Кьелланд, которую узнал по ее красному зонтику; она выходила из одной лавки, и он сейчас же пошел за ней. Увидя его, она вся вспыхнула по своему обыкновению и, чтобы скрыть это, заслонила лицо зонтиком.

Они заговорили сперва о своей последней прогулке в лесу. Оказалось, что она поступила тогда неосторожно, потому что простудилась, несмотря на то, что погода была такая теплая; она и теперь еще не совсем поправилась. Она сказала это совсем просто, словно разговаривала со старым хорошим знакомым.

— Но вы не должны раскаиваться в этом, обещайте мне это, — сказал он без дальнейших объяснений.

— Нет, — ответила она, — я не раскаиваюсь. — И она с удивлением посмотрела на него. — Но почему вы так говорите? Нет, это была прекрасная ночь, хотя я все время ужасно боялась этого «человека с фонарем», о котором вы мне рассказывали. Я даже во сне его видела. Это был ужасный сон!

И некоторое время они говорили о «человеке с фонарем». Нагель был очень разговорчив, между прочим, он сознался в том, что сам испытывал приступы безотчетного страха в тех или иных случаях, например, ему бывало иногда страшно подниматься по лестнице, он на каждом шагу оглядывался назад, чтобы посмотреть, не следует ли кто-нибудь за ним. Что бы это могло быть? Да, что это такое? Это нечто таинственное, нечто необычное, чего не в силах постичь жалкая «всеведущая» наука, ибо она слишком груба и угловата. Разве может она объяснить это дуновение незримой силы, это воздействие слепых жизненных факторов?

— Знаете,— сказал он, — у меня вдруг явилось желание свернуть с этой улицы в какую-нибудь другую, потому что эти дома, эти груды камней налево, эти три грушевых дерева в саду окружного судьи — все это кажется мне антипатичным и наполняет меня каким-то смутным недовольством. Когда я хожу один, то я всегда стараюсь избегать этой улицы, я обхожу ее, если даже для этого мне приходится делать крюк. Что бы это могло быть?

Дагни засмеялась.

— Право, не знаю. Но доктор Стенерсен сказал бы, что это нервность и суеверие.

— Совершенно верно, он это наверное сказал бы. Но, в сущности, разве это не высокомерно и не глупо? В один прекрасный вечер вы приезжаете в чужой город, ну, скажем, хотя бы в этот город, почему бы и нет? На слудующий день вы предпринимаете прогулку по городу, чтобы осмотреть его в первый раз. И вот, во время этой прогулки у вас является безотчетная, но вполне определенная антипатия к некоторым улицам, к некоторым домам, тогда как другие улицы и другие дома возбуждают в вас дружелюбное чувство и радостное настроение. Нервность? Но предположите, что нервы у вас как канаты, и что вы вообще понятия не имеете о том, что такое нервность. Далее! Вы идете по улицам, встречаете сотни людей и равнодушно проходите мимо них; но вдруг в ту минуту, когда вы спускаетесь к набережной и останавливаетесь перед бедным одноэтажным домиком без занавесей на окнах, но с несколькими горшками белых цветов, вы встречаете человека, который сразу привлекает к себе ваше внимание. В нем нет ничего необыкновенного, он только бедно одет и идет, слегка согорбившись; вы в первый раз в вашей жизни встречаетесь с ним, и вдруг вам приходит в голову странная мысль, что этого человека зовут

Иоганнес. Именно Иоганнес. Почему вам вдруг показалось, что его зовут Иоганнес? Этого вы не можете объяснить себе, но вы видите это по его глазам, по движению его рук, слышите по звуку его шагов. И это впечатление является у вас вовсе не потому, что вы уже раньше встречали человека по имени Иоганнес, который похож на этого. Нет, вовсе не потому, вы никогда не встречали никого, кто напоминал бы вам этого человека. Вы стоите и не можете дать себе отчета в том странном, мистическом чувстве, которое так внезапно явилось у вас.

— Вы встретили такого человека здесь в городе?

— Нет, нет,— поспешно ответил он.— Я взял только для примера этот город, и этот одноэтажный домик, и этого человека. Но разве это не странно?.. Но вообще на свете бывает много странного. Представьте себе, что вы приезжаете в чужой город и входите в чужой дом, скажем, в гостиницу, в которой вы никогда раньше не бывали. И вдруг у вас является совершенно определенное ясное сознание, что когда-то, может быть, много лет назад, в этом доме была аптека. Почему вам это пришло в голову? Ничто не напоминает об этом, никто не говорил вам этого, нет и следа запаха лекарств, на стенах нет никаких следов от полок, а на полу от прилавка. И все-таки вы твердо убеждены в глубине вашего сердца, что в этом доме несколько лет назад была аптека! И вы не ошибаетесь, на мгновение все ваше существо проникается каким-то таинственным чувством, и вы приобретаете способность видеть то, что скрыто от вас. Может быть, этого никогда не случилось с вами?

— Я об этом как-то никогда не думала до сих пор. Но теперь, когда вы заговорили об этом, мне кажется, что и со мной случилось нечто подобное. Во всяком случае, мною часто овладевает какой-то безотчетный страх, когда я нахожусь в темноте. Но это, конечно, не то.

— Бог знает, то ли это, или что-нибудь другое! Чего только ни бывает между небом и землей — странного, прекрасного предчувствия, а иногда вами овладевает безотчетный немой страх, который заставляет вас невольно трепетать. Представьте себе, что во мраке ночи кто-то тихо пробирается вдоль стены. Вы не спите, вы курите трубку и сидите у стола, отдавая себе ясный отчет во всем. Голова ваша полна различных планов, и ваш мозг усиленно работает. И вдруг вы слышите совершенно ясно, что снаружи кто-то пробирается вдоль вашей стены. Или даже не снаружи, а тут же, в вашей комнате, в углу, у

печки, и вы даже видите тень на белой оштукатуренной полосе. Вы снимаете с лампы абажур, чтобы осветить всю комнату, и подходите к печке, вы останавливаетесь перед тенью и видите незнакомого человека, среднего роста, с шерстяным шарфом на шее,— шарф полосатый, в черную и белую полоску,— губы у этого человека совершенно синие. Он похож на трюфелевого валета на норвежских игральных картах. Теперь предположим, что любопытство в вас сильнее страха, вы наступаете на незванного гостя, чтобы уничтожить его одним взглядом и заставить исчезнуть; но он не двигается с места, хотя вы так близко подошли к нему, что видите, как он мигает глазами, и вы убеждаетесь, что он такой же живой человек, как и вы сами. Тогда вы решаетесь отнестись ко всему с добродушным спокойствием, и вы говорите, хотя никогда раньше не видали этого человека: «Не зовут ли вас, может быть, Хуман, Бернт Хуман?» — спрашиваете вы. А так как он на это ничего не отвечает, то вы решаете называть его Хуманом и говорите: «Почему бы вам, черт возьми, не быть Бернтом Хуманом?» И при этом вы хихикаете, глядя на него. Но он продолжает стоять неподвижно, и вы теряетесь и не знаете, что с ним делать. Тогда вы отступаете на шаг, тычете в него концом трубки и говорите: «Бэ-э-э!» Но на его лице не появляется и признака улыбки. Тогда вы выходите из себя и даете незнакомцу здоровый тумака. Но у него такой вид, словно он действительно находится тут же, рядом с вами, но ваш тумака не имеет никакого отношения к нему. Он не падает, он засовывает обе руки в карманы, засовывает как можно глубже, пожимает плечами, и кажется, будто он хочет сказать: «Ну, так что же?» По-видимому, удар, который вы ему дали, ничуть не задел его. «Вот я тебе покажу!» — отвечаете вы вне себя от ярости и наносите ему здоровый удар под самую ложечку. Затем происходит следующее: после последнего удара человек начинает как бы испаряться, вы видите своими собственными глазами, как он мало-помалу исчезает, бледнеет и расползается в воздухе, в конце концов от него остается только один живот, который также наконец исчезает. Но все время этот таинственный человек держал руки в карманах и смотрел на вас с вызывающим видом, как бы говоря: «Ну, так что же?»

Дагни снова рассмеялась.

— Какие странные приключения с вами случаются! Ну, что дальше? Чем все это кончится?

— Когда вы снова садитесь к столу и возвращаетесь к вашим планам, то замечаете, что разбили до крови вашу руку об стену... Но я хотел только сказать вот что: если вы на следующий день расскажете эту историю вашим знакомым, то вам, наверное, ответят, что вы спали. «Вы спали»,— скажут они вам. Хе-хе-хе, нечего сказать, спали! Но Бог и все ангелы могут засвидетельствовать, что вы не спали. Ведь только семинаристы с их грубой наукой могут назвать это сном, тогда как вы стояли у печки в полном сознании, курили трубку и разговаривали с человеком! Но этого мало, тут еще является врач со своим мнением; это прекрасный врач, который является в качестве представителя своей науки с самодовольно поджатыми губами и с сознанием своего превосходства. «Это,— говорит он,— ни более ни менее как простая нервность». О, Боже, что за комедия! Ладно. Итак, это нервность, говорит он. В представлении врача это нечто такое, что имеет такие-то и такие-то размеры,— столько-то дюймов в высоту, столько-то в ширину, нечто такое, что можно зажать в кулак. Это самая обыкновенная нервность и больше ничего! И вот он прописывает на клочке бумаги железо и хину и тут же на месте излечивает вас. Вот как просто все происходит! Но подумайте только, что за тупость, что за мужицкая логика — соваться со своими измерениями и своей хиной в эту область, в которой не могли разобраться даже самые чуткие и мудрые умы.

— Вы сейчас потеряете пуговицу,— сказала она.

— Потеряю пуговицу?

Она с улыбкой указала ему на пуговицу его пиджака, которая свободно болталась на одной нитке.

— Лучше было бы совсем ее оторвать, а то вы скоро потеряете ее.

Он послушался ее совета, вынул из кармана ножичек и перерезал нитку. В ту минуту, как он вынимал ножик, из кармана выпало несколько мелких монет и медаль на обтрепанной ленточке. Он быстро нагнулся и стал подбирать упавшие предметы. Она стояла и смотрела на него, потом она спросила:

— Это медаль? Но как вы с ней обращаетесь? Посмотрите, на что похожа ленточка! Что это за медаль?

— Это медаль за спасение погибающих... Но, пожалуйста, не думайте, что она находится у меня в кармане благодаря какой-нибудь заслуге с моей стороны. Это одно шарлатанство.

Она посмотрела на него. Выражение его лица было совершенно спокойным, глаза его смотрели открыто, словно он и не думал лгать. Она продолжала держать медаль в руке.

— А вы опять начинаете! — сказала она. — Если вы не заслужили этой медали, то зачем вы храните ее, зачем носите с собой?

— Я ее купил! — воскликнул он со смехом. — Ведь она моя, это моя собственность, она принадлежит мне, как перочинный ножик или пуговица, которую я только что оторвал от пиджака. Зачем же мне ее бросать?

— Но как вам вздумалось купить себе медаль? — спросила она.

— Да, это шарлатанство с моей стороны, я этого не отрицаю; но чего только ни приходится делать? Я как-то носил ее даже на груди целый день, важничал и кичился ею и даже принял тост, который был провозглашен за меня по поводу этой медали, хе-хе-хе-хе-хе! Не все ли равно, в чем проявляется шарлатанство?

— Имя стерто на ней, — сказала она опять.

Тут он сразу изменился в лице и протянул руку за медалью.

— Имя стерто? Этого не может быть, дайте посмотреть. Она испортилась у меня в кармане. Это потому, что я носил ее вместе с мелкими деньгами.

Дагни недоверчиво посмотрела на него. Тогда он вдруг прищелкнул пальцами и воскликнул:

— Ну, как можно быть таким рассеянным! Имя, конечно, стерто, вы совершенно правы, как мог я это забыть! Хе-хе-хе, я сам велел стереть имя, совершенно верно! Ведь на ней было не мое имя, а имя обладателя ее, того, который получил ее за спасение человеческой жизни. Я велел уничтожить имя тотчас же, как купил медаль. Простите, пожалуйста, что я не сказал вам об этом сейчас же, но я вовсе не собирался лгать. Я шел и думал совсем о другом: как вы могли прийти в такое нервное состояние из-за какой-то пуговицы, которая болталась на ниточке? Ну, что, если бы она даже и потерялась? Уж не ответ ли это на то, что я говорил о нервности и науке?

Пауза.

— Однако какую удивительную откровенность вы всегда проявляете по отношению ко мне! — сказала она, не отвечая на вопрос. — Не понимаю, чего вы этим хотите достигнуть? И взгляды у вас какие-то странные; вот только

что вы дали мне понять, что, в сущности, все на свете — одно шарлатанство, нет ни благородства, ни чистоты, ни величия. Неужели это ваше искреннее мнение? Неужели вы находите, что это одно и то же — купить себе медаль за известную сумму денег или приобрести ее ценой какого-нибудь подвига?

Он ничего не ответил. Она продолжала медленно и серьезно:

— Я вас не понимаю. Иногда, когда я слушаю вас, у меня возникает вопрос, в полном ли вы разуме. Простите, что я это говорю. С каждым разом вы волнуете меня все больше и больше и даже раздражаете; вы производите путаницу в моих понятиях обо всем, о чем бы вы ни заговорили, представляете мне все в извращенном виде. Почему это? Никогда не приходилось мне еще сталкиваться с кем-нибудь другим, кто до такой степени противоречил бы всем моим понятиям. Скажите: насколько вы сами искренне убеждены в том, что вы говорите, каково ваше искреннее, глубокое убеждение?

Она спросила это так серьезно, так сердечно, что он был поражен.

— Если бы у меня был Бог, — сказал он, — Бог, которого я чтил бы высоко и свято, то я поклялся бы этим Богом, что искренне убежден во всем том, что я говорил вам, абсолютно во всем, и что мною не руководят дурные побуждения даже тогда, когда я обманываю вас и сбиваю с толку. Когда я в последний раз разговаривал с вами, то вы сказали мне, что я являюсь по отношению к тому, что говорят другие люди, олицетворенным противоречием. Это правда, я не отрицаю, что я — олицетворенное противоречие, и я сам не понимаю, как это происходит. Но вместе с тем я не понимаю, как другие люди не одного со мною мнения? Все представляется мне до такой степени ясным, даже прозрачным, и я так отчетливо вижу внутренний смысл в различных явлениях. Вот мое искреннее мнение, фрекен; дай Бог, чтобы мне удалось заставить вас верить мне теперь и всегда.

— Теперь и всегда? Нет, я этого не обещаю.

— А для меня это имеет такое громадное значение, — сказал он.

Они вошли в лес; тропинка была такой узкой, что они часто касались друг друга локтями, а кругом стояла такая тишина, что они могли говорить совсем тихо. Время от времени то тут, то там раздавалось щебетание птички.



Вдруг он остановился, и она также невольно остановилась.

— Как я тосковал по вас все эти дни! — сказал он. — Ах, да не пугайтесь же! Ведь я почти ничего еще и не сказал, ведь я знаю, что ровно ничего не достигну. Нет, в этом отношении я не питаю никаких иллюзий. А впрочем, вы меня, может быть, даже и не понимаете, — я начал не с того, я проговорился и сказал то, чего вовсе не хотел говорить...

Когда он замолчал, она сказала:

— Какой вы сегодня странный!

И она хотела идти дальше.

Но он остановил ее:

— Дорогая фрекен, подождите немного! Будьте сегодня хоть немного снисходительны ко мне! Я боюсь говорить, я боюсь, что вы перебьете меня и скажете: уходите! А между тем я обдумывал это в течение многих бессонных часов.

Она смотрела на него все с большим и большим удивлением и наконец спросила:

— Что все это означает?

— Что все это означает? Разрешите мне ответить на этот вопрос без иносказаний. Это означает... означает, что я люблю вас, фрекен Кьелланд. В сущности, я не понимаю, почему это вас так поражает? Ведь я из крови и плоти, я встретил вас, и вы очаровали меня, — в этом, кажется, нет ничего странного. Но очень может быть, что было бы лучше, если бы я вам не признавался в этом.

— Конечно, это было бы лучше.

— Но до чего только человек ни доходит? Я вас даже оклеветал только из любви к вам, я назвал вас кокеткой и старался унижить вас, как бы в утешение самому себе и в отместку за то, что вы для меня недосыгаемы, — ведь я это хорошо знал. Сегодня я встречаю вас в пятый раз и до сих пор я ничем не выдал себя, хотя я мог бы смело сделать это в первый же раз. Кроме того, сегодня день моего рождения, мне исполнилось двадцать девять лет, и у меня с самого утра сегодня так весело на душе, я даже начал петь, едва открыл глаза. Я подумал — это, конечно, прямо смешно, что такие глупые мысли могут приходить в голову, — но я подумал: «Если ты встретишь ее сегодня и признаешься ей во всем, то очень может быть, что это выйдет кстати, потому что сегодня день твоего рождения. Ты можешь сказать ей это, и она, может быть, охотнее простит тебя в такой день». Вы улыбаетесь? Конечно, это

смешно, я это прекрасно понимаю. Но теперь уж с этим ничего не поделаешь. Я приношу вам свою дань, как и все другие.

— В таком случае, очень печально, что все это произошло именно сегодня,— сказала она.— В этом году вам не повезло в день вашего рождения. Вот все, что я вам могу сказать на это.

— Ну, конечно... О, Боже, какой властью вы обладаете! Я понимаю, что из-за вас можно пойти на что угодно. Даже сейчас, когда вы произносили последние слова, которые не могли быть особенно приятны для меня, даже сейчас ваш голос походил на пение. У меня совершенно ясно явилось такое ощущение, словно внутри у меня все начало расцветать. Как это странно! Знаете, я бродил тут вокруг вашего дома по ночам, стараясь увидеть хоть вашу тень в окне, а здесь в лесу я стоял на коленях и молился Богу за вас, а ведь я даже и в Бога не верю. Вы видите эту осину? Я остановился теперь именно здесь, потому что возле этой осины я простоял несколько ночей на коленях во власти беспредельного отчаяния, без мысли и без воли, и только потому, что я не мог изгнать вас из своей головы. С этого места я каждый вечер желал вам спокойной ночи, я стоял на коленях и просил ветер и звезды передать вам мой привет,— я думаю, что вы должны были почувствовать это во сне.

— Зачем вы говорите мне все это? Разве вы не знаете, что я...

— Да, да,— прервал он ее вне себя от волнения, — я знаю, что вы хотите сказать: что вы уже давно принадлежите другому, и что я поступаю неблагородно, преследуя вас теперь, когда уже поздно,— разве я не знаю, что именно это вы и хотите мне сказать? Зачем я все это вам сказал? Так знайте же: чтобы повлиять на вас, чтобы произвести на вас впечатление и заставить вас думать обо мне! Клянусь, я говорю истинную правду, я не мог бы лгать. Я знаю, что вы обручены, что у вас есть жених, которого вы любите, и что я ничего не могу достичь; и все-таки я хотел попытаться подействовать на вас хоть сколько-нибудь, я не хотел отказываться от надежды. Вы только вдумайтесь в смысл этих слов: покинуть всякую надежду!— и вы, может быть, лучше поймете меня. Говоря раньше, что я не рассчитываю ни на что, я лгал, конечно. И я говорил это, чтобы успокоить вас и выиграть время, и чтобы не запугать вас сразу. Дорогая, понимаете ли вы меня? Я говорю так бессвязно. Я вовсе не хочу сказать,

что вы когда-нибудь подавали мне хоть слабый луч надежды, и уверяю вас, я никогда не воображал себе, что могу вытеснить другого из вашего сердца. Увы, это никогда не приходило мне в голову. Но в минуты безутешного отчаяния я думал: «Да, она обручена, и она скоро уедет, я должен расстаться с ней навсегда, но теперь она еще не безвозвратно потеряна для меня, она еще не уехала, еще не вышла замуж, не умерла — как знать?.. Что, если я попытаюсь?.. Быть может, еще не все потеряно?» Вы безраздельно овладели всеми моими мыслями, я вижу вас повсюду, вы для меня — олицетворение голубых эльфов, и я называю их Дагни. Мне кажется, что не прошло ни единого дня за все эти недели, когда бы я не думал о вас. В какое время дня я ни выходил бы из гостиницы, едва я отворяю дверь и спускаюсь с крыльца, как сердце мое пронизывает надежда: может быть, ты встретишь ее! И я повсюду ищу вас. Нет, теперь я больше ничего не понимаю, и я не могу совладать с собой. Верьте, если я выдал себя теперь, то я это сделал не без борьбы. Разве приятно сознавать, что все твои попытки потерпели крушение? И все-таки продолжаешь бороться из последних сил, сознаешь, что все усилия тщетны, и все-таки борешься. Чего-чего только ни передумаешь, сидя у себя в комнате в долгую бессонную ночь? В руках держишь книгу, но не читаешь ее: стискиваешь зубы и заставляешь себя прочесть три строчки, но силы оставляют тебя, и ты захлопываешь книгу, поникнув головой. Сердце бьется так безумно, и губы невольно шепчут слова любви, называют имя и мысленно целуют его. А часы бьют два, четыре, шесть: наконец принимаешь решение покончить с этой мукой и при первом же удобном случае рискнуть и признаться во всем... Если бы я только осмелился теперь просить вас о чем-нибудь, то я попросил бы вас молчать. Я люблю вас, но молчите, молчите!.. Подождите три минуты.

Она слушала его, совершенно ошеломленная, и не произнесла ни слова в ответ. Они все еще стояли на месте.

— Нет, вы просто сошли с ума! — сказала она наконец, качая головой. И, огорченная, бледная, она прибавила, и при этом в глазах ее появился синеватый отблеск льда: — Вы знаете, что я уже обручена, вы это помните, вы даже говорили об этом, и все-таки...

— Да, да, я это знаю! Разве я могу забыть его лицо и его мундир? Это красивый мужчина, и я не нахожу в нем никаких недостатков, но это не мешает мне желать,

чтобы он умер и исчез. К чему привело, что я тысячу раз повторял себе: ты ничего не достигнешь. Но я стараюсь забыть, что это невозможно, и я твержу себе: нет, тебе еще может улыбнуться счастье, мало ли что может случиться, надежда еще не угасла... Да, не правда ли? Надежда не угасла?

— Вы доводите меня до полного отчаяния! — воскликнула она.— Что вам от меня надо? Чего вы добиваетесь? Уж не думаете ли вы, что я... Боже, не будем больше говорить об этом, прошу вас! И уходите! Теперь вы все испортили несколькими глупыми словами. Конец нашим беседам! И нам нельзя больше встречаться. Зачем вы это сделали? Если бы я только могла предполагать нечто подобное! Ну, а теперь ни слова больше об этом, прошу вас, как ради себя, так и ради вас самих. Ведь вы прекрасно понимаете, что я ничем не могу быть для вас. Не понимаю, как вы могли себе вообразить нечто подобное. Теперь довольно. Возвращайтесь домой и постарайтесь примириться с этим. О, Боже, я искренне огорчена и за вас также; но я не могу поступить иначе.

— Так неужели же я должен теперь проститься с вами навсегда? Неужели я вижу вас в последний раз? Нет, нет, послушайте! Обещаю вам быть спокойным, говорить о чем угодно, только не об этом,— и вы позволите мне видеть вас? Когда я буду совершенно спокоен? Может случиться, что все остальные наскучат вам... Только не говорите, что сегодня я вижу вас в последний раз. Вы опять качаете головой — вашей прелестной головкой... Неужели же это невозможно? Но если вы даже и не хотите мне позволить этого, то ответьте все-таки «да» и солгите, чтобы только доставить мне радость. А то мне будет так тяжело сегодня, невыразимо тяжело, а еще только утром я пел... Только один раз!

— Не просите меня об этом. Ведь я ничего не могу вам обещать. Кроме того, к чему бы это привело? Теперь уходите, прошу вас! Может быть, нам и придется еще встретиться,— право, не знаю, но все может случиться. Но теперь уходите, слышите?! — воскликнула она нетерпеливо.— Вы окажете мне величайшее благодеяние,— прибавила она.

Пауза. Он стоял и не сводил с нее глаз, он дышал прерывисто. Наконец он овладел собой и поклонился: он выпустил свою фуражку из рук и схватил ее руку, которую она протянула ему, и крепко сжал ее обеими руками. Она слегка вскрикнула, и он сейчас же выпустил ее руку в

отчаянии, что причинил ей боль. Он стоял и долго смотрел ей вслед, когда она уходила. Еще несколько шагов, и она исчезнет. К его лицу медленно приливает краска, он до крови кусает себе нижнюю губу и хочет идти, повернуться к ней спиной, он полон гнева и отчаяния. Как бы то ни было, но ведь он мужчина. Но хорошо, хорошо, прощайте!..

Вдруг она оборачивается и говорит:

— И не приходите больше в нашу усадьбу по ночам, прошу вас, не делайте этого! Так это, значит, на вас так яростно лаял Бискен несколько ночей подряд. Раз как-то ночью папа чуть было не вышел во двор. Слышите, не приходите больше. И я надеюсь также, что вы не захотите причинить нам обоим неприятность.

Она ничего больше не сказала, но при звуке ее голоса весь его гнев прошел, и он покачал головой.

— А ведь сегодня еще день моего рождения! — сказал он.

С этими словами он закрыл лицо одной рукой и пошел.

Она смотрела ему вслед; на мгновение она задумалась и вдруг бросилась за ним. Она взяла его руку.

— Простите, но я не в силах изменить этого, я не могу нечем быть для вас. Но, может быть, мы еще увидимся? Вы не думаете? Ну, теперь я должна идти.

Она повернулась и быстро пошла от него.

## ГЛАВА XII

---

С набережной шла дама под вуалью; она только что сошла с прибывшего парохода и направлялась прямо к гостинице «Централь».

Нагель случайно стоял у окна своей комнаты и смотрел на улицу. С самого обеда он без усталости ходил взад и вперед по комнате и только изредка останавливался, чтобы выпить воды; на щеках его пылал яркий румянец, походивший на лихорадочный, а глаза его горели. Он думал только об одном целыми часами, думал о своем последнем свидании с Дагни Кьелланд.

Он попробовал было внушить себе, что может уехать и забыть ее. Он раскрыл чемодан, вынул какие-то бумаги, несколько медных инструментов, флейту, несколько нотных листков, платье, среди которого находилась новая гороховая пара, совершенно такая же, какая была не нем, и много еще других вещей, которые он разбросал по всему полу. Да, он уедет, этот город опротивел ему, в нем никогда

не вывешивают больше флагов, а улицы словно вымерли. И почему бы ему не уехать? Да и вообще, на кой черт вздумалось ему совать сюда свой нос? Это какое-то воронье гнездо, не город, а дыра какая-то, населенная маленькими вислоухими людьми...

Но он прекрасно сознавал, что не уедет, что только подбадривает и обманывает себя самого. Уныло уложил он снова все свои вещи в чемодан и поставил его в угол. И вот после этого он стал бегать взад и вперед от двери к окну и обратно, не останавливаясь ни на минуту, без единой ясной мысли в голове. Внизу часы отбивали один час за другим. Вот пробило и шесть часов...

Когда он остановился на мгновение у окна и увидел даму под вуалью, как раз поднимавшуюся на крыльцо гостиницы, выражение его лица изменилось, и раза два он схватился за голову. А впрочем, что ж тут особенного? Она имела такое же право приехать сюда, как и он. Но ему до этого ровно никакого дела нет, его мысли заняты другим, а кроме того, счеты между ней и им совершенно покончены.

Он сейчас же заставил себя успокоиться, сел на стул, поднял с пола газету и стал смотреть в нее, делая вид, будто читает. Не прошло и минуты, как вошла Сара и подала ему карточку, на которой было написано карандашом: «Камма». Только «Камма». Он встал и сошел вниз.

Дама стояла в коридоре, вуаль ее была все еще спущена. Нагель молча поклонился ей.

— Здравствуйте, Симонсен! — сказала она громко и взволнованно. — Симонсен, — сказала она.

Он смутился, но сейчас же овладел собой и позвал Сару:

— Куда бы мы могли зайти на минутку?

Сара указала им комнату рядом со столовой. Едва за ними затворилась дверь, как дама упала в кресло. Она была в сильном волнении. Между ними завязался отрывочный разговор с намеками и полусловами, понятными только для них самих и относящимися к прошлому. Они хорошо знали друг друга раньше. Свидание их продолжалось не более часа. Дама говорила скорее по-датски, чем по-норвежски.

— Извини, что я тебя по-старому назвала Симонсен, — сказала она. — Старое, милое имя! Как оно напоминает былое и какое оно смешное и милое! Каждый раз, когда я произношу его про себя, ты встаешь передо мной, как живой.

— Когда вы приехали?

— Только что, несколько минут назад, я приехала на пароходе... Да, и я сейчас же уезжаю.

— Сейчас?

— Послушайте, — говорит она, — признавайтесь, что вы радуетесь этому, неужели вы думаете, я не вижу, что вы радуетесь? Но что мне делать с моей грудью, скажите? Вот послушайте, здесь — нет, немного выше! Что вы на этот счет думаете? Мне кажется, что мне стало немножко хуже, с некоторых пор появилось заметное ухудшение — не правда ли? Ну, да это все равно. У меня очень неряшливый вид? Скажите правду. А волосы у меня очень растрепаны? Может быть, я даже грязная, ведь я в дороге целые сутки... А вы совсем не изменились, и вы все такой же холодный, такой же холодный...

Нет ли у вас гребенки с собой?

— Нет... Как вам пришло в голову приехать сюда? Что вас...

— То же самое я спрашиваю у вас: как вам могло прийти в голову спрятаться в такое место? И вы думали, что я вас не найду?... Послушай, а ведь ты здесь слынешь за агронома, а? Ха-ха-ха, на набережной я встретила нескольких человек, я спросила о тебе, и мне сказали, что ты агроном, и что ты даже работал над чем-то в саду некой фру Стенерсен. Кажется, приводил в порядок кусты красной смородины, ходил по саду в одном жилете и работал два дня кряду. Что за идея! У меня руки как лед — так это всегда бывает, когда я волнуюсь, а теперь я взволнована. Но у тебя нет никакого сострадания ко мне, несмотря на то, что я тебя называю Симонсеном, как в добрые старые времена, и весела и довольна. Еще рано утром, лежа в каюте, я думала: как-то он встретит меня? Скажет ли мне по крайней мере «ты» и возьмет ли меня за подбородок? И я была почти уверена в том, что вы это сделаете, но я ошиблась. Обратите внимание на то, что я вовсе не прошу вас больше сделать это. Обратите внимание на это, пожалуйста. Теперь уже поздно. Это не доставит мне больше никакого удовольствия. Скажите, почему вы сидите и все время моргаете глазами? Может быть, это потому, что вы думаете о чем-нибудь другом, в то время как я говорю?

Он ответил только:

— Мне действительно сегодня нездоровится, Камма. Не можете ли вы мне сейчас же сказать, зачем вы приехали сюда? Вы оказали бы мне этим величайшее благодеяние.

— Зачем я приехала сюда! — воскликнула она. — Боже, как смертельно вы можете оскорблять человека! Уж не боитесь ли вы, что я у вас попрошу денег, что я приехала только для того, чтобы обобрать вас? Лучше сознайтесь совершенно откровенно, если у вас действительно такие черные подозрения в сердце... Зачем я приехала к вам? Да, отгадайте-ка! Неужели вы не знаете, какой сегодня день и число? Уж не забыли ли вы о собственном дне вашего рождения?

И она с рыданиями бросилась перед ним на колени, схватила его руки и прижимала их к лицу и груди.

Его сейчас же тронуло выражение этой страстной нежности, которой он уже не ожидал больше, он привлек ее к себе и посадил на колени.

— Я не забыла дня твоего рождения, — сказала она, — я всегда его помню. Ты представить себе не можешь, как горько я плачу о тебе по ночам! Я не сплю, потому что мысли о тебе не дают мне покоя... Дорогой мой мальчик, у тебя все еще те же красные губы! Чего-чего я только не передумала, пока ехала сюда на пароходе; я думала: все ли у него еще такие же красные губы?.. Как беспокойно твои глаза бегают по сторонам! Ведь ты не сердись, а? Но в общем ты не изменился, только глаза у тебя такие беспокойные, словно ты сидишь и думаешь, как бы поскорее от меня отделаться. Нет, я лучше сяду на этот стул рядом с тобой, так тебе, наверное, будет приятнее — не правда ли? Мне надо о многом поговорить с тобой, а между тем я должна торопиться, потому что пароход скоро отходит, но ты меня совершенно смущаешь своим равнодушным видом. Что мне сказать, чтобы заставить тебя внимательнее слушать меня? В сущности, ты не чувствуешь ни малейшей благодарности ко мне за то, что я вспомнила этот день и приехала к тебе... Ты получил много цветов? Ну, конечно! Фру Стенерсен, наверное, также вспомнила о тебе? Скажи, какая у нее наружность, у этой фру Стенерсен, для которой ты исполняешь роль агронома? Ха-ха-ха, что за выдумка!.. Мне тоже очень хотелось привезти тебе цветов, но у меня не было на это денег, как раз теперь я очень бедна... Господи, да будь же ко мне внимателен хоть сколько-нибудь в продолжение этих нескольких минут! Неужели это так трудно для тебя? Ах, как все изменилось! А помнишь, — но это ты уже, конечно, забыл, и напрасно я буду напоминать тебе о старом, — но когда-то ты узнавал меня издали по перу на моей шляпе, и ты сейчас же бежал ко мне навстречу. Но ты сам



знаешь, что это было так, не правда ли? Раз ты увидел меня издали на крепостном валу. Но теперь я забыла, зачем я, собственно, начала рассказывать о пере на шляпе? Господи, право, не помню, зачем я заговорила об этом, но я хотела это привести, как хороший аргумент против тебя... Что случилось? Почему ты вскочил с места?

Он быстро встал, прошел на цыпочках через комнату и резким движением распахнул дверь.

— В столовой звонят и давно зовут вас, Сара,— сказал он, выглянув за дверь.

Вернувшись и сев на прежнее место, он кивнул Камме и прошептал:

— Я отлично знал, что она стоит за дверью и подглядывает в замочную скважину.

Камма сделала нетерпеливое движение.

— А если бы даже она и подглядывала? — сказала она.— Скажите, пожалуйста, почему вы именно теперь заняты всем чем угодно, только не мной? Я сижу здесь уже четверть часа по крайней мере, а вы даже не попросили меня поднять вуаль. Да, но теперь уж не смейте больше просить меня об этом! Вам, конечно, и в голову не приходит, как это ужасно сидеть с густой вуалью на лице в такую жару. Ну, так мне и надо! И зачем я приехала сюда!

Ведь я слышала, как вы попросили у служанки позволения зайти куда-нибудь на минутку. Только на минутку! — сказали вы. Это означало, конечно, что вы хотели отделаться от меня через минуту. Да, да, я не упрекаю вас в этом, я только безгранично огорчена! Но что же делать?.. И почему я никак не могу забыть тебя? Я знаю, что ты не в своем уме, что у тебя в глазах безумное выражение,— да, представь себе, так говорят о тебе, и я этому верю. И все-таки я не могу забыть тебя. Доктор Ниссен уверяет, что ты сумасшедший, и, видит Бог, так это и должно быть, раз ты поселился в таком месте, как это, и объявил себя агрономом. Слыханное ли это дело! И ты все еще носишь на пальце это железное кольцо? И не расстаешься с этим бросающимся в глаза костюмом, который никто другой ни за что не надел бы...

— Так доктор Ниссен сказал, что я сумасшедший? — спросил он.

— Доктор Ниссен так прямо и сказал это! Знаешь, кому он это сказал?

Пауза. На мгновение он погрузился в глубокие думы. Но потом он очнулся и спросил:

— Скажите мне совершенно откровенно, Камма, не могу ли я вам оказать денежную помощь? Вы знаете, что я сделаю это с удовольствием.

— Никогда! — воскликнула она, — никогда, слышите! Какое право вы имеете бросать мне в лицо одно оскорбление за другим?

Пауза.

— Не понимаю, — сказал он, — зачем мы тут сидим и доставляем друг другу неприятности...

Но тут она прервала его и с рыданиями стала говорить, не взвешивая больше своих слов:

— Кто доставляет неприятности? Уж не я ли? Боже, ты совершенно переродился за какие-нибудь несколько месяцев! Я приезжаю сюда только для того, чтобы... Я не ожидаю больше ответа на свои чувства, ведь ты знаешь, что я не из тех, кто вымаливает любовь, но я надеялась, что ты отнесешься ко мне с некоторой снисходительностью... О, Господи Боже ты мой, как непроглядна и печальна моя жизнь! Я знаю, что должна вырвать тебя из моего сердца, но я не в силах этого сделать, меня влечет за тобой, и я бросаюсь к твоим ногам. Помнишь, мы как-то раз гуляли по Драмменсвейн, и ты прибил по морде собаку за то, что она прыгнула на меня? В этом была виновата я, потому что я вскрикнула, думая, что собака хочет укусить меня. Но оказалось, что собака вовсе не хотела кусать меня, она просто только играла, а когда ты ударил ее, она на брюхе подползла к нам и легла у наших ног, вместо того, чтобы убежать. Ты тогда расплакался над собакой, ты гладил ее и украдкой плакал — я это заметила... Но теперь ты не плачешь, хотя... Но я это привела вовсе не для сравнения — ты, конечно, не думаешь, что я сравниваю себя с собакой? Кто знает, чего только тебе ни придет в голову с твоим высокомерием! Когда у тебя такое лицо, то я прекрасно знаю, что у тебя на душе. Вот ты улыбаешься, — да, да, ты улыбнулся! Ты смеешься надо мной тут же у меня на глазах! Нет, уж лучше я скажу тебе прямо в лицо... Ах, нет, нет, прости меня, прости! Я в таком отчаянии! Ты видишь перед собой разбитую женщину — я совершенно разбита, протяни же мне руку! О, почему ты не можешь забыть моего единственного проступка! Но, если ты хорошенько подумаешь об этом, ты должен будешь согласиться, что моя вина перед тобой так ничтожна. Конечно, с моей стороны было нехорошо, что я не пришла к тебе в тот вечер. Ты подавал мне сигналы один за другим, а я не пошла, — но,

видит Бог, я глубоко сожалею об этом! Но его у меня не было, как ты это думал, незадолго пред тем он был у меня. Но в ту минуту его больше не было. Ведь я во всем сознаюсь и прошу тебя сжалиться надо мной. Но я должна была прогнать его тогда же, да, прогнать, я сознаюсь в этом, я сознаюсь во всем, и я не должна была... Нет, я не понимаю... я ничего больше не понимаю!..

Пауза. В наступившей тишине раздавались только рыдания Каммы, да из столовой доносился стук ножей и вилок. Она продолжала плакать, вытирая платком слезы под вуалью.

— Подумай только, он такой беспомощный,— продолжала она, — он прямо ни на что больше не годен. Иногда он ударяет кулаком по столу и посылает меня ко всем чертям, да, он ругает меня и говорит, что я его разоряю, и при этом он более чем груб со мной. Но вслед за тем он опять чувствует себя таким несчастным и даже не может решиться отпустить меня. Что же мне делать, когда я вижу, как он слаб? Я откладываю со дня на день свой отъезд, хотя мне далеко не сладко живется... Но, пожалуйста, не жалеите меня: неужели вы посмеете быть таким бессовестным и выразить мне ваше сострадание! Он, во всяком случае, лучше многих и доставлял мне больше радости, чем многие другие, во всяком случае, больше, чем вы. И я искренне люблю его, знайте это! Я приехала сюда не для того, чтобы злословить о нем. Как только я возвращусь домой, я брошусь перед ним на колени и буду просить его о прощении за то, что сказала здесь о нем. Да, так я и сделаю.

Негель сказал:

— Дорогая Камма, будьте же хоть немного благоразумны! Позвольте помочь вам, прошу вас. Мне кажется, вы нуждаетесь в этом. Вы не хотите позволить? Как это нехорошо с вашей стороны отказываться от моей помощи, когда я так легко и так охотно сделал бы это.

И, говоря это, он вынул свой бумажник.

Она крикнула вне себя от волнения:

— Разве вы не слышали, что я наотрез отказалась от вашей помощи! Вы оглохли, что ли!

— Но чего же вы хотите? — спросил он в полном недоумении.

Она стала на стул и перестала плакать. Казалось, будто она раскаялась в своей горячности.

— Послушайте, Симонсен... Позвольте мне еще раз назвать вас так... если вы только не рассердитесь на меня,

то мне очень хотелось бы сказать вам кое-что. Ну, на что это похоже, что вы вздумали поселиться в такой трущобе, как эта? И для чего вы это сделали? Разве можно удивляться после этого, что люди считают вас сумасшедшим? Я даже и забыла, как называется этот город, я должна подумать, чтобы вспомнить, так он мал, а вы живете здесь, разыгрываете какую-то комедию и приводите обывателей в изумление своими странными выходками! Неужели же вы не моли найти ничего лучшего!.. А впрочем, это меня вовсе не касается, и я говорю все это только по старой памяти... Нет, посоветуйте, что мне делать с моей грудью? Вот я чувствую сейчас, что сердце мое готово разорваться! Не находите ли вы, что мне следовало бы опять обратиться к доктору? Но, скажите на милость, как мне обращаться к доктору, когда у меня нет ни одного эре в кармане?

— Но ведь вы слышали, что я от всего сердца готов помочь вам и дать вам займы. Вы можете когда-нибудь возвратить мне деньги.

— Ну, в сущности, это совершенно все равно, буду ли я обращаться к доктору или нет,— продолжала она, как упрямое дитя.— Разве кто-нибудь пожалует меня, когда я умру?

Но вдруг она переменяла тон, делая вид, будто одумалась.

— Если спокойно обсудить это, то почему бы мне и не принять ваших денег? Раз я принимала их раньше, то почему бы мне не принять их теперь? Я вовсе уж не так богата, чтобы из-за этого... Да, но дело в том, что вы несколько раз, как нарочно, выбирали такие моменты, когда я была сильно взволнована, и вы прекрасно знали заранее, что я откажусь. Да, да, так это и было! Вы преднамеренно поступали так, чтобы только сберечь свои деньги, хотя у вас их так много, вы думаете, я этого не заметила? А если даже вы и предложили мне их сейчас еще раз, то сделали это только для того, чтобы унижить меня, а потом вы будете злорадствовать, что я в конце концов все-таки вынуждена была взять их. Но с этим ничего не поделаешь, я действительно вынуждена принять ваши деньги, и я буду тебе за это искренне благодарна. Видит Бог, как я была бы рада, если бы мне не нужно было обращаться к твоей помощи! Но знайте, я приехала сюда сегодня вовсе не из-за денег,— хотите верьте, хотите нет. Я не думаю, чтобы у вас хватило низости думать так... Но сколько ты можешь мне дать, Симонсен? Господи,

пожалуйста, не принимай всего этого так близко к сердцу и верь мне, что я говорю совершенно искренне...

— Сколько вам надо?

— Сколько мне надо!.. Ах, Боже мой, я надеюсь, что пароход не уйдет без меня!.. Мне нужно довольно много, но... пожалуй, несколько сот крон, но...

— Послушайте, вы вовсе не должны чувствовать себя униженной, принимая эти деньги. Если вы только хотите, то вы можете заслужить их. Вы можете оказать мне громадную услугу, если бы я осмелился попросить вас...

— Если бы ты осмелился попросить меня! — воскликнула она вне себя от радости, что нашелся такой выход.— Боже, как ты можешь так говорить! Какую услугу? Какую услугу, Симонсен? Я готова на все! О, милый мой мальчик!

— У вас еще осталось три четверти часа свободного времени до отхода парохода...

— Да, да. Но что же я должна сделать?

— Вы должны пойти к одной даме и исполнить поручение.

— К даме?

— Она живет у набережной в маленьком одноэтажном домике. На окнах нет занавесей, но на подоконниках обыкновенно стоят горшки с белыми цветами. Эту даму зовут Марта Гуде, фрекен Гуде.

— Так это она... Но разве это не фру Стенерсен...

— Послушайте, вы находитесь на ложном пути,— фрекен Гуде, наверное, под сорок лет. Но у нее есть стул, старое кресло, которое я непременно хочу приобрести, и вы должны помочь мне в этом... Спрячьте же ваши деньги, а я тем временем объясню вам все.

Между тем начало смеркаться, постояльцы гостиницы шумно выходили из столовой, а Нагель все еще сидел и подробно объяснял все, что касалось старого кресла. Надо действовать с величайшей осторожностью, без всякой аффектации. Камма все больше и больше приходила в восторг от этого таинственного поручения и сгорала от нетерпения поскорее приняться за его выполнение. Она громко смеялась и несколько раз спрашивала, не следует ли ей переодеться, или, по крайней мере, надеть очки. Ведь, кажется, у нее когда-то была красная шляпа? Не надеть ли ей ее?

— Нет, вам не надо делать никаких фокусов. Вы должны просто прийти и предложить за кресло известную сумму, поднять цену, дойти до двухсот крон, даже до

двухсот двадцати. И вы можете быть уверены, что это кресло не останется за вами. Вы можете быть спокойны.

— Боже, какая масса денег! Но почему вы думаете, что я не получу этого кресла за двести двадцать крон?

— Потому что я уже выговорил его для себя.

— Но представьте себе, что она поймает меня на слове?

— Нет, будьте уверены, что она этого не сделает. А теперь идите!

В последнюю минуту она снова попросила у него гребенку и выразила опасение, что у нее смято платье.

— Но знай, что я вовсе не хочу, чтобы ты так часто бывал с этой фру Стенерсен,— сказала она, жеманясь.— Я не могу перенести этой мысли. Это меня огорчает, и я безутешна.

И она тут же посмотрела, хорошо ли спрятала деньги.

— Какой ты милый, что дал мне столько денег! — воскликнула она.

И быстрым движением она откинула вуаль и поцеловала его в губы, прямо в губы. Но в то же время она была всецело поглощена странным поручением к Марте Гуде и спросила:

— Как мне дать тебе знать, что все сошло благополучно? Впрочем, я могу попросить капитана дать четыре или пять свистков, как ты думаешь? Вот теперь ты сам видишь, что я вовсе уж не такая глупая. Да, ты можешь положиться на меня! Да и как мне не сделать для тебя таких пустяков, когда ты... Но, послушай, верь мне, я приезжала сюда не из-за денег! Ну, а теперь позволь мне еще раз поблагодарить тебя! До свидания, до свидания!

Уходя, она еще раз пощупала, не потеряла ли деньги. Полчаса спустя Нагель действительно услышал пароходный свисток, который дал пять коротких сигналов один за другим.

## ГЛАВА XIII

---

Прошло два дня.

Нагель сидел дома, он был мрачен, и вид у него был измученный и больной, глаза его потускнели за эти два дня. Он ни с кем не разговаривал в гостинице. Одна рука у него была обвязана платком — однажды ночью, пробродив, по обыкновению, до самого рассвета, он вернулся домой с обвязанной носовым платком рукой. Он сказал,

что поранил себе руку, споткнувшись о борону, лежавшую на пристани.

В четверг с утра шел дождь, и ненастная погода сделала его настроение еще более мрачным. Однако, прочитав лежа в постели газету и позабавившись бурной сценой во французской палате депутатов, он вдруг прищелкнул пальцами и вскочил с постели. Черт возьми! Стоит ли унывать!

Он позвонил, не успев еще одеться окончательно, и сообщил Саре, что желает пригласить к себе вечером нескольких гостей — шесть-семь человек, которые способны поддержать веселье на нашей грешной земле, неунывающих весельчаков, таких, как доктор Стенерсен, адвокат Хансен, адъюнкт и другие.

Он сейчас же разослал приглашения. Минута ответил, что придет, поверенный Рейнерт также получил приглашение, но не пришел. В пять часов все гости собрались в комнате Нагеля. Так как дождь продолжал еще идти и было пасмурно, то спустили шторы и зажгли лампы.

И вот началась вакханалия с шумом, гамом и адским криком; маленький городок еще долгое время спустя говорил об этом кутеже...

Как только Минута показался в дверях, Нагель пошел к нему навстречу и стал извиняться перед ним в том, что наболтал слишком много вздору во время их последнего свидания. Он сердечно пожал руку Минуте и представил его студенту Эйену, единственному из гостей, который еще не знал его. Минута шепотом поблагодарил Нагеля за новые брюки: теперь он одет с иголки с ног до головы.

— Но у вас еще нет жилета.

— Нет, но в этом нет никакой необходимости. Ведь я не граф какой-нибудь — уверяю вас, что мне совсем не нужно жилета.

Доктор Стенерсен сломал свои очки и теперь употреблял пенсне без шнурка, которое каждую минуту падало у него с носа.

— Нет, говорите, что хотите, — сказал он, — но мы все-таки живем в эпоху освобождения. Стоит только обратить внимание на выборы и сравнить их с прошлыми выборами.

Все пили очень много, адъюнкт уже начал говорить односложными словами, а это было верным признаком того, что винные пары начали действовать на него. Адвокат Хансен, который вышил где-то несколько стаканов уже до

своего прихода, начал, по своему обыкновению, возражать доктору и вообще нес всякую чепуху.

Он, Хансен, социалист, если он смеет так выразиться, — он человек прогрессивный. Выборами он недоволен, в сущности, о каком освобождении они свидетельствуют? Пусть-ка ему ответят на это! К черту их! Да, нечего сказать, хорошая эпоха освобождения! Разве не боролся такой человек, как Гладстон, самым позорным образом с Парнеллем из-за причин морального свойства, из-за смешных причин, пустых и пошлых, как ростбиф... Проваливайте к черту!

— Что за околесицу вы там несете! — отозвался сейчас же доктор. — Неужели вы отрицаете всякую мораль? если бы люди перестали верить в мораль, то что двигало бы их вперед? Надо обманывать людей, завлекать их на путь развития и всегда чтить мораль. Я всегда стоял за Парнелля, но раз Гладстон находит его невозможным, то ведь нельзя не согласиться, что такой великий человек кое-что смыслит в людях. Впрочем, мои слова не относятся к господину Нагелю, к нашему уважаемому хозяину, который не может простить Гладстону даже того, что он искренен до мозга костей. Ха-ха-ха, о Боже милостивый... Кстати, господин Нагель, вы, кажется, и к Толстому относитесь не слишком милостиво? Фрекен Кьелланд говорила мне, что вы и его не признаете.

Нагель разговаривал в эту минуту со студентом Эйеном, при последних словах он быстро обернулся и ответил:

— Не помню, чтобы я когда-нибудь говорил с фрекен Кьелланд о Толстом. Я признаю его как великого писателя, но как философ он дурак... — Но потом Нагель прибавил: — Я надеюсь, что вы ничего не имеете против того, чтобы мы сегодня вечером позволили себе отпустить время от времени крепкое словцо, если найдем это нужным? Ведь дам здесь нет, и мы собрались на холостую пирушку. Решено? А я именно в таком настроении духа в настоящую минуту, что готов захватить в свои лапы все, что попало, и растерзать.

— Пожалуйста, не стесняйтесь! — ответил доктор с обиженным видом. — Толстой — дурак!

— Да, да, не будем стесняться высказывать наше мнение совершенно откровенно! — воскликнул вдруг также и адъюнкт.

Адъюнкт как раз допился до известной стадии своего опьянения, и теперь ему было море по колено.



— Пожалуйста, никаких ограничений, доктор, иначе мы вытолкаем тебя отсюда. Пусть каждый выражает свое мнение. Вот, например, Стеккер — отъявленный негодяй. И я это докажу... Да, докажу!

Это заявление все встретили хохотом, и прошло несколько минут, прежде чем можно было снова вернуться к разговору о Толстом.

— Да, Толстой — великий писатель и великий гений.

Нагель вдруг весь вспыхнул:

— Он — великий гений? Никогда! Его ум самого обыкновенного свойства, а что касается его учения, то оно ни на волос не глубже аллилуйных возгласов Армии Спасения. Какой-нибудь русский не дворянского происхождения, не имеющий старого, знатного имени и миллионов Толстого, едва ли прославился бы так только из-за того, что он выучил несколько крестьян чинить сапоги... А впрочем, будем веселиться... Ваше здоровье, господин Грегорд!

Нагель пользовался каждым удобным случаем, чтобы чокаться с Минутой, и вообще все время был по отношению к нему чрезвычайно внимателен. Он снова заговорил с ним о своей глупой болтовне во время их последнего свидания и просил Минуту забыть о ней.

— Что касается меня, — заявил доктор, принимая гордую осанку, — то вы меня ничем не испугаете.

— Дело в том, — продолжал Нагель, — что я иногда слишком увлекаюсь в своем стремлении противоречить, а сегодня я к тому же чувствую особенное расположение к этому. Это происходит вследствие того, что третьего дня у меня были кое-какие неприятности, которые сильно подействовали на меня, а кроме того, и эта, наводящая тоску погода отвратительно на меня влияет. Вы, господин доктор, лучше всего можете понять это и извинить меня... Но вернемся к Толстому. Я никак не могу его считать более глубоким умом, чем, например, генерала Бутса. Оба они проповедники, но не мыслители, — они только проповедники. Они пускают в ход готовые продукты, популяризуют какую-нибудь готовую мысль, преподносят ее народу по дешевой цене и таким образом управляют всем миром. Но когда делаешь коммерческий оборот и пускаешь что-нибудь в обращение, то надо это делать с возможной выгодой для себя. Толстой же терпит громадные убытки при этом. Жили-были как-то два друга, которые держали следующее пари: один побился об заклад двенадцатью шиллингами в том, что он на расстоянии двадцати шагов

выбьет выстрелом орех, который другой будет держать между пальцами, и при этом не заденет его руки. Прекрасно,— он выстрелил, но промахнулся и искалечил всю руку другого, и сделав он это с блеском. Несчастный застонал и, собрав последние силы, крикнул: «Ты проиграл пари, сейчас же подавай двенадцать шиллингов!» И он получил двенадцать шиллингов. «Хе-хе-хе. Подавай сюда двенадцать шиллингов»,— сказал он... Ах уж этот Толстой! Да поможет ему Бог! Он сидит там у себя и из кожи вон лезет, чтобы окончательно иссушить источники радостей жизни и заполнить весь свет любовью к Господу и к своему ближнему. Я краснею внутренне. Если сказать, что какой-то агроном краснеет за графа, то это может показаться несколько нахальным, но так это на самом деле и есть... Я не говорил бы так, как говорю, если бы Толстой был юношей, которому приходилось бы самому побеждать искушения и бороться, чтобы проповедовать добродетель и жить целомудренно. Но ведь он старец, все жизненные источники которого давно иссякли, и в котором не осталось больше и следа человеческих страстей и желаний. Но — возражат мне на это — это не имеет никакого отношения к его учению! Да, только после того, как человек окончательно состарился, одряхлел и пресытился от наслаждений, он идет к юноше и говорит: «Откажись!» И молодой человек задумывается над его предложением и сознается, что оно соответствует словам Святого Писания. Но, несмотря на это, юноша все-таки не отказывается от радостей жизни, а продолжает грешить, и грешит в течение сорока лет всюю. Такова логика жизни! Но когда проходит сорок лет, и юноша превращается в старца, тогда и он в свою очередь седлает сивого коня и, держа знамя высоко в своей костлявой руке, скачет по белу свету, громко трубя и призывая в наизидание всему миру юношей к отречению и снова к отречению. Хе-хе-хе, да, это комедия, которая вечно повторяется! Толстой забавляет меня, я в восторге от того, что этот старик может еще делать так много добра, и в конце концов, он, конечно, удостоится райского блаженства. Но дело-то все в том, что он только повторяет то, что делали уже до него многие старцы, и что будут делать после него многие старцы. Вот в этом-то все и дело.

— Позвольте вам напомнить только об одном,— чтобы не сказать больше,— что Толстой выказал себя истинным другом покинутых и угнетенных. И это в ваших глазах ничего не значит? Нет, вы укажите мне хоть одного

человека у нас, который до такой степени занимался бы несчастными и посвящал себя малым сим в человеческом обществе, как он. Я нахожу, что это довольно высокомерная и узкая точка зрения — считать учение Толстого учением дурака только потому, что люди не желают следовать этому учению.

— Bravo, доктор! — заревел снова адъютант, лицо которого пылало. — Bravo! Но высказывайте ваше мнение резче, грубее, каждый имеет право высказывать откровенно свое мнение. Высокомерная точка зрения — воистину это высокомерная точка зрения! Вот я докажу вам это...

— Ваше здоровье, — сказал Негель, — не будем забывать, для чего мы здесь собрались. Неужели вы хотите сказать, доктор, что когда человек, обладающий кругленьким миллионом, отдает десятирублевую бумажку, то его поступок должен вызывать в нас восхищение? Я не могу понять ни вашей логики, ни логики других людей, — я, вероятно, создан как-нибудь иначе. Убейте меня, но я все-таки не могу согласиться с тем, что кто-нибудь — и менее всего богач — заслуживает восхищения за то, что он подал милостыню.

— Хорошо сказано! — заметил адвокат, как бы подзадоривая Нагеля. — Я социалист, и это моя точка зрения.

Но это замечание разозлило доктора, и он воскликнул, обращаясь к Нагелю:

— Позвольте спросить, вы действительно так хорошо осведомлены относительно того, сколько именно Толстой жертвует ежегодно на бедных? Ведь даже в холостой компании должны быть некоторые границы тому, что можно говорить и чего нельзя говорить.

— А Толстой, — ответил Нагель, — «смотрит на это так: должны быть известные границы тому, сколько я отдаю! Вот почему он возложил на свою жену обязанность следить за тем, чтобы не отдавать более, чем полагается! Хе-хе-хе, ну, об этом мы не будем говорить... Но послушайте: что руководит человеком, когда он отдает крону, — делает он это от доброты сердечной, или просто потому, что он сознательно хочет совершить добрый и моральный поступок? Как наивно такое представление! Есть люди, которые не могут не отдавать. Но почему же? А просто потому, что, отдавая, они испытывают чисто психологическое наслаждение. Их поступок не является результатом логического рассуждения, они делают это тайком, им противно делать это открыто, потому что это отняло бы у них часть удовольствия. Они отдают украдкой, дрожащими руками,

они спешат, и при этом сердце их наполняется блаженством, в котором они сами себе не могут отдать ясного ответа. Их внезапно охватывает потребность отдать что-нибудь, и эта неудержимая странная потребность застилает их глаза слезами. Они отдают не от доброты сердечной, а уступая внутреннему побуждению, ради своего собственного наслаждения, много есть таких людей! О людях щедрых говорят с восхищением, но я уже сказал, что я, вероятно, создан иначе, чем другие люди, и не восхищаюсь щедрыми людьми. Нет, ничуть не восхищаюсь. Да скажите, черт возьми, кто не предпочитает давать, а не брать? Позвольте вас спросить, есть ли на земле такое человеческое существо, которое не предпочло бы помочь нуждающемуся вместо того, чтобы испытывать самому нужду? Вот позвольте поставить хотя бы вас в пример, господин доктор: не дали ли вы недавно лодочнику, который вас перевозил, пять крон? Я услышал это случайно. Скажите, почему вы отдали эти пять крон? Конечно, не для того, чтобы совершить угодное Богу дело — вероятно, вам тогда это и в голову не приходило, да к тому же и лодочник, может быть, вовсе уж не так нуждался, но вы все-таки дали ему пять крон. И вы, наверное, в ту минуту действовали под влиянием непреодолимой потребности отдать что-нибудь и порадовать другого... Я нахожу таким невыразимо жалким и пошлым, когда так много носятся с человеческой благотворительностью. В один прекрасный день вы идете по улице в такую-то погоду и встречаете таких и таких-то людей, и все это вместе вызывает в вас определенное настроение. Вдруг вам бросается в глаза лицо — лицо ребенка, лицо нищего — скажем, нищего, — и это лицо вызывает в вас какую-то внутреннюю дрожь. Вашу душу охватывает странное чувство, вы топаете ногой и останавливаетесь. Вид этого лица затронул в вашей душе какую-то чувствительную струну, и вот вы подзываете нищего, вводите его в ворота и суете ему в руку десять крон. «Если ты проговоришься об этом, скажешь кому-нибудь хоть одно слово, я убью тебя!» — шепчете вы ему и при этом чуть не скрежете зубами и чуть не готовы расплакаться от волнения. До такой степени важно для некоторых, чтобы поступок их сохранился в тайне. И нечто подобное может повторяться изо дня в день, так что в конце концов и сам попадаешь в безвыходное положение и остаешься без единого зре в кармане... Эта черта, конечно, вовсе не относится ко мне самому, но я знаю другого человека, — собственно я знаю даже двух людей,

которые этим отличаются... Нет, люди дают просто потому, что уступают непреодолимой потребности давать, и баста! Но в этом случае я делаю исключение для людей скупых. Алчные и грубо-скупые люди действительно приносят жертву, когда отдают что-нибудь,— в этом нет никакого сомнения. А потому я нахожу, что такие люди, поборовшие себя и отдавшие один эре, заслуживают большего уважения, нежели вы, или я, или он, отдавшие ради нашего собственного удовольствия одну крону. Кланяйтесь Толстому и скажите ему, что я и ломаного гроша не дам за его жалкую показную доброту — во всяком случае до тех пор, пока он не отдаст все, что имеет, а впрочем, пожалуй, и тогда... Однако прошу извинить меня, если я задел кого-нибудь из вас. Еще сигару, господин Грегорд. Ваше здоровье, господин доктор!

— Как вы думаете, скольких вам удастся обратить в вашей жизни? — спросил доктор.

— Bravo! — воскликнул адъюнк, — адъюнк Хольтан выражает вам свое одобрение — bravo!

— Скольких мне удастся обратить? — спросил Нагель.— Никого, ни одного человека. Если бы я должен был существовать, обращая других людей, то я скоро умер бы с голоду. Но я только одного не могу понять: почему не все люди одного и того же мнения со мной о различных предметах? Следовательно, больше всего не прав я сам. Но я не могу согласиться, чтобы я был окончательно не прав, совершенно не прав.

— Но мне ни разу не приходилось еще слышать, чтобы вы хоть что-нибудь или хоть кого-нибудь признали,— сказал доктор.— Интересно было бы знать, найдется ли на свете хоть один человек, которого вы признавали бы.

— Позвольте мне вам объяснить кое-что, я постараюсь это сделать в двух словах. Вы, собственно, хотели сказать: обратите внимание, для него не существует ни одного человека, на которого он смотрел бы снизу вверх. Он — олицетворенное высокомерие, он не признает никого! Но это заблуждение. Мой ум не всеобъемлющ, его хватает не на много, но я мог бы все-таки насчитать вам сотни и сотни этих обыкновенных, всеми признанных людей, которые наполняют весь свет своей славой. Уши мои полны их именами. Но я предпочел бы назвать двух, четырех, шестерых величайших героев духа, полубогов, гигантских создателей ценностей, а затем остановиться на нескольких ничтожных величинах, своеобразных, изящных гениях, о которых никто не говорит, которые живут недолго и

умирают молодыми и неизвестными. Но в одном я твердо уверен: я забыл бы назвать Толстого.

— Послушайте,— сказал доктор, желая положить конец этому спору, и при этом он энергично пожал плечами, — неужели вы действительно думаете, что какой-нибудь человек мог бы достигнуть такой всемирной известности, какую приобрел Толстой, не будучи умом первой величины? Вы довольно забавно говорите, но ведь слова ваши — сущий вздор. Черт меня побери, вы несете такую чепуху, что слушать противно!

Адьюнкт Хольтан зарычал:

— Браво, доктор! Пусть наш хозяин даст нам передохнуть... передохнуть...

— Адьюнкт напоминает мне, что я действительно не очень-то любезный хозяин,— сказал с улыбкой Нагель.— Но теперь я исправлюсь. Господин Эйен, у вас пустой стакан. Почему вы ничего не пьете?

Дело в том, что студент Эйен действительно все время сидел, как каменное изваяние, и слушал болтовню, стараясь не проронить ни слова. Его глаза выражали любопытство, и он щурил их и буквально наострял уши от напряженного внимания. Этот молодой человек был сильно заинтересован спором. Про него говорили, что он — как и многие другие студенты — во время каникул пишет роман.

В комнату вошла Сара и доложила, что ужин подан. Адвокат, который уже успел слегка прикорнуть на своем стуле, вдруг раскрыл глаза и оживился, увидя ее. Когда она уже успела выйти за дверь, то он вскочил, нагнал ее на площадке лестницы и сказал с искренним восхищением:

— Сара, ты восхитительна! Я должен тебе это сказать.

После этого он снова вернулся в комнату и уселся на свое место как ни в чем не бывало, с тем же серьезным видом. Он был очень пьян. Когда доктор Стенерсен накинулся на него наконец по поводу его социализма, то он не был в состоянии защищаться. Хорош социалист, нечего сказать! Живодер он! Жалкий посредник между сильными и бессильными, юрист, живущий раздорами других и за деньги восстанавливающий законные права! И такой человек называет себя социалистом!

— Принципиально, принципиально,— возразил адвокат.

— Принципиально! — И доктор заговорил с величайшей иронией о принципах адвоката Хансена. В то время, как гости спустились в столовую, он не ставлял в покое Хансена, высмеивал его как адвоката и вообще нападал

на социализм. Вот он, доктор, левый душой и телом, а не социалист только на словах. Да в чем, собственно, заключаются принципы социализма? Сам черт не разберется в них,— тут доктор оседлал своего конька,— социализм — это в двух словах идея мести низших классов. Что такое социализм как движение? Стадо слепых и глухих животных, следующих за своим вожаком с высунутыми языками. Разве они способны на какое-нибудь подобие мысли? Нет, они ни о чем не думают. Если бы они способны были мыслить, то они перешли бы к левым и сделали бы что-нибудь практическое и полезное вместо того, чтобы валяться и всю жизнь облизываться на неосуществимую мечту. Тьфу! Возьмите первого попавшегося из вождей социалистов — что это за люди? Косматые, тощие оборванцы, сидящие на деревянных табуретках в своих мансардах и пишущие трактаты об усовершенствовании мира! Конечно, и они могут быть порядочными людьми — про Карла Маркса нельзя сказать ничего дурного! Но и этот Маркс сидел себе, писал и уничтожал на свете бедность — теоретически. Его мозг продумал все виды бедности, все степени нужды, он вмещает в себя все страдания человеческие. И вот он макает перо в чернильницу и мысленно весь пылает и исписывает одну страницу за другой, заполняет целые листы цифрами, отнимает у богатых и наделяет бедных, распределяет громадные суммы, пересоздает экономику всего света и осыпает миллиарды изумленных бедняков — все это только научно, только теоретически! И в конце концов оказывается, что в своем наивном увлечении люди взяли за исходную точку совершенно ложный принцип: равенство людей! Тьфу! Да, это совершенно ложный принцип! И вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным, поддержать левых в их деле реформации для прогресса демократии...

Доктор возбуждался все больше и больше и говорил без умолку, выказывая свои мнения и убеждения. А за ужином он вдохновился еще больше, было выпито много шампанского, и настроение дошло до высшего предела. Даже Минута, сидевший рядом с Нагелем и молчавший весь вечер, теперь вмешался в разговор и делал некоторые замечания время от времени. Адьюнкт сидел неподвижно и только кричал, что запачкал себе живот яйцом и не может двинуться. Он был совершенно беспомощен. Наконец пришла Сара и стала вытирать пятно салфеткой, тогда адвокат воспользовался благоприятным моментом, притянул

ее к себе, обхватил и стал в ней возиться. За столом поднялся всеобщий сумбур.

Между тем Нагель потребовал, чтобы в его комнату отнесли корзину шампанского. Вскоре после этого все поднялись из-за стола. Адьюнкт и адвокат шли под руку и пели, давая выражение своему восторгу, а доктор опять стал возбужденно распространяться о принципе социализма. Но на лестнице он имел несчастье уронить свое пенсне, наверное, раз десятый, и оно сломалось. Оба стекла разбились вдребезги, он сунул оправу в карман и остался полуслепым на весь вечер. Это окончательно вывело его из себя и сделало еще более раздражительным, он нервно уселся возле Нагеля и сказал язвительно:

— Если я не ошибаюсь, то вы очень религиозный человек, не правда ли?

Он произнес это самым серьезным образом и ждал ответа. Помолчав немного, он прибавил, что после первого разговора с Нагелем — это было на похоронах Карльсена — у него сложилось впечатление, будто он, Нагель, действительно очень религиозный человек.

— Я защищал религиозную жизнь в человеке, — ответил Нагель, — но не христианство в частности, отнюдь нет, я защищал вообще религиозную жизнь. Вы сказали, что надо повесить всех теологов. «Почему?» — спросил я. «Потому что их роль окончена», — ответили вы. И вот с этим-то я и не согласился. Религиозная жизнь — это факт. Турок восклицает: «Велик Аллах!» — и умирает за это убеждение. Норвежец преклоняет колени перед алтарем и по сей день еще вкушает кровь Христову. У всякого народа есть свой коровий колокольчик, в который он верит. И с этой верой умирает в блаженстве. Дело не в том, во что веришь, а как веришь...

— Я прямо поражен тем, что слышу от вас, — сказал доктор в раздражении. — И я невольно спрашиваю себя еще раз, не переодетый ли вы правый, в сущности? Одна за другой появляются научные критики на теологов и их книги, писатели один за другим восстают и пишут против сборников проповедей и теологических сочинений и разносят их в пух и прах, а вы все-таки не хотите сдаться настолько, чтобы признать, что иной обряд уже не имеет больше никакого значения в наше время. Не понимаю вашей логики.

Нагель подумал с минуту и потом сказал:

— Ход моих мыслей вкратце следующий: какая выгода, в сущности, в том, — простите, может быть, я спрашивал



это уже раньше,—какая выгода в том, если даже рассматривать этот вопрос с чисто практической стороны, что мы лишим жизнь всей поэзии мечтаний, всей прекрасной мистики и лжи? В чем заключается истина,—знаете ли вы это? Ведь мы двигаемся вперед только благодаря символам, а эти символы мы меняем по мере того, как шагаем вперед... Однако не будем забывать наполнять наши стаканы.

Доктор встал и прошелся раза два по комнате. Он с досадой посмотрел на загнувшийся у двери угол ковра и даже опустился на колени, чтобы расправить его.

— Послушай, Хансен, ты, право, мог бы дать мне твои очки на некоторое время, ведь ты все равно сидишь там и клюешь носом,—сказал он сердито, окончательно выходя из себя.

Но Хансен не пожелал расстаться со своими очками, и доктор с досадой отвернулся от него. Он снова сел рядом с Нагелем.

— Да, если стать на вашу точку зрения, то все это вздор, чепуха. Может быть, вы даже во многом и правы. Вот посмотрите-ка на Хансена! Ха-ха-ха, прости, пожалуйста, Хансен, что я позволяю себе смеяться над тобой, адвокатом и социалистом Хансеном. Признайся, разве ты не испытываешь в глубине души радость каждый раз, когда два добрых гражданина затевают ссору друг с другом и начинают процесс? Ну, кто поверит, что ты предпочел бы уговорить их покончить дело добром и не взял бы с них за это ни одного шиллинга? А в воскресенье ты пойдешь в союз рабочих и будешь держать речь перед двумя ремесленниками и одним мясником о социалистическом государстве. «Да,—скажешь ты,—каждый должен иметь известную прибыль в зависимости от производительной способности — все устроено так прекрасно, обездоленных не будет». Но тут поднимается мясник, и, видит Бог, этот мясник в сравнении со всеми вами настоящий гений,—и вот он встает и спрашивает: «Я обладаю потребительной способностью оптового торговца, но я — только жалкий мясник в смысле производительности, на большее у меня не хватило способностей». Ну, разве ты не пришел бы в ярость от этого, болван ты этакий?.. Да, храпи себе, храпи, это ты лучше всего умеешь делать, храпи! — Доктор опьянел окончательно, язык у него заплетался, и глаза его смотрели бессмысленно. Немного помолчав, он снова обратился к Нагелю и продолжал мрачно: — Впрочем, должен вам сказать,

что не только одни теологи должны лишиться себя жизни. Нет, черт меня побери, все мы должны были бы сделать это, искоренить род человеческий, и к черту все!

Нагель чокнулся с Минутой. Доктор не дождался ответа, разозлился и крикнул громко:

— Разве вы не слышите, что я говорю? Все вы должны покончить с собой, говорю я, и вы, конечно, также,— вы также!

У доктора был очень свирепый вид, когда он говорил это.

— Да,— ответил Нагель,— об этом и я тоже думал. Но что касается меня, то у меня не хватает на это мужества.— Пауза.— Итак, я говорю, что у меня не хватает мужества, но если бы когда-нибудь у меня хватило духу на это, то у меня уже приготовлен пистолет, и на всякий случай я ношу его при себе.

С этими словами он вынул из кармана жилета маленький аптекарский пузырек с этикеткой, указывающей на то, что содержимое пузырька — яд, и поднял его кверху. Пузырек был наполнен только наполовину.

— Настоящая синильная кислота, чистейшей воды,— сказал он.— Но у меня никогда не хватит мужества, для меня это слишком трудно... Господин доктор, вы, конечно, можете мне сказать, достаточно ли этого количества? Половину я уже применил на одном животном, и действие было превосходное. Маленькие судороги, смешное подергивание морды, два-три глубоких вдоха — вот и все. Мат в три хода.

Доктор взял пузырек, посмотрел на него, встряхнул и сказал:

— Этого достаточно, вполне достаточно... Собственно говоря, я должен был бы отобрать у вас этот пузырек, но раз у вас не хватает мужества, то...

— Нет, у меня не хватает мужества.

Пауза. Нагель снова сунул пузырек в карман жилета. Доктор все больше и больше хмелел, он пил из своего стакана, смотрел вокруг себя стеклянными глазами и плевал на пол. Вдруг он крикнул через всю комнату адьюнкту:

— Эй, Хольган, как твои дела? Ты еще можешь произнести «ассоциация идей»? Я уже не способен больше на это. Спокойной ночи!

Адьюнкт раскрыл глаза, слегка потянулся, встал, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Когда разговор

возобновился, то он воспользовался случаем, чтобы улизнуть, — он незаметно пробрался вдоль стены к двери и шмыгнул в нее, прежде чем кто-нибудь успел что-то заметить. Так адъюнкты Хольтан всегда покидал общество.

Минута встал и тоже собрался уходить, но когда хозяин попросил его остаться еще немного, он снова сел. Адвокат Хансен спал. Трое оставшихся еще трезвыми — студент Эйен, Минута и Нагель — заговорили о литературе. Доктор слушал с полуоткрытыми глазами, но уже не произносил больше ни слова. Немного погодя и он также погрузился в сон.

Студент был довольно начитан и очень любил Мопассана: нельзя отрицать, что Мопассан проник в самую глубь тайников женской души, а как поэт любви он на недостижимой высоте. Какая смелость передачи, какое поразительное знание человеческого сердца! Но Нагель стал ему возражать со смешной запальчивостью, ударял кулаком по столу, кричал, разносил писателей во всю, забраковал почти всех, пошадив только нескольких избранных. По-видимому, он был искренне взволнован, грудь его высоко понималась, а на губах выступила даже пена.

— Да, уж эти поэты! Ха-ха-ха, нечего сказать, так они и проникли в тайники человеческого сердца! Но что такое представляют собою поэты? Эти кичливые создания, которые сумели забрать такую власть в современной жизни? Эта язва, болячка на общественном теле, наболевшие прыщи, с которыми надо обращаться осторожно, с чрезвычайной нежностью, иначе они прикинутся, потому что они не переносят грубого прикосновения! Да, да, с писателями надо возиться, больше всего с самыми глупыми, с наименее развитыми, иначе они сбегут за границу! Хе-хе-хе, да, за границу! О, Господи Боже ты мой, что за восхитительная комедия! А если и найдется поэт, настоящий вдохновенный певец с дивной музыкой в груди, то можно поручиться чем угодно, что его поставят далеко позади такого грубого, сочиняющего книги профессионала, как Мопассан. Это человек, который писал много о любви и доказал, что умеет сбывать с рук книги, да, что правда, то правда! Но вот маленькая яркая звездочка, настоящий поэт в самом лучшем смысле этого слова. Альфред де Мюссе, для которого любовь — не сладострастная рутинка, а нежная и пылкая весенняя мелодия, и все существо которого пламенно проявляется в строфах, и у этого поэта нет, может быть, и половины той массы приверженцев, которая выпала на долю

маленького Мопассана с его необыкновенно грубой, бездушной поэзией бедер...

Нагель перешел всякие границы. Он нашел повод наброситься и на Виктора Гюго и вообще в конце концов послал ко всем чертям самых величайших мировых писателей. Вот маленький образчик пустой поэтической шумихи такого мирового писателя: «Пусть твоя сталь будет так же остра, как твое последнее «нет!» Ну что, разве это не производит эффекта? Как вам кажется, господин Грегорд?

При этих словах Нагель посмотрел на Минуту пронизывающим взглядом. Он не отрывал от него пристального взора и медленно произнес еще раз эти пустые слова. Минута ничего не ответил, но его голубые глаза широко раскрылись как бы от ужаса, и в смущении он хлебнул большой глоток из своего стакана.

— Вы упомянули об Ибсене,— продолжал Нагель в таком же возбуждении, хотя никто не произносил имени Ибсена.— По-моему, в Норвегии существует только один писатель, и это не Ибсен. Нет, только не Ибсен. Об Ибсене говорят как о мыслителе, но не следует ли делать разницу между популярным разонерством и истинным мышлением? Говоря о славе Ибсена, вам прожужжали все уши о его мужестве, но не следует ли отличать теоретическое мужество от практического, бескорыстный и беззаветный революционный пыл от домашнего возмущения? Первое озаряет ярким светом жизни, второе — ослепляет в театре. Норвежский писатель, который сражается без отдыха, без срока, с булавкой в руках вместо копья, вовсе не норвежский писатель, но ведь чем-нибудь да надо порисоваться, иначе не прослывешь за мужественного муравья. Да, очень забавно смотреть на это зрелище на расстоянии! Тут боевого шума и отваги не менее, чем в наполеоновском сражении, но опасности и риску столько же, сколько во французской дуэли. Хе-хе-хе... Нет, человек, который хочет поднять возмущение, не должен быть маленьким пишущим курьезом, он не может быть исключительно отвлеченным литературным понятием для немцев — он должен быть человеком дела, который бросается в самый водоворот жизненной борьбы. Революционный пыл Ибсена никогда не увлечет его в опасное приключение. Не приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как рвут полотно? Хе-хе-хе, весьма внушительный шум!.. Но, в сущности, не все ли равно, от чего происходит шум, раз мы лежим ничком

перед таким бабьим делом, как писание для публики. Но, как бы это ни было дрянно, это во всяком случае не хуже бессовестной философской болтовни Льва Толстого. К черту все!

— Все? Все к черту?

— Да, почти все, а впрочем, есть у нас один писатель, это Бьернсон в его лучшие минуты. Как бы то ни было, но он у нас единственный, да,— единственный...

— Но разве нельзя отнести также и к Бьернсону большую часть обвинений, направленных против Толстого? Ведь и Бьернсон также проповедник, проповедник морали, обыкновенный скучный старец, профессиональный сочинитель книг, или как там?

— Нет! — воскликнул Нагель громко, и он стал жестикулировать и горячо защищать Бьернсона.

— Нельзя сравнивать Бьернсона с Толстым отчасти потому, что это противоречит самому простому агрономическому смыслу, отчасти потому, что против этого восстает человеческое чувство. Во-первых, Бьернсон такой же гений, как и Толстой. Я не особенно высоко ставлю обыкновенных гениев — видит Бог, я не ставлю их высоко,— но Толстой поднялся на высоту гениев, тогда как Бьернсон далеко перегнал их. Это, конечно, не мешает Толстому писать книги, которые лучше многих книг Бьернсона, но что это доказывает? Хорошие книги могут писать датские капитаны, норвежские художники и английские женщины. А во-вторых, Бьернсон — человек, гигантская личность, а не отвлеченное понятие. Это живой человек, который борется и шумит на нашей грешной земле и которому нужен широкий простор. Он вовсе не стремится изображать собою сфинкса перед толпой, не представляется великим и таинственным, как Толстой в своей степи или Ибсен в своем кафе. Душа Бьернсона — это лес в бурю, он борется, он вездесущ и сам подрывает интерес публики к себе, сидя в кафе «Гранд». Это исполинская величина с могучим духом, это один из немногих повелителей. Он может, стоя на трибуне, одним движением руки заставить умолкнуть поднимающийся свист. В его сильном мозгу постоянно зарождаются новые мысли, он неустанно работает, в его победах чувствуется мощь, он ошибается жестоко, но в том и другом чувствуется его яркая индивидуальность, его гений. Бьернсон — наш единственный поэт с вдохновением, с искрой Божьей. Его гений действует так же, как шум ржаных колосьев в летний день: проносится легкий ветерок, и раздается едва слышный шелест колосьев, но кончается

тем, что не слышишь больше ничего, кроме этого шелеста, ничего другого! Таково свойство движения его души, все нарастающее, все более и более захватывающее. Сравните для примера с произведениями Бьернсона произведения Ибсена, с этой чисто механической конторской работой. Самое большее, что можно сказать про стихотворения Ибсена, это то, что рифма с треском приходится к рифме, а большая часть его драм — это массы дерева, нагроможденные в драматической форме. На кой черт все это!.. А впрочем, оставим это; ваше здоровье!..

Было два часа. Минута зевает. Его клонит ко сну после трудового дня, и он устал от бесконечной болтовни Нагеля, он снова встает и собирается уходить. После того, как он со всеми распрощался и уже дошел до двери, случилось нечто, заставившее его остановиться, — случилось маленькое, незначительное обстоятельство, получившее впоследствии большое значение. Доктор проснулся, спросонья махнул рукой и, благодаря своей близорукости, опрокинул несколько стаканов. Нагель, сидевший ближе всех к доктору, был весь облит шампанским. Он вскочил со смехом, стал стряхивать с себя вино и громко прокричал «ура».

Минута сейчас же прибежал на помощь, он взял салфетку и стал вытирать Нагеля. Больше всего пострадал жилет, и он предложил Нагелю снять его на одну минуту, только на минуту, и он приведет его в порядок. Но Нагель отказался снять жилет. Тут проснулся также и адвокат, его разбудил шум, и он также начал кричать спросонья «ура», не зная, в чем дело. Минута снова стал просить Нагеля снять ненадолго жилет, но тот только качал головой. Вдруг он остановил на Минуте пристальный взгляд, в голове у него пронеслась какая-то мысль, он мгновенно встает, снимает жилет и порывисто протягивает его Минуте.

— Пожалуйста! — говорит он. — Оботрите его и оставьте себе. Да, да, оставьте его себе, ведь у вас нет жилета. Молящие, ни слова! Я даю вам его от чистого сердца, дорогой друг.

Но Минута продолжал протестовать, и тогда Нагель сунул ему жилет под мышку, отворил дверь и дружески вытолкнул его на лестницу.

Минута ушел.

Все произошло так быстро, что только Эйен, сидевший у двери, обратил на это внимание.

После этого адвокат, желавший проявить пьяную отвагу, предложил разбить и остальные стаканы. Нагель ничего не возразил против этого, и вот эти четверо взрослых людей стали забавляться тем, что швыряли об стену один стакан за другим, пока не перебили все. После этого они стали пить из бутылок, орали, как перепившиеся матросы, и плясали. Только в четыре часа прекратился этот разгул. Доктор был пьян до невозможности. Уже стоя в дверях, студент Эйен повернулся к Нагелю и сказал:

— Но то, что вы говорили о Толстом, можно смело сказать и о Бьернсоне. Вы непоследовательны в ваших словах...

— Ха-ха-ха! — хохотал доктор, словно одержимый.— Он требует последовательности... в эту пору ночи!.. А вы можете произнести «энциклопедисты», милый мой? А «ассоциация идей»? Ну, идемте же, я помогу вам добраться до дому... Ха-ха-ха, в эту пору ночи!..

Дождя больше не было. Да и солнце также не показывалось, но погода была тихая и предвещала мягкий день.

#### ГЛАВА XIV

---

Рано утром на следующий день Минута снова был в гостинице. Он тихо вошел в комнату Нагеля и положил на стол его часы, несколько бумаг, кусочек карандаша и маленький пузырек с ядом. После этого он хотел уходить, но в эту минуту Нагель проснулся, и он должен был объяснить ему, зачем пришел.

— Эти вещи я нашел у вас в кармане жилета,— сказал он.

— В кармане жилета? Ах, да, правда! А который теперь час?

— Восемь. Но ваши часы стоят, я не хотел их заводить.

— Надеюсь, вы не выпили синильной кислоты?

Минута улыбнулся и покачал головой.

— Нет,— ответил он.

— Даже не попробовали? Пузырек был наполнен до половины, дайте-ка посмотреть.

И Минута показал ему, что пузырек был наполнен до половины.

— Хорошо! И вы говорите, что теперь восемь часов? В таком случае пора вставать... Чтобы не забыть, Грегорд, не можете ли вы мне где-нибудь достать напрокат скрипку?

Я хочу попробовать, не могу ли я научиться... А впрочем, все это глупости! Дело в том, что я хочу купить скрипку, я хочу подарить ее одному знакомому, мне она нужна не для меня самого. Так вот, вы должны непременно достать мне скрипку, где хотите.

Минута обещал сделать все, чтобы исполнить его желание.

— Очень вам благодарен... Так загляните ко мне опять, когда вам вздумается, дорогу вы знаете. До свидания!

Час спустя Нагель был уже в лесу недалеко от усадьбы священника. Земля еще не просохла после дождя, который шел накануне, и солнце мало грело. Он сел на камень и стал смотреть на дорогу. На размокшем песке он увидел знакомые следы, он был почти уверен в том, что это следы Дагни, и что она пошла в город. Он долго ждал напрасно, потом решил пойти к ней навстречу и встал с камня.

И он действительно не ошибся: не успел он дойти до опушки леса, как встретил ее. В руках у нее была книга, это была «Гертруда Кольбьернсен» Скрама.

Некоторое время они говорили об этой книге, потом она сказала:

— Можете себе представить... наша собака околела.

— Неужели? — ответил он.

— Несколько дней назад. Мы нашли ее мертвой. Не понимаю, как это произошло.

— А я всегда находил, что это препротивная собака: простите, пожалуйста, но я нахожу, что эти собаки со вздернутыми носами и мордой, напоминающей нахальное человеческое лицо, отвратительны. Когда они смотрят на человека, то углы их губ глубоко отпускаются, и это придает им такое выражение, словно их угнетает мировая скорбь. Признаюсь откровенно, я рад, что ваш пес околел.

— Как вам не стыдно!

Но он нервно прервал ее, видно было, что он по той или иной причине хотел перевести разговор на другой предмет. Он заговорил об одном человеке, с которым ему когда-то пришлось встретиться и который был необыкновенно забавен. Человек этот немного з-заикался, и он этого не скрывал — напротив, он старался з-заикаться еще больше, чтобы подчеркнуть свой недостаток. У него были самые странные понятия о женщине. Между прочим, он часто рассказывал одну мексиканскую историю, которая в его передаче производила необыкновенно забавное впечатление: «Стояла зима с трескучими морозами, термометры



лопались, а люди сидели у себя дома безвыходно круглые сутки. Но вот в один прекрасный день этому человеку пришлось идти в соседний город, он шел по пустынной местности, только кое-где были разбросаны одинокие хижины. Ледяной ветер обжигал ему лицо. Вдруг в эту отчаянную стужу из одной хижины, мимо которой он только что прошел, выбегает полуодетая женщина и нагоняет его: она все время кричит ему вслед: «У вас побелел нос! Берегитесь, вы отморозите себе нос!» Женщина держала в руках ковшик, и рукава у нее были засучены. Она увидела в окно, что у этого чужого человека побелел нос, бросила работу и побежала за ним, чтобы предупредить его об этом. Хе-хе, но слыханное ли это дело! И вот она идет с засученными рукавами на морозе, и ее правая щека мало-помалу белеет и превращается в сплошное белое пятно! Хе-хе, это прямо невероятно!..» Но, несмотря на этот и множество других примеров женского самопожертвования, о которых знал заика, он в этом вопросе был необыкновенно упорен. Женщина — странное и ненасытное существо, говорил он, не поясняя, однако, почему женщина странное и ненасытное существо. Прямо невероятно, до чего она взбалмошна! И он рассказал следующее: «У меня был друг, который влюбился в одну молодую девушку, я даже помню, что ее звали Кларой. Он делал все, чтобы покорить сердце этой молодой девушки, но это ни к чему не привело — Клара и знать его не хотела, хотя это был красивый и уважаемый человек. У этой Клары была сестра, страшно уродливое, кривое и горбатое существо,— она была прямо отвратительна. И вот в один прекрасный день мой друг делает ей предложение. Одному Богу известно, зачем он это сделал: может быть, из расчета, а может быть, он действительно влюбился в нее, несмотря на ее безобразие. Но что же делает Клара? Да, вот тут-то женская натура и показала свои когти. Клара кричит и поднимает целый скандал: «Он хотел, чтобы я была его женой! Он в меня влюблен,— говорила она, — но меня ему не видать, я ни за что на свете не хочу и слышать о нем». Ну, что же вы думаете, ему удалось жениться на сестре, в которую он так сильно влюбился? Нет, вот в том-то и дело, что Клара не захотела уступить его сестре. Хе-хе-хе! Так нет же, раз он с самого начала хотел жениться на ней, так пусть ему не достанется и ее горбатая сестра, которая едва ли была для кого-нибудь слишком хороша. Таким образом моему другу не досталась ни одна из этих двух

сестер»... Это один из многих рассказов заики. И он рассказывал необыкновенно забавно, именно вследствие того, что заикался. Надо, впрочем, сказать, что это был во всех отношениях очень загадочный человек... Я не надоел вам?

— Нет, — ответила Дагни.

— Да, это был необыкновенно загадочный человек. Он был такой жадный и такой коварный вместе с тем, что ему ровно ничего не стоило снять кожаный ремень с окна вагона и взять его себе, чтобы дома употребить на что-нибудь. Да, это ему ровно ничего не стоило, говорят даже, что его как-то поймали на таком воровстве. Но, с другой стороны, он совсем не считал денег, когда на него находило такое настроение. Однажды ему пришлось в голову устроить большую прогулку в экипажах. Знакомых у него не было, а потому он нанял для себя одного двадцать четыре коляски, которым велел ехать вереницей. И вот двадцать три коляски впереди порожние, а в двадцать четвертой — в последней — сидит он сам и смотрит на пешеходов, гордый и довольный, как Бог, тем, что ему удалось устроить такое великолепное зрелище...

Однако все эти истории, которые Нагель рассказывал одну за другой, не имели ни малейшего успеха, Дагни едва слушала его. Он замолчал, он опомнился. И на кой черт он нес всю эту чепуху и разыгрывал из себя какого-то дурака! Занимать молодую девушку, да еще даму сердца, какой-то вздорной болтовней об отмороженных носах и щеках и о двадцати четырех колясках! И вдруг он вспомнил, что уже раньше отличился глупым замечанием относительно эскимоса и бювара. При этом воспоминании кровь бросилась ему в лицо, его передернуло, и он чуть было не остановился. Почему он, черт возьми не следит за собой! О, как ему стыдно! Эти минуты, когда он так глупо болтал, выставляют его в смешном свете, унижают его и отодвигают его успех на недели и месяцы. Какое мнение она должна была составить о нем!

Он сказал:

— Сколько времени осталось еще до базара?

Она ответила с улыбкой:

— Почему вы так стараетесь говорить без остановки? Почему вы так нервны?

Этот вопрос был таким неожиданным для него, что он с минуту не спускал с нее смущенного взгляда. Потом он ответил глухо и с сильно бьющимся сердцем:

— Фрекен Кьелланд, в последнее наше свидание я обещал вам, что если вы позволите мне еще раз увидеться в вами, то я буду говорить о чем угодно, только не о том, о чем мне было запрещено говорить. Я стараюсь сдержать свое обещание. До сих пор это удавалось.

— Да,— сказала она,— надо держать свои обещания, нельзя нарушать обещаний.

И она сказала это таким тоном, словно обращалась больше к себе самой, чем к нему.

— Я уже и до вашего прихода принял решение попытаться сдержать свое обещание, я знал, что встречу вас.

— Как вы могли знать?

— Я увидел ваши следы на дороге.

Она быстро вскинула на него глаза и промолчала. Немного погодя она сказала:

— У вас рука обвязана, вы ранены?

— Да,— ответил он,— это ваша собака укусила меня.

Они оба остановились и посмотрели друг на друга. Он крепко стиснул руки и продолжал, с трудом произнося слова:

— Я приходил сюда в лес каждую ночь, я приходил, смотрел на ваши окна каждую ночь, прежде чем ложился спать. Простите, но ведь в этом нет никакого преступления! Вы запретили мне делать это, а я не послушался вас, и с этим уж больше ничего не поделаешь. Ваша собака укусила меня, она боролась не на жизнь, а на смерть. Это я убил ее, я дал ей яду, потому что она лаяла каждый раз, когда я подходил к вашим окнам, чтобы пожелать спокойной ночи.

— Так это вы убили собаку! — сказал она.

— Да,— ответил он.

Пауза. Они продолжали стоять на том же месте, глядя друг на друга, он усиленно дышал, и его грудь высоко поднималась.

— Но я способен и не на то еще, чтобы только увидеть вас,— продолжал он.— Вы не имеете ни малейшего представления о том, как я страдаю, и как всецело мои мысли день и ночь заняты только вами,— нет, этого вы не можете себе представить! Я разговариваю с людьми, смеюсь, устраиваю даже веселые пирушки — не далее, как в эту ночь, у меня сидели гости до четырех часов, кончилось тем, что мы разбили все стаканы,— да, так вот, даже тогда, когда я пью и распеваю, я думаю только о вас, и это сводит меня с ума. Да я и не забочусь больше ни о

чем. И, право, не знаю, чем все это кончится. Но сжальтесь надо мною и подарите мне еще хоть две минуты, я должен вам сказать кое-что. Только не волнуйтесь, я не хочу вас ни пугать, ни обманывать, мне только до боли хочется говорить с вами...

— Неужели же вы так и не хотите образумиться? — сказала она резко.— Ведь вы обещали это.

— Да, я обещал это, а впрочем, я не уверен, обещал ли я это действительно. Но если я даже и обещал, то это так плохо удастся мне. Ну хорошо, я буду благоразумен, можете положиться на меня. Но не знаете ли вы, как провести это на деле? Научите меня. Знаете, ведь я чуть было не ворвался к вам в дом, я хотел отворить дверь и войти прямо к вам, если бы даже у вас были чужие! Но я всеми силами боролся с собой, верьте мне, и я даже клеветал на вас и пытался унижить вас в глазах других, чтобы только уничтожить вашу власть надо мной. И я делал это вовсе не из мести, нет, поймите же, что я действительно изнемогаю. Я сделал это только чтобы поддержать себя, чтобы заставить держать себя в руках и не слишком пасть в своих собственных глазах. Вот для чего я это сделал. Но не знаю, помогло ли это мне. Я хотел было даже уехать, я серьезно решился на это и начал укладывать свои вещи, но я не был в состоянии довести своего решения до конца и так и не уехал. Да разве я мог уехать! Скорее я способен был бы поехать за вами, если бы вас здесь не было. И если бы я даже не знал, куда вы уехали, то я все-таки поехал бы разыскивать вас в надежде, что когда-нибудь снова найду. А если бы я в конце концов убедился в том, что все мои поиски ни к чему не приведут, то я становился бы все более и более скромным в своих надеждах и примирился бы наконец с возможностью встретиться с каким-нибудь человеком, который был вам когда-нибудь близок, с какой-нибудь из ваших подруг, которая пожимала вам руку или которой вы улыбались в счастливые дни. Вот как я поступил бы. Так неужели же я могу уехать отсюда? К тому же теперь лето, весь лес — это мой храм, и птицы знают меня здесь, они смотрят на меня, когда я прихожу сюда утром, они наклоняют головки набок, смотрят на меня и начинают щебетать. Не могу я также забыть того первого вечера, когда я приехал сюда, и когда весь город был разукрашен флагами в вашу честь,— это произвело тогда на меня глубокое и странное впечатление. Я пришел в восторг, и во мне вдруг зародилась какая-то безотчетная симпатия,

я, как очарованный, ходил взад и вперед по палубе парохода, смотрел на флаги и не сходил на берег. Да, это было в тот вечер... Но и после того у меня не раз бывало так радостно на душе, я каждый раз хожу по той же дороге, по которой ходите и вы, иногда счастье улыбается мне, и я нахожу на дороге ваши следы, как сегодня, например, и тогда я жду вас до тех пор, пока вы не возвращаетесь обратно, я прячусь где-нибудь тут в лесу, ложусь ничком за камень и жду вас. Я видел вас два раза после нашего последнего разговора. Раз я прождал вашего возвращения шесть часов. И все эти шесть часов я пролежал за камнем, не вставая, потому что боялся попасться вам на глаза. Бог знает, где вы так долго пропадали в этот день...

— Я была у Андресенов,— сказала она вдруг.

— Да, очень может быть, что вы были там, в конце концов, я все-таки дождался вашего возвращения. Вы были не одни, но я видел вас ясно и послал вам тихонько привет из-за камня. Не знаю, какая мысль промелькнула у вас в эту минуту, но вы повернули голову и на мгновение остановили ваш взгляд на камне.

— Однако, послушайте... Боже мой, вы вздрогнули, словно я собиралась произнести ваш смертный приговор...

— Но так оно и есть, я это хорошо знаю, ваши глаза стали вдруг холодны, как лед.

— Да, но этому надо положить конец, господин Нагель! Если бы вы были способны рассуждать, то вы сами сознались бы, что не совсем благородно поступаете по отношению к отсутствующему. Нет, вы вообразите себя на его месте... А кроме того, имейте ввиду, что вы доставляете мне мучительные минуты. Чего вы, собственно, хотите от меня? Я должна сказать вам раз и навсегда: я не нарушу своего слова, я люблю его. Ну, кажется, теперь все ясно для вас? А потому будьте осторожны. Право, я отказываюсь бывать с вами вместе, если вы не можете быть по отношению ко мне несколько сдержаннее. Говорю вам это совершенно серьезно.

Она была взволнована, ее губы дрожали, и она делала усилие над собой, чтобы не разрыться слезами. Так как Нагель молчал, то она прибавила:

— Вы можете проводить меня домой, до самого дома, если желаете этого, и если вы не сделаете этой прогулки неприятной для нас обоих. Если хотите, то расскажите мне что-нибудь, я буду вам очень благодарна, я очень люблю слушать вас.

— Да, да,— воскликнул он громко и радостно, словно в нем проснулся вдруг другой человек, — ведь мне ничего больше не надо, только бы быть возле вас! Конечно, я буду... Ах, вы окатываете меня холодной водой, вы прямо замораживаете меня, когда сердитесь на меня...

Они долго говорили о разных пустяках. Они шли так медленно, что едва продвигались вперед.

— Как здесь пахнет! — сказал он. — Как ожили после дождя трава и цветы! Не знаю, интересуют ли вас вообще деревья? Это странно, но я чувствую какую-то таинственную связь между мною и каждым деревом в лесу, какое-то родство. У меня такое чувство, будто я когда-то составлял часть леса, когда я стою здесь и смотрю вокруг себя, то в душе моей встают смутные воспоминания и охватывают все мое существо. О, подождите минутку, послушайте! Слышите, как громко распевают птицы, приветствуя солнце. Они совсем ошалели и ничего не понимают, они чуть не налетают на нас!

И они пошли дальше.

— А в моем воображении все еще сохраняется представление, которое вы вызвали, о ладье с голубыми парусами в виде полумесяца,— сказала она. — Это так прекрасно! Когда небо такое высокое и глубокое, то мне самой начинает казаться, что я покачиваюсь там на лазоревых волнах и ужу серебряной удочкой.

Он был счастлив, что она еще не забыла того настроения, которое охватило его в Иванову ночь, на глазах у него навернулись слезы, и он ответил горячо:

— Да, да, вы точно созданы для того, чтобы сидеть в такой ладье!

Когда они дошли приблизительно до середины леса, она имела неосторожность спросить его:

— Сколько времени вы еще останетесь здесь?

Она сейчас же пожалела, что спросила его об этом, но когда она заметила, что он улыбнулся и не ответил прямо на ее вопрос, то успокоилась. В глубине души она была ему благодарна за тактичность, тем более, что он должен был заметить ее смущение.

— Ведь я остаюсь там, где вы,— сказал он. — Я останусь здесь до тех пор, пока у меня хватит денег,— прибавил он потом. — Но это будет не так долго.

Она посмотрела на него, улыбнулась и спросила:

— Это будет не очень долго? Но ведь вы богаты, насколько я слышала.

При этих словах на лице его появилось таинственное выражение, которое уже раньше появлялось у него, и он ответил:

— Я богат? Послушайте, в городе ходят сказки о том, что я богач, что у меня, между прочим, есть имение, оцениваемое очень высоко,— все это неправда, прошу вас, не верьте этому, это сказка. У меня нет имения, у меня есть небольшой клочок земли, да и тот принадлежит не мне одному, а также и моей сестре, кроме того, этот клочок почти совершенно обесценен долгами и разного рода обязательствами. Говорю вам истинную правду.

Она недоверчиво улыбнулась.

— Ну, конечно, ведь вы всегда говорите правду, когда дело касается вас самих,— заметила она.

— Вы не верите мне? Вы сомневаетесь в моих словах? Ну, так послушайте же, что я вам скажу, хотя это для меня унижительно: в первый же день, как я приехал сюда, я отправился пешком в соседний город, прошел пять миль и оттуда отправил на свое имя три телеграммы о крупной сумме денег и об имении в Финляндии. А потом я оставлял эти три телеграммы раскрытыми на столе в своей комнате в течение нескольких дней, чтобы каждый в гостинице мог прочитать их. Теперь вы верите мне? Разве мое богатство не обман?

— Если не предположить, что вы лжете снова на самого себя.

— Снова лгу? Вы ошибаетесь, фрекен. Клянусь всем святым для меня, я не лгу! Ну, вот!

Пауза.

— Но зачем же вы это сделали, зачем вы послали самому себе эти телеграммы?

— Да вот видите ли, это выйдет довольно длинная история, если рассказать вам все последовательно... А впрочем, коротко говоря, я это сделал для того, чтобы пустить людям пыль в глаза, чтобы произвести сенсацию в городе. Хе-хе-хе, говорю это совершенно откровенно.

— Теперь вы лжете!

— Клянусь, я не лгу!

Пауза.

— Станный вы человек! И чего вы добиваетесь, одному Богу известно. То вы идете со мной... ну, да, вы не останавливаетесь даже перед тем, чтобы делать мне самые страстные признания,— то вы начинаете лгать на себя; стоит мне несколькими словами призвать вас к благоразумию, как вы начинаете выставлять себя самым

отъявленным шарлатаном, лжецом, обманщиком. Не лучше ли вам избавить себя от напрасного труда? Как одно, так и другое производит на меня одинаково малое впечатление. Я слишком уравновешенный человек, вся эта гениальность выше моего понимания...

Она вдруг почувствовала себя оскорбленной.

— Именно теперь-то я не намеревался проявлять какую-нибудь особенную гениальность. Ведь для меня, во всяком случае, все потеряно — из-за чего же мне хлопотать?

— Но для чего же вы рассказываете мне о самом себе так много отвратительного при всяком удобном случае? — воскликнула она гневно.

Медленно, с полным самообладанием, он ответил:

— Для того, чтобы произвести на вас впечатление, фрекен.

Они снова остановились и пристально посмотрели друг на друга. Он продолжал:

— Я уже раньше имел удовольствие сказать вам кое-что о своем методе. Вы спрашиваете, почему я выбалтываю именно те из своих тайн, которые вредят мне и которые могли бы оставаться скрытыми? Я отвечаю: из политических видов, из расчета. Я думаю, что моя откровенность, может быть, все-таки произведет на вас некоторое впечатление, несмотря на то, что вы это отрицаете. Как бы то ни было, но я предполагаю, что мое полное равнодушие, с которым я выдаю самого себя, может вам внушить некоторое уважение ко мне. Может быть, я ошибаюсь в своих расчетах, я допускаю эту возможность, но уж с этим ничего не поделаешь. Если даже предположить, что я ошибаюсь, то ведь вы, во всяком случае, уже потеряны для меня, а следовательно, больше я уже не могу ничего потерять. Можно дойти и до такого вывода — это отчаяние, азарт. Я сам помогаю вам возводить обвинение на меня и поддерживаю вас по мере сил моих в решении отделаться от меня, оттолкнуть меня. Зачем я это делаю? Потому что в глубине души мне претит говорить что-нибудь в свою пользу и выгадывать какие-нибудь крохи таким жалким способом, у меня ни за что не хватило бы духу произнести хоть одно такое слово. Но — скажете вы — я стараюсь достичь хитростью и окольными путями того, чего другие достигают жалкой откровенностью. Ах... А впрочем, я не стану оправдываться. Называйте это шарлатанством. Почему бы и нет, это вполне подходящее слово, я сам прибавлю, что это самый грубый обман. Хорошо, итак, это шарлатанство, и я не хочу оправды-



ваться, вы правы, весь я — олицетворение шарлатанства. Но имейте ввиду только одно, что все люди в большей или меньшей степени подвержены шарлатанству, а в таком случае, не все ли равно, в какой форме проявляется шарлатанство — так или иначе, но шарлатанство всегда шарлатанство... Однако я чувствую, что оседлал своего конька, я охотно поездил бы на нем немного. Но нет, я воздержусь от этого. О, Боже мой, до чего мне все это опротивело! Я говорю себе: какое тебе дело до все этого? Пусть их!.. Точка... Ну, кому бы могло прийти, например, в голову, что в доме доктора Стенерсена не все обстоит благополучно. Но я и не утверждаю, что там что-нибудь неблагополучно, потому я спрашиваю, может ли это кому-нибудь прийти в голову относительно такой почтенной семьи. Семья эта состоит только из двух людей, мужа и жены, у них нет ни детей, ни забот, и все-таки, как знать, нет ли там еще третьего лица? Бог знает, может быть в конце концов окажется, что есть еще и третье лицо кроме мужа и жены, молодой человек, слишком преданный друг дома, поверенный Рейнерт. Что на это сказать? Виноваты, быть может, обе стороны. К тому же доктор может знать все, но он не имеет возможности бороться с этим. Как бы то ни было, но в эту ночь он очень много пил, и видно было, что ему опротивел весь свет, и он даже предложил истребить человечество при помощи синильной кислоты, бедняга!.. Но он едва ли единственный, увязающий по колено в обмане, если уже не говорить обо мне — Нагеле — погрузившемся в ложь по самый пояс. Вот возьмем хотя бы Минуту. Добрая душа, праведник, мученик! В нем нет ничего, кроме хорошего, но я за ним наблюдаю. Говорю вам, что он у меня на подозрении! Вы, кажется, поражены? Я испугал вас? Я этого не хотел. Но позвольте вас сейчас же успокоить тем, что Минуту никто не может совратить с пути истинного, это действительно праведник. Но почему же я не спускаю с него глаз, почему я наблюдаю за ним в два часа ночи из-за угла, когда он идет домой, возвращаясь с невинной прогулки — в два часа ночи! Почему я подсматриваю за ним и спереди, и сзади, когда он разносит свои мешки и кланяется встречным на улице? Без всякой причины, уверяю вас, без всякой причины! Он просто интересуется меня, я люблю его, и я счастлив в эту минуту, что могу представить его как светлого человека и праведника среди всей это лжи. Вот почему я и упомянул о нем, и вы, конечно, понимаете меня. Хе-хе-хе... Однако вернемся ко

мне!... Ах, нет, нет, я не хочу, не могу больше говорить о самом себе! Все, что угодно, только не это!

Последнее восклицание вырвалось у него так непосредственно и искренне, оно было проникнуто такой глубокой грустью, что ей стало жаль его. В это мгновение она поняла, что имеет дело с измученной, истерзанной душой. Но так как он сейчас же вслед за этим стал заглаживать произведенное на нее впечатление, громко расхохотался и клялся еще раз, что все на свете одно лишь шарлатанство, то ее теплое чувство к нему сразу прошло. Она сказала резко:

— Вы бросили несколько намеков в адрес фру Стенерсен, которые были бы достаточно низки, если бы даже были вдвое менее грубы. Что касается Минуты, то вы не пощадили даже и этого несчастного калеку и проявили по отношению к нему свои рыцарские чувства. С вашей стороны это так гадко, так низко!

Она пошла дальше, и он последовал за ней. Он ничего не ответил на ее последние слова, он шел, низко опустив голову. Плечи его раза два вздрогнули, и она заметила к своему изумлению, как две крупные слезы скатились по его лицу. Он отвернулся и стал насвистывать, передразнивая какую-то птичку, чтобы скрыть свое волнение.

Минуты две они шли, не произнося ни слова. Она была тронута и горько раскаивалась в своих резких словах.

Кто знает, может быть он даже и прав в своих словах? Разве она знает что-нибудь? Может быть, этот человек в течение нескольких недель увидел больше, чем она в течение нескольких лет?

Они продолжали идти в глубоком молчании. Он опять совершенно успокоился и равнодушно играл своим носовым платком. Через несколько минут они должны были дойти до усадьбы священника.

Вдруг она сказала:

— Вы очень повредили себе руку? Дайте посмотреть!

Хотела ли она его порадовать своим вниманием, или на мгновение действительно поддалась его влиянию, но она произнесла эти слова сердечным, слегка взволнованным голосом и при этом остановилась.

Но тут вся его страсть вдруг вспыхнула в нем и вырвалась наружу с неуправляемой силой. В это мгновение, когда она стояла близко к нему, наклонив голову над его рукой так, что он чувствовал аромат, исходивший от ее волос и шеи, когда никто из них не произносил ни слова, его любовь дошла до сумасшествия, до припадка безумия.

Он прижал ее к себе сперва одной рукой, а потом, когда она стала сопротивляться, также и другой; он страстно и долго прижимал ее к своей груди и приподнял даже от земли. Он чувствовал, как спина ее сгибается и она уступает его объятиям. С безотчетным блаженством покоилась она в его объятиях всей тяжестью своего тела и смотрела в его глаза затуманенным взором. Он говорил ей нежные слова, говорил, что она прекрасна, прекрасна, и что она до конца дней его останется его неизменной любовью. Один человек уже лишил себя жизни из-за нее, и он с радостью сделает то же самое по малейшему ее знаку, по единому слову. О, как он любит ее! И он продолжал повторять без конца, все крепче прижимая ее к себе:

— Я люблю тебя, люблю, люблю тебя!

Она не сопротивлялась ему больше, голова ее слегка склонилась на его левое плечо, и он осыпал ее жгучими и частыми поцелуями, прерывая их только самыми нежными словами. Он ясно чувствовал, что она сама прижимается к нему, а когда он целовал ее, она закрывала глаза.

— Приди ко мне завтра к дереву, ты помнишь это дерево, осину? Приди ко мне, я люблю тебя, Дагни! Ты придешь ко мне? Приди, когда хочешь, приди в семь часов.

Она ничего не ответила на это и только сказала:

— Теперь оставьте меня!

И медленно она высвободилась из его объятий.

С минуту она стояла, озираясь кругом. Лицо ее принимало все более и более растерянное выражение. Наконец губы ее стали судорожно подергиваться. Она дошла до камня, лежавшего у дороги, и опустилась на него. Она плакала.

Он наклонился над ней и стал тихо говорить. Это продолжалось минуты две. Вдруг она вскакивает со сжатыми кулаками и с побелевшим от гнева лицом, она прижимает руки к его груди и говорит вне себя от бешенства:

— Вы низкий человек, о, Боже, до чего вы низки! Но вы, конечно, этого не сознаете. Нет, как вы могли, как вы могли так поступить!

И она снова разрыдалась.

Он пытался успокоить ее, но тщетно. Полчаса простояли они у камня близ дороги, не двигаясь с места.

— Вы даже хотели, чтобы я пришла к вам на свидание,— сказала она, — но я не хочу больше встречать-

ся с вами, я не хочу больше никогда видеть вас — вы негодяй!

Он умолял простить его, упал перед нею на колени и целовал подол ее платья, но она только повторяла, что он негодяй и поступил с нею подло. Что он сделал с ней! Прочь, прочь! Пусть он не смеет идти за ней! Ни шагу дальше!

И она повернулась и пошла домой.

Несмотря на ее запрещение, он все-таки хотел последовать за ней, но она сделала повелительный жест рукой и сказала:

— Не смейте идти!

Он остановился и стал смотреть ей вслед, но когда она отошла от него шагов на двадцать, он сжал кулаки, бросился за ней, вопреки ее запрещению, и снова заставил ее остановиться.

— Я не сделаю вам ничего дурного, — сказал он, — но имейте же хоть сколько-нибудь сострадания ко мне! Вот я стою перед вами и готов умереть, чтобы только избавить вас от себя, — вам стоит сказать только одно слово. И это я вам повторю также завтра, если только увижу вас. Но вы можете оказать мне одну милость — быть ко мне справедливой. Вы должны понять, что я подчиняюсь силе, которая исходит от вас, и которой я не в состоянии противостоять. И ведь не на мне одном лежит ответственность за то, что я встретил вас на своем жизненном пути. Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось испытать тех страданий, которые я испытываю теперь!

И он повернулся и пошел.

В то время, как он шел по дороге, его широкие плечи то и дело вздрагивали на коротком туловище. Он никого не видел, никого не узнавал из встречавшихся с ним и остановился, только пройдя весь город и очутившись у дверей своей гостиницы.

## ГЛАВА XV

---

В течение следующих двух-трех дней Нагеля не было в городе. Он уехал куда-то на пароходе, и комната его в гостинице была заперта. Никто не знал, куда он отправился, он сел на пароход, направлявшийся на север, — может быть, он предпринял это путешествие для того, чтобы развеяться.

Он вернулся рано утром, когда город еще спал, он был бледен и казался утомленным. Однако он не пошел сейчас же в гостиницу, а некоторое время гулял взад и вперед по набережной, потом он пошел по совершенно новой дороге, которая направлялась во внутреннюю бухту, где только что начал подниматься дым из трубы паровой мельницы.

Он не уходил далеко и, по-видимому, бродил где попало только для того, чтобы как-нибудь убить часа два. Когда на рынке началось движение, он был уже там, он стал на углу у почтовой конторы и внимательно наблюдал за всеми проходящими и уходящими, а когда увидел зеленую юбку Марты Гуде, то подошел и поздоровался с ней.

Извините, может быть, она его не помнит? Его зовут Нагель, это он хотел купить кресло, старое кресло. Но, может быть, она уже продала его?

Нет, она его еще не продала.

Хорошо. И, по всей вероятности, к ней никто не приходил и не пытался повысить цены? К ней не являлся какой-нибудь любитель?

Да. Но...

— Что такое? Неужели? Приходил кто-нибудь? Что вы говорите! Дама? Ах, уж эти женщины! Всюду они суют свой нос! Так, значит, она пронюхала-таки об этой редкости и сейчас же решила во что бы то ни стало приобрести кресло. Ну, да кто не знает женских уловок! Но сколько она предлагала за него, до какой цены она дошла? Повторяю вам, что я ни за какие деньги не уступлю этого кресла! Нет, ни один черт не заставит уступить его!

Марта совсем растерялась от его горячности и поторопилась ответить:

— Да нет же, нет, кресло ваше, я отдаю вам его с удовольствием.

— В таком случае не разрешите ли вы мне зайти к вам около восьми часов, чтобы покончить с этим делом?

Да, конечно, он может прийти. Но не лучше ли будет, если она пришлет ему кресло в гостиницу? Так будет меньше хлопот...

Нет, нет, этого он не допустит ни в каком случае. С таким предметом надо обращаться осторожно и умеючи: по правде сказать, он не хотел бы даже, чтобы это кресло попадалось на глаза чужим людям. В восемь часов он пойдет к ней. Ах, да, не надо трогать этого кресла пыльной тряпкой, и мыть его тоже нельзя. Боже упаси! Чтобы на него не попадало ни капли воды!..

Нагель сейчас же отправился в гостиницу, бросился на кровать, не раздеваясь, и проспал крепким и глубоким сном до самого вечера.

Поужинав, он отправился на набережную к маленькому домику Марты Гуде. Было восемь часов. Он постучал в дверь и вошел.

Видно было, что комнату только что прибрали, пол был чисто вымыт и окна протерты. Марта надела даже на шею нитку бисера. Было ясно, что она его ждала.

Он поздоровался, сел и сейчас же начал переговоры. Однако Марта и теперь не сдавалась, напротив, она упорствовала больше прежнего и хотела во что бы то ни стало отдать ему кресло даром. Тогда он пришел в бешенство и пригрозил ей тем, что швырнет ей в лицо пятьсот крон и убежит вместе с креслом. Да, она вполне заслужила это! Никогда в жизни не встречал он такого безрассудства! И, стукнув кулаком по столу, он спросил, не потеряла ли она окончательно разума.

— Знаете что, — сказал он, пристально глядя на нее, — ваше упорство возбуждает во мне подозрение. Скажите откровенно: вы это кресло приобрели честным образом? Ведь мне приходится иметь дело со всевозможными людьми, и лишняя предосторожность никогда не мешает. Если это кресло попало к вам каким-нибудь сомнительным образом или по какому-нибудь недоразумению, то я не хочу его брать. А впрочем, прошу извинить меня, если я не так понял ваше упорство.

И он стал заклинять ее сказать ему всю правду.

Совершенно сбита с толку этим подозрением, испуганная и оскорбленная, она начала горячо оправдываться: это кресло привез ее дедушка, и с тех пор оно составляет собственность семьи в течение ста лет, он может быть уверен, она ничего не скрывает, что касается этого кресла. И при этом у нее на глазах выступили слезы.

— Хорошо, в таком случае надо положить конец всем этим бесконечным переговорам и баста! — И он вынул из кармана бумажник.

Она сделала шаг вперед, как бы желая остановить его, но он, не обращая на нее внимания, положил на стол две красные ассигнации и снова спрятал бумажник.

— Пожалуйста!

— В таком случае дайте мне только пятьдесят крон! — просила она.

И в своей беспомощности она при этих словах два провела рукой по его волосам, только чтобы как-нибудь

заставить его уступить. Она не отдавала себе отчета в том, что делает, и погладила его по волосам, прося его дать ей только пятьдесят крон. У этой странной девушки в глазах все еще стояли слезы.

Эта седовласая женщина, призреваемая благотворительным обществом, эта сорокалетняя девушка со жгучими черными глазами, напоминавшая вместе с тем монахиню всем своим существом, эта своеобразная и редкая красота заставила его на мгновение поколебаться. Он ласково похлопал ее по руке и сказал:

— Боже, какая вы милая!

Но он сейчас же выпустил ее руку и встал.

— Так я надеюсь, вы ничего не имеет против того, чтобы я взял кресло сейчас же с собой,— сказал он.

И он взял кресло в руки.

Видно было, что она уже не боялась его больше. Заметив, что он запачкал себе руки, дотронувшись до старого, покрытого пылью кресла, она сейчас же подала ему свой носовой платок, чтобы он вытер руки.

Деньги все еще лежали на столе.

— Кстати,— сказал он, — позвольте мне спросить, не лучше ли будет, если вы нашу маленькую коммерческую сделку сохраните по возможности в тайне? Ведь нет никакой необходимости в том, чтобы весь город знал о ней, не правда ли?

— Да,— сказала она задумчиво.

— На вашем месте я сейчас же спрятал бы деньги. А впрочем, сперва я занавесил бы окно чем-нибудь. Вот возьмите эту юбку!

— Но не будет ли слишком темно? — заметила она. Однако она все-таки взяла юбку и занавесила ею окно, он помогал ей при этом.

— Нам следовало бы это сделать с самого начала,— сказал он, — пожалуй, было бы нехорошо, если бы меня увидели здесь.

Но она ничего не ответила. Она взяла со стола деньги и протянула ему руку в знак благодарности. Губы ее шевелились, но она не была в состоянии произнести ни одного слова.

Не выпуская ее руки из своей, он вдруг говорит ей:

— Послушайте, разрешите мне предложить вам один вопрос. Я думаю, что вам очень тяжело пробиваться без помощи, без поддержки... а впрочем, может быть, вы получаете какое-нибудь пособие?

— Да.

— Простите мне, дорогая моя, что я расспрашиваю вас! Но вот что мне пришло в голову; если пронюхают, что у вас есть кое-какие деньги, то вас не только лишат пособия, но еще отберут ваши деньги — просто-напросто отберут. Вот почему необходимо скрыть от всех нашу сделку, понимаете ли вы теперь? Я только даю вам совет как практический человек. Не говорите никому о нашем маленьком деле... Кстати, я вспомнил, что мне следовало бы дать вам более мелкими бумажками, чтобы вам не приходилось менять.

Он ничего не забывает, все принимает в соображение. Он снова садится и начинает отсчитывать мелкие бумажки. Он считает кое-как и в конце концов дает ей все имеющиеся при нем мелкие бумажки, он берет наугад, свертывает все в кучу и кладет на стол.

— Ну вот, теперь спрячьте это! — говорит он.

Она отворачивается, расстегивает свой лиф и прячет деньги на груди.

Она уже покончила с этим, но он все еще не встает, он продолжает сидеть и говорит как бы случайно:

— Да, что я хотел сказать... Не знаете ли вы, может быть, Минуты?

Он заметил, что она ярко вспыхнула.

— Мне приходилось встречаться с ним несколько раз,— продолжал Нагель, — я его очень люблю, я уверен, что это верный и золотой человек. Я ему дал поручение достать мне скрипку и я уверен, что он это сделает, как вы думаете? А впрочем, вы его, вероятно, мало знаете?

— Нет, я его знаю.

— Ах, да, правда, ведь он говорил мне, что купил у вас несколько цветков для похорон Карльсена. Скажите, может быть, вы его даже хорошо знаете? Каково ваше мнение о нем? Как вы думаете, он выполнит мое поручение? Когда приходится иметь дело со столькими людьми, то нелишне иногда навести справки. Как-то раз я потерял значительную сумму денег только вследствие того, что слепо положился на одного человека, не справившись о нем предварительно,— это было в Гамбурге.

И, неизвестно из каких побуждений, Нагель рассказал историю с этим человеком, из-за которого он потерял деньги. Марта продолжала стоять перед ним, опираясь на стол. Вдруг она начинает волноваться и наконец говорит горячо:

— Нет, нет, не говорите о нем!

— О ком не говорить?



- Об Иоганнесе, о Минуте.
- Так Минуту зовут Иоганнесом?
- Да, его зовут Иоганнесом.
- В самом деле?
- Да.

Нагель молчит. Это простое открытие, что Минуту зовут Иоганнесом, дает неожиданный толчок его мыслям, даже меняет на мгновение выражение его лица. С минуту он сидит, не произнося ни слова, затем он спрашивает:

— Но почему вы называете его Иоганнесом? Не Грегордом и не Минутой?

Она опускает глаза и отвечает в смущении:

— Мы знаем друг друга с детства...

Пауза.

Тогда Нагель говорит полушутливо и в высшей степени равнодушно:

— Знаете, какое у меня получилось впечатление? Мне кажется, что Минута был сильно влюблен в вас. Да, уверяю вас, я это заметил сразу. И это не особенно удивляет меня, хотя должен сознаться, что нахожу Минуту в этом случае несколько смелым. Не правда ли? Во-первых, ведь он уже больше не юноша, а кроме того, он некоторым образом калека. Но, Боже ты мой, у женщин бывают такие странные причуды! Если на них найдет каприз, то они бросаются на шею кому угодно и отдаются с радостью, даже с восторгом. Хе-хе-хе, вот каковы женщины! В 1886 году я был свидетелем одного необыкновенного случая: одна моя знакомая молодая девушка вышла замуж за рассыльного своего отца. Никогда не забуду этого. Он был почти ребенком, ему было всего только шестнадцать-семнадцать лет, и у него не было даже и следа усов, но он был красив,— да, необыкновенно красив, надо отдать ему справедливость. И вот она бросается в объятия к этому свежему мальчику, к которому она воспылала безумной любовью, и уезжает с ним за границу. Полгода спустя она вернулась — от любви не осталось и следа. Да, не грустно ли это, но любовь исчезла бесследно! После этого она несколько месяцев проскучала до смерти, но она была замужем, и в этом отношении было все в порядке. Но что ей было делать? Она бьет кулаком по столу и ожесточается против всего света, пускается во все тяжкие. Она, что называется, начинает ходить по рукам среди студентов и приказчиков и кончает тем, что приобретает своего рода известность под прозвищем «La Glu». Жалко было смотреть на нее! Но она еще раз привела в изумление

свет. Позабавившись таким образом несколько лет, она в один прекрасный день начинает писать рассказы, она становится писательницей, и про нее говорят, что у нее большой талант. Она была необыкновенно любознательна, и за эти два-три года, которые она провела среди студентов и приказчиков, она созрела и научилась писать. С этого времени она стала писать превосходнейшие произведения. Хе-хе-хе! Да, это была черт знает что за женщина!.. Да, вот каковы женщины! Вы улыбаетесь, но вы не решаетесь отрицать этого. Какому-нибудь семнадцатилетнему рассыльному ничего не стоит свести вас с ума. Я уверен, что и Минуте не придется прожить свою жизнь в одиночестве, если он только приложит к этому хоть сколько-нибудь усилий, возьмется как следует за это. В нем есть нечто, производящее впечатление даже на мужчину. Да, он поражает меня: сердце у него чистое, как у младенца, и уста его не знают лжи. Не правда ли? Ведь вы хорошо знаете его и должны согласиться, что это именно так. Но что сказать о его дяде, торговце углем? Это старая лисица, и он представляется мне в очень нелестном свете. У меня такое впечатление, что, в сущности, все дела ведет Минута. И вот я спрашиваю себя, почему бы Минуте не иметь своего собственного дела? Одним словом: если это только понадобится, то Минута всегда способен обеспечить семью... Вы качаете головой?

— Нет, я не качаю головой.

— В таком случае, вы потеряли терпение, и вам надоела болтовня о человеке, до которого вам нет никакого дела,— и вы вполне правы... Послушайте, мне что-то пришло в голову,— но, пожалуйста, не рассердитесь на меня за это, мною руководит только участие к вам,— вы должны как можно крепче запира́ть дверь на ночь! Вы так испуганно посмотрели на меня. Дорогая моя, не бойтесь ничего и не относитесь ко мне с недоверием. Я только хотел сказать вам, что именно теперь, когда у вас есть немного денег, вы не должны никому слепо доверять. Правда, мне не приходилось слышать, чтобы в этом городе было беспокойно, но излишняя осторожность никогда не мешает. Около двух часов ночи становится так темно, и как раз около двух часов мне приходилось слышать подозрительный шум даже у себя под окнами. Да, да, надеюсь, вы не сердитесь за то, что я дал вам этот совет?.. Ну, до свиданья! Я очень рад, что в конце концов мне удалось-таки завладеть вашим креслом. До свиданья, дорогая!

И он пожал ей руку. В дверях он еще раз обернулся и сказал:

— Послушайте, я думаю, лучше всего будет, если вы скажете, что я вам дал пару крон за кресло. Но не больше, ни на один шиллинг больше, а то у вас отнимут деньги, не забывайте этого. Не правда ли, я могу положиться на вас?

— Да,— ответила она.

Он ушел, взяв с собой кресло. Он весь сиял, тихо посмеивался и даже громко расхохотался, словно ему только что удалась какая-нибудь ловкая проделка.

— Боже мой, как она теперь радуется! — сказал он в восхищении.— Хе-хе, от такого богатства она, наверное, всю ночь глаз не сомкнет!..

Дома у себя он застал Минуту, который сидел и ждал его.

Минута пришел с репетиции, и под мышкой у него была пачка афиш. Да, живые картины обещают быть очень удачными, они будут представлять сцены из истории, и их будут освещать очень эффектно. Он исполняет роль статиста.

— А когда начнется базар?

Открытие будет в четверг, девятого июля, в день рождения королевы. Но уже сегодня вечером Минута расклеит афиши везде, где только возможно, получено даже разрешение наклеить одно объявление на кладбищенских воротах... А он пришел с ответом относительно скрипки. Он никак не мог достать скрипки, единственная, на которой можно еще играть, принадлежит органисту, но он сам будет играть на ней на базаре, он сыграет несколько номеров.

— Ну, так с этим делать нечего.

Минута собирается уходить. Когда он стоит уже с фуражкой в руке, Нагель вдруг говорит:

— Но не выпить ли нам по стаканчику? Должен вам сказать, что я сегодня в прекраснейшем настроении духа, со мной случилось сегодня нечто очень приятное. Знаете, после больших усилий мне удалось завладеть наконец очень редкостным креслом, какого не найдется ни в одной коллекции во всей стране, я в этом уверен. Вот посмотрите! Вы понимаете что-нибудь в этом? Сумеете отличить жемчужину, единственную в своем роде? Я его не продам ни за какие сокровища в мире, клянусь! Вот я и хотел бы вспырнуть свое приобретение и выпить с вами стаканчик, если вы ничего не имеете против этого. Вы

разрешаете позвонить? Нет? Но ведь эти афиши вы можете расклеить завтра... Нет, до чего мне повезло сегодня! Я не могу забыть этого! Может быть, вы не знаете, что я до некоторой степени коллекционер? И здесь я остановился отчасти для того, чтобы поразноухать, не найдется ли где-нибудь редкостей. Может быть, я не рассказывал вам про свои коровьи колокольчики? Нет? Боже мой, в таком случае вы и понятия не имеете о том, что я за человек! Конечно, я агроном, но я интересуюсь также и другими предметами. Да, до сих пор я собрал двести шестьдесят семь коровьих колокольчиков. Эту коллекцию я начал составлять лет десять назад, и теперь, слава Богу, она достигла довольно внушительных размеров. А вы знаете, как мне досталось это кресло? Совершенно случайно, мне просто чертовски повезло! Иду я как-то по улице и прохожу мимо маленького домика у набережной, и по своей привычке я мимоходом заглядываю в окна. Но вдруг останавливаюсь, мой взгляд упал на кресло, и я сейчас же вижу, чего оно стоит. Я стучу и вхожу в дом, меня встречает пожилая седовласая дама, забыл, как ее зовут... Ну, да это все равно, а может быть, вы даже знаете ее? Кажется, ее зову Гуде, фрекен Гуде, да, да, Марта Гуде, или что-то в этом роде... Ну, хорошо, но она отказывается продать мне кресло, однако в конце концов мне удалось заставить ее согласиться, и вот сегодня я принес это кресло к себе. Но самое лучшее — это то, что оно досталось мне даром, она отдала мне его даром. Правда, я бросил на стол пару крон, чтобы она потом не пожалела, но ведь кресло-то стоит сотни. Однако прошу вас об этом никому не рассказывать; ведь никому не может быть приятно, чтобы о нем говорили дурно. Да мне и не в чем упрекнуть себя. Эта девушка ровно ничего не понимала в этом деле, а я, в качестве специалиста и покупателя, вовсе не считал своей обязанностью заботиться о ее выгоде. Не правда ли, нельзя быть дураком, надо пользоваться удобным случаем, в этом-то и состоит борьба за существование... Но неужели вы и теперь откажетесь выпить стакан вина, когда знаете, как мне повезло?

Но Минута настаивал на том, что ему надо идти.

— Как жалко, — продолжал Нагель. — А я так радовался возможности поболтать с вами. Вы здесь единственный человек, который интересуется меня, вы единственный, которого я считаю заслуживающим некоторого внимания. Хе-хе, заслуживающим внимания, да. Да к тому же ведь вас зовут Иоганнесом? Дорогой друг, ведь я это уже давно

знал, хотя мне это сказали только сегодня вечером... Да не пугайтесь же опять! Что за несчастье, что я постоянно внушаю людям страх. Да, да, не отрицайте этого, уверяю вас, вы посмотрели на меня с некоторым ужасом, не говоря уже о том, что вы даже вздрогнули...

Минута уже подошел к двери, у него, по-видимому, было желание поскорее покончить с этим разговором и уйти. Разговор действительно принимал все более и более неприятный оборот.

— Сегодня шестое июля? — спрашивает вдруг Нагель.

— Да, — отвечает Минута, — сегодня шестое июля. — И с этими словами он берется за ручку двери.

Нагель медленно приближается к нему, подходит вплотную, пристально смотрит ему в глаза и в то же время закладывает руки за спину. И, стоя в этой позе, он произносит шепотом:

— А где вы были шестого июня?

Минута ничего не ответил, не произнес ни слова. Охваченный ужасом перед этим пронизывающим взглядом и таинственным шепотом, совершенно сбитый с толку странным вопросом относительно дня и числа месяц тому назад, он распахивает дверь и выбегает на лестницу. На площадке он на мгновение останавливается, кружится на месте и не знает, куда идти, а Нагель в это время стоит в дверях и кричит ему вслед:

— Нет, нет, это безумие! Прошу вас, забудьте это! Я объясню вам все в другой раз!..

Но Минута ничего не слышал. Он сбежал вниз прежде, чем Нагель успел заговорить, и, не глядя ни налево, ни направо, он выбежал на улицу и заковылял по направлению к рынку, к большому водоему, где и свернул в первую попавшуюся улицу.

Час спустя — было десять часов — Нагель закурил сигару и вышел на улицу. Город еще не спал. По дороге к усадьбе священника ходило множество гуляющих, на улицах раздавались веселые голоса и хохот играющих детей. Мужчины и женщины сидели у дверей своих домов и тихо разговаривали, наслаждаясь мягким вечером, время от времени они дружески перекликались со своими соседями через улицу.

Нагель пошел по направлению к пристани. Он увидел Минуту, который расклеивал афиши на стенах почтовой конторы, банка, школы и тюрьмы. Как он это делал старательно и добросовестно! И как охотно он занялся этим, не жалея времени, хотя ему давно было пора идти

на покой! Нагель прошел мимо него и поклонился, но не остановился.

Он дошел уже почти до пристани, когда кто-то окликнул его сзади. Его остановила Марта Гуде, которая сказала, едва переводя дух от быстрой ходьбы:

— Извините! Но вы мне дали слишком много денег.

— Добрый вечер! — ответил он. — И вы также вышли прогуляться?

— Нет, я была в городе и ждала вас около гостиницы, вы дали мне слишком много денег.

— Неужели мы снова начнем эту старую комедию?

— Но вы ошиблись! — воскликнула она в полном отчаянии. — Вы дали мне мелкими бумажками более двухсот крон!

— Ну так что же! Так я действительно ошибся на несколько крон? Ну, хорошо, вы можете возвратить мне их.

Она начала расстегивать свой лиф, но вдруг оглянулась и остановилась, не зная, что ей делать. Она стала извиняться: здесь так много народу, пожалуй, неудобно вынимать деньги на улице, они у нее спрятаны так хорошо...

— Нет, нет, — поторопился он ответить, — ведь я могу зайти за ними, позвольте мне зайти к вам.

И они пошли вместе к домику Марты. По дороге они встретили нескольких гуляющих, которые с удивлением смотрели на них.

Войдя в комнату Марты, Нагель сел у окна, где он уже раньше сидел. Окно все еще было занавешено той же юбкой. В то время, как Марта вынимала деньги из-за лифа, он ничего не говорил; только когда она протянула ему несколько мелких бумажек, несколько грязных и полинялых ассигнаций по десять крон, которые еще сохраняли теплоту ее тела и которые ее честность не позволила ей оставить у себя хотя бы еще на одну ночь, — он заговорил с ней и стал просить ее оставить деньги у себя.

Но тут в душе ее, по-видимому, снова проснулись подозрения относительно его намерений, она недоверчиво посмотрела на него и сказала:

— Нет... Я не понимаю вас...

Он резким движением поднялся со стула.

— Но зато я слишком хорошо понимаю вас, — ответил он, — а потому я встаю и ухожу. Теперь вы успокоились?

— Да... Нет, вы не должны стоять у дверей.

И она протянула даже обе руки, чтобы помешать ему уйти. Эта странная девушка слишком боялась кого-нибудь обидеть.

— У меня есть к вам одна просьба,— заговорил Нагель, но он все-таки не сел.— Если бы вы только захотели, то вы могли бы доставить мне большое удовольствие... и я отблагодарил бы вас за это так или иначе. Я хотел попросить вас прийти в четверг вечером на базар. Хотите сделать мне приятное? Это вас развлечет, там будет много народу, много света, музыка, живые картины. Ах, пожалуйста, придите, вы не раскаетесь в этом! Вы смеетесь? Почему вы смеетесь? Но, Боже мой, какие у вас белые зубы!

— Да разве я могу куда-нибудь пойти? — ответила она.— Как вы могли подумать, что я куда-нибудь могу пойти? И зачем мне туда идти, зачем вы хотите, чтобы я туда пошла?

Он объяснил ей все честно и откровенно: это просто причуда с его стороны, и он уже давно думал об этом, недели две тому назад, но потом он забыл и только теперь снова вспомнил. Она должна прийти, она должна быть также там, он хочет во что бы то ни стало видеть ее там. Если она пожелает, то он даже и разговаривать с ней не будет, так что ей нечего бояться, что он будет надоедать ей,— он вовсе не хочет этого. Но ему доставило бы удовольствие хоть раз видеть ее вместе с другими людьми, слышать ее смех, видеть ее совсем молодой. Она должна непременно прийти, пожалуйста!

Он посмотрел на нее. Какой резкий контраст представляли ее серебристые волосы с ее черными глазами! Она нервно перебирала одной рукой пуговицы на лифе, и эта слабая рука с длинными пальцами была слегка серовата, может быть, она была даже и не совсем чиста, но она производила какое-то необыкновенно целомудренное впечатление. На кисти резко выделялись две грубые жилки.

Да, сказала она, может быть, ей было бы и весело. Но у нее нет даже платья, ей нечего надеть на такой вечер...

Он прервал ее: ведь до базара остается еще три дня, до четверга можно успеть приготовить все необходимое. Времени еще довольно! Итак, решено?

И мало-помалу она сдалась.

Нельзя так хоронить себя, уверял он ее, от этого только проигрываешь. А кроме того, с ее глазами, с ее зубами... Нет, это прямо грешно! А эта мелочь, что лежит на столе, пусть пойдет на платье... Да, да, и нечего больше об этом

говорить! Тем более, что это его идея, а она согласится на это против своей воли.

Он простился с ней по обыкновению коротко и спокойно, не дав ей ни малейшего повода к каким-нибудь подозрениям. Но в сенях, куда она вышла его проводить, она сама протянула ему еще раз руку и поблагодарила за то, что он пригласил ее на базар. Она так давно уже нигде не бывала, для нее это так непривычно. Но она, конечно, будет держать себя как следует...

Этот большой ребенок обещал вести себя как следует, хотя никто не просил его об этом.

## ГЛАВА XVI

---

Настал четверг. Шел дождь, но открытие базара все-таки состоялось под звуки музыки и при большом стечении публики. Весь город собрался там, и даже из деревни приехали желающие принять участие в этом редком празднестве.

Когда около девяти часов Нагель вошел в залу, то она была уже совершенно переполнена. Найдя себе свободное место в конце залы, у дверей, Нагель несколько минут стоял и слушал чью-то речь. Он был очень бледен, на нем был его обычный гороховый костюм, но повязка с руки была снята, раны на его руке почти уже совершенно зажили.

У эстрады он увидал доктора Стенерсена с женой, тут же направо от них стоял и Минута с несколькими другими участвующими в живых картинах, только Дагни не было между ними.

Жара, стоявшая в зале от множества свечей и массы народа, заставила Нагеля уйти оттуда. В дверях он столкнулся с поверенным Рейнертом, которому поклонился, но тот ответил ему едва заметным кивком. Нагель остался стоять в коридоре.

Тут он увидал нечто, долго занимавшее потом его мысли и возбуждавшее его любопытство: налево от него открыта дверь в боковую комнату, предназначенную для хранения верхнего платья публики, и при свете лампы он ясно видит Дагни Кьелланд, которая стоит там и возится у его пальто, висящего на его вешалке. Ошибиться он не мог. Во всем городе не было больше такого ярко-горохового пальто, это было несомненно его пальто, а кроме того, он хорошо помнил, что повесил его именно там. По-видимому,



она искала что-то и при этом беспрестанно проводила руками по его пальто. Он сейчас же отвернулся, чтобы не застать ее врасплох и не смутить.

Это маленькое происшествие взволновало его. Что она искала и для чего она ощупывала его пальто? Это все время занимало его мысли, и он не мог этого забыть. Бог знает, может быть, она хотела осмотреть его карманы и убедиться, нет ли при нем огнестрельного оружия — может быть, она считала его способным на все. А что, если она сунула ему в карман письмо? У него в голове действительно пронеслась эта радостная мысль. Нет, нет, она просто искала свое пальто, все это случайное совпадение, как ему могли прийти в голову такие несбыточные фантазии!.. Однако, немного спустя после того, как он увидел, что Дагни пробирается в залу, он прошел в переднюю и с сильно бьющимся сердцем осмотрел карманы своего пальто. Письма в них не оказалось, он не нашел ничего, кроме своих перчаток и носового платка.

В зале раздался гром аплодисментов. Речь бургомистра, которую он произнес по случаю открытия базара, была окончена. Публика широким потоком устремилась в коридоры и боковые комнаты и вообще туда, где было попрохладнее; все сели вдоль стены и пили прохладительные напитки. Одетые кельнершами, в белых передниках и с салфетками под мышкой, несколько молодых девушек из городского общества хлопотливо ходили среди публики и разносили подносы и стаканы.

Нагель стал искать Дагни: ее нигде не было видно. Он поздоровался с фрекен Андресен, которая тоже была одета кельнершей, попросил вина, и она принесла ему шампанского.

Он с удивлением посмотрел на нее.

— Но ведь вы ничего другого не пьете,— сказала она с улыбкой.

Это несколько ядовитое внимание все-таки оживило его. Он попросил ее выпить с ним вместе стакан вина, и она сейчас же села к нему за столик, хотя у нее было много дел. Он поблагодарил ее за любезность, сделал ей комплимент по поводу ее туалета и пришел в восхищение от старинной броши, которая была приколоты у нее к вороту. Она была очень интересна в этот вечер, ее продолговатое аристократическое лицо с крупным носом производило очень изящное впечатление, хотя и несколько болезненное, и при этом ее лицо отличалось неподвижно-

стью, и на нем не отражалось никаких нервных ощущений. Она говорила с большим самообладанием и выдержкой, вообще ее общество производило необыкновенно приятное и успокаивающее впечатление, это была дама из общества — женщина.

Когда она поднялась, он сказал:

— Сегодня вечером здесь должна быть одна особа, которой я очень хотел бы оказать маленькое внимание,— это фрекен Гуде, Марта Гуде, не знаю, знакомы ли вы с ней? Мне говорили, что она уже пришла. Вы себе представить не можете, как мне хотелось бы порадовать ее чем-нибудь,— она так одинока. Минута рассказывал мне кое-что о ней. Не разрешите ли вы мне, фрекен, попросить ее сюда к нам? Конечно, только в том случае, если вы ничего против этого не имеете!

— Ах, нет, напротив! — ответила фрекен Андресен, — и я с удовольствием сама приведу ее, я знаю, где она сидит.

— Но вы сами тоже вернетесь?

— Да, благодарю вас!

В то время, как Нагель сидел и ждал, в комнату вошли поверенный Рейнерт, адъютант и Дагни. Нагель встал и поклонился. Дагни была бледна, несмотря на жару, на ней было желтоватое платье с короткими рукавами, а на шее — золотая цепочка. Несколько тяжеловатая, эта цепочка очень не шла ей. Она на минуту остановилась в дверях, одну руку она держала за спиной и перебирала пальцами свою косу.

Нагель подошел к ней. Он в страстных выражениях стал просить ее простить ему его поведение в пятницу; это было в последний раз, больше он никогда ни в чем не провинится. Больше у нее уже никогда не будет повода прощать ему что-нибудь. Он говорил тихо, сказал, что надо было сказать, и замолчал.

Она выслушала его, даже посмотрела на него, а когда он кончил, то сказала:

— Я уже почти совсем и забыла то, о чем вы говорите, да, я забыла это, я *хочу* забыть это.

Сказав это, она отошла от него. Уходя, она бросила на него совершенно равнодушный взгляд.

Кругом стоял гул голосов, раздавался звон чашек и стаканов, хлопанье пробок, смех, восклицания, а из залы доносились звуки городского духового оркестра, который играл необыкновенно скверно...

Вскоре фрекен Андресен вернулась вместе с Мартой, с ними пришел также и Минута, они уселись все за столик Нагеля, где и просидели с четверть часа. Фрекен Андресен вставала время от времени и подавала гостям кофе. В конце концов она совсем ушла, так как у нее было слишком много дел. Между тем исполнение программы шло своим чередом: квартет пропел что-то, студент Эйен продекламировал громким голосом свое собственное стихотворение, две дамы исполнили что-то на рояле, и органист сыграл свое первое соло на скрипке. Дагни все еще сидела в обществе своих двух кавалеров. Наконец позвали и Минуту, его попросили помогать, он должен был доставать стаканы, чашки, бутерброды — оказалось, что всего было заготовлено слишком мало на такую массу народа.

Когда Нагель остался один с Мартой, то она также встала и хотела уйти. Она не могла сидеть с ним одна, она уже заметила, что поверенный сделал какое-то замечание на их счет, и что фрекен Кьелланд засмеялась. Нет, лучше ей уйти.

Но Нагелю удалось уговорить ее выпить еще хоть один маленький стаканчик. Марта была одета вся в черном, ее новое платье хорошо сидело, но оно не шло ей, оно старило эту девушку с оригинальной наружностью и слишком резко выделяло ее седые волосы. Но глаза ее сверкали, а когда она смеялась, ее лицо оживлялось и казалось совсем молодым.

Он сказал:

— Что же, вы веселитесь? Вы хорошо чувствуете себя сегодня?

— Да, благодарю вас, — ответила она, — мне очень хорошо.

Он все время занимал ее, стараясь принаравливаться к ней, рассказал ей даже какую-то историю, над которой она очень смеялась. Он рассказал ей, как сделался обладателем одного из самых дорогих коровьих колокольчиков своей коллекции. Это сокровище, старинная вещь, которой нет цены! На колокольчике выгравировано имя коровы, ее звали Эйстейн, но это был, наверное, бык...

Тут она начала хохотать. Она забыла, где она, и только качала головой и хохотала, как дитя, над этой жалкой остротой. Она вся сияла от счастья.

— Подумайте, — сказал он. — Мне кажется, что Минута ревнует вас.

— Ах, нет, — ответила она нерешительно.

— Так мне показалось. А впрочем, я предпочитаю сидеть с вами вдвоем. Это такое наслаждение — слушать, как вы смеетесь.

Она ничего не ответила и опустила глаза.

Они продолжали разговаривать. Он все время сидел так, что ему был виден стол, за которым сидела Дагни.

Прошло еще несколько минут. Фрекен Андресен опять подошла к ней, сказала несколько слов, отпила несколько глотков из своего стакана и ушла.

Вдруг Дагни встала со своего места и подошла к столику Нагеля.

— Как вы веселитесь здесь! — сказала она, и при этом ее голос слегка дрожал. — Здравствуйте, Марта! Над чем вы тут смеетесь?

— Мы веселимся как умеем, — ответил Нагель. — Я болтаю всякий вздор, а фрекен Гуде так снисходительна ко мне, что даже смеется... Не могу ли я предложить вам стакан вина?

Дагни села.

В эту минуту из зала донесся гром рукоплесканий, и это дало повод Марте встать и посмотреть, что там делается. Она отходила все дальше и дальше и наконец крикнула, обернувшись назад:

— Там фокусник, это я хочу видеть! — И ушла.

Пауза.

— Вы покинули ваших кавалеров, — сказал Нагель и хотел еще что-то прибавить, но она прервала его:

— А ваша дама покинула вас.

— Да, но она вернется. Не правда ли, какая своеобразная наружность у фрекен Гуде? Сегодня она веселится, как дитя.

На это Дагни ничего не ответила, она спросила:

— Вы уезжали куда-нибудь?

— Да.

Пауза.

— Вы действительно находите, что здесь так весело сегодня вечером?

— Я? Я даже понятия не имею о том, что здесь происходит, — ответил он. — Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы веселиться.

— А для чего же вы пришли сюда?

— Конечно, для того, чтобы увидеть вас, на расстоянии, конечно, молча...

— Вот как. И для этого вы привели с собой даму?

Он не понял ее слов. Он смотрел на нее и обдумывал то, что она сказала.

— Вы намекаете на фрекен Гуде? Право, не знаю, что вам ответить на это. Мне так много говорили про нее,— она из года в год сидит у себя дома одна, и жизнь ее проходит беспросветно, без единой маленькой радости. Я не приводил ее сюда с собой, я только хотел ее занять немножко, чтобы она не скучала. Вот и все. Фрекен Андресен привела ее к этому столику. Боже, как печальна жизнь этой женщины! Недаром она поседела...

— Надеюсь, вы не думаете... вы не воображаете себе, что я ревную вас? Если это так, то вы ошибаетесь! Да, я хорошо помню ваш рассказ об одном сумасшедшем человеке, который катался в двадцати четырех колясках, человек этот з-зайкался, как вы говорили, и он влюбился в девушку, которую звали Кларой. О, да, я хорошо помню все это. А так как Клара не хотела иметь ничего общего с этим человеком, то она не пожелала также, чтобы он достался ее горбатой сестре. Я не знаю, для чего вы мне это рассказывали, но вам это лучше знать, а мне это все равно. Но заставить меня ревновать вас — это вам не удастся, если вы только этого добиваетесь. Нет, это не удастся ни вам, ни вашему з-зайке.

— Но Боже мой,— сказал он, — вы, конечно, это говорите не серьезно.

Пауза.

— Нет, я говорю это совершенно серьезно,— ответила она.

— Неужели вы думаете, что я поступал бы так, если бы захотел вызвать в вас ревность? Прийти сюда с сорокалетней дамой, бросить ее сейчас же, как только явились вы... Нет, это было бы слишком глупо с моей стороны.

— Не знаю, было ли бы это умно или глупо с вашей стороны, я знаю только, что вы поступили со мной предательски и заставили меня пережить самые мучительные минуты в моей жизни — я даже перестала понимать себя. Не знаю, глупы ли вы, я не знаю даже, в полном ли вы уме, но я вовсе и не задумываюсь над этим, для меня совершенно безразлично, кто вы и что вы.

— Да, конечно, так это и есть,— сказал он.

— Да и почему бы это могло быть не безразлично для меня? — продолжала она, раздраженная его уступчивостью. — Какое мне дело до вас? Вы поступили неблагородно по отношению ко мне — еще за это интересоваться вами?

В довершение всего вы мне еще рассказываете историю, полную странных намеков, я уверена, что вы рассказали мне о Кларе и ее сестре не без задней мысли. И зачем вы преследуете меня? Я говорю не о данной минуте, теперь я сама подошла к вам, но вообще, почему вы не оставляете меня в покое? И вот теперь то обстоятельство, что я остановилась здесь на минуту и говорю с вами, вы, конечно, объясняете тем, что я не могла удержаться от этого, что для меня это так важно...

— Дорогая фрекен, поверьте, я ровно ничего не воображаю.

— Нет? Но что послужит доказательством того, что вы говорите правду? Я вовсе не уверена в этом. Я сомневаюсь в вас, я подозреваю вас, не верю вам, одним словом, я не знаю даже, кто вы такой. Очень возможно, что я теперь несправедлива к вам, но хоть один раз можно и мне быть злой. Я так устала от всех ваших намеков и преследований.

Он молчал и только медленно вертел свой стакан на столе. Только когда она еще раз повторила, что не верит ему, он ответил:

— Да, я это заслужил.

— Вы правы, — продолжала она, — и я верю вам очень мало. У меня даже зародилось подозрение относительно ваших плеч, я думала, что у вас в плечах подложена вата. Сознаюсь откровенно, что я недавно была в той комнате, где хранится платье, и осмотрела ваше пальто, не подложено ли у вас чего-нибудь в плечах. И хотя оказалось, что я на этот раз ошиблась, и что плечи у вас неподдельные, это все-таки не уничтожило моего недоверия, и с этим я ничего не могу поделать. Например, я уверена, что вы не погнушались бы каким угодно средством, чтобы казаться на несколько дюймов выше, ведь вы такого низкого роста. Я уверена, что вы прибегли бы к этому средству, если бы оно только существовало. Боже мой, но можно ли не питать к вам недоверия? Кто вы такой, в сущности? И для чего вы приехали сюда в город? Вы даже живете не под своим собственным именем, ведь ваше настоящее имя Симонсен, просто Симонсен и больше ничего! Это я узнала из гостиницы. Говорят, что к вам приезжала дама, которая была знакома с вами раньше и назвала вас Симонсен, прежде чем вы успели помешать этому. Боже, как это смешно и как это гадко вместе с тем! По городу ходят слухи также относительно того, что вы развлекаетесь, давая маленьким мальчикам курить сигары, и устраиваете на улицах один скандал за другим.

Говорят, между прочим, что, встретив однажды на рынке служанку, вы потребовали от нее чего-то, да, потребовали в присутствии нескольких свидетелей. И, несмотря на все это, вы находите вполне естественным делать мне объяснения и постоянно становиться мне поперек дороги... Вот это-то больше всего и мучит меня, мучит невыразимо, что вы осмелились...

Она остановилась. Судорожное подергивание губ выдало ее волнение, она говорила горячо и искренне, она говорила то, что думала, и не давала ему никакой пощады. Наступило короткое молчание. Наконец он сказал:

— Да, вы правы. Я причинил вам много страданий... Вполне понятно, что если изо дня в день целый месяц следить за человеком, придавать значение каждому его слову и подмечать каждый его поступок, то в конце концов и найдешь что-нибудь дурное, к чему можно придаться. Можно даже отнестись не совсем справедливо к этому человеку, но это пустяки, я не отрицаю этого. Город этот невелик, я несколько бросаюсь в глаза, за мной следят и подсматривают за каждым моим движением — этого не избежишь. Да я и не совсем такой, каким должен был бы быть.

— Боже мой! — сказала она резко и коротко, — конечно, только потому, что этот город так мал, вас и замечают, это так понятно. В большом городе вы были бы далеко не единственным человеком, привлекающим к себе внимание.

Это холодное и необыкновенно верное замечание вызвало в первую минуту его искреннее восхищение. Он хотел даже высказать ей это в нескольких любезных словах, но потом одумался. Она была слишком возбуждена, слишком недружелюбно настроена против него и слишком низкого мнения о нем. Это обидело его немного. Кем же он был, собственно, в ее глазах? Самым обыкновенным чужим человеком в маленьком городке, человеком, который обратил на себя внимание только тем, что он здесь чужой и ходит в гороховом костюме. Он сказал с некоторой горечью:

— Не говорят ли также, что я однажды написал неприличные стихи на одном надгробном камне — на надгробном камне Мины Меек? Не подсмотрел ли кто-нибудь и этого? А между тем это правда, да, я это сделал. Правда также и то, что я заходил в здешнюю аптеку, в аптеку этого городка, и попросил лекарства от дурной болезни, но мне не дали ничего, так как название

лекарства я написал на простой бумажке, а там требовали настоящего докторского рецепта. Кстати, пока не забыл: не рассказывал ли вам Минута, что я хотел подкупить его двумястами крон с тем, чтобы он назвался отцом моего ребенка? Это тоже истинная правда, Минута может это подтвердить. Да, да, я мог бы привести еще много фактов...

— Нет, это лишнее, и этого достаточно,— ответила она зло.

И с холодным, жестоким выражением в глазах она напомнила ему о подложных телеграммах, о мнимом богатстве, о футляре для скрипки, который он всюду возил с собой, хотя у него не было скрипки, и он даже не умел играть,— она напомнила ему о всех тех случаях, когда он обманывал, и не забыла даже медаль за спасение, которую он, по его собственным словам, приобрел не совсем-то честным образом. Она помнила все и не щадила его, в это мгновение каждая мелочь получила в ее глазах особенное значение, и она дала ему понять, что действительно верит во все некрасивые выходы, тогда как прежде думала, что он только клеветает на себя. Да, конечно, он — двусмысленная и чрезвычайно дерзкая личность!

— И, несмотря на все это,— прибавила она, — вы все-таки стараетесь как-нибудь застигнуть меня врасплох и привести меня в смущение, вызвать на безумие, в вас нет ни стыда ни совести, и вы заняты только самим собой, вы только и делаете, что объясняетесь да объясняетесь...

В это мгновение ее прервал доктор Стенерсен, который пришел из залы и был, по-видимому, чем-то очень занят. Он был одним из распорядителей на базаре, и у него было много хлопот.

— Здравствуйте, господин Нагель! — сказал он. — Спасибо за тот вечер — это было нечто дикое... Но послушайте, фрекен Кьелланд, не опоздайте, ведь нам сейчас придется ставить живые картины.

И доктор снова исчез.

В зале опять заиграла музыка, и в публике произошло движение. Дагни наклонилась вперед и заглянула в дверь, потом повернулась к Нагелю и сказала:

— Вот Марта возвращается.

Пауза.

— Вы не слышали, что я сказала?

— Да,— ответил он рассеянно.

Он не поднял головы и продолжал вертеть в руках полный стакан, ни разу не отпив из него. Голова его все ниже и ниже склонялась над столом.



— Ш-ш! — сказала она насмешливо, — вот снова заиграли. Не правда ли, когда слышишь такую музыку, то хочется сидеть где-нибудь в отдалении, в соседней комнате, держа в своей руке руку возлюбленной, — так, если я не ошибаюсь, вы когда-то сказали? Мне кажется, что это тот же самый вальс Ланнера, и когда Марта придет...

Но тут ее охватило вдруг раскаяние, и она пожалела о своих злых словах. Она вдруг замолкла, в глазах ее появился мягкий блеск, и она нервным движением подвинулась на своем стуле. Он продолжал сидеть перед ней с опущенной головой, и она видела только, как грудь его неровно и высоко поднималась. Она встала, взяла свой стакан и хотела уже что-нибудь сказать, несколько ласковых слов, чтобы сгладить неприятное впечатление. Она заговорила:

— Нет, теперь мне надо идти.

Он бросил на нее быстрый взгляд, встал и тоже взял свой стакан. Они оба выпили в глубоком молчании. Он делал над собой усилие, чтобы удержать дрожание руки, она видела также, как он боролся с собой, чтобы придать своему лицу спокойное выражение. И вдруг этот человек, которого она только что считала совершенно уничтоженным, убитым ее иронией, говорит очень вежливо и совершенно равнодушно:

— Ах, да, фрекен, не будете ли вы так любезны... ведь я вас, вероятно, не увижу больше... не будете ли вы так добры при случае, когда будете писать вашему жениху, напомнить ему о двух рубашках, которые он когда-то обещал Минуте, года два назад. Прошу меня извинить, что я вмешиваюсь в это дело, которое меня не касается, но ведь я это делаю только ради Минуты. Надеюсь, вы простите мне мою смелость. Напишите ему только, что дело идет о двух шерстяных фуфайках, а уж он вспомнит.

В первое мгновение она совершенно остолбенела от изумления, она стояла с раскрытым ртом и смотрела на него, не находя слов, даже забыла поставить стакан на стол. Это продолжалось целую минуту. Но потом она снова овладела собой, бросила на него взгляд, полный ярости и глубокого возмущения, и ее глаза дали уничтожающий ответ. Она повернулась к Нагелю спиной и сейчас же ушла. Уже дойдя до двери, она бросила свой стакан на последний столик. Она исчезла в зале.

Нагель сел. Плечи его снова начали вздрагивать, и он несколько раз хватался за голову. Он сидел, низко опустив

голову. Когда Марта подошла к нему, он вскочил, и лицо его осветилось благодарным взглядом. Он подал ей стул.

— Какая вы добрая, какая вы добрая! — сказал он. — Сядьте здесь, я буду к вам внимателен и буду вам рассказывать без конца, если вы только хотите. Вот увидите, как я буду развлекать вас, если вы только сядете здесь. Дорогая, садитесь же! Но если вам захочется, то вы уйдете, только позвольте мне пойти вместе с вами. Я никогда не причиню вам никакого огорчения, никогда! А теперь вы выпьете маленький стаканчик вина, не правда ли? А я расскажу вам нечто очень веселое, чтобы вы опять рассмеялись. Я так рад, что вы опять вернулись ко мне. Боже, что за наслаждение слышать, как вы смеетесь, — ведь вы всегда так серьезны! В зале, вероятно, было не особенно весело, не правда ли? Мы лучше посидим здесь некоторое время, к тому же там так жарко. Садитесь же!

Марта колебалась, но в конце концов села.

И Нагель начинает говорить, рассказывает целый ряд смешных анекдотов и разных приключений, болтает без удержу о том и о сем, лихорадочно, с неестественным оживлением, под страхом, что она уйдет, как только он перестанет говорить. Он постоянно меняется в лице, путается и хватается беспомощно за голову, чтобы снова собраться с мыслями. Марта находит, что он очень забавен, и хохочет в невинности души. Она не скучает, ее старое сердце наполняется радостью, и она даже сама увлекается разговором. До чего она была наивна, и какое у нее было горячее сердце! Когда он сказал, что жизнь так невыразимо жалка, не правда ли? — то она ответила: «Выпьем за жизнь!» И это сказала женщина, которая едва перебивалась, продавая яйца на рынке. Она сказала, что жизнь вовсе не так дурна, что часто она бывает даже прекрасна.

— Часто жизнь бывает прекрасна! — сказала она.

— Да, вы правы, — ответил он ей. — А теперь пойдемте посмотрим живые картины! Станем здесь в дверях, тогда мы сможем снова сесть, когда вы заходите. Вам видно что-нибудь с вашего места? А то, хотите, я возьму вас на руки?

Она засмеялась и отрицательно покачала головой.

Едва он увидал на эстраде Дагни, как веселость его исчезла, в глазах его появилось застывшее выражение, и он уже не видел больше никого, кроме нее. Он следил за тем, куда он смотрела, мерил ее взглядом с головы до ног, наблюдал за выражением ее лица и заметил даже,

что роза на ее груди равномерно поднималась и опускалась, поднималась и опускалась. Она стояла последней в группе участвующих на сцене, и ее легко было узнать, несмотря на то, что она была в костюме. Фрекен Андресен сидела в центре группы — она изображала королеву. Вся картина представляла собой нечто вроде ребуса и была освещена красным светом; эта живая картина доставила много трудов доктору Стенерсену.

- Как это красиво! — шепнула Марта.
- Да... Что красиво? — спросил он.
- Картина... Вы разве не видите? Но куда вы смотрите?
- Да, это очень красиво.

Чтобы не возбудить в ней подозрения и не дать ей заметить, что он смотрит только в одну точку, он принялся расспрашивать ее обо всех участвующих в картине, но едва ли слышал то, что она ему отвечала. Они смотрели до тех пор, пока красный свет не стал потухать и занавес опустился.

С небольшими промежутками в несколько минут последовали одна за другой все пять живых картин. Было уже двенадцать часов, Марта и Нагель продолжали стоять в дверях и смотрели на последние картины. Когда занавес опустился и снова заиграла музыка, то они опять сели за столик и стали разговаривать. Ее доброта взяла верх, она все больше уступала ему и уже не разговаривала об уходе.

Несколько молодых девушек ходили между гостями с записными книжками и продавали лотерейные билеты, на которые можно было выиграть кукол, качалки, вышивки, чайные столики и столовые часы. Шум и гул голосов все усиливался, все говорили громко, не стесняясь больше. Вечер должен был окончиться только в два часа.

Фрекен Андресен снова присела к столу Нагеля. О, до чего она устала, до чего она устала! Да, спасибо, она с удовольствием выпьет полстакана! Но не позвать ли ей сюда также и Дагни?

И она пошла за Дагни. Вместе с Дагни пришел и Минута.

И тут произошло следующее.

Вблизи них опрокинулся стол, несколько чашек и стаканов упало на пол. Дагни испустила легкий крик и даже нервно ухватила за руку Марту. Потом она сама рассмеялась над своим испугом и попросила извинения, вся вспыхнув от волнения. Она была в высшей степени возбуждена и смеялась нервным, коротким смехом, глаза ее сильно блестели. Она уже накинула на себя верхнее

платье и готовилась уйти, она ждала только адъюнкта, который должен был, по обыкновению, проводить ее домой.

Но адъюнкт, сидевший вместе с поверенным и не встававший с места в продолжение целого часа, начал сильно хмелеть.

— Господин Нагель проводит тебя, Дагни,— сказала Фрекен Андресен.

Дагни разразилась смехом.

Фрекен Андресен с изумлением посмотрела на нее.

— Нет,— ответила Дагни,— с господином Нагелем я больше не решусь идти! Чего только не приходит в голову! Между нами говоря, он попросил меня даже как-то о свидании. Уверяю вас! Под деревом, сказал он, под большой осиной, там-то и там-то! Нет, я нахожу, что господин Нагель слишком ненадежен! Вот только что он самым настоятельным образом потребовал от меня пару шерстяных фуфаяк, которые мой жених якобы обещал когда-то Грегорду. А между тем оказывается, что сам Грегорд ровно ничего не знает об этом. Не правда ли, Грегорд. Ха-ха-ха, ну, как вам это нравится?

С этими словами она быстро встала, продолжая еще смеяться, и подошла к адъюнкту, которому начала что-то говорить. По-видимому, она просила его проводить ее.

Минута пришел в сильное волнение. Он пытался что-то сказать, хотел объясниться, но это ему не удалось, он запутался и замолчал. Он переводил испуганный взгляд с одного на другого и совершенно растерялся. Даже Марта была поражена и испугана, Нагель шепнул ей несколько успокоительных слов и начал снова наполнять стаканы. Фрекен Андресен сейчас же нашлась и заговорила о базаре: какая масса публики, несмотря на дождливую погоду! О, у них, наверное, будет большой сбор, расходы не так уж велики...

— Кто была та красивая дама, что играла на арфе? — спросил Нагель.— Та, у которой байроновский рот, а в волосах серебряная стрела?

— Она приезжая, она приехала в город только на некоторое время. Разве уж она так красива?

Да, он находил ее красивой. И Нагель задал еще несколько вопросов относительно этой дамы, но все прекрасно видели, что думает он совсем о другом. Что его занимает? Почему он вдруг наморщил лоб, и почему на лице у него появилось горькое выражение? Он медленно вертел в руках свой стакан. Но вот Дагни вернулась и снова остановилась у их столика. Она стоит за стулом

фрекен Андресен, застегивает перчатки и говорит своим прекрасным, мелодичным голосом:

— Но скажите, пожалуйста, господин Нагель, что, собственно, у вас было на уме, когда вы меня просили о свидании? О чем вы думали? Пожалуйста, скажите это теперь.

— Дагни, что с тобой? — шепчет фрекен Андресен, поднимаясь с места.

Минута тоже встает. Все крайне смущены. Нагель поднял голову, на лице его нельзя было прочесть особенного волнения, но все заметили, что он выпустил из рук стакан, тяжело дышал и раза два крепко стиснул свои руки. Что он сделает? Что значит, что он слегка улыбнулся и потом снова стал серьезен? К общему удивлению, он ответил совершенно спокойным голосом:

— Зачем я вас просил об этом свидании, фрекен Кьелланд? Не предпочитаете ли вы, чтобы я пощадил вас и не отвечал вам на этот вопрос? Я уже доставил вам так много неприятностей. Я искренне сожалею об этом и, видит Бог, готов был бы пойти на все, чтобы этого не было. Но зачем я в тот раз просил вас о свидании, это вы и сами прекрасно понимаете, я не скрывал своих побуждений, хотя мне и следовало бы это сделать. Вы должны простить мне, больше я ничего не могу сказать...

Он остановился. Она также не произнесла больше ни слова. Видно было, что она ожидала от него другого ответа. Тут подоспел наконец адъютант и положил конец этой неприятной сцене. Он был сильно возбужден от выпитого вина и даже нетвердо держался на ногах.

Дагни взяла его под руку и направилась с ним к выходу.

После ее ухода маленькое общество сразу оживилось, все вздохнули свободнее. Марта стала беззаботно смеяться и весело хлопала в ладоши безо всякого повода. Иногда, когда она ловила себя на том, что слишком много и слишком громко смеется, она краснела и умолкала, испуганно оглядываясь на других, не заметил ли кто-нибудь этого? Это очаровательное смущение, поминутно овладевавшее ею, приводило Нагеля в восхищение, и он дурачился без конца только для того, чтобы поддержать ее веселое настроение. Между прочим, ему пришлось в голову сыграть «Старика Ноя» на пробке, которую он зажал между зубами.

К их обществу присоединилась также и фру Стенерсен. Она заявила, что не двинется с места до тех пор, пока

все не кончится. Оставался еще один номер, должны были выступить два гимнаста, и она во что бы то ни стало хотела видеть их. Да, уж у нее была такая привычка: всегда сидеть до самого конца, ведь ночь еще так длинна, а на нее всегда нападала грусть, когда она возвращалась домой и оставалась одна. Не пойдут ли они все в залу посмотреть на гимнастов?

Все отправились в залу.

Вдруг по среднему проходу залы идет высокий бородастый человек. В руках у него футляр от скрипки. Это органист, он сыграл свой последний номер и отправляется домой. Он останавливается, кланяется Нагелю и заговаривает с ним о скрипке. Минута был у него и хотел купить скрипку, но он никак не мог продать ее, потому что эта скрипка досталась ему по наследству, она была для него живым человеком, и он привязался к ней всем сердцем. На ней написано также его имя, Нагель сам может убедиться в этом,— нет, эта скрипка не простая, не обыкновенная... И он осторожно открывает футляр.

Вот он лежит тут, этот изящный темно-коричневый инструмент, тщательно завернутый в чехол из розового шелка, с ватой на струнах.

— Не правда ли, как эта скрипка красива? А вот эти три буквы из маленьких рубинов на самом конце грифа означают: Густав-Адольф Кристенсен. Нет, продать такую скрипку — это прямо грешно! Чем же тогда коротать дни, когда на тебя нападает тоска? Другое дело, если бы разговор шел о том, чтобы поиграть на ней, провести несколько раз смычком...

Нет, Нагель отказался попробовать скрипку.

Но органист уже вынул инструмент из футляра, и в то время, как гимнасты исполняли свои последние упражнения, и публика аплодировала им, он продолжал говорить о своей замечательной скрипке, которая переходила по наследству вот уже в четвертое поколение. Она легка, как перышко, возьмите ее в руки...

И Нагель также находит, что она легка, как перышко. Но когда скрипка очутилась у него в руках, он начал вертеть ее и трогать струны. И с видом знатока он сказал:

— Это Миттельвальдер, насколько я вижу.

Но ему вовсе не трудно было догадаться, что это Миттельвальдер, так как на дне скрипки это было напечатано,— так для чего же тогда этот напускной вид знатока? Когда гимнасты удалились со сцены, и аплодисменты прекратились, он вдруг встал с места. Он ничего

не говорит, не произносит ни слова и только протягивает руку за смычком. В следующее мгновение, в то время, как все встают со своих мест и собираются покинуть залу, в то время, как поднялся шум и раздалась громкие разговоры, он вдруг начинает играть, и мало-помалу вокруг него водворяется тишина. Этот приземистый, широкоплечий человек, который выступил вдруг посреди залы в своем бросающемся в глаза костюме, привел всех в величайшее изумление. Но что он играл? Какой-то романс, баркароллу, танец, венгерский танец Брамса, какое-то страстное попури — это была игра, полная своеобразных и проникающих в душу звуков, которая наполнила собой всю залу. Он склонил голову совсем набок, и вся его фигура производила какое-то таинственное впечатление, его внезапное выступление сверх программы посреди залы, где уже было довольно темно, его странная внешность и его бешеная техника — все это привело в изумление присутствующих и произвело на них впечатление какого-то волшебства. Он играл в течение нескольких минут, и публика не двигалась с места. Его игра перешла вдруг в высокий пафос, а потом он заиграл нечто бравурное, напоминавшее фанфару. Он стоял неподвижно, только его правая рука быстро двигалась, а голова была наклонена к плечу. Так как он выступил совершенно неожиданно даже для организаторов базара, то неудивительно, что он взял штурмом этих равнодушных горожан и крестьян, они были застигнуты врасплох и не успели отдать себе ни в чем отчета, а потому его игра произвела на них особенно сильное впечатление, она произвела удивительный эффект, несмотря на то, что он играл с небрежной стремительностью. Но не прошло четырех или пяти минут, как он несколько раз резко провел смычком по струнам, послышалось какое-то завывание, какой-то невероятный стон, от которого все присутствующие пришли в полное недоумение, еще три-четыре таких же вопля, и он вдруг оборвал свою игру. Он опустил скрипку и стоял, не двигаясь.

Прошла целая минута, прежде чем слушатели опомнились. Наконец все начали аплодировать долго и бурно, раздавались крики «браво», и все повскакивали со своих мест. Органист с глубоким поклоном принял из рук Нагеля свою скрипку, ощупал ее и бережно положил в футляр, потом он пожал руку Нагеля и горячо поблагодарил его. Вокруг них стоял шум и гам. Доктор Стенерсен прибежал, задыхаясь, схватил Нагеля за руку и воскликнул:

— Господи Боже ты мой, милый мой, да ведь вы играете!... Оказывается, что вы все-таки играете!

Фрекен Андресен, которая сидела ближе всех к Нагелю, сказала, глядя на него с величайшим изумлением:

— Но ведь вы говорили, что не умеете играть?

— Но ведь так это и есть,— ответил он.— Разве это игра, о которой стоит говорить? Я в этом сознаюсь откровенно. Если бы вы знали, как эта игра ничтожна, как она несерьезна. Но не правда ли, моя игра производила впечатление чего-то серьезного и настоящего? Хе-хе-хе, надо морочить людей, не надо стесняться!.. Но не пойти ли нам снова к нашим стаканам? Не будете ли вы так добры попросить фрекен Гуде пойти с нами?

И они пошли в соседнюю комнату. Все были еще заняты этим таинственным человеком, который так неожиданно поразил их. Даже поверенный Рейнерт остановился на одно мгновение и сказал Нагелю как бы мимоходом:

— Я должен еще поблагодарить вас за то, что вы были так любезны и пригласили меня несколько дней назад на холостую пирушку. Я не мог прийти, я был занят в этот вечер, но я очень благодарен вам, это было в высшей степени любезно с вашей стороны.

— Но почему вы закончили такими ужасными звуками? — спросила фрекен Андресен.

— Право, не знаю,— ответил Нагель.— Так вышло. Я хотел наступить дьяволу на хвост...

Доктор Стенерсен снова подошел к нему и сказал комплимент по поводу его игры, и Нагель опять ответил, что все это только одна комедия и пустое шарлатанство, рассчитанное на грубый эффект. Если бы он только мог себе представить, как это было скверно! В некоторых местах он даже фальшивил, да и почти все время он играл несколько фальшиво, сам он хорошо заметил это, но лучше он играть не мог, так как уже давно не упражнялся.

Вокруг столика, за которым сидел Нагель, собиралось все больше и больше народа. Нагель сидел до последней минуты. Публика уходила, в зале начали гасить свечи, когда это маленькое общество наконец встало. Была уже половина третьего.

Нагель наклонился к Марте и шепнул:

— Не правда ли, вы позволите мне проводить вас домой? Я должен сказать вам кое-что.

Он торопливо уплатил по счету, попрощался с фрекен Андресен и вышел с Мартой. У нее не было никакого верхнего платья, ничего, кроме зонтика, да и этот она



старалась скрыть, потому что он весь был в дырах. Когда они выходили на улицу, то Нагель заметил, что Минута смотрит им вслед долгим, полным скорби взглядом. На его бледном лице было странное выражение.

Они пошли к дому Марты. Нагель внимательно оглядывался кругом, но никого не увидел. Он сказал:

— Если бы вы решились пустить меня к себе на несколько минут, я был бы вам крайне благодарен.

Она колебалась.

— Уже так поздно, — ответила она.

— Ведь вы знаете, что я обещал вам никогда ничем не огорчать вас. Но мне необходимо поговорить с вами.

Она отворила дверь.

Когда они вошли в комнату, она стала зажигать свечу, а он в это время занавешивал чем-то окно. Когда она зажгла свечу, он сказал:

— Что же, вы веселились сегодня?

— Да, благодарю вас! — ответила она.

— А впрочем, я не об этом хотел с вами поговорить. Но сядьте немного поближе ко мне. Вам совсем незачем бояться меня. Обещайте, что вы не будете бояться меня. Хорошо, так дайте мне на этом руку.

Она протянула ему руку, которую он удержал в своей.

— И вы не думаете, что я лгу, что я вас буду обманывать? Нет? Я хочу вам сказать кое-что... Так значит, вы не думаете, что я буду обманывать вас?

— Нет.

— Я объясню вам все последовательно... Ну, насколько вы верите мне? Я хочу сказать: как далеко простирается ваше доверие ко мне? Ах, глупости! Что я за вздор болтаю! Но дело в том, что мне так трудно объяснить вам это. Поверите ли вы мне, например, если я вам скажу, что вы... что вы очень нравитесь мне? Да вы это, конечно, и сами заметили. Но если я пойду еще дальше, я хочу сказать... Поймите, я просто хочу попросить вас быть моей женой. Да, женой, ну, вот теперь я сказал это. Не только моей возлюбленной, но моей женой... Но Боже, как вы испугались! Нет, нет, не отнимайте вашей руки; я объясню все как следует, вам все станет ясно. Представьте себе такую возможность, что вы не ослышались: что я действительно без дальнейших рассуждений делаю вам предложение, и что мною руководят самые серьезные намерения — сперва представьте себе такую возможность, а затем позвольте мне продолжать. Хорошо! Сколько вам лет? Впрочем, я вовсе не хотел спрашивать этого, но дело

в том, что мне самому двадцать девять лет, я уже вышел из того возраста, когда люди бывают легкомысленны. Вы, вероятно, года на четыре, или лет на пять, на шесть старше меня, но это ровно ничего не значит...

— Я на двенадцать лет старше вас,— сказала она.

— На двенадцать лет старше! — Он был в восторге от того, что она следит за его словами, что она еще не потеряла способность соображать.— Итак, вы на двенадцать лет старше меня, это очень хорошо, это прямо великолепно! Да, и вы предполагаете, что эти двенадцать лет могут представлять собою какое-нибудь препятствие? Если вы так думаете, то это безрассудство с вашей стороны! Но дело не в том, если бы вы даже были на трижды двенадцать лет старше меня, то что же из этого, раз я полюбил вас, и раз каждое слово, которое я произношу в эту минуту, истинная правда? Я долго думал об этом, впрочем, не очень долго, но все-таки несколько дней, и я не лгу, верьте мне, ради Бога, я так прошу вас об этом. Я думал об этом много дней и не спал по ночам из-за этого. У вас такие удивительные глаза, и я почувствовал к ним влечение с первого же раза, как увидел вас. Дело в том, что пара глаз может увлечь меня на край света, ах, когда-то один старик заставил меня полночи кружить по лесу, и только необъяснимой силой своих глаз. Он был сумасшедший... А впрочем, это к делу не относится! Но ваши глаза произвели на меня неотразимое впечатление. Помните, вы как-то стояли раз здесь посреди комнаты и смотрели на меня, когда я проходил мимо вашего окна? Вы не поворачивали головы вслед за мной, вы следили за мной только глазами — этого я никогда не забуду. А позже, когда я встретился с вами, и вы поговорили со мной, меня тронула ваша улыбка. Не помню, чтобы я встречал когда-нибудь другого человека, который смеялся бы так сердечно и искренне, как вы. Но вы сами этого, конечно, не сознаете! Вся прелесть и заключается именно в том, что вы не сознаете этого сами... Однако я болтаю, кажется, ужасный вздор. Я сам это понимаю, но у меня такое чувство, будто я должен говорить безостановочно, иначе вы мне не поверите, и это сбивает меня с толку. Но если бы я только был уверен в том, что вы не сидите, как на иголках... я хочу сказать, если бы я был уверен в том, что вы не готовы каждую минуту встать и уйти, то мне было бы гораздо легче говорить с вами. Пожалуйста, дайте мне опять вашу руку, тогда я буду говорить яснее. Вот так, благодарю вас... Поймите, что у меня нет никаких

других намерений по отношению к вам, кроме тех, о которых я уже сказал, у меня нет никаких задних мыслей. А потому я не понимаю, что вас, собственно, так поражает в моих словах? Вы не можете себе представить, как мне пришла в голову эта странная мысль. Вы не можете понять, что я — что я — хочу... и вы думаете, что это невозможно? Не правда ли, вот о чем вы размышляете?

— Да... Но, Боже мой, оставим это!

— Однако, послушайте, я, право, не заслужил, чтобы вы подозревали меня в обмане...

— Нет,— сказала Марта в порыве раскаяния, — я не подозреваю вас ни в чем, но ведь это вообще невозможно.

— Почему невозможно? Вы связаны словом с кем-нибудь другим?

— Нет, нет.

— В самом деле? Потому что, если вы связаны с кем-нибудь другим — скажем, например, чтобы назвать кого-нибудь, с Минутой...

— Нет! — воскликнула она громко. И при этом она даже крепко сжала его руку.

— Нет? Ну, хорошо. В таком случае, с этой стороны нет никакого препятствия. Позвольте же мне теперь продолжать. Не думайте, что я стою настолько выше вас, что это может служить препятствием. Я ничего не хочу скрывать от вас. Я во многих отношениях не такой, каким должен был бы быть; впрочем, не далее, как сегодня вечером, вы слышали, что фрекен Кьелланд говорила обо мне. Может быть, вы слышали и от других здесь в городе, какой я дурной человек во многих отношениях. Правда, что ко мне могут отнести иногда не совсем справедливо; но в общем люди правы. У меня действительно много крупных недостатков. Итак, вы с вашей чистой совестью и детской душой стоите несравненно выше меня, а не наоборот. Но я обещаю всегда быть добрым по отношению к вам, верьте мне, и для меня это будет не трудно, потому что для меня будет величайшей радостью видеть вас счастливой и довольной... Кроме того, я должен вам сказать и еще кое-что: может быть, вы боитесь того, что будут говорить в городе? Во-первых, городу придется примириться с тем, что вы станете моей женой — хотя бы в здешней церкви, если вы этого пожелаете. А во-вторых, в городе и без того уже достаточно говорят, едва ли можно предполагать, что осталось незамеченным то обстоятельство, что я раза два виделся с вами и сегодня вечером был вместе с вами на базаре. Значит, в этом отношении хуже

не будет. Да и не все ли это равно? И вы должны стать в высшей степени равнодушной к тому, что говорят люди... Вы плачете? Дорогая, неужели вам неприятно, что я сделал вас предметом пересудов сегодня вечером?

— Нет, я плачу не от этого.

— Но отчего же?

Она не ответила.

Тогда ему приходит что-то в голову, и он спрашивает:

— Вы, может быть, находите, что я дурно поступаю по отношению к вам? Скажите: ведь вы немного выпили шампанского? Не более двух стаканов? Может быть, вы думаете, что я хочу воспользоваться благоприятной минутой и тем, что вы выпили глоток шампанского, для того, чтобы скорее вынудить у вас согласие? Вы поэтому плачете?

— Нет, нет, вовсе не из-за этого.

— Так почему же вы плачете?

— Я сама не знаю.

— Но, я надеюсь, вы не думаете, что я сижу здесь с каким-нибудь злым умыслом против вас? Клянусь Богом, что я совершенно искренен — поверьте мне наконец!

— Да, я верю вам, но я сама себя не понимаю, со мной произошло что-то странное. Вы не можете... не можете хотеть этого.

Да, он хочет этого! И он еще раз начинает убеждать ее и уговаривает, держа ее маленькую, слабую руку в своей в то время, как дождь барабанит в стекла. Он говорит очень тихо, стараясь применить к ее понятиям, а иногда болтает совсем по-детски. О, они устроятся прекрасно! Они уедут, уедут куда-нибудь далеко, куда глаза глядят, главное — надо запрятаться так, чтобы никто не нашел их. Не правда ли, так они и сделают? Потом они купят небольшой домик с клочком земли где-нибудь в лесу, в великолепном лесу, и они будут владеть этим клочком земли и назовут его «Эдемом», и его дом будет для него святыней — о, как он будет поклоняться ему! Но может случиться, что по временам он будет грустить, да, дорогая, это возможно; мало ли что ему может прийти на ум, в его памяти может воскреснуть какое-нибудь горькое воспоминание — ведь это легко может случиться! Но тогда она будет с ним терпелива, не правда ли? Он, конечно, не будет давать ей этого слишком чувствовать, никогда, это он обещает. Он будет спокойно сидеть один и будет стараться побороть это в себе, или же он будет уходить далеко в лес и затем возвращаться через некоторое время.

Но никогда в их доме не будет произнесено жестокого или хотя бы резкого слова, нет, никогда! И они украсят свой дом самыми прекрасными, дикими растениями, мхом и камнями, пол они будут посыпать можжевельником, он сам будет приносить его из лесу. А на Рождество они никогда не будут забывать привязывать снаружи снопы ржи для маленьких птичек. Подумать только, как незаметно для них будет проноситься время, и как они будут счастливы! Они всегда будут неразлучны, они будут вместе уходить, вместе возвращаться и никогда не будут расставаться. А летом они *будут делать добро* для чужих и для странников, которые, быть может, будут проходить мимо их дома. Но у них будет также и скот, пара крупных, прекрасных животных, которых они выучат есть из своих рук, в то время как он будет копать и рыть землю, она будет смотреть за животными...

— Да, — ответила Марта.

Это невольно вырвалось у нее, и он услышал ее восклицание. Он продолжал:

Потом раз или два раза в неделю они будут устраивать себе праздник и уходить вместе на охоту или на рыбную ловлю, вдвоем, рука об руку, она в коротком платье, с кушаком вокруг талии, а он в блузе и башмаках с пряжками. Как они будут петь, громко разговаривать и перекликаться! Эхо так и будет разноситься по лесу! Но не правда ли? Рука об руку?

— Да, — сказала она.

Мало-помалу он увлек ее, он рисовал ей такую живую картину, он не забыл ничего, ни одной мелочи. Он упомянул даже о том, что необходимо найти такое место, где легко доставать воду. Но уж об этом он позаботится, он все устроит, пусть она только имеет доверие к нему. О, у него достаточно силы для того, чтобы расчистить место для их дома в самом глухом лесу, у него два здоровых кулака, вот, она сама видит!... И он со смехом положил ее нежную детскую ручку на свою ладонь.

Она совсем подчинилась ему, и он делал с ней все, что хотел, даже когда он погладил ее по щеке, она не двинулась и только смотрела на него. Наконец он спросил ее, приблизив свои губы к ее уху, согласна ли она. И она прошептала ему «да» задумчиво и мечтательно. Но вслед за тем ею снова овладели сомнения: нет, если подумать хорошенько, то это все-таки невозможно. Как может он желать этого? Что она такое?

И снова он начал доказывать ей, что он этого действительно хочет, хочет всеми силами своей души. Она не будет терпеть нужды, если даже некоторое время дела их пойдут плохо, он будет работать за них обоих, ей нечего бояться. Он говорил целый час и шаг за шагом побеждал ее сопротивление. В течение этого часа ею два раза овладевало сомнение, она закрывала лицо руками и кричала: «Нет, нет»,— и затем она снова уступала, пристально всматривалась в его лицо и убеждалась в том, что в нем вовсе не было желания одержать минутную победу. Ну, пусть будет так, раз он этого хочет! Она была побеждена, дольше бороться было бесполезно, в конце концов она сказала ему ясно и решительно: «Да».

Свеча, воткнутая в бутылку, начала догорать, они продолжали сидеть, каждый на своем стуле, держа друг друга за руки, и говорили. Она была взволнована и растрогана, на глазах у нее поминутно навертывались слезы, но она все-таки улыбалась.

Он сказал:

— Я вспомнил о Минуте, я уверен, что он ревновал на базаре.

— Да,— ответила она,— может быть, это и так. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Да, конечно, тут уж ничего не поделаешь!.. Послушай, мне так хотелось бы порадовать тебя чем-нибудь, но чем? О, мне хотелось бы, чтобы ты прижала руки к сердцу от восторга! Скажи, чего ты хочешь, требуй чего угодно! Ах, ты слишком добра, дорогой друг, ты никогда ни о чем не просишь! Да, да, Марта, не забывай никогда того, что я теперь тебе скажу: я буду охранять тебя, я постараюсь отгадывать твои желания и я буду заботиться о тебе до моего последнего издыхания. Да, дорогая, ты этого не забудешь, нет? Тебе никогда не придется попрекнуть меня тем, что я забыл свое обещание.

Было четыре часа.

Они встали, она сделала шаг к нему, и он прижал ее к своей груди. Она обвила его шею руками, и некоторое время они так стояли, ее боязливое, чистое сердечко монахини сильно билось, и он чувствовал это и нежно и успокаивающе провел рукой по ее волосам. Между ними было полное согласие.

Она заговорила первая:

— Я всю ночь буду лежать с открытыми глазами и думать. Может быть, я увижусь с тобой завтра. Если хочешь?

— Да, завтра. Конечно, хочу! Но в котором часу? Можно мне прийти в восемь часов?

— Да... Хочешь, я надену опять это платье?

Этот трогательный вопрос, ее дрожащие губы, ясные глаза, устремленные на него с таким доверием,— все это взволновало его и тронуло до глубины души. Он ответил:

— Дорогая! Милое мое дитя, делай как хочешь! Какая ты добрая!.. Но ты должна спать сегодня ночью, непременно спи. Надеюсь, тебе не страшно здесь одной?

— Нет... Теперь ты промокнешь по дороге омой.

Она даже подумала о том, что он промокнет!

— Будь весела и спи спокойно,— сказал он.

Но когда он был уже в снях, то вдруг вспомнил что-то. Он повернулся к ней и сказал:

— Я забыл сказать тебе, что я небогат. Может быть, ты думала, что я богат?

— Это мне все равно,— ответила она, качая головой.

— Нет, я небогат. Но мы все равно купим себе дом и заведем все, что нам необходимо,— настолько я еще богат. А потом я позабочусь обо всем, я с радостью понесу на себе всю тяжесть, на что же у меня мои руки?.. Ты не огорчена тем, что я небогат?

Она ответила, что не огорчена, и еще раз пожала ему руку. На прощание он попросил ее крепко запереть за ним дверь. Потом он вышел на улицу.

Дождь лил как из ведра, и царил непроницаемый мрак.

Он не пошел в гостиницу, а направился по дороге, ведущей в лес, к усадьбе священника. Он шел с четверть часа, в непроницаемой тьме он едва различал дорогу. Наконец он замедлил свои шаги, свернул с дороги и ощупью пробрался к большому дереву. Это была сосна. Тут он остановился.

Ветер шумит в верхушках деревьев, дождь льет не переставая, но кругом все тихо. Он шепчет про себя несколько слов, произносит имя, говорит: «Дагни, Дагни»,— молчит и снова повторяет это имя. Он стоит прямо перед деревом и говорит это. Немного спустя он произносит имя громче, он говорит «Дагни» громким голосом. Она оскорбила его сегодня вечером, излила на него все свое презрение, он чувствует еще, как каждое ее слово прожигает его сердце, и все-таки он стоит здесь и говорит о ней. Он опускается на колени перед деревом, вынимает из кармана свой перочинный ножик и начинает вырезать в темноте ее имя на стволе дерева. Над этим он трудится

несколько минут, он нащупывает пальцами кору и снова работает, пока не вырезает все имя...

Все время он работал с непокрытой головой.

Когда он снова вышел на дорогу, то вдруг остановился, с минуту подумал и повернул обратно. Он снова пробрался ощупью к дереву, нащупал пальцами вырезанную на стволе надпись. Потом он опустился на колени и поцеловал это имя, эти буквы, как если бы ему никогда больше не суждено было видеть их, наконец он поднялся и поспешно ушел.

Было уже пять часов, когда он вернулся в гостиницу.

## ГЛАВА XVII

---

Тот же дождь на следующее утро, тот же мрак, та же ненастная погода. Казалось, не будет конца потокам воды, безостановочно струившимся с кровельных желобов и барабанившим в окна. Часы тянулись бесконечно один за другим, было уже далеко за полдень, а небо все не прояснялось. В маленьком садике позади гостиницы все было поломано и пригнуто к земле, ветви кустов, отягченные массой воды, падавшей на них, лежали на земле, покрытые грязью.

Нагель весь день просидел дома, он читал, ходил, по своему обыкновению взад и вперед по комнате и беспрестанно смотрел на часы. Казалось, этому дню не будет конца. С величайшим нетерпением он ждал наступления вечера.

Ровно в восемь часов он отправился к Марте. Он не подозревал ничего дурного, между тем Марта встретила его со страдающим видом и очень заплаканным лицом. Он заговорил с нею, она отвечала односложно и уклончиво, и даже не смотрела на него. Несколько раз она просила его простить ей и не сердиться на нее.

Когда он взял ее за руку, она задрожала и хотела отойти от него, наконец она села на стул рядом с ним. С этого места она так и не вставала, пока он не ушел час спустя. Что случилось? Он расспрашивал ее, просил объяснения, но она не отвечала толком на его вопросы.

Нет, она не больна. Но она думала об этом...

Так значит, она раскаивается, что дала обещание? Может быть, она убедилась в том, что не может любить его?



Да... Но пусть он простит ее! Она думала над этим ночью, всю ночь она не смыкала глаз, и ей казалось это все более и более невозможным. Она заглянула даже в свое сердце и испугалась, что не будет в состоянии любить его так, как должна была бы.

Ах, вот что!..

Пауза...

Но разве она не думает, что могла бы полюбить его со временем? Он так радовался, что начнет новую жизнь. О, он был бы к ней так добр!

Его слова тронули ее, она крепко прижала руки к сердцу, но не поднимала глаз и ничего не говорила.

Так она не думает, что он сумеет заставить ее полюбить себя позже, когда они всегда будут вместе?

Она прошептала:

— Нет!

С ее длинных ресниц скатились две крупные слезы.

Пауза.

Он дрожал, синие жилы на его висках сильно надулись.

Ну да, дорогая, значит, тут делать ничего! И пусть она не плачет из-за этого. Ведь этому ничем помочь нельзя. Она должна простить его за то, что он так приставал к ней со своей просьбой. Ведь он желал ей только добра...

Она схватила его вдруг за руку и удержала ее в своей. Его немного удивил этот внезапный порыв, и он спросил: нет ли в нем чего-нибудь, что отталкивает ее? Он постарался бы исправить это, измениться, если это только в его силах. Может быть, ей не нравится, что он...

Она поспешно прервала его:

— Нет, дело не в этом, не в этом! Но все представляется мне таким странным, и я даже не знаю, например, кто вы такой? Я знаю, что вы желаете мне добра, но поймите меня...

— Кто я такой, например? — сказал он, пристально глядя на нее.

Вдруг в его голове мелькнуло подозрение, он понял, что кто-то подорвал ее доверие к нему, что какой-то враждебный элемент стал между ним и ею, он спросил:

— Был у вас сегодня кто-нибудь?

Она ничего не ответила.

— Извините, пожалуйста, в сущности, это все равно, да я и не имею больше права спрашивать вас.

— О, я была так счастлива сегодня ночью! — сказала она. — Боже, с каким нетерпением я ждала утра и как я ждала вас! Но днем мною снова овладели сомнения.

— Ответьте мне только на один вопрос: так вы, значит, не верите в мою правдивость, вы не доверяете мне, несмотря ни на что?

— Нет, не всегда. Дорогой, не сердитесь на меня! Ведь вы здесь совсем чужой, и я знаю про вас только то, что вы сами говорите. Может быть, в настоящую минуту у вас очень честные намерения, но потом вы будете раскаиваться. Можно ли поручиться в том, что вам впоследствии придет в голову?

Пауза.

Он берет ее за подбородок, подымает слегка ее голову и спрашивает:

— А что еще сказала фрекен Кьелланд?

Она смутилась, бросила на него испуганный взгляд, который выдал ее, и воскликнула:

— Этого я не говорила, разве я говорила это? Нет, я этого не говорила!

— Нет, нет, вы этого не говорили.— Он задумался, глаза его неподвижно смотрели в одну точку, ничего не видя.— Нет, вы не говорили, что это она повлияла на вас, вы не называли ее имени, успокойтесь же... Так, значит, фрекен Кьелланд действительно была здесь, она вошла в эту дверь и ушла той же дорогой, исполнив свое дело. Видно, что дело это для нее в высшей степени важное, раз она вышла в такую погоду. Как все это странно!.. Дорогая, хорошая моя Марта, добрая вы душа, я преклоняюсь перед вашей добротой! Но верьте мне все-таки, постарайтесь поверить мне только сегодня вечером, тогда я вам докажу потом, как далек я был от мысли обманывать вас. Не берите обратно вашего слова. Подумайте еще немного! Обещаете вы мне это? Подумайте до завтра и позвольте мне тогда зайти к вам...

— Право, не знаю,— прервала она его.

— Вы не знаете? Так, значит, вы хотите отделаться от меня сегодня раз и навсегда? Да, да!

— Я хотела бы лучше поселиться у вас... когда вы будете женаты и когда вы устроитесь. Когда у вас будет свой дом... я хочу сказать... Я хотела бы лучше быть у вас служанкой. Да, этого я хотела бы.

Пауза.

Да, ее недоверие к нему успело уже пустить глубокие корни, он уже не мог больше бороться с этим, не мог больше внушить к себе такое доверие, какое она раньше питала к нему. И он чувствовал, что она все больше и больше ускользает от него по мере того, как он говорит.

Но почему же в таком случае она плачет? Что мучит ее? И почему она не выпускает его руки из своей? Он снова заговорил о Минуте, он хотел испытать последнее средство. Он хотел во что бы то ни стало добиться ее согласия на свидание с ним на следующий день после того, как она обдумает все хорошенько.

Он сказал:

— Простите, что я еще раз упоминаю в вашем присутствии о Минуте. Не волнуйтесь только, у меня есть основание говорить так, как я говорю. Я не буду говорить ничего дурного об этом человеке, напротив — вы должны сами вспомнить, что я говорил вам о нем все самое лучшее. Я представляю себе возможность, что он стоит между вами и мною, потому я и говорил с вами о нем. Я утверждал, между прочим, что он так же, как и всякий другой, может обеспечить свою семью, и я так думаю и теперь, надо только вначале помочь ему стать на ноги. Но вы об этом и слышать не хотели, вы не интересовались Минутой и просили меня даже не говорить о нем больше. Хорошо! Но я и до сих пор не совсем избавился от подозрения, вы не убедили меня, и я еще раз спрашиваю вас, нет ли чего-нибудь между вами и Минутой? Если мои подозрения имеют основания, то я сейчас же удаляюсь. Да, вот вы качаете головой, но я не понимаю, почему же вы не решаетесь еще раз обдумать все и завтра дать мне окончательный ответ. Этого требует простая справедливость. А ведь вы еще такая добрая!

Наконец она уступила, она даже встала, поддаваясь охватившему ее волнению, улыбаясь и в то же время плача, она провела рукой по его волосам, как и раньше. Она хочет увидиться с ним завтра, очень хочет, только он должен прийти немножко раньше, в четыре часа, или в пять, пока еще светло, тогда никто ничего не сможет сказать. Но теперь он должен уходить, и чем скорее, тем лучше. Да, а завтра он опять придет, она будет дома и будет ждать его...

Каким странным ребенком была эта старая дева! Довольно было одного слова, намека, чтобы заставить вспыхнуть ее сердце и вызвать в ней нежность, ласковую улыбку. Она не выпускала его руки из своей до тех пор, пока он не ушел, она проводила его до самых дверей, продолжая держать его за руку. На крыльце она пожелала ему спокойной ночи очень громко, словно назло кому-нибудь, находящемуся тут же вблизи.

Дождь прекратился, наконец-то он почти совсем прошел, там и сям между серыми тучами проглядывал кусочек голубого неба, и только время от времени падали еще одинокие капли дождя на сырую землю.

Нагель снова вздохнул свободнее. Да, ему удастся снова вернуть себе ее доверие, почему бы ему этого не удалось? Он не пошел домой, а направился к набережной вдоль берега моря, вышел за город и очутился на дороге, ведущей в усадьбу священника. Кругом не было видно ни души.

Пройдя по дороге еще несколько шагов, он вдруг заметил, что на краю дороги внезапно выросла человеческая фигура — по-видимому, кто-то там сидел и теперь поднялся. Это была Дагни, ее светлая коса резко выделялась на дождевом плаще.

По его телу пробежала дрожь, и на мгновение он остановился, он был поражен. Разве она не должна была быть на базаре также и сегодня вечером? Или она пошла немного прогуляться до начала живых картин? Она шла чрезвычайно медленно и даже остановилась раза два, любуясь на птичек, которые снова начали порхать между деревьями. Видела она его? Уж не хочет ли она испытать его? Не захотела ли она еще раз убедиться в том, что у него хватит смелости заговорить с ней?

Она может быть спокойна, он уже никогда больше не будет надоедать ей! И вдруг в нем просыпается злоба, слепая и неудержимая злоба против этой девушки, которая, может быть, хочет заставить его забыть и сделать какой-нибудь необдуманный поступок, чтобы иметь удовольствие потом снова унижить его. Она способна была еще раз рассказать во всеуслышание на базаре, что он преследует ее. Ведь была же она недавно у Марты, чтобы попытаться расстроить его счастье! Неужели с нее не довольно этого? Неужели она не может наконец перестать сеять зло на его пути? Она хотела отплатить ему по заслугам — прекрасно, но она заплатила гораздо дороже, чем это было необходимо.

Оба они идут одинаково медленно друг за другом, их все время разделяет шагов пятьдесят. Это продолжается несколько минут. Вдруг она роняет носовой платок. Он видит, как платок падает вдоль дождевого плаща и остается на земле. Знала ли она, что уронила его?

И он говорит самому себе, что это ловушка с ее стороны, ее злоба против него еще не прошла, она хочет заставить его поднять этот платок и принести его ей,

чтобы иметь возможность посмотреть ему прямо в глаза и хорошенько насладиться его поражением у Марты. Злоба закипает в нем с новой силой, он сжимает губы, и на лбу у него появляется гневная складка. Хе-хе, да, как бы не так! Не хватает еще, чтобы он стал перед ней и дал ей возможность насмеяться над ним ему же в лицо! Смотрите-ка, вон она обронила свой платок; он лежит на дороге, посреди дороги, он белый и очень тонкий, это кружевной платок, можно было бы наклониться и поднять его...

Он продолжал идти все так же медленно. А когда он поровнялся с платком, то наступил на него ногой и прошел дальше.

Прошло еще несколько минут, они продолжали идти вперед, вдруг он заметил, что она посмотрела на свои часы и сразу повернула. Она шла прямо ему навстречу, может быть, она заметила, что потеряла свой платок? Тогда и он повернул и медленно пошел впереди нее. Дойдя до того места, где лежал носовой платок, он снова наступил на него — во второй раз он наступил на платок у нее на глазах. И затем он пошел дальше. Он чувствовал, что она идет сейчас же позади, но не прибавил шагу. Так они шли до самого города.

Его предположения оправдались, и она действительно пошла на базар, он направился к себе в гостиницу.

Придя к себе в комнату, он открыл окно и оперся локтями о подоконник, совершенно разбитый от волнения. Его гнев остыл, он весь как-то съезжился и разразился рыданиями, его голова упала на руки, и он рыдал беззвучно, с сухими глазами, дрожа всем телом. Вот чем все это кончилось! О, как он жалел об этом, как ему хотелось, чтобы этого не было! Она уронила свой платок, может быть, она сделала это нарочно, чтобы унижить его — ну так что же? Ведь он мог поднять его, скрыть его и всю жизнь носить у себя на груди. Он был такой белоснежный, а он втоптал его в грязь! Кто знает, может быть, она и не отняла бы у него платка, если бы увидела его у него в руках, может быть, она позволила бы ему оставить его у себя! А если бы даже она и протянула руку за ним, то он упал бы перед ней на колени и стал бы ее просить — нет, он стал бы молить ее, заломив руки, как о великой милости, подарить ему этот платок на память. А если бы даже она и посмеялась над ним, то что же из этого?

Вдруг он вскакивает, в два прыжка сбегает по лестнице и устремляется на улицу, он пробегает весь город в

несколько минут и замедляет свои шаги только на дороге, ведущей к усадьбе священника. Может быть, ему удастся еще найти носовой платок. И действительно, она оставила платок лежать на том же месте, хотя, наверное, заметила, когда он наступил на него во второй раз. Какая удача! Слава Богу! С сильно бьющимся сердцем он прячет платок у себя на груди, спешит домой и полощет его в воде, он полощет его без конца и потом тщательно расправляет. Платок несколько пострадал, а один угол даже разорван его каблуком, но что из этого! О, как он был счастлив, что нашел его!

Только после того, как он снова сел к окну, он открыл, что совершил свою последнюю прогулку через весь город с непокрытой головой. Да, он сошел с ума, он сошел с ума. Что, если она его видела? Она хотела устроить ему ловушку, и в конце концов оказалось, что он действительно попался. Нет, этому надо как можно скорее положить конец. Он должен добиться того, чтобы спокойно смотреть на нее с высоко поднятой головой и холодными глазами, ничем не выдавая себя. Да, он сделает все для этого! Он уедет вместе с Мартой. Она слишком хороша для него, ах, но он заслужит ее, он не будет знать ни отдыха, ни покоя ни на одну минуту до тех пор, пока не заслужит ее.

Погода становилась все мягче, легкий ветерок доносил до него в открытое окно смешанный аромат мокрой травы и сырой земли и все более и более бодрил его. Да, завтра он опять пойдет к Марте и будет так убедительно просить ее согласиться...

Но уже на следующее утро все его надежды оказались окончательно разбитыми.

## ГЛАВА XVIII

---

Началось с того, что пришел доктор Стенерсен, он явился, когда Нагель еще лежал в постели. Доктор извинился и сослался на этот проклятый базар, который отнимает у него и день и ночь. Дело в том, что он пришел по делу, он должен выполнить одну миссию: ему поручили уговорить его — Нагеля — снова выступить сегодня вечером на базаре. Об его игре ходят в городе самые удивительные слухи, от любопытства никто не спит по ночам, право!

— Я вижу, вы читаете газеты? Ах, уж эта политика! Обратили ли вы внимание на последние назначения? Да и с выборами дело обстоит не так, как должно было бы

быть,— эти выборы не представляют собой оплеухи для шведов... Однако вы поздно встаете — ведь уже десять часов. А что за погода сегодня! Воздух так и дрожит от тепла! Вы должны были бы сделать утреннюю прогулку.

Да, Нагель собирается как раз встать.

Ну, а какой же он должен дать ответ комитету базара?

Нет, Нагель отказывается играть.

Нет? Но ведь цель базара такая благородная, имеет ли он право отказаться от такой небольшой услуги?

Он не может исполнить этой просьбы.

Ах, как жаль! Настроение теперь для этого самое благоприятное, особенно дамы вчера вечером прямо осаждали доктора просьбами устроить это. Фрекен Андресен не давала ему ни минуты покоя, а фрекен Кьелланд даже отвела его в сторону и убеждала не отставать от Нагеля до тех пор, пока он не согласится.

Да, но ведь фрекен Кьелланд не имеет ни малейшего понятия об его игре! Она никогда не слыхала его.

Нет, но, несмотря на это, она просила его усерднее всех, она даже предложила аккомпанировать ему... Под конец она сказала: «Скажите ему, что мы все просим его...» Ну, что стоит вам провести несколько раз смычком по струнам и доставить нам удовольствие!

Он не может, он не может!

Это одни только отговорки, ведь играл же он в четверг вечером?

Нагель сделал нетерпеливое движение и стал отговариваться: пусть доктор предположит, что он только и знает этот жалкий отрывок, это бессвязное попури, что он выучился играть только эти два-три танца, чтобы в один прекрасный вечер удивить публику! А кроме того, ведь он играл совсем фальшиво. Ему самому было противно слушать себя, право, противно!

— Да, но...

— Доктор, я не буду играть!

— Но, если не сегодня, так хоть завтра вечером? Завтра воскресенье, вечером будет закрытие базара, и мы ожидаем большого наплыва публики.

— Нет, уж вы извините меня, но я и завтра вечером не буду играть. Вообще глупо братья за скрипку, когда владеешь смычком так плохо, как я. Как странно, что вы не разобрались в моей игре!

Это обращение к авторитету доктора возымело свое действие.

— Ну, конечно,— сказал он, — я прекрасно заметил, что в вашей игре были известные недостатки, но что же из этого, ведь не все же мы знатоки!

Однако доводы доктора ни к чему не привели, и он должен был уйти, не получив согласия Нагеля.

Нагель стал одеваться. Вот как, даже Дагни усердно настаивала на том, чтобы уговорить его играть, она даже вызвалась аккомпанировать ему! Новая ловушка, должно быть? Вчера вечером она потерпела неудачу, а теперь она хотела вознаградить себя иным способом... Но, Боже мой, что, если он несправедлив к ней, что, если она перестала ненавидеть его и хочет оставить в покое? И внутренне он попросил у нее прощения за свое недоверие к ней.

Он бросил взгляд на площадь, солнце светило ярко, и голубое небо казалось бездонным. Он начал напевать. Он был уже почти готов и собирался уходить, когда Сара просунула ему в дверь письмо, оно пришло не с почтой, его принес посыльный. Письмо было от Марты, в нем было всего несколько строк: пусть он не приходит вечером, она уехала. Она умоляет его ради самого Господа простить ей все и не приходить к ней больше, встреча с ним причинит ей только страдание. Прощайте! В самом низу, под подписью она приписала еще, что никогда не забудет его. «Я никогда не забуду вас»,— писала она. Эта записочка, состоявшая из трех-четырех слов, была вся проникнута какой-то грустью. Даже буквы имели унылый вид и производили жалкое впечатление.

Он опустил на стул. Все погибло, погибло! Даже там его оттолкнули! Все точно сговорилось против него! Могли ли его намерения быть более чистыми и благородными, нежели теперь? И все-таки, все-таки все было тщетно! Долго просидел он, не двигаясь.

Но вдруг он вскакивает со стула, смотрит на часы.

Одиннадцать. Может быть, он еще успеет помешать Марте уехать! Не теряя ни минуты, он спешит к ее домику — он заперт и пуст. Он заглядывает в окна в обе комнаты — там нет ни души.

Он подавлен и убит, он возвращается к себе в гостиницу, не сознавая ничего, не поднимая глаз от мостовой. Как могла она это сделать! Как у нее хватило духу на это! Хотя бы она позволила ему проститься с ней и пожелать ей всего, всего хорошего, куда бы она ни уезжала. Он опустил бы перед ней на колени, он преклонился бы перед ее добротой и перед ее чистым сердцем, а она не захотела этого. Да, да, с этим ничего не поделаешь!



Встретив в коридоре Сару, он узнал от нее, что письмо принес посыльный из усадьбы священника. Итак, это также дело рук Дагни, все это она устроила, она хорошо рассчитала все и не медля привела в исполнение свой план. Нет, она никогда не простит его!

Весь день он бродил по улицам, возвращался к себе в комнату, шел в лес, ходил повсюду, не зная ни минуты покоя. И все время он ходил с низко опущенной головой и широко раскрытыми глазами, которые ничего не видели.

Следующий день прошел таким же образом. Это было воскресенье, масса народу съехалась из окрестностей, чтобы побывать на базаре в последний день и увидеть живые картины. Нагель снова получил приглашение сыграть хоть один номер, на этот раз ему передавал приглашение другой член комитета, консул Андресен, отец Фредерики, но он ходил, как помешанный, в каком-то странном состоянии, как бы во власти одной, единой мысли, одного чувства. Каждый день и по нескольку раз он ходил к домику Марты, чтобы посмотреть, не возвратилась ли она. Куда она уехала? Но если бы даже ему удалось найти ее, то это все равно не привело бы ни к чему. Все было потеряно для него!

Раз вечером он чуть не столкнулся с Дагни. Она выходила из магазина и чуть не дотронулась до него локтем. Ее губы дрогнули, словно она хотела заговорить с ним, но она только вся вспыхнула и промолчала. Он не сразу узнал ее и от смущения на мгновение остановился, глядя на нее, но потом быстро отвернулся и удалился.

Она шла за ним, он слышал, что она идет все быстрее и быстрее, ему казалось, что она хочет догнать его, и он ускорил свои шаги, чтобы скрыться от нее. Он боялся ее, она навлечет на его голову новое несчастье. Наконец он дошел до гостиницы, вбежал по лестнице и скрылся в своей комнате в величайшей тревоге. Слава Богу, он спасен!

Это было 14-го июля, в четверг...

Утром казалось, будто он принял какое-то решение.

За эти дни он очень изменился, лицо его сделалось серовато-бледным и как бы застыло, а глаза имели безжизненное выражение. Ему все чаще случалось выходить на улицу и проходить довольно большое расстояние и только тогда замечать, что его фуражка снова осталась в гостинице. В таких случаях он говорил самому себе, что

с этим надо покончить, что надо положить конец всему. И, говоря это, он крепко сжимал кулаки.

Встав в среду утром, он прежде всего вынул из кармана жилета маленький пузырек с ядом и исследовал его, он взболтнул его, понюхал и снова спрятал. Затем он принялся одеваться и по старой привычке отдался бесконечному и бессвязному течению мыслей, которые постоянно занимали его и никогда не оставляли в покое усталую голову. Его мозг работал с безумной, невероятной быстротой, он был в таком отчаянии, так возбужден, что с трудом удерживался от слез, и в то же время тысячи мыслей вереницей проносились в его мозгу.

«...Да, слава Богу, у него еще оставалась его маленькая склянка! Она издавала миндальный запах, и содержимое ее было прозрачно, как вода. Ах, да, скоро она ему понадобится, очень скоро, раз нет другого выхода. Как бы то ни было, он добьется конца. Да почему бы и нет? Он предавался таким глупым и прекрасным мечтам, он мечтал совершить какой-нибудь поступок на земле, такой, который поразил бы свет,— какой-нибудь подвиг, перед которым людоеды осенили бы себя крестным знамением,— но его мечтам не суждено было осуществиться, он не справился с задачей. Почему же ему не отведать этой жидкости?! Стоит только проглотить ее без особенных гримас — и делу конец. Да, да, он это и сделает, когда наступит время, когда пробьет час.

А Дагни останется победительницей...

Какая громадная власть у этой девушки, такой обыкновенной, с длинной косой и благоразумным сердцем! Как он понимает этого несчастного, который не хотел жить без нее, он понимает и его сталь, и его последнее «нет». Он уже не удивляется больше поступку этого бедняги — что ему оставалось делать...

Как засверкают ее синие бархатистые глаза, когда она узнает, что и я отправился туда же! Но я люблю тебя, я люблю тебя не только за твою добродетель, но также и за твою злобу.

Но ты слишком мучишь меня твоей снисходительностью: как можешь ты терпеть, что у меня больше одного глаза. Ты должна была бы взять другой, нет, оба! Ты не должна была бы мириться с тем, что я спокойно хожу по улице, и что у меня есть кровля над головой. Ты отняла у меня Марту, но я люблю тебя, и ты знаешь, что я люблю тебя, несмотря на это, и ты исподтишка смеешься надо мной,

но я люблю тебя также и за то, что ты смеешься надо мной.

Можешь ли ты требовать большего, неужели этого мало? Твои узкие белые руки, твой голос, твои золотистые волосы, твой ум и твою душу я люблю больше всего на свете! И от этой любви мне нет спасения, и я потерял власть над собой — да поможет мне Бог! Да, да, издевайся надо мной, смейся надо мной больше, что из этого, Дагни, раз я люблю тебя! Мне от этого не будет ни хуже ни лучше, ты можешь делать все, что тебе придет в голову, моя любовь останется неизменной, и ты останешься такой же прекрасной и обворожительной в моих глазах, несмотря ни на что, — я с радостью сознаюсь в этом. Я оттолкнул тебя тем или другим, ты находишь меня дурным, гадким человеком, ты думаешь, что я способен на все. Ты думаешь, что я способен был бы пойти на обман, чтобы казаться выше ростом, если бы это только было возможно. Ну, так что же? Раз ты это говоришь, то пусть будет по-твоему, я на все согласен и уверяю тебя, что во мне все поет и ликует от любви к тебе, когда ты говоришь это.

Даже тогда, когда ты смотришь на меня с презрением или поворачиваешься ко мне спиной, не удостоившись ответить на мой вопрос, или догоняешь меня на улице, чтобы унижить меня, — даже и тогда сердце мое трепещет от любви к тебе. Пойми меня, я не обманываю теперь ни себя ни тебя, впрочем, мне все равно, если ты опять будешь смеяться надо мной, это не изменит моих чувств, да, это так. Если бы мне случилось когда-нибудь найти алмаз, то я назвал бы его Дагни, потому что один только звук твоего имени наполняет меня счастьем. Я дошел до того, что хотел бы слышать твое имя без конца, хотел бы, чтобы его называли все люди, все звери, все горы, все звезды, чтобы я был глух ко всему остальному и мог слышать только твое имя, как бесконечную музыку, которая раздавалась бы в моих ушах день и ночь — всю мою жизнь. Я хотел бы установить новую клятву в честь тебя, клятву для всех народов земли только в честь тебя. И если я согрешил бы при этом против Господа, и Он предостерег бы меня, то я ответил бы Ему: «Засчитай мне этот грех, я заплачу за него своей душой, когда придет время, когда пробьет час...»

«Как все странно складывается! Я повсюду встречаю только одни препятствия, а между тем я все тот же, у

меня те же силы, та же жизнь. Передо мной открыты те же возможности, я могу совершать те же дела, но почему же я вдруг остановился, почему для меня вдруг все возможности стали невозможными? Неужели я сам виноват в этом? Но не знаю, в чем заключается моя вина. Я владею всеми своими чувствами, у меня нет никаких вредных привычек, я не подвержен ни одному пороку и я не бросаюсь слепо навстречу опасности. Я думаю, как прежде, чувствую, как прежде, владею своей волей и оцениваю людей, как раньше. Я иду к Марте, я знаю, что в ней мое спасение, она — мой добрый гений, мой ангел-хранитель. Она боится, ей очень страшно, но, наконец, она соглашается и желает того же, чего и я. Прекрасно. Я мечтаю о счастливой и мирной жизни, мы удаляемся от света и живем в одиночестве, в хижине на берегу ручья, мы бродим по лесу, она в коротком платье, а я в башмаках с пряжками, — я совершенно примеряюсь к требованиям ее сентиментального и доброго сердца. Почему бы и нет? Ведь Магомет пришел к горе! И Марта идет со мной, Марта наполняет мои дни чистотой, а ночи покоем, и Всевышний охраняет нас.

Но в это вмешивается свет, свет возмущается, свет находит, что это безумие. Свет говорит, что такой-то благоразумный человек и такая-то женщина не поступили бы подобным образом, следовательно, это безумие. И я стою один против всех, я топаю ногой и повторяю, что это благоразумно! Что знает свет? Ничего. Люди привыкают только к чему-нибудь, принимают что-нибудь и признают, потому что это уже раньше признал какой-нибудь учитель. Все на свете одно лишь предположение, даже время, пространство, движение, материя — все одно лишь предположение. А люди ничего не знают, они только принимают...»

На мгновение Нагель закрыл лицо рукой и покачал головой, словно у него все кружилось перед глазами. Он стоял посреди комнаты.

«О чем же это я думал?.. Хорошо, она боится меня, но ведь мы все-таки сговорились с ней. И я чувствую в глубине души, что я сделал бы ее счастливой до конца дней. Я хочу порвать со светом, я отсылаю ему кольцо обратно, я бродил, как глупец среди других глупцов, я делал глупости, я даже играл на скрипке, и толпа кричала мне: «Хорошо рыкаешь, лев!»

Мне делается тошно, когда я вспоминаю этот невыразимо пошлый триумф, когда мне рукоплескали людоеды.

Я не хочу больше конкурировать с каким-нибудь телеграфистом, я удаляюсь в Долину Мира и превращаюсь в мирного обитателя лесов, я поклоняюсь своему Богу, распеваю песенки, делаюсь суеверным, бреюсь только во время прилива и сообразуюсь с криком тех или иных птиц, засеваю свое поле. А когда я, устав от работы, поднимаю свою голову, то вижу мою жену, которая стоит в дверях хижины и ласково кивает мне головой, и я благословляю, и благодарю ее за каждую ее ласковую улыбку... Марта, ведь ты согласилась, не правда ли? И ты дала слово, ты сама захотела дать мне слово, когда я тебе объяснил все. И все-таки все рушилось. Тебя увезли, тебя захватили врасплох и увезли — не на твою, а на мою погибель...

Дагни, я не люблю тебя, ты преградила мне все пути, я не люблю твоего имени, оно раздражает меня, я искажаю его, я называю тебя Дангни и при этом высываю язык, выслушай меня ради Христа. Я приду к тебе, когда пробьет мой час, и я умру, я явлюсь перед тобой на фоне белой стены с лицом, как у трефового валета, и я буду преследовать тебя в виде скелета, плясать вокруг тебя на одной ноге и своим прикосновением парализовывать твои руки. Да, я это сделаю, я это сделаю! Да спасет меня Бог от тебя теперь и навеки, то есть пусть тебя черт возьмет — я горячо и искренне желаю этого...

Ну, так что же из этого? Что же из этого в конце концов? Я все-таки люблю тебя, Дагни, и ты знаешь, что я люблю тебя, несмотря ни на что, и что я раскаиваюсь в каждом моем горьком слове.

Но что же из этого? Какая мне польза от этого? Кроме того, кто знает, что все это к лучшему, то я согласен с этим, я чувствую то же, что и ты, я странник, которого остановили на его пути. Но если бы даже ты захотела порвать со всеми другими и связать свою судьбу с моею — чего я совсем не заслуживаю, но все-таки допустим это, — то к чему бы это привело? Ты захотела бы помочь мне совершить мои подвиги, осуществить мою задачу, — но, говорю тебе, мне стыдно, мое сердце перестает биться от стыда при мысли об этом. Я исполнил бы твое желание, потому что я люблю тебя, но в глубине души я страдал бы от этого... Однако, что пользы делать одно предположение за другим, предполагать невозможное? Ты не захотела бы порвать со всеми другими, связать себя со мною, ты злорадствуешь, глумишься надо мной, высмеиваешь меня, — какое же мне дело до тебя? Точка».

Пауза. Запальчиво:

«А, впрочем, знай, что я выпью эту жидкость и пошлю тебя ко всем чертям. Как глупо с твоей стороны думать, что я люблю тебя, что я причиняю себе это беспокойство теперь, когда мой час так близок. Я ненавижу твое мещанское существование, такое приглаженное, прифранценное и пустое. Я ненавижу его, видит Бог, и меня наполняет благородное негодование, когда я думаю о тебе. Что сделала бы ты из меня? Хе-хе, я готов поклясться, что ты сделала бы из меня великого человека. Хе-хе, это ты побереги для священников! А мне в душе стыдно за твоих великих людей...

Великий человек! Сколько есть на свете великих людей! Во-первых, существуют великие люди в Норвегии, это самые великие. Затем есть великие люди во Франции, в стране Гюго и других поэтов. Потом следуют великие люди в стране Барнума. И все эти великие люди копошатся на земном шаре, который в сравнении с Сириусом не более спины какой-нибудь вши. Но великий человек — это не маленький человек, великий человек не живет в Париже, а *пребывает* в Париже. Великий человек стоит на такой высоте, что может видеть поверх своей собственной головы. Лавуазье просил, чтобы отложили его казнь до тех пор, пока он не окончит одного химического исследования, — это то же самое, что просьба: не наступайте на мои чертежи! Хе-хе, что за комедия, когда даже Евклид со своими аксиомами не увеличил ценности существования хотя на один эре! О, каким жалким, невзыскательным и негордым сделали люди мир Божий!

Люди создают великих людей совершенно случайно из каких-нибудь самых случайных профессионалов, которым удалось усовершенствовать электрические аккумуляторы; или у которых были достаточно здоровые мускулы, чтобы проехать через всю Швецию на велосипеде. Да, и этих великих людей заставляют писать книги для того, чтобы поклоняться великим людям! Хе-хе, нет, это презабавно, за это стоит прямо заплатить! В конце концов, каждая община будет иметь своего великого человека, юриста, романиста, полярного путешественника необычайной величины. И земля делается такой плоской и ровной, что будет прямо наслаждением окидывать ее взором...

Дагни, теперь настал мой черед: я злорадствую, я высмеиваю тебя, я издеваюсь над тобой! Какое тебе дело до меня? Ведь я никогда не буду великим человеком...

Но предположим, что на свете существует невероятное множество великих людей, целый легион гениев такой-то и такой-то величины, почему не допустить этого? Напротив, чем больше чего-нибудь, тем это становится более обыкновенным.

Или же не поступать так, как поступает весь свет? Свет всегда остается верен себе, он принимает то, что уже раньше было принято, он восхищается, преклоняется и бегаёт за великими людьми с криками «ура». И мне поступать так же? Комедия, комедия! Великий человек идет по улице, один прохожий толкает другого в бок и говорит: «Вон идет такой-то и такой-то великий человек». Великий человек сидит в театре, одна учительница щиплет другую за высохшую ляжку и шепчет: «Вот там, в угловой ложе, сидит такой-то и такой-то великий человек». Хе-хе! А он, что делает, великий человек? Он благосклонно принимает эту дань. Да, он принимает. Он находит, что люди правы, он принимает их внимание как нечто должное, он даже не краснеет и благосклонно принимает его. И почему бы ему краснеть? Разве он не великий человек?

Но молодой студент Эйсн не согласился бы с этим. Он сам собирается сделаться великим человеком, ведь он во время каникул пишет роман. Он опять попрекнул бы меня моей непоследовательностью: господин Нагель, вы непоследовательны, поясните ваше мнение!

И я пояснил бы ему свое мнение.

Однако молодой Эйсн не удовлетворился бы этим, он спросил бы: в таком случае, великих людей совсем нет?

Да, он спросил бы это даже после того, как я объяснил бы ему свое мнение. Хе-хе, такой вывод он сделал бы из моего ответа. Но я все-таки постарался бы развить ему мою мысль, насколько умею, я оседлал бы своего конька и сказал бы: дело в том, что великих людей целый легион! Но величайших людей немного,— да, очень мало. Вот в этом-то вся и разница.

Вскоре в каждой общине будет свой великий человек, но величайший человек, может быть, не появится даже и в целое тысячелетие. Под великим человеком люди подразумевают просто талант, гений, а гений, Боже ты мой, понятие весьма демократическое: столько-то фунтов бифштекса каждый день дают гениев в третьем, пятом, десятом поколении. Гений в общеупотребительном значении не представляет собой ничего невероятного, перед гением останавливаешься, но он не поражает. Представьте

себе следующее: в ясный звездный вечер вы стоите в обсерватории и смотрите в телескоп на созвездие Ориона. Вдруг вы слышите, как Фарнлей говорит: «Здравствуйте, здравствуйте!» Вы оглядываетесь, Фарнлей низко кланяется, в дверь вошел великий человек, господин из угловой ложи. И, не правда ли, вы слегка улыбаетесь и снова обращаетесь к созвездию Ориона? Это раз случилось со мною... Вы меня поняли? Я хочу сказать: обыкновенным великим людям, при виде которых простые смертные толкают друг друга локтями в бок, я предпочитаю маленьких неизвестных гениев, юношей, которые умирают в раннем возрасте, потому что их убивает величие их души, я предпочитаю этих нежных, ярко сверкающих светлячков, с которыми приходится встречаться, пока они еще живы, и потому только и знаешь, что они существовали. Вот каков мой вкус. Но самое главное, утверждаю я, это — уметь отличать величайшее от великого гения, поставить величайшее на такую высоту, чтобы оно не потонуло в *пролетариат* гениев. Я хочу видеть гения из гениев на подобающем ему месте, так сделайте же выбор, заставьте меня преклониться, откажитесь от местных гениев, найдите наивысшее...

На это молодой Эйен скажет, — о, я знаю его, он, наверное, скажет: «Но ведь все это только одна теория, парадоксы».

Но я не в состоянии видеть в этом только теорию, я прямо не в состоянии. Видит Бог до какой степени мне все представляется в другом свете. Не сам ли я виноват в этом? Я хочу сказать: не сам ли я лично виноват в этом? Я чужой, я чужестранец в здешнем мире, я — каприз Бога, называйте меня как хотите...»

С возрастающим пылом:

«И я говорю: мне совершенно безразлично, как меня называют. Я все равно никогда в жизни не сдамся. Я стискиваю зубы, ожесточаю свое сердце, потому что знаю, что я прав, если бы мне даже пришлось стоять одному против всего света, то я все-таки не сдамся! Я знаю то, что я знаю, в глубине души я прав; иногда бывают мгновения, когда я чувствую бесконечную связь во всем.

Я должен сказать еще нечто, о чем забыл: я не сдаюсь, я разобью все ваши глупые мнения относительно великих людей. Молодой Эйен утверждает, что мои доводы — одна только теория. Хорошо, если это так, то я приведу другие доводы, которые еще лучше первых, ибо я ничего не боюсь. И я говорю... подождите немного, я уверен, что могу сказать нечто еще более веское, потому что сердце мое



полно справедливости, я говорю: я презираю великого человека из угловой ложи, для меня он не более как паяц и глупец, мои губы подергивает презрительная усмешка, когда я вижу его выпяченную грудь и победоносное выражение его лица. Разве великий человек обязан самому себе тем, что он гений? Разве он не родился уже гением? Зачем же в таком случае кричать ему «ура»?

Но молодой Эйен спрашивает: «Ведь вы сами хотели видеть гения из гениев на подобающем ему месте? Ведь вы восхищаетесь гением из гениев, который точно так же неповинен в том, что он — гений?»

И молодой Эйен думает, что снова уличил меня в непоследовательности — вот как все представляется ему. Но я снова отвечаю ему, потому что святая правда говорит во мне: да, я и не преклоняюсь перед гением гениев, я даже отрекаюсь от него, если это необходимо для того, чтобы очистить землю.

Гением гениев восхищаются за его величие, за то, что он представляет собою предел гениальности — как если бы это было его собственной заслугой, как если бы он не принадлежал всему человечеству и буквально представлял собою достояние материи. Что гений гениев случайно завладел частицей гениальности своего отца, своего сына, своего внука и своего правнука и таким образом обобрал свой род на несколько столетий, в этом нет личной заслуги гения гениев. Он нашел в себе гения, понял его предназначение и не дал ему заглухнуть... Теория. Нет, это не теория, заметьте, что это мое внутреннее убеждение! Но если вы и это считаете за теорию, то я постараюсь найти еще новый выход, и я приведу еще третье, и четвертое, и пятое уничтожающее возражение, и сделаю это настолько хорошо, насколько могу это сделать, но я не сдамся.

Но молодой Эйен также не хочет сдаваться, потому что он имеет за собой весь свет, и он говорит: «В таком случае вы никем не восхищаетесь, ни одним великим человеком, ни одним гением!»

И я отвечаю ему, и ему становится все более и более не по себе, потому что он сам собирается сделаться великим человеком. Но я снова окатываю его холодной водой и отвечаю: нет, я не преклоняюсь перед гением. Но я преклоняюсь перед результатом деятельности гения на земле, для которой великий человек служит лишь необходимым оружием, так сказать, жалким шилом,

предназначенным для сверления... Ну, что? Теперь вам все ясно? Теперь вы поняли меня?»

Внезапно протягивая руки вперед:

«О, я вдруг снова увидел бесконечную внутреннюю связь всех явлений! Как это ослепительно, как ослепительно! Великая разгадка явилась предо мною в это мгновение посреди пола! Для меня не было больше ничего загадочного, я заглянул в самую бездну. Какой ослепительный блеск!»

Пауза.

«Да, да, да, да! Я чужой среди человечества, и скоро пробьет мой час. Да, да... В сущности, какое мне дело до великих людей? Никакого! Все великие люди — это одна комедия, обман и шарлатанство. Хорошо! Но не все ли вообще на свете комедия, шарлатанство и обман? Конечно, конечно, все один лишь обман. И Камма, и Минута, и все люди, и любовь, и жизнь — все обман! Все, что я вижу, и что я слышу, и что я воспринимаю — все обман! Даже синева небес — это озон, яд, обманчивый яд... А когда небо очень ясное и синее, тогда я медленно плыву в своей ладье, и она скользит вперед в этом синем обманчивом озоне. И ладья из ароматного дерева, а парус...

Дагни сама сказала, что это так прекрасно.

Дагни, ты это сказала, и я благодарю тебя за это и за то, что ты сделала меня счастливым тогда. Мое сердце затрепетало от радости. Я помню каждое слово, я ношу его в своем сердце и вспоминаю, когда хожу по дорогам и раздумываю надо всем, я ничего не забываю... И вот ты победишь, когда пробьет мой час. Я не хочу больше преследовать тебя и не явлюсь тебе на фоне белой стены, ты должна простить мне, что я так говорил, мною овладело чувство мести. Нет, я буду приходить к тебе и обвевать тебя белыми крыльями во время твоего сна, и буду следовать за тобою, когда ты проснешься, и нашептывать тебе на ухо много ласковых слов. Может быть, ты улыбнешься мне, если услышишь меня, — да, может быть, ты улыбнешься. А если у меня не будет белых крыльев, если мои крылья, может быть, не будут достаточно белы, то я попрошу Божьего ангела сделать это вместо меня. А сам я не буду подходить к тебе, я буду стоять в углу, в отдалении, и смотреть, не улыбнешься ли ты ему. Да, я это сделаю, если это только будет в моих силах, и я постараюсь исправить хоть сколько-нибудь то зло, которое я причинил тебе.

О, каким счастьем наполняется мое сердце, когда я только думаю об этом, и как мне хотелось бы иметь возможность сделать это сейчас же. Может быть, я могу порадовать тебя каким-нибудь другим чудесным образом? Я буду петь над твоей головой каждое воскресенье утром, когда ты будешь отправляться в церковь, но об этом я также попрошу ангелов. А если ангел не захочет этого сделать и не послушается меня, то я упаду перед ним на колени и буду молить его так страстно, что он наконец услышит меня. Я пообещаю ему что-нибудь хорошее за это, и я дам ему что-нибудь и постараюсь оказать множество услуг, лишь бы он смилостивился... Да, да, я этого добьюсь, и я горю от нетерпения поскорее начать, меня охватывает восторг, когда я только думаю об этом. Но теперь уж и недолго осталось ждать, я сам ускорю наступление этого часа, и я с радостью жду его... Подумать только, что вдруг исчезнет весь туман, ла-ла-ла-ла...»

Весь охваченный счастьем и в состоянии экзальтации, Нагель сбежал с лестницы и вошел в столовую. Он все еще пел.

Но тут одна маленькая случайность внезапно положила конец его веселому возбуждению и огорчила его на несколько часов. Он напевал и торопливо завтракал, стоя у стола и не садясь, хотя он был не один в столовой. Но, заметив, что двое других гостей стали бросать на него недовольные взгляды, он сейчас же извинился: если бы он заметил присутствие их раньше, то он держал бы себя тише. В такие дни он ничего не видит и ничего не слышит. Что за великолепное утро! И как славно жужжат мухи!

Но он не получил никакого ответа, оба посетителя продолжали сидеть с такими же недовольными лицами и с достоинством разговаривали о политике. Настроение Нагеля сразу понизилось. Он умолк и тихо вышел из столовой. Выйдя на улицу, он зашел в лавку, запасся сигарами и, по своему обыкновению, направился в лес. Была половина двенадцатого.

«Как, однако, люди остаются верны себе! Вот хоть бы взять этих двух адвокатов, или торговых агентов, или помещиков, или как их там?.. Они сидели в столовой и разговаривали о политике, и лица у них были такие злые и надутые только потому, что он позволил себе попеть от радости в их присутствии. И с каким умным видом они жевали свой завтрак, не терпя, чтобы кто-нибудь мешал им. Хе-хе, как у того, так и другого было брюшко и

короткие жирные пальцы, салфетки они себе заткнули за ворот под самым подбородком. В сущности, он должен был бы вернуться в гостиницу и посмеяться немного над ними.

Кем могли бы быть эти высокорожденные господа? Торговые агенты, торгующие крупами или американскими кожами, а может быть, просто глиняной посудой, кто знает? Да, есть перед чем удивляться! И все-таки им удалось-таки в одно мгновение уничтожить его радостное настроение. И внешность-то у них была не Бог знает какая! Впрочем, один из них был еще куда ни шло, но другой — тот, что торгует шкурами, — у него был совсем кривой рот, который открывался только на одну сторону и походил на петлицу. А в ушах у него были целые пучки седых волос. Тьфу, что за противное существо! Но не правда ли, когда такой человек сидит в столовой, то разве можно выражать свою радость пением!

Да, люди всегда остаются верны себе. Это верно. Они говорят о политике, они обсуждают последнее назначение: «Слава Богу, Бусверуда можно еще спасти для правой!» Хе-хе, какое наслаждение было наблюдать за их тупыми лицами, когда они говорили это! Словно норвежская политика — не что иное, как птичья премудрость и мужицкий клей! Хе-хе, мужицкий клей!

Но, черт возьми, да не распевай же веселых песен! Вот за это тебе и попало. Держи ухо востро: член стортинга Ола размышляет, он изучает. Но над чем он, собственно, размышляет? Не размышляет ли он о том, какое политическое предложение ему внести завтра? Хе-хе, облеченное доверием лицо в крошечном мирке Норвегии, человек, избранный народом для того, чтобы подавать реплики, участвуя в комедии страны и выступая с жевательным табаком за щекой в священном национальном костюме и бумажном воротнике, размякшем от честного пота. Прочь с дороги перед избранником народа! Посторонитесь, черт возьми, чтобы ему было достаточно простора!

О, Господи Боже ты мой, как эти круглые, жирные нули увеличивают число!

Впрочем, точка. К черту все нули, все это шарлатанство до такой степени надоедает в конце концов, что не хочется больше и дотрагиваться до него. Лучше уйти в лес и лечь под открытым небом, там больше места, больше простора для чужого среди людей и для порхающих птиц... Можно найти себе укромное местечко, лечь плашмя в сырое место в болоте и радоваться тому, что тебя всего приниживает

сырость. Уткнешься головой в тростник и жирные листья, а насекомые и червячки и маленькие, нежные ящерицы ползают по твоему платью, заползают к тебе на лицо и смотрят на тебя своими зелеными блестящими глазками, и в то же время вокруг тебя раздается шелест листвы, и тебя обвеивает немым покоем неподвижного воздуха, а там сверху сидит Господь Бог и смотрит на тебя вниз как на Свой самый капризный каприз. Хо-хо, тебя охватывает какое-то особенное настроение, тебя пронизывает какая-то неведомая дьявольская радость, какой ты еще никогда не испытывал. Тебя наполняет какое-то безумие, и ты смешиваешь правое с неправым, переворачиваешь весь свет вверх дном и радуешься, словно ты совершил похвальное дело.

Почему бы и нет? Когда находишься под таким странным влиянием, то невольно подчиняешься ему, позволяешь увлечь себя на зло, как бы ожесточившись. Испытываешь неудержимое стремление возвыситься до небес все то, над чем до сих пор насмехался и что поносил, радуешься тому, что чувствуешь себя способным одержать победу в защиту вечного мира, у тебя является желание учредить комиссию для усовершенствования обуви почтальонов, замолвив словечко за Понтуса Викнера, и выступить в защиту вселенной и Бога. К черту внутреннюю связь между явлениями, она уже не интересует тебя больше, ты машешь на нее рукой, и дело с концом! Хо-хо, не правда ли, даешь волю своим чувствам, настраиваешь свою арфу и распевашь псалмы и песни, так что гул раздается кругом!

С другой стороны, даешь полную волю своим чувствам и отдаешься во власть какому-то хаосу. Пусть тебя несет, пусть несет! Так приятно без сопротивления отдаться этому хаотическому настроению! И зачем сопротивляться? Хе-хе, нельзя ли разрешить замешкавшемуся страннику провести последнее мгновение так, как ему самому хочется? Да или нет? Точка. И ты проводишь эти мгновения так, как тебе это заблагорассудится.

Однако можно было бы сделать что-нибудь полезное, можно было бы употребить свое влияние на пользу внутренних государственных задач, на пользу японского искусства или Халлингдальской железной дороги, в пользу чего бы то ни было, лишь бы использовать свое влияние и содействовать чему-нибудь.

Тебе приходит вдруг в голову, что такой человек, как И.Хансен, тот уважаемый портной, у которого ты когда-то

купил сюртук для Минуты, что этот человек имеет за собой огромные заслуги как гражданин и человек, начинаешь питать к нему глубокое уважение и наконец проникаешься к нему любовью. Но почему ты любишь его? Из каприза, из упрямства, из какой-то ожесточенной радости, потому что тебя охватывает какое-то странное настроение, которому ты отдаешься. Ты шепотом выражаешь ему свое восхищение, искренне желаешь ему всякого благополучия, а уходя от него, суешь ему в руку свою собственную медаль за спасение. Почему бы этого и не сделать, раз отдаешься странным влияниям? Но этого мало, начинаешь еще раскаиваться в том, что когда-то непочтительно отзывался о члене стортинга Ола! И тут только окончательно отдаешься во власть самому упоительному безумию, хо-хо, как ему отдаешься!

Чего только не сделал Ола из стортинга для государства! Мало-помалу у тебя раскрываются глаза на его верную и честную деятельность, и сердце твое смягчается, ты трогаешься до глубины души и начинаешь рыдать и плакать из сострадания к нему, и даешь клятву в глубине своей души вознаградить его вдвойне и втройне. Мысль об этом старике из страждущего народа наполняет твое сердце таким глубоким состраданием, что ты готов завывать. Чтобы вознаградить Ола, ты начинаешь чернить всех других людей, весь свет, ты наслаждаешься тем, что отнимаешь все у других и отдаешь ему, выискиваешь самые изысканные и самые прекрасные слова, чтобы только возвеличить его. Кончаешь тем, что утверждаешь, будто Ола совершил все самое важное на земле, что он написал единственное сочинение о спектральном анализе, что он один в 1719 году вспахал все американские прерии, что он изобрел телеграф, в довершение всего побывал на Сатурне и пять раз разговаривал с Богом. Прекрасно знаешь, что Ола ничего этого не делал, но из-за беспредельной доброты ты утверждаешь все-таки, что он сделал это, и ты плачешь, бранишься и клянешься, обрекая себя на самые ужасные муки ада, что именно Ола и не кто другой сделал все это.

Почему ты это делаешь? Из доброты, чтобы вознаградить Ола сторицей! И вдруг ты начинаешь распевать, чтобы вознаградить Ола еще больше, ты поешь развратные и богохульственные песни и утверждаешь, что Ола создал мир и поставил солнце и звезды на их места и затем держит всю вселенную в порядке, и к этому ты прибавляешь целый ряд ужаснейших клятв, утверждая,

что это истинная правда. Одним словом, ты позволяешь своим мыслям дойти до опьяняющей распушенности в смысле доброты сердечной, до утонченного злоупотребления клятвами и богохульства. И каждый раз, когда тебе приходит в голову нечто действительно неслыханное, ты подтягиваешь колени кверху и хихикаешь от радости, что тебе удалось так хорошо вознаградить Ола. Да, пусть Ола получит все, Ола это заслужил, потому что ты непочтительно отзывался о нем и теперь раскаиваешься в этом».

Пауза.

«Как это было? Не сказал ли ты раз ужаснейшую пошлость об одном теле, которое... да, о мертвом теле... Постой-ка, это касалось одной молодой девушки, которая умерла и с благодарностью вернула Господу свое тело, которым она не воспользовалась. Ах, да, это была Мина Меек, теперь я вспомнил, и я готов сгореть от стыда. Чего только не болтаешь зря, на ветер, а потом раскаиваешься и готов забыть от стыда, который до боли пронизывает тебя! Правда, это слышал только Минута, но мне стыдно перед самим собой. Не говоря уже о том, что я раз сморозил еще и не такую чепуху — и этого я никогда не забуду — относительно эскимоса и бювара.

Нет, не надо вспоминать этого. Господи, от этого можно хоть сквозь землю провалиться!.. Тише, закались, к черту угрызения совести! Думай о том, что настанет день, когда все праведники всех народов соберутся в царствии небесном. И ты будешь среди них! О, Боже, до чего все это скучно! Господи, как все это скучно...»

Придя в лес, Нагель бросился на первую попавшуюся полянку, поросшую вереском, и спрятал лицо в руки. Что за смятение в его мозгу, что за хаос самых невероятных мыслей! Немного спустя он заснул. Не прошло и четырех часов с тех пор, как он встал, но, несмотря на это, он заснул глубоким сном, смертельно измученный и утомленный.

Наступил уже вечер, когда он проснулся. Он оглянулся кругом: солнце садилось за паровой мельницей в бухте, а птички порхали с дерева на дерево и щебетали. Голова его была в полном порядке, не осталось и следа сумбурных мыслей, никакой горечи, он был совершенно спокоен. Он прислонился к стволу дерева и задумался. Совершить это сейчас? Почему бы и нет? Нет, ему надо еще привести в порядок кое-что, написать письмо сестре, оставить Марте небольшую память в конверте — сегодня вечером ему еще нельзя умереть. Да и в гостинице он еще не уплатил свой счет. О Минуте также ему хотелось бы позаботиться...

И он медленно направился в гостиницу. Но завтра вечером это должно свершиться, в полночную пору, без всяких приготовлений, просто и быстро.

Пробило уже три часа утра, а он все еще стоял у окна своей комнаты, устремив взор на базарную площадь.

## ГЛАВА XIX

---

На следующую ночь около двенадцати часов Нагель вышел наконец из гостиницы. Он не сделал никаких особенных приготовлений, он написал только своей сестре и вложил немного денег в конверт для Марты, его чемоданы, футляр от скрипки и старое кресло, которое он купил, находились на своих прежних местах. Несколько книг валялись на его столе. Хозяину гостиницы он также не уплатил, он совершенно забыл об этом. Уходя из дому, он попросил Сару стереть пыль с подоконников к его приходу, и Сара обещала это сделать, несмотря на то, что это было среди ночи. Он тщательно вымыл себе лицо и руки и только тогда ушел.

Он все время был совершенно спокоен, им овладела даже какая-то вялость. Господи, есть ли из-за чего трубить в трубы и поднимать шум! Годом раньше, годом позже, это не имеет никакого значения, к тому же с этой мыслью он уже давно примирился. А теперь он окончательно устал от всех своих разочарований, своих несбывшихся надежд, от всей этой комедии, этого ежедневного обмана со стороны всех людей.

Он еще раз подумал о Минуте, для которого также оставил конверт с небольшой суммой денег, несмотря на то, что его недоверие к этому несчастному калеке никогда не покидало его. Он вспомнил фру Стенерсен и подумал о том, что эта больная, страдающая астмой женщина обманывает своего мужа у него же на глазах и никогда ничем не выдает себя. У него мелькнула мысль о Камме, этой маленькой алчной женщине, которая протягивала к нему свои предательские руки и преследовала его всюду, куда бы он ни уезжал, чтобы иметь только возможность шарить в его карманах и брать еще и еще. На востоке и на западе, у себя на родине и за границей, он повсюду встречал одних и тех же людей; все так пошло, так ложно, так бесстыдно-коварно, начиная с нищего, носящего здоровую руку на повязке, и кончая голубым небом, представляющим собой лишь озон. А сам он, разве он



лучше? Нет, нет, сам он ничуть не лучше! Но теперь он уже близок к развязке.

Он пошел по набережной, чтобы еще разок посмотреть на суда; а когда он проходил мимо последней пристани, то вдруг снял с пальца железное кольцо и бросил его в море. Он видел, как оно упало далеко от берега. Ну вот, хоть в последнюю минуту делаешь маленькую попытку освободиться от шарлатанства!

У домика Марты Гуде он остановился и в последний раз заглянул в окна. Там, по обыкновению, все было тихо и спокойно, никого не было видно.

— Прощай! — сказал он.

И он пошел дальше.

Сам того не замечая, он пошел по направлению к усадьбе священника. Он заметил это только тогда, когда сквозь поредевшие деревья стал виден двор усадьбы. Он остановился. Куда он идет? Зачем он пришел сюда? Бросить последний взгляд на два окна во втором этаже, в тщетной надежде увидеть лицо, которое никогда не показывалось, никогда, — нет, туда не надо идти! Правда, он все время намеревался это сделать, но он этого не сделает. С минуту он постоял на месте и долго не сводил взора с усадьбы священника, он колебался, его сердце молило его...

— Прощай! — сказал он.

Он круто повернул и пошел по боковой дорожке, ведущей в глубь леса.

Теперь надо идти куда глаза глядят и остановиться на первом попавшемся месте. Главное, никаких преднамеренных расчетов, никакой сентиментальности. До чего только не дошел Карльсен в своем смешном отчаянии! Да и стоит ли это маленькое дело таких торжественных приготовлений!..

Он замечает вдруг, что на одном башмаке у него развязался шнурок, и он останавливается, ставит ногу на кочку и тщательно завязывает шнурок. Немного спустя он садится.

Он сел совершенно бессознательно, не отдавая себе в этом отчета. Он осмотрелся кругом: высокие ели, со всех сторон высокие ели, кое-где кусты можжевельника, земля покрыта вереском. Хорошо, хорошо!

Затем он вынимает свой бумажник. Он вкладывает в него письма к Марте и Минуте. В особом отделении лежит носовой платок Дагни, завернутый в бумагу. Он вынимает его, целует несколько раз, опускается на колени и снова целует платок, и после этого медленно рвет его на мелкие

куски. Все это занимает у него довольно много времени. Уже час, половина второго, а он все еще продолжает без конца рвать эти крашенные клочки, оставшиеся от платка. Наконец от платка остались почти одни только нитки, он собирает их и прячет под камнем, прячет как можно лучше, чтобы никто не мог найти, и снова садится. Ну, теперь, кажется, все сделано.

И он старается припомнить, не забыл ли чего-нибудь, но ничего не может вспомнить. Тогда он заводит свои часы, которые он обыкновенно заводил каждый вечер, ложась спать.

Он осматривается по сторонам. В лесу очень темно, он нигде не замечает ничего подозрительного. Он прислушивается, задерживает дыхание и слушает — не слышно ни одного звука, птицы молчат, ночь тиха и неподвижна, все погрузилось в мертвый покой. И он засовывает пальцы в карман жилета и вынимает оттуда маленький пузырек.

В пузырьке стеклянная пробка, пробка покрыта тройным бумажным колпачком, плотно перевязанным синей аптекарской бечевкой. Он развязывает бечевку и вынимает пробку. Жидкость прозрачна, как вода, и издает легкий миндальный запах. Он подносит пузырек к глазам, пузырек наполнен до половины. В эту минуту до него доносится издали какой-то странный звук, два замирающих гулких удара: это городские часы пробили два. Он шепчет: «Час пробил!» И он быстро подносит пузырек ко рту и опорожняет его.

В первую минуту он продолжает сидеть прямо, с закрытыми глазами, с пустым пузырьком в одной руке и пробкой в другой. Все это произошло так незаметно и просто, что он не успел отдать себе ни в чем отчета. Но немного спустя мысли его начали снова работать, он открыл глаза и растерянно посмотрел кругом. Всего этого — этих деревьев, этого неба, этой земли — он никогда больше не увидит! Как это странно! Яд уже проник в его жилы, он заполняет все мелкие сосуды, скоро начнутся судороги, а вслед затем он превратится в неподвижный, застывший труп.

Он ясно чувствует горький вкус во рту, и язык его все более и более стягивается. Он начинает делать бессмысленные движения руками, чтобы убедиться, насколько смерть успела уже овладеть им, потом считает деревья вокруг себя, насчитывает до десяти и бросает это. Неужели же он действительно умрет? Умрет в эту ночь? Нет, нет! Не в эту ночь! Ах, как все это странно!

Да, он умрет, он так ясно чувствует в своих внутренностях действие кислоты. Но почему же теперь, почему сейчас? О, Боже, пусть это не свершится сейчас! Нет, нет, только не сейчас! Неужели же надо умереть сейчас? Какой туман начал уже застилать его глаза! Какой гул раздается в лесу, хотя ветра совсем нет! И почему над верхушками деревьев проносятся красные облака?.. Ах, только не сейчас, не сейчас! Нет, слышишь, нет! Что же мне делать? Я не хочу умирать! О, Боже милостивый, что мне делать?

И вдруг в его мозгу с непреодолимой силой начинают работать самые разнообразные мысли. Он еще не может умереть, он не приготовился к смерти, он должен предварительно еще окончить тысячу всевозможных дел, — и мозг его пылает от сознания всего того, что ему надо еще выполнить перед смертью. Он не уплатил еще свой счет в гостинице, он совсем забыл об этом, да, видит Бог, это непростительная рассеянность с его стороны, и он должен исправить это упущение! Нет, смерть должна пощадить его еще только на эту ночь! Да, он просит пощады только на один час, немногим более, чем на один час!

Великий Боже, он забыл также написать еще одно письмо, еще несколько строк одному человеку в Финляндию относительно своей сестры, всего ее состояния!.. Мозг его работал в состоянии этого ужасного отчаяния с таким напряжением, что он вспомнил даже о различных газетах, на которые он абонировался. Он не дал знать, что прекращает свою подписку, и газеты будут постоянно приходить, они наводнят его комнату от пола до самого потолка. Что же ему теперь делать! Ведь он уже наполовину мертв!

Он обеими руками вырывает вереск, бросается плашмя на землю и старается избавиться от яда, засовывает себе пальцы в горло, но все тщетно.

Нет, он не хочет умирать, он не хочет умирать в эту ночь, и завтра также нет, он совсем не хочет умирать, он хочет жить, он вечно хочет видеть солнце. Он не допустит, чтобы эти несколько капель яда остались в его организме, он извергнет их прежде, чем они убьют его, да, да, он извергнет их во что бы то ни стало!

Обезумев от страха, он вскакивает и начинает бегать по лесу, отыскивая воду. И он кричит: «Воды, воды!» И эхо далеко разносит по лесу его крики. Несколько минут он, как безумный, мечется во всех направлениях, наты-

кается на древесные стволы, перепрыгивает через кусты можжевельника и громко стонет. Но воды он нигде не находит. Наконец он спотыкается и падает ничком, при падении его руки зарываются в землю, поросшую вереском, и он чувствует слабую боль в одной щеке. Он пытается двинуться, встать, но падение ошеломило его, он снова опускается на землю, и слабость все более и более овладевает им, и он уже больше не встает.

Ну, что же делать, надо покориться! О, Господи Боже, так, значит, он все-таки умрет! Может быть, если бы у него хватило сил найти воды, он мог бы еще спастись! О, как все грустно кончилось, а было время, когда он мечтал совсем о другом! Теперь ему предстоит умереть от яда под открытым небом! Но почему его тело еще не начало коченеть? Он может двигать пальцами, открывать глаза... Как это долго тянется, как это мучительно долго тянется!

Он проводит рукой по лицу, оно холодное и совершенно мокрое от пота. Он упал на лицо, вниз головой, он так и остается лежать и уже больше не шевелится. Каждый член его тела дрожит еще, он разорвал себе щеку и не обращает внимания на то, что из раны течет кровь. Как долго это тянется, как бесконечно долго! Он лежит терпеливо и ждет. Снова слышит он, как бьют башенные часы в городе, пробило три. Это поражает его; неужели же он целый час прожил с ядом в крови и до сих пор еще не умер? Он приподнимается на локте и смотрит на свои часы: да, три часа. Как это, однако, долго тянется!

Да, пожалуй, это все-таки хорошо, что он теперь умирает; и вдруг он вспомнил о Дагни, вспомнил, как он хотел каждое воскресенье утром петь над ее головой и делать ей много добра. При этой мысли его охватила радость, и у него выступили слезы на глазах. Он расчувствовался и с тихими слезами и молитвой стал перебирать в уме все, что будет делать для Дагни. О, как он будет оберегать ее от всего дурного! Может быть, уже завтра он прилетит к ней и будет возле нее. О, Боже, если бы он мог это сделать уже завтра, чтобы она проснулась в самом радостном настроении! Как это было нехорошо с его стороны, что он еще минуту назад не хотел умирать, зная, что он может доставить ей радость. Да, теперь он раскаивается в этом и просит у нее прощения. Он не понимает, где были раньше его мысли?

Но теперь она может положиться на него, он всеми силами души стремится прилететь к ней в комнату и стать у ее постели. Через несколько часов, может быть, уже

через час, он будет там, да, он будет там. И ему, наверное, удастся упротить какого-нибудь Божьего ангела исполнить это, он пообещает ангелу за это много хорошего. Он скажет ему: «Я не бел, ты можешь это сделать, ибо ты бел, и за это ты можешь сделать со мной все, что хочешь. Ты смотришь на меня, потому что я черен! Да, конечно, я черен, но чему же тут удивляться? И я охотно соглашусь оставаться черным еще долгое-долгое время, лишь бы ты оказал мне милость, о которой я тебя прошу. Я могу оставаться черным лишней миллион лет, и даже быть еще чернее, если только ты потребуешь этого. И за каждое воскресенье, которое ты будешь петь для нее, мы можем прибавлять еще по миллиону лет, если ты только пожелаешь этого. Я не лгу, я предложу тебе еще многое другое за это, я не пожалею ничего, только услышь меня! Ты не полетишь один, я буду вместе с тобой, я понесу тебя на своих крыльях, я с радостью сделаю это и не запачкаю тебя, хотя я и черен. Я сделаю все, чтобы избавить тебя от труда. Не могу ли я также подарить тебе что-нибудь из того, что мне принадлежит? Может быть, тебе пригодится мой подарок. Я всегда буду помнить об этом, когда мне будут дарить что-нибудь. Может быть, счастье мне улыбнется, и мне удастся подарить тебе много хорошего, как знать?..»

Да, в конце концов, ему, наверное, удастся уговорить Божьего ангела сделать это, он в этом уверен...

Снова бьют башенные часы. Он почти бессознательно считает четыре удара и уже не задумывается больше над этим. Главное, надо быть терпеливым.

Затем он сложил руки и стал молиться о том, чтобы смерть пришла скорее, через несколько минут, тогда он успеет еще прилететь к Дагни до ее пробуждения. Он стал бы благодарить за это всех и восхвалять все на свете, это будет великая милость, и теперь это его единственное заветное желание...

Он закрыл глаза и заснул.

Он проспал три часа. Когда он проснулся, солнце светило прямо на него, и вокруг него раздавалось неумолкаемое и веселое щебетание птиц. Он поднялся и осмотрелся кругом. Вдруг он вспомнил все, что было с ним ночью, пузырек лежал еще рядом с ним, и он вспомнил, как горячо под конец молил Бога о том, чтобы смерть пришла скорее. А он все еще жив! Снова какое-то непредвиденное обстоятельство стало ему поперек дороги!

Он ничего не понимал, напрасно он ломал себе голову над этой загадкой, он сознавал только, что все еще жив!

Он встал, поднял пузырек и прошел несколько шагов. Да, повсюду он встречает одни препятствия, как бы он ни был искренен в своих намерениях! Что случилось с ядом? Ведь это была настоящая синильная кислота, доктор сказал, что этого достаточно, более чем достаточно. Да ведь у него на глазах от одного лишь глотка моментально околела собака в усадьбе священника. Это тот же самый пузырек, он был наполовину наполнен, он помнил, что своими собственными глазами убедился в этом. И пузырек этот никогда не бывал в чужих руках, он всегда носил его в кармане своего жилета. О, что за тайное проклятие преследует его на каждом шагу!

И вдруг, точно молния, у него в мозгу пронеслась мысль о том, что пузырек все-таки побывал в чужих руках. Он остановился и невольно прищелкнул пальцами. Сомнения нет, этот пузырек пробыл у Минуты в продолжение целой ночи, он вспомнил, что после своей холостой пирушки отдал Минуте свой жилет; пузырек, часы и несколько бумаг оставались в кармане. На следующий день рано утром Минута возвратил ему все эти вещи. О, этот старый, придурковатый урод снова проявил свое коварное добросердечие! Что за остроумие, какая хитрая проделка!

Нагеля охватила досада, и он стиснул зубы. Что он говорил тогда ночью у себя в комнате? Разве он не заявил самым определенным образом, что у него не хватит мужества самому воспользоваться этим ядом, а этот лицемерный и придурковатый урод сидел тут же рядом с ним на стуле и позволил себе втихомолку не верить его словам! Этаким негодяй! Проныра! Он пошел прямо от него домой, вылил из пузырька содержимое, вероятно, даже выполоскал его хорошенько после этого, и затем наполнил до половины водой. И после этого подвига он преспокойно улегся и проспал до самого утра.

Нагель пошел по направлению к городу. Он немного отдохнул и теперь отдавал себе ясный отчет во всем, и на душе у него было очень горько. Ночной инцидент унизил его и сделал смешным в собственных глазах: подумать только, ведь ему даже казалось, что эта вода издает миндальный запах, ему казалось, что от этой воды у него стянуло язык! Он чувствовал даже, как его охватило смертельным холодом от этой воды! И он бесновался и метался по всему лесу, прыгая, как козел, через пни и камни из-за глотка самой обыкновенной колодезной воды.

Вне себя от гнева и стыда он остановился и громко крикнул, но он сейчас же боязливо оглянулся, испугавшись, что кто-нибудь мог его услышать, и начал напевать что-то, чтобы скрыть свое замешательство.

По мере того, как он продвигался вперед, настроение его становилось все мягче под влиянием теплого солнечного утра и неумолкаемого пения птиц. Навстречу ему попала телега, парень, сидевший в ней, поздоровался с ним, и Нагель ответил на его поклон. Собака, бежавшая рядом с возом, ласково помахала хвостом и посмотрела ему прямо в лицо... Но почему же ему не удалось умереть в эту ночь честно и благородно?

Он все не мог успокоиться, вспоминая об этом, ведь его уже охватил покой, и он искренне радовался, что скоро настанет конец, он чувствовал радость до тех пор, пока не закрыл глаза, и его не начала одолевать дремота. Теперь Дагни уже встала, может быть, она уже вышла из дому, а он ничем не мог порадовать ее. Какое унижительное чувство охватывало его при мысли о том, что он был так позорно одурачен!

Минута прибавил еще одно доброе дело к бесконечному списку своих добрых дел, он оказал ему услугу, он спас ему жизнь — он сделал для него именно то, что он сам когда-то сделал для чужого человека, для несчастного, который не хотел спускаться на берег в Гамбурге. Тогда-то он и заслужил свою медаль за спасение, хе-хе, *заслужил* медаль за спасение. Да, спасаешь людей, не задумываясь даже над тем, что делаешь доброе дело, — недолго думая, идешь и спасаешь человека от смерти!

Охваченный стыдом перед самим собой, он тихонько пробрался в свою комнату и опустился на стул.

В комнате было чисто и уютно, окна были протерты, и на них висели чистые занавеси. На столе стоял букет полевых цветов. Никогда у него раньше в комнате не бывало цветов, этот сюрприз вызвал в нем радостное удивление, и он стал потирать себе руки. Какая приятная неожиданность как раз в такой день. Какое милое внимание со стороны несчастной служанки в гостинице. Что за добрая душа эта Сара! Да, это утро действительно какое-то особенно радостное и светлое. Даже у всех людей там внизу на площади лица сияют от счастья, продавец гипсовых изделий сидит за своим столом и спокойно покуривает трубку, несмотря на то, что не продал ни на один эре товара. Может быть, это вовсе уж не так нехорошо, что его безумные планы не удались ему в эту

ночь? Он с ужасом подумал о том страхе, который пережил, когда метался по лесу в поисках воды, его и теперь еще охватывала дрожь, когда он вспоминал это, и, спокойно сидя в уютной, светлой комнате, в которую врываются целые снопы солнечных лучей, он вдруг почувствовал, что спасен от всего злого, и это сознание наполнило его блаженством. А кроме того, ведь в его распоряжении всегда остается хорошее и надежное средство, к которому он еще не прибегал! В первый раз каждого может постигнуть неудача, на так-то легко умереть, но ведь существует еще маленький шестизарядный револьвер, который в случае надобности можно получить в первом попавшемся оружейном магазине. Что отложено, то не потеряно...

В дверь постучала Сара. Она слышала, что он пришел, и хочет сказать, что завтрак подан. Когда она повернулась, чтобы уйти, он окликнул ее и спросил, не от нее ли цветы.

Да, от нее, не стоит благодарности.

Но он все-таки пожал ей руку.

Она спросила с улыбкой:

— Где вы пропадали всю ночь? Ведь вас всю ночь не было дома!

— Знаете,— ответил он ей,— с вашей стороны это так мило, что вы поставили мне цветы, вы и окна вымыли, и повесили чистые занавеси сегодня ночью. Не могу сказать, как вы порадовали меня этим и как я вам благодарен за это!

И вдруг его охватило то безумное настроение, когда он безвольно поддавался минутному капризу, и он говорит:

— Послушайте, у меня была с собой шуба, когда я приехал сюда. Бог знает, куда она девалась, но я знаю наверное, что у меня была шуба, и я хочу подарить ее вам. Да, да, я это делаю из благодарности. Я это твердо решил — шуба ваша!

Сара разразилась громким смехом. На что ей шуба?

Да, она права, но это уж ее дело, пусть только она ее примет, пусть примет ее и доставит ему это удовольствие...

И ее чистосердечный смех заразил и его, и он также начал смеяться. Он начал шутить с ней: Боже, какие у нее великолепные плечи! Но может ли она себе представить, ведь ему удалось раз видеть ее в такую минуту, когда она и не подозревала об этом. Это было в столовой, она стояла на столе и вытирала потолок, он подсматривал в дверную щель. Юбка у нее была высоко подобрана, и



он видел ее ногу, верхнюю часть ноги, да, он видел пол-локтя очень красивой ноги. Хе-хе-хе! Но, чтобы не забыть... он еще до наступления вечера подарит ей браслет, он сделает это через два часа, она может поверить ему. А кроме того, пусть она не забывает, что шуба принадлежит ей...

Что за странный человек, уж не сошел ли он с ума? Сара смеялась, но все его странные причуды начали внушать ей страх. Третьего дня, когда прачка принесла ему белье, он дал ей гораздо больше денег, чем ей следовало получить, сегодня он дарит ей свою шубу. Недаром по городу ходят разные слухи о нем.

## ГЛАВА XX

---

Да, он сошел с ума, он сошел с ума! В этом не было никакого сомнения, потому что Сара предлагала ему кофе, молоко, чай, предлагала ему пиво и все, что только приходило ей в голову, но он все-таки встал из-за стола, едва успев сесть, и не дотронулся до завтрака. Он вдруг вспомнил, что как раз в это время Марта всегда приходила на рынок со своими яйцами, может быть, она уже вернулась. Какое было бы счастье, если бы ему удалось повидать ее сегодня, именно сегодня. Он снова идет в свою комнату и садится у окна.

Вся рыночная площадь перед его глазами, но Марты он нигде не видит. Он ждет полчаса, час, внимательно наблюдает за всеми углами, но все напрасно. В конце концов все его внимание сосредоточивается на сцене, происходившей у крыльца почтовой конторы и привлечшей много любопытных: в кольце, образуемом зрителями, среди пыльной улицы он видит Минуту, который прыгает и пляшет. Минута без сюртука, свои башмаки он также снял, он пляшет и беспрестанно вытирает пот со лба, а окончив, он собирает со зрителей свои зре. Да, Минута снова принялся за свою прежнюю деятельность, он снова начал плясать на рыночной площади.

Нагель ждет, пока Минута окончит и народ разойдется, потом он посылает за ним. И Минута является на его зов, как всегда почтительно, с наклоненной головой и опущенными глазами.

— У меня есть к вам письмо,— говорит Нагель.

И он дает ему письмо, сам засовывает его глубоко в карман его сюртука и начинает говорить с ним:

— Вы привели меня в большое смущение, мой друг, вы меня обманули, провели меня за нос так ловко, что я восхищаюсь вами, хотя ваша проделка и раздосадовала меня. Есть ли у вас теперь время? Помните, я вам как-то раз обещал дать одно объяснение? Так вот, теперь я хочу исполнить свое обещание, я нахожу, что время для этого настало. Но не позволите ли сперва спросить вас: вы слышали, что обо мне говорят в городе, будто я сошел с ума? Должен успокоить вас, я не сошел еще с ума, да это вы и сами видите, не правда ли? Я не отрицаю, что за последнее время находилась в несколько тревожном состоянии, у меня были кое-какие неприятности, и довольно серьезные, так пожелала судьба. Но теперь я снова здоров, и все пришло в порядок. Прошу вас не забывать этого... Пожалуй, будет напрасным предложить вам выпить чего-нибудь?

Нет, Минута ничего не хотел.

— Так я и знал... Одним словом: я полон недоверия к вам, Грегорд. Вы, конечно, понимаете, на что я намекаю. Вы меня так хорошо провели, что я и не пытаюсь больше скрывать этого. Вы одурачили меня в очень серьезном деле, и все это только с самыми бескорыстными целями с вашей стороны, из доброты сердечной, если хотите, но, так или иначе, а вы это сделали. Этот маленький пузырек побывал в ваших руках?

Минута искоса смотрит на пузырек и ничего не отвечает.

— В нем был яд, его вылили и наполнили пузырек до половины водой, сегодня ночью я убедился в том, что в нем была одна только чистая вода.

Минута продолжает упорно молчать.

— Конечно, в этом поступке нет ничего особенно дурного. Тот, кто это сделал, руководствовался только добрыми побуждениями, он именно хотел предотвратить зло. Но это сделали вы.

Пауза.

— Не правда ли?

— Да,— отвечает наконец Минута.

— И с вашей точки зрения это было правильным, но я смотрю на это дело иначе. Зачем вы это сделали?

— Я думал, что, может быть, вы захотите...

Пауза.

— Да, вот видите ли! Но вы ошиблись, Грегорд, ваше доброе сердце ввело вас в заблуждение. Разве я не заявил самым определенным образом в ту ночь, когда вы взяли

с собою яд, что у меня не хватит мужества употребить его?

— Но я все-таки боялся, что вы, может быть, сделаете это. И вот вы это сделали.

— Я это сделал? Что вы болтаете? Хе-хе, сами вы попались в ловушку, дорогой мой! Да, я действительно в эту ночь опорожнил пузырек, но заметьте: я не отведал сам содержимого.

Минута с удивлением посмотрел на него.

— Вот видите, вы сами остались в дураках! Идешь ночью гулять, спускаешься с пристани, встречаешь кошку, которая мечется и извивается, бегая по набережной в страшных мучениях. Останавливаешься и начинаешь наблюдать за кошкой: оказывается, что ей попало что-то в горло, у нее застрял в горле крючок от удочки, она кашляет и извивается, но крючок не двигается ни взад ни вперед, а из горла у нее идет кровь. Хорошо, берешь кошку и пробуешь как-нибудь освободить ее от крючка, но от боли кошка не может оставаться спокойной, она вертится и в бешенстве даже запускает когти тебе в щеку, наносит рану, какую вы видите, например, на моей щеке. Между тем кошка начинает задыхаться, а кровь все время идет у нее из горла. Что тут делать? Пока размышляешь над этим, башенные часы бьют два, слишком поздно, чтобы кого-нибудь позвать на помощь, потому что пробило два часа ночи. Но тут вдруг вспоминаешь, что в кармане у тебя есть маленький пузырек с ядом, у тебя является счастливая мысль положить конец мучениям несчастного животного, и ты вливаешь содержимое пузырька ему в глотку. Кошка думает, что ей в горло влили какую-то ужасную жидкость, она вся съеживается и дико озирается кругом, и вдруг делает страшный прыжок, вырывается у тебя из рук, прыгает и снова начинает извиваться и метаться по набережной. В чем же дело? А дело в том, что в пузырьке была одна вода, которая не могла убить, а лишь увеличила страдания. Между тем кошка продолжает бегать с крючком в горле, оставляя везде позади себя кровавые следы. Рано или поздно она истечет кровью или задохнется и околеет где-нибудь одна, в каком-нибудь углу, без всяком помощи.

— Я сделал это с добрым намерением,— говорит Минута.

— Конечно! Все, что вы делаете, вы делаете с добрым и честным намерением. В этом отношении вас никогда нельзя поймать, так что ваша благородная и деликатная

проделка с моим ядом не представляет ничего нового для нас. Но возьмем для примера то обстоятельство, что вы только что плясали на рыночной площади. Я стоял у окна и смотрел на вас, я вовсе не упрекаю вас за то, что вы сделали это, я только спрашиваю вас, зачем вы сняли башмаки? Ведь теперь на вас надеты башмаки, зачем же вы сняли их, когда начали плясать?

— Чтобы не испортить их.

— Ну, конечно, так я и думал! Я знал, что вы ответите так, потому я и спросил вас. Вы — сама непогрешимая правдивость, обутая в пару башмаков, вы самая чистая душа во всем городе. Все в вас прекрасно и бескорыстно, в вас нет ни сучка ни задоринки. Когда-то я хотел испытать вас и за деньги побудить вас признать себя отцом чужого ребенка. Несмотря на то, что вы очень бедны и несомненно нуждались в этих деньгах, вы сейчас же отказались от моего предложения. Ваша душа возмутилась при одной только мысли о таком грязном поступке, и я ничего не мог добиться от вас, хотя и предлагал вам двести крон. Если бы я тогда знал то, что знаю теперь, я не стал бы оскорблять вас так грубо. Тогда у меня еще не было ясного представления о вас, но зато теперь я знаю, что по отношению к вам надо быть в одно и то же время сдержанным и осторожным.

Ну хорошо, однако вернемся к тому, о чем мы начали говорить... То обстоятельство, что вы пляшете босиком, не стараясь обратить на это внимание публики, не считаясь с болью, которую вы испытываете при этом, и даже не жалуясь, — очень характерно для вас. Вы не ноете, вы не говорите: посмотрите, я снимаю обувь, чтобы не испортить ее, и принужден это делать, потому что я ужасно беден! Нет, вы действуете, если можно так выразиться, молча. Это ваш принцип — никогда ни у кого ничего не просить, ведь вы все-таки добиваетесь того, чего хотите, но рта вы не раскрываете. Вы неуязвимы как по отношению к другим, так и по отношению к самому себе в своем собственном сознании. Я отмечаю эту черту вашего характера и иду дальше, но имейте терпение, я дойду в конце концов до объяснения...

Вы как-то сказали о фрекен Гуде нечто такое, о чем я часто потом думал, вы сказали, что, может быть, она вовсе не так недоступна, если только умеючи приняться за дело, — по крайней мере, вы кое-чего добились у нее...

— Нет, это уж...

— Вот видите, я помню это. Это было в тот вечер, когда мы сидели вдвоем и пили,— то есть я пил, а вы только смотрели. Вы сказали, что Марта,— да, вы называли ее просто Мартой, и вы тут же рассказали, что она всегда называет вас Иоганнесом,— ведь не правда ли, я не сочиняю, она всегда называет вас Иоганнесом? Вот видите, я помню, что вы и это рассказывали мне. Да, так вы сказали, что Марта даже зашла так далеко, что позволяла вам по отношению к ней то и другое, и при этом вы сделали пренебрежительный жест рукой...

Минута вскакивает, лицо его пылает, и он прерывает громким голосом:

— Этого я никогда не говорил! Никогда не говорил я этого!

— Вы этого не говорили? Это еще что? Так вы в самом деле не говорили этого? А что, если я позову Сару и попрошу ее засвидетельствовать, что она находилась во время нашего разговора в соседней комнате и что она слышала каждое слово сквозь эти тонкие стены? Нет, на что это похоже! Но теперь все мои планы уничтожаются тем, что вы отказываетесь от ваших слов. А мне так хотелось порасспросить вас кое о чем, это меня очень интересует, и я часто думал об этом. Но раз вы отказываетесь от своих слов, то что тут делать? Между прочим, прошу вас сесть и не убегать сломя голову, как в прошлый раз. К тому же это вам не удастся, я запер дверь.

Нагель закуривает сигару и в это время вдруг останавливается, как бы вспомнив что-то.

— Но Боже ты мой! — говорит он, — как мог я так ошибиться! Господин Грегорд, прошу вас, простите меня, вы совершенно правы, вы этого никогда не говорили. Забудьте это, дорогой друг, это другой сказал мне, а не вы, теперь я вспомнил, я слышал это недели две назад. Как мог я хоть на одно мгновение поверить, что вы выдадите даму — и прежде всего самого себя — да еще таким образом! Не понимаю, как могло мне это прийти в голову? Я, должно быть, действительно не совсем-то в своем уме... Но имейте ввиду, что я сейчас же сознаюсь, когда ошибаюсь, и я прошу вас простить меня. Следовательно, я еще не сошел с ума, не правда ли? Если же я говорю немного бессвязно, запутанно, то не думайте, что я делаю это намеренно, я вовсе не хочу заговорить вас и выпытать у вас что-нибудь, не думайте этого. Это тем более невозможно, что вы сами почти не произносите ни

слова. Нет, я говорю так странно и необдуманно только потому, что в настоящую минуту у меня такое настроение, вот и все. Простите это уклонение в сторону. Может быть, вы теряете уже терпение и хотите поскорее услышать объяснение?

Минута молчал. Нагель встает и начинает в возбуждении ходить по комнате от окна к двери. Вдруг он останавливается и говорит устало и апатично — ему все надоело:

— Нет, мне противно продолжать эту игру с вами, я скажу вам совершенно откровенно, чего я добивался! Я говорил с вами так запутанно до этого самого мгновения с определенной целью: я хотел выведать от вас кое-что. Я пытался достигнуть этого на все лады, но это ни к чему не привело, и мне надоела эта игра. А теперь я дам вам обещанное объяснение, Грегорд! Я искренне убежден в том, что в глубине души вы негодай. В глубине души вы негодай!

Минута начал дрожать, и в глазах его появилось беспомощное и страдальческое выражение, и он растерянно озирался кругом, в то время как Нагель продолжал:

— Вы не говорите ни слова, вы не выходите из роли. Мне не удастся сдвинуть вас с места, вы представляете собою какую-то немую силу редкого свойства. Я восхищаюсь и чрезвычайно интересуюсь вами! Помните, как я раз целый вечер говорил с вами и, между прочим, гипнотизировал вас взглядом и уверял, что вы вздрагивали? Это я делал только для того, чтобы напасть на след. Я не спускал с вас глаз и пытался напасть на след различными путями, но почти всегда безуспешно, я сознаюсь в этом, ибо вы неуязвимый человек. Но я никогда ни одного мгновения не сомневался в том, что в вас скрывается большой грешник того или иного рода. У меня нет никаких улик против вас, к сожалению, у меня нет улик, а потому вы можете быть совершенно спокойны — все останется между нами.

Но понимаете ли вы, почему я так уверен в правдивости своего предположения, раз у меня нет никаких улик и доказательств? Нет, этого вам не понять. И все-таки у вас есть привычка опускать голову, когда мы говорим о чем-нибудь. В глазах у вас бывает странное выражение, и вы мигаете ими, когда произносите определенные слова, или когда мы затрагиваем определенный вопрос, а кроме того, у вас голос, который напоминает какой-то шелест, о, этот голос! Но главным образом вы действуете на меня

антипатично всей вашей личностью, я чую ваше приближение в воздухе, и душа моя начинает дрожать от какого-то неприятного чувства. Вы этого не понимаете? Да и я также не понимаю этого, но это так. Клянусь, я и в эту минуту вполне убежден, что нахожусь на верном пути, но я не могу накрыть вас, потому что у меня нет доказательств. Я спрашивал вас в последний раз, когда вы были здесь, где вы находились шестого июня. Знаете, почему я вас спросил об этом? Шестое июня — это был день смерти Карльсена, и я до того времени думал, что вы убили Карльсена.

Минута повторяет совершенно пораженный:

— Что я убил Карльсена!

И затем снова молчит.

— Да, так я думал до тех пор. Я подозревал вас в этом, вот до чего довела меня уверенность в том, что вы так или иначе негодяй. Теперь я этого больше не думаю, я сознаю, что ошибался в этом отношении, я зашел слишком далеко и прошу вас простить меня. Верите вы мне или нет, но меня глубоко огорчило, что я был так страшно несправедлив к вам, и за это я несколько вечеров подряд просил у вас мысленно прощения, когда оставался один. Но, несмотря на то, что я в этом отношении так грубо ошибся, я все-таки продолжаю быть глубоко убежденным в том, что у вас нечистая и двуличная душа, — пусть Бог меня накажет, если это не так! Я чувствую это в самой глубине своего сердца, стоя здесь и глядя на вас, клянусь, это так! Почему я так в этом уверен? Заметьте: с самого начала у меня не было никакого основания думать о вас что-либо, кроме самого лучшего, и все, что вы после того делали или говорили, было хорошо и справедливо, и даже благородно.

Кроме того, мне снилось о вас нечто необыкновенно прекрасное: вы стояли посреди большого открытого болота и жестоко страдали от моих издевательств, но в то же время вы благодарили меня, бросились на колени передо мной и благодарили меня за то, что я не мучил вас еще больше и не причинял вам еще больше страданий. Вот что мне снилось о вас, и это было прекрасно. Во всем городе вы не найдете человека, который считал бы вас способным на что-нибудь дурное, вы пользуетесь прекрасной репутацией, и все симпатизируют вам — вот как удачно вы скрываете от всех ваш истинный нравственный облик. И все-таки в моих глазах вы — подлое и пресмыкающееся существо, у которого всегда наготове доброе

слово обо всех и у которого на каждый день припасен добрый поступок. Но разве вы оклеветали меня, причинили мне какое-нибудь зло, выдали тайны, касающиеся меня? Нет, нет, ничего подобного вы не сделали, и это именно ваша манера, ваш метод. Вы ко всем справедливы, вы никогда не делаете ничего дурного, вы святы, непогрешимы и чисты перед всеми людьми. И этого достаточно для света, только я с этим не считаюсь и всегда отношусь к вам с недоверием.

В первый же день, когда я увидел вас, со мной случилось нечто необыкновенное. Это было дня два спустя после того, как я приехал сюда, и произошло это ночью, в два часа. Я увидел вас перед домом Марты Гуде у набережной, я увидал вас вдруг посреди улицы и не успел даже заметить, откуда вы явились, вы ждали, дали мне пройти мимо вас, а когда я проходил мимо, то вы бросили на меня косою взгляд. Тогда я еще ни разу не разговаривал с вами, но какой-то внутренний голос заставил меня обратить внимание на вас, и этот же голос сказал мне, что вас зовут Иоганнесом. Пусть это будет моим последним словом в жизни, но уверяю, что внутренний голос подсказал мне, что вас зовут Иоганнесом, и что я должен обратить на вас внимание. И уже гораздо позже я узнал, что вас действительно так зовут. И с этой ночи я не выпускал вас из виду, но вы всегда ускользали из моих рук, мне так и не удалось припереть вас к стене. В конце концов вы все-таки подменили мне глоток яда исключительно из доброго и благородного опасения, что я, может быть, приму его. Как объяснить мне вам, какие чувства пробудило во мне все это? Ваша чистота озлобляет меня, все ваши прекрасные слова и поступки только отдаляют меня от моей цели: накрыть вас. Но я хочу сорвать с вас маску и заставить вас обнаружить вашу истинную натуру. Вся моя кровь застывает во мне от глубокой антипатии каждый раз, когда я вижу ваши голубые, лживые глаза, и я весь съеживаюсь перед вами и чувствую только одно — что вы предатель в глубине вашей души. Даже в это мгновение мне кажется, что вы внутренне смеетесь, да, вопреки сокрушенному выражению вашего лица и отчаянию, которое написано на нем, я чувствую, что в глубине души вы по-свински хохочете и издеваетесь над тем, что я ничего не могу сделать с вами, потому что у меня нет никаких улик.

И на это Минута не произнес ни слова. Нагель продолжает:



— Вы, конечно, думаете, что я разбойник и грубое животное, раз я бросаю вам все эти обвинения прямо в лицо? Хорошо, на это я не обращаю никакого внимания, думайте обо мне все что вам угодно. Но в глубине души вы прекрасно сознаете в эту минуту, что я вывел вас на чистую воду, и этого с меня достаточно. Но почему вы терпите и позволяете мне так относиться к вам? Почему вы не встанете, не плюнете мне в лицо и не уйдете своей дорогой?

Минута как будто пришел в себя, он поднял голову и сказал:

— Но ведь вы заперли дверь.

— Ага, ага,— ответил Нагель,— вот вы и проснулись! Так я и поверю, будто вы и в самом деле думаете, что дверь заперта! Дверь отперта — вот посмотрите, вот она стоит настежь! Я сказал, что она заперта, только для того, чтобы испытать вас, это была ловушка с моей стороны. Дело в том, что вы все время знали, что дверь отперта, но притворились, будто не знаете этого, и притворились вы только для того, чтобы иметь возможность сидеть здесь как всегда чистым и невинным и быть жертвой моей несправедливости. Вы и не подумали даже уйти из комнаты — нет, вы с места не двинулись. Едва только я дал вам понять, что подозреваю вас, и как вы наострили уши, вы хотели услышать, сколько именно я знаю, насколько я опасен для вас. Видит Бог, я знаю, что это так, и вы можете сколько угодно отрицать это, мне это все равно...

Но для чего я, собственно, затеял это объяснение с вами? Вы имеете полное основание задать мне этот вопрос, ведь может казаться, что все это ничуть не касается меня. Мой друг, это все-таки касается меня, хотя бы уже только потому, что я хочу предостеречь вас. Верьте мне, в эту минуту я искренне верю в то, что говорю. Так или иначе, но вы живете бесчестной жизнью, и до поры до времени вам удастся скрывать это, но в один прекрасный день личина спадет с вас, и каждый, кто захочет, будет попирать вас ногами. Это одно. А во-вторых, я предполагаю, что хотя вы это и отрицаете, но вы в более близких отношениях с фрекен Гуде, чем хотите это показать. Но какое мне дело до фрекен Гуде? Вы опять-таки правы. На такой вопрос я могу ответить только молчанием. До фрекен Гуде мне меньше дела, чем до кого бы то ни было. Но в качестве постороннего человека я все-таки имею право огорчаться тем, что вы, может быть, близко

знакомы с ней и заразите ее своей порочностью. Вот почему я имел с вами это объяснение.

Нагель снова закуривает сигару и говорит:

— Ну, а теперь я кончил, и дверь не заперта. Вас, может быть, обидели? Молчите или отвечайте, поступайте, как знаете, но если вы хотите отвечать, то дайте говорить вашему внутреннему голосу. Дорогой друг, позвольте мне сказать перед вашим уходом, что я отнюдь не желаю вам зла.

Пауза.

Минута встает, сует руку в карман своего сюртука и вынимает конверт. Он говорит:

— Теперь я не могу уж больше принять этого.

Это было для Нагеля неожиданностью, он совсем забыл о письме и сказал:

— Вы не хотите принять этого? Но почему же?

— Я не могу принять этого.

Минута кладет конверт на стол и идет к двери. Нагель берет конверт и идет за ним, глаза его полны слез, и его голос начинает вдруг дрожать.

— Возьмите это все-таки, Грегорд! — говорит он.

— Нет, — отвечает Минута. И он отворяет дверь.

Нагель снова затворяет дверь и говорит еще раз:

— Возьмите же, возьмите! Лучше я вам скажу, что я сошел с ума, чтобы вы забыли все, что я вам говорил сегодня. Я совсем сошел с ума, разве можно обращать внимание на то, что я болтал здесь целый час. Не правда ли, вы сами понимаете, что на мои слова нельзя обращать внимания, раз я не в полном уме? Но возьмите этот конверт, я не желаю вам зла, хотя я совершенно вне себя и ничего не понимаю больше. Ради Бога, возьмите это, — там немного, поверьте мне, это сущие пустяки, и мне так хотелось дать вам это, я давно думал об этом. У меня давно было желание написать вам это письмо и послать вам его с какой-нибудь безделицей, только бы было письмо. Это не более как привет. Да ну же, я буду так искренне благодарен вам!

С этими словами он сунул в руку Минуте конверт и отбежал к окну, чтобы тот не успел отдать его обратно. Но Минута не сдался, он снова положил письмо на стол и покачал только головой.

Он ушел.

Нет, ничего ему не удавалось. Сидел ли он у себя в комнате или бродил по улицам — он нигде не находил себе покоя. В голове его теснились самые разнообразные мысли, и каждая из них приносила свою частицу страдания. Но почему же все было против него? Он не мог понять этого, он все больше и больше запутывался в сетях. Дошло наконец до того, что ему так и не удалось заставить Минуту принять это письмо, которое он так хотел дать ему.

Все складывалось так грустно, ничего не удавалось. Ко всему этому присоединился еще и какой-то нервный страх перед чем-то неопределенным, словно его подстерегала какая-то тайная опасность. Он весь вздрагивал от смутного страха, стоило только занавесям шелохнуться от ветра. Что это за новые страдания, которые присоединились к старым? Его несколько резкие черты лица, никогда не отличавшиеся красотой, производили теперь еще менее выгодное впечатление: он давно уже не брился, и подбородок и щеки его покрылись щетиной. Ему самому даже показалось, будто его волосы за последние дни несколько поседели на висках.

Ну, так что же? Разве солнце не сияет, разве он не счастлив, что остался в живых и что может идти, куда ему вздумается? Солнечные лучи заливали площадь и море, птицы весело щебетали в маленьких садиках при домах и без усталости порхали с ветки на ветку. Все тонуло в золотых лучах, щебень на улицах казался золотой пылью, серебряный шар на шпице колокольни сверкал на фоне лазурного неба, словно громадный алмаз.

Его вдруг охватывает какая-то радостная экзальтация, он приходит в такой неудержимый и безотчетный восторг, что тут же раскрывает окно и бросает играющим на крыльце гостиницы детям несколько серебряных монет.

— Ведите себя хорошо, детки, — говорит он, с трудом произнося слова от охватившего его волнения.

Чего ему, собственно, страшиться? Да и вид у него вовсе не хуже обыкновенного, к тому же, кто может помешать ему сходить к парикмахеру, чтобы выбриться и привести в порядок свою наружность? Это зависит только от него самого. И он пошел к парикмахеру.

Кстати, он вспомнил, что ему надо сделать несколько покупок, как бы ему не забыть браслет, который он обещал подарить Саре. Полный жизнерадостного настроения, ве-

село напевая, он отправился в город по своим делам, весь охваченный какой-то детской беззаботностью. Это было одно лишь воображение, что он страшится чего-то.

Его прекрасное настроение не покидает его, и он весь отдается светлым мыслям. Правда, у него только что была неприятная сцена с Минутой, но она уже почти изгладилась из его памяти, она представляется ему каким-то смутным изом. Минута отказался принять его письмо, но ведь у него есть еще письмо к Марте.

Под влиянием потребности поделиться с кем-нибудь охватившим его восторгом, он принимает решение так или иначе отправить письмо по назначению. Но как ему это сделать? Он вынул свой бумажник и убедился в том, что письмо еще там. Нельзя ли переслать его Дагни так, чтобы она не знала, от кого оно? Нет, Дагни его послать нельзя. Он задумался, но решение сейчас же отправить письмо не покидало его. В конверте было несколько ассигнаций, ни записочки, ни слова. Не попросить ли доктора Стенерсена исполнить это поручение? И довольный тем, что ему в голову пришла эта мысль, он отправляется к доктору Стенерсену.

Было шесть часов.

Он стучит в дверь докторской конторы, она оказалась запертой. Он направляется к кухонной двери, чтобы узнать там, в чем дело, и в эту минуту его окликает из сада фру Стенерсен.

В саду за большим каменным столом сидела семья доктора и пила кофе. У них были гости, несколько дам и мужчин, среди дам также и Дагни Кьелланд, на ней была белая шляпа, отделанная маленькими белыми цветочками.

Нагель хочет повернуть обратно, но потом останавливается и бормочет:

— Я хотел доктора, доктора

Боже, уж не болен ли он?

Нет, нет, он совершенно здоров.

В таком случае, ему нельзя уходить.

Фру Стенерсен потянула его за рукав. Дагни даже поднялась с места и хотела предложить ему свой стул. Он посмотрел на нее, и их взоры встретились. Она встала и тихо сказала:

— Пожалуйста, возьмите мой стул!

Но он нашел свободное место рядом с доктором и сел там.

Этот прием несколько смутил его. Дагни ласково посмотрела на него и даже хотела уступить ему свой стул! Его сердце сильно билось. Что если он даст ей письмо к Марте?

Немного спустя он успокоился. Разговор был очень оживленный и быстро переходил с одной темы на другую, его светлое настроение снова овладело им, и его голос дрожал от внутреннего волнения. Ведь он жив, он не умер и не умрет! Вокруг стола, покрытого белоснежной скатертью и уставленного серебром, в этом зеленом, тенистом саду сидело общество веселых людей, которые смеялись и перекидывались сверкающими взорами: ну разве было хоть какое-нибудь основание отдаваться мрачному настроению?

— Если бы вы хотели быть очень любезным, то вы взяли бы свою скрипку и сыграли бы что-нибудь,— говорит фру Стенерсен.

Как это могло им прийти в голову!

Когда и другие начали просить его об этом, он громко засмеялся и сказал:

— Да ведь у меня даже и скрипки-то нет!

Но на это ему ответили, что можно послать за скрипкой к органисту — через минуту она будет здесь.

Нет, это ни к чему не приведет, он все равно не дотронется до нее. А кроме того, скрипка органиста совершенно испорчена маленькими рубинами на грифе, звук от этого стал стеклянным, нельзя было вставлять эти рубины в гриф — это было прямо невыносимо! Да он и не умеет вовсе владеть смычком и никогда не умел: не правда ли, ему самому это лучше знать... И тут он начал вдруг рассказывать, что с ним было, когда в первый и единственный раз его игра обсуждалась публично, это можно принять прямо за символ. Газета попала ему в руки вечером, когда он уже лежал в постели, он был тогда еще очень молод и жил у родителей, а рецензия о нем была в местной маленькой газете. О, как он был счастлив, читая о себе! Он несколько раз перечитывал заметку и наконец заснул, не потушив даже свечи. Ночью он проснулся, он чувствовал себя еще утомленным, свеча догорела, и в комнате было темно. На полу он видит что-то белое, а так как он знал, что в комнате у него стоит белая плевательница, то он и подумал: «Это, конечно, плевательница!» Неловко сказать, но он плюнул и услышал, что попал в плевательницу. Но, попав так метко в первый раз, он плюнул еще раз и снова попал. После этого он опять заснул. И что же, утром он убедился

в том, что плевал на драгоценную газету, он оплевал столь благосклонно написанный отзыв о нем! Хе-хе, это было очень печально!

Над этим все очень смеялись, и настроение этого маленького общества становилось все лучше. Вдруг хозяйка дома сказала:

— Но вы действительно сегодня несколько бледнее обыкновенного.

— Ах,— ответил Нагель,— это ровно ничего не значит, я прекрасно чувствую себя.

И он громко расхохотался над тем, что можно предположить, будто он не совсем здоров.

Но вдруг лицо его заливают густая краска, он встает со скамьи и говорит, что с ним действительно не все обстоит благополучно.

Он сам не понимает, почему это, но у него такое чувство, будто с ним должно случиться нечто неожиданное, и его даже охватывает какой-то безотчетный страх. Хе-хе, не правда ли, как это странно! Это прямо-таки смешно, и, конечно, это ровно ничего не означает, не правда ли? К тому же с ним и случилось кое-что.

Тут все стали просить его рассказать, что именно с ним случилось.

Да стоит ли? Это такие пустяки! Зачем же тратить время на это? Обществу надоеет слушать его.

Нет, никому не надоеет слушать его.

Но это так длинно. Если начинать сначала, то придется начинать с Сан-Франциско, с тех пор, как он однажды курил опиум.

Опиум? Ах, как это интересно!

— Нет, это скорее мучительно, потому что и теперь еще среди бела дня меня охватывает безотчетный страх перед чем-то. Не думайте, что я вообще курю опиум: я курил только два раза, причем второй раз не представляет никакого интереса. Но в первый раз я действительно пережил нечто замечательное, это правда. Я попал в так называемый «дэн». Как я туда попал? Совершенно случайно! Я брожу по улицам, встречаю людей, выбираю себе какого-нибудь человека, слежу за ним издали и смотрю, куда он в конце концов придет. Я не стесняюсь даже войти за ним в дом, подняться по лестнице, чтобы видеть только, куда он в конце концов пришел. В больших городах по ночам очень интересно ходить, иногда можно завести самые удивительные знакомства. Ну, об этом мы не будем говорить! Итак, я в Сан-Франциско и брожу по

улицам. Дело происходит ночью, передо мной идет высокая, худая женщина, и я не выпускаю ее из виду. При свете газовых фонарей, мимо которых мы проходим, я вижу, что на ней бедное платье, но на шее крест из зеленых камней. Куда она идет? Она проходит несколько кварталов, сворачивает из улицы в улицу и идет, все идет, а я следую за ней по пятам. И вот мы попадаем в китайский квартал, женщина спускается через растворенную дверь в подвальное помещение. Я следую за ней, она идет по длинному коридору, и я за нею. По правую руку от нас каменная стена, налево — кофейни, парикмахерские и прачечные. У одной двери женщина останавливается и стучит, в окошечке, вставленном в дверь, показывается лицо с раскосыми глазами, и вслед затем женщину выпускают. Я жду несколько минут, не двигаясь с места, потом и я стучу, дверь снова открывается, и меня также выпускают.

Комната наполнена дымом, раздаются громкие голоса. В стороне у прилавка стоит худая женщина и торгуется с китайцем в синей рубаше, свешивающей поверх штанов. Я подхожу ближе и слышу, что она хочет заложить свой крест, но при этом не хочет отдавать его, а желает сохранить у себя. Дело шло о двух долларах, но оказалось, что она уже раньше была должна кое-что, и в общем это составляло сумму в три доллара. Хорошо. Она волнуется, время от времени всхлипывает и ломает свои руки, и я нашел, что она очень интересна. Китаец в синей рубаше был также очень интересен, он ничего и слышать не хотел до тех пор, пока крест не будет у него в руках: деньги или крест!

— Я посижу здесь и подожду немного,— говорит женщина,— и я прекрасно понимаю, что в конце концов соглашусь на все. Но я не должна была бы делать этого!— И она раздражается рыданиями тут же, на глазах у китайца, и ломает руки.

— Чего вы не должны были бы делать? — спрашиваю я.

Но она слышит, что я иностранец, и не отвечает мне. Она была необыкновенно интересна, и я принимаю одно решение.

Я решил дать ей эти деньги, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я это сделал только из любопытства, и потом я сунул ей в руку еще один лишний доллар, чтобы посмотреть, на что она его употребит. Я был крайне заинтересован этим.

Она смотрит на меня большими глазами и благодарит, она ничего не говорит, но кивает только несколько раз головой и смотрит на меня полными слез глазами; а между тем я сделал это только из простого любопытства. Хорошо, она идет к прилавку, отдает деньги и требует себе сейчас же комнату. Она отдала все свои деньги.

Она уходит, и я следую за ней. Снова мы идем по длинному коридору, по обе стороны которого расположены пронумерованные комнаты, и в одну из них женщина проскальзывает и захлопывает за собою дверь. Я жду немного, но она не возвращается, я хочу отворить дверь, но дверь заперта.

Тогда я вхожу в соседнюю комнату и начинаю ждать. В комнате красный диван и звонок, она освещается стеной лампой. Я ложусь на диван, время тянется очень медленно, и мне становится скучно. Чтобы чем-то заняться, я нажимаю пуговку звонка и звоню. Мне ничего не нужно, но я звоню.

Входит мальчик-китаец, смотрит на меня и затем снова исчезает. Проходит несколько минут. «Вернись, дай мне еще раз посмотреть на тебя,— говорю я, чтобы чем-нибудь убить время.— Почему ты не возвращаешься?» И я снова звоню.

Мальчик возвращается, он двигается беззвучно, как дух, скользя в своих войлочных туфлях. Он ничего не говорит, и я тоже молчу, но он протягивает мне крошечную фарфоровую трубку с длинным, тонким стержнем, и я беру ее. Затем он подает мне огниво, и я закуриваю. Я не просил трубки, но я все-таки закуриваю. Немного спустя в ушах у меня начинает шуметь...

Больше я ничего не помню. Я чувствовал только, что поднимаюсь все выше и выше над землей, что я парю в воздухе. Вокруг меня было ослепительно светло, а облака, которые мне встречались, были белые. Кем я был и куда я летел? Я стараюсь вспомнить, но тщетно, я продолжаю лететь все выше и выше. Вдали я вижу зеленые луга, синие моря, долины и горы в золотистом сиянии, я слышу дивную музыку, доносящуюся со звезд, и все пространство вокруг меня наполняется волнами звуков. Но белые облака приводят меня в восхищение, они как бы пронизывают меня, я готов умереть от чувства блаженства. Это продолжается долго, и я не отдаю себе отчета во времени, я забыл, кто я. Но вдруг сердце мое пронизывает земное воспоминание, и я начинаю падать.

Я падаю, падаю, свет уменьшается, вокруг меня становится все темнее и темнее, я вижу уже под собою



землю и прихожу в себя: я вижу города, чувствую ветер и ощущаю дым. Но вдруг я останавливаюсь. Я оглядываюсь — вокруг меня сад. Я уже не чувствую блаженства, я наталкиваюсь на камни, и мне холодно. Под ногами у меня белое песчаное дно, а над собой я не вижу ничего, кроме воды.

Я проплываю небольшое расстояние мимо самых причудливых растений, мясистых зеленых листьев, морских цветов, которые беспрестанно покачиваются на своих стеблях: это целый немой мир, в котором не слышно ни единого звука, но где все живет и движется. Я плыву дальше и приплываю к коралловому рифу. Но кораллов на нем больше не было, риф весь обобран. Тогда я говорю себе: «Здесь уже был кто-то до меня». И, убедившись в том, что здесь уже был кто-то до меня, я перестаю чувствовать себя таким одиноким.

Я продолжаю плыть дальше, я хочу добраться до берега, но не успеваю сделать несколько движений руками, как останавливаюсь. Я останавливаюсь, потому что впереди меня на дне лежит человек. Это женщина, тело у нее длинное и худое, и оно лежит на камне в страшно истерзанном виде. Я дотрагиваюсь до нее и узнаю ее, но она мертва, и я никак не могу понять этого, но я хорошо узнаю ее по кресту с зелеными камнями. Я хочу плыть дальше, но останавливаюсь, чтобы изменить положение мертвой женщины. Она лежит, раскинувшись на большом камне, и ее поза производит на меня неприятное, жуткое впечатление, тем более, что глаза у нее широко раскрыты. Я переносу ее на белый песок, а когда взор мой падает на зеленый крест, то я прячу его под ее платье, чтобы рыбы не взяли его. Затем я плыву дальше...

Утром мне рассказали, что женщина эта умерла ночью, она бросилась в море, на берегу которого находился китайский квартал. Тело ее нашли только утром. Да, это очень странно, но она действительно умерла. «Может быть, я снова увижу ее, если я сделаю что-нибудь для этого», — подумал я. И я опять закурил опиум, надеясь увидеть ее, но я так и не увидел ее больше.

Как все это было странно! Но позже со мной случилось еще кое-что. Я вернулся в Европу, я был на родине. В одну теплую ночь я бродил по городу и спустился к гавани, где стал бродить около насосов. Я оставался там некоторое время и прислушивался к разговорам на судах. Царила мертвая тишина, насосы не работали. Под конец я устал, но домой мне все-таки не хотелось идти, потому что было

очень жарко. Я поднялся на сруб одного из насосов и уселся там. Но ночь была очень тиха и тепла, вскоре меня начало клонить ко сну, и я погрузился в тяжелый сон...

Меня разбудил голос, который звал меня. Я смотрю вниз, на камнях стоит женщина, она высокая и худая, когда пламя вспыхивает в газовом фонаре, я успеваю разглядеть, что она бедно одета.

Я кланяюсь ей.

— Идет дождь,— говорит она.

Неужели? А я и не знал, что идет дождь, но в таком случае нужно укрыться где-нибудь, и я схожу вниз. В эту минуту насосы начинают гудеть, в воздухе проносится лопасть и исчезает, снова проносится и исчезает — насосы в полном ходу. Если бы я не сошел вовремя вниз, то меня разорвало бы, от меня ничего не осталось бы. Это мне стало сейчас же ясно.

Я оглядываюсь кругом, начинает действительно накрапывать мелкий дождь. Между тем женщина стала удаляться от меня, я вижу ее перед собой и хорошо узнаю ее, даже зеленый крест был у нее на шее. Я узнал ее сейчас же, но притворился, будто не знаю ее. Теперь мне вдруг захотелось догнать женщину, и я пошел как можно быстрее, но мне так и не удалось догнать ее.

Она шла, как будто не касаясь земли ногами, она скользила, плыла в воздухе, не шевелясь. Наконец она свернула за угол и исчезла.

Это было четыре года назад.

Нагель умолк. Доктор едва удерживался от смеха, однако он сказал как можно серьезнее:

— И с тех пор вы так и не видали ее больше?

— Да, сегодня я снова увидел ее. Вот почему меня и охватывает время от времени безотчетное чувство страха. Я стоял у окна в своей комнате и смотрел на улицу, вдруг я вижу ее, она идет прямо на меня, пересекает рыночную площадь, как бы поднимаясь с набережной, с моря. Затем она останавливается под моими окнами и смотрит на меня, и я отошел от окна и подошел к другому, тогда она перевела глаза и снова устремила их на меня. Я поклонился ей, но когда, она увидела это, то сейчас же повернула обратно и пошла через площадь к пристани. Щенок Якобсен выбежал из гостиницы, весь ошестинившись, и начал лаять. Это произвело на меня впечатление. За этот долгий промежуток времени я почти совсем забыл

о ней, и вдруг она снова появилась сегодня. Уж не хотела ли она предостеречь меня от чего-нибудь?

Тут доктор расхохотался.

— Да, конечно,— сказал он,— она хотела вас предостеречь, чтобы вы не шли сегодня к нам.

— Без сомнения, она на этот раз ошиблась, на этот раз мне нечего опасаться. Но в первый раз меня убило бы лопастями насоса. Вот почему ее появление испугало меня немного. Так значит, это не предвещает ничего страшного? Хе-хе, да и странно было бы верить чему-нибудь подобному. Мне все это только смешно.

— Нервность и суеверие! — сказал доктор коротко.

Тут все начали рассказывать всевозможные истории, а часы проходили один за другим. День начал клониться к вечеру.

Нагель сидел молча все время, его стало знобить. Наконец он поднялся, чтобы уйти. Он решил, что неудобно беспокоить Дагни просьбой передать письмо, он отказался от этой мысли. Но, может быть, завтра ему удастся повидаться с доктором наедине, тогда он передаст ему письмо. Его радостное настроение совершенно исчезло.

К его величайшему изумлению, Дагни также поднялась, когда заметила, что он собирается уходить. Она сказала:

— Нет, вы рассказали так много страшного, что и мне стало жутко. Я хочу добраться до дому, пока еще не стемнело.

Они вышли из сада вместе. Нагеля охватила жгучая радость: теперь он может отдать ей письмо. Более удобного случая и не представится.

— Но ведь вы, кажется, хотели говорить со мной? — крикнул доктор ему вслед.

— Нет, это пустяки,— ответил он немного смущенно.— Я просто хотел повидать вас и... Мы уже так давно не виделись с вами. До свиданья!

Они шли по улице, обмениваясь незначительными фразами. Оба были взволнованы. Дагни заговорила о погоде — какой сегодня тихий вечер!

Да, тихий и теплый. Он тоже не мог найти никакой темы для разговора. Он шел и смотрел на нее. У нее были все те же бархатистые глаза, та же золотистая коса, свешивавшаяся на спину. В нем с новой силой вспыхнуло его чувство, ее близость опьяняла его, и он провел рукой по глазам. Она становилась все прекраснее и прекраснее с каждым разом, что он видел ее. Он забыл все, забыл ее издевательства над ним, забыл, что отняла у него Марту

и что она самым безжалостным образом старалась поймать его в ловушку при помощи своего носового платка. Он заставил себя отвернуться, чтобы не поддаться страстному порыву. Нет, на этот раз он выдержит характер, он уже два раза доводил ее до крайности, ведь он же мужчина! И он едва дышал, стараясь овладеть собою.

Они дошли до главной улицы, гостиница находилась направо. Казалось, будто Дагни хочет заговорить с ним. Он молча шел рядом с нею. Может быть, ему можно будет проводить ее через лес? Вдруг она взглянула на него и сказала:

— Благодарю вас за ваш рассказ! Вам все еще страшно? Да не бойтесь же!

Какая она добрая и ласковая сегодня. И вдруг он решил заговорить о письме.

— Мне очень хотелось бы попросить вас об одном одолжении,— сказал он.— Но разрешите ли вы мне это? Боюсь, что вы не пожелаете оказать мне услугу.

— Напротив, я это сделаю с величайшим удовольствием,— ответила она.

Она сделает это с удовольствием! Он сунул руку в карман и вынул письмо.

— Я хотел попросить вас передать это письмо. Это просто маленькое сообщение, нечто... Впрочем, тут нет ничего особенного, но... Это для фрекен Гуде. Может быть, вы знаете, где находится теперь фрекен Гуде? Ведь она уехала?

Дагни остановилась. Она посмотрела на него странным взглядом, ее голубые глаза как бы подернулись пеленой. С минуту она стояла совершенно неподвижно.

— Для фрекен Гуде? — спросила она.

— Да. Если бы вы захотели быть так любезны. Когда вам будет удобнее, это не к спеху...

— Да, да,— сказала она вдруг,— дайте его сюда, уж я доставлю фрекен Гуде письмо от вас.

И, спрятав письмо в карман, она кивнула головой и прибавила:

— Да, да, благодарю вас за сегодняшний вечер. Ну, а теперь мне надо идти.

Она еще раз взглянула на него и ушла.

Он продолжал стоять и не двигался. Почему она оборвала так резко? Когда она уходила, то посмотрела на него без злобы,— напротив. И все-таки она ушла так неожиданно! Вот она сворачивает на дорогу, ведущую в усадьбу священника... вот она исчезла...

Когда он уже не мог больше ее видеть, он повернул и пошел в гостиницу. На ней была белоснежная шляпа. И она так странно посмотрела на него...

## ГЛАВА XXII

---

Каким затуманенным взором она посмотрела на него! Он не понимал, что это означало. Но в следующий раз, когда он встретит ее, он постарается заглядить свое поведение, если он только в чем-нибудь провинился перед ней. Какая тяжесть у него в голове! Но, слава Богу, страшиться ему нечего, хоть в этом он может быть уверен.

Он сел на диван и начал перелистывать какую-то книгу, но читать он не мог. Он встал и в безотчетной тревоге подошел к окну. Он ни за что не сознался бы в этом даже самому себе, но он не решался посмотреть на улицу из страха, что глазам его снова представится какое-нибудь необычайное зрелище. Колени у него начали дрожать, что с ним такое? Он снова сел на диван и уронил книгу на пол. В висках у него стучало, и он чувствовал себя совершенно больным. Нет никакого сомнения, у него жар, две последние ночи, проведенные им в лесу, возымели свое действие, он простудился. Он почувствовал озноб уже в то время, когда сидел у доктора в саду.

Ну, да это пройдет. Он не привык обращать внимания на такие маленькие простуды. Он позвонил и велел подать коньяку, но коньяк не подействовал на него, даже не опьянил его, и он напрасно выпил несколько больших стаканов. Хуже всего было то, что в голове у него стало все путаться, он не был в состоянии ясно мыслить.

Однако как ухудшилось его состояние за какой-нибудь час. Что такое? Отчего занавеси колышутся, когда нет даже легкого ветерка? Уж не означает ли это чего-нибудь? Он снова встал и подошел к зеркалу, вид у него был расстроженный и больной: да, его волосы действительно поседели, а веки у него были воспаленные... Вам все еще страшно? Да не бойтесь же... Очаровательная Дагни! Ах, да, и шляпа у нее была белоснежная...

Кто-то стучит в его дверь, и вслед за тем входит хозяин. Хозяин принес, наконец, его счет, длинный счет на двух листах. Он улыбается и чрезвычайно любезен.

Нагель сейчас же берет свой бумажник и начинает искать в нем денег, и в то же время он спрашивает, весь

дрожа от смутного предчувствия, сколько должен, и хозяин отвечает ему. Впрочем, он может подождать до завтра, это не к спеху.

О, Боже, может ли он уплатить? Может быть, он вовсе не может уплатить? И Нагель ищет денег, но нигде не находит их. Что такое? Нежели у него нет больше денег? Он бросает бумажник на стол и начинает искать в карманах, он окончательно растерялся и беспомощно ищет повсюду, наконец он вынимает из кармана брюк какую-то мелочь и говорит:

— Вот здесь у меня немного денег, но этого, пожалуй, не хватит? Нет, этого, конечно, не хватит, вот сосчитайте сами.

— Да,— подтверждает хозяин,— этого не хватит.

На лбу Нагеля выступает пот, он хочет дать хозяину пока эти несколько крон и снова начинает искать даже в карманах своего жилета, не найдется ли там еще немного мелочи. Но и там ничего не нашлось. Но, может быть, ему удастся взять в долг где-нибудь? Вероятно, найдется человек, который не откажет ему в этой услуге! Как знать, может быть, ему и поможет кто-нибудь, если он попросит.

У хозяина лицо изменилось, даже его вежливость покинула его, и он берет бумажник Нагеля и начинает сам искать в нем денег.

— Да, пожалуйста, посмотрите,— говорит Нагель,— вот вы сами видите, что там только одни бумаги. Не понимаю, что это такое!

Но хозяин открывает внутреннее отделение и вдруг выпускает бумажник из рук, лицо его расплывается в широкую изумленную улыбку.

— Да вот они! — говорит он.— Здесь тысячи! Так, значит, вы шутили, вы хотели посмотреть, способен ли я понимать шутку?

Нагель обрадовался, как ребенок, и сейчас же ухватился за это объяснение. Он с облегчением вздохнул и сказал:

— Ну, конечно, я пошутил, мне пришлось в голову подшутить над вами. Слава Богу, у меня еще много денег, вот посмотрите, посмотрите же!

Действительно, в бумажнике было много крупных ассигнаций, крупная сумма денег в ассигнациях по тысяче крон. Хозяину пришлось идти менять деньги, чтобы получить по счету. Но еще долго спустя после того, как он ушел, на лбу Нагеля стояли крупные капли пота, и он весь дрожал от волнения. Как это его расстроило, и как у него шумит в голове!

Немного спустя он опустился на диван и погрузился в тревожное забытие, он метался во сне, громко разговаривал, пел, требовал коньяку и пил в полусознании, у него был сильнейший жар. Сара поминутно входила к нему и, хотя он все время говорил с нею, она почти ничего не поняла из его слов. Он лежал с закрытыми глазами.

Нет, он не хочет раздеваться — как ей могло это прийти в голову? Ведь теперь день! Он ясно слышит щебетание птиц... И пусть она не зовет доктора. Нет, доктор даст ему только желтую мазь и потом еще белую мазь, и обе эти мази перепутают и будут употреблять их не так, как надо, и его убьют на месте. Вот и Карльсен умер от этого же, ведь она помнит Карльсена? Да, да, Карльсен умер от этого. Как бы там ни было, но Карльсену попал в горло крючок удочки, а когда к нему пришел доктор со своими лекарствами, то оказалось, что он задохся от склянки, наполненной самой обыкновенной колодезной водой... Хе-хе-хе, впрочем, над этим смеяться нельзя... Сара, ведь вы не думаете, что я пьян, а? Энциклопедисты, вы слышите? Ассоциация идей и тому подобное... Погадайте по пуговицам, Сара, пьян я или нет... Слышите, вот заходили мельницы, городские мельницы! Боже, в каком вороньем гнезде вы живете, Сара! Мне хотелось бы избавить вас от преследования ваших врагов, так это написано... Убирайтесь к черту! Убирайтесь к черту! Да кто вы наконец? Все вы фальшивы, и я изобличу каждого из вас. Вы этому не верите? О, как я зорко наблюдаю за всеми вами! Я уверен в том, что лейтенант Хансен обещал Минуте две шерстяные фуфайки, но посмотрим, получит ли он их! И вы думаете, что у Минуты хватит духу сознаться в этом? Позвольте вывести вас из заблуждения: у Минуты не хватит мужества сознаться в этом. Он улизнул! Разве я не прав? Если я не ошибаюсь, господин Грегорд, то вы сидите там и опять по-свински ухмыляетесь, прикрывшись газетой. Нет? Ну, да это мне совершенно безразлично... Вы все еще здесь, Сара? Хорошо! Если вы посидите здесь еще пять минут, то я расскажу вам кое-что. Решено? Но представьте себе сперва человека, у которого мало-помалу выпадают брови. Вы запомните это? У которого выпадают брови. Затем позвольте вас спросить, приходилось ли вам когда-нибудь лежать в кровати, которая трещит? Погадайте по пуговицам и скажите, приходилось ли вам когда-нибудь лежать в кровати, которая трещит? Я сильно подозреваю вас в

этом. Впрочем, все люди в этом городе у меня на подозрении, и я наблюдаю за ними. О, я хорошо справился со своей задачей, я дал вам около двадцати самых необыкновенных тем для разговора, и я внес смуту в вашу жизнь, я разнообразил ваше сытое существование одной беспокойной сценой за другой. Хо-хо, как шумят мельницы, как шумят мельницы! А засим я советую вам, достопочтенная девица Сара Иосефсдаттер, есть чистый мясной бульон, пока он горячий, потому что, когда он остынет, то, клянусь, он превращается в чистейшую воду... Еще коньяку, Сара, у меня болит голова, оба виска и темя. Прямо нестерпимо больно...

— Не хотите ли вы чего-нибудь горячего?

Чего-нибудь горячего? Да что ей приходит в голову опять? Ведь это сейчас же распространится по всему городу, что он пил что-то горячее. Заметьте: он вовсе не желает возбуждать недовольства, он хочет быть благонамеренным гражданином, аккуратно платящим свои подати, и совершенно сходится во взглядах с другими людьми, три пальца вверх, что это так... Пусть она не боится. Правда, у него побаливает тут и там, но потому-то он и не разделся, чтобы это прошло скорее. Клин клином вышибается...

Ему становилось все хуже, и Сара сидела как на иголках. Ей очень хотелось убежать, но едва он замечал, что она собирается встать, как спрашивал ее, неужели она хочет бросить его. Она ждала, что он погрузится наконец в глубокий сон, когда устанет болтать. Боже, как он болтал с закрытыми глазами и красным, как сукно, лицом! Он придумал новый способ избавить кусты красной смородины в саду фру Стенерсен от вшей. Этот способ заключается в том, что в один прекрасный день он пойдет в лавку и купит целое ведро парафины, потом пойдет на рыночную площадь, снимет с себя башмаки и наполнит их доверху парафином. После этого он подожжет оба башмака, один за другим, и будет плясать и петь вокруг них в одних носках. Это он устроит как-нибудь утром, когда выздоревеет. Он устроит из этого настоящий цирк, целую лошадиную оперу, и при этом он будет щелкать бичом.

Он стал также придумывать странные смешные имена и титулы для своих знакомых. Поверенного Рейнерта он назвал Бильге и уверял, что это титул. «Господин Рейнерт, высокочтимый городской Бильге»,— сказал он. В конце концов он начал бредить о том, какой вышины могут быть комнаты в квартире консула Андресена. «Три с половиной, три с половиной локтя! — выкрикивал он несколько раз.—



Три с половиной локтя, приблизительно — разве я не прав?» Но шутки в сторону, у него в самом деле в горле крючок от удочки, он не выдумывает, он истекает кровью, и это причиняет ему довольно сильную боль...

Только позже вечером он, наконец, крепко заснул.

Около десяти часов он снова проснулся.

Он был один и лежал еще на диване. Одеяло, которым Сара его накрыла, упало на пол, но ему не было холодно. Сара закрыла также окна, но он их снова открыл. Ему казалось, что голова у него совсем ясная, но он был очень слаб и дрожал. Безотчетный страх снова овладел им, при малейшем треске, раздававшемся в комнате, или крике, доносившемся с улицы, этот страх пронизывал его до мозга костей. Но, может быть, если он ляжет как следует в постель и выспится, то это пройдет к утру. И он разделся.

Но он не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами и перебирал в уме все то, что пережил за последние сутки с той самой минуты, как он ушел в лес и выпил там свой маленький пузырек, и до настоящего мгновения, когда он лежал у себя в комнате, совершенно разбитый и мучимый лихорадкой. Как бесконечно долго тянулись эти сутки!

А страх все не покидал его, его не покидало это смутное, безотчетное чувство, предостерегавшее его от какой-то опасности или какого-то несчастья. Но почему же это? Что за шепот раздается вокруг его кровати? Вся комната полна какого-то бормотанья! Он сложил руки, и ему показалось, что он засыпает.

Вдруг взгляд его падает на его пальцы, и он замечает, что кольца нет больше. Его сердце сейчас же начинает биться сильнее, он всматривается внимательнее: он видит на пальце только слабый темный след, но кольца нет! О, Боже милостивый, кольца нет! Да, он бросил его в море, он думал, что оно больше не понадобится ему, так как он хотел умереть. Потому он и бросил его в море. И вот его нет, кольца нет!

Он вскакивает с кровати, кое-как накидывает на себя платье и мечется по комнате, как безумный. Было десять часов, в двенадцать часов кольцо должно быть найдено, ровно в двенадцать часов, кольцо, кольцо...

Он сбегает с лестницы сломя голову и выбегает на улицу, бежит по направлению к пристани. Его бегство замечают из гостиницы, но до этого ему нет дела. Им снова овладевает слабость, и колени подгибаются под ним, но он и этого не замечает. Наконец-то он нашел причину

того смутного страха, который мучил его весь день,— у него не было кольца! Вот почему женщина с крестом снова являлась ему.

Вне себя от невыразимой тревоги он бросается в первую попавшуюся лодку.

Она привязана к пристани, и он не может отвязать ее. Он зовет какого-то человека и просит его отвязать лодку, но человек отвечает, что он не может этого сделать,— лодка принадлежит не ему. Да, но Нагель берет всю ответственность на себя, дело касается кольца, и он готов купить лодку. Но разве он не видит, что лодка на замке? Разве он не видит железного кольца? Ну, в таком случае он возьмет другую лодку.

И Нагель прыгает в другую лодку.

— Куда вы хотите ехать? — спрашивает его человек.

— Я хочу отыскать кольцо. Может быть, вы знаете меня? Вот на этом пальце у меня было кольцо, вы сами видите знак, значит, я не лгу. И это кольцо я бросил в море, оно упало там где-то.

Человек ничего не понял из его слов.

— Вы хотите искать кольцо на дне морском? — спрашивает он.

— Вот именно! — отвечает Нагель.— Я вижу, что вы поняли меня. Ведь я должен во что бы то ни стало найти свое кольцо, вы это и сами прекрасно понимаете. Идите же, погребите для меня.

Человек снова спрашивает:

— Так вы хотите отыскать кольцо, которое вы бросили в море?

— Да, да! Ну, идемте же! Я вам хорошо заплачу за это.

— Бог с вами! Бросьте-ка лучше это. Вы хотите достать кольцо со дна морского пальцами?

— Да, пальцами. Это мне совершенно все равно. Я плаваю, как угорь, если это только понадобится. Но, может быть, мы найдем что-нибудь другое, кроме пальцев, чтобы достать кольцо.

И человек, наконец, входит в лодку. Он садится, чтобы обсудить это дело, но он отворачивает свое лицо. Ведь это будет безумием с их стороны предпринимать что-либо подобное. Будь это якорь или цепь, в этом был бы еще какой-нибудь смысл, но — кольцо! Да к тому же ведь неизвестно, куда именно оно упало!

Нагелю самому становится ясно, насколько бессмысленно его намерение. Но как же быть, что делать? Ведь

теперь он погиб! Глаза его расширяются от ужаса, и он весь дрожит. Он хочет прыгнуть в море, но человек крепко держит его. Нагель сейчас же послушно опускается на место и весь съеживается, он утомлен, он чувствует смертельную усталость и он слишком слаб для того, чтобы вступать с кем-нибудь в борьбу. Отец Небесный, как ужасно все складывается! Кольцо потеряно, скоро пробьет двенадцать часов, а кольца нет. Недаром ему было предостережение!

В это мгновение мозг его вдруг проясняется, и в эти короткие две-три минуты в голове его проносится целая вереница мыслей. Он вспомнил вдруг, что уже третьего дня в письме попрощался с сестрой и сам опустил это письмо в ящик. А он еще жив, но письмо идет своим путем, его уже ничто не удержит больше, и оно уже далеко. Когда сестра получит его, он должен быть мертв. Да к тому же и кольцо потеряно, все погибло...

Зубы его стучат. Он беспомощно озирается кругом, его отделяет от моря один прыжок. Он искоса смотрит на человека, сидящего на корме. Человек продолжает отворачивать лицо, но вместе с тем он зорко следит за ним, готовый схватить его, как только это понадобится.

Но почему он отворачивает все время лицо?

— Дайте, я помогу вам выйти на берег,— говорит человек. И он берет его под руку и выводит на берег.

— Спокойной ночи! — говорит Нагель, поворачиваясь к нему спиной.

Но человек недоверчиво следует за ним, он не спускает с него глаз и следит за каждым его движением. Нагель в бешенстве оборачивается и еще раз желает ему спокойной ночи, и он хочет прыгнуть в воду.

Но человек снова хватает его.

— Это вам не удастся,— говорит он над самым ухом Нагеля.— Вы слишком хорошо плаваете, вы снова всплывете наверх.

Нагель вздрагивает и на мгновение задумывается. Да, это правда, он плавает слишком хорошо, и он, может быть, всплывет и спасется. Он смотрит на человека, пристально смотрит ему прямо в лицо, его взгляд встречается с другим взглядом, он видит отвратительное лицо — это Минута.

Опять Минута, везде Минута!

— Провались в преисподнюю, мерзкая, отвратительная гадина! — кричит Нагель, пускаясь бежать.

Но он шатается, словно пьяный, спотыкается, падает и снова встает, все вертится перед его глазами, но он бежит по направлению к городу. Во второй раз Минуте удастся разрушить его планы! Боже милостивый, что же ему, наконец, придумать? Как все мелькает у него перед глазами! Какой шум в ушах! Он снова падает.

Он встает на колени и беспомощно качает головой из стороны в сторону. Что это? С моря раздается крик! Скоро пробьет двенадцать часов, а кольцо не найдено. Он чувствует, что по его следам ползет какое-то существо, он слышит, как оно крадется, это пресмыкающееся с отвислым животом, который волочится по земле, оставляя на ней мокрый след, этот отвратительный иероглиф с лапами на голове и желтым когтем на носу. «Прочь! Прочь!» Но тут снова раздается крик с моря, и он с воплем затыкает себе уши, чтобы не слышать его.

Он опять вскакивает. Еще не все потеряно, у него остается еще одно средство, хороший шестизарядный револьвер, самое лучшее, что только есть на свете! И он рыдает от охватившего его чувства благодарности, бежит изо всех сил и плачет от радости, что засветилась новая надежда. Вдруг он вспоминает, что теперь ночь, и он не может купить себе револьвера, все лавки заперты. Он сразу сдается, падает лицом вперед и ударяется лбом о землю без единого звука.

В это мгновение из гостиницы вышли наконец хозяин и еще несколько человек, чтобы посмотреть, где он...

Тут он проснулся и стал осматриваться кругом — все-таки это ему приснилось. Да, в конце концов он все-таки заснул. Слава Богу, все это он видел только во сне, он не вставал с постели.

С минуту он лежит и обдумывает что-то. Он смотрит на свою руку, но кольца действительно нет, он смотрит на часы — полночь, двенадцать часов без нескольких минут. Может быть, теперь все кончилось, и он спасен! Но сердце его безумно бьется, и он весь дрожит. Может быть, пробьет двенадцать часов, и с ним ничего не случится? Он берет в руки часы, и рука его сильно дрожит, он считает минуты.. секунды...

Вдруг часы падают на пол, и он вскакивает с постели. «Зовет», — шепчет он и смотрит в окно широко раскрытыми глазами. Быстро накидывает он на себя кое-какое платье, отворяет дверь и выбегает на улицу. Он осматривается по сторонам, никто не видит его. И он бросается стремглав к морю, белая спина его жилета светится все время во

мраке ночи. Он прибегает к пристани, добегаёт до конца набережной и одним прыжком бросается в море.

На поверхность воды поднимается несколько пузырей.

### ГЛАВА XXIII

---

В апреле этого года, однажды поздней ночью, Дагни и Марта шли вместе по городу — они возвращались из гостей и направлялись домой. Было темно, кое-где на дороге лежал еще лед, а потому они шли очень медленно.

— А я иду,— сказала Дагни,— и думаю обо всем том, что говорили сегодня вечером о Нагеле. Многие для меня было совершенно ново.

— Я ничего не слыхала,— ответила Марта,— я уходила.

— Но одного они не знали,— продолжала Дагни.— Еще в прошлое лето Нагель говорил мне, что Минута плохо кончит. Не понимаю, как мог он это предвидеть уже тогда. Он сказал мне это задолго-задолго до того, как ты рассказала мне о поступке Минуты по отношению к тебе.

— В самом деле?

— Да.

Они вышли на дорогу, ведущую к усадьбе священника. Вокруг них стоял тихий, молчаливый лес, царил мертвая тишина, и раздавались только их шаги по твердой, мерзлой земле.

После долгого молчания Дагни снова сказала:

— Здесь он обыкновенно любил ходить.

— Кто? — ответила Марта.— Здесь так скользко, не хочешь ли ты взять меня под руку?

И они молча продолжали идти под руку, тесно прижавшись друг к другу.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

**Предисловие**

**5**

**Пан**

**47**

**Смерть Глана**

**141**

**Виктория**

**157**

**Мистерии**

**241**

Литературно-художественное издание

**Кнут Гамсун**

---

*Пан  
Смерть Глана  
Виктория  
Мистерии  
Романы*

Ответственный за выпуск  
Г. К. Джапаридзе

Художественное оформление  
Б. М. Кравченко

Редактор  
А. В. Лопата

Технический редактор  
А. М. Короб

Корректор  
А. В. Лопата

Подписано в печать 15.08.94. Формат 84×108/32.  
Бумага типографская. Гарнитура «Таймс».  
Печать высокая. Усл.-печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 27,23.  
Заказ № 4-480.

«Эй-Ди-Лтд». 121663 Москва,  
ул. Большая Филевская, 35.

Оригинал-макет подготовлен в ИПЦ ММП «Борисфен».  
252189 Киев, ул. Дружковская, 10.

Отпечатано с оригинал-макета по заказу ММП «Борисфен»  
на материалах заказчика на арендном предприятии  
«Киевская книжная фабрика».  
252052 Киев, ул. Воровского, 24.



Г 18 Гамсун К.  
Пан и др. романы / Пер. с норв.— М.:  
«Эй-Ди-Лтд», 1994.— 522 с.  
ISBN 5-85869-048-3

Романы, вошедшие в настоящую книгу, относятся к раннему периоду творчества К.Гамсуна и являются своего рода гимном любви. Но не спокойной, уравновешенной любви, а любви — «очаровательной пытке, ослепительно прекрасной муче, безумному влечению и безумному сопротивлению». Перед читателем обнажаются мужская и женская душа в бесконечных переживаниях ласковости и враждебности, притяжения и отталкивания, безумного влечения и противоречивого каприза.

ББК 84.4 Нр

**ММП «Борисфен»** – Киев, Украина  
**ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд»** – Москва, Россия  
**ООО «Луан»** – Брест, Беларусь

*предлагают оптовым покупателям  
собрания сочинений следующих авторов:*

**Ф. Купер, 5 томов.**

В издание входят произведения:

- 1 т. «Красный Корсар»;
- 2 т. «Пенитель Моря», «Морские Львы»;
- 3 т. «На суше и на море», «Лоцман»;
- 4 т. «Два адмирала», «Блуждающий Огонь»;
- 5 т. «Мерседес из Кастилии».

**Э. Триоле, 5 томов.**

В издание входят произведения:

- 1 т. «Незванные гости»;
- 2 т. «Душа»;
- 3 т. «Неизвестный и др. рассказы»;
- 4 т. «Анна-Мария»;
- 5 т. «Розы в кредит», «Луна-парк».

**В. Ян, 4 тома.**

В издание входят произведения:

- 1 т. «Батый», «Молотобойцы»;
- 2 т. «Чингиз-хан», «Спартак»;
- 3 т. «К «Последнему морю», «Финикийский корабль»;
- 4 т. «Юность полководца», «Огни на курганах».

Все книги изданы в твердых переплетах  
с припрессовкой пленки или оформлены  
тиснением фольгой.

*За справками просим обращаться по адресу:*

**ММП «Борисфен».**  
252189, Киев-189, ул. Дружковская, 10.  
тел. (044) 449-53-97, 443-40-30  
**ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд».**  
121663, Москва-663,  
тел. (095) 144-17-02  
**ООО «Луан».**  
224013, Брест-13, ул. Дзержинского, 14.  
тел. (01622) 5-57-33

**ММП «Борисфен»** – Киев, Украина  
**ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд»** – Москва, Россия  
**ООО «Луан»** – Брест, Беларусь

*предлагают оптовым покупателям  
собрания сочинений следующих авторов:*

**К. Гамсун, 5 томов.**

В издание входят произведения:

- 1 т. «Дети времени», «Местечко Сегельфосс»;
- 2 т. «Соки земли»;
- 3 т. «Август», «А жизнь идет...»;
- 4 т. «Последняя отрада», «Последняя глава»;
- 5 т. «Пан», «Смерть лейтенанта Глана»,  
«Виктория», «Мистерии».

**Дж.О.Кервуд, 5 томов.**

В издание входят произведения:

- 1 т. «Бродяги Севера», «Гризли»,  
«Казан», «Сын Казана»;
- 2 т. «Золотая петля», «Черный охотник»,  
«Скованные льдом сердца», «Молниеносный»,  
«Охотники на волков»;
- 3 т. «Филипп Стил», «Погоня» «Старая дорога»,  
«Северный цветок»;
- 4 т. «Золотоискатели», «Девушка Севера»,  
«В тяжелые годы», «Мужество капитана Плюма»,  
«В дебрях Севера»;
- 5 т. «У истоков реки», «Долина безмолвия»,  
«Лес в огне», «У последней границы».

Все книги изданы в твердых переплетах  
с припрессовкой пленки или оформлены  
тиснением фольгой.

*За справками просим обращаться по адресу:*

**ММП «Борисфен».**  
252189, Киев-189, ул. Дружковская, 10.  
тел. (044) 449-53-97, 443-40-30  
**ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд».**  
121663, Москва-663,  
тел. (095) 144-17-02  
**ООО «Луан»**  
224013, Брест-13, ул. Дзержинского, 14.  
тел. (01622) 5-57-33

**ММП «Борисфен»** — Киев, Украина  
**ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд»** — Москва, Россия  
**ООО «Луан»** — Брест, Беларусь  
*предлагают оптовым покупателям  
собрания сочинений следующих авторов:*

**Э. Базен, 4 тома.**

В издание входят произведения:

- 1 т. «Семья Резо»;
- 2 т. «Встань и иди», «И огонь пожирает огонь», «Масло в огонь»;
- 3 т. «Ради сына», «Счастливыцы с острова отчаяния»;
- 4 т. «Анатомия одного развода»; «Супружеская жизнь».

**Р. Роллан, 6 томов.**

В издание входят произведения:

- 1-3 т. «Очарованная душа»;
- 4-6 т. «Жан Кристоф».

**Э. Хемингуэй, 5 томов.**

В издание входят произведения:

- 1 т. «Фиеста», «Старик и море», «Рассказы»;
- 2 т. «Прощай оружие», «Иметь и не иметь»,  
«За рекой, в тени деревьев»;
- 3 т. «Пятая колонна», «По ком звонит колокол»;
- 4 т. «Острова в океане», «Опасное лето», «Вешние воды»;
- 5 т. «Праздник, который всегда с тобой»,  
«Зеленые холмы Африки», «Райский сад».

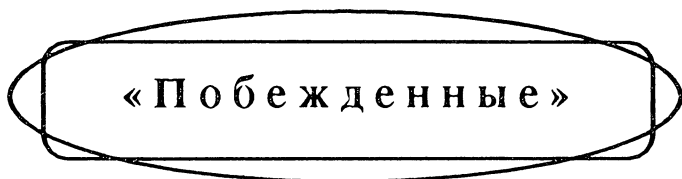
Все книги изданы в твердых переплетах  
с припрессовкой пленки или оформлены  
тиснением фольгой.

*За справками просим обращаться по адресу:*

**ММП «Борисфен»**  
252189, Киев-189, ул. Дружковская, 10.  
тел. (044) 449-53-97, 443-40-30  
**ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд»**  
121663, Москва-663,  
тел. (095) 144-17-02  
**ООО «Луан»**  
224013, Брест-13, ул. Дзержинского, 14.  
тел. (01622) 5-57-33

ММП «БОРИСФЕН» — Киев, Украина  
ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд» — Москва, Россия  
ООО «Луан» — Брест, Беларусь

*предлагает оптовым покупателям роман*  
И.В.Головкиной (Римской-Корсаковой)



Это произведение, ставшее сенсацией минувшего года,  
называют русским вариантом романа М. Митчелл  
«Унесенные ветром».

На его страницах читатель встретит благородные и  
чистые, в своих устремлениях, образы русской  
интеллигенции, трагическую любовь, драматизм  
классовой борьбы и дьявольского произвола  
эпохи сталинизма.

Книга издана в твердом переплете с суперобложкой.  
*За справками просим обращаться по адресу:*

**ММП «БОРИСФЕН»**  
**УКРАИНА, 252189, Киев, ул. Дружковская, 10.**  
**Тел. : (044) 443-10-84, 443-10-90**

**Фирма «Эй-Ди-Лтд»**  
**РОССИЯ, 121663, Москва, ул. Большая Филевская, 35.**  
**Тел. : (095) 146-48-07, 144-17-02**

**ООО «Луан»**  
**БЕЛАРУСЬ, 224013, Брест-13, ул. Дзержинского, 14.**  
**тел. (01622) 5-57-33**



Акционерный коммерческий банк «АВАЛЬ» зарегистрирован Национальным банком Украины 27 марта 1992 года с уставным фондом 100 миллионов рублей. За два года эффективной и стабильной деятельности банка его уставной фонд увеличился в 1000 раз. Среди его главных акционеров — Пенсионный фонд Украины, Министерство связи Украины, крупные частные фирмы.

Сейчас «АВАЛЬ» — это универсальная кредитно-финансовая организация, которая предоставляет широкий спектр банковских услуг: ведет расчетно-кассовое обслуживание, открывает депозитные счета, проводит срочные платежи по Украине и в страны СНГ, оказывает все виды валютных услуг. За короткий срок банк уверенно занял одно из ведущих мест среди других кредитных и финансовых институтов Украины и вошел в пятерку крупнейших банков страны. В Киеве и в перспективных регионах Украины созданы и успешно работают 26 филиалов банка.

«АВАЛЬ» имеет Генеральную лицензию Национального банка Украины на право осуществления операций с валютными ценностями. Установлены корреспондентские отношения с 40 иностранными банками.

Адрес банка: 252011, Киев, ул. Лескова, 9

Факс: 295-32-31

Телефоны: 295-91-82 — отдел депозитных вкладов,  
295-88-27 — отдел кредитов,  
294-65-54 — отдел расчетов со странами СНГ,  
295-04-62 — отдел неторговых операций,  
295-86-64 — отдел рекламы и связи  
с общественностью.

